

БЕНЕДИКТ  
САРНОВ

БЕНЕДИКТ  
САРНОВ

СТАЛИН

СТАЛИН

И  
ПИСАТЕЛИ

И  
ПИСАТЕЛИ

КНИГА  
ТРЕТЬЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ



ЭКСМО

## ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ



БЕНЕДИКТ  
САРНОВ

СТАДИИИ

И

ПИСАТЕЛИ

КНИГА ТРЕТЬЯ



ЭКСМО

МОСКВА  
2009

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
С 20

**Сарнов Б.**

С 20 Сталин и писатели : книга третья / Бенедикт Сарнов. — М. : Эксмо, 2009. — 992 с.

ISBN 978-5-699-36669-9

Третий том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» — как и второй том той же книги — состоит из четырех глав: «Сталин и Шолохов», «Сталин и Пильняк», «Сталин и Замятин», «Сталин и Платонов».

Эти четыре сюжета не менее — а в иных случаях и более — драматичны, чем те, с которыми читатель столкнулся в первых двух книгах трехтомника.

В главе «Сталин и Шолохов» Б. Сарнов включается в давние, а в последние годы с новой силой вспыхнувшие споры о том, кто был автором «Тихого Дона». Но его тут интересует не столько сама эта проблема, сколько отношение к ней Сталина: ведь именно Сталин пресек все «сплетни» о плагиате и «назначил» автором этой великой книги молодого Шолохова.

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-36669-9

© Бенедикт Сарнов, 2009  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2009

СТАЛИН  
И ШОЛОХОВ



## ДОКУМЕНТЫ

1

*«Правда», 29 марта 1929 г., № 72*

### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В связи с тем заслуженным успехом, который получил роман пролетарского писателя Шолохова «Тихий Дон», врагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи, что материалы об этом имеются якобы в ЦК ВКП (б) или в прокуратуре (называются также редакции газет и журналов).

Мелкая клевета эта сама по себе не нуждается в опровержении. Всякий, даже не искушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей.

Пролетарские писатели, работающие не один год с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном», материалы, которые



он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей.

Никаких материалов, порочащих работу т. Шолохова, нет и не может быть в указанных выше учреждениях. Их не может быть ни в каких других учреждениях, потому что материалов таких не существует в природе.

Однако мы считаем необходимым выступить с настоящим письмом, поскольку сплетни, аналогичные этой, приобретают систематический характер, сопровождая выдвижение почти каждого нового талантливого пролетарского писателя.

Обывательская клевета, сплетня является старым и испытанным средством борьбы наших классовых противников. Видно, пролетарская литература стала силой, видно, пролетарская литература стала действенным оружием в руках рабочего класса, если враги принуждены бороться с ней при помощи злобной и мелкой клеветы.

Чтобы неповадно было клеветникам и сплетникам, мы просим литературную и советскую общественность помочь нам в выявлении «конкретных носителей зла» для привлечения их к судебной ответственности.

По поручению секретариата Российской ассоциации пролетарских писателей:

*А. Серафимович  
Л. Авербах  
В. Киришон  
А. Фадеев  
В. Ставский*

2

## ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА ФЕЛИКСУ КОНУ

9 июля 1929 г.

Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчёт Сырцова, Подтёлкова, Кривошлыкова и др., но разве из этого следует, что «Тихий Дон» — никуда негодная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?

## ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА КАГАНОВИЧУ

*7 июня 1932 г.*

В «Новом Мире» печатается новый роман Шолохова «Поднятая целина». Интересная штука! Видно, Шолохов изучил колхозное дело на Дону. У Шолохова, по-моему, большое художественное дарование. Кроме того, он — писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо известных ему. Не то, что «наш» вертлявый Бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестных (например, «Конная армия»).

## ИЗ ПИСЬМА ШОЛОХОВА СТАЛИНУ

*4 апреля 1933 г.**Станица Вешенская*

т. Сталин!

Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. [...]

Т.к. падающая кривая поступлений хлеба не обеспечивала выполнения плана к сроку, крайком направил в Вешенский район особого уполномоченного т. Овчинникова...

На расширенном заседании бюро РК, в присутствии уполномоченных РК и секретарей ячеек... Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку: «Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров ломать, но хлеб взять!»

Отсюда и начинается «ломание дров»...

Установка Овчинникова — «Дров наломать, но хлеб взять!» — подхватывается районной газетой «Большевицкий Дон». В одном из номеров газета дает «шапку»: «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА!». И начали по району с великим усердием «ломать дрова» и брать хлеб «любой ценой».

К приезду вновь назначенного секретаря РК Кузнецова и председателя РИК'а Королева по району уже имелись плоды овчинниковского внушения:

1) В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широчайше распространившийся по району метод «допроса с пристрастием». В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить.

2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.

3) В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло... И уполномоченный продолжал собрание.

На первом же бюро РК новый секретарь РК поставил вопрос об этих перегибах. Было записано в решении бюро о том, что такие «методы» хлебозаготовок искажают линию партии. Об этом на другой день узнал Овчинников, приехавший из Верхне-Донского района (он работал особоуполномоченным по двум районам: Вешенскому и Верхне-Донскому), и тотчас же предложил секретарю РК: «О перегибах в решении не записывай! Нам нужен хлеб, а

не разговорчики о перегибах. А вот ты с первых же дней приезда в район начинаешь разговоры о перегибах и тем самым ослабляешь накал борьбы за хлеб, расхолаживаешь парторганизацию, демобилизуешь ее!»

Кузнецов настаивал на том, чтобы записать, тогда Овчинников написал телеграмму на имя т. Шеболдаева, примерно такого содержания: «Новое руководство Вешенского района колеблется, говорит о перегибах, а не о хлебе, и тем самым демобилизует работников мест. Необходимо ответственность за ход хлебозаготовок возложить персонально на тт. Кузнецова и Королева» и пр.

Телеграмму подписали Овчинников и Шарапов, находившийся под идейным протекторатом Овчинникова. Секретаря РК Кузнецова Овчинников ознакомил с содержанием телеграммы, на просьбу оставить в РК копию телеграммы ответил отказом. Затем пошел на телеграф, предложил, чтобы телеграмму передали не по телеграфу, а по телефону. Телеграмму передали при нем. Текст Овчинников положил в карман, а зав. телеграфом, коммунисту, на его слова — «Оставьте текст» — ответил: «Не твое дело!» Словом, телеграмму послал и «следов» не оставил... После этого он вернулся в РК и заявил Кузнецову: «Ты думаешь, что крайком не знает о перегибах? Знает, но молчит. Хлеб-то нужен? План-то надо выполнять?»

И рассказал исключительно интересный случай из собственной практики... Передаю со слов секретаря РК Кузнецова и ряда других членов бюро РК, которым Овчинников этот же случай рассказывал в другое время.

«В 1928 г. я был секретарем Вольского ОК Нижне-Волжского края. Во время хлебозаготовок, когда применяли чрезвычайные мероприятия, мы не стеснялись в применении жесточайших репрессий и о перегибах не разговаривали! Слух о том, что мы перегнули, докатился до Москвы... Но зато целиком выполнили план, в крае не на плохом счету! На Всесоюзной партконференции во время перерыва стоим мы с т. Шеболдаевым, к нам подходит Крыленко и спрашивает у Шеболдаева: «А кто у тебя секретарем Вольского ОК? Наделал во время хлебозаготовок таких художеств, что придется его, как видно, судить». «А вот он, секретарь Вольского ОК», — отвечает Шеболдаев, указывая на меня. «Ах, вот как! — говорит Крылен-

ко. — В таком случае, товарищ, зайдите после конференции ко мне». Я подумал, что быть неприятности, дал телеграмму в Вольск, чтобы подготовили реабилитирующие материалы, но после конференции на совещании с секретарями крайкомов Молотов заявил: «Мы не дадим в обиду тех, которых обвиняют сейчас в перегибах. Вопрос стоял так: или взять, даже поссорившись с крестьянином, или оставить голодным рабочего. Ясно, что мы предпочли первое». После этого Крыленко видел меня, но даже и словом не обмолвился о том, чтобы я к нему зашел!»...

После отъезда Овчинникова в Верхне-Донской район работой стал руководить Шарапов. Вот установки, которые он давал уполномоченным РК, командирам агитколонн, всем, кто заготавливал хлеб: «Не открывают ям — оштрафуй хозяйств 10—15, заberi у них все имущество, картофель, солку, выкинь из домов, чтобы гады подышали на улице! А через два часа, если не будет перелома, снова созывай собрание и снова выкидывай на мороз хозяйств десять!»

По его предложению стали широко практиковаться методы провокации. Делалось так: колхозника Иванова вызывают и говорят: «Твой сосед Петров сообщил нам, что у тебя есть яма. Признавайся, где зарыт хлеб». А Петрова вызывают и говорят ему обратное. Потом на собрании бригады колхозников стравливают, как собак, и поощряют кровавые побоища. «Страви их, чтобы волосы один на одном рвали, чтобы морды били друг другу до крови, а сам уходи в другую бригаду. Устрой там драку и иди в третью. Сам будь в стороне», — поучал Шарапов уполномоченных РК и секретарей партячеек.

О работе уполномоченного или секретаря ячейки Шарапов судил не только по количеству найденного хлеба, но и по числу семей, выкинутых из домов, по числу раскрытых при обысках крыши и разваленных печей. «Детишек ему стало жалко выкидывать на мороз! Расслюнявился! Кулацкая жалость его одолела! Пусть, как щенки, пищат и дохнут, но саботаж мы сломим!» — распекал на бюро РК Шарапов секретаря ячейки Малаховского колхоза за то, что тот проявил некоторое колебание при массовом выселении семей колхозников на улицу. На бюро РК, в ячейке, в правлении колхоза, громя работавших по хле-

бозаготовкам, Шарапов не знал иного обращения, кроме как «сволочь», «подлец», «кусок слюнтяя», «предатель», «сукин сын». Вот лексикон, при помощи которого уполномоченный крайкома объяснялся с районными и сельскими коммунистами.

До чистки партии за полтора месяца (с 20 декабря по 1 января) из 1500 коммунистов было исключено более 300 человек. Исключали, тотчас же арестовывали и снимали со снабжения как самого арестованного, так и его семью. Не получая хлеба, жены и дети арестованных коммунистов начинали пухнуть от голода и ходить по хуторам в поисках «подаяния»...

Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной «активности» по части применения репрессий, т.к. в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были давать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатались перегибы. Собственно то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами; людей пытали, как во времена средневековья; и не только пытали в комнатах, превращенных, буквально, в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Ниже я приведу краткий перечень тех «способов», при помощи которых работали агитколонны и уполномоченные РК, а сейчас в цифрах, полученных мною в РК, покажу количество подвергавшихся репрессиям и количество хлеба, взятого с момента применения репрессий.

По Вешенскому району: 1. Хозяйств — 13 813; 2. Всего населения — 52 069; 3. Число содержавшихся под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и пр. — 3128; 4. Из них приговорено к расстрелу — 52; 5. Осуждено по приговорам Нарсуда и по постановлениям коллегии ОГПУ — 2300; 6. Исключено из колхоза хозяйств — 1947; 7. Оштрафовано (изъято продовольствие и скот) — 3350 хозяйств; 8. Выселено из домов — 1090 хозяйств.

Цифры эти — на 24 января, т.е. почти по концу хлебозаготовок...

Теперь о методах, которые применяли во всех колхоз-

зах района согласно установкам Овчинникова и под непосредственным руководством Шарапова. Выселение из дома и распродажа имущества производилась простейше: колхозник получал контрольную цифру сдачи хлеба, допустим, 10 центнеров. За несдачу его исключали из колхоза, учитывали всю его задолженность, включая и произвольно устанавливаемую убыточность, понесенную колхозом за прошлые годы, и предъявляли все платежи как к единоличнику. Причем соответственно сумме платежей расценивалось имущество колхозника; расценивалось так, что его в аккурат хватало на погашение задолженности. Дом, например, можно было купить за 60—80 руб., а такую мелочь, как шуба или валенки, покупали буквально за гроши...

Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях, в мякинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать! Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы.

Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютom ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?

Мне казалось, что это — один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Ве-

шенскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки, — «Сколько у тебя выселенных из домов?» — «Сорок восемь хозяйств». — «Где они ночуют?» Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на это сказал: «А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице».

После этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину эту выселял кандидат партии — работник Базковского колхоза. Его, после того как ребенок замерз, тихонько посадили в тюрьму. Посадили за «перегиб». За что же посадили? И если посадили правильно, то почему остается на свободе т. Зимин? Число замерзших не установлено, т.к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеками.

Но выселение — это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:

1. Массовые избиения колхозников и единоличников.

2. Сажание «в холодную». «Есть яма?». — «Нет». — «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия — январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.

3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подола юбок керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.

4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК канди-



дат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН) заставлял одного единичника стреляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет — сам застрелю!». Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный) и, когда щелкнул боек, упал в обмороке.

5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский, при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.

6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.

7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.

8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью.

9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику — подозреваемому в краже — во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если уstraшенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу.

9. (Нумерация нарушена Шолоховым. — *Ред.*) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на собрании бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб за-

рыл?» — «Не зарывал, товарищ!» — «Не зарывал? А, ну, высовывай язык! Стой так!» Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.

10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.

11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.

12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз.

13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу.

14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.

15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по несколько раз.

16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с собрания для «индивидуальной обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же... Собрание длилось без перерыва более суток.

Примеры эти можно бесконечно умножить. Это — не отдельные случаи загибов, это — узаконенный в районном масштабе — «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на

себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».

Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот этакое «исчезание» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью. [...]

Должен прямо сказать: крайком пока ведет линию на привлечение к ответственности «стрелочников». Глубокого всестороннего расследования событий, происходивших в Вешенском районе, не было, да, вероятно, и не будет... Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над Советской властью, но и дела тех, чья рука направляла. [...]

Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.

Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.

Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».

С приветом М. Шолохов

Ст. Вешенская СКК 4 апреля 1933 г.

5

И.В. СТАЛИН — М.А. ШОЛОХОВУ

16 апреля 1933 г.

Молния

Станица Вешенская Вешенского района

Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову

Ваше письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру.

Сталин

16.IV.33 г.

6

### ИЗ ПИСЬМА ШОЛОХОВА СТАЛИНУ

16 апреля 1933 г.

Станица Вешенская

Дорогой т. Сталин!

Телеграмму Вашу получил сегодня. Потребность в продовольственной помощи для двух районов (Вешенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92 000 населения, исчисляется минимально в 160 000 пудов. Из них для Вешенского района — 120 000 пудов и для Верхне-Донского — 40 000. Это из расчета, что хлеба хватит до нови, т.е. на три месяца. [...]

Так же как и продовольственная помощь, необходима посылка в Вешенский и Верхне-Донской районы таких коммунистов, которые расследовали бы все и ПО-НАСТОЯЩЕМУ. Почему бюро крайкома сочло обязательным выносить решения по поводу моей телеграммы о переброске семян, а вот по докладным запискам ответственных инструкторов Крайкома и крайКК тт. ДАВЫДОВА и МИНИНА, уехавших из Вешенского района 31 марта и собравших по двум-трем колхозам огромный материал о грубейшем извращении линии партии, об избиениях и пытках, применявшихся к колхозникам, — до настоящего времени нет решения и крайком молчит?.. Кроме этого, есть целый ряд вопросов, разрешать которые районные организации не берутся. А все эти вопросы требуют скорейшего разрешения.

1. Из колхозов исключали не только тех колхозников, у которых находили краденый хлеб, но и тех, кто не выполнил контрольного задания по сдаче хлеба. Задания же

не выполнило ни одно хозяйство по району. Правильность исключения районными организациями не контролировалась. По колхозам свирепствовал произвол. Зачастую, пользуясь чисто формальным предлогом (невыполнение контрольного задания), исключали только потому, что необобществленный дом колхозника приглашен правлению колхоза, или даже потому, что у того или иного колхозника было много картофеля. Исключали, а потом начинали «раскулачивать». Всего по району было исключено около 2000 хозяйств. Сейчас им не дают земли даже для посадки овощей. При таком положении вещей все эти семьи заведомо обречены на голодную смерть. Надо же с ними что-либо делать?

2. Точно так же и с конфискацией имущества и с частичными штрафами: выселяли из домов, забирали коров, овощи, имущество не только у избалованных в краже колхозного хлеба, но и у тех, которые не выполнили контрольные задания по сдаче хлеба. Оштрафовано было более 25% хозяйств (3350 на 24 января). Тысячами поступают жалобы, т.к. штрафовали и такие хозяйства, которые никогда не занимались сельским хозяйством и не были в поле (плотники, сапожники, портные, печники и пр.). Заявления, поступающие в районные учреждения, отсылаются в сельсоветы, а те взятое некогда имущество размытарили, продукты (овощи преимущественно) либо пораспределили, либо поморозили, перетаскивая из погребов. Разве же сельсоветы будут что-либо возвращать?

3. Нарсуды присуждали на 10 лет не только тех, кто воровал, но и тех, у кого находили хлеб с приусадебной земли, и тех, кто зарывал свой 15% аванс, когда начались массовые обыски и изъятие всякого хлеба. Судьи присуждали, боясь, как бы им не пришили «потворство классовому врагу», а кассационная коллегия крайсуда второпях утверждала. По одному Вешенскому району осуждено за хлеб около 1700 человек. Теперь семьи их выселяют на север.

РО ОГПУ спешно разыскивало контрреволюционеров, для того чтобы стимулировать ход хлебозаготовок, и тоже понахватало немалое количество людей, абсолютно безобидных и в прошлом и в настоящем. Вешенский портной, извечный бедняк, иногородний Коломейцев был

арестован органами ОГПУ и просидел в заключении 4 месяца. Кто-то сообщил, что в 1916 г. Коломейцев пришел в отпуск в Вешенскую, будучи произведенным в офицеры; в доказательство доносивший сообщал, что самолично видел тогда на плечах Коломейцева офицерские погоны... Портной мужественно сидел 4 месяца и отрицал свое причастие к офицерству. Между прочим ссылался и на свою безграмотность, но это не помогало. И сидел, хотя вся станица знала, что офицером он никогда не был. Как-то допросили его более внимательно и только тут установили, что в 1916 г. служил он рядовым в гусарском полку, из этого полка и явился в отпуск в невиданной на Дону форме. Кто-то вспомнил это событие тринадцатилетней давности и, перепутав гусарские погоны с офицерскими, упек Коломейцева в каталажку...

Сейчас очень многое требует к себе более внимательного отношения. А его-то и нет. Ну, пожалуй, хватит утруждать Ваше внимание районными делами, да всего и не перескажешь. После Вашей телеграммы я ожил и воспрянул духом. До этого было очень плохо. Письмо к Вам — единственное, что написал с ноября прошлого года. Для творческой работы последние полгода были вычеркнуты.

Если продовольственная помощь будет оказана Вешенскому и Верхне-Донскому районам, необходимо ускорить ее, т.к. в ближайшее же время хлеб с пристанских пунктов будет вывезен пароходами и продовольствие придется возить за 165 кил. гужевым транспортом.

Крепко жму Вашу руку.

С приветом М. Шолохов

Ст. Вешенская СКК 16 апреля 1933 г.

7

И.В. СТАЛИН — М.А. ШОЛОХОВУ

22 апреля 1933 г.

Молния

Станица Вешенская Вешенского района

Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову

Ваше второе письмо только что получил. Кроме отпущенных недавно сорока тысяч пудов ржи отпускаем дополнительно для вешенцев восемьдесят тысяч пудов всего сто двадцать тысяч пудов. Верхне-Донскому району отпускаем сорок тысяч пудов. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени.

Сталин

22.IV.33 г.

8

И.В. СТАЛИН — М.А. ШОЛОХОВУ

6 мая 1933 г.

Дорогой тов. Шолохов!

Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже.

Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район, т. Шкирятов, которому — очень прошу Вас — оказать помощь.

Это так. Но это не все, т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.

Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите *одну* сторону, видите не плохо. Но это только *одна* сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботажи!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели

«тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...

Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками!

И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали.

Ну, всего хорошего и жму Вашу руку.

Ваш И. Сталин

9

В.П. СТАВСКИЙ — И.В. СТАЛИНУ

16 сентября 1937 г.

Секретно  
В ЦК ВКП(б)  
Тов. СТАЛИНУ И.В.

В связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила ШОЛОХОВА, я побывал у него в станице Вешенской.

Шолохов не поехал в Испанию на Международный конгресс писателей. Он объясняет это «сложностью своего политического положения в Вешенском районе».

М. Шолохов до сих пор не сдал ни IV книги «Тихого Дона», ни 2-й книги «Поднятой целины». Он говорит, что обстановка и условия его жизни в Вешенском районе лишили его возможности писать.

Мне пришлось прочитать 300 страниц на машинке рукописи IV книги «Тихого Дона». Удручающее впечатление производит картина разрушения хутора Татарского, смерть Дарьи и Натальи Мелеховых, общий тон разрушения и какой-то безнадежности, лежащей на всех трехстах страницах; в этом мрачном тоне теряется и вспышка патриотизма (против англичан) и гнева против генералов у Григория Мелехова.



М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу.

— Большевиком же его я делать никак не могу.

Какова же Вешенская обстановка у Шолохова? Три месяца тому назад арестован б. секретарь Вешенского райкома ВКП(б) Луговой — самый близкий политический и личный друг Шолохова. Ранее и позднее арестована группа работников района (б. зав. РайЗО Красюков, б. пред. РИК'а Лыгачев и другие) — все они обвиняются в принадлежности к контрреволюционной троцкистской организации. М. Шолохов прямо мне заявил:

— Я не верю в виновность Лугового, и если его осудят, значит, и я виноват, и меня осудят. Ведь мы вместе все делали в районе.

Вспоминая о Луговом, он находил в нем только положительные черты; особенно восхвалял ту страсть, с которой Луговой боролся против врагов народа Шеболдаева, Ларина и их приспешников.

С большим раздражением, граничащим со злобой, говорил М. Шолохов:

— Я еще не знаю, как передо мной обернутся нынешние работники края.

— Приезжал вот 2-й секретарь — Иванов Иван Ульяныч, два дня жил, вместе водку пили, разговаривали; как он хорошо говорил. Я уже думал, что он крепче Евдокимова, а вот он врагом народа оказался, арестован сейчас!

— Смотри, что делается! Гнали нас с севом, с уборкой, а сами хлеб в Базках гноят. Десятки тысяч пудов гниет под открытым небом!

На другой день я проверил эти слова Шолохова. Действительно, на берегу Дона в Базках лежат (частью попревшие) около 10.000 тонн пшеницы. Только в последние дни (после дождей) был прислан брезент. Вредители из Союзхлеба арестованы.

Озлобленно говорил М. Шолохов о том, что районный работник НКВД следит за ним, собирает всяческие сплетни о нем и о его родных.

В порыве откровенности М. Шолохов сказал:

— Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится.

Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство.

Я в лоб спросил его, — не думал ли ты, что вокруг тебя орудуют враги в районе и что этим врагам выгодно, чтобы ты не писал? Вот ты не пишешь, — враг, значит, в какой-то мере достиг своего!

Шолохов побледнел и замаялся. Из дальнейшего разговора со всей очевидностью вытекает, что он допустил уже в последнее время грубые политические ошибки.

— 1) Получив в начале августа письмо (на папиросной бумаге) из ссылки от б. зав. РайЗО Красюкова, он никому его не показал, а вытащил впервые только в разговоре со мной. И то, — как аргумент за Лугового. В письме Красюков писал, что он невиновен, что следствие было неправильное и преступное, и т. д.

На мой вопрос: — снял он копию с этого письма? — Шолохов сказал, что снял, но ни т. Евдокимову, ни в Райком не давал.

— 2) Никакой партработы Шолохов, будучи одним из 7-ми членов Райкома — не ведет, в колхозах не бывает, сидит дома или ездит на охоту да слушает сообщения «своих» людей.

Колхозники из колхоза им. Шолохова выражали крайнее недовольство тем, что он их забыл, не был уже много месяцев:

«Чего ему еще не хватает в жизни? Дом — дворец двухэтажный, батрак, батрачка, автомобиль, две лошади, коровы, стая собак, а все ворчит, сидит дома у себя».

— 3) На краевой конференции Шолохов был выбран в Секретариат и ни разу не зашел туда.

В крае (Ростов Дон) к Шолохову отношение крайне настроженное. Тов. Евдокимов сказал:

— Мы не хотим Шолохова отдавать врагам, хотим его оторвать от них и сделать своим!

Вместе с тем тов. Евдокимов также и добавил:

— Если б это был не Шолохов с его именем, он давно бы у нас был арестован.

Тов. Евдокимов, которому я все рассказал о своей беседе с Шолоховым — сказал, что Луговой до сих пор не сознался, несмотря на явные факты вредительства и многочисленные показания на него.

На качество следствия обращено внимание краевого Управления НКВД.

Очевидно, что враги, действовавшие в районе, прятались за спину Шолохова, играли на его самолюбии (бюро райкома не раз заседало дома у Шолохова), пытаются и сейчас использовать его как ходатая и защитника своего.

Лучше всего было бы для Шолохова (на которого и сейчас влияет его жены родня, — от нее прямо несет контрреволюцией) — уехать из станицы в промышленный центр, но он решительно против этого, и я был бессилен его убедить в этом.

Шолохов решительно, категорически заявил, что никаких разногласий с политикой партии и правительства у него нет, но дело Лугового вызывает у него большие сомнения в действиях местных властей.

Жалуюсь, что он не может писать, — М. Шолохов почему-то нашел нужным упомянуть, что вот он послал за границу куски IV книги, но они были задержаны в Москве (Главлитом), и из заграницы к нему пришли запросы: где рукопись? Не случилось ли чего?

Шолохов признал и обещал исправить свои ошибки и в отношении письма Красюкова и в отношении общественно-партийной работы. Он сказал, что ему стало легче после беседы.

Мы условились, что он будет чаще писать и приедет в ближайшее время в Москву.

Но основное — его метание, его изолированность (по его вине), его сомнения вызывают серьезные опасения, и об этом я и сообщаю.

С комм. приветом Вл. Ставский

16.IX.37 г.

10

М.А. ШОЛОХОВ — И.В. СТАЛИНУ

5 октября 1937 г.

Дорогой тов. СТАЛИН!

Т. Ежов, наверное, сообщил Вам об исходе вешенского дела. Он говорил вчера, что сегодня будет ставить на ЦК вопрос об освобождении Лугового и Красюкова.

То, что я пережил за эти 10 месяцев, дает мне право просить Вас, чтобы Вы разрешили мне видеть Вас на несколько минут после того, как т. Ежов сообщит о вешенском деле, или в любое другое время, которое Вы сочтете удобным.

Имею к Вам лично, к ЦК просьбу.

Прошу сообщить через Поскребышева, он знает мой телефон.

Москва. Шолохов

5.10.37 г.

11

М.А. ШОЛОХОВ — И.В. СТАЛИНУ

7 октября 1937 г.

Дорогой тов. СТАЛИН!

Крайняя необходимость заставляет меня сегодня выехать домой. В двадцатых числах этого месяца в связи с постановкой «Поднятой целины» в Большом театре я, наконец, снова приеду в Москву и буду просить Вас принять меня тогда. В случае, если мне не придется приехать в Москву, — сообщу письмом из Вешенской то, что хотел сказать Вам при встрече.

Бесконечно благодарный Вам за все.

М. Шолохов

12

ИЗ ПИСЬМА ШОЛОХОВА СТАЛИНУ

Ст. Вешенская, 16 февраля 1938 г.

Дорогой т. СТАЛИН!

После освобождения из-под ареста секретаря Вешенского РК ВКП(б) Лугового, председателя РИК'а Логачева и уполномоченного КомЗагСНК Красюкова бюро Ростовского обкома партии приняло решение о возвращении Лугового и других на прежнюю работу. В этом решении

было записано следующее: «...Материалами следствия установлено, что т. т. Луговой, Логачев и Красюков были злобно оговорены участниками к[онтр]-р[еволюционных] правотроцкистских и эсеровско-белогвардейских организаций в своих подлых вражеских целях».

Эта формулировка неверна по существу и придумана для того, чтобы замести следы вражеской работы. Чего проще: оклеветали вешенских коммунистов враги, на то они и враги, чтобы клеветать; оклеветанные реабилитированы; заблуждение, в коем пребывали Ростовский обком и обл. УНКВД, рассеяно решением ЦК. А на самом деле было все это иначе. Обком (враги бывшие в нем и находящиеся сейчас) создали на Лугового и остальных дело, заведомо зная, что Луговой и остальные непричастны к вражеской работе, враги исключили их из партии, а враги сидящие в органах НКВД Ростовской области заставили других арестованных дать на Лугового, Логачева, Красюкова ложные показания. И не только некоторых арестованных заставили клеветать, но пытались всеми мерами и способами добиться таких же ложных показаний и от самих Лугового, Логачева и Красюкова. В какой-то мере они преуспели и здесь: сломленный пытками Логачев дал ложные показания на многих честных коммунистов, в том числе и на меня, и даже самого себя оговорил. Логачев, которого, как и остальных арестованных, буквально истязали в Новочеркасской тюрьме (к методам следствия и допроса, практиковавшимся в Азово-Черноморье, я вернусь в конце письма), дал именно те показания, какие от него вымогали. [...]

Красюков, с арестом которого начался открытый поход против вешенцев, был отправлен через Миллерово в Ростов, во внутреннюю тюрьму УНКВД, 23/11-36 г. его арестовали, с 25/11 начались допросы. На первом же допросе продержали 4 суток подряд. В течение 96 часов ему дали поесть два раза. Не спал он за это время ни минуты.

О чем спрашивали сменявшиеся по очереди следователи — лейтенанты Топильский, Марков и сержант Бобров? Заставляли показывать на «троцкиста» Слабченко, на Корешкова, вымогали показания о вражеской работе, которую Красюков якобы вел. С января 1937 г. начали допрашивать обо мне, о Луговом, о Логачеве. Через корот-

кие передышки, измерявшиеся часами, снова вызывали на допрос и держали в кабинете следователя по 3—4—5 суток подряд. Следователи в один голос говорили, что Луговой и Логачев арестованы, что они уже дали показания, грозили расстрелом, морили безо сна. Не добившись желательных им показаний, 17/3-37 г. Красюкова бросили в карцер — каменный мешок 2 метра длины и полутора м. ширины, сырой, абсолютно темный. Спал на голом полу. Пробыл в карцере 22 суток. И снова истощенного, замученного, еле державшегося на ногах под руки притащили в следовательский кабинет, и снова допрашивали по 3—4 суток. 25/4 вызвал нач. отделения капитан Осинин. Короткий разговор:

«Молчишь? Не даешь показания, сволочь? Твои друзья сидят. Шолохов сидит. Будешь молчать — сгноим и выбросим на свалку, как падаль!» Допрашивали, не разрешая садиться. Стоял до тех пор, пока держали ноги, потом ложился на пол и поднять не могли уже никакими пинками. Не было такого издевательства, которому Красюкова не подвергали бы: неслыханные ругательства, плевки, отказ выпускать в уборную, допросы с запрещением садиться по полсутки, допросы без сна по 3—5 суток, голод — вот что входило в систему следствия.

После того, как следователи убедились в том, что из Красюкова выжать желательных для них показаний не удастся, его отправили в Ростовскую тюрьму. Летом сидел в камере, построенной на 8 человек, но в которую ухитрились поместить 60 заключенных. Спали на полу «валедами», лежа только на боку, в полусогнутом положении, причем если надо было повернуться на другой бок одному, то поворачиваться вынуждены были все 60. Жара была такая, что, по словам находившегося в камере кочегара, превосходила во много раз жару в машинном отделении парохода. По очереди подползали к дверной щели, чтобы хоть несколько раз глотнуть затхлого, но прохладного воздуха из коридора.

Никакими пытками Красюкова не могли заставить клеветать на себя и других. И когда ему говорили, что он издохнет в тюрьме, он отвечал: «И помирая буду говорить: да здравствует коммунистическая партия и советская

власть! А вы, фашисты, смотрите и учитесь, как надо умирать честным коммунистам!»

В сентябре его отправили в Миллерово... В Миллерово по указанию Сперанского его допрашивали по 6 суток подряд, не давали сутками воды, по трое суток не давали есть. Довели до того, что он заболел кровавым поносом, и если б не подоспел вызов в Москву, то он наверняка умер бы в Миллеровской тюрьме. Всего просидел он в тюрьме 11 с половиной месяцев.

О своем состоянии в тогдaшнее время Красюков говорит так: «Самая страшная пытка — это лишать сна. Приходилось изо всех сил бороться с собой, чтобы не пойти на соблазн легкой смерти, не дать любое показание, какое от меня вымогали. В такие минуты, когда просиживал или простаивал в кабинете следователя по 5 бесконечных суток, расстрел или другое наказание казались избавлением. Поддерживала вера в правоту своего дела, а поэтому и выбрал самую тяжелую смерть: решил лучше умереть замученным, чем лгать на себя и на других».

Лугового с момента ареста посадили в одиночку. Допрашивали следователи Кондратьев, Григорьев, Маркович. Метод изнурения заключенного был тот же, но с некоторыми отступлениями. Так же допрашивали по несколько суток подряд, сажали на высокую скамью, чтобы ноги не доставали пола, и не приказывали вставать в течение 40—60 часов, потом давали передышку в два-три часа и снова допрашивали. Луговой выстаивал по 16 часов, руки по швам, перед следовательским столом. К вариациям допроса можно отнести следующее: плевали в лицо и не велели стирать плевков, били кулаками и ногами, бросали в лицо окурки. Потом перешли на более утонченный способ мучительства: сначала лишили матраца на постели, на следующий день убрали из одиночки кровать; чтобы предохранить больные легкие от простуды, т. к. лежать надо было на голом цементном полу (Луговой болен туберкулезом), он подстилал под спину веник, — взяли и веник из камеры. Затем против одиночки Лугового поместили сошедшего с ума в тюрьме арестованного работника КПК Гришина, и тот своими непрерывными воплями и криками не давал забытья и в те короткие часы, когда приводили с допросов. Не помогло и это — перевели в карцер,

но карцер особого рода, клоповник. В наглухо приделанной к стене кровати кишели, по словам Лугового, миллионы клопов. Ложиться на полу строжайше воспрещали. Лежать можно было только на этой кровати. Но освещение в камере было так искусно устроено (затененный свет), что вести борьбу с клопами было абсолютно невозможно. Через день тело покрывалось кровавыми струпами и человек сам становился сплошным струпом. В клоповнике держали неделю, затем снова в одиночку. Вымогание ложных показаний, «подавление психики» арестованного достигалось и таким путем: среди ночи в камеру приходил следователь Григорьев, вел такой разговор: «Все равно не отмолчишься! Заставим говорить! Ты в наших руках, ЦК дал санкцию на твой арест? Дал. Значит, ЦК знает, что ты враг. А с врагами мы не церемонимся. Не будешь говорить, не выдашь своих соучастников — перебьем руки. Заживут руки — перебьем ноги. Ноги заживут — перебьем ребра. Кровью ссать и срать будешь! В крови будешь ползать у моих ног и, как милости, просить будешь смерти. Вот тогда убьем! Составим акт, что издох, и выкинем в яму».

Логачев испытал тоже самое. Издевались, уничтожали человеческое достоинство, надругивались, били. На допросе продержали 8 суток, потом посадили на 7 суток в карцер, переполненный крысами. В карцере сидел в одном белье, до этого раздели. Из карцера уже не вели, а несли на носилках. Отнялась левая нога. Допрашивали 4 суток. Пролежал в одиночке 3 часа и снова понесли на допрос. Допрашивали 5 суток подряд. Не мог сидеть, падал со стула, просил разрешения у следователя Волошина прилечь на постеленную на полу дорожку, но тот не разрешил лечь там. Пролежал на голом полу около часа и снова подняли. Снова пытали 4 суток. Провоцировали. Следователь Маркович кричал: «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, блядина, сидит у нас! И сидит крепко! Контрреволюционный писака, а ты его покрываешь?!» Бил по лицу. К концу четвертых суток Логачев подписал то, что состряпал и прочитал ему следователь. [...]

Т. Сталин! Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен; этот метод приводил и неизбежно будет приводить



к ошибкам. Тех, которым подчинены следователи, интересует только одно: дал ли подследственный показания, движется ли дело. А самих следователей, судя по делу Лугового и др., интересует не выяснение истины, а нерушимость построенной ими обвинительной концепции. Не даром следователь Шумилин, вымогая у Красюкова желательные для него, Шумилина, показания, на вопрос Красюкова «Вы хотите, чтобы я лгал?», ответил: «Давай ложь. От тебя мы и ложь запишем». В тюрьмах Ростовской обл. арестованный не видит никого, кроме своих следователей. Просьбы арестованных разрешить написать заявление прокурору или нач. УНКВД грубо отклоняются. Написанное заявление на глазах у арестованного уничтожается, и арестованный с каждым днем все больше и больше убеждается в том, что произвол следователя безграничен. Отсюда и оговоры других и признание собственной вины, даже никогда не совершаемой.

Надо покончить с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным. Нельзя разрешать вести беспрерывные допросы по 5—10 суток. Такой метод следствия позорит славное имя НКВД и не дает возможности установить истину.

Бесконтрольная работа следователей дает широкую возможность пробравшимся в следственный аппарат врагам творить свои страшные дела. [...]

Дорогой т. Сталин! Прошу Вас лично — Вы всегда были внимательны к нам — прошу ЦК, — разберитесь с нашими делами окончательно!

Доведите до сведения Н. И. Ежова о содержании моего письма, ведь он сделал первый почин в распутывании вешенского клубка, и пришлите комиссию из больших людей нашей партии, из настоящих коммунистов, которые распутали бы этот клубок до конца. Обком ничего не делает и не сделает!.. Пришлите по делам арестованных коммунистов М. Ф. Шкирятова. Он знает очень многих людей здесь по 1933 г., ему будет легче ориентироваться, и кого-нибудь из заместителей т. Ежова. [...]

За пять лет я с трудом написал полкниги. В такой обстановке, какая была в Вешенской, не только невозможно было продуктивно работать, но и жить было безмерно тяжело. Туговато живется и сейчас. Вокруг меня все еще

плетут черную паутину враги... Ознакомьтесь с заявлением, которое прилагаю, и Вы увидите, что старая история продолжается... Всего не перескажешь, т. Сталин, хватит и этого.

Письмо повезу сам. Если понадобится Вам — Поскребышев меня найдет. Если не увижу Вас — очень прошу через Поскребышева сообщить мне о Вашем решении. Крепко жму Вашу руку.

*М. Шолохов*

Ст. Вешенская  
16 февраля 1938 г.

13

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ  
М.Ф. ШКИРЯТОВА И В.Е. ЦЕСАРСКОГО  
И.В. СТАЛИНУ И Н.И. ЕЖОВУ

23 мая 1938 г.

*Товарищу СТАЛИНУ. Товарищу ЕЖОВУ.*

О результатах проверки письма тов. Шолохова на имя товарища Сталина.

В своем письме на имя товарища Сталина тов. Шолохов выдвигает против работников НКВД Ростовской области ряд обвинений, которые в основном сводятся к следующему:

1. Группа работников УНКВД Ростовской области создавала и продолжает создавать ложные дела на честных и преданных советской власти людей.

«Сотни других коммунистов, посаженных врагами партии и народа, до сих пор томятся в тюрьмах и ссылке» (из письма т. Шолохова).

2. В органах НКВД Ростовской области к арестованным применяются физические насилия и длительные допросы, толкающие арестованных на путь оговаривания неповинных людей и приписывания себе преступлений, ими не совершенных.

«Надо покончить, — писал т. Шолохов, — с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным».

3. Против тов. Шолохова подбирались ложные материалы и распускались провокационные слухи с единственной целью его скомпрометировать.

«В такой обстановке, какая была в Вешенской, невозможно было продуктивно работать, но и жить было безмерно тяжело. Туговато живется и сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги» (из письма т. Шолохова).

В своем письме т. Шолохов требовал пересмотреть следственные дела за 1937 и 1938 гг., освободить из-под стражи невинно осужденных и привлечь к ответственности работников УНКВД по Ростовской области, повинных в этих преступлениях, тов. Шолохов писал:

«Надо тщательно проверить дела осужденных по Ростовской области в прошлом и нынешнем годах, так как многие из них сидят напрасно». «...Невиновные сидят, виновные здравствуют, и никто не думает привлечь их к ответственности».

С целью проверки фактов, приведенных в письме т. Шолохова, мы выехали в г. Ростов, где ознакомились с материалами на указанных лиц, арестованных в Вешенской станице.

.....

В результате расследования фактов, изложенных т. Шолоховым в его письме, установлено:

1. Заявление т. Шолохова об арестах большого количества невинных людей, в том числе лиц, арестованных по оговору в связи с делом Лугового, Логачева и Красюкова, не подтвердилось. Имели место лишь отдельные ошибки, которые мы исправили (дела Лимарева, Дударева, Тютюкина).

2. Проведенный нами допрос целого ряда людей, указанных т. Шолоховым (Дударева, Гребенникова, Конкина, Мельникова, Точилкина и др.), а также проверка их следственных дел показали, что арест названных лиц не был связан с делом т. Лугового, Логачева и Красюкова. Арестованы они были по показаниям других лиц.

3. В результате допроса арестованных (Лимарева, Тютюкина, Дударева, Кузнецова, Мельникова, Точилкина, Гребенникова и Громославского) не подтвердилось также заявление т. Шолохова, что будто бы к арестованным в ор-

ганах НКВД Ростовской области применяются методы физического воздействия.

4. Не подтвердилось и заявление т. Шолохова о том, что со стороны районного отделения НКВД против него была организована травля. Нами установлено, что заявление на Сидорова состряпано врагом Молчановым-Благодаровым с единственной целью — дискредитировать т. Шолохова. Тов. Шолохов в этом убедился сам при допросе Молчанова.

5. Но несомненным остается одно, что поводом для заявления т. Шолохова по вопросу о травле против него послужил тот факт, что во время ареста т. Лугового, Логачева и Красюкова (теперь реабилитированным) в Райотделении НКВД и среди отдельных работников района действительно велись разговоры такого характера, что т. Шолохов был очень близок к арестованным и как это он мог проглядеть их.

6. Что же касается вопроса о привлечении к ответственности работников Вешенского и Миллеровского отделений НКВД т.т. Сперанского, Тимченко и Кравченко, то мы считаем, что делать это нецелесообразно. У этих работников НКВД были отдельные ошибки в их работе, но в данное время они за свои ошибки наказаны т. Ежовым. Тов. Сперанский переведен тов. Ежовым на работу в Колыму, а т. Тимченко переброшен в другой район и ему сделаны указания на допущенные ошибки. А тов. Кравченко, который работал незначительное время в Вешенском районе, мы считаем нецелесообразным его привлекать к ответственности. [...]

*Шкирятов*

23/V-38 г.

14

М.А. ШОЛОХОВ — И.В. СТАЛИНУ

*Вешенская, 11 декабря 1939 г.*

Дорогой т. Сталин!

24 мая 1936 г. я был у Вас на даче. Если помните, Вы дали мне тогда бутылку коньяку. Жена отобрала ее у меня и твердо заявила: «Это память, и пить нельзя!» Я потра-

тил на уговоры уйму времени и красноречия. Я говорил, что бутылку могут случайно разбить, что содержимое ее со временем прокиснет, чего только не говорил! С отвратительным упрямством, присутщим, вероятно, всем женщинам, она твердила: «Нет! Нет и нет!» В конце концов я ее, жену, все же уломал: договорились распить эту бутылку, когда кончу «Тихий Дон».

На протяжении этих трех лет, в трудные минуты жизни (а их, как и у каждого человека, было немало), я не раз покушался на целостность Вашего подарка. Все мои попытки жена отбивала яростно и методично. На днях, после тринадцатилетней работы, я кончаю «Тихий Дон». А так как это совпадает с днем Вашего рождения, то я подожду до 21-го, и тогда, перед тем как выпить, пожелаю Вам того, что желает старик из приложенной к письму статейки.

Посылаю ее Вам, потому что не знаю, — напечатает ли ее Правда.

Ваш М. Шолохов

Вешенская 11.XII.39.

15

М.А. ШОЛОХОВ — И.В. СТАЛИНУ

29 января 1940 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Привез конец «Тихого Дона» и очень хотел бы поговорить с Вами о книге.

Если сочтете возможным — пожалуйста, примите меня.

С приветом М. Шолохов

29.1.40.

16

М.А. ШОЛОХОВ — И.В. СТАЛИНУ

3 января 1950 г.

Дорогой товарищ Сталин!

В 12-м томе Ваших Сочинений опубликовано Ваше письмо тов. Феликсу Кону. В этом письме указано, что я

допустил в романе «Тихий Дон» «ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.».

Товарищ Сталин! Вы знаете, что роман читается многими читателями и изучается в старших классах средних школ и студентами литературных факультетов университетов и педагогических институтов. Естественно, что после опубликования Вашего письма тов. Ф. Кону у читателей, преподавателей литературы и учащихся возникают вопросы, в чем я ошибся и как надо правильно понимать события, описанные в романе, роль Подтелкова, Кривошлыкова и других. Ко мне обращаются за разъяснениями, но я молчу, ожидая Вашего слова.

Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне, в чем существо допущенных мною ошибок.

Ваши указания я учел бы при переработке романа для последующих изданий.

С глубоким уважением к Вам

*М. Шолохов*

3 января 1950 г.

Сюжет первый

## «НЕ ТАК-ТО ЛЕГКО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА...»

Эта реплика — из письма Сталина Феликсу Кону, написанного и отправленного адресату 9 июля 1929 года.

Поводом для письма явилась брошюра некой Микулиной «Соревнование масс». Точнее — не столько сама брошюра, сколько резкий критический отклик на нее некой Руссовой.

Руссова в своем отклике не оставила от этой пропагандистской брошюры камня на камне, обвинив автора в незнании и грубом извращении реальных фактов и обстоятельств, положенных в ее основу.

Вся эта история не стоила выеденного яйца и, конечно, ни при какой погоде не привлекла бы к себе внимание вождя, если бы не одно пикантное обстоятельство, заключающееся в том, что он, Сталин, написал к этой справедливо раскритикованной ничтожной брошюрке (справедливость обрушившейся на нее критики он и сам признал) поощрительное и даже хвалебное предисловие.

Он, конечно, мог бы никак на этот мелкий казус не реагировать. Но решил отреагировать.

Разумеется, не с тем, чтобы извиниться, а чтобы утвердить свою правоту. И даже поднять этот свой очевидный журналистский ляп на некую принципиальную высоту.

При этом он все-таки не смог скрыть, что уничтожающий отклик на брошюру, к которой он написал хвалебное предисловие, его задел.

Эта очевидная его задетость прорвалась в той самой реплике, которую я сделал заглавием этого сюжета:

- ▶ Т. Руссова особенно возмущена тем, что т. Микулина «ввела в заблуждение тов. Сталина». Нельзя не ценить заботу о тов. Сталине, проявленную в данном случае т. Руссовой. Но она, эта забота, мне кажется, не вызванной необходимостью.

Во-первых, не так-то легко «вводить в заблуждение тов. Сталина».

Во-вторых, я нисколько не каюсь в том, что предпослал предисловие к **незначительной** брошюре **неизвестного** в литературном мире человека, ибо я думаю, что брошюра т. Микулиной, несмотря на ее отдельные и, может быть, грубые ошибки, принесет рабочим массам большую пользу.

*(И. Сталин. Сочинения. Том 12. М., 1949. Стр. 113)*

Тут — обычная сталинская демагогия.

В ленинском «Завещании» сказано, что он груб с товарищами, — он отвечает: «Да, я груб, и всегда буду груб с врагами рабочего класса!»

Ему говорят, что брошюра, которую он имел неосторожность похвалить, насквозь лжива, — он отвечает, что и впредь будет поощрять и поддерживать незначительные произведения никому не известных авторов, что это его **принципиальная установка**:

- ▶ ...Я решительно против того, чтобы давать предисловия только к брошюрам и книгам литературных «вельмож», литературных «имен», «корифеев» и т.п. Я думаю, что нам пора отрешиться от этой **барской** привычки выдвигать и без того выдвинутых литературных



«вельмож», от «величия которых» стоном стонут наши молодые, никому не известные и всеми забытые литературные силы... Я и впредь буду давать предисловия только к простым и не кричащим брошюрам простых и неизвестных авторов из молодых сил. Возможно, что кой-кому из чиновочитателей не понравится подобная манера. Но какое мне до этого дело? Я вообще не любитель чиновочитателей...

*(Там же. Стр. 114)*

При этом, однако, он, как уже было сказано, не отрицает, что уничтожающая критика расхваленной им брошюры, в сущности, справедлива. Что в злополучной этой брошюре полно вранья. Он с этого даже начинает:

- ▶ Я допускаю, что прядильни Бардиной нет в природе и в Зарядье нет прядильной. Допускаю также, что Зарядьевская фабрика «убирается еженедельно». Можно признать, что т. Микулина, может быть, будучи введена в заблуждение кем-либо из рассказчиков, допустила ряд грубых неточностей, и это, конечно, нехорошо и непростительно. Но разве в этом дело?..

И тут — совершенно неожиданно, как «черт из табакерки», вдруг появляется Шолохов:

- ▶ Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др., но разве из этого следует, что «Тихий Дон» — никуда негодная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?

*(Там же. Стр. 112)*

Казалось бы: ну при чем тут Шолохов?

Какая-то ничтожная пропагандистская брошюрка — и одно из самых значительных (по мнению многих — самое значительное) явлений русской прозы, первый том грандиозной художественной эпопеи, сразу сделавший молодого, вче-

ра еще никому не известного автора «знаменитым писателем нашего времени»...

Может быть, Сталина тут просто «занесло»? Может быть, он брякнул это, не подумав? Может быть, не стоит даже и обращать внимания на эту сгоряча, в пылу полемики брошенную реплику?

Основания для такого отношения к этому сталинскому замечанию вроде имеются. Особенно, если учесть, что он никогда больше к этой теме не возвращался и ни разу не счел нужным разъяснить, какие именно «грубейшие ошибки и неверные сведения» обнаружил он в «Тихом Доне». Даже когда Шолохов (двадцать лет спустя, когда это сталинское письмо было опубликовано) прямо обратился к нему с просьбой объяснить, что он при этом имел в виду, — не счел нужным ничего объяснять. Так ничего на вопрос писателя и не ответил.

Все это как будто дает нам дополнительные основания отнести к этому сталинскому замечанию как к случайной, не нагруженной особым смыслом обмолвке вождя.

Но у Сталина никаких таких случайных обмолвок не бывает. И если он счел нужным в свой ответ на критику брошюры Микулиной вставить этот пассаж о Шолохове, значит, был тут у него некий умысел, и был в этом его отвлечении в сторону свой, особый смысл.

Смысл этот состоял в уведомлении, что если случится так, что какие-то ретивые критики, желающие быть большими католиками, чем сам папа, станут обвинять автора «Тихого Дона» в том, что он неправильно отразил историю Гражданской войны и тем самым «ввел в заблуждение товарища Сталина» (а такие голоса из стана рапповских «неистовых ревнителеей» уже раздавались), то он заранее предупреждает, что «не так-то просто вводить в заблуждение товарища Сталина».

Если товарищ Сталин счел нужным поддержать Шолохова и даже теперь вот называет его «знаменитым писателем нашего времени», то он знает, что делает. И делает это не потому, что плохо осведомлен или недостаточно глубоко вник

в существо дела, а потому, что так решил, тщательно взвесив все «за» и «против».

Письмо Сталина Феликсу Кону было отнюдь не частного, не личного характера, и хотя тогда оно не было опубликовано (опубликовал его Сталин в 1949 году в 12-м томе собрания своих сочинений), содержание его, конечно, сразу стало известно, — во всяком случае, в кругу «работников идеологического фронта».

О том, почему Сталин решил вдруг опубликовать это давнее свое письмо спустя **двадцать лет** после того, как оно было написано, мы еще поговорим. Пока же отметим только, что в июле 1929 года, то есть всего через год после того, как вышел в свет первый том «Тихого Дона», Сталин присвоил молодому Шолохову (ему было тогда 24 года) титул «знаменитого писателя нашего времени», как позже Маяковскому титул «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи». И тут же дал понять, что титулом этим он его наградил, не закрывая глаза на то, что «тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений».

Но помимо этого был у Сталина в этой его невзначай брошенной реплике еще и другой ассоциативный ход. Прямо не высказанный, но довольно легко читаемый.

\* \* \*

Письмо Сталина Феликсу Кону было написано в июле 1929 года. А в марте того же 1929 года — на страницах «Правды» было напечатано «Письмо в редакцию», которое «по поручению секретариата Российской ассоциации пролетарских писателей», как там было сказано, подписали — *А. Серафимович, Л. Авербах, В. Киришон, А. Фадеев, В. Ставский.*

«Врагами пролетарской диктатуры, — говорилось в этом письме, — распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи».

Не может быть сомнений, что инициаторами появления в «Правде» письма руководителей РАППа, гневно отвергающих версию о шолоховском плагиате, были не подписавшие

это письмо Серафимович, Авербах, Киршон, Фадеев, Ставский. Указание сочинить и опубликовать такое письмо явно шло с самого верха.

Н. Берберова, рассказывая о том, как они с Ходасевичем жили в Сорренто у Горького, вспоминает такой эпизод:

- ▶ Однажды у него в гостях я увидела Рыкова, тогда председателя Совета народных комиссаров, приехавшего в тот год в Германию лечиться от пьянства. Рыков вялым голосом рассказывал о литературной полемике, тогда злободневной, между Сосновским и еще кем-то.

— Чем же все кончилось? — спросил Ходасевич, его эта полемика очень волновала по существу.

— А мы велели прекратить, — вяло ответил Рыков.

*(Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. Том первый. Нью-Йорк, 1983. Стр. 207)*

Было это году в 1924-м или 1925-м, и слово «мы» в устах Рыкова еще не было эвфемизмом. Но в марте 1929-го, когда на страницах «Правды» появилось подписанное руководителями РАППа «Письмо в редакцию», никаких «мы» уже не было. Распорядиться сочинить и напечатать в «Правде» такое письмо теперь мог уже только один человек: Сталин.

Не столько для того, чтобы подтвердить, сколько для того, чтобы проиллюстрировать это мое утверждение, перескажу историю, которую мне однажды рассказал Семен Израилевич Липкин.

Как известный знаток и переводчик таджикской поэзии он был приглашен в Кремль на большой прием, устроенный по случаю проходившей в Москве декады таджикской литературы и искусства.

Банкет был уже в самом разгаре, когда за столом, где восседали члены Политбюро, с бокалом вина в руке поднялся Сталин.

Все смолкло.

Медленно, неторопливо, не повышая голоса, как человек хорошо знающий, что каждое его слово будет услышано, как бы тихо и даже неразборчиво он его ни произнес, он начал:

— Великий таджикский поэт Фирдоуси...

И тут произошло неожиданное. За одним из дальних столов (тем самым, за которым сидел и рассказывавший мне об этом С.И. Липкин) вскочил маленький щупленький старичок и, прервав вождя, громко выкрикнул:

— Бираф, бираф!..

Рядом со старичком тут же оказались два дюжих молодца в одинаковых темно-синих костюмах. Они подхватили его с обеих сторон и молча, не произнеся ни единого слова, усадили обратно на стул.

Переждав эту маленькую суматоху, так же медленно, раздумчиво вождь повторил:

— Великий таджикский поэт Фирдоуси...

Двое молодых крепко держали непредсказуемого старичка за руки. Но сила его волнения была, видать, так велика, что он вырвался из их мощных дланей, вскочил на ноги и снова выкрикнул свой странный лозунг, слегка даже его расширив:

— Бираф! Бираф! Литературоведения умерла!

Сталин медленно прошел через весь зал, подошел к столу, за которым сидел нарушитель порядка, и, обратившись к нему, спросил:

— Кто вы?

— Ми Айни! Ми Айни! — представился тот, почтительно приложив руку к груди.

— Я знаю, что вы Айни, — сказал Сталин. (Могло ли такое быть, чтобы он чего-нибудь не знал!) — Вся страна знает, что вы Айни. Но ведь это псевдоним. А как ваша настоящая фамилия?

Айни назвал свою «девичью» фамилию.

Сталин протянул ему руку и сказал:

— Будем знакомы. Джугашвили.

Из всех присутствующих, кажется, один только Липкин понимал, что означал загадочный лозунг, который, не удержавшись в рамках приличий, выкрикнул сидевший рядом с ним старичок.

Непонятные слова «бираф, бираф» расшифровывались

просто. Это значило: «Браво, браво!» Со второй же частью лозунга дело обстояло несколько сложнее.

На протяжении многих лет живой классик таджикской литературы Садриддин Айни вел упорную борьбу с традиционным литературоведением, утверждавшим, что Фирдоуси был великим персидским поэтом. Он же, Айни, доказывал, что тот был не персидским, во всяком случае, не только персидским, а главным образом и прежде всего **таджикским** поэтом. Над этим его утверждением смеялись, ни один литературовед не принимал его аргументов всерьез. Но он не сдавался, упорно продолжал отстаивать то, что считал истиной. И вот, наконец, свершилось. Многолетний спор был закончен: «Литературоведения умерла».

Старик Айни ничуть не преувеличил в своем эмоциональном порыве значение сталинской реплики. После слов, произнесенных вождем, «литературоведения» действительно «умерла». И тут уже не имело решительно никакого значения, были эти сталинские слова результатом обдуманного, взвешенного политического решения или просто случайной обмолвкой.

Самая суть сталинского режима полностью исключала возможность каких-либо дискуссий. Громкие научные дискуссии если и случались, так только в тех случаях, когда были специально организованы и срежиссированы с целью в конце ее представить истинную, то есть единственно возможную и отныне неизменную, не подлежащую обсуждению точку зрения. Самым ярким примером такой дискуссии была знаменитая дискуссия о языкознании, завершившаяся публикацией нового «труда» товарища Сталина «Относительно марксизма в языкознании», сразу же объявленного выдающимся вкладом в сокровищницу марксистско-ленинских знаний.

Любой шаг в сторону от общепринятой, то есть государственной, точки зрения неизменно рассматривается как побег, и конвой открывает огонь без предупреждения. Так было с разгромом «школки Покровского», буржуазной «лженау-

ки» генетики, другой буржуазной «лженауки» — кибернетики.

Кое-какие отклонения от этого закона все-таки случались.

Не удалось объявить «лженаукой» и выкинуть на помойку вредоносную теорию относительности Эйнштейна: воспротивились физики, которым поручено было делать атомную бомбу.

Почему-то не до конца придушили «антипатриотическую» версию академика Зимина, подкрепившего своими исследованиями клеветнические измышления западных «лжеученых» (Л. Леже и А. Мазона), отрицавших подлинность «Слова о полку Игореве».

Но такие отклонения от главного принципа были возможны только в том случае, если на дискуссионную тему не высказался вождь. Что же касается дискуссии об авторстве «Тихого Дона», то она появившимся в «Правде» в марте 1929 года «Письмом в редакцию» была закрыта напрочь и наглухо. И это может служить дополнительным подтверждением того, что закрыл эту тему не кто иной, как сам Сталин. Вождь произнес свое веское слово, и — «литературоведения умерла».

\* \* \*

Письмом руководителей РАППа в редакцию «Правды» эта «злостная клевета» надолго была пресечена. Но в 60-е годы (по инициативе А.И. Солженицына) вспыхнула с новой силой, а в нынешнее время стала предметом неумолкающих научных и квазинаучных споров и дискуссий, в условиях нашего причудливого социального климата принимающих порой комические и даже гротескные формы.

Был, например, такой случай.

Место действия — Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук. Учреждение это весьма почтенное, и все проходящие там научные дискуссии носят, как правило, характер сугубо академический. Но в этот раз дело приняло несколько иной оборот.

Обсуждался тот самый роковой вопрос: можно ли с уве-

ренностью утверждать, что автором «Тихого Дона» является Шолохов, или все-таки на этот счет допустимы некоторые сомнения?

Дискуссия шла довольно вяло. Почти все высказывавшиеся пели осанну Михаилу Александровичу, говорили о его гениальности и о том, что любое сомнение в его авторстве — прямое кощунство.

Кто-то сказал, что Шолохов не просто русский писатель, он еще и православный писатель. Говорят, он был атеистом? Да, но это ничего не значит, поскольку атеизм на русской земле — это тоже православие.

Писатель Петр Проскурин сказал, что из русских писателей двадцатого века через пятьсот или тысячу лет будут помнить лишь немногих. Этим немногим он уже сейчас мог бы назвать, но делать этого не станет, чтобы не смущать кое-кого из сидящих в зале. И поэтому называет только одного Шолохова.

Остальные высказывались примерно в том же духе.

В этом хоре аллилуйщиков редкие голоса сомневающихся в шолоховском авторстве были еле слышны.

А последнюю точку поставили приглашенные для участия в этой научной конференции земляки Михаила Александровича.

Представитель донского казачества сказал буквально следующее:

— Перед Россией и всеми порядочными людьми в присутствии средств массовой информации хочу заявить, что казаки попросту выпорют тех, кто не верит, что именно Шолохов написал «Тихий Дон». И выпорют как следует! Если на них не действует метод убеждения, придется нам прибегнуть к традиционному казачьему средству. Ну как, казаки? Любо?

И приглашенные станичники дружно гаркнули:

— Любо!

На том научная дискуссия и закончилась.

История эта, конечно, характеризует особенности ведения научных дискуссий в нашем отечестве. Но в последние двадцать лет положение все-таки несколько изменилось, и



уже существует весьма обширная — в полном смысле этого слова **научная** литература, посвященная этому «шолоховскому вопросу», которому, быть может, суждена такая же долгая жизнь, как знаменитому «шекспировскому».

Вообще-то вопрос этот как будто лежит за пределами моей темы, и у меня нет особой нужды в него углубляться. Но обойти его я тоже не могу. Хотя бы потому, что отношение Сталина к Шолохову не может быть понято без ответа на вопрос: а что знал и думал о проблеме авторства «Тихого Дона» — ОН, Сталин?

Среди множества самых разных суждений, гипотез и предположений о том, кто был истинным автором «Тихого Дона» (к некоторым из них мы еще не раз будем возвращаться), есть и такое:

- ▶ Думается, эта проблема вряд ли будет в обозримом будущем разрешена окончательно и бесповоротно. Поэтому проблему «автора» мы можем в данном случае, вслед за Михаилом Бахтиным и Роланом Бартом, трактовать как в достаточной мере условную.

*(Соломон Волков. История русской культуры  
XX века. От Льва Толстого до Александра  
Солженицына. М., 2008. Стр. 154)*

Литературоведа, филолога, исследующего структурные и всякие иные особенности произведения, такой взгляд на эту проблему, быть может, и устроит, поскольку предметом его изучения является текст — только текст, — а текст, вот он, перед ним, и ничего другого, кроме этого текста, для его исследования ему не нужно. Я же статью на такую точку зрения не могу — уже по одному тому, что Сталин имел дело и вступал в отношения не с неким «условным» автором, а с вполне определенным, конкретным человеком — Михаилом Александровичем Шолоховым. И коль скоро я занимаюсь историей его отношений именно с ним, я должен — хотя бы для себя — постараться понять, считал ли ОН этого человека истинным автором «Тихого Дона» или не считал? Не может

же быть, чтобы эта проблема его так-таки уж совсем не интересовала. Не в его правилах было — не узнать, что представляет собой человек, с которым ему предстоит иметь дело. Не за кого он себя выдает, а кем действительно является.

В своих отношениях с людьми Сталин исходил из того, что каждый человек — не тот, за кого он себя выдает, каким старается казаться. Эту его уверенность никто не мог поколебать. Да, по правде говоря, для этой уверенности у него были весьма серьезные основания: он ведь и сам был не тем человеком, за которого себя выдавал.

Так вот: он безусловно знал, что Шолохов не был автором «Тихого Дона». Во всяком случае, версию эту он (для себя) не отбросил как ложную, клеветническую. И репликой, которой я озаглавил этот сюжет («Не так-то легко вводить в заблуждение товарища Сталина»), прямо дал понять, что версия эта ему известна. Но у него есть на этот счет свои соображения. И, во всяком случае, это ОН будет решать, считать ли Шолохова истинным автором знаменитого романа или самозванцем.

Дав команду опубликовать в «Правде» «Письмо в редакцию», гневно отвергающее версию о шолоховском плагиате, он ясно дал понять «городу и миру», что соответствующее решение на этот счет им уже принято. И принято не потому, что Шолохову (или тем, кто выдвинул кандидатуру Шолохова на роль автора знаменитого романа) удалось «ввести в заблуждение товарища Сталина», а потому, что по каким-то своим соображениям он именно такое решение счел наиболее целесообразным.

Высказывалось предположение, что Сталин будто бы даже сам, лично — то ли набросал, то ли продиктовал текст этого «Письма в редакцию», подписанного руководителями РАППа.

Такие случаи, как мы знаем, бывали.

В главе «Сталин и Горький» я подробно рассмотрел версию Соломона Волкова, согласно которой знаменитая редакционная статья «Правды» о Шостаковиче «Сумбур вместо музыки» была написана (или продиктована) не кем иным,

как самим Сталиным. В главе «Сталин и Эренбург» я так же подробно развивал свою собственную версию о том, что замышляемое Сталиным «Письмо в редакцию» именитых советских евреев о «врачах-убийцах» тоже несет на себе явственный отпечаток неповторимого сталинского стиля.

О «Письме в редакцию» в защиту Шолохова этого не скажешь. Но так ли уж важно, сам ли Сталин наметил контуры этого письма или только скомандовал, чтобы такое письмо в «Правде» появилось? Важно то, что фактом публикации этого «Письма» именно ОН поставил в этом вопросе последнюю точку.

Но есть все основания предполагать, что роль Сталина в назначении Шолохова автором «Тихого Дона» одной только этой акцией не ограничилась.

\* \* \*

Авторы одного из самых фундаментальных исследований проблемы авторства «Тихого Дона» А.Г. Макаров и С.Э. Макарова выдвинули версию, согласно которой не кто иной, как Сталин принял решение приписать авторство книги, созданной неким белым офицером, молодому пролетарскому писателю и остановил свой выбор именно на Шолохове.

Версия эта не была плодом отвлеченных гипотетических построений, домыслов и догадок. Она опиралась на сообщение едва ли не последнего оставшегося в живых свидетеля появления на свет первых томов шолоховской (шолоховской ли?) эпопеи.

- ▶ В январе 1992 года на Ленинградском телевидении мы выступили в передаче Виктора Правдюка и Александра Зайца с рассказом о нашем исследовании вопроса об авторстве «Тихого Дона», в последней из 12 передач этого цикла. А некоторое время спустя — получили письмо от одного из зрителей, как оказалось, одного из немногих оставшихся свидетелей появления на свет этой эпопеи о донском казачестве. Доктор технических наук, профессор Александр Лонгинович Ильский в далеком 1927 г. семнадцатилетним юношей

попал на работу в редакцию «Роман-газеты». На его глазах разворачивались события, связанные с публикацией романа.

(А.Г. Макаров. С.Э. Макарова. Цветок-Татарник.  
В поисках автора «Тихого Дона». М., 2001. Стр. 11)

Письмо А.Л. Ильского, в котором он подробно рассказал все, что знал и помнил, Макаровы поместили в своей книге.

Я приведу здесь лишь самое существенное из этого его подробного рассказа:

- ▶ ...Я, очевидно, являюсь одним из последних участников событий времен появления на свет произведения «Тихий Дон» в 1928 г. Я... в тот период с конца 1927 г. по апрель 1930 г., еще молодым, работал в редакции «Роман-Газеты» в издательстве «Московский Рабочий» техническим секретарем редакции, я часто встречался с М. А. Шолоховым, регистрировал его рукописи, сдавал в машбюро их печатать и практически участвовал во всей этой кухне, как из Шолохова сделали автора «Тихого Дона». Не только я, но и все в нашей редакции знали, что первые четыре части романа «Тихий Дон» М. А. Шолохов никогда не писал. Дело было так: в конце 1927 г. в редакцию М. А. Шолохов притащил один экз. рукописи объемом около 500 стр. машинописного текста. Шолохову в то время было около 22 лет, а мне около 17.

Редакция «Роман-Газеты» была создана во второй половине 1927 г., состояла она из зав. редакцией Анны Грудской, молодой, энергичной троцкистки, жены крупного партийного деятеля Карьева, двух редакторов Ольги Слуцкой и Мирник, и меня — техсекретаря. В редакции были нештатные рецензенты: писатель А. Серафимович, он играл крупную роль в правлении РАПП, а также к редакции была прикреплена, вроде партцензора и воспитателя, старая большевичка Левицкая, у которой были связи в секретариате И. В. Сталина...

В то время, когда начиналась эпоха избиения русской интеллигенции (Шахтинское дело и процесс Промпартии во главе с проф. Рамзиным, высылка Л. Троцкого, запрещение публиковать С. Есенина, Бунина, Пастернака и др. «непролетарских» писателей), И. В. Сталину надо было доказать, что всякая кухарка может управлять государством, не могло быть и речи об издании произведения, даже гениального, но написанного белогвардейским офицером. Нужен был писатель только с хорошей анкетой... Вот подоплека того, что выбор пал на М. А. Шолохова...

У М. А. Шолохова оказалась подходящая биография и анкета. Он родом из казаков, родился на Дону, молодой писатель (уже опубликовал в 1926 г. «Донские рассказы»)... То, что он не имел даже законченного среднего образования — это даже хорошо. Это подтверждает слова вождя — о кухарке. А сам Шолохов? Он, конечно, согласился. Да разве кто-нибудь отказался бы от свалившегося на него такого подарка? Он вел себя очень прилично. Сидел большую часть времени у себя в Вешенской и никуда не совался.

После выхода ж. «Октябрь» с публикацией «Тихого Дона» (№ 1—10 за 1928 г.) поползли слухи, что это плагиат. Да как мог молодой человек, без опыта жизни за один год отграть около 500 стр. рукописи такого романа? С апреля месяца 192[9] г. публикация романа «Тихий Дон» была прекращена... Однако издание «Тихого Дона» уже было запущено в «Роман-Газете». Теперь А. Грудской и ее друзьям из шайки зарождающейся уже тогда литературной мафии надо было срочно спасать честь мундира. Партфюрер нашей редакции срочно бежит в секретариат И. В. Сталина к своей подруге и уговаривает ее подsunуть Сталину «Тихий Дон», чтобы он прочел.

Действительно, он прочел это «произведение» Шолохова и дал ему добро. Это стало сразу общеизвестно.

А. Грудская собирает всех нас, работающих в редакции, и заявляет, что она была в «верхах» и там решено, что автором «Тихого Дона» является М. А. Шолохов.

*(Там же. Стр. 11—12)*

Из названных в этом письме лиц биографам Шолохова до этого свидетельства Ильского известна была (кроме Серафимовича, конечно) только «старая большевичка Левицкая».

Евгении Григорьевне Левицкой в 1928 году (год ее знакомства с Шолоховым) было 48 лет. Член ВКП(б) с 1903 года. После революции — на партийной работе. Одно время работала в ЦК, потом в партийном издательстве. По официальной версии, рукопись «Тихого Дона» попала к ней из «самотека» (просто пришла по почте), и она сразу поняла, какой художественной мощи эта вещь, написанная никому не известным молодым автором.

Отношения Шолохова с Е.Г. Левицкой длились до самой ее смерти. Он делился с нею (сохранилась их переписка) всеми своими переживаниями — не только литературными, но и бытовыми. «Евгении Григорьевне Левицкой, члену КПСС с 1903 года» посвящена шолоховская «Судьба человека».

Роль Е.Г. Левицкой в жизни и литературной судьбе Шолохова была не очень ясна. Сообщение Ильского эту ее роль прояснило.

Что же касается остального, то все это было, наверно, не так примитивно-просто. Но одно несомненно: Сталин, конечно, знал — не мог не знать, — что авторство Шолохова, мягко говоря, сомнительно. Но он этим пренебрег и дал команду именно его, этого «молодого пролетарского писателя», считать автором «Тихого Дона».

Высказанные Ильским предположения о мотивах, которыми руководствовался Сталин, принимая это свое решение, не кажутся мне особенно убедительными. «Пролетарское происхождение» и безукоризненные анкетные данные молодого автора, которого Сталин решил объявить автором эпопеи о судьбе донского казачества, какую-то роль тут, может быть, и сыграли. Но — отнюдь не главную. А убеждение Ильского, что об издании «произведения, даже гениального,

но написанного белогвардейским офицером», в то время не могло быть и речи, — по меньшей мере наивно. Объявил же Сталин выдающимся писателем «земли советской» недавнего белоэмигранта А.Н. Толстого. И ничто не помешало бы ему, если бы он счел это целесообразным, объявить автором «Тихого Дона» хоть самого генерала Краснова.

Нет, идея объявить создателем эпопеи не истинного ее автора, а «самозванца» пришла Сталину по душе совсем по другой причине.

И совсем не потому, что он и сам тоже был самозванцем.

Она — эта идея — пришла ему по душе, потому что едва ли не главный принцип его кадровой политики состоял в том, чтобы на важный партийный или государственный пост выдвинуть человека, у которого, как говорят англичане, есть свой «скелет в шкафу».

Такой «скелет в шкафу» был у Вышинского, который летом семнадцатого года (он был тогда начальником Арбатской милиции в Москве) распорядился вывесить на стенах домов подписанный им лично указ о розыске и аресте Ленина.

Свой «скелет в шкафу» был у Берии. Свой — у Багирова. Свой — у Микояна, чудом уцелевшего при расправе белых с двадцатью шестью бакинскими комиссарами.

Не могу не рассказать тут весьма характерную в этом смысле историю из фольклорной интеллигентской сталинианы.

Во время войны на экранах наших кинотеатров с огромным успехом шел американский фильм «Три мушкетера».

Фильм был пародийный. Все подвиги, о которых рассказывалось в знаменитом романе Дюма, в фильме совершали не любимые нами д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис, а какие-то невесты откуда взявшиеся поварята. Это слегка разочаровывало. Но фильм был так обаятелен, что мы довольно легко с этим примирились. И совсем не последнюю роль тут сыграла совершенно прелестная музыка. Особенно проходящая лейтмотивом через весь фильм главная его песенка.

Я думаю, что не преувеличу, если скажу, что эту легкую, задорную, заразительную песенку тогда распевала вся страна.

Но мало кто знал, что музыку к американским «Трем мушкетерам», в том числе и чарующую эту мелодию сочинил Аркадий Покрасс — родной брат популярных советских композиторов «братьев Покрасс» — Дмитрия и Даниила.

Такая вот была семейка: два брата — наши, советские, а один — американец.

Старшего из советских Покрассов, Дмитрия, очень любил Буденный — ведь это именно он сочинил знаменитую «Конную Буденного».

Собственно, считалось, что песню эту братья написали вдвоем. Но главной фигурой в этом братском содружестве был Дмитрий, и именно с ним Буденный любил иногда коротать свои вечера.

И вот однажды — в один из таких вечеров — раздался телефонный звонок.

Звонил Сталин.

Покрасс, естественно, вопросов Сталина не слышал. Он слышал только ответы Буденного: «Покрасс... Да... Хорошо... Сейчас приедем...»

Положив трубку, Буденный объяснил:

— Зовет... Отдохнем, говорит... Американский фильм посмотрим. «Три мушкетера». Спросил: кто там у тебя? Я сказал, что ты. Он говорит: очень хорошо, бери его с собой... Вставай, поехали!

Отказаться от такого приглашения, понятное дело, было невозможно.

Всю дорогу Покрасс терзался вопросом: будет или не будет в титрах фильма фамилия его брата? И если будет, заметит ее Сталин или не заметит?

Фамилия в титрах была. Но никто из собравшихся ничего по этому поводу не сказал. Неужели не заметил? — терзался Покрасс.

Никакого удовольствия от фильма он, конечно, не получил. Все, что происходило на экране, было для него — как в тумане. Его лихорадило. То его прошибал холодный пот:



«Знает! Наверняка знает». То верх брала надежда: чем черт не шутит, а может, и пронесет!

И вот фильм кончился. Зажегся свет.

Поняв, что вождю фильм понравился, его стали хвалить. Посыпались осторожные одобрительные реплики. Кто-то сказал:

— А какая музыка хорошая!

Покрасс сидел ни жив ни мертв: ему показалось, что при этих словах вождь как-то особенно внимательно, со значени-ем поглядел на него.

Показалось?

Да нет, не показалось.

Проходя мимо композитора, Сталин положил руку ему на плечо, улыбнулся и сказал:

— Трэпэщешь?

Сталин хотел, чтобы перед ним **трепетали**. Не верность идее и даже не личная преданность, а именно вот этот трепет был для него самой верной гарантией надежности выдвинутого им на тот или иной высокий пост человека. А что может быть более верным и надежным залогом этого трепета, чем **постоянный страх разоблачения!**

\* \* \*

Впервые Шолохов встретился со Сталиным в июле 1931 года.

Дело было на подмосковной даче Горького — в Краскове.

- ▶ Сидели за столом. Горький все больше молчал, курил да жег спички над пепельницей. Кучу целую за разговор зажег.

Сталин задал вопрос:

— Почему вы так смягченно описываете генерала Корнилова? Надо его образ ужесточить.

Я ответил:

— Поступки Корнилова вывел без смягчения. Но действительно некоторые манеры и рассуждения изобразил в соответствии с пониманием облика этого вос-

питанного на офицерском кодексе чести и храброго на германской войне человека, который субъективно любил Россию. Он даже из германского плена бежал.

Сталин воскликнул:

— Как это — честен?! Он же против народа пошел! Лес виселиц и моря крови!

Должен сказать, что эта обнаженная правда убедила меня. Я потом отредактировал рукопись.

Сталин новый вопрос задал:

— Где взял факты о перегибах Донбюро РКП(б) и Реввоенсовета Южфронта по отношению к казаку-средняку?

Я ответил, что роман описывает произвол строго документально — по материалам архивов.

*(Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005.  
Стр. 130—131)*

Биограф Шолохова, записавший этот шолоховский рассказ о допросе, который учинил ему тогда Сталин, замечает, что после этого сталинского вопроса Шолохов —

- ▶ ...не мог не насторожиться. Видимо, в тот миг и ухватил тигриный взгляд всевластного собеседника. Сталин — пронизывательный читатель. Не остыла его память на политику рассказывания в Гражданскую, то есть на истребление казаков-средняков под предлогом борьбы с богатеями и белоказачеством.

Так оно, наверное, и было. Но не мог Шолохов не насторожиться, когда Сталин его спросил, где он взял факты, еще и потому, — я бы даже сказал, главным образом потому, что почувствовал: Сталин устраивает ему своего рода экзамен. Зная об обвинениях в плагиате, проверяет его историческую эрудицию. И в желтых, тигриных глазах вождя он прочел уже знакомое нам, удовлетворенное: «Трэпэщешь?»

А вот другой, еще более выразительный факт.

По поводу брошенного ему обвинения в плагиате Шолохов писал жене о главных его обвинителях, называя их поименно:

- ▶ Писатели из «Кузницы» Березовский, Никифоров, Гладков, Малышкин, Санников и пр. людишки с сволочной душонкой сеют эти слухи и даже имеют наглость выступить публично.

Писатель, имя которого возглавило этот список — Феоктист Березовский, — был и лично знаком с Шолоховым (он редактировал «Донские рассказы»), и был он одним из первых, кому досталось ознакомиться с рукописью «Тихого Дона».

Прочитав ее, он высказался о ней так:

- ▶ Я старый писатель, но такой книги, как «Тихий Дон», не мог бы написать. Разве можно поверить, что в 23 года, не имея никакого образования, человек мог написать такую глубокую, такую психологически правдивую книгу. Что-то неладно!

*(Л. Колодный. История одного посвящения.  
Неизвестная переписка Шолохова.  
Знамя, 1987, № 10. Стр. 179)*

О том, что с авторством «Тихого Дона» «что-то неладно», Березовский продолжал твердить и впредь, став одним из самых убежденных и последовательных обвинителей Шолохова в плагиате.

Писатель он был не шибко знаменитый. Но в 1932 году его имя неожиданно оказалось в перечне самых громких имен советского литературного истеблишмента.

Случилось это так.

Решив покончить с РАППом, Сталин распорядился сформировать Оргкомитет по подготовке к будущему писательскому съезду, который призван будет объединить всех писателей страны в единый творческий Союз. И вот на стол вождя ложится предложенный для его утверждения список членов этого Оргкомитета. И он его утверждает. Но прежде чем поставить под ним свою утверждающую подпись, вычеркивает из него фамилию «Шолохов» и вместо нее вписывает другую: «Березовский».

Да, да, тот самый Феоктист Березовский, старый больше-

вик и член «Кузницы», который вместе с Малышкиным, Никифоровым, Гладковым и Санниковым четыре года тому назад начал публичную кампанию против Шолохова, обвиняя его в плагиате.

Тогда Сталин защитил Шолохова, а сейчас — что же? Неужели готов отдать его им на растерзание?

Нет, конечно. Но это был — сигнал. Смотри, мол: все знаю, все помню. И если мне зачем-нибудь это понадобится, твой «скелет в шкафу» тотчас же будет извлечен из «шкафа». И сразу отыщется другой автор «Тихого Дона», который и будет объявлен настоящим.

Ситуация, конечно, маловероятная, но не такая уж фантастическая. Сказал же он в свое время Крупской, что для партии нет ничего невозможного, и если она будет проявлять строптивость, партия (то есть он, Сталин) назначит на роль вдовы Ленина какую-нибудь другую старую большевичку. Например, Стасову. И Надежда Константиновна не усомнилась, что так оно и будет. Потому что нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять.

\* \* \*

В роковом 37-м, когда над Шолоховым сгустились тучи, — мало сказать, сгустились тучи, — когда он повис над пропастью ГУЛАГа и вот-вот мог в эту пропасть свалиться, Сталин послал к нему для выяснения всех обстоятельств заведенного на него дела — Ставского. В докладной записке, которую тот после встречи с Шолоховым отправил на имя Сталина (*документ № 9*), бросается в глаза такая красноречивая подробность:

- ▶ Я в лоб спросил его, — не думал ли ты, что вокруг тебя орудают враги в районе и что этим врагам выгодно, чтобы ты не писал? Вот ты не пишешь, — враг, значит, в какой-то мере достиг своего!

Шолохов побледнел и замялся.

*(Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. М., 1997. Стр. 71)*

Арестованы его ближайшие друзья. Их допрашивают с применением самых суровых средств ведения следствия (попросту говоря, пыток), и он это знает. Наверняка кто-нибудь из них уже дрогнул и дал на него показания. Да и Ставский только что в беседе с ним предъявил ему весьма серьезные политические обвинения. Но, обсуждая все это, он ни разу не побледнел и не замялся. А побледнел и замялся только тогда, когда посланец Сталина упрекнул его в том, что он давно уже ничего не пишет.

Не почувал ли он в этом упреке намек на то, что написать что-нибудь стоящее он не в силах по той простой причине, что единственная книга, принесшая ему славу большого художника, была написана не им?

Еще один — последний — намек на это щекотливое обстоятельство он получил — уже от самого Сталина — в 1949 году, когда к подписчикам пришел 12-й том вышедшего тогда собрания сочинений вождя, в который вошло уже известное нам давнее — двадцатилетней давности — письмо Сталина Феликсу Кону.

Почему тогда, в 1929 году, Сталин решил это свое письмо не публиковать, а сейчас, двадцать лет спустя, когда обсуждаемый в этом письме вопрос вроде давно уже утратил всякую актуальность, вдруг распорядился его напечатать?

Тут надо сказать, что никаких случайностей в решении таких вопросов у Сталина никогда не было и быть не могло.

У Анатолия Рыбакова в его романе «Дети Арбата» есть выразительная сцена, в которой Сталин беседует с Н.И. Ежовым, — еще не главой НКВД, а секретарем ЦК. Сталин размышляет вслух, Ежов записывает:

► Сталин сделал паузу. Ежов, не поднимая головы, писал.

— О чем свидетельствует этот сигнал? — снова спросил сам себя Сталин.

И сам ответил:

— Этот сигнал свидетельствует о том, что руководящие кадры промышленности бесконтрольны. Аппарат промышленности из аппарата советского превраща-

ется в аппарат технократический. Это большая опасность.

В этом месте Сталин сделал ту **особую** паузу, означающую, что сейчас он произнесет **фразу** — **обобщение**, которая должна быть доведена до самой широкой аудитории. Ежов сосредоточился, чтобы точно записать ее.

(Анатолий Рыбаков. *Дети Арбата*.  
М., 1988. Стр. 293)

Работая над своим романом, Рыбаков тщательно изучил стиль поведения Сталина, все его повадки. Беседовал со многими людьми, которым случалось выслушивать вот такие указующие сталинские речи. Так что сцена эта — не плод художественного вымысла, она точно фиксирует сталинский стиль, сталинскую манеру изложения своих руководящих указаний.

В иных случаях, когда ту или иную его реплику надо было довести «до самой широкой аудитории», Сталин давал это понятие интонацией, паузой. И тот, кто слушал какой-нибудь очередной устный его монолог, отлично понимал и схватывал смысл этих его пауз и интонаций. Ну, а уж когда ту или иную его реплику надлежало опубликовать в печати, интонациями и паузами дело не ограничивалось. Тут в ход шли уже прямые указания. Так превратилась в один из главных, как мы теперь выразились бы, *слоганов* эпохи фраза из сталинской резолюции на письме Л.Ю. Брик, адресованной тому же Ежову: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Если бы Сталин захотел, он точно так же — уже тогда, в 1929 году, — свою адресованную Феликсу Кону реплику о «знаменитом писателе нашего времени Шолохове» тоже превратил бы если не в *слоган*, так в расхожую цитату.

Но тогда он почему-то этого не захотел. А сейчас, двадцать лет спустя, это ему вдруг для чего-то понадобилось.

Для чего же?

Выход каждого очередного тома собрания сочинений Сталина освещался в печати как важное политическое собы-

тие сегодняшнего дня. Как мы знаем, марксизм не догма, а руководство к действию. И вот таким руководством к действию немедленно становилось какое-нибудь — наверняка отмеченное им самим — давнее высказывание вождя.

12-й том собрания своих сочинений Сталин подписал в печать 9 сентября 1949 года. Указующая статья о выходе в свет этого сталинского тома появилась на первой полосе «Правды» 10 октября. А неделю спустя главному редактору издательства «Художественная литература» — звонок из ЦК:

— У вас запланировано очередное издание «Тихого Дона»?

— Да, а что?

— А то, что Сталина надо читать. У Шолохова там грубые исторические и политические ошибки.

3 января 1950 года обескураженный Шолохов пишет Сталину письмо с просьбой разъяснить ему, в чем суть допущенных им ошибок:

► Дорогой товарищ Сталин!

В 12-м томе Ваших Сочинений опубликовано Ваше письмо тов. Феликсу Кону. В этом письме указано, что я допустил в романе «Тихий Дон» «ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.»

Товарищ Сталин! Вы знаете, что роман читается многими читателями и изучается в старших классах средних школ и студентами литературных факультетов университетов и педагогических институтов. Естественно, что после опубликования Вашего письма тов. Ф. Кону у читателей, преподавателей литературы и учащихся возникают вопросы, в чем я ошибся и как надо правильно понимать события, описанные в романе, роль Подтелкова, Кривошлыкова и других. Ко мне обращаются за разъяснениями, но я молчу, ожидая Вашего слова.

Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне, в чем существо допущенных мною ошибок.

Ваши указания я учел бы при переработке романа для последующих изданий.

С глубоким уважением к Вам

М. Шолохов

*(Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. М., 1997. Стр. 140)*

Не вспомнил ли он, когда сочинял это письмо, тот «экзамен», ту проверку его исторической эрудиции, которую Сталин устроил ему во время их первой встречи? И не почудился ли ему в этом указании на то, что он, Шолохов, плохо ориентируется в событиях, лежащих в основе его романа, все тот же старый намек на сомнительность его авторства?

Как бы то ни было, он изъявляет полную покорность и готовность внести в свой роман любые исправления, которые предложит ему вождь.

Но вождь не удостоивает его ответом: сам должен понимать.

Сам ли Шолохов это понял, или ему помогли это понять, но так или иначе до него все-таки дошло, что совсем не в том состояла главная его историческая ошибка, что он будто бы допустил ряд неверных сведений о казни Сырцова, Подтелкова и Кривошлыкова.

Публикацией этого старого своего письма Сталин выразил Шолохову свое неудовольствие. Неудовольствие же это было вызвано тем, что в «Тихом Доне», главном советском романе о Гражданской войне, — и не где-нибудь в Сибири, а на Юге России, — ни единым словом не упоминался «товарищ Сталин». И это в то время, когда уже каждому школьнику было известно, что именно он, «товарищ Сталин», был главным организатором всех наших побед — не только в недавно отгремевшей Великой Отечественной войне, но и в той, уже далекой, Гражданской.

Вот в чем состояла главная историческая ошибка писателя Шолохова. И на нее необходимо было ему указать.

О том, как ему на эту его ошибку было указано и какой был найден выход, биограф Шолохова сообщает скупо:



- ▶ Издательскому начальству дали понять, что в романе должен появиться еще один персонаж.

В издательство вызывают внештатного редактора. Этот послушный редактор, работник «Правды», берет в руки подхалимское перо. Роман обретает сцену — Сталин и народные ходоки.

*(Владимир Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 385)*

Имя внештатного редактора, не побрезгавшего «взять в руки подхалимское перо», не называется. Это был, надо полагать, Ю. Лукин, давний редактор многих шолоховских текстов. Вписывать в них нужные по обстоятельствам времени те или иные политические вставки ему было не привыкать. Но сочинить за Шолохова целую сцену в тот раз ему пришлось впервые.

Не Осипову бы, который, сочиняя свою книгу о Шолохове, ни на миг не покладал этого самого «подхалимского пера», упрекать Лукина в подхалимстве. Но не осудить низкий моральный облик услужливого редактора-правдиста ему тут было важно, а вывести из-под обвинения в сервиллизме главного своего героя. Сам Шолохов, оказывается, не осквернил своих рук жульнически — задним числом — вставленной в давно написанный (кем?) роман фальшивой сценой «Народные ходоки у товарища Сталина».

\* \* \*

Во всех попытках решения проблемы авторства «Тихого Дона» есть одна особенность, роднящая их со всеми известными нам вариантами ответа на знаменитый «шекспировский вопрос». И там и тут по-настоящему убедительными выглядят так называемые **отрицательные доказательства**. То есть доказательства того неоспоримого для исследователя факта, что автором всех бессмертных шекспировских творений был НЕ Вильям Шекспир из Стратфорда, а автором «Тихого Дона» — НЕ Михаил Шолохов из станицы Вешенской. Знакомясь с аргументами «антистратфордианцев» (в шекспироведении сторонников версии, согласно которой автором шекспировского художественного наследия был Вильям

Шекспир из Стратфорда, принято именовать «стратфорд-анцами», а их противников, соответственно, «антистратфорд-анцами»), — так вот, когда знакомишься с аргументами этих самых «антистратфорд-анцев», не просто соглашаешься с ними, но невольно проникаешься непоколебимой уверенностью в безусловной их правоте.

Мало того, что не сохранилось ни одной рукописи ни одной шекспировской пьесы, — что уже само по себе достаточно странно, — еще более странное впечатление производит единственный имеющийся в распоряжении ученых-шекспироведов документ, о котором можно с уверенностью сказать, что к нему «руку приложил» Вильям Шекспир из Стратфорда. Это — его **духовное завещание**.

В нем нет упоминания не только о собственном его художественном наследии, но даже ни об одной принадлежавшей ему книге какого-либо другого автора. А между тем книги в тот век стоили дорого, и, если бы таковые у него были, они составляли бы весьма ценную часть принадлежащего ему имущества. А перечень этого принадлежащего ему имущества завещатель составил более чем подробный, не забыв упомянуть предметы, стоимость которых исчислялась не только в фунтах и шиллингах, но даже и в пенсах:

- ▶ ... я даю и завещаю поименованной Елисавете Холл всю мою посуду, за исключением моей широкой серебряной позолоченной чашки, которую я теперь имею в день написания настоящего моего завещания. Также я завещаю... г-ну Томасу Комбу — мою саблю; Томасу Рессель, эсквайру, — пять фунтов ст. и Франсису Коллинсу, из города Уоррик, в графстве Уоррик, дворянину — 13 фунт. ст. 6 шилл. 8 пенс., которые должны быть выплачены в течение одного года после моей смерти. Также я даю и завещаю... Хемнету Садлеру 26 шилл. 8 пенс. на покупку ему кольца; Уильяму Рейнольдсу, дворянину, — 26 шилл. 8 пенс. на покупку ему кольца... товарищам моим: Джону Геммингу, Ричарду Бербеджу и Генриху Конделлю по 26 шилл. 8 пенс. Каждому на покупку им колец... Также я даю и завещаю жене моей вторую по качеству кровать с при-

надлежащей к ней утварью. Также я даю и завещаю поименованной дочери моей Юдифи мою широкую серебряную позолоченную чашку. Все прочее недвижимое мое имущество... по уплате моих долгов и уплате завещанного мною имущества и по израсходованию денег на мои похороны, я даю, предназначаю и завещаю моему зятю Джону Холлу, дворянину, и дочери моей Сусанне, супруге его, которым я повелеваю быть и которых я назначаю душеприказчиками сего моего завещания... Во свидетельство сего я приложил к сему мою (печать) руку числа и года вышеозначенного.

(Ф. Шипулинский. Шекспир — Ретлэнд.  
Трехвековая конспиративная тайна истории.  
М., 1924. Стр. 25—29)

Таков **единственный автограф**, оставшийся от величайшего из великих драматурга и поэта, оставившего в наследство человечеству тридцать шесть драм, не считая поэм и сонетов. И — ни слова о расчетах с издателями и книгопродавцами или о том, кому завещается право на дальнейшие издания. А ведь во времена Шекспира право на литературную собственность уже существовало...

Но — мало того!

Оказывается этот единственный шекспировский автограф никаким автографом в собственном смысле этого слова вовсе не является:

- ▶ ...последние слова самого текста весьма недвусмысленно гласят:

«Во свидетельство сего я **приложил** к сему мою (**печать**) руку числа и года вышеозначенного».

Написанное сперва слово «печать» было зачеркнуто, и под ним написано «руку».

Завещатель мог только приложить печать, если бы она у него оказалась, или «руку». Но имя по его поручению подписано писцом.

Под завещанием, слева, над другими подписями сделана нажимом пера несколько удлиненная точка.

(Там же. Стр. 33)

Несколько позже был обнаружен еще один документ, который — с тем же основанием — можно считать **автографом** Вильяма Шекспира из Стратфорда. Под этим документом (какими-то свидетельскими показаниями) — две подписи Шекспира и одна другого свидетеля — Даниэля Ничоласа:

- ▶ Обе подписи имени Шекспира сделаны той же рукою — это сразу бросается в глаза, — что и текст показаний, т.е. рукою писца.

Между тем, подпись Даниэля Ничоласа сделана полностью и другим почерком. Очевидно, Д. Ничолас сам подписался под своим показанием, а за Шекспира расписался судебный писарь.

Но под сокращенной пометкой имени на показании самого Шекспира стоит опять-таки — отчетливо и ясно — традиционная точка, требовавшаяся законом, как у нас в старину кресты, от лиц, которые должны «приложить руку» к акту, но не умеют подписать своего имени.

Относительно отца стратфордца — Джона Шекспира, — после многочисленных споров, давно уже было признано, что он был *markman*, т.е. человек, не умевший подписать своего имени и ставивший вместо него условный знак. Теперь приходится признать то же и о его сыне.

**Вильям Шекспир из Стратфорда, которого долго считали Шекспиром, был НЕГРАМОТНЫМ — не умел даже подписать собственного имени.**

*(Там же. Стр. 34—35)*

Я нарочно привел здесь, быть может, не самое достоверное, но самое эффектное из «отрицательных доказательств» «антистратфордианцев». Но и другие, не столь эффектные, по мере того как знакомишься с ними, заставляют проникнуться твердой уверенностью: нет! Не может быть, чтобы этот полуграмотный стяжатель, скопидом и ростовщик из Стратфорда был автором «Гамлета», «Макбета», «Ромео и Джульетты», бессмертных шекспировских сонетов.

И точно так же, когда знакомишься с основными фактами биографии М.А. Шолохова, — да не с фактами даже, а только с датами его жизни и первых его творческих свершений, — проникаешься такой же твердой уверенностью: нет, немыслимо, невозможно поверить, что двадцатилетний юноец с четырехклассным образованием (плюс курсы для продинспекторов) создал вещь такой художественной зрелости и мощи, как первый том «Тихого Дона», и меньше чем год спустя уже закончил второй, еще более совершенный том этой грандиозной эпопеи.

Такого случая не знает вся мировая литература за все тысячелетия своего существования. Гениальный поэт-лирик может проявить себя и в шестнадцать лет. Но ни одному гению не было дано в двадцать лет (в двадцать два, в двадцать три года) свершить то, что якобы удалось совершить Шолохову.

Защитники авторства Шолохова ссылаются на Лермонтова, который в 26 лет создал «Героя нашего времени», став предшественником (именно он, а не Пушкин) Толстого, Достоевского — всей великой психологической русской прозы. Но Лермонтов получил совсем другое образование, вырос и формировался в совершенно иной среде, да и художественный мир, созданный им в «Герое нашего времени», не выходит за пределы его личного опыта: светская жизнь, любовные драмы, война на Кавказе... Шолохов же в «Тихом Доне» писал о том, чего не знал и знать не мог, и при этом с редкостной этнографической точностью и художественной сочностью и мощью живописал колоритнейший быт довоенной казачьей станицы (сам — не казак, а иногородний), а потом — войну, и Первую мировую, и Гражданскую, ни в одной из которых по малолетству не мог участвовать.

Да и Лермонтов!... Если вы прочтете «Княгиню Лиговскую», которую Михаил Юрьевич написал в двадцать три года, и сравните этот первый, юношеский его роман с «Героем нашего времени», написанным три года спустя, — вы сразу увидите, как изменился, вырос, окреп, созрел за эти три года его художественный гений.

Итак, сомнений нет: не безграмотный актер Вильям

Шекспир был создателем «Гамлета» и «Ромео и Джульетты», и не М.А. Шолохов — автором «Тихого Дона».

Но если не они, то — кто же?

И вот тут позиции всех авторов антишекспировских и антишолоховских теорий оказываются уже не такими незыблемыми. В отличие от таких убедительных и как будто неопровержимых «отрицательных доказательств» все их «положительные доказательства» выглядят довольно-таки зыбкими.

Список «кандидатов в Шекспиры» насчитывает — ни мало ни много — 57 имен. В иных случаях цифра это доходит до 80.

Вот самые знаменитые из них:

Фрэнсис Бэкон, его брат Энтони Бэкон, Кристофер Марло, Вильям Стенли, шестой граф Дерби, Роджер Мэннерс, граф Ретлэнд и даже две королевы: Елизавета Тюдор, королева английская, и ее соперница — шотландская королева Мария Стюарт.

Автор одной из книг, посвященных рассмотрению «шекспировского вопроса», приведя едва ли не полный список «кандидатов в Шекспиры» (даже не список, а целую таблицу), заключает этот долгий перечень имен и биографий такой меланхолической репликой:

- ▶ Здесь следует поставить многоточие, потому что события продолжают бурно развиваться.

*(Б.И. Моцохейн. Кто этот господин? Беседы о Вильяме Шекспире, его эпохе и современниках, его земной судьбе и бессмертной славе, увлекательных загадках его биографии и их изобретательных решениях. М., 2001, Стр. 235)*

При этом он не закрывает глаза и на юмористический аспект этой ситуации, тут же сообщив, что

- ▶ ...радиостанция «Радио России» отметила 1 апреля 2000 года сообщением о том, что произведения Шекспира написал Иван Грозный.

*(Там же)*

Касаясь упомянутых тут событий, которые «продолжают бурно развиваться», — то есть появления все новых и новых гипотез, нельзя не упомянуть появившуюся недавно книгу Ильи Гиллилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» (М., 1997), в которой была выдвинута и подробно аргументирована гипотеза коллективного автора. Суть этой гипотезы состоит в том, что в создании шекспировских творений принимали участие три автора: уже упоминавшийся тут граф Ретлэнд, его жена Елизавета, дочь великого английского поэта Сидни, и ее тетка графиня Пембрук.

Каждая из всех этих существующих гипотез по-своему интересна, но ни одна из них не может считаться не то что бесспорной, но даже сколько-нибудь убедительной. И проклятый «шекспировский вопрос» как был, так и остается открытым.

То же и с Шолоховым.

Сперва на роль истинного автора «Тихого Дона» был предложен приятель Леонида Андреева — Голоушев. Предложен на том основании, что под заглавием «Тихий Дон» публиковал свои бытовые и путевые очерки. Но Голоушев был журналист, фельетонист, театральный критик. И, как выразился бы главный разоблачитель Шолохова Солженицын, создать гигантскую художественную эпопею о Тихом Доне ему было явно **невыподым**.

Отказавшись от Голоушева, на роль истинного автора Донской эпопеи был предложен (тем же Солженицыным) **Федор Дмитриевич Крюков**.

Биографически Крюков для этого очень годился. Родился в 1870-м, стало быть, во время событий, описанных в первом томе «Тихого Дона», ему было чуть больше сорока. Уже перед революцией был он сложившимся, профессиональным писателем, постоянным сотрудником короленковского «Русского богатства», членом Первой Государственной думы (от Дона).

- ▶ И вот в 1965 г. в ростовской газете «Молот» (13.8.65) появляется статья В. Моложавенко «Об одном незаслуженно забытом имени» — о Крюкове, полвека запретном к упоминанию за то, что в Гражданскую войну он

был секретарем Войскового Круга. Что именно хочет выразить автор подцензурной пригнетенной газетной статьи, сразу понятно непостороннему читателю: через донскую песню связывается Григорий Мелехов не с мальчишкой-продкомиссаром, оставшимся разорять станицы, но — с Крюковым, пошедшим, как и Мелехов, в тот же **отступ** 1920 года, досказывается гибель Крюкова от тифа и его предсмертная тревога за **заветный сундучок** с рукописями, который вот достанется невесть кому: «словно чуял беду, и наверно не напрасно»... И эта тревога, эта боль умершего донского классика выплыла через полвека — в самой цитадели шолоховской власти — в Ростове-на-Дону!..

(А.И. Солженицын. *Невырванная тайна.*  
В кн.: *Загадки и тайны «Тихого Дона».*  
М., 1995. Стр. 9)

Вот в этом «заветном сундучке», прямо намекал Солженицын, наверно, и хранилась рукопись «Тихого Дона», какими-то сложными путями потом доставшаяся Шолохову.

О том, что именно Федор Крюков был истинным автором «Тихого Дона», Солженицын говорил все-таки предположительно. Но предположение это ему представлялось хоть и не совсем бесспорным, но — весьма основательным:

- ...Вывод, что автор «Тихого Дона» — мягкий Крюков, разочаровывал. Ожидалась какая-то скальная трагическая фигура. Но исследовательница (И.Н. Медведева-Томашевская — Б.С.) была уверена. И я, постепенно знакомясь со всем, что Крюков напечатал и что заготовил, стал соглашаться. Места *отдельные* рассказы у Крюкова во многих рассказах почти гениальные. Только разведены пустоватыми, а то и слащавыми соединениями. (Но слащавость в пейзажах и в самом «Тихом Доне» осталась.) Когда ж я некоторые лучшие Крюковские места стянул в главу «Из записок Федора Крюкова» — получилось ослепительно, глаз не выдерживает.



Я стал допускать, что в вихревые горькие годы казачества (а свои — последние годы) писатель мог сгуститься, огоркнуть, подняться выше себя прежнего.

*(Там же. Стр. 102)*

Авторитет Александра Исаевича тогда был еще высок, и гипотеза И.Н. Медведевой-Томашевской, подкрепленная весомостью солженицынского имени, была подхвачена многими. (За нее ухватился, в частности, Рой Медведев, быстро сострелявший и выпустивший на эту тему целую книгу.)

Но сразу же у этой гипотезы нашлись и противники.

А вскоре четверо скандинавских ученых (Г. Хьетсо, С. Густафсон, Б. Бекман и С. Гил), заложив в компьютер некие данные, будто бы с математической точностью доказали, что Крюков тут ни при чем, а значит, автором «Тихого Дона», — теперь уже в этом не может быть никаких сомнений, — является не кто иной, как Михаил Александрович Шолохов.

В непогрешимость компьютерного анализа советские гуманитарии верили, как верующие христиане в непорочное зачатие, и, таким образом, в деле о сомнительности шолоховского авторства была вроде как поставлена точка.

Но на самом деле, чтобы увериться в том, что Федор Крюков не был и не мог быть автором «Тихого Дона», не надо было никаких скандинавов и никаких компьютеров. Сравнив любой его текст (в том числе и тот, который «стянул» в одну главу Солженицын) с любой художественно полноценной, не искаженной вмешательством редактора страницей «Тихого Дона», невооруженным глазом можно увидеть, что в «Тихом Доне» — совершенно иная художественная ткань. Другой плотности, другой художественной сочности и яркости. Разность эта видна на молекулярном, на клеточном уровне.

И тут, — точь-в-точь, как в попытке окончательного решения шекспировского вопроса, — возникла гипотеза коллективного автора.

\* \* \*

Эту версию не только выдвинул, но и детально разработал иерусалимский лингвист — Зеев Бар-Селла. И хотя возникла она как результат сугубо текстологических его изысканий (весьма, надо сказать, интересных и убедительных), вся, так сказать, сюжетная основа этой предложенной им версии выходит далеко за рамки лингвистики и текстологии.

Поначалу именно текстология навела его на мысль о коллективном авторе. Скрупулезно проанализировав один из якобы принадлежащих Шолохову «Донских рассказов» («Коловерть»), он пришел к выводу, что в его создании участвовали как минимум три автора:

- ▶ ...автор романа «Тихий Дон», А.С. Серафимович и кто-то третий, имевший самое поверхностное представление о других «шолоховских» рассказах и никакого — о казачестве.

Лишь одной фигуре места никак не сыскать — Михаилу Шолохову! Какова была его роль? Судя по всему, техническая — писарь!

Так с какой же такой радости все они на него батрачили?

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М., 2005. Стр. 61)*

Задавшись этим вопросом, Бар-Селла отрывается от лингвистики и текстологии и воспаряет (лучше сказать — погружается) в совсем иные жизненные сферы:

- ▶ Для того чтобы много людей принялись писать за другого, этот другой должен обладать либо деньгами, либо властью... У Шолохова, по приезду в Москву нанявшегося чернорабочим в артель каменщиков, а затем — счетоводом в домоуправление, больших денег быть не могло. Равно как и власти.

Существует, впрочем, такая форма социальных отношений, как поддержка со стороны властей.

*(Там же. Стр. 61—62)*

Но какой, спрашивается, властям был резон поддержать претензию никому не известного молодого чернорабочего и счетовода домоуправления жилищно-строительного кооператива на роль автора романа, которому — это можно было предвидеть уже тогда — в недалеком будущем уготована мировая слава?

К ответу на этот вопрос Зеев Бар-Селла подбирается издалека.

Начинает он с того, что на рукописи одного из «Донских рассказов» («Коловерть»), на первой его машинописной странице поначалу было такое авторское посвящение:

### Товарищу по работе Мирумову Леону посвящаю

В печати этого посвящения уже не было — ни в журнальной публикации, ни в отдельном издании «Донских рассказов». Даже в машинописи оно потом было вычеркнуто.

Кто же он такой, этот таинственный Леон Мирумов?

- ▶ ...Мирумов Леон Галустович. До того как прижился в Москве, носил фамилию Мирумьян. Женат, бездетен. Сорок лет спустя его племянник (подполковник Ваган Тигранович Сазандарян) вспоминал, что с Шолоховым Леон Мирумов познакомился, находясь по служебным делам в станице Вёшенской... И случилось это до приезда Шолохова в столицу.

И еще нам известно о Мирумове, что был он председателем рабочего жилищно-строительного кооператива «Берите пример!», каковому кооперативу и принадлежало то самое домоуправление, где работал юный Михаил Шолохов. Правда, в отличие от Шолохова Леон Мирумьян должность свою исполнял на общественных началах. А зарплату он получал совсем в другом месте — на Лубянке, поскольку служил в ЭКУ ГПУ. И даже, как припоминают родственники, занимал там довольно высокий пост.

*(Там же. Стр. 62—63)*

ЭКУ — это Экономическое управление, роль которого в системе ГПУ автор описывает весьма туманно. Но какова была роль этого управления, не так уж важно. Важно, что — в ГПУ.

Ухватившись за эту ниточку, Бар-Селла разматывает (лучше сказать — выстраивает) увлекательный, в самом точном смысле этого слова **детективный** сюжет, все сложные перипетии которого я опускаю и прямо перехожу к конечным выводам автора этой замысловатой версии:

- ▶ Итак, подведем итоги. С августа 1923 года Михаил Шолохов находится под плотной опекой ГПУ. Его снабжают литературными материалами с тем, чтобы, опубликовав их под своим именем, он зарекомендовал себя в качестве писателя. К изготовлению этой литературной продукции причастны несколько человек (сегодня мы можем с уверенностью перечислить как минимум пятерых фигурантов: компилятор рассказа «Коловерть»; компилятор рассказа «Семейный человек»; автор рассказа «Илюха»; А.С. Серафимович и непосредственный куратор Объекта Л.Г. Мирумов... Большинство врученных Шолохову литературных материалов опирается на текст романа «Тихий Дон». Поэтому так называемое раннее творчество Шолохова полностью вписывается в рамки того, что на языке спецслужб именуется «легендированием». Публикация «Донских рассказов» имела целью **залегендировать шолоховское авторство романа «Тихий Дон».**

*(Там же. Стр. 71)*

Для убедительности к этому выводу сделаны две сноски. В одной сообщается, что ГПУ располагало и собственными писателями, организованными в специальное подразделение — Литературную коллегияю. Другая представляет собой ссылку на «Азбуку контрразведчика», составленную в 1925 году Контрразведывательным отделом (КРО) ОГПУ, в которой «легендированию» уделено несколько страниц.

Но почему выбор пал именно на Шолохова? И откуда

взялась сама рукопись, авторство которой почему-то понадобилось «легендировать», да еще так неуклюже?

- Совокупность имеющихся данных позволяет восстановить следующую цепь событий.

Году эдак в 1921-м в столичное управление ВЧК доставляют из Ростова рукопись романа, сочиненного отъявленным белогвардейцем.

Не позднее середины 1923 года аналитики Информационного отдела (ИНФО) и референты ГПУ, оценивая культурно-политическую ситуацию, приходят к окончательному выводу: в обозримом будущем ждать от освобожденного пролетариата великих культурных достижений не приходится...

Общепринятым достижением дореволюционной русской культуры принято считать литературу. И, действительно, — того, что она великая, не оспаривает никто. Символом и эталоном этого величия является «зеркало революции» — Лев Толстой. Следовательно, доказательством культурного триумфа Советской России может стать литературное произведение, соизмеримое с высшим достижением проклятого прошлого — романом Льва Толстого «Война и мир».

И ведь нельзя сказать, что литературных достижений вовсе нет, — кое-что отслеживается... Только выходит все это из-под пера буржуазных писателей... Или того хуже — из-под пера белоэмигрантов!

Что остается — ждать окончательного торжества буржуазной культуры? Дорезать недорезанных буржуев и вообще остаться без литературы?

Или — решительно, по-революционному подстегнуть слишком неспешное развитие? Произвести красногвардейскую атаку на литературу, поступить с ней, как с фабриками, заводами, поместьями, и — поставить на службу пролетариату экспроприированные культурные ценности?..

Тем более, самое главное — роман толстовского уровня — имеется. Остается его чуть «подкрасить» — и выдвинуть подходящего кандидата в авторы.

Требования к кандидату:

близкое знакомство с жизнью и бытом донского казачества;

не из «бывших»;

не чистоплюй...

А тут в Москве объявляется и сам выходит на связь Михаил Шолохов. Уроженец донского хутора. Социальным происхождением, правда, не сподобился... Но поди — сыщи на Дону пролетария!.. А этот хоть в белых армиях не служил... Даже (спасибо товарищу Мирумому!) вербовать его не надо... Да, кстати, ты ведь, Лёва, и сам литературе не чужд? Вот на Мирумова оперативную разработку объекта и возложим...

*(Там же. Стр. 73—74)*

Тут, как это со мной часто случается, я опять позволю себе небольшую «верояцию в сторону».

В сторону-то — в сторону, но, как вы вскоре сможете убедиться, не слишком далеко уклоняясь от основной темы повествования.

В середине 60-х я познакомился, а вскоре и подружился с известным астрофизиком Иосифом Самойловичем Шкловским. Он уже тогда был признанным в своей среде выдающимся ученым, автором одного из крупнейших научных открытий астрономии XX века. Но в пору нашего знакомства известность его вышла далеко за пределы узкого круга его ученых коллег. Дело в том, что незадолго до того он выдвинул предположение, что спутники Марса Фобос и Деймос — не естественного, а искусственного происхождения.

Если бы гипотеза эта подтвердилась, она означила бы грандиозный переворот в наших представлениях о Вселенной.

Разговоров — и даже популярных лекций — на тему «Есть ли жизнь на Марсе?» тогда было много. Но — на уровне безответственной болтовни. А тут — авторитетный ученый с весьма высокой научной репутацией выдвинул это предположение как серьезную научную гипотезу!

Гипотеза Шкловского не была высосана из пальца. Дело в том, что у Фобоса и Деймоса была аномальная орбита. Если бы эти спутники Марса были такими же, как все известные астрономам небесные тела, орбита их была бы другой. И вот Иосиф выдвинул предположение, что спутники эти — полые внутри. Прodelал соответствующие математические расчеты, и — все сошлось! Оказалось, что, если бы они действительно были полые, орбита их должна была бы быть именно такой, какой она и была в действительности.

Гипотеза профессора Шкловского (тогда он еще не был членкором) обошла все популярные журналы и даже газеты. Иосиф сразу стал знаменит — не в каком-то там узком научном кругу, а знаменит по-настоящему — пожалуй, не меньше, чем самая большая знаменитость того времени — Евгений Евтушенко.

Будучи человеком не лишенным тщеславия, Иосиф поначалу с удовольствием купался в лучах этой внезапно излившейся на него славы. Но удовольствие это было слегка отравлено тем, что научной его репутации эта его легкомысленная гипотеза все-таки слегка повредила.

На одном каком-то весьма авторитетном научном собрании один из самых уважаемых его ученых коллег даже назвал его фантастом. На это собрание я был Иосифом приглашен и слышал это неллицеприятное суждение маститого ученого своими ушами. И не только слышал, но даже видел довольно-таки язвительную улыбочку, с какой оно было произнесено.

Иосиф этой репликой был задет. А я, когда мы с ним потом этот инцидент обсуждали, не удержался от вопроса:

— Между нами, честное слово, я никому не скажу: а сами-то вы, Иосиф, верите, что они искусственные?

Он на это весьма сухо ответил:

— Что значит — верю, не верю. Это не вопрос веры. Я выдвинул научную гипотезу, не противоречащую сегодняшнему состоянию науки. И до тех пор, пока она не будет опровергнута какими-либо новыми фактами, появившимися в поле зрения ученых, или новыми, более точными математическими расчетами, она будет считаться верной.

Но прошло несколько лет, и американцы послали к Марсу искусственный спутник и с весьма близкого расстояния сфотографировали Фобос и Деймос.

Эти фотографии, полученные им от его американских коллег, Иосиф мне показал. Фобос и Деймос на них были видны ясно: оба спутника были неправильной формы и до глубины изъедены какими-то дырами, воронками, провалами, пещерами — как это обычно бывает с карстовыми породами. Именно этим, как видно, и объяснялся их аномально легкий вес и, соответственно, аномальность их орбит.

Показывая мне эти фотографии, Иосиф тут же прочел письмо приславшего их американского коллеги. Из письма этого мне запомнилась фраза «По-моему, они не очень похожи на искусственные?».

Фраза была довольно ядовитая, но Иосиф прочел мне ее со смехом и, как мне показалось, нимало не был сконфужен крушением своей знаменитой гипотезы.

И тут я опять не удержался от бестактного вопроса:

— Ну, а теперь скажите честно, Иосиф! Вы не жалеете, что ввязались в это сомнительное дело? Ведь что ни говори, а вашей научной репутации эта ваша гипотеза все-таки нанесла некоторый урон. Или я ошибаюсь?

Я был почти уверен, что и на этот раз он ответит мне в том же, уже знакомом мне духе. Всякая научная гипотеза, мол, живет до тех пор, пока не будет опровергнута новыми фактами, попавшими в поле зрения ученых. Так движется и завоевывает все новые и новые плацдармы каждая наука.

Но Иосиф после небольшой паузы ответил иначе.

— Если честно, — сказал он, — мне надо было бы написать на эту тему научно-фантастический роман.

Это я к тому, что Зеев Бар-Селла тоже поступил бы разумнее, если бы свою гипотезу о том, как, кем и при каких обстоятельствах создавался «Тихий Дон», облек в форму романа. Но эта плодотворная дебютная идея, как выражался в таких случаях Остап Бендер, ему в голову не пришла. Или, как И.С. Шкловского, осенила его слишком поздно.

Но такой роман тем не менее, хоть и не им, все-таки был написан:



- ...В седьмом (июльском) номере журнала «Нева» за 2004 год опубликована повесть Михаила Холмогорова «Необитаемый остров». Фабула повести такова: летом 1925 года на румынской границе застрелен нарушитель — белогвардеец и войсковой старшина Алексей Пантелеймонович Горюнов. На трупе находят рукопись неоконченного романа. Рукопись попадает в штаб-квартиру ГПУ в Москве, где с ней знакомится маститый советский писатель Спиридон Шестикрылов, автор знаменитого романа «Огненная лава»... Спиридон от романа в восторге и хочет опубликовать его в журнале, где служит главным редактором. Одна закавыка — негоже советскому журналу пропагандировать автора-белогвардейца. И тогда глава ГПУ Менжинский предлагает замечательный выход: назначить автором какого-нибудь доверенного литератора, а роман дописать силами ГПУ.

«Затяя в своем окончательном виде очень понравилась Сталину. <...> Такой роман еще послужит расцвету советской литературы. Хватит нам кормиться хилыми сочинениями хлипких попутчиков. Пусть свое веское слово скажет писатель из простого народа. <...> Но пусть органы ОГПУ, заметил в конце беседы осторожный генсек, обеспечат полную секретность предстоящего предприятия».

В ОГПУ создается спецгруппа, роману присваивают имя «Хладный Терек» (войсковой старшина был из терских казаков), а затем отыскивают и подходящего кандидата в авторы — юного и робкого Гаврилу Орясина (для благозвучия переименованного в Гавриила Оресина). Дописывать роман поручено нескольким арестантам из «бывших», причем срок дан жесткий — «Хладный Терек» должен выйти в свет к 10-летию Октября. «Бывшие» задание выполняют и получают пулю в затылок. А советская литература обретает классическое произведение и писателя-классика.

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован.  
Проект «Писатель Шолохов». М., 2005.  
Стр. 393—394)*

Как видим, разница между романной версией Михаила Холмогорова и «научной» Зеева Бар-Селлы — невелика. Она почти целиком сводится к тому, что у Бар-Селлы действующие лица выступают под собственными своими именами и фамилиями, а в романе (повести) Холмогорова, — за вычетом Сталина и Менжинского, — под псевдонимами, порою весьма прозрачными. (Писатель Шестикрылов — «шестикрылый серафим» — Серафимович; а знаменитый его роман «Огненная лава» — не что иное, как «Железный поток».)

Строго говоря, ничто не мешает нам относиться к этой детективной версии Зеева Бар-Селлы как к роману и потому не принимать ее всерьез. Но к его идее коллективного автора надлежит отнестись серьезно. И не только потому, что она, как уже было сказано, явилась на свет в результате весьма убедительных его текстологических изысканий.

К этой его идее следует отнестись серьезно прежде всего потому, что без нее трудно — в сущности, даже невозможно — ответить на другой, сразу возникающий вопрос.

Ладно, допустим, что в основу «Тихого Дона» легла рукопись романа, написанного каким-то неведомым нам белым офицером. А как в таком случае нам быть с «Поднятой целиной»?

\* \* \*

К версии о рукописи, якобы найденной в полевой сумке убитого белого офицера, все исследователи загадки «Тихого Дона» возвращаются постоянно. Было даже замечено, что Шолохов будто бы однажды сам чуть ли не признался в этом. Не то чтобы так-таки уж прямо и признался, но — проговорился:

- ▶ В советской истории существовал короткий период после окончания «большого террора» 30-х годов, когда уцелевшие на вершине пирамиды власти, опьяненные тем, что угроза смерти обошла их стороной, решили, что можно уже ничего не стесняться.

Новые люди — «кадры, которые решали всё», очевидно, уверились в незыблемости и вечности своей

власти. Тогда в 1939 году они были в упоении своей «победой».

Главное действующее лицо нашего исследования, Михаил Александрович Шолохов, занимал отнюдь не последнее место в утвердившейся иерархии. На XVIII съезде «победителей» он не только присутствовал, но даже выступил с речью. Шолохов говорил в ней о многом, но нас в контексте нашего исследования интересует та часть его речи, которая была посвящена стоявшим перед писателями задачам:

«Советские писатели, надо прямо сказать, не принадлежат к сентиментальной породе западноевропейских пацифистов... Если враг нападет на нашу страну, мы, советские писатели, по зову партии и правительства, отложим перо и возьмем в руки другое оружие <...> В частях Красной Армии, под ее овеванными славой красными знаменами, будем бить врага так, как никто никогда его не бивал, и смею вас уверить, товарищи делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем — нам этот японский обычай, ну... не к лицу. Чужие сумки соберем... потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое этих сумок впоследствии пригодится. Разгромив врагов, мы еще напишем книги о том, как мы этих врагов били. Книги эти послужат нашему народу и останутся в назидание тем из захватчиков, кто случайно окажется недобитым».

А ведь точно сказал Михаил Александрович: «соберем» и «напишем»! Случайно ли проговорился в запале своего выступления Шолохов или специально включил эти слова, косвенно подтверждая «отвлекающую» версию об убитом офицере и содержимом его полевой сумки, — мы не знаем и вряд ли можем теперь это узнать. Но сами шолоховские слова знаменательны: он публично во всеуслышание признал допустимость и правомочность для себя подобных действий. Вот и мы вправе теперь задать в его адрес вопрос: СОБРАЛ и НАПИСАЛ? И, основываясь на всех полученных в нашем исследовании данных, дать на него поло-

жительный ответ. Крут нашего исследования замкнулся. Сам Шолохов дал нам недостающее звено — собственные показания по делу авторства.

Вот уж воистину — язык не даст соврать, как писал Александр Солженицын.

(А.Г. Макаров, С.Э. Макарова. К истокам «Тихого Дона». В кн.: *Загадки и тайны «Тихого Дона»*. Самара, 1996, Стр. 327—328)

К этому своему рассуждению авторы сделали такое примечание:

- ▶ Материал, легший в основу «Тихого Дона», столь огромен, что ни в какую «полевую сумку» вместиться не смог бы — скорее в «сундучок». Поэтому упоминание «сумок» как бы оправдывало Шолохова, означая большой объем работы, проделанный самим Шолоховым над «содержимым полевых сумок».

(Там же)

Между «сумкой» и «сундучком» есть, конечно, некоторая разница. Но для ответа на главный вопрос, интересующий тех, кто не верит в авторство Шолохова, такого уж большого значения эта разница не имеет. Тут весь вопрос сводится к тому, каков был объем работы мнимого автора романа над попавшим ему в руки чужим текстом. Но рукопись «Поднятой целины» уж точно ни в какой полевой сумке убитого белого офицера и ни в каком его сундучке найдена быть не могла. И если принять версию Зеева Бар-Селлы, согласно которой в создании не только «Тихого Дона», но даже и «Донских рассказов» Шолохову могла достаться только **роль писаря**, — проблема автора «Поднятой целины» без обращения к таинственному «коллективному автору» оказывается совсем уже нерешаемой.

Разве только если предположить, что истинный автор «Тихого Дона», пресловутый белый офицер был не убит, и Шолохов спас ему жизнь, а тот, спрятанный Шолоховым в каком-нибудь подвале, еще долгие годы продолжал работать

на своего спасителя, создавая сперва последние тома «Тихого Дона», а потом, уже в 30-е годы, и «Поднятую целину», и другие сочинения объявленного классиком самозванца.

При всей смехотворности такого предположения, оно, представьте, тоже высказывалось:

- ▶ В тридцатые—пятидесятые годы нередко можно было стать свидетелем следующего разговора. Когда заходил разговор о том, что Шолохов похитил «Тихий Дон», обязательно находился человек, логично заявлявший: «...Хорошо, предположим, что «Тихий Дон» — плагиат, но ведь и первая книга «Поднятой целины» — тоже выдающееся произведение. У кого же он его украл?» Оппонент в таких случаях не моргнув глазом, говорил: «Все очень просто: у Шолохова в подвале на цепи сидит человек, которого он кормит, а тот пишет ему книги». [...]

Человек на цепи из подвала был до известной степени черным ящиком, позволяющим постоянно держаться за нить рассуждений, до сегодняшнего дня живущих в народе.

А между тем все так и было. Конечно, без подвала, конечно, без цепи. Предполагавшимся человеком был П.Я. Громославский. Он неплохо владел пером. У него даже был псевдоним — А. Славский.

*(М.Т. Мезенцев. Судьба романов. К дискуссии по проблеме авторства «Тихого Дона». Самара. Стр. 67—69)*

Держать этого человека в подвале, да еще на цепи, у Шолохова не было никакой необходимости, потому что Петр Яковлевич Громославский был его тестем, отцом его жены. И если «все так и было», он работал на зятя добровольно, не за страх, а за совесть. Это был у них, так сказать, семейный подряд:

- ▶ ...встретился со старым казаком, хоть и большевиком, но бывшим зэком, — он хочет мне дать важные материалы о Филиппе Миронове, командарме 2-й

Конной, у кого был комиссаром полка... С.П. Стариков собрал (в доверии у властей, из закрытых архивов) много вопиющих материалов...

Уже расставаясь, заговорили о смежном, и оказалось: Миронов одностаничник и лучший друг Крюкова в юности, и сам Стариков из той же станицы Усть-Медведицкой, и не только не сомневается, что Шолохов украл «Тихий Дон» у Крюкова (Шолохова в 15 лет он видел в Вёшенской совсем тупым неразвитым мальчишкой), но даже больше знает: к т о «дописывал» «Тихий Дон» и писал «Поднятую целину», — опять-таки не Шолохов, но тесть его Петр Громославский, в прошлом станичный атаман (а еще перед этим, кажется, дьякон, снявший сан), но еще и литератор; он был у белых, оттого всю жизнь потом затаясь; он был близок к Крюкову, отступал вместе с ним на Кубань, там и похоронил его, завладел рукописью, ее-то, мол, и дал Мишке в приданое вместе со своей перестаркой дочерью Марией (жениху было, говорил, 19 лет, невесте — 25). А после смерти Громославского уже *никак* не писал и Шолохов.

(А.И. Солженицын. *Стремя «Тихого Дона»*.  
В кн.: *Загадки и тайны «Тихого Дона»*.  
Самара, 1996. Стр. 104)

Это Солженицын будто не от себя говорит, а пересказывает то, что рассказал ему старый казак С.П. Стариков. Но к этому пересказу — сноска. Уже авторская, солженицынская:

- ▶ Громославский еще жив был в 50-е годы, тогда-то и появилась 2-я книга «Поднятой целины», а после смерти Громославского за 20 лет Шолохов не выдал уже ни строчки.

(Там же)

Слух о том, что «за Мишку Шолохова» книги пишет его тесть, стало быть, гулял по Дону. И если даже в 60-е он доказал до Солженицына, а потом и до Мезенцева, то вряд ли

за тридцать лет до того не достиг ушей М.Ф. Шкирятова и В.Е. Цесарского, приехавших в Вёшенскую по спецзаданию Сталина — разбираться в шолоховских делах.

И тогда совсем особый смысл обретает один весьма примечательный пассаж из их докладной записки на имя Сталина и Ежова:

► ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ М.Ф. ШКИРЯТОВА  
И В.Е. ЦЕСАРСКОГО И.В. СТАЛИНУ  
И Н.И. ЕЖОВУ

*23 мая 1938 г.*

Перед самым отъездом из Вешенской т. Шолохов попросил нас проверить обоснованность ареста его родственника — второго брата его жены — Громославского В.П., содержащегося в Каменской тюрьме. Об этом Громославском в своем письме т. Шолохов не упоминал.

По нашему указанию Громославский был привезен из Каменской тюрьмы в Ростов и нами передопрощен.

Громославский является сыном станичного атамана, до и после революции был служителем религиозного культа; в 1916 г. был псаломщиком, а с 1920 по 1929 год — дьяконом. В 1930 г. был осужден по ст. 59, п. 10 УК, но в 1932 году освобожден по кассации. Обвиняется в том, что вел среди рабочих совхоза «Красный колос» антисоветскую агитацию, распространял клевету на партию и ее руководство.

Громославский виноватым себя не признает, но уличается 6-ю свидетельскими показаниями и 4-мя очными ставками, в которых приводятся конкретные факты его антисоветской деятельности.

Свидетель рабочий БУКАРЕВ показывает, что в его присутствии Громославский по поводу приговора над участниками право-троцкистского блока говорил, что сейчас гибнет много ни в чем неповинных людей.

Свидетель СЕРЛЮКОВ приводит факт, когда Громославский выступал с открытой враждебной клевет-

той на т. Сталина. Свидетель КОНОВАЛОВ говорит, что Громославский восхвалял фашистов, которые, мол, все равно победят в Испании, так как по силе с фашистами никто не может сравняться.

*(Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. М., 1997. Стр. 124—125)*

Тут особого внимания заслуживает такая — весьма красноречивая — деталь. Перечисляя в своем письме Сталину всех своих земляков, подвергшихся несправедливым репрессиям, В.П. Громославского Шолохов не упомянул. Шкирятова и Цесарского он попросил разобраться в его деле, так сказать, приватно: заступаться за замаранного родственника перед Сталиным не посмел. А не посмел, надо полагать, потому что не хотел напоминать о сомнительном дореволюционном прошлом своего тестя.

Одной только этой детали довольно, чтобы стало ясно: несмотря на высокое положение зятя, жизнь бывшего станичного атамана в то время висела на волоске.

Впрочем, в то время, наверно, в стране не было ни одного человека, чья жизнь не висела бы на волоске. Разница была лишь в том, КОМУ было дано перерезать этот волосок. В одном случае это мог быть едва ли не любой сотрудник того ведомства, чьим гимном была песня Лебедева-Кумача: «Мы, бойцы Наркомвнудела, вражьи головы сечем!», а в другом — только «лично товарищ Сталин».

В свете той роли в создании шолоховских романов, какую приписывают П.Я. Громославскому Солженицын и Мезенцев, можно себе представить, какой смертельной угрозой для Шолохова могла стать готовность Сталина перерезать волосок, на котором повисла тогда жизнь этого шолоховского свойственника.

Но, прежде чем делать такие далеко идущие выводы, попробуем все-таки сперва выяснить, что за человек был Петр Яковлевич Громославский и какова была (во всяком случае, могла быть) реальная его роль в появлении на свет «Донских рассказов», «Тихого Дона» и «Поднятой целины».



\* \* \*

Из всех приверженцев антишолоховской версии авторства «Тихого Дона» всерьез попытался заняться изучением этого вопроса только один — М.Т. Мезенцев.

Для начала он заглянул в «Памятную книжку области войска Донского» и установил, что с 1909 по 1915 г. тот был атаманом станицы Букановской. При этом он отметил, что против фамилий других станичных атаманов можно увидеть звания — урядник, реже — казак, еще реже — нестроевой 1-го разряда. И только против фамилии П.Я. Громославского значилось не военное, а гражданское звание — коллежский регистратор.

- ▶ Он один из всех станичных атаманов имел гражданский чин 14 класса, до административной службы был псаломщиком.

*(М.Т. Мезенцев. Судьба романов. К дискуссии по проблеме авторства «Тихого Дона». Самара. Стр. 62)*

Это сообщение, по правде говоря, мало что добавляет к тому, что нам хотелось бы узнать о будущем тесте Шолохова. А вот другой документ, который удалось разыскать М.Т. Мезенцеву, представляет в этом смысле уже куда больший интерес.

В газете «Русское знамя» от 22 октября 1913 года он обнаружил объемистую газетную корреспонденцию (она заняла две газетные полосы), целиком посвященную личности П.Я. Громославского. Это был своего рода портрет. И портрет, надо сказать, написанный весьма сочными красками.

После небольшого вступления, представляющего собой фрагмент из «высочайше утвержденного 3 июня 1891 года положения об общественном управлении станиц казачьих войск», в котором говорилось о том, каким надлежит быть станичному атаману, следовала выдержка из постановления окружного атамана Хоперского округа полковника Черемисова от 26 июня 1909 года.

Выдержка эта настолько красноречива, что ее стоило бы

привести здесь полностью. Но я ограничусь лишь несколькими фрагментами из этой выдержки:

- ▶ Главный служебный недостаток Громославского... это почти поголовное пьянство на станичных сборах. Фактически доказано, что в прошлом году Громославский несколько раз обращался с просьбой к сбору: то о наделении его паем, то об увеличении себе содержания. На таких сборах заметно было усиленное пьянство, которое доходило до того, что, по словам многих свидетелей, многие из выборных лежали в бесчувственном положении на улицах. Благодаря этому жалованье атаману было добавлено и он награжден паем...

Не забывал г. Громославский и ближайших своих по кровной связи с ними; у... станичного сбора выпросил пай для своей родной сестры с предоставлением ей права пользования паем в течение десяти лет!!

...Как мастер любимого дела (наживы), предусматривающий неблагоприятные случайности, Громославский прикрывал и преступные деяния подчиненных ему лиц. Они исполняют его распоряжения, они его сотрудники в его законных и незаконных предприятиях...

В 1910 году хуторской атаман хутора Пустовского Букановской станицы, урядник Аким Косов, продал трех штук свиней, загнанных на огородах жителей того же хутора... Расследование этого дела было поручено Громославскому, который пустил в ход все ухищрения, чтобы запутать и затемнить дело, исказив истинное положение его... Нормальный в таких случаях порядок требовал возбуждения уголовного преследования против Громославского... Громославский лишь подвергнут денежному штрафу в пять руб., в той же мере понес наказание и подзащитный его хуторской атаман урядник Косов...

Невольно бросается в глаза эпидемическое пьянство хуторских атаманов. Все перечисленные атаманы как будто скроены по одной мерке в приходе Громославского. Пьют у него и на станичных сборах и вне

стен станичного правления должностные лица; ну, а под действием спиртного угара они готовы идти за своим повелителем Громославским в огонь и воду...

Ничтоже сумняшеся и под общий шумок Громославский продолжал работать чисто, в своих материальных интересах, урывая от общественного пирога при удобном случае лакомые кусочки... из всякой отрасли станичного хозяйства Громославский косвенным или прямым способом извлекал личную доходность и ставил отрасль в такие условия, что являлся непосредственным распорядителем в материальной половине ее.

...Когда же недовольных им спрашивали, почему они выбрали его, Громославского, на эту должность, то слышались от простодушных обывателей и такие заявления, что он обещал им: отказаться от своих дурных привычек, служить добросовестно, а главное выхлопотать прибавку окраинной земли для станицы и войскового леса из дачи Фомина Александро-Дубровского лесничества. Обещания эти остаются ожидающими их выполнения, а за время управления станицей Громославским по его адресу сложилось мнение о нем, как о невыразимо ловком и неуловимом дельце.

*(Там же. Стр. 63—64)*

Полный объем газетной статьи, посвященной будущему шолоховскому тестю, как сообщает М.Т. Мезенцев, составляет **печатный лист**. Сильно же, видать, впечатлил корреспондента «Русского знамени» моральный, общественный, да и просто человеческий облик этого станичного атамана.

Никаких других документальных свидетельств о жизни и деятельности П.Я. Громославского Мезенцев больше не нашел. И уж конечно, не мог он найти никаких документов, которые могли бы пролить свет на причастность бывшего станичного атамана к созданию приписываемых Шолохову текстов.

Но своих разысканий он на этом не прекратил:

- ▶ Жизнь Шолохова прошла на Верхнем Дону. Процесс создания произведений, публиковавшихся под его именем, — черный ящик. Никто, нигде, никогда не был свидетелем его писательского труда. Шолохов появлялся в Москве с уже готовым текстом. Теперь никто и никогда не расскажет, как работал Шолохов. Такие сведения, оказывается, засекретить можно. Но нельзя скрыть бытовые, жизненные подробности, которые так или иначе становятся достоянием гласности. Автор настоящего исследования вел доверительные беседы о Шолохове с жителями Ростова, Аксая, Новочеркаска, Серафимовича, станиц Константиновской, Богоявленской, Романовской, Каргинской, Вешенской, Еланской, Казанской, Базковской, Кумылженской, Глазуновской, хуторов Калининского, Плешаковского, Кружилинского, Белогоровского с 1957 года по настоящее время...

*(Там же. Стр. 65)*

Работа, как видите, была проделана большая. И нельзя сказать, что совсем уж неплодотворная. Многие догадки и слухи вроде как подтвердились. А многое к тому, о чем мы слышали раньше, еще и добавилось.

Можно даже сказать, что в результате всех этих его многолетних разысканий и расспросов глазам исследователя представилась довольно ясная и убедительная картина.

Жаль только, что все, что ему удалось узнать в ходе этого своего расследования, он решил изложить не в строгой — исследовательской — манере, придерживаясь точного изложения выявленных им фактов, — а так, как это скорее пристало бы романисту:

- ▶ В начале 1920 года у дома П.Я. Громославского оставилась подвода. Уже пять лет бывший псаломщик и коллежский регистратор не исполнял обязанности атамана. Но по старой привычке при необходимости обращались к нему, а не в созданный меньше месяца назад ревком.

Казак просил <sup>\*</sup>помощи. Не таясь, он объяснил, что

возвращается из Екатеринодара, дальше с отступающими в Новороссийск войсками Добровольческой армии не поехал...

Он рассказал, что в станице Новокорсунской поддался просьбам очень влиятельных людей из числа казачьей старшины захватить с собой для передачи в станицу Глазуновскую Марии Крюковой окованный сундучок, чувал одежды и переметные сумы. «Довез все в целости», — сказал казак. Ехать еще и в Глазуновскую — 70—80 километров в один конец, он не собирался. Держать у себя вещи в такое время — тем паче.

Без долгих разговоров он внес во двор сундучок, мешок и переметные сумы. Петр Яковлевич осторожно жевал губами.

*(Там же. Стр. 65)*

И дальше — так же обстоятельно, с такими же явно сочиненными, беллетристическими подробностями («Петр Яковлевич осторожно жевал губами...») рассказывается о том, какое сильное впечатление произвели на Петра Яковлевича внесенные казаком во двор переметные сумы: они были «из натуральной хромовой кожи, с затейливым шитьем, с металлическими застежками из нержавеющей стали».

Все эти вещи долго лежали у Громославского в амбаре. Он сразу передал с оказией в Глазуновскую, что они у него. Но понравившиеся ему переметные сумы отложил отдельно. В мешке было две пары добротных сапог, кое-что из одежды. А в сундучке — никому не нужный и непонятный хлам: почти две тысячи рукописных страниц, «исписанных очень красивым, каллиграфическим почерком». Гигантская эта рукопись была разделена на отдельные небольшие стопки — от семи до пятидесяти страниц каждая. Стопки эти были скреплены «прочными медными скрепками».

Кроме этих рукописных бумаг были в сундучке и другие: много вырезок из газет, перевязанных бечевкой, несколько номеров «Русских ведомостей», пять-шесть книжек журнала «Русское богатство».

Переметные сумы тоже были забиты бумагами. Помимо

рукописей, которых там тоже было порядочно, были там и карты с пометками, какие-то официальные документы с печатями, письма в конвертах.

Петр Яковлевич, понимая, что казак расскажет, какие вещи он у него оставил, достал свои переметные сумы, потрепаннные, из сыромятной кожи и хотел было переложить туда бумаги из приглянувшихся ему кожаных. Но почему-то раздумал: на антресоли за хромовыми не полез, а свои, сыромятные, набил рукописями из сундучка.

За вещами приехали недели через две. Петр Яковлевич как в воду глядел: посланец, конечно, знал, что должен забрать сундучок, мешок и переметные сумы.

История этого сундучка Мезенцевым прослежена отдельно (он, оказывается, сохранился). Но к интересующей нас проблеме судьба этого сундучка отношения не имеет. Имеет к ней отношение содержимое хромовых переметных сум, оставшихся у Громославского.

А с ними было вот что:

- ▶ П.Я. Громославский начал мистифицировать зятя уже в начале 1924 года, когда появились публикации его фельетонов. Как-то он сказал, что и сам пописывает, но скрывает это от окружающих, боясь насмешек. Да и занятие его (в 1923 году он вновь стал псаломщиком) не располагает к мирским делам. Зять скептически улыбался.

Тогда-то Громославский и показал ему содержимое хромовых переметных сум.

— Брось, батя, — сказал Шолохов, прочитав уже первые страницы, — почерк-то не твой.

— А писарь, писарь был у меня в канцелярии, грамотный. Он и переписывал...

Молодой Шолохов и верил, и не верил, но читал с увлечением.

*(Там же. Стр. 69)*

На этом рассказ о дальнейшей судьбе рукописи, хранившейся в хромовых переметных сумках, обрывается. И о будто

бы имевшем место литературном сотрудничестве зятя с тестем больше ни слова. Так что сообщение Мезенцева о том, что П.Я. Громославский будто бы «неплохо владел пером» и «у него даже был псевдоним — П. Славский», — повисает в воздухе.

Если даже принять на веру всю эту историю, которую Мезенцев собрал по крупицам и сложил в цельную (по правде говоря, не очень даже и цельную) картину, в «сухом остатке» новой для нас информации остается совсем немного. Только подтверждение (если всю эту беллетристику можно считать подтверждением) легенды о доставшейся Шолохову чужой-то чужой рукописи плюс выяснение обстоятельств (объяснение тоже, надо сказать, весьма туманное), при которых эта рукопись к нему попала.

Одно только тут не вызывает ни малейших сомнений.

С грехом пополам еще можно допустить, что тесть помог зятю не только завладеть чужой рукописью, но и как-то в ней разобраться. С трудом, но еще можно себе представить, что он принимал участие в «обработке» (надо бы сказать — порче) первоначального текста «Тихого Дона». Но вообразить, что он написал за Шолохова «Поднятую целину»! Что этот вороватый и жуликоватый псаломщик и бывший станичный атаман мог написать сцену раскулачивания Титка Бородина! Вылепить образы Макара Нагульнова, Кондрата Майданникова, Давыдова!

Но если не он, то — кто же?

И тут — хочешь, не хочешь — поневоле возвращаешься к мысли о «коллективном авторе».

Мысль эта, как мы помним, возникла у Зеева Бар-Селлы как результат его текстологического исследования «Донских рассказов».

К той же мысли — с той же логической неизбежностью и тоже в итоге скрупулезного текстологического анализа пришли А.Г. и С.Э. Макаровы:

- ▶ Сопоставление и системный анализ основного текста и заимствований указывает на разновременное участие в работе над романом нескольких авторов...

Проблема авторства в свете новых данных предста-

ет по-иному. Вопрос о том, кто является автором «Тихого Дона» — Шолохов или, например, Крюков, представляется некорректным. У известного нам текста несколько авторов, этот текст не является органически цельным единым художественным произведением. Выделив в результате текстологического анализа из основного (художественного) текста чужеродные вставки, мы определили ту его часть, относительно которой мы можем корректно поставить вопрос о реконструкции первоначального текста романа — протографа и его авторстве.

*(А.Г. Макаров, С.Э. Макарова. К истокам «Тихого Дона». В кн.: «Загадки и тайны «Тихого Дона». Самара, 1996. Стр. 329)*

Но у «Поднятой целины» никакого «протографа» не было! А мысль о «коллективном авторе» тем не менее и тут возникает. И возникает произвольно. Не только у специалиста-текстолога, но у любого внимательного читателя романа.

\* \* \*

С первых же страниц «Поднятой целины» бросается в глаза, что в романе — три слоя. Три резко отделенных друг от друга, несмешивающихся стилистических пласта.

Вот — первый:

- ▶ По крайнему к степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую



спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно гольшам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег.

Заслышав встречу себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью.

Не надо обладать особенно изощренным вкусом, чтобы сразу увидеть, почувствовать: написал это писатель замечательный. Сильная, твердая, уверенная рука. Та самая, что когда-то написала:

- ▶ Мелеховский двор — на самом краю хутора. Ворота скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона.

Как и та, первая страница «Тихого Дона», первая страница «Поднятой целины» сразу покоряет нас силой и точностью каждого слова. И как там, так и тут за каждым его словом — совершенное, абсолютное знание того, что он видит... Нет, не только видит: осязает, обоняет, вдыхает... Чувствуешь, что все, о чем сообщается нам в этом коротком отрывке, автор знает не понаслышке. Чтобы написать такое, надо было своей собственной рукой, своими собственными пальцами, — и, наверно, не раз, — ощутить под потником горячую, запотевшую конскую спину. И не только самому все это ви-

дети и осознать, но и достичь, чтобы это его зрение и осознание передалось и нам. Чтобы и мы тоже увидели в мелкой, прозрачной речной воде каждый камешек, каждый голыш, по которым, глухо звякая подковами, переступает этот усталый, «курчаво заиневший в пахах» конь.

А вот — другой слой. Совсем другой стилистический пласт, в который мы тоже погружаемся сразу, на первых же страницах романа:

- ▶ Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы...

— Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж... Остальные восемь двадцатипяти тысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. — Секретарь думаяще пожевал губами. — Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району — четырнадцать и восемь десятых... За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхозы посылали заявки на сорок три рабочих, а прислали вас только девять.

И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.

— Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.

— С демобилизации. Девять лет. — Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.

— Краса и гордость? Во флоте был?

— Да.

— То-то вижу якорек у тебя...

— Молодой был, знаешь... с зеленью и глупцой, вот и вытравил... — Давыдов досадливо потянул книзу рукав,

думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебо-готовки-то едва не просмотрел!»

Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства.

— Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву крайкома читал? Знаком? Так вот, поедешь ты в Гремяченский сельсовет.

Вряд ли стоит тут тратить силы и время на стилистический, текстологический или какой-нибудь еще анализ. Без всяких анализов сразу видно, что написал это не просто другой писатель, но писатель **совсем другого уровня**.

— Позвольте, профессор! Но ведь нужны же какие-то доказательства! — повторит тут кто-нибудь знаменитую реплику. И мы ответим на нее так же, как Воланд ответил Берлиозу:

— Нет, не надо никаких доказательств.

- ▶ Однажды мне попала в руки книга Шеллера-Михайлова, какой-то роман из собрания сочинений этого писателя, изданный «Нивой». Я стал читать этот роман — некую историю о денежно-наследственной неудаче в среде не то чиновничьей, не то профессорской... Бойко написано, но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки... И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает страница, исчезает книга, исчезает комната, и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке...

Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же «Ни-

вского» издания сочинений Достоевского. Страницы были из «Идиота».

Я не знал, что читаю другого автора. Но я почти закричал:

— Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер-Михайлов? Нет! Кто же?

И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны... И вот еще раз оно в другом месте! Кажущееся лиловым имя, от которого то тут, то там вздрагивали строчки!

Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!

*(Юрий Олеша. Ни дня без строчки. М., 1965. Стр. 213)*

К этому наблюдению Олеша я бы только добавил, что эта «колоссальная разница» определяется не масштабом сравниваемых писателей («великий — рядовой»), а чем-то другим. Может быть, самой природой их художественного дара?

Я бы не посмел утверждать, что автор тех отрывков, которые я отнес к первому стилистическому слою «Поднятой целины» — **великий писатель**. И точно так же не отважился бы назвать автора второго ее стилистического слоя писателем **рядовым**.

Приведенный выше отрывок из этого «второго слоя» — не из лучших страниц романа. И даже не из самых характерных.

К этому «второму слою» следует отнести и очень сильные, художественно выразительные его эпизоды. Например, одну из самых душераздирающих сцен первой книги «Поднятой целины» — сцену раскулачивания Титка Бородина. Или — сцену «бабьего бунта», когда толпа осатаневших гремяченских баб избивает — еще немного и забили бы до смерти — Давыдова, отказывающегося отдать им ключи от амбара, в котором хранится колхозный семенной фонд:

- ▶ Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, но он все еще улыбался вспухшими губами, выказывая

нехваток переднего зуба, неторопливо и несильно отталкивал особенно свирепо наседавших баб. Страшно досаждала ему Игнатенкова старуха с гневно дрожащей бородавкой на носу. Она била больно, норовила попасть либо в переносицу, либо в висок и была не так, как остальные, а тыльной стороной кулака, костяшками сжатых пальцев. Давыдов на ходу тщетно поворачивался к ней спиной. Она, сопя, расталкивала баб, забегала ему наперед, хрипела:

— Дай-кася, я его по сусалу! По сусалу!

«Н-н-ну, подожди, чертова жаба, — с холодным бешенством думал Давыдов, уворачиваясь от удара, — как только покажется Любишкин, я тебя так садану, что ты у меня винтом пойдешь!»...

Его мучила жажда, одолевала бессильная ярость. Били его не раз, но женщины били впервые, и от этого было ему как-то не по себе. «Только бы не свалиться, а то озвереют и — чего доброго — заклюют до смерти. Вот глупая смерть-то будет, факт!» — думал он, с надеждой устремляя глаза на бугор. Но не схватывалась на шляху пыльца, взвихренная конскими копытами, не показывались рассыпанные лавой всадники. В безлюдье пустовал бугор, простираясь до дальнего кургана на горизонте... Так же пустынно были улицы. Все собрались возле амбаров, оттуда доносилось тугое громыхание множества голосов... Он уже не шутил, а все чаще спотыкался на ровном, все чаще хватался за голову и, бледнея, глухо просил:

— Хватит! Убьете ведь. По голове не надо... Нету у меня ключей! До ночи буду водить, а ключей нету... Не отдам!

— А-а-а-а, до ночи?! — стонали разъяренные бабы и снова пиявками присасывались к обессилевшему Давыдову, царапали, били и даже кусали.

Возле самого двора колхозного правления Давыдов сел на дорогу. Парусиновая рубашка его была в крови, короткие городские штаны (с бахромой внизу от ветхости) разорваны на коленях, из распахнутого ворота

высматривала смуглая татуированная грудь. Он тяжело, с сапом дышал и выглядел жалко.

— Иди, су-ки-и-ин ты сын!.. — Игнатенкова старуха топала ногами.

— За вас же, сволочей!.. — неожиданно звонко сказал Давыдов и повел по сторонам странно посветлевшими глазами. — Для вас же делаем!.. И вы меня же убиваете... Ах, сво-ло-чи! Не дам ключей. Понятно? Факт, не дам! Ну?

— Бросьте вы его!.. — закричала подбежавшая девушка. — Казаки уже замки посбили и хлеб делают!

Бабы кинули Давыдова около правленческих ворот, побежали к амбарам.

Встал он с огромнейшим усилием, зашел во двор, вынес на крыльцо цибарку со степлившейся водой, долго пил, а потом стал лить воду на голову. Кряхтя, смыл кровь с лица и шеи, вытерся висевшей на перильце попонкой и присел на порожек.

Во дворе не было ни души. Где-то потревоженно кудахтала курица. На крыше скворешни выщелкивал, запрокинув голову, вороной жаворонок. Со ступи слышно было, как посвистывали суслики. Негустая ступенчатая грядина лиловых облачков застилаала солнце, но, несмотря на это, в воздухе висела такая томящая духота, что даже воробьи, купавшиеся посреди двора в куче золы, лежали недвижно, вытянув шейки, изредка трепыхая крохотными веерками распущенных крылышек.

Как ни относишься к этому отрывку, как его ни оценивай, о нем не скажешь, что это «бойко написано», как полупрезрительно обронил Олеша о случайно попавшемся ему романе Шеллера-Михайлова. И уже только поэтому тут, казалось бы, невозможна читательская реакция, подобная той, какую испытал он, когда, читая тот бойко написанный текст, наткнулся на вклинившиеся в него по вине типографа страницы Достоевского.

Но происходит именно это!

Перейдя, как пишет Олеша, «к одной из очередных страниц», мы вдруг испытываем тот же шок — то же потрясение:

- ▶ ...Каждый день в голубино-сизых предрассветных сумерках выходит на вершину его старый сиводуший лисовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного каррарского мрамора; стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое правило, вытянув навстречу ветру заостренную, с дымной черниной у пасти, морду. В этот момент только агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, лоя жадно разверстыми, трепещущими ноздрями и пресный, все обволакивающий запах снега, и неугасимую горечь убитой морозами полыни, и сеной веселый душок конского помета с ближнего шляха, и несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводака, залегшего на дальней бурьянистой меже.

В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лисовину, для того чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно искрящегося снега ног, волоча покрытое сосульками, почти невесомое брюшко по верхушкам бурьяна, саженой пятьдесят. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя: терпкая кислота свежего птичьего помета и вдвоенный запах пера. Влажное от снега, соприкасающееся с травой перо лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла, это — сверху, а от синего пенька, до половины вонзающегося в мясо, исходит запах теплой и солонцеватой крови...

Никакой типографской ошибки в этот раз не произошло. Ничей чужой текст по вине верстальщика или брошюровщика сюда не вклинился. Но когда сразу за сценой «бабьего бунта», в непосредственной близости к ней тебя вдруг погружают в этот мир звериных ощущений, в эту сложную и

острую смесь запахов, обжигающих нюх старого лисовина, испытываешь то же изумление, что испытал Олеша, и поневоле выражаешь его так же, как свое выразил он:

— Что это? Кто это пишет? Шолохов? Нет! Кто же?

И вопрос этот, как и в истории, рассказанной Юрием Олешей, тут тоже не остается без ответа.

\* \* \*

Ответ сомнений не вызывает: это, конечно, он — автор «протографа», первоначального текста «Тихого Дона». И на этот раз я не стану повторять классическую реплику Воланда, что тут, мол, не требуется никаких доказательств. Не стану не столько даже потому, что тут без доказательств не обойтись, сколько потому, что такие доказательства, — и весьма убедительные, — у нас имеются.

Поразивший меня отрывок про старого лисовина взят мною из начала тридцать четвертой главы, — как уже было сказано, следующей непосредственно за сценой зверского избияния Давыдова осатаневшими гремьяченскими бабами.

Ситуация напряженная. Давыдов еле жив. А тут еще Нагульнов, которого только что на бюро райкома исключили из партии, возвращается домой в мыслях о самоубийстве — единственном, как ему кажется, способе разом решить все свои проблемы. Читателю, естественно, не терпится поскорее узнать, как-то автор развяжет этот, так туго завязанный им сюжетный узел. С тем он и приступает к началу следующей главы.

Вот оно — это начало:

- ▶ Сбочь дороги — могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былки, даже весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят



старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.

Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подоблачья степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлаупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Как камень-самородок, недвижимый и изжелта-бурый, беркут отдохнет перед вечерней ловитвой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.

Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?..

Тут и появляется «старый сиводушный лисовин», агатовый влажный нос которого «живет в могущественном мире слитных запахов».

Поди пойми, какое отношение имеет все это к бедам и переживаниям Давыдова и Макара Нагульнова и что этой великолепно написанной картиной хочет нам сказать автор.

Пытаясь понять это, Зеев Бар-Селла подверг этот отрывок всестороннему, не только текстологическому и стилистическому, но и смысловому, даже *географическому* анализу:

- ▶ Тут что потрясает? Потрясает размах, в первую очередь — географический: Кавказ, Закавказье, Персия, Афганистан!.. Интересно, с чего это беркута понесло в такую даль? Нагульнов, к примеру, в тех краях отродясь не бывал. А бывал он на Дону, где родился и откуда ушел на германский фронт (см. гл. 4), в 1920 году — под Каховкой и Бродами (см. гл. 24), был ранен и контужен под Касторной (гл. 4, 32), то есть служил, как

можно догадаться, в Первой Конной; затем вернулся на Дон, провел коллективизацию и умер. Проще говоря, допустив связь беркута с Макаром Нагульновым, мы становимся свидетелями полнейшего авторского произвола.

Поэтому перестанем цепляться за Нагульнова и отправимся по указанному беркутом странному и загадочному маршруту.

Что может связать донскую степь с предгорьями Кавказа, Персией и Афганистаном?

Лишь одно — биография генерала Л.Г. Корнилова! Это он совершал бесстрашные разведки в Афганистане, первым исследовал соляные пустыни в Персии, сражался на Дону и погиб при штурме Екатеринодара, «в голубых предгорьях Кавказа». Труп Корнилова был вырыт красными из могилы, протащен по улицам Екатеринодара, зверски изуродован и сожжен на городской бойне. Прах генерала был растоптан и развеян по ветру.

«Куда унесет его знобящий осенний ветер!..»

Вдова Корнилова сказала тогда вдове атамана Каледина:

«Счастливая, у вас есть могила, а у меня и могилы нет...»

Могильный курган в донской степи и должен стать символом вечной памяти о лишенном могилы великом человеке.

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован.  
Проект «Писатель Шолохов».  
М., 2005. Стр. 119)*

Высказав это предположение (пока это только предположение), автор исследования замечает, что в этот «корниловский» маршрут не вписывается Муганская степь.

- Она не только к Нагульнову, но и к Лавру Георгиевичу Корнилову никакого отношения не имеет... Но

именно эта степь и служит решающим доказательством.

Начнем с того, что ветру, пожелавшему доставить беркута из предгорий Кавказа в Муганскую степь, пришлось бы передуть через Большой Кавказский хребет — 3000 метров над уровнем моря. На такой высоте парят уже не степные беркуты, а горные орлы.

Но наше внимание останавливает «степь». Вот Федор Константинович Годунов-Чердынцев, герой набокковского «Дара», пытается представить себе возможную картину гибели отца:

«Долго ли отстреливался он, припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда <...> приняв за белого шпиона (да и то сказать: с Лавром Корниловым однажды в молодости он объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае)?»

В кругу русских географов исследование Степи Отчаяния (Дашти-Наумед, на современных картах: Дашти-Наумид; правильное написание: Дашт-и-Наумид) — безжизненной соляной пустыни, раскинувшейся между 32-й и 33-й параллелями, считалось самым замечательным достижением Корнилова-путешественника.

Следовательно, в непредвзятом повествовании о Л.Г. Корнилове (принадлежи оно автору «Тихого Дона» или Набокову) вероятнее всего следовало ожидать упоминания именно об этой экспедиции.

Мало того, Степь Отчаяния идеально вписывается во внутреннюю географию текста — «В Муганскую степь ли? В Персию? В Афганистан?», — поскольку находится как раз на границе Ирана и Афганистана.

*(Там же. Стр. 120)*

Как будто все уже ясно. Но исследователь на этом не останавливается. Чтобы подкрепить неоспоримость этой своей версии, он возвращается к текстологии.

Рукопись, разумеется, пропала. Но каким-то чудом оты-

скались 155 страниц наборной машинописи с шолоховской правкой. Вот эта правка и привлекла внимание исследователя:

- ▶ Подготавливая 34-ю главу к печати, Шолохов сделал в этом месте мельчайшее добавление — вставил невинную частицу «ли»:

«В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?» Цель правки очевидна: еще больше отдалить «степь» от Персии. Но, определив направление редактур, мы можем сделать и шаг назад — в дошолоховское прошлое текста. Там «Персия» входит не в вялую цепочку однородных обстоятельств места, но служит пояснением к предшествующему наименованию и отделяется от «степи» не вопросительным знаком, а запятой:

«Куда унесет его знобящий осенний ветер? В голубые предгорья Кавказа? В Степь ли Отчаяния, в Персию? В Афганистан?»

*(Там же. Стр. 120—121)*

На этом Зеев Бар-Селла свое исследование этого фрагмента не прекращает. Далее он пытается отыскать — и находит! — «внутренние связи» этого «Реквиема Корнилову», как он его называет, со всеми «корниловскими» сюжетами «Тихого Дона». Но углубляться еще и в эту сложную систему его доказательств мы не станем. Для моих целей более чем достаточно того, что в ходе его расследования мы уже узнали.

В начале этого блистательного аналитического разбора Зеева Бар-Селлы мелькнула фамилия Нагульнова («Нагульнов, к примеру, в тех краях отродясь не бывал. А бывал он на Дону, где родился и откуда ушел на германский фронт...»).

Казалось бы, к чему это тут?

А к тому, что этот «Реквием Корнилову» автор «Поднятой целины» состыковал с мрачными мыслями только что исключенного из партии и потрясенного этим исключением Нагульнова о самоубийстве. Искусственность и даже нелепость этого «монтажного стыка» очевидна. Две эти ткани не

срастаются. Скорее наоборот: это механическое соединение двух разнородных кусков прямо-таки вопит о чужеродности заимствованного текста всему строю повествования, в которое он искусственно вмонтирован, вставлен.

В иных случаях эти «заплаты» вставлены более ловко и не так бросаются в глаза. Но при внимательном чтении сразу бросается в глаза то, что их объединяет.

Все они — ничем не связаны не то что с событиями, происходящими в романе, но даже и с временем, когда эти события происходят.

Верховой, въехавший в хутор Гремячий Лог январским вечером 1930 года, точно так же мог бы остановить своего усталого коня и январским вечером 1914-го или 1921 года. И так же над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял бы ущербленный месяц. И так же, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули бы в темноте серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла. И так же конь, глухо звякая подковами по голышам, устилающим дно речки, на ходу потянулся бы пить.

Или — вот эта, тоже уже знакомая нам картинка:

- ▶ Негустая ступенчатая грядина лиловых облачков застилала солнце, но, несмотря на это, в воздухе висела такая томящая духота, что даже воробьи, купавшиеся посреди двора в куче золы, лежали недвижно, вытянув шейки, изредка трепыхая крохотными веерками распушенных крылышек.

Эти воробьи, купающиеся в куче золы, вполне могли бы вот так же недвижно лежать, вытянув шейки и трепыхая крылышками, в любой другой главе романа. Картинку эту легко можно прилепить к любой ситуации, лишь бы только дело происходило не зимой или осенью, а в летний зной. Она легко могла бы вписаться в какую-нибудь умильную, благостную, даже сентиментальную коллизию. Но автор «Поднятой целины» завершил ею финальную сцену «бабьего бунта», когда избитый до полусмерти Давыдов, еле волоча ноги, вы-

ходит во двор, чтобы смыть «затеплившейся водой» кровь с лица и шеи.

Пример такого монтажа можно встретить едва ли не в любой книге по истории и теории кино.

Озеро. Ослепительно яркий солнечный день. Солнечные блики на гладкой поверхности воды. Мир, покой, тишина...

А теперь представьте, что этот кадр следует после другого, где мы только что увидели, как в этом озере утонул человек.

Картинка, на которой мы видим воробьев, купающихся в золе, вставлена по принципу именно вот такого — контрастного — монтажа. И сделано это умелой, опытной рукой...

Так же умело вставлены в ткань романа, в его второй стилистический слой, и многие другие заплаты. И это свидетельствует о том, что автор этого «второго слоя» — **писатель**.

Но в «Поднятой целине», как уже было сказано, есть еще один — третий стилистический слой. И автора этого, третьего слоя писателем уже не назовешь:

- ▶ По плану площадь весенней пахоты в Гремячем Логу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 — целины. Под зябь осенью было вспахано — еще единоличным порядком — 643 гектара, озимого жита посеяно 210 гектаров. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком: пшеницы — 667 гектаров, жита — 210, ячменя — 108, овса — 50, проса — 65, кукурузы — 167, подсолнуха — 45, конопли — 13. Итого — 1325 гектаров плюс 91 гектар отведенной под бахчи песчаной земли, простиравшейся на юг от Гремячего Лога до Ужачиной балки.

На расширенном производственном совещании, состоявшемся двенадцатого февраля и собравшем более сорока человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ.

*(Начало XXI главы)*

Я совсем было уже собрался написать, что это слог не писателя, а газетчика самого низкого разбора. Не газетчика даже, а — **рабкора**. Но вовремя спохватился, подумав, что даже рабору это сравнение показалось бы оскорбительным.

В иных случаях такая стилистика, наверно, была уместна:

- ▶ Прошлые годы Вешенский район был в числе передовых по краю. В труднейших условиях 1930—31 гг. успешно справлялся и с севом и с хлебозаготовками. О том, как парторганизация боролась за хлеб, красноречиво свидетельствуют цифры роста посевных площадей. Посевная площадь по колхозно-единоличному сектору: 1930 г. — 87 571 гек., 1931 г. — 136 947 гек., 1932 г. — 163 603 гек. [...]

В 1931 г. колхозы Вешенского района полностью выполнили план хлебозаготовок в 21 000 тонн, заготовили семена на 163 603 гек. озимого и ярового клина, выдали колхозникам на трудодни 7323 тонны (8 1/2 пудов, в среднем, на едока) и осенью подняли 73 000 гек. зяби. [...]

План сева к 26 мая был выполнен по району целиком, включая и 13 000 гектар[ов] дополнительного. Но надо сказать, что на изрядной и никем не учтенной площади высев зерна был произведен в значительно меньшей норме, чем полагалось бы... [...] В одном и том же колхозе урожай колебался от 4 пудов с гектара до 40. Большое количество посевов — преимущественно поздних — погибло окончательно. Так, по колхозам Вешенского района из общей посевной площади в 163 603 гек. погибло 14 017 гек. одной пшеницы да 6866 гек. пропашных... [...] По колхозам имелась огромная неучтенная площадь поздних, забитых сорняками хлебов, которая даст значительно сниженную урожайность. Поэтому-то и была допущена переоценка урожайности. В среднем ее установили по пшенице 5 центнеров с 1 гектара и по ржи 7 центнеров, а в среднем по всем культурам, включая все колосовые и пропашные, — 5 центнеров с 1 гектара.

Это — из письма Шолохова Сталину от 4 апреля 1933 года. И тут без этого сухого, подчеркнуто делового стиля и без всех этих цифровых выкладок, наверно, ему было не обойтись.

Но не в романе же!

Процитированный мною «рабкоровский» кусок, положим, носит чисто деловой, информационный характер и на художественность даже и не претендует. Но так же «по-рабкоровски» автор «Поднятой целины» порой рисует — да нет, то-то и дело, что не рисует, даже не пытается нарисовать, — тем же казенным, суконным языком *излагает* то, что в данный момент делает или говорит тот или иной персонаж его романа:

- ▶ Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.

Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремяченском ТОЗ.

Тут стилистический отрыв от основного стиля повествования прямо-таки разителен. Может даже показаться, что он отделен от него куда резче, чем первый стилистический слой от второго. Но это, в сущности, не так уж важно. Главное тут то, что все эти три слоя в «Поднятой целине» сосуществуют, **не смешиваясь**. Вот и выходит, что у этого романа по меньшей мере три автора.

Кто был автором первого слоя, мы уже выяснили: автор «протографа», первоначального текста «Тихого Дона». Кто был автором третьего слоя, гадать тем более не приходится.

А вот на вопрос, кто был автором второго — в сущности, основного — слоя романа «Поднятая целина», ответить уже не так просто.



\* \* \*

В этом вопросе некоторую нерешительность проявил даже такой суровый и бескомпромиссный судья, как Солженицын.

Разбору «Поднятой целины» он посвятил специальную статью («Вестник РХД», № 141, 1984), в которой подверг этот роман уничтожающей критике.

Поначалу он не оставил от него камня на камне:

- ▶ ...Распялена по книге художественная неумелость (во 2-й части уже удушающая). Все мысленные монологи закавычены, шаблон литературного ученичества. Лишние пояснительности, где и без них понятно. В повествовании — вдруг беспомощная и неоправданная, почти малограмотная смена настоящего и прошедшего времени. Ошибки в речи персонажей, словечки передаются от одного к другому, как давыдовский «факт». Совсем неправдоподобно, когда образ мировой революции вселяется уже и в Кондрата Майданникова, только портится Нагульнов. Повышенная слюнявость вокруг приезда агитколонны, бездельных лбов во главе с бывшим чекистом. Психология лишь самых примитивных ситуаций, нет человеческих неожиданностей, а уж глубины характеров и не спрашивай. Обоснований нет: то вот бригада Любишкина выручала правление как самый боевой отряд — то вдруг уклоняется пахать. Лирические сцены — на школьном уровне, в описании Вари сентиментальный пафос прямо от автора: «О чем ты плачешь, милая девушка?.. Ее чистая любовь наткнулась на равнодушие». Так и выписывает: «наступающая любовная развязка», «прожить в относительном спокойствии».

(А.И. Солженицын. По донскому разбору.  
В кн.: Загадки и тайны «Тихого Дона».  
Самара, 1996. Стр. 112)

Но тут же — оговорка:

- ▶ ...С первых страниц ощущаешь, и потом уже не дадут тебе потерять, что автор — не чужой Дону человек, что он там много жил, и еще живет, и, видно, не парубок был к 1930 году, видно, отлично знает казачий быт и язык, с его крутостью, уверенностью, подробностями, этого много в книге, этим неделанным языком с его несмягченной грубостью говорят в книге казаки. И типаж казаков у него есть, это не посторонний наезжий списывал, он многих реальных имеет в виду, когда пишет, успевает показать и второстепенных персонажей в броских чертах...

*(Там же)*

Перечень неумелостей, неловкостей, беспомощностей, смысловых и содержательных несообразностей и художественных провалов, однако, продолжается:

- ▶ Несклады внутри одной сцены: бригада Дубцова кончала в поле полдник, когда медленная телега появилась на дальнем степном горизонте, а когда телега доехала — то бригада еще не кончила каши. И сам Дубцов: негодует на приезжего — а лицо искренно радуется. В темной комнате свет лишь узкой полоской по полу, но подробно описывается выражение глаз. Лень пера.

И еще все это можно было бы перенести, если б не изнурительные удручающие, многостраничные потуги автора на юмор: и откуда впало ему несчастно, что он юморист? Чуть только завяжется на три страницы серьезное повествование — сейчас же тискай сюда на пять страниц неуместную псевдокомическую интермедию! — шутки, часто пошло эротичные, нестерпимо безвкусные, грубые (как разыгрывание стряпухи Куприяновны), — и все «давятся от смеха», покинув всякое иное дело. Но и их еще все можно было бы перенести, если бы не дед Щукарь со своим дежурным комикованием — в непомерных, неестественных количествах на целые главы, по 10 страниц, нарушая

реальность всякой обстановки, динамику действия, и никогда нимало не смешно, — и все «трясутся от смеха» и слушают с «неослабным вниманием», а частейший слушатель его, председатель колхоза, то «давится от смеха», то «еле сдерживается от смеха», когда читателю уже впору выть от тоски. Такого отсутствия вкуса, чувства меры кажется еще никогда не являла русская литература.

*(Там же. Стр. 112—113)*

И тут, когда этот убедительный и доказательный разгром романа, казалось, достигает уже высшей точки, он вдруг снова обрывает себя:

- ▶ Но опять же не так просто. А вот сцена семенного бунта (1-я часть) — ярка, удалась. А Нагульнов? «Человек нервного расстройства», с его припадками бешенства, — крупная удача, хороший памятник типу, кто его потом восстановил бы? Целен — и «чтоб до мировой революции коммунисты не имели баб», Лушку отпустил, а кружевной платочек хранит, и... «кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий», «я агитирую так, как моя партизанская кровь подсказывает», избиение Банника, запер трех колхозников в пустой комнате, Лушку с теткой в чулане (и автор любит его разбоем); никогда не боязнь чужих страданий, а только бы самому не потерять партбилет; «я попа, волосатого жеребца, при народе овечьими ножницами остригу» — и острижет; и способен подстеречь, убить без суда, — но и самому в бой идти.

*(Там же. Стр. 113)*

Как совместить эти «крупные удачи» с таким отсутствием вкуса и чувства меры, какого «кажется еще никогда не являла русская литература», Солженицын не знает. Во всяком случае, прямого ответа на эту им самим заданную загадку не дает. Но в чем он убежден твердо, так это в том, что все отмеченные им удачи романа — уж точно **не от Шолохова**:

- ▶ Вот так, прочтя изнехотя «Поднятую целину» (читатель, может быть, заметил, что я ни разу отначала не употребил фамилию автора) — невольно опять возвращаешься мыслями к «Тихому Дону».

Если в «Тихом Доне» идеологические вставки были все же малочисленны, крайне бестолковы, неуместны и сразу резали глаз, то в «Поднятой целине» они уже составляют главную ткань, а художественные удачи, как пестрые латки, удивляют нас своей неожиданностью. Но тот непрошенный соавтор, чья рука могла лепить пропагандные заплатки на добротную ткань «Тихого Дона», — тот отчего не мог бы и выткать рядно «Поднятой целины»?

*(Там же. Стр. 115)*

Тут — явное противоречие: ведь только что сам Солженицын в своем беглом анализе этого «рядна» показал нам, что художественные удачи удивляют нас не только «как пестрые латки», что само это «рядно» — не такое уж рядно, а сплошь и рядом являет собой весьма добротную ткань. И создатель этой добротной ткани — уж отнюдь не автор «Тихого Дона». Между ним и автором «Тихого Дона» — пропасть:

- ▶ Автор «Дона»: был сердечно предан Дону, страстно любил казачество и имел собственные мысли о судьбе края. Он ни в чем не проявил бесчестия, не выказывал безнравствия, а как художник был превосходно высок. Автор «Целины»: хотя и зная Дон, не проявляет любви к его жителям, а мысли содержит на уровне советского агитпропа. Народное бедствие он описывает бесчестно, лживо, глумливо, а как художник провально ниже уровнем.

Тут стоит напомнить хронологию. Первые три тома «Тихого Дона» появились в течение трех смежных лет: 1927—1929. По пятам был готов и 4-й, хотя пропущен в печать не сразу. В 1932-м был готов и 1-й том

«Целины». Затем последовал, для номинального автора, перерыв в 27 лет (отрывки «Сражались за родину» трудно отнести к художественной литературе, а ложь «Судьбы человека» я разобрал в «Архипелаге»). В 1959-м появился 2-й том «Целины» — позорный по уровню даже в сравнении с 1-м. Затем наступило 25 лет уже полного молчания. (Пусть поправит меня любой писатель, а я чувствую так: если не занялся бабочками, палеонтологией или иностранными переводами, невозможно зрелому писателю промолчать 25 лет. Впрочем, Твардовский передавал мне сцену о вешенском аборигене, как тот сердечно признался почитателю, что не только ничего не пишет, но даже и не читает давно ничего.)

*(Там же)*

Значит, не Шолохов. Точно — не он. По глубокому убеждению Солженицына, Шолохову тут в лучшем случае досталась та самая роль, которую ему назначил по ходу своих текстологических разысканий Зеев Бар-Селла: роль **писаря**.

Шолохов даже и по возрасту, считает Солженицын, не мог быть автором «Поднятой целины» (а не только «Тихого Дона»). Ведь автор и этого, второго якобы шолоховского романа — «видно, не парубок был к 1930 году, видно, отлично знает казачий быт и язык».

Но если не Шолохов, то кто же?

И тут ничего другого ему не остается, как только ухватиться, — как утопающему за соломинку, — за сомнительную фигуру шолоховского тестя — Петра Яковлевича Громославского.

- ▶ А знающие донцы называют рядом Петра Громославского, бывшего станичного атамана, баловавшего до революции и литературой, побывавшего и в белом Новочеркасске с Крюковым. Разумеется, бывшему атаману печататься при Советах не светило. Однако в 20-е годы он выдал дочь за Шолохова и был все безо-

пасней по мере утверждения последнего. Умер в престарелости в 50-х годах. И с тех-то пор 25-летнее молчание.

*(Там же. Стр. 115—116)*

Ну что ж, попробуем поверить, что бывший станичный атаман не только «баловался литературой», но и впрямь был самородок, талантливый писатель. Даже при этом допущении мы с грехом пополам еще можем представить, что ему под силу было вылепить бывшего есаула Половцева, бывшего подпоручика Лятевского, Якова Лукича Островнова. Но не Нагульнова же! И не потому, что таких людей, как Нагульнов, он не мог видеть и знать: мог, наверно. Но вряд ли он мог написать этого упертого фанатика-большевика так **любовно**, как это сделал автор «Поднятой целины». (Сам же Солженицын говорит, что «автор любит его разбоем».)

Бывший станичный атаман вряд ли мог любоваться не только «разбоем» Нагульнова, но и его мечтами об интернациональном братстве будущего населения нашей планеты:

- ▶ — Вот как поломаем все границы, я первый шумну: «Валяйте, женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и не будет на белом свете такой срамоты, что один телом белый, другой желтый, а третий черный, и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут личиками приятно смуглявые, и все одинаковые. Я об этом иной раз ночами думаю.

И совсем уж не мог бы он с такой искренней любовной усмешкой повествовать о нагульновских занятиях английским языком:

- ▶ — Чему обучаюсь? — переспросил Макар и захопнул книжку. — Английскому языку.  
— Че-му-у-у?  
— Английскому языку. Эта книжка и есть самоучитель.

Нагульнов настороженно вглядывался в Андрея, страшась увидеть в лице его издевку, но Андрей был

настолько ошарашен неожиданностью, что, кроме изумления, Нагульнов ничего не прочитал в его злобноватых, широко раскрытых глазах.

— Что же ты... уже можешь читать или гутарить по этому, по-ихнему?

И Нагульнов с чувством затаенной горделивости отвечал:

— Нет, гутарить ишо не могу, это не сразу дается, а так, ну, одним словом, по-печатному начинаю понимать. Я ить четвертый месяц учусь.

— Трудная штука? — проглотив слюну, с невольным уважением поглядывая на Макара и на книжку, спросил Размётнов.

Макар, видя со стороны Размётнова проявление живейшего интереса к его учебе, откинул настороженность, уже охотно заговорил:

— Трудная до невозможностей! Я за эти месяца толечко... восемь слов выучил наизусть. Но сам собою язык даже несколько похожий на наш. Много у них слов, взятых от нас, но только они концы свои к ним поприделали. По-нашему, к примеру, «пролетариат» — и по-ихнему так же, окромя конца, и то же самое слово «революция» и «коммунизм». Они в концах какое-то шипенье произносят, вроде злобствуют на эти слова, но куда же от них денешься? Эти слова по всему миру коренья пустили, хошь не хошь, а приходится их говорить.

— Та-а-ак... Вот оно что, учишься, значит. А к чему, Макар, тебе этот язык спонадобился? — спросил наконец Размётнов.

С улыбкой снисхожденья Нагульнов отвечал:

— Чудно ты спрашиваешь, Андрюха! Диву можно дасться о твоей непонятливости... Я коммунист, так? В Англии тоже будет Советская власть? Ты головой киваешь, значит, будет? А у нас много русских коммунистов, какие по-английски гутарют? То-то и есть, что мало. А английские буржуи завладели Индией, почти половиной мира, и угнетают всяких чернокожих и

темнокожих. Что это за порядки, спрашивается? Пройдет там Советская власть, но многие английские коммунисты не будут знать, что такое есть классовая вражина в голом виде, и с непривычки не сумеют с ней как следует обойтись. Вот тогда я попрошусь к ним поехать, поучить их, и как я ихний язык буду знать, то приеду и сразу в точку: «Революшья у вас? Коммунистишья? Бери, ребята, капиталистов и генералов к ногтю! Мы в России их, гадов, в семнадцатом году по своей невинности на волю пуцали, а они потом нам начали жилы резать. Бери их к ногтю, чтобы ошибки не понести, чтоб олайт вышло!» — Макар раздул ноздри, подмигнул Размётнову. — Вот к чему мне ихний язык понадобился. Понятно? Я ночи насквозь спать не буду, последнего здоровья лишусь, но... — и, скрипнув густыми мелкими зубами, закончил: — язык этот выучу! На английском языке буду без нежностей гутарить с мировой контрой!

Написано это очень даже неплохо. А предположение Нагульнова, что многие слова английского языка («революция», «пролетариат») взяты из русского, только англичане в окончаниях этих слов «какое-то шипенье произносят, вроде злобствуют на эти слова», прямо-таки замечательно. Это мог написать только человек не просто баловавшийся литературой, но наделенный несомненным художественным даром.

Но и не такие талантливые, а, как сказал бы Зощенко, «маловысокохудожественные» эпизоды и сцены «Поднятой целины» (спор Давыдова с секретарем райкома, сцена исключения Макара Нагульнова из партии и многие другие — к некоторым из них мне еще придется возвращаться) тоже ни при какой погоде не мог бы сочинить бывший станичный атаман.

Какими бы бледными и невыразительными они ни были, написать их мог только человек, для которого вся эта райкомовская жизнь была своей, хорошо и близко ему знакомой. И человеком этим скорее всего был не кто иной, как Михаил Александрович Шолохов.



Не кто иной, как он, наверно, услышал и записал и вот эту великолепную реплику:

- ▶ — Зараз проявились у Советской власти два крыла: правая и левая. Когда же она сыметя и улетит от нас к ядрене-фене...

Одной только этой реплики довольно, чтобы убедиться, что у автора «Поднятой целины» не было никаких иллюзий насчет того, как проходила на его родном Дону «сплошная коллективизация». А в том, что Шолохов знал это очень хорошо, — куда лучше, чем об этом рассказано в «Поднятой целине»! — можно убедиться, читая его письма Сталину, написанные по горячим следам тех событий.

## Сюжет второй

### «НЕ ТО ЧТО «НАШ» ВЕРТЛЯВЫЙ БАБЕЛЬ...»

Эта реплика — из письма Сталина Кагановичу.

Письмо это вождь написал и отправил ближайшему своему соратнику 7 июля 1932 года:

- ▶ В «Новом Мире» печатается новый роман Шолохова «Поднятая целина». Интересная штука! Видно, Шолохов изучил колхозное дело на Дону. У Шолохова, по моему, большое художественное дарование. Кроме того, он — писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо известных ему. Не то, что «наш» вертлявый Бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестных (например, «Конная армия»).

*(Сталин и Каганович. Переписка.  
1931—1936 гг. М., 2001. Стр. 149)*

Может показаться, что это сталинское замечание носит даже более частный, личный характер, чем уже рассмотренное нами упоминание имени Шолохова в его письме Феликсу Кону.

Там как-никак обсуждался некий принципиальный вопрос, а тут — просто живой читательский отклик, написанный под впечатлением только что прочитанной вещи. («Интересная штука!») Совсем как та девица из стихотворения Саши Черного, которая — «Месяц в деревне» прочла и пришла поделиться».

Но Сталин такими простодушными читательскими откликами не бросался. Да и Каганович в то время был едва ли не главным его деловым корреспондентом: после того как Молотов занял пост председателя Совета Народных Комиссаров, Каганович стал вторым после генсека секретарем ЦК, и в переписке именно с ним Сталин обсуждал все главные проблемы партийно-государственной жизни — и народно-хозяйственные, и политические, и идеологические.

Этот свой отзыв о «Поднятой целине» Сталин не опубликовал. Но в высоких партийных кругах о нем, конечно, знали. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что вскоре после этого сталинского отклика в «Правде» появилась статья Карла Радека под таким красноречивым заглавием: «Поднятая целина» — образец социалистического реализма».

Все это я к тому, что вскользь брошенное Сталиным в его письме Кагановичу от 7 июля 1932 года замечание о только что прочитанной им новой вещи Шолохова мы с полным основанием можем рассматривать как **некую партийную директиву**.

При таком взгляде на этот документ некоторые, казалось бы, произвольные сталинские эпитеты обретают особый, куда более многозначительный смысл, чем это нам могло бы показаться, если бы мы не знали всех обозначенных выше обстоятельств.

Итак, нам сообщается, что Шолохов:

1. Хорошо изучил колхозное дело на Дону.
2. У него большое художественное дарование.
3. Он писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо ему известных.

Из этого следует несколько важных выводов. Вывод первый: если Шолохов «хорошо изучил колхозное дело на Дону», это означает, что «Поднятую целину» надлежит рассматри-

вать, как безусловно правдивое, можно даже сказать адекватное отражение того, что и как происходило там, на Дону, в период «сплошной коллективизации».

Словно бы невзначай брошенное утверждение, что у Шолохова «большое художественное дарование», наносит еще один удар «клеветникам», распространявшим злостные слухи о том, что «знаменитому писателю нашего времени» будто бы не под силу было самостоятельно создать такое выдающееся произведение, как «Тихий Дон».

И наконец, последнее замечание («он писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо ему известных») уже окончательно перечеркивает ни на чем не основанные подозрения, будто наш «знаменитый писатель» создавал свой главный роман, пользуясь чьими-то чужими материалами.

Не совсем, правда, понятно, при чем тут «наш» вертлявый Бабель». На что — или на кого? — направлена эта сталинская ирония?

Эта реплика явно намекает на какие-то неведомые нам, но хорошо известные его собеседнику (корреспонденту) обстоятельства. Что, например, стоит за эпитетом «вертлявый»? И что означает относящееся к Бабелю, но почему-то взятое в иронические кавычки слово «наш»?

Кое-что проясняется, когда листаешь тот же том переписки Сталина с Кагановичем:

#### ► ИЗ ПИСЬМА КАГАНОВИЧА СТАЛИНУ

23 июня 1932 г.

М. Горький обратился в ЦК с просьбой разрешить Бабелю выехать за границу на короткий срок. Несмотря на то, что я передал, что мы сомневаемся в целесообразности этого, от него мне звонят каждый день. Видимо, Горький это принимает с некоторой остротой. Зная, что Вы в таких случаях относитесь с особой чуткостью к нему, я Вам об этом сообщаю и спрашиваю, как быть. Л. Каганович.

(Сталин и Каганович. Письма. 1931—1936 гг.  
М., 2001. Стр. 189)

## ► ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА КАГАНОВИЧУ

26 июня 1932 г.

По-моему, Бабель не стоит того, чтобы тратить валюту на его поездку за границу. И. Ст.

(Там же. Стр. 198)

Из этого лаконичного, но красноречивого обмена мнениями ясно видно, что в реакции Сталина Каганович не сомневается и без колебаний решил бы этот вопрос самостоятельно, если бы за Бабеля не хлопотал Горький, а он, Каганович, не знал, с какой особой чуткостью относится Сталин к таким просьбам Алексея Максимовича.

Что же касается ответа Сталина, то он ни в каких комментариях не нуждается.

Слухи о неприязненном отношении Сталина к Бабелю до меня доходили и раньше. Однажды я даже записал такой — со слов одного бабелевского приятеля — устный рассказ самого Бабеля о его встрече с вождем.

Встретились они у Горького, и именно он, Горький, был инициатором этой встречи.

Накануне он сказал Бабелю:

— Завтра у меня будет Сталин. Приходите. И постарайтесь ему понравиться. Вы хороший рассказчик... Расскажите что-нибудь... Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно.

Бабель пришел.

Пили чай. Горький что-то говорил, Сталин молчал. Бабель тоже молчал. Тогда Горький осторожно кашлянул. Бабель намек понял и пустил первый пробный шар. Он сказал, что недавно был в Париже и виделся там с Шаляпиным. Увлекаясь все больше и больше, он заговорил о том, как Шаляпин томится вдали от родины, как тяжело ему на чужбине, как тоскует он по России, как мечтает вернуться. Ему казалось, что он в ударе. Но Сталин не реагировал. Слышно было только, как звенит ложечка, которой он помешивал чай в своем стакане.

Наконец он заговорил.

— Вопрос о возвращении на родину народного артиста

Шалыпина, — медленно сказал он, — будем решать не мы с вами, товарищ Бабель. Этот вопрос будет решать советский народ.

Поняв, что с первым рассказом он провалился, Бабель, выдержав небольшую паузу, решил зайти с другого боку. Стал рассказывать о Сибири, где был недавно. О том, как поразила его суровая красота края. О величественных сибирских реках...

Ему казалось, что рассказывает он хорошо. Но Сталин и тут не проявил интереса. Все так же звякала ложечка, которой он помешивал свой чай. И — молчание.

Замолчал и Бабель.

— Реки Сибири, товарищ Бабель, — так же медленно, словно пробуя на вес свои чугунные слова, заговорил Сталин, — как известно, текут с юга на север. И потому никакого народно-хозяйственного значения не имеют...

Эту историю — тогда же, по горячим следам события — рассказал будто бы сам Бабель. А закончил он свой рассказ так:

— Что вам сказать, мой дорогой. Я ему не понравился. Но гораздо хуже другое.

— ???

— Он мне не понравился.

История эта, конечно, непохожа на устные рассказы Булгакова о его встречах со Сталиным. Булгаков и не думал скрывать, что эти его рассказы — не что иное, как плоды его иронической фантазии. В рассказе Бабеля есть некий аромат достоверности. Но это, разумеется, ничего не значит. Просто Бабель, в отличие от Булгакова, фантазировал в присущей ему реалистической манере. Вот и все. А была ли на самом деле у Бабеля такая встреча со Сталиным, или Бабель все это выдумал, — поди знай! Вдова Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова утверждает, что Исаак Эммануилович со Сталиным никогда не встречался. Скорее всего, так оно и было. Но переписка Сталина с Кагановичем, — а это как-никак документ, в подлинности которого сомневаться не приходится, — самую суть этого выдуманного бабелевского рассказа с несомненностью подтверждает. Чай вместе, может быть, и

не пили, но Горький за Бабеля действительно хлопотал, и хлопоты эти не увенчались успехом, потому что Бабель Сталину **не понравился**.

Не понравился ему, быть может, и сам Бабель. Но главная причина его антипатии к Бабелю основывалась не на личных впечатлениях, а совсем на другом. На том, что ему не понравилась, — мало сказать не понравилась, — вызвала у него резкое отторжение бабелевская «Конармия»:

- ▶ ...он (Шолохов — Б.С.) писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо известных ему. Не то, что «наш» вертлявый Бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестных (например, «Конная армия»).

Тут у него неволью прорвалось что-то личное. Какое-то личное раздражение, личная уязвленность, личная задетость, особенно заметная потому, что выплеснулась она у такого сдержанного, умеющего собой владеть человека, как Сталин.

Природу этой личной уязвленности угадать нетрудно. О нем, о Сталине, в бабелевской «Конармии» — ни полслова. А ведь не кто иной, как он, был создателем Первой конной.

Такова во всяком случае была официальная версия.

Тут, наверно, стоит вспомнить еще одну коротенькую историю из интеллигентской фольклорной «сталинианы».

Вызвал будто бы Сталин однажды Семена Михайловича Буденного и говорит:

— Как ты ко мне относишься?

— Как отношусь? Очень хорошо отношусь. С любовью отношусь.

— Нет, Семен. Ты плохо ко мне относишься. Даже фотографию свою мне не подарил. Всем даришь, а мне не подарил.

Достал фотографию.

— Вот, надпиши.

Буденный задумался: что писать?

— Я сам тебе продиктую. Пиши.

И продиктовал:

— «Дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину, создателю Первой Конной армии».

Буденный написал, расписался, вручил.

Сталин:

— А теперь я тебе свою фотографию подарю.

Достал фотографию и надписал:

«Дорогому Семену Михайловичу Буденному, подлинному создателю Первой Конной армии».

Историю эту рассказывал зять Семена Михайловича, так что, в отличие от многих других устных рассказов о Сталине, она вряд ли выдумана. Во всяком случае, она в духе сталинского юмора. В узком кругу Сталин вполне мог позволить себе пошутить над «выдающейся ролью товарища Сталина» в создании Первой Конной армии. Но ДЛЯ НАРОДА и ДЛЯ ИСТОРИИ именно ОН должен был оставаться истинным ее создателем. И писателю, взявшемуся отобразить героический путь доблестной Первой Конной, надлежало об этом помнить.

\* \* \*

В «Тихом Доне» имя Сталина тоже не упоминалось. И Сталина, как мы теперь уже знаем, это тоже задело. (Грубая политическая ошибка автора романа была исправлена только в издании 1950 года, где появилась вписанная неведомо чьей рукой сцена «Народные ходоки у Сталина»). Но зато в «Поднятой целине» имя Сталина уже не просто упоминается — и многократно. В этом романе с самых первых его страниц Сталину определена не просто важная, но воистину центральная, сюжетообразующая роль.

Начинается роман с прибытия в Гремячий Лог и появления в курене у Якова Лукича Островнова бывшего его командира, с которым они «всю германскую сломали», Александра Анисимовича Половцева. К этому зачину Сталина вроде никак не привяжешь. Но придет время и пути-дороги Половцева впрямую пересекутся со сталинской «генеральной линией», и именно в результате этого пересечения планам бывшего есаула не суждено будет сбыться.

А в следующей сцене, с которой уже прямо завязывают-



ся основные события романа, фигура Сталина, образ Сталина, имя Сталина, слово Сталина сразу оказываются началом всех начал. Из спора о только что напечатанной в «Правде» речи Сталина, который приехавший в Гремячий Лог Давыдов с ходу затевает с знакомящимся с ним секретарем райкома, как колос из зерна, вырастают все главные конфликты будущего повествования:

► — Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать? — спросил Давыдов.

— А вот как, — секретарь покровительственно улыбнулся, — есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть — упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное: сто седьмую статью ему, и — крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты, примерно, с ним поступил?

Давыдов подумал...

— Я бы ему — новое задание.

— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая, Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.

— Мальчишество? — Давыдов побагровел. — Сталин, как видно... ошибся, по-твоему, а?

— При чем тут Сталин?

— Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их... Ну, вот земельным вопросом они... да как их, черт? Ну, земельников, что ли!

— Аграрников?

— Вот-вот!

— Так что же?

— Спроси-ка «Правду» с этой речью.

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами.

Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

— Вот. Это как?.. «...Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограниченного...» Ну, и дальше... да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.

— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-средняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

— Эка ты!

— Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул... — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать, сколько хочешь...

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал:

— Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела. — И встал.

Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки и сказал:

— Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт!

— Я отвечаю за свою... А это «по-рабочему» — старо, как...

Зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату начал сходить народ, и Давыдов пошел к заворгу.

«Хромает он на правую ножку... Факт! — думал он, выходя из райкома. — Почитаю опять всю речь аграрникам... Одно дело ущемлять, а другое — с корнем его как вредителя. Почему не ведешь массу?..» — мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после...

В полном соответствии со своей позицией в этом споре Давыдов совершает один «левацкий загиб» за другим. Обобществляет не только скот, но и птицу: кур, гусей, уток. Да и скот в страхе перед грядущим обобществлением жители хутора начинают резать.

Нагульнов, еще круче клонящийся «влево», чем Давыдов, на свой лад расправляется с единоличником, отказавшимся сдать в общий — колхозный — амбар свой семенной хлеб:

► — Что же это ты, Григорий Матвееч, семена не везешь?

— А мне зачем их везть?

— Так было же постановление общего собрания — и колхозникам и единоличникам — семенной хлеб свезть. У тебя-то он есть?

— А то как же, конечно, есть... Все полностью имею, подсеянный и очищенный хлебец, как золотице!

— Ну, это ты — герой! — облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов. — Вези его завтра в общественный амбар. Можешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сюртучевые печати, выдаст тебе расписку, а весной получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А в амбаре-то он надежней сохранится.

— Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь! — Банник развязно улыбнулся, пригладил белесые усы. — Этот твой номер не пляшет! Хлеба я вам не дам.

— Это почему же, дозвожь спросить?

— Потому что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали, на кривой не объедешь!

Нагульнов сдвинул разлтые брови, чуть побледнел.

— Как же ты можешь сомневаться в Советской власти? Не веришь, значит?!

— Ну да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего брата.

— Это кто же брехал? И в чем? — Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал.

Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал:

— Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? Антанабилы покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались? Зна-а-аем, на что нашу пшеничку гатите! Дожилися до равенства!..

— Цыц! Брешешь, гад! — Нагульнов грохнул кулаком по столу.

Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка Банника... Банник смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ вскипели белые заеды, с задавленным бешенством он выхрипел:

— Ты на меня не цыкай!... Ноне не двадцатый год, понял? А хлеба не дам... Кка-тись ты!..

Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился.

— Ты это... чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. Над социализмом смеялся, гад!.. А зараз... — Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом ладони клейкий пот с лица, сказал: — Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следует. Там попытаются, откуда ты таких речей наслушался!

— Арестовать ты меня можешь, а расписки не напишу и хлеб не дам!..

Банник пошел к выходу, но, видно, злоба так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул:

— Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб! Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужеедам!..

— Свиньям? Семенной?!

Нагульнов в два прыжка очутился возле двери, —

выхватив из кармана наган, ударил Банника колодкой в висок. Банник качнулся, прислонился к стене, — обтирая спиной побелку, стал валиться на пол. Упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь...

Так материализовалась реплика, которую кинул секретарь райкома в том, давешнем споре с Давыдовым: «Дров с такими воззрениями ты можешь наломать, сколько хочешь...» Такое вот развитие получает тот их «теоретический» спор о том, как надлежит трактовать речь Сталина перед марксистами-аграрниками.

А Половцев и Лятевский, создавшие «Союз освобождения Дона» и с помощью Якова Лукича Островнова завербовавшие в этот свой «Союз» всех, кто еще не потерял надежды, что советская власть на своих двух крыльях сымется и улетит от них к едрене-фене, тем временем готовят вооруженное восстание:

- ▶ В Войсковом их ждали. В курене у знакомого Якову Лукичу казака сидело человек двадцать хуторян. Преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку, потом отошел с одним к окну, шепотом в течение пяти минут говорил...

Окна изнутри были плотно занавешены дерюжками, ставни закрыты, на базу караулил зять хозяина, но, несмотря на это, Половцев заговорил вполголоса:

— Ну, господа казаки, час близок! Кончается время вашего рабства, надо выступать. Наша боевая организация наготове. Выступаем послезавтра ночью. К вам в Войсковой придет конная полусотня, и по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебраться на квартирах этих... агитколонщиков. Чтобы ни один живым не ушел!.. Перед выступлением советую нашить на шапки белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть наготове конь, имеющееся вооружение — шашки, винтовка или даже охотничье ружье — и трехдневный запас харчей. После того как управитесь с агитколонной и вашими

местными коммунистами, ваша группа вливается в ту полусотню, которая придет вам на помощь...

Всем вам известный казак Яков Лукич Островнов, мой полчанин. Он вам подтвердит готовность большинства гремлянцев идти вместе с нами к великой цели освобождения Дона от ига коммунистов. Говори, Островнов!..

Яков Лукич проворно встал, ощущая тяжесть во всем теле, жар в своей пересохшей гортани, но говорить ему не пришлось: его опередил один из присутствовавших на собрании, самый старей на вид казак, член церковного совета, до войны бывший в Войсковом бессменным попечителем церковно-приходской школы. Он встал вместе с Яковым Лукичом и, не дав ему слова вымолвить, спросил:

— А вы, ваше благородие, господин есаул, наслышанные об том, что... Тут газетка дюже антиресная проявилась...

— Что-о-о? Что ты говоришь, дед? — хрипловато спросил Половцев.

— Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии...

— Секретаря! — поправил кто-то из толпившихся возле печи.

— ...То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от второго числа сего месяца, — не спеша, старческим тенорком говорил старик, а сам уже достал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную вчетверо газету. — Читали мы вслух ее промеж себя трошки загодя до вашего прибытия, и... выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами! Другая линия жизни нам, то есть хлебоборбам, выходит... Мы вчера прослыхали про эту газету, а ноне утром сел я верхи и, на старость свою не глядя, мотнулся в станицу... У одного знакомца в станице заради Христа выпросил — купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил! А посла уже доглядели, а на ней обозначенная цена — пять копеек!

Ну, да деньги мне с общества соберут, с база по гривенику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит, ажник, кубыть, даже превышает...

— Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь и с Дона и с моря? На старости лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени всех тут присутствующих? — с гневной дрожью в голосе спросил Половцев.

Тогда выступил малого роста казачок, годов сорока на вид, с куцыми золотистыми усами и расплюснутым носом; выступил из стоявшей возле стены толпы и заговорил вызывающе, зло:

— Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливайте, вы на них и так предостаточно на шумелись в старую времю. Попановали — и хватит, а зараз надо без грубиянства гутарить. Мы при Советской власти стали непривычные к таким обращениям, понятно вам? И старик наш правильно гутарил, что был промеж нас совет, и порешили мы все через эту статью в газете «Правде» не восставать. Разошлись поврозь наши с вашими стежки-дорожки! Власть наша хуторская надурила, кое-кого дуриком в колхоз вогнала, много середняков занапрасно окулачила, а того не поняла наша власть, что дуриком одну девку можно, а со всем народом нельзя управиться... Ну, мы раньше, конечно, думали, что это из центру такой приказ идет, масло из нас выжимать; так и кумекали, что из ЦК коммунистов эта пропаганда пущенная, гутарили промеж себя, что, мол, «без ветру и ветряк не будет крыльями махать». Через это решили восставать и вступили в ваш «союз». Понятно вам? А зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должностей смещает. И получается хлебобору легкая дыхания, чересседельня ему отпущенная — хочешь, иди в колхоз, а хочешь, сиди в своей единоличности. Вот мы и порешили — с вами добром... Отдайте нам расписки, какие

мы вам по нашей дурости подписали, и ступайте, куда хотите, мы вам вреда чинить не будем через то, что сами мазаные...

Заговор был нешуточный. Половцев и Лятевский были лишь одним из звеньев огромной цепи. В разговорах с Яковом Лукичом Половцев постоянно упоминает каких-то полковников и генералов, обещает даже поддержку неких зарубежных сил. Одновременно с выступлением гремеченских заговорщиков и казаков Войскового хутора должны были выступить жители и других станиц. Должен был заполыхать весь Дон. И вот, словно по мановению какой-то волшебной палочки, все рушится. Гигантский заговор рассыпается, как картонный домик.

Этой «волшебной палочкой», этим Deus ex machine стала статья Сталина «Головокружение от успехов».

Если верить Шолохову, эта сталинская статья, помимо всех прочих своих достоинств, обладала одним — едва ли не главным. Она появилась как нельзя более своевременно, став мощным **упреждающим** ударом по заговорщикам, и именно поэтому сломала, порушила все их планы.

В действительности все было иначе.

Сталин выступил со своей статьей, когда не то что Дон, — вся страна уже полыхала. По наглухо засекреченным сведениям, которые после XX съезда чуть приоткрыли группе доверенных историков, по стране в то время полыхало около 40 000 вооруженных восстаний.

Да, собственно, никакие секретные сведения тут и не нужны: Сталин сам сказал Черчиллю, что ликвидация «кулачества» и переход от индивидуального крестьянского хозяйства к колхозному строю был **второй гражданской войной**.

В свое время Ленин тоже опоздал с введением НЭПа. Троцкий еще в 20-м предлагал заменить продрозверстку продналогом, но Ленин на это не отважился. Отважился только, когда вспыхнул Кронштадтский мятеж и полыхала Антоновщина: понял, что «замирить» крестьянство только военной силой не удастся.

Но ленинский НЭП был не просто сильным тактическим ходом. Это была перемена **стратегии**. А сталинская ста-



тъя «Головокружение от успехов» никакой перемены стратегии даже и не обещала.

В ней ясно и недвусмысленно говорилось, что отказываться от той политической линии, о которой он объявил в своей речи на конференции марксистов-аграрников, то есть от политики ликвидации кулачества как класса и всеобщей коллективизации, он не собирается. Речь шла только о сроках. О том, что некоторые горячие головы на местах не то чтобы исказили, извратили линию партии, а просто — слегка поторопились, забежали вперед:

- ▶ Искусство руководства есть серьезное дело. Нельзя отставать от движения, ибо отстать — значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забегать вперед — значит потерять массы и изолировать себя. Кто хочет руководить движением и сохранить вместе с тем связи с миллионными массами, тот должен вести борьбу на два фронта — и против отстающих и против забегающих вперед.

*(И. Сталин. Головокружение от успехов.  
В кн.: И. Сталин. Сочинения. Том 12.  
М., 1949. Стр. 199)*

И вот — самый яркий, едва ли даже не самый злокачественный пример такого «забегания вперед»:

- ▶ Артель еще не закреплена, а они уже «обобществляют» жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу...

Один из таких ретивых «обобществителей» доходит даже до того, что дает приказ по артели, где он предписывает «учесть в трехдневный срок всё поголовье домашней птицы каждого хозяйства», установить должность специальных «командиров» по учету и наблюдению, «занять в артели командные высоты», «командовать социалистическим боем, не покидая постов».

*(Там же. Стр. 197—198)*

Давыдов еще раньше сообразил, что с обобществлением кур и гусей они малость поторопились. Так что не этим покорила сталинская статья гремлянцев и жителей Войскового. Покорила же она их тем, что в ней Сталин осудил нарушения принципа добровольности вступления крестьян в колхоз: «...получается хлеборобу легкая дыхания, чересседельня ему отпущенная — хочешь, иди в колхоз, а хочешь, сиди в своей единоличности...». О том, как на самом деле была отпущена эта «чересседельня» и надолго ли позволили не желавшим идти в колхоз крестьянам сидеть «в своей единоличности», мы теперь уже хорошо знаем. Да и тогда, надо полагать, это понимали, предвидели многие. Но даже если мы поверим, что жители Гремячего Лога и хутора Войскового оказались таким доверчивыми, — все равно: как-то уж очень легко и благостно развязывается у Шолохова этот крутой узел.

Это я не про политику, и даже не к тому, чтобы поверять события романа жизненной правдой. Это я про то, как автор «Поднятой целины» строит сюжет своего романа.

Роман, как мы помним, начинается с того, что «январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой». Верховым этим был бывший есаул Половцев, и не зря этой сценой автор начинает свой роман: так завязывается главная интрига повествования, главный его сюжетный узел. По мере развития событий напряжение этой сюжетной линии романа усиливается. Половцев то уезжает, то вновь появляется: уже не один, а с бывшим хорунжим Лятевским. Что-то они готовят, и это «что-то» вот-вот должно привести к какому-то драматическому сюжетному взрыву. И вдруг все кончается пшиком. Словно оболочку туго надутого воздушного шара пропороли ножом, и из него с шипением и свистом вышел весь воздух.

Вдруг оказывается, что казаки, еще вчера готовые восстать против ненавистной им власти с оружием в руках, на самом деле вовсе и не против этой власти. Оказывается, что она, эта власть, — им родная:

- ▶ — Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливайте, вы на них и так предостаточно на-

шумелись в старую времю. Попановали — и хватит... Мы при Советской власти стали непривычные к таким обращениям, понятно вам?

И между ними и Сталиным тоже, оказывается, совет да любовь, поскольку —

- ▶ ...зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должностей смещает.

Да и местные коммунисты, против которых они собрались восставать, оказывается, тоже не такие уж им чужие. Свои, родные, — не то что иноземцы, поддержку и помощь которых сулил им Половцев:

- ▶ — Промахнулись мы, товарищ Половцев... Видит Бог, промахнулись! Не путем мы с вами связались... Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые горы сулили, и диву давались: уж дюже ваши посулы чижолые! Вы говорили, что, мол, союзники нам — на случай восстания — в один момент оружие примчат и всю военную справу. Наше, мол, дело только постреливать коммунистов. А послая раздумались мы, и что же оно получается? Оружью-то они привезут, это добро дешевое, но, гляди, они и сами на нашу землю слезут? А слезут, так потом с ними и не расцубекаешься! Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты — они нашего рода, сказать, свои, природные, а энти черт-те по-каковски гутарют, ходют гордые все, а середь зимы снегу не выпросишь, и попадешься им, так уж милости не жди! Я побывал в двадцатом году за границей, покушал французского хлеба на Галиполях и не чаял оттедова ноги притянуть! Дюже уж хлеб их горьковатый! И много нациев я перевидал, а скажу так, что, окромя русского народу, нету желанней, сердцем мягше.

Надо ли объяснять, как фальшивы эти сусальные речи! Да и весь этот сюжетный поворот. Он фальшив не столько даже тем, что бесконечно далек от жизненного правдоподобия (хотя, конечно, и этим тоже), но прежде всего полным пренебрежением автора к художественной логике собственного повествования.

Так круто завязавшийся сюжет не может быть развязан так облегченно, упрощенно и плоско, а главное, — так искусственно. Но именно на таких нарушениях самим автором заданной художественной логики повествования держится весь роман. Буквально каждая его драматическая коллизия, едва завязавшись, сразу же разрешается так же искусственно, так же сусально-фальшиво.

Только что, читая жестко и правдиво написанную сцену «семенного бунта», мы сопереживали зверски избиваемому Давыдову. И вот — чуть ли не на следующей странице:

- ▶ Хуторское собрание в Гремячем началось затемно. Давыдов, при небывалом стечении народа в школе, говорил:

— Это что означает вчерашнее выступление недавних колхозников и части единоличников, граждане? Это означает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента! Это факт, что они качнулись в сторону наших врагов. И это позорный факт для вас, граждане, которые вчера грабительски тянули из амбаров хлеб, топтали дорогое зерно в землю и расхищали в завесках. Из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтобы женщины меня били, и они меня били все, чем попадая, а одна гражданка даже заплакала оттого, что я виду слабости не подавал. Я про тебя говорю, гражданочка! — И Давыдов указал на Настёнку Донецкову, стоявшую у стены, суетливо закутавшую головным платком лицо, едва лишь Давыдов начал говорить. — Это ты меня гвоздила по спине кулаками и сама же плакала от злости и говорила: «Бью, бью его, а он, идол, как каменный!»

Закутанное лицо Настёнки горело огнем великой стыдобы. Все собрание смотрело на нее, а она, поту-

пившись от смущения и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной побелку стены. [...]

— В президиум неизвестный гражданин бросил записочку, в ней спрашивается: «Верно ли, что все, забиравшие хлеб, будут арестованы с конфискацией имущества и сосланы?» Нет, это неверно, граждане! Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов; но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас, — мы не считаем врагами. Вы — качающиеся середняки, временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза.

По школе прокатился сдержанный рокот голосов. Давыдов продолжал:

— И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо, никто тебя не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера. Но вот если выедем завтра сеять и ты будешь плохо работать, то уж тогда я всыплю тебе чертей, так и знай! Только уж бить я буду не по спине, а ниже, чтобы тебе ни сесть, ни лечь нельзя было, прах тебя возьми!

Несмелый смешок окреп, а пока докатился до задних рядов, вырос в громовитый, облегчающий хохот.

— ...Повольнили, граждане, и будет! Зябь переставается, время уходит, надо работать, а не валять дурака, факт. Отсеемся — тогда можно будет и подраться и побороться... Я вопрос ставлю круто: кто за Советскую власть — тот завтра едет в поле, кто против — тот пускай семечки лущит. Но кто не поедет завтра сеять, у того мы — колхоз — землю заберем и сами засеем!

Давыдов отошел от края сцены, сел за стол президиума, и, когда потянулся к графину, из задних рядов, из сумеречной темноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и веселый басок растроганно сказал:

— Давыдов, в рот тебе печенку! Любушка Давыдов! За то, что зла на сердце не носишь... зла не помнишь...

Народ тут волнуется... и глаза некуда девать, совесть зазревает... И бабочки сумянутся... А ить нам вместе жить... Давай, Давыдов, так: кто старое помянет — тому глаз вон! А?

И, подводя итог этой сусальной, благостной сцене, автор скупю, по-деловому, уже без всяких покушений на художественность, заключает:

- ▶ Наутро пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады гремяченского колхоза зарею выехали в степь...

За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зяблевого клина. Третья бригада второго апреля перешла на весновспашку.

\* \* \*

В 1987 году в американском издательстве Ardis (Ann Arbor, Michigan) вышла книга «Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива». Составил ее социолог Сергей Максудов, занимавшийся демографической оценкой потерь советского населения во время коллективизации. Вслед за многими западными исследователями он обратился к уникальной коллекции документов того времени — партийному архиву Западной области, сотни тысяч листов которого хранятся в Национальном архиве США, а ксерокопии и микрофильмы — во многих университетах Америки и Европы.

Изучением этих архивных документов занимались многие западные ученые (назову только двоих, самых у нас известных — Роберта Конквеста и Михаила Восленского), но сами эти документы, за исключением нескольких случайных публикаций в эмигрантских журналах, в печати не появлялись. Книга, составленная С. Максудовым, была первой и, по-видимому, до сих пор остается единственной публикацией извлечений из этого уникального архива.

Я приведу из нее только один документ, в котором отразилась коллизия, близкая к описанной автором «Поднятой целины» сцене «семенного бунта»:

- ▶ Совершенно Секретно  
Информотдел ОГПУ г. Москва  
Обком ВКП(б) — тов. БОРИСОВУ  
ОБКК РКИ — тов. ЕЛАГИНУ  
Обисполком — тов. КЛЯВИНУ

2 сентября с. г., утром члены колхоза «Верный путь», села Ляличи, Суражского р-на, Клинцовского округа, выехали для коллективной запашки земли под рожь. Спустя полчаса на поле, где работали колхозники, явилась толпа женщин около 150 человек, вооруженные вилами, топорами, кольями, и сделала нападение на колхозников: — привели в негодность 12 штук плугов, изрезали 2 ременных сбруи, 8 войлочных и уворовали сапоги с ботинками, причинив убыток колхозу до 464-х рублей. Одной лошади выбили глаз, избили жену председателя колхоза и одного колхозника.

Со стороны нападающих проявлялись самые враждебные выпады: — наставлялись вилы в грудь колхозников и т. д.

Колхоз в данное время остался совершенно без инвентаря. Вечером, 1 сентября до выступления было проведено собрание части общества упомянутого села под видом раздела земли, оставшейся после выделения колхоза; между тем, на этом собрании обсуждался вопрос о нападении на колхоз. На собрании присутствовали 2 члена Сельсовета, из них — одна женщина, активно выступавшая против организации колхоза, которая утром 2 сентября и собрала толпу женщин, в том числе и жен кулаков. Толпа с криками направилась в поиски председателя колхоза, но он скрылся; напала на его заместителя, последнему также удалось скрыться. Преследовавшие заместителя председателя колхоза женщины кричали: — «держите, ловите бандита». Мужчины и в большинстве зажиточные во время нападения женщин на колхоз находились в засаде, ожидая сопротивления колхозников.

Село Ляличи состоит из 190 дворов, имеется школа, кооперация, ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ и т. п.

Задержано 35 человек, большинство из коих являются зажиточными, часть — лишенцы (бывш. полицейские) и т. д.

Приняты соответствующие меры.

О результатах дальнейшего следствия будет сообщено дополнительно.

Зам. ПП ОГПУ по Запобласти

Давыдов

Нач. ИРО

Бочкарев

*(Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива. Ardis. Ann Arbor, Michigan, 1987. Стр. 75—76)*

К этому документу составителем сделано такое примечание:

- ▶ Характерна решительность действий ОГПУ. За выступление, нанесшее ничтожный ущерб, арестован каждый десятый взрослый житель села. Беспомощность и беззащитность жителей села, жестокое подавление любого сопротивления позволяли властям поддерживать порядок и добиваться своего, несмотря на всеобщее недовольство.

Беспорядками в Ляличах занимались ОГПУ, Уголовный розыск, областная прокуратура.

Выступления сельских жителей против колхозов происходили по всей стране. Например, партийные работники из села Сурьско-Михайловка Кринчанского района Днепропетровской области Украины сообщали:

«Члены СОЗа организовано поехали пахать землю. Пришли мужики предупредить, чтоб не ездили, но созовцы не послушались, через какой-нибудь час собралось человек 150 в большинстве женщины и стали уг-



рожать, что мы вас всех заколем вилами, если будете пахать нашу землю.

На четвертом квартале женщины, вооружившись лопатами, побили члена СОЗа Дмитриенко, который работал в поле, а затем стали бить созовских коней, чтобы те повернули с поля. Вызвали милицию для наведения порядка...»

Так происходило повсюду. От Днестра до Амура, от низовьев Печоры до верховьев Сыр-Дарьи толпы практически безоружных крестьян пытались отстоять свою землю, свои порядки, угрожая расправой немногочисленным сторонникам перемен. Но за спиной сельских активистов стояли партия, милиция и ОГПУ.

*(Там же. Стр. 78—79)*

О том, что такие выступления против колхозов происходили по всей стране, Шолохов мог и не знать. (Хотя, наверно, догадывался.) Но о том, что происходило на его родном Дону, знал очень хорошо. Но в описанной выше сцене это его знание никак не отразилось.

Не отразилось оно и в описанном им столкновении Нагульнова с Банником.

При всей жесткости этой сцены, тут благополучный (для Банника) ее финал заложен уже в самой завязке конфликта. Банник убежден в своем праве не сдавать колхозу свои семена. Держится уверенно (в восприятии Нагульнова — нагло), не только потому, что твердо знает: им отдай — назад не получишь, но и потому, что уверен, что закон тут на его стороне. Во всяком случае, он не сомневается, что у Нагульнова нет никакого права принуждать его сдать хлеб силой и что власть будет тут на его стороне:

- ▶ — Я напишу, но это будет известно прокурору... С-под нагана я что хошь напишу... Бить при Советской власти не положено... Она — партия — тебя тоже за это не уважит!..

И эта его уверенность подтверждается сразу. Вопреки пословице — «Бог правду видит, да не скоро скажет», —

«бог» (роль которого в этом случае исполняют коммунистическая партия и советская власть) эту правду изрекает мгновенно:

► Разметнов, придя в сельсовет часов в шесть утра, еще застал Нагульнова спящим. На желтой Макаровой щеке, освещенной лиловым светом мартовского утра, напряженная и ждущая застыла улыбка, в мучительном напряжении шевелилась разлтая бровь... Разметнов растолкал Макара и выругался:

— Наворошил делов и спишь? Веселые сны видишь, ощеряешься! За что ты Банника избил? Он на заре привез семенной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район. Любишкин прибежал ко мне, говорит: поехал Банник заявлять на тебя в милицию. Достукался! Приедет Давыдов, что он теперь скажет? Эх, Макар!

Нагульнов потер ладонями опухшее от неловкого сна лицо и раздумчиво улыбнулся:

— Андрюшка! Какой я зараз сон вида-а-ал! Дюже завлекательный сон!

— Ты про сны свои оставь гутарить! Ты мне про Банника докладай.

— Я про такую гаду ядовитую и докладать не хочу! Говоришь — привез он хлеб? Ну, значит, подействовало... Сорок два пуда семенного — это тебе не кот наплакал. Кабы из каждой контры посля одного удара наганом по сорок пудов хлеба выскакивало, я бы всю жизнь тем и занимался, что ходил бы да ударял их!.. А какие он мне тут слова про Советскую власть и про партию говорил? На мне от обиды волосья дыбом поднялись!

— Мало бы что! А бить не должен ты, лучше бы арестовать его.

— Нет, не арестовать, а убить бы его надо! — Нагульнов сокрушенно развел руками. — И чего я его не стукнул? Ума не приложу! Вот об чем зараз я жалкую.

— Дураком тебя назвать — в обиду примешь, а дури

в тебе — черпать не исчерпать! Вот придет Давыдов, он тебе разбукварит за такое подобное!

— Семен придет — одобрит меня, он не такой су-чок, как ты!

Но, к вящему удивлению Нагульнова, Давыдов, узнав о случившемся, тоже решительно его осудил:

▶ — Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян?

— А он пушай мне такую подлость не говорит! Я зарок не давал терпеть издевку от врага, от белого гада!

— А ты подумал о том, как это подействует на других, как это с политической стороны будет высматривать?

— Тогда некогда было думать.

— Это не ответ, факт! Ты должен был его арестовать за оскорбление власти, но не бить! Это поступок, позорящий коммуниста! Факт! И мы сегодня же поставим о тебе на ячейке. Ты принес нам вот какой вред своим поступком! Мы его должны осудить! И об этом я буду говорить на колхозном собрании, не дожидаясь разрешения райкома, фактически говорю! Потому что если нам промолчать, то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости веры держимся в этом деле! Нет, братишечка! Мы от тебя отмежуемся и осудим! Ты — коммунист, а поступил, как жандарм.

Но помимо Банника, которого избил и под дулом нагана заставил дать расписку, что завтра же сдаст хлеб, Макар еще и по-свойски расправился с другими упрямыми, не желавшими расставаться со своим семенным фондом. О чем он тут же и сообщил осудившему его Разметнову:

▶ Уже держась за дверную скобу, не поворачивая головы, буркнул:

— Эй, ты, умник! Выпусти из порожней комнаты мелких буржуев, да чтобы хлеб они нынче же отвезли, а то вот умоюсь да возвращусь и обратно их посажаю.

У Разметнова от удивления глаза на лоб полезли... Он кинулся к пустовавшей комнате, где хранились сельсоветские архивы да колосовые экспонаты с прошлогодней районной сельскохозяйственной выставки, открыл дверь и обнаружил трех колхозников: Краснокутова, Антипа Грача и мухортенького Аполлона Песковатскова. Они благополучно переночевали на разостланных на полу комплектах старых газет, при появлении Разметнова поднялись.

— Я, граждане, конечно, должен... — начал было Разметнов, но один из подвергшихся аресту, престарелый казак Краснокутов, с живостью перебил его:

— Да что там толковать, Андрей Степаныч, виноваты, речи нету... Отпущай, зараз привезем хлеб... Мы тут ночушкой трошки промеж себя посоветовались, ну, и порешили отвезть хлеб... Чего уж греха таить, хотели попридержать пашеничку...

Разметнов, только что собиравшийся извиняться за необдуманый поступок Нагульнова, учел обстоятельства и моментально перестроился:

— Вот и давно бы так! Ить вы же колхозники! Советно семена хоронить!

— Пожалуйста, отпущай нас, а кто старое вспомнит... — смущенно улыбнулся в аспидно-черную бороду Антип Грач.

Широко распахнув дверь, Разметнов отошел к столу, и надо сказать, что и в нем в этот момент ворохнулась мыслишка: «А может, и прав Макар? Кабы покрепче нажать — в один день засыпали бы!»

Так благостно, «по-семейному» разрешается у Шолохова и этот конфликт.

Стоит ли повторять, что в реальности эти конфликты разрешались иначе? Наверно, не стоит. Но еще одно документальное свидетельство я тут все-таки приведу:

- ▶ 1) В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт

хлеб, впервые применили впоследствии широчайше распространенный по району метод «допроса с пристрастием». В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить.

2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.

3) В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло... И уполномоченный продолжал собрание.

Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютном ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?..

В конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешенскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки: «Сколько у тебя выселенных из домов?» — «Сорок восемь хозяйств». — «Где они ночуют?» Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на это сказал: «А долж-

ны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице».

После этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину эту выселял кандидат партии — работник Базковского колхоза... Число замерзших не установлено, т.к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеками.

Но выселение — это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:

1. Массовые избиения колхозников и единоличников.

2. Сажание «в холодную». «Есть яма?» — «Нет». — «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия — январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.

3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.

4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили

ли на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет — сам застрелю!». Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный) и, когда щелкнул боек, упал в обмороке.

5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский, при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.

6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.

7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.

8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью.

9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику — подзреваемому в краже — во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если уstraшенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу...

В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?» — «Не зарывал, товарищ!» — «Не зарывал? А, ну, высовывай язык! Стой

так!» Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.

10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых пашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.

11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.

12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз.

13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу.

14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.

15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по несколько раз.

16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с собрания для «индивидуальной обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же... Собрание длилось без перерыва более суток.

Примеры эти можно бесконечно умножить.



Это — не из книги Роберта Конквеста «Большой террор». И не из вывезенных немцами и хранящихся в Национальном архиве США «Документов Смоленского архива». Это — из письма Шолохова Сталину от 4 апреля 1933 года.

Все, о чем рассказывается в этом шолоховском письме, происходило уже после появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» и на политическом языке тех лет, — не только официальном, но и бытовом, — именовалось **перегибами**. Но теперь уже давно не секрет, что за каждой новой волной таких «перегибов» неизменно стояла очередная личная кровавая директива Сталина.

Например, — вот такая:

#### ► ШИФРОМ

### СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ и ЦК НАЦКОМПАРТИЙ

Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом, по истечении срока высылки вернувшихся в свои области, — являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых отраслях промышленности.

ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников, с тем чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные, менее активные, но все же враждебные элементы — были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок пред-

ставить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке.

СЕКРЕТАРЬ ЦК СТАЛИН

3/VII-37г.

(«Новая газета», № 57 (1375).  
7—10 августа 2008 г.)

Можно представить себе, какой начался повсюду кровавый разгул, как только эта директива вождя (в «пятидневный срок»!) стала «руководством к действию».

Приведа здесь эту — одну из многих — сталинскую «шифровку», я слегка забежал вперед: она датирована июлем 1937 года, а мы пока еще — в 1933-м. Но и тогда, в 1933-м, Шолохов не сомневался, что представленные им Сталину жуткие факты — не «загибы и перегибы» отдельных Макаров Нагульновых, а — линия.

- ▶ Это — не отдельные случаи загибов, это — узаконенный в районном масштабе — «метод» проведения хлебозаготовок.

Он только предполагал (лучше сказать — надеялся, а может быть, только делал вид, что предполагает и надеется), что линия эта определена не Сталиным, а потерявшими голову местными партийными функционерами:

- ▶ Т.к. падающая кривая поступлений хлеба не обеспечивала выполнения плана к сроку, крайком направил в Вешенский район особого уполномоченного т. Овчинникова...

На расширенном заседании бюро РК, в присутствии уполномоченных РК и секретарей ячеек... Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку: «Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломать, но хлеб взять!».

Отсюда и начинается «ломание дров»...

Установка Овчинникова — «Дров наломать, но хлеб взять!» — подхватывается районной газетой «Большевистский Дон». В одном из номеров газета дает «шапку» «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА!». И начали по району с великим усердием «ломать дрова» и брать хлеб «любой ценой».

Год был, повторяю, еще не 37-й, а только 33-й, да и с Шолоховым Сталин был не так откровенен, как с секретарями обкомов и крайкомов в своих секретных «шифровках». И тем не менее, отвечая Шолохову на это его душераздирающее письмо, он все-таки счел нужным внести в затронутый писателем болезненный вопрос необходимую ясность:

► Оба Ваши письма получены, как Вам известно...

Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район, т. Шкирятов, которому — очень прошу Вас — оказать помощь.

Это так. Но это не все, т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.

Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите *одну* сторону, видите не плохо. Но это только *одна* сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлебоборбы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что

уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...

*(Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931—1950 годы. Сборник документов из личного архива И.В. Сталина. Составитель Юрий Мурин. М., 1997. Стр. 68)*

В общем, как выражался один зоценковский персонаж, — **«бывают ошибки, но линия правильная».**

Не исключено, что такую реакцию вождя Шолохов отчасти предвидел. Недаром то свое письмо он завершил такой многозначительной фразой:

- ▶ Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».

*(Там же. Стр. 58)*

Это читается как прямая угроза. Можно даже сказать — шантаж. Смотрите, мол: не сделаете своим бандитам укорот, опишу во второй книге «Поднятой целины» все как есть, по полной правде.

Смелость неслыханная! В то время уже никто не осмеливался говорить со Сталиным в таком тоне. Но нам, уже прочитавшим не только первую, но и вторую книгу «Поднятой целины», эта шолоховская угроза напоминает похвальбу «храброго зайца» из знаменитой басни Сергея Михалкова:

«Да что мне лев! — кричит. — Да мне ль его бояться?  
Я как бы сам его не съел!  
Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться!  
Да я семь шкур с него спущу  
И голым в Африку пущу!..»

Эта михалковская басня называется «Заяц во хмелю». И припомнилась она мне тут еще и потому, что вызвала в памяти другой известный эпизод из взаимоотношений Шолохова со Сталиным.

Назначена будто бы ему была Сталиным аудиенция, а он

был пьян вдрабадан. Ну, верный Поскребышев, конечно, постарался как-то его вытрезвить. Отправил под холодный душ, привел в более или менее благообразный вид и — представил пред светлые очи вождя.

Но обмануть вождя им не удалось.

— Пьешь? — едва глянув на явившегося пред ним Шолохова, будто бы сказал Сталин.

И Шолохов будто бы храбро ответил:

— От такой жизни запьешь!

Дело было в том самом — 37-м. И другому дорого мог бы обойтись этот дерзкий ответ.

Размышляя о том, почему же все-таки Шолохову сошла с рук эта его неслыханная дерзость, я опять возвращаюсь к михалковской басне. К ее финалу:

Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного.  
Но обожал... подхалимаж.

И прямые, личные встречи Шолохова со Сталиным, и письменные его обращения к вождю особо подхалимским тоном отмечены как будто не были. Скорее наоборот. Но в одной из финальных сцен первой книги «Поднятой целины» — во всех ранних ее вариантах — автор романа не пожалел красок для описания колхозного собрания, на котором колхозу, созданному героическими усилиями гремеченских большевиков, было единогласно присвоено имя Сталина. И вот в каких выражениях говорил на этом собрании о вожде секретарь гремеченской партийной ячейки Разметнов:

- ▶ Про него всем нам известно, что он с начала времен идет прямым путем, ни туда ни сюда не хитнется, и мы — за ним рассыпанной лавой в этот же самый родимый социализм, за какой мы бились, жен, детишков бросили, об молодой жизни позабыли, и в свою, и в чужую кровь руки помочили нещадно.

(М. Шолохов. *Поднятая целина*. 2-е издание. М., 1932)

«От начала времен».

Раньше так говорили только про Господа Бога.

\* \* \*

В конце 1994 года в редакции журнала «Вопросы литературы» состоялось заседание «круглого стола», посвященное проблеме издания произведений И.Э. Бабеля. (Стенограмма этого «круглого стола» появилась на страницах журнала чуть позже, в январском номере «Вопросов литературы» 1995 года).

В ходе этого обсуждения участники его единодушно пришли к выводу поистине поразительному. Оказалось, что прижизненные издания Бабеля почти не нуждаются в восстановлении исходных его текстов, искаженных советской цензурой. Как выяснилось, главные свои вещи Бабелю уже тогда, в 30-е годы, удалось опубликовать в том виде, в каком ему хотелось увидеть их напечатанными. Разумеется, не потому, что они так уж хорошо вписывались в канон социалистического реализма, и не потому, что цензурное давление на Бабеля было не таким сильным, как то, которому подвергались все его собратья по перу, а лишь по той единственной причине, что Бабель не уступал этому цензурному давлению, сопротивлялся, не шел ни на какие компромиссы.

Вот как сформулировал это на заседании того «круглого стола» докладчик, посвятивший изучению этой проблемы специальное исследование:

- ▶ При всех материальных тяготах и унижениях, связанных главным образом с необходимостью содержать семью, проживающую за границей, и мучительным своим «долгописанием», Бабель был, что называется, литератором преуспевающим и в каком-то смысле даже властями обласканным. Давалось это ему множеством жизненных компромиссов, активным участием в общественно-литературной жизни страны, неизменной лояльностью (на публицистическом уровне) в отношении к советской власти и социализму, тщательным выстраиванием собственной «автобиографии», которая вынужденно приобретала мифологизированный характер, и т. п.

В художественном тексте, однако, этих компромис-

сов — ни политических, ни эстетических — Бабель себе не позволял. Стремление «соблюсти чувство достоинства и чистоту и гордость в работе <...>» («из письма матери 14 декабря 1930 года») было развито в нем до крайнего предела. В беседе с читателями на вечере, организованном 28 сентября 1937 года журналом «Литературная учеба», Бабель имел все основания сказать о своих произведениях: «Я считаю, что те вещи, которые написаны, могли быть лучше, проще <...> Единственное, что меня не огорчает, это то, что мне не приходится брать свои слова обратно».

*(Вадим Ковский. Судьба текстов в контексте судьбы. Как издавать, как издают и как надо издавать Бабеля. «Вопросы литературы». 1995. Выпуск 1. Стр. 29)*

Насчет того, в самом ли деле Бабель был литератором преуспевающим и даже «властями обласканным», можно было бы и поспорить. Но что касается его «жизненных компромиссов», тут спорить, к сожалению, не приходится. Выступая с речью на Первом писательском съезде, он вдруг выдал такое:

- ▶ На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин, над словом надо.

*(Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. Стр. 279)*

Как не вспомнить тут знаменитую словесную формулу самого Бабеля, уже в то время ставшую чуть ли не пословицей: «В номерах служить — подол заворотить». Но пошел Бабель на этот «жизненный компромисс» не только страха ра-

ди иудейска. Это была осознанная, продуманная тактика, своего рода игра.

Одним из элементов этой игры был подготовленный им специальный номер журнала «СССР на стройке», целиком посвященный пропаганде успехов колхозного движения на Украине. В это время он уже работал над романом (или повестью? Или книгой рассказов?) об этом самом «колхозном движении». И уж там он был честен до конца. Та страшная правда о методах проведения «сплошной коллективизации», о которой Шолохов «сигнализировал» в своих письмах Сталину и которая ни одним атомом, ни одной молекулой не просочилась ни в первую, ни во вторую книгу «Поднятой целины», в художественной прозе Бабеля была явлена во всей своей неприкрытой и неприкрашенной жути.

Об этом мы можем судить по одному его короткому рассказу, написанному весной 1930 года. И даже по нескольким скупым строчкам из этого рассказа:

- ▶ — Вороньковский судья, — очнувшись, сказала старуха, — в одни сутки произвел в Воронькове колгосп... Девять господарей он забрал в холодную... Наутро их доля была идти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража — брать их... Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками, на своих опоясках...

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу...

Весь день шел снег. У самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели.

— Ну, просыпались, — забормотал он, подходя к саям, и поднял черное костистое лицо.

— А именно што?.. — Гапа потянула к себе вожжи.

— Ночью вся головка наехала, — сказал Трофим, — бабуся твою законвертовали... Голова рикую приехал,



секретарь райкому... Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья...

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи.

— Трофиме, бабусю за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега:

— Кажуть, агитацию разводила про конец света...

Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, небо, слившееся с землей.

Рассказ называется «Гапа Гужва» и во всех собраниях сочинений Бабеля он фигурирует именно как рассказ. Но в первой публикации («Новый мир», 1931, № 10) у этого рассказа был подзаголовок: «Первая глава из книги «Великая криница».

Была, значит, — если не написана, так задумана, — целая книга.

Даже по тем нескольким строчкам, которые я тут процитировал, можно представить, какое давление цензоров и редакторов пришлось испытать автору этого рассказа при прохождении его в печать. Но в своих взаимоотношениях с цензорами (равно как и с редакторами, выполнявшими роль цензоров) этот «вертлявый Бабель» неизменно проявлял неслыханную твердость и бескомпромиссность. Более уместно тут, пожалуй, даже другое, библейское слово — **жестоковыйность**.

Источником этой его жестоковейности было то «чувство достоинства», о котором он писал в письме к матери, — том самом, которое процитировал в своем докладе Вадим Ковский. Приведу это его высказывание еще раз, слегка раздвинув рамки цитаты:

- ▶ Я сделан из теста, замешенного на упрямстве и терпении, — и когда эти качества напрягаются до высшей степени, тогда только я чувствую *la joie de vivre*<sup>1</sup>, что

<sup>1</sup> Радость жизни (фр.)

имеет место и теперь. А для чего же живем в конечном счете? Для наслаждения понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства.

(Исаак Бабель. *Сочинения. Том первый. М., 1990. Стр. 311*)

Шолохов в этом смысле являл собой полную противоположность Бабелю. Он был сделан совсем из другого теста, и в этом своем качестве был так же уникален, как Бабель в своем.

В своих взаимоотношениях с цензорами и редакторами он проявлял такую лакейскую готовность к компромиссу, что тут впору говорить уже не о компромиссе, а о **полной и безоговорочной капитуляции**.

Американский шолоховед Герман Ермолаев, сравнивая издание «Тихого Дона» 1953 года с ранними изданиями романа, обнаружил «около 400 политических изъятий, три четверти которых пришлось на 2-ю книгу». И там же он выявил множество чужеродных вписок, которые «подчеркивали свершения Ленина и Сталина и осуждали Белое движение». Помимо этих политических поправок Ермолаев отметил около 300 пуританских исправлений. Целомудренные редакторы-пуристы убрали даже «упоминания волос на руках, ногах и груди мужчин». (Г. Ермолаев. «Шолохов: жизнь и творчество»).

Эту податливость Шолохова, всегдашнюю его готовность смириться с любыми вторжениями цензора или редактора в художественную ткань «Тихого Дона» не может скрыть и отечественный биограф писателя, хоть это и находится в некотором противоречии с восторженным, апологетическим тоном его книги:

- ▶ Издание «Тихого Дона» 1953 года — вопиющий образец издевательств над Шолоховым. Редактор вытравливал правду драматизма в описании революции. «Поправил», к примеру, сцену, когда Подтелков убил полковника-белогвардейца... В своем послесловии пус-

тился в путаные психологические сентенции, чтобы оправдать и большевика Подтелкова, и себя, редактора, изуродовавшего сцену: «Он зарубил его — это правда. Но это был акт самозащиты: Чернецов выхватил из куртки пистолет и хотел убить Подтелкова, произошла осечка. Что оставалось делать Подтелкову? Ждать второго выстрела? Подставить свою грудь под револьвер злобного карателя?..»

Он взялся «исправлять» «натурализм» сцен родов Аксиньи, изнасилования Фрони, «обгуливания» Коршуновым купеческой дочери, проборошил языковые особенности говора Дарьи...

*(Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005)*

Разоблачительный пафос этой саркастической инвективы, разумеется, направлен не на «автора» романа, а на его редактора (цензора). Но вопрос: а где же был при этом «автор» и как стерпел он все эти измывательства над любимым своим детищем, — не может тут не возникнуть. «Автор» этот ведь был не так беззащитен, как другие советские писатели: мог бы и побороться.

Положим, иным из этих цензорских изъятий он воспротивиться не мог. Тем, например, которые касались слишком уж благодушного, чуть ли даже не апологетического изображения генерала Корнилова. На эту тему, как мы знаем, однажды (во время первой своей встречи с Шолоховым) со всей определенностью высказался сам Сталин.

Личное вмешательство Сталина определило и некоторые другие — уже не политические, а чисто эстетические, вкусовые посягательства редактора (цензора) на языковое своеобразие «шолоховского» текста:

- ▶ Сталин находился в другом конце столовой в окружении группы писателей. Продолжался разговор о литературе. Генсек сравнивал «Бруски» Панферова и «Тихий Дон» Шолохова. Он считал, что Панферов глубже и вернее казачьего писателя отображает остроту классовых противоречий в деревне.

К тому же, по мнению Сталина, казачий писатель злоупотребляет областным говором:

— «Сбочь дороги», «сбочь дороги», — несколько раз повторил он. — Что такое «сбочь дороги»?

*(Валерий Яковлевич Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 200)*

О том, как раздражило Сталина это «областное» словечко, потом вспоминал и сам Шолохов:

- ▶ В беседе со мной обронил внимание на необходимость очищения языка моих произведений от неполноценных, сорных слов. Например, обратил внимание на начало 34-й главы «Поднятой целины». «Сбочь дороги — могильный курган...» Что за слово «сбочь»? — говорил товарищ Сталин. — Нет его у нас в русском языке. Есть слово «сбоку», есть «обочина».

*(Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 422)*

Шолохов мог бы возразить на это, что в русском языке, помимо литературного, книжного «сбоку», есть еще слово «обочь» (отмечено у Даля), а значит, вполне допустимо (в художественном тексте) и это не понравившееся ему «сбочь». Но вступать в полемику с «корифеем всех наук» он, разумеется, не мог. («С ним трудно полемизировать, — сострил однажды Радек. — Ты ему цитату, а он тебе — ссылку».)

Герман Ермолаев установил, что послушные воле вождя редакторы полностью исключили это слово из текста «Поднятой целины». А в «Тихом Доне» истребили его в 30 случаях.

Он, правда, отметил, что в собрании сочинений Шолохова 1956—1960 годов некоторые из тех изъятий, которым подверглось издание 1953 года, были восстановлены. Но — не все. Он подсчитал, что из 400 поправок, внесенных цензорами и политредакторами в издание 1953 года, число так и не восстановленных превысило 250.

После смерти Сталина Шолохов, казалось, уж мог бы постараться убрать все увечья, нанесенные редакторами и цен-

зорами его роману. Возможностей для такой борьбы у него было побольше, чем у любого из его собратьев по перу. Что говорить! Конечно, мог бы! Но — не стал. Махнул рукой. «Сойдет-де и так!»

Эта реплика, всплывшая вдруг в моей памяти, — из стихотворения Н.А. Некрасова «О погоде». Произносит ее там — посыльный (по-нашему, по-сегодняшнему сказать — курьер) Минай, всю жизнь носивший писателям корректуры:

— А какие ты помнишь издания?  
«Пропасть их — перечеть мудрено,  
Я Записки носил с основания,  
С Современником нянчусь давно:  
То носил к Александру Сергеичу,  
А теперь уж тринадцатый год  
Все ношу к Николай Алексеичу,  
На Литейной живет...»

Припомнившуюся мне реплику этот старик Минай кинул однажды как раз Александру Сергеичу:

«Тот частенько на водку давал.  
Да за то попрекал все цензурою:  
Если красные встретит кресты,  
Так и пустит в тебя корректурую:  
Убирайся, мол, ты!  
Глядя, как человек убивается,  
Раз я молвил: сойдет-де и так!»  
— Это кровь, говорит, проливается,  
Кровь моя — ты дурак!..

Посыльного, который, «глядя, как человек убивается», кинул Александру Сергеевичу эту утешающую реплику, понять, конечно, можно. Но у писателя, которому принесли корректуру, испещренную красными редакторскими или цензорскими вычерками, это добродушное «сойдет-де и так!» может вызвать только ярость, боль и отчаяние.

Советская цензура (а редакция тем более) была не в пример круче той, с какой приходилось иметь дело Александру Сергеичу. И писателю — куда денешься! — приходилось уступать этому давлению тяжелого государственного прессы. Но та легкость, с какой уступал этому давлению Шолохов, невольно вводит в соблазн объяснить это тем, что текст, ко-

торый он так равнодушно позволял уродовать и калечить, был не родным, не кровным его детищем, а — чужим, «усыновленным». Как у той ненастоящей, мнимой матери, которая согласилась с решением царя Соломона разрубить ребенка, из-за которого у нее шел спор с другой женщиной, на две половины.

Есть тут, правда, одно обстоятельство, которое как будто не согласуется с этим объяснением и даже решительно ему противоречит.

\* \* \*

В январе 1958 года по какой-то «горящей» путевке я оказался в Доме творчества писателей в Ялте. Зимняя Ялта тогда мало кого привлекала, и Дом пустовал. Так называемых писателей в нем отдыхало (считалось, что они приехали сюда не отдыхать, а творить) было человек шесть. А не «так называемый», настоящий писатель из этих шести был только один — Константин Георгиевич Паустовский. У него была тяжелая астма, и зимняя Ялта ему была предписана врачами.

По вечерам нам показывали кино. И в один из этих вечеров показали недавно вышедший на экран «Тихий Дон» Сергея Герасимова.

Сейчас мне уже не вспомнить, смотрели ли мы тогда все три серии или только одну, последнюю. Но не может быть никаких сомнений, что тот разговор, ради которого я все это сейчас вспомнил, завязался после просмотра именно последней, третьей серии этого фильма.

Начал его Паустовский.

— Теперь, — сказал он, — уже ни у кого не останется сомнений, что «Тихий Дон» роман контрреволюционный.

И когда кто-то стал ему возражать, продолжил:

— Ведь революция, если она была нужна, была нужна только для того, чтобы такой человек, как Григорий Мелехов, был счастлив. А он глубоко, трагически несчастлив. Значит... Герасимов, конечно, сказать это своим фильмом не хотел. Это у него вышло само собой. Вылезла художественная логика романа. Фильм эту его художественную логику обнажил.

Не могу сказать, что эта сентенция Константина Геор-

гиевича тогда особенно меня поразила. Поразила скорее интонация, с какой она была произнесена. В ней — этой интонации — не было и тени осуждения «Тихого Дона». Художественная логика романа, которую обнажил фильм Герасимова, Паустовским не осуждалась. Осуждалась революция, которая, как только что выяснилось, не принесла Григорию Мелехову счастья, а значит, была не нужна.

Как я потом узнал, мысль эта — и даже сама формулировка («Тихий Дон» — роман контрреволюционный) — была не нова. Впервые она была высказана сразу после выхода в свет первых двух томов эпопеи. Но, конечно, с другим знаком: осуждалась при этом не революция, а именно вот эта — «не наша» — художественная логика романа. И уже тогда главные опасения критиков были связаны с будущей судьбой главного его героя:

▶ ИЗ ПИСЬМА М.А. ШОЛОХОВА Е.Г. ЛЕВИЦКОЙ

1930 г.

Получил я письмо от Фадеева по поводу 6-й части. Предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня неприемлемы... Говорит, ежели я Григория не сделаю своим, то роман не может быть напечатан.

Фадеев был не только одним из руководителей всесильного тогда РАППа, но и редактором журнала «Октябрь», в котором печатались очередные главы «Тихого Дона». И это его предупреждение не было пустой угрозой.

- ▶ 24 мая этого года Шолохову исполнилось двадцать пять лет. И вот подарок ко дню рождения — Фадеев, редактор «Октября», останавливает публикацию очередной части «Тихого Дона».

(*Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 102*)

- ▶ «Миша, а ты все же контрик. Твой «Тихий Дон» ближе белым, чем нам», — в том же году сказал ему Генрих Ягода.

(*Там же. Стр. 136*)

В 1940-м, когда вышли в свет последние части «Тихого Дона», положение Шолохова в официальной писательской табели о рангах было уже совсем другим. В это время он уже был живым классиком, и даже самые непримиримые критики, говоря о своем несогласии с художественной логикой его романа, номинального автора «Тихого Дона» неизменно именовали при этом писателем великим, гениальным и даже величайшим из великих.

► ОБСУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ РОМАНА  
«ТИХИЙ ДОН»

(Из стенограммы заседания Секции критиков  
19 мая 1940 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Пожалуйста, товарищ Гоффеншефер, вам слово.

ГОФФЕНШЕФЕР. Товарищи, я думаю, что все присутствующие последнюю книгу «Тихого Дона» читали. Подробно излагать ее не буду, и вряд ли это нужно.

Перед нами 8-я часть «Тихого Дона», часть, которую мы все ждали с большим нетерпением. Мы гадали: чем же окончится судьба Григория, как развернутся события дальше? И надо сказать, эта 8-я часть написана так, что многие вряд ли предугадали то, что там написано...

Более правомерным, мне лично кажется, и мне приходилось по этому поводу спорить с Шолоховым за долго до окончания «Тихого Дона», — более правомерным казался приход Григория в армию и смерть его в Красной армии...

Мне кажется, Шолохов таким концом романа... вызовет очень много споров. [...]

БЕК. Нет сомнения — перед нами великий писатель. И нет сомнения, что перед нами — великий художник. Но тем не менее мне кажется: имеется нагрузка, которая заключается в том, что это не только великий писатель, но и писатель-социалист, что это явление социалистического реализма, что это основ-



ное произведение социалистического коммунистического общества...

Товарищ Гоффеншефер сказал: нельзя назвать Григория ни положительным, ни отрицательным героем. Нельзя его вместить в те или иные рамки. Мне думается, что это не совсем верно.

Безусловно, это самый настоящий положительный герой. Это герой, на стороне которого симпатии читателя. Это реалистический герой, которого автор любит, читатель любит и т.д. Построение образа в романе не вызывает других толкований.

Другое дело — с точки зрения советской власти... Всякие наши разговоры, что это исключительный человек, который должен быть или сурово наказан, или прощен, тут прекращаются. Это — враг, и он должен быть наказан.

Но в романе, конечно, это самый положительный герой, самый дорогой читателю. Но, видите ли, если бы взять такой гипотетический случай, который не осуществлен и странно было бы предполагать, что он может осуществиться, то идеальное царство для Григория — это республика, в которой не будет ни белых, ни красных.

Это и есть крестьянское царство, или, как его назвать, — царство справедливости, что ли, царство правды. Одним словом, некая повстанческая республика, только в этой республике роман Шолохова «Тихий Дон» был бы самым любимым. Мне так думается. Может быть, я не прав. И Григорий там был бы положительным героем и с точки зрения этого образа романа, и с точки зрения законов этой республики, с точки зрения ее суда, морали и т.д.

Нет сомнения, что это художник величайший... Но хотелось, чтобы с такой же силой был показан образ строителя, созидателя, который творчески находит себя в нашу эпоху, который ее строит.

*(Валерий Яковлевич Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 427—432)*

Ораторы высказываются крайне осторожно. Эпитет «контрреволюционный» по отношению к роману никто произнести не решается. Но смысл их речей именно таков.

Эпитет «великий» в устах ораторов тут не с ветру взялся. Ходили слухи, будто в это самое время Сталин дал указание: «Великому писателю Шолохову должны быть созданы хорошие условия для работы». Но и за рассуждениями критиков романа о том, как надлежит понимать и трактовать образ Григория Мелехова, тоже просматривается наверняка хорошо им известное мнение Сталина.

Еще в 1934 году — на встрече с писателями, приглашенными к Горькому в его особняк на Малой Никитской, Сталин завел с Шолоховым разговор о Григории Мелехове. Отдельные реплики из этих речений вождя слышал и записал один из участников той встречи — Корнелий Зелинский.

Вот несколько отрывков из этих его записей:

- ▶ Беседуют о «Тихом Доне»... Сталин разбирает образ Григория Мелехова...

Мелехова нельзя считать типичным представителем крестьянства. Белые генералы не могли назначить командовать дивизией крестьянина без офицерского чина...

(В. Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 156—157)

Какой вывод надлежало сделать Шолохову из этих рассуждений вождя, не слишком ясно. Но В. Осипов, знающий о том разговоре не только из записей Зелинского, но и от самого Шолохова, вывод делает категорический и беспелляционный. Вспоминая писателей, приглашенных на ту встречу с вождем, он замечает:

- ▶ ...Каждый четвертый ее участник погиб в лагере или был расстрелян.

Была и еще одна жертва той встречи: после сталинского суждения о Мелехове этот персонаж по воле критиков чаще всего проходил только по одной статье: враг!

(Там же. Стр. 159)

Вот и попробуйте проплыть, как между Сциллой и Харибдой, между этими двумя сталинскими высказываниями: с одной стороны — «великому писателю Шолохову должны быть созданы хорошие условия для работы», а с другой — главный и вызывающий безусловное сочувствие герой его романа — отщепенец, враг!

Кстати, на той же встрече Сталин мимоходом кинул и такую реплику:

- ▶ Почему вы требуете от беспартийного писателя обязательного знания законов диалектики?.. Толстой, Сервантес, Шекспир не были диалектиками. Но это не помешало им быть большими художниками...

И еще даже такую:

- ▶ Литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова...

*(Там же. Стр. 161)*

Может быть, именно на эти высказывания вождя опирался Александр Бек, когда называл Шолохова великим писателем и великим художником, оговаривая при этом, что из этого еще совсем не следует, что его можно считать писателем-социалистом, владеющим методом социалистического реализма.

Это обсуждение последней книги «Тихого Дона», стенограмму которого я тут цитировал, происходило в мае 1940 года. А спустя полгода «Тихий Дон», выдвинутый на соискание самой высокой в СССР литературной награды, уже обсуждался на заседании Комитета по Сталинским премиям.

- ▶ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ  
КОМИТЕТА ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ

*Ноябрь 1940 г.*

А.Н. ТОЛСТОЙ. Книга «Тихий Дон» вызвала и восторги, и огорчения среди читателей... Конец «Тихого Дона» — за-

мысел или ошибка? Я думаю, что ошибка. Григорий не должен уйти из литературы как бандит. Это неверно по отношению к народу и к революции. Ошибка в том только случае, если на четвертой книге «Тихий Дон» кончается. Но нам кажется, что эта ошибка будет исправлена волей читательских масс, требующих от автора продолжения жизни Григория Мелехова...

А. ФАДЕЕВ. Все мы обижены концом произведения в самых лучших советских чувствах. Потому что четырнадцать лет ждали конца: а Шолохов привел любимого героя к моральному опустошению. Четырнадцать лет писал, как люди друг другу рубили головы, — и ничего не получилось в результате рубки. Люди доходят до полного морального опустошения, и из этой битвы ничего не родилось. Шолохов поставил читателя в тупик. И вот это ставит нас в затруднительное положение при оценке... Шолохов с огромной силой таланта, зная казачью жизнь, быт, показал историю казачьей семьи, «обреченность» контрреволюционного дела. Но ради чего и для чего? Что взамен родилось? Этого в романе нет... Мое личное мнение, что там не показана победа сталинского дела.

А. ДОВЖЕНКО. Я прочитал книгу «Тихий Дон» с чувством глубокой внутренней неудовлетворенности. Суммируются впечатления следующим образом: жил веками тихий Дон, жили казаки и казачки, ездили верхом, выпивали, пели, был какой-то сочный, пахучий, устоявшийся, теплый быт. Пришла революция, советская власть, большевики — разорили тихий Дон, разогнали, натравили брата на брата, сына на отца, мужа на жену, довели до оскудения страну, заразили триппером, сифилисом, посеяли грязь, злобу, погнали сильных, с темпераментом людей в бандиты, и на этом дело кончилось. Это огромная ошибка в замысле автора.

А. ГУРВИЧ. Неудовлетворенность происходит оттого, что здесь нет той активной народной силы, которая ведет революцию, которая оправдывает все трагические коллизии и жертвы, которые были принесены...

Н. АСЕЕВ. Порочное, но любимое произведение!.. (В стенограмме помета: «Смех».)

Несмотря на все эти сомнения и колебания премию Шолохов все-таки получил. На последнем голосовании из 32 членов комитета за него проголосовали 31. За Сергеева-Ценского с его «Севастопольской страдой» — 29. За Панферова, «Бруски» которого тоже были выдвинуты на премию, — 1.

Окончательное решение, разумеется, принимал Сталин. Так бывало тогда во всех случаях жизни. Но в деле присуждения Сталинских премий это даже и не скрывалось: ведь это была ЕГО премия. Когда Сталинская премия была присуждена Виктору Некрасову за его повесть «В окопах Сталинграда», Всеволод Вишневский, прочитав в «Правде» список объявленных лауреатов и с изумлением обнаружив там Некрасова, сказал Виктору Платоновичу:

— Вчера твоей фамилии в списке не было. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит? Вписать ее мог ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК.

Вписывать в последний момент фамилию номинального автора «Тихого Дона» в окончательный список лауреатов Сталину не пришлось. Но о том, какова была роль Сталина в присуждении премии Шолохову, можно судить по такому факту. В марте 1941-го было подписано в печать полное издание «Тихого Дона» — впервые все четыре книги в одном переплете. Изданию этому была предпослана вступительная статья Юрия Лукина, в которой говорилось: «Шолохов — истинный любимец Сталина». Вряд ли искушенный в таких делах «правдист» мог высказать это утверждение, не будучи на то уполномочен.

Была в той вступительной статье Лукина еще одна фраза, в которой упоминался Сталин:

- ▶ Ярко, живым столкновением образов, показана нам обстановка, в которой осуществляется гениальный Сталинский план разгрома на Южном фронте.

В «Тихом Доне», как мы знаем, об этом «гениальном Сталинском плане» нету ни слова. Да и самое имя Сталина там не упоминается ни разу. Опытный царедворец Лукин попытался не то чтобы исправить эту грубую политическую ошибку автора романа (как мы знаем, исправил он ее позже,

вписав в роман сцену «Ходоки у Сталина»), но хоть как-то ее замаскировать, замазать.

Все это говорит о том, что в тот момент Сталин решил закрыть глаза на ошибки «знаменитого писателя нашего времени». В том числе и на ошибочное, политически неверное решение судьбы Григория Мелехова.

Вот как изображает эту коллизию нынешний биограф Шолохова:

- ▶ Все пытаются навязать могучему реалисту догмы соцреализма... Не сдается романист...

Кто станет воодушевляющим образом для миллионов строителей социализма — блукающий в поисках правды Григорий Мелехов или твердокаменный коммунист Михаил Кошевой? Три года тому назад автор «Тихого Дона» пообещал: «Из большевиков в четвертой книге выделится Михаил Кошевой. Я выдвину его с заднего плана и сосредоточу на нем большое внимание».

Не исполнил своих «соцобязательств». В седьмой части этот персонаж вовсе не появился, а в восьмой — лишь в нескольких главах...

Упрям Шолохов и тогда, когда от главы к главе описывает судьбу Мелехова тоже по правде жизни. Не исполняет указаний-советов: дескать, позволил этому «отщепенцу» в предшествующих томах пометаться-поблукать, изволь теперь дать ему возможность прозреть. От члена партии Шолохова требовали как бы дать рекомендацию в партию Мелехову.

*(Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 265)*

Критики романа толкали Шолохова на создание плоской агитки. Но Шолохов не поддался этому давлению. И — победил:

- ▶ И вот экзамен — неизбежный — на мужество гражданина и творца. Делать Мелехова «своим» значило бы писать агитку с плакатным большевиком, значило бы изменить правде жизни и отказать главному сво-

ему герою в праве быть правдоискателем. Это значило бы предать свое писательское предназначение — рассказать своему пострадавшемуся народу о неправде и при царе, и при Керенском, и при белых, и при зеленых, и даже при красных.

Итак, он, как в бою, должен решить: сдаваться или продолжать сражение.

Знал: правду говорить — себе досадить...

Сделан выбор: «Делать Григория окончательно большевиком я не могу... Об этом я написал Фадееву... Заявляю это категорически. Я предпочту лучше совсем не печатать...» [...]

«А я все ж таки допишу «Тихий Дон»! И допишу так, как я его задумал».

В этих словах из шолоховского письма слышится мне выкрик великого средневекового упрянца: «И все-таки она вертится!»

*(Там же. Стр. 100)*

Получается, что Шолохов оказался даже упрямее «великого средневекового упрянца». Тот, как мы знаем, под нажимом инквизиции сперва все-таки отрекся от своих «ошибочных» взглядов и уже после отречения, так сказать, «под сурдинку», произнес ту свою знаменитую фразу. Шолохов же, пообещав дописать «Тихий Дон» так, как он его задумал, это свое обещание выполнил. Устоял! Не сдался!

На самом деле, как мы теперь уже знаем, не был Михаил Александрович ни строптивцем, ни упрямцем. Послушно соглашался на сотни поправок, купюр и вписок, калечащих, уродующих художественную ткань романа. Согласился даже на то, что чужая рука вписала в роман целую сцену. «И так-де сойдет».

Но факт остается фактом. Григория Мелехова он «им» не отдал. Ломать его судьбу, заканчивать роман так, как от него требовали, не стал.

Чем же объяснить это неожиданное, во всех иных случаях совсем ему не свойственное упрямство?

\* \* \*

Если исходить из того, что истинным автором «Тихого Дона» был не М.А. Шолохов, а кто-то другой, естественно предположить, что к моменту публикации первых двух книг романа, последняя, четвертая его книга уже была написана.

Есть факты и даже прямые высказывания Шолохова, которые это предположение подтверждают.

В декабре 1931 года Шолохов в письме Е.Г. Левицкой, подводя итоги прошедшего года и рассказывая о замысле нового романа (речь идет о будущей «Поднятой целине», для которой у него тогда еще предполагалось другое название: «С потом и кровью»), он мимоходом роняет:

- ▶ Что касается «Тихого Дона», то его я за малостью не кончил...

*(В. Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 135)*

Год спустя он сообщил, что наверняка завершит роман в следующем, 1933 году. И именно тогда Фадеев счел нужным предупредить его, что «Тихий Дон» не будет напечатан, если он не сделает Григория «своим». Наверняка знал, что судьба Григория уже решена, и требовал не **решить**, а изменить, **перерешить** ее.

В том письме Е.Г. Левицкой, которое я цитировал, Шолохов так объяснял, почему он не хочет уступить настояниям Фадеева:

- ▶ Тон письма безапелляционен, а я не хочу, чтобы со мной говорили таким тоном, и ежели они все будут обсуждать со мной вопросы, связанные с концом книги, то не лучше ли вообще не обсуждать...

Если я работаю, то основным служит не хорошее «святое» желание творить, а голое упрямство...

*(Там же. Стр. 100)*

Но на самом деле в основе его упорного нежелания менять конец романа лежало ни то, ни другое, ни третье. Ни оскорбительный тон, каким с ним говорили литературные



начальники, ни «святое» желание творить свободно, а не по их указке, ни голое упрямство, на которое он ссылается как на главную причину своего решения закончить роман по-своему.

Роман был уже написан. И изменить его финал он не мог не потому, что не хотел, а ПОТОМУ, ЧТО НЕ МОГ.

Одно дело — позволить редактору портить живую ткань романа и даже самому принять посильное участие в этой порче. Но изменить, повернуть по своему произволу судьбу главного его героя — это было за пределами его художественных возможностей.

Ведь для этого надо было бы написать новый, совсем другой роман. Конгениальный уже написанному, но — с другим героем и другим художественным итогом.

Такое мог бы совершить разве только настоящий автор «Тихого Дона».

Впрочем, нет. Даже и ему тоже это оказалось бы не под силу. Потому что в настоящем художественном произведении может быть только один конец. Тот, что вытекает из всей логики повествования, из движения характера его главного героя.

## Сюжет третий

### «КОМУ ВЫ ПОРУЧИЛИ!..»

Эта фраза из письма Шолохова Твардовскому.

Дело было вскоре после того, как Василий Семенович Гроссман сдал в редакцию «Нового мира» рукопись своего романа «Сталинград». (Точная дата этого события известна: это было 2 августа 1949 года). Роман Гроссмана Твардовскому — и не ему одному, а многим членам тогдашней редколлегии «Нового мира», — пришелся по душе, и он решил во что бы то ни стало его напечатать. Но дело это было по тем временам трудное. По многим причинам, но прежде всего потому, что роман Гроссмана отличался от большинства тогдашних книг о войне своей обнаженной правдивостью. Понимая, что с прохождением этого романа он еще нахлебается (и — как в воду глядел), Александр Трифонович решил обратиться за поддержкой к Шолохову. Тот тоже был тогда членом редколлегии «Нового мира». Но дело было даже не в формальном его статусе. Поддержка ГЛАВНОГО ПИСАТЕЛЯ СТРАНЫ для судьбы гроссмановского романа могла бы иметь решающее значение. Твардовский надеялся, что Шолохов не останется холоден к не-

сомненным художественным достоинствам этого выдающегося произведения, и —

- ▶ ...если он даже почему-то не терпит Гроссмана (был такой слух), все-таки поддержит его своим огромным авторитетом.

Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:

«Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: «Кому вы поручили?»

*(Семен Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. В кн.: Семен Липкин. Квадрига. С., 1997. Стр. 534).*

Фраза и впрямь замечательная.

С.И. Липкин говорит далее, что его и Гроссмана поразило выразившееся в ней «дикое, департаментское отношение к литературе».

Да, конечно, было в ней и это тоже. Но — не только.

В этой возмущенной реплике Шолохова (а возмущение его было безусловно искренним) выплеснулось многое.

Во-первых, разумеется, то, что вылезать с романом о Сталинграде Гроссману было НЕ ПО ЧИНУ.

Просвечивал тут и другой смысл — отчетливо антисемитский: не еврею Гроссману выступать с романом о самой великой битве и самой великой победе русского оружия в нашей большой войне.

Эти два соображения (первое — безусловно, но и второе тоже) произвели на сознание членов редколлегии «Нового мира» должное впечатление. Они потребовали от Гроссмана, чтобы он изменил название своего романа: «Сталинград» — это слишком ответственно. В результате роман стал называться «За правое дело». А Твардовский, высказывая Гроссману свои редакторские замечания, прямо попросил его притушить в романе еврейскую тему:

- ▶ ...Один из главных героев, физик Штрум — еврей, врач Софья Левинтон, описанная с теплотой, — еврейка. «Ну, сделай своего Штрума начальником военторга», — советовал Твардовский. «А какую должность ты бы предназначил Эйнштейну?» — сердито спросил Гроссман.

*(Там же. Стр. 533)*

Что правда, то правда, оба эти соображения, — и то, что быть автором романа о Сталинграде Гроссману не подобало и по сравнительно скромному его положению в литературной табели о рангах, и по непринадлежности его к «титульной нации», — были проявлением именно департаментского отношения к литературе. В основе своей эта его реакция была в духе общепринятой тогда **государственной** точки зрения.

Но в том его возмущенном возгласе («Кому вы поручили!») слышится не только это государственное негодование. В нем явно выплеснулась и какая-то **личная** уязвленность, **личная** обида.

Источником этой личной уязвленности было то, что написать главную книгу об этой войне («Войну и мир» XX века) было поручено именно ему. И поручено не кем-нибудь, а тем единственным человеком, который — только он и никто другой! — имел право давать такие поручения:

- ▶ Некоторое время спустя после окончания войны в журнале «Знамя» была опубликована статья американского литературного критика. В ней он рассуждал о возможности появления всеохватывающей эпопеи в жанре романа о Второй мировой войне. В своих рассуждениях, сравнивая характер дарования Хемингуэя, Драйзера, Ремарка и Шолохова, он пришел к выводу, что создание такого масштаба произведений можно ожидать только от автора «Тихого Дона».

Сталин пригласил к себе Шолохова. Принимал его в присутствии Г.М. Маленкова. Они дали прочитать Михаилу Александровичу статью, и Сталин сказал, что

ждет от него именно такого всеохватывающего романа о войне. Сталин даже добавил, что, если в романе прозвучат мотивы пацифизма, это простится.

(Ф. Шакмагонов. Бремя «Тихого Дона». «Молодая гвардия», 1997, № 5. Стр. 63.)

Федор Шакмагонов был секретарем Шолохова, возможно, к нему приставленным. А.Д. Сахаров, упомянув его в воспоминаниях о своем визите к Шолохову (было такое однажды), мимоходом роняет: «Говорят, что он генерал КГБ». Так или иначе, Ф.Ф. Шакмагонов с Шолоховым был близок, и приведенный выше рассказ слышал из его собственных уст. Вряд ли он решился внести в него какую-нибудь отсебятину.

Есть, впрочем, и другая версия того же шолоховского рассказа:

- ▶ Однажды я задержался в Москве после контузии, и меня пригласил к себе на квартиру в Кремль Сталин. Были там члены Политбюро. Состоялся разговор...

Сталин начал раскуривать трубку и спросил:

— Когда вышел роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»?

— В русском переводе в 1929 году.

— Поздно. Через десять лет после войны. Роман о нынешней войне надо писать сейчас. Ремарк — это буржуазный писатель, а вы — советский писатель, коммунист. К тому же нынешняя война является для нас освободительной, народной, священной — Отечественной войной.

Я заикнулся было, что Лев Толстой взялся за роман «Война и мир» через пятьдесят лет после разгрома Наполеона в Отечественной войне, но Сталин прореагировал на это так:

— Ремарк, конечно, далеко не Толстой, но откликнулся на события войны быстрее. — Пыхнув трубкой, Сталин продолжал: — Положение на фронтах, несмотря на разгром немцев под Москвой, остается тяжелым. В какой-то момент, когда Гитлер бросит ва-

банк все свои силы, положение может стать даже критическим. Но мы выдюжим. Я верю в наш народ. Будет и на нашей улице праздник. Так что пишите роман.

— Трудно во фронтовых условиях.

— А вы попробуйте.

Вот я и пробую с сорок второго года...

*(В. Котовсков. Шолоховская строка.  
«Новый мир». 1985, № 5. Стр. 232—233)*

Автор этой записи предваряет ее сообщением, что эту историю из уст Михаила Александровича ему приходилось слышать не раз. А в июне 1967 года, когда Шолохов в очередной раз повторил ее, беседуя с молодыми писателями стран социализма, он решил тут же, по горячим следам, ее записать, «дополняя ранее или позднее слышанными деталями».

В некоторых из этих деталей сразу бросаются в глаза разные несообразности. Но сам разговор вряд ли выдуман (разве только несколько приукрашен). И уж во всяком случае, вряд ли выдумана ссылка Шолохова на Толстого, который создавал свой роман через пятьдесят лет после разгрома Наполеона. Хорошо знал Михаил Александрович свои силы и возможности, вот и решил подстраховаться: сам Толстой, мол, и тот сразу бы не написал... А впрочем, может быть, эта подробность как раз была сочинена им, так сказать, задним числом, когда он уже точно знал, что это сталинское поручение ему выполнить не удалось и уже не удастся. («Вот я и пробую с сорок второго года», — вздыхает он в 67-м.)

Не выполнил он его и десять, и двадцать, и тридцать лет спустя после того, как это поручение было ему дано, — хотя чуть ли не каждый год обещал, что вот-вот, не сегодня завтра этот его военный роман будет им завершен:

- ▶ ... Летом 1957 года, в Осло, Шолохов признался советскому атташе по культуре В.Ф. Грушко, что с романом не так все просто. И не оттого, что он не может чего-то там описать, а потому, что «очень трудно создать достоверную картину, нечетко представляя дейст-

вительный ход войны» (при этом Шолохов сразу сказал, что большинство необходимых для работы документов Генштаба ему предоставили). И вот теперь приходится искать правду в мемуарах немецких генералов.

Шесть лет спустя Михаил Александрович через «Правду» оповестил, что заканчивает первую книгу романа. Потом поздравил советский народ с Новым 1966 годом, а самому себе пожелал в наступающем году закончить первую книгу. Не закончил. И в 70-м не закончил.

В 1972 году, припомнив сорокалетней давности свару со Сталиным, стал убеждать своих гостей — кубанских рыбаков, что и «Лев Толстой создал «Войну и мир» значительно позже того, как война кончилась», но все-таки не смог удержаться от обещаний:

«Я, очевидно, если не в этом году, то в начале будущего закончу первую книгу, а всего будет три — трилогия...».

А в 1974 году сообщил корреспонденту «Правды», что есть у него «во второй книге «Они сражались за Родину» генерал, брат Николая Стрельцова. Книга еще в работе <...>. Видать, успел запомнить, что генерал Стрельцов уже объявился в первой книге — в «главах», опубликованных в 1969 году...

Больше Шолохов не сказал ни единого слова. До смерти оставалось 10 лет.

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован.  
Проект «Писатель Шолохов». М., 2005.  
Стр. 252)*

Но однажды Михаил Александрович как будто бы все-таки признался, что выполнить это поручение ему не под силу:

- ▶ 11 января 1952 года Василий Гроссман сделал в дневнике такую запись:  
«Твардовский передал, что Шолохов сказал [И.Т.] Гришину, секретарю обкома в Сталинграде: «Писать о

Сталинграде не буду, так как хуже Гроссмана не положено, а лучше не смогу».

*(Там же. Стр. 251)*

Но не мог он окончательно примириться и с тем, что написать роман о Сталинграде «поручили» не ему, а Гроссману:

- ▶ ...Год спустя — 3 марта 1953 года, на общем собрании секции прозы Московского отделения Союза писателей Михаил Бубеннов процитировал другое высказывание Шолохова: «Роман Гроссмана — плевков в лицо русского народа».

*(Там же. Стр. 252)*

А десять лет спустя ему пришлось пережить еще один, пожалуй, даже более болезненный удар по его писательскому самолюбию: сказать о другой великой народной трагедии тоже «поручили» не ему. И даже не Гроссману, который как никак все-таки занимал в советской литературной табели о рангах весьма почтенное, хоть и далеко не первое место, а какому-то безвестному школьному учителю из Рязани.

Этот школьный учитель, правда, на собственной шкуре испытал то, о чем рассказал в своей вдруг прогремевшей на весь мир маленькой повести. Но ведь и он, Шолохов, о кровавом сталинском терроре тоже знал не понаслышке. В те годы, которые «все вместе имя обрели — пора тридцать седьмого года», ему тоже кое-что пришлось пережить. Как уже было сказано, в то время и его жизнь повисла на волоске над адской бездною ГУЛАГа. Он тоже много чего мог бы вспомнить и рассказать о тех временах.

Конечно, если бы это ему «поручили».

\* \* \*

16 февраля 1938 года Шолохов послал Сталину такое же подробное (22 страницы книжного текста) и такое же душераздирающее письмо, какое он отправил ему пять лет назад — в апреле 1933-го. Но там речь шла о чудовищных



издевательствах партийных функционеров над рядовыми колхозниками и казаками-единоличниками, которых они насильственно загоняли в колхоз. Теперь жертвами таких же зверских пыток стали сами эти партийные функционеры:

- ▶ Красюков, с арестом которого начался открытый поход против вешенцев, был отправлен через Миллерово в Ростов, во внутреннюю тюрьму УНКВД... На первом же допросе продержали 4 суток подряд. В течение 96 часов ему дали поесть два раза. Не спал он за это время ни минуты... Вымогали показания о вражеской работе, которую Красюков якобы вел. С января 1937 г. начали допрашивать обо мне, о Луговом, о Логачеве. Через короткие передышки, измерявшиеся часами, снова вызывали на допрос и держали в кабинете следователя по 3—4—5 суток подряд. Следователи в один голос говорили, что Луговой и Логачев арестованы, что они уже дали показания, грозили расстрелом, морили безо сна. Не добившись желательных им показаний, 17/3—37 г. Красюкова бросили в карцер — каменный мешок 2 метра длины и полтора м ширины, сырой, абсолютно темный. Спал на голом полу. Пробыл в карцере 22 суток. И снова истощенного, замученного, еле державшегося на ногах под руки притащили в следовательский кабинет, и снова допрашивали по 3—4 суток. 25/4 вызвал нач. отделения капитан Осинин. Короткий разговор:

«Молчишь? Не даешь показания, сволочь? Твои друзья сидят. Шолохов сидит. Будешь молчать — сгноим и выбросим на свалку, как падаль!» Допрашивали, не разрешая садиться. Стоял до тех пор, пока держали ноги, потом ложился на пол и поднять не могли уже никакими пинками. Не было такого издевательства, которому Красюкова не подвергали бы: неслыханные ругательства, плевки, отказ выпускать в уборную, допросы с запрещением садиться по полсутки, допросы без сна по 3—5 суток, голод — вот что входило в систему следствия.

После того, как следователи убедились в том, что из

Красюкова выжать желательных для них показаний не удастся, его отправили в Ростовскую тюрьму. Летом сидел в камере, построенной на 8 человек, но в которую ухитрились поместить 60 заключенных. Спали на полу «валетами», лежа только на боку, в полусогнутом положении, причем если надо было повернуться на другой бок одному, то поворачиваться вынуждены были все 60. Жара была такая, что, по словам находившегося в камере кочегара, превосходила во много раз жару в машинном отделении парохода. По очереди подползали к дверной щели, чтобы хоть несколько раз глотнуть затхлого, но прохладного воздуха из коридора.

Никакими пытками Красюкова не могли заставить клеветать на себя и других...

В сентябре его отправили в Миллерово... В Миллерово по указанию Сперанского его допрашивали по 6 суток подряд, не давали сутками воды, по трое суток не давали есть. Довели до того, что он заболел кровавым поносом, и если б не подоспел вызов в Москву, то он наверняка умер бы в Миллеровской тюрьме. Всего просидел он в тюрьме 11 с половиной м-цев...

Лугового с момента ареста посадили в одиночку. Допрашивали следователи Кондратьев, Григорьев, Маркович. Метод изнурения заключенного был тот же, но с некоторыми отступлениями. Так же допрашивали по несколько суток подряд, сажали на высокую скамью, чтобы ноги не доставали пола, и не приказывали вставать в течение 40—60 часов, потом давали передышку в два-три часа и снова допрашивали. Луговой выстаивал по 16 часов, руки по швам, перед следовательским столом. К вариациям допроса можно отнести следующее: плевали в лицо и не велели стирать плевков, били кулаками и ногами, бросали в лицо окурки. Потом перешли на более утонченный способ мучительства: сначала лишили матраца на постели, на следующий день убрали из одиночки кровать; чтобы предохранить больные легкие от простуды, т. к. лежать

надо было на голом цементном полу (Луговой болен туберкулезом), он подстилал под спину веник, — взяли и веник из камеры. Затем против одиночки Лугового поместили сошедшего с ума в тюрьме арестованного работника КПК Гришина, и тот своими непрерывными воплями и криками не давал забытья и в те короткие часы, когда приводили с допросов. Не помогло и это — перевели в карцер, но карцер особого рода, клоповник. В наглухо приделанной к стене кровати кишели, по словам Лугового, миллионы клопов. Ложиться на полу строжайше воспрещали. Лежать можно было только на этой кровати. Но освещение в камере было так искусно устроено (затененный свет), что вести борьбу с клопами было абсолютно невозможно. Через день тело покрывалось кровавыми струпами и человек сам становился сплошным струпом. В клоповнике держали неделю, затем снова в одиночку. Вымогание ложных показаний, «подавление психики» арестованного достигалось и таким путем: среди ночи в камеру приходил следователь Григорьев, вел такой разговор: «Все равно не отмолчишься! Заставим говорить! Ты в наших руках, ЦК дал санкцию на твой арест? Дал. Значит, ЦК знает, что ты враг. А с врагами мы не церемонимся. Не будешь говорить, не выдашь своих соучастников — перебьем руки. Заживут руки — перебьем ноги. Ноги заживут — перебьем ребра. Кровью ссать и срать будешь! В крови будешь ползать у моих ног и, как милости, просить будешь смерти. Вот тогда убьем! Составим акт, что издох и выкинем в яму».

Логачев испытал тоже самое. Издевались, уничтожали человеческое достоинство, надругивались, били. На допросе продержали 8 суток, потом посадили на 7 суток в карцер, переполненный крысами. В карцере сидел в одном белье, до этого раздел. Из карцера уже не вели, а несли на носилках. Отнялась левая нога. Допрашивали 4 суток. Пролежал в одиночке 3 часа и снова понесли на допрос. Допрашивали 5 суток подряд. Не мог сидеть, падал со стула, просил разрешения

у следователя Волошина прилечь на постеленную на полу дорожку, но тот не разрешил лечь там. Пролежал на голом полу около часа и снова подняли. Снова пытали 4 суток. Провоцировали. Следователь Маркович кричал: «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, бядина, сидит у нас! И сидит крепко! Контрреволюционный писака, а ты его покрываешь?!» Бил по лицу. К концу четвертых суток Логачев подписал то, что состряпал и прочитал ему следователь.

*(Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931—1950 годы. Сборник документов из личного архива И.В. Сталина. Составитель Юрий Мурин. М., 1997. Стр. 76—78)*

Письмо это не оставляет сомнений, что Шолохов был хорошо осведомлен о том кровавом кошмаре, который творили в своих застенках наши славные чекисты. И надо думать, сознавал, что такое происходит не только у них, на Дону, но — повсюду, по всей стране. В начале письма он, правда, дает понять, что виновниками всех этих злодеяний он считает, разумеется, не всех чекистов, а тайно пробравшихся в органы НКВД врагов:

- ▶ В обкоме и в областном УНКВД была и еще осталась недобитая мощная, сплоченная и дьявольски законспирированная группа врагов всех рангов, ставившая себе целью разгром большевистских кадров по краю.

*(Там же. Стр. 77)*

Но конец письма не оставляет сомнений: он прекрасно понимает, что дело вовсе не в каких-то пробравшихся в органы НКВД мифических врагах, все эти изуверские пытки — обычные, рядовые, будничные, вошедшие в повседневную практику методы работы наших славных органов, предписанные им сверху. И не исключено даже, что предписанные не кем иным, как самим товарищем Сталиным. А иначе — зачем бы он стал его убеждать:

- Т. Сталин! Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен; этот метод приводил и неизбежно будет приводить к ошибкам. Тех, которым подчинены следователи, интересует только одно: дал ли подследственный показания, движется ли дело. А самих следователей, судя по делу Лугового и др., интересует не выяснение истины, а нерушимость построенной ими обвинительной концепции. Недаром следователь Шумилин, вымогая у Красюкова желательные для него, Шумилина, показания, на вопрос Красюкова «Вы хотите, чтобы я лгал?» ответил: «Давай ложь. От тебя мы и ложь запишем»... Просьбы арестованных разрешить написать заявление прокурору или нач. УНКВД грубо отклоняются. Написанное заявление на глазах у арестованного уничтожается, и арестованный с каждым днем все больше и больше убеждается в том, что произвол следователя безграничен. Отсюда и оговоры других и признание собственной вины, даже никогда не совершаемой.

Надо покончить с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным. Нельзя разрешать вести непрерывные допросы по 5—10 суток. Такой метод следствия позорит славное имя НКВД и не дает возможности установить истину.

*(Там же. Стр. 102—103)*

Сталин, прочитав это письмо, ограничился короткой ремаркой: «Травля Шолохова», и с этой резолюцией передал его Поскребышеву и Ежову. Такая резолюция вроде позволяла наркому рассматривать это шолоховское послание лишь как личную жалобу и только ею и заниматься. Но Ежов, конечно, понимал, что, выведя из-под удара только одного Шолохова и проигнорировав самое существо шолоховского письма, он рискует сам стать жертвой сталинского гнева. Может быть, даже оказаться козлом отпущения, на которого потом свалят все эти «перегибы». (Дело, кстати, уже к тому и шло.)

В результате, побывав в руках Ежова, шолоховское письмо украсилось десятком пометок на полях. Пометки были двух родов. Одна гласила: «Проверить». Другая: «Невозможно проверить». По-видимому, это была законспирированная директива, негласное указание: что **надо** проверять, а чего проверять **не надо**.

Указанием «Проверить», как правило, были отмечены те фрагменты письма, в которых речь шла непосредственно о Шолохове, о поисках компромата на него, о выдвижении против него всяких ложных обвинений.

Например, вот такой фрагмент:

- ▶ В конце июля член партии, красный партизан в прошлом, Тютюкин И. при встрече, волнуясь, сообщил мне, что его сын Тютюкин А., работающий секретарем Вешенского РО НКВД, слышал, как Тимченко, допрашивая арестованного казака — участника окружного казачьего хора, созданного врагами народа Касиловым и Лукиным, вынуждал арестованного дать показания на меня, будто бы я уговаривал этого казака совершить покушение на кого-либо из членов правительства при поездке хора в Москву. Я имел неосторожность сообщить об этом возмутительном случае секретарю РК Капустину. Ровно через два дня после моего разговора с Капустиним Тютюкин А. был арестован, как враг народа.

*(Там же. Стр. 92—93)*

А где Шолохов говорит не о себе, давая понять, что его «дело» — лишь частный случай, что речь идет о массовых фальсификациях, — там неизменно стоит пометка: «Невозможно проверить»:

- ▶ О допросах с пристрастием пишут мне и другие арестованные, которые сейчас находятся в ссылке. Пишут и просят довести до Вашего сведения о том, как их допрашивали, как из них сделали врагов.

*(Там же. Стр. 101)*

- ▶ Надо тщательно перепроверить дела осужденных по Ростовской области в прошлом и нынешнем году, т.к. многие из них сидят напрасно.

*(Там же. Стр. 103)*

Почему, собственно, все это невозможно проверить? Что мешает?

Совершенно очевидно, что гриф этот — не что иное, как условный код. Что пометка «Невозможно проверить» означает: «А вот это проверять не следует».

Идти по следам таких негласных ежовских указаний предстояло человеку в этих делах весьма опытному — М.Ф. Шкирятову. Он, как мы знаем, пять лет назад уже побывал в Вешенской, разбираясь с тогдашними шолоховскими жалобами. О том, чтобы и сейчас разбираться с его жалобами поручили именно ему, Шолохов Сталина просил сам. Заклячая свое письмо вождю, он писал:

- ▶ Дорогой т. Сталин!.. Пришлите комиссию из больших людей нашей партии, из настоящих коммунистов, которые распутали бы этот клубок до конца..

Пришлите по делам арестованных коммунистов М.Ф. Шкирятова. Он знает очень многих людей здесь по 1933 г., ему будет легче ориентироваться, и кого-нибудь из заместителей т. Ежова.

*(Там же. Стр. 104—105)*

Сталин эту шолоховскую просьбу удовлетворил. «Распутывать клубок» послали Шкирятова, придав ему в помощь В.Е. Цесарского, бывшего в то время, правда, не заместителем Ежова, а всего лишь начальником IV отдела Главного управления НКВД СССР.

Изучив письмо Шолохова, испещренное пометками Ежова («Проверить» и «Невозможно проверить»), они сделали свои выводы. Похоже даже, что руководствовались они не столько этими пометками, сколько собственным разумением. Как бы то ни было, итог проведенного ими разбирательства был тот же, что в 1933 году: «Бывают ошибки, но

линия правильная». Да и сами эти «отдельные ошибки» в их изложении выглядят какими-то мелкими, несущественными, даже ничтожными, ни в какой мере не портящими общую радостную картину нашей жизни. А посему и наказывать за эти «ошибки» никого не надо:

► В результате расследования фактов, изложенных т. Шолоховым в его письме, установлено:

1. Заявление т. Шолохова об арестах большого количества невинных людей, в том числе лиц, арестованных по оговору в связи с делом Лугового, Логачева и Красюкова, не подтвердилось. Имели место лишь отдельные ошибки, которые мы исправили (дела Лимарева, Дударева, Тютюкина).

2. Проведенный нами допрос целого ряда людей, указанных т. Шолоховым (Дударева, Гребенникова, Конкина, Мельникова, Точилкина и др.), а также проверка их следственных дел показали, что арест названных лиц не был связан с делом т. Лугового, Логачева и Красюкова. Арестованы они были по показаниям других лиц.

3. В результате допроса арестованных (Лимарева, Тютюкина, Дударева, Кузнецова, Мельникова, Точилкина, Гребенникова и Громославского) не подтвердилось также заявление т. Шолохова, что будто бы к арестованным в органах НКВД Ростовской области применяются методы физического воздействия.

4. Не подтвердилось и заявление т. Шолохова о том, что со стороны районного отделения НКВД против него была организована травля. Нами установлено, что заявление на Сидорова состряпано врагом Молчановым-Благородовым с единственной целью — дискредитировать т. Шолохова. Тов. Шолохов в этом убедился сам при допросе Молчанова.

5. Но несомненным остается одно, что поводом для заявления т. Шолохова по вопросу о травле против него послужил тот факт, что во время ареста т. Лугового, Логачева и Красюкова (теперь реабилитированных) в Райотделении НКВД и среди отдельных работников



района действительно велись разговоры такого характера, что т. Шолохов был очень близок к арестованным и как это он мог проглядеть их.

б. Что же касается вопроса о привлечении к ответственности работников Вешенского и Миллеровского отделений НКВД т.т. Сперанского, Тимченко и Кравченко, то мы считаем, что делать это нецелесообразно. У этих работников НКВД были отдельные ошибки в их работе, но в данное время они за свои ошибки наказаны т. Ежовым. Тов. Сперанский переведен тов. Ежовым на работу в Колыму, а т. Тимченко переброшен в другой район и ему сделаны указания на допущенные ошибки. А тов. Кравченко, который работал незначительное время в Вешенском районе, мы считаем нецелесообразным его привлекать к ответственности.

*(Там же. Стр. 126—127)*

Даже и травли Шолохова «со стороны районного отделения НКВД», оказывается, никакой не было. Просто «среди отдельных работников района... велись разговоры такого характера, что т. Шолохов был очень близок к арестованным и как это он мог проглядеть их».

Это уже была прямая и откровенная ложь, о чем Сталин не мог не знать:

- ▶ Недовольный результатом расследования Шкирятова и Цесарского, завершено к маю 1938 года, Шолохов вновь обратился к Сталину относительно произвола в Ростовской области; ему удалось встретиться со Сталиным 23 октября, беседа продолжалась около часа; во время разговора в кабинет был приглашен Ежов. Очевидно, его присутствие было связано с заданием И.С. Погорелову, который по приказу НКВД собирал компромат на Шолохова для обоснования ареста. Вероятно, Сталин дал Ежову указание немедленно разобраться и доложить.

Через неделю, 31 октября, в кабинете Сталина со-

стоялось заседание, которое продолжалось больше двух часов; на нем присутствовали Сталин, Молотов, Маленков, Ежов, Шолохов, Луговой (секретарь Вешенского райкома партии, освобожденный из-под ареста благодаря ходатайству Шолохова), Погорелов и четыре сотрудника местного НКВД. По воспоминаниям Лугового, Шолохов жаловался на преследования со стороны НКВД, который стряпает ложные свидетельства, «доказывающие», что он враг народа. Сталин спросил у одного из работников НКВД, давали ли ему указание оклеветать Шолохова и давал ли он какие-либо поручения Погорелову. Тот ответил, что такие указания он действительно получал и что они были согласованы с Ежовым. Ежов, однако, возразил, что он подобных распоряжений не делал. По воспоминаниям Погорелова, Сталин добавил, что Евдокимов дважды запрашивал его санкцию на арест Шолохова, но Сталин отклонил прошение как необоснованное.

*(Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008. Стр. 176—177)*

По дошедшим до нас документам и воспоминаниям участников, весь ход разбирательства этого «шолоховского дела» можно дополнить некоторыми небезынтересными подробностями.

Сталин принял Шолохова 23 октября в 18.30 и беседовал с ним до 19.20. В 19.00 явился вызванный по распоряжению Сталина Ежов. Разговор шел об И.С. Погорелове, которому органами НКВД было поручено нелегально собрать компромат на Шолохова, чтобы добиться его ареста. Об этом провокационном задании НКВД И.С. Погорелов рассказал Луговому и Шолохову. Так что Шолохову было что рассказать Сталину во время этой их встречи.

Выслушав Шолохова, Сталин поручил Ежову разобраться. И поручение это, видимо, было дано в таком непререкаемом тоне, что разбираться Ежову пришлось в самом срочном порядке.

Новое, расширенное заседание у Сталина, посвященное рассмотрению этого дела, состоялось 31 октября. Кроме Сталина на нем присутствовали Молотов, Каганович и Маленков. В 16.15 на заседание были приглашены — Ежов, Шолохов, Погорелов, Луговой, представители Управления НКВД по Ростовской области и отделения НКВД по Вешенскому району Гречухин, Щавелев, Коган, Лудищев.

Вот как рассказывает об этом П. Луговой, в то время уже вышедший из заключения и восстановленный в прежней своей должности секретаря Вешенского райкома ВКП(б):

- ▶ Шолохов выступал два раза и несколько раз отвечал на реплики. Он сказал, что вокруг него органами НКВД, органами разведки ведется провокационная, враждебная по отношению к нему работа, что органы НКВД стряпают материалы в доказательство того, что он якобы враг народа и ведет вражескую работу. Что работники НКВД у арестованных ими людей под дулом пистолета добывают материалы, ложно свидетельствующие о том, что он, Шолохов, враг народа. Что такое положение дел в районе и области нетерпимо, таким путем на честных, преданных партии людей клеветают, их оговаривают, изображают врагами народа. Шолохов прямо и твердо сказал, что он просит Центральный Комитет партии оградить его от подобных актов произвола.

Сталин спросил у Когана, давали ли ему задание оклеветать Шолохова и давал ли он какие-либо поручения Погорелову. Коган ответил, что такие поручения он получал от Григорьева и что они, эти поручения, были согласованы с Ежовым. Ежов встал сейчас же и сказал, что он об этом ничего не знал и таких поручений не давал.

Тогда Сталин спросил у Лудищева, что ему известно об этом. Лудищев встал, опустил руки по швам и не сказал ни да, ни нет, показав этим, что он «солдат партии»: что прикажут, то он и сделает.

*(П. Луговой. С кровью и потом. Из записок секретаря райкома. «Судьба Шолохова». Специальный выпуск «Литературной России», № 1, 23 мая 1990 г. Стр. 8)*

Задавая чекистам — сперва Когану, а потом Лудищеву, — свои вопросы, Сталин, конечно, знал, что эти «солдаты партии» послушно исполняли то, что им было приказано. И даже прекрасно знал, от кого исходил этот приказ. Сам тут же его и назвал:

- ▶ Евдокимов ко мне приходил два раза и требовал санкции на арест Шолохова за то, что он разговаривал с бывшими белогвардейцами. Я Евдокимову сказал, что он ничего не понимает ни в политике, ни в жизни. Как же писатель должен писать о белогвардейцах и не знать, чем они дышат?

*(И. Погорелов. Большие, чем друг. Отрывок из письма. «Судьба Шолохова». Спецвыпуск «Литературной России». № 1, 23 мая 1990 г. Стр. 10)*

Е.Г. Евдокимов был фигурой куда более крупного масштаба, чем приглашенные на то заседание Гречухин, Щавелев, Коган и Лудищев.

В 1931—1933 гг. он был полномочным представителем ОГПУ сперва в Средней Азии, а потом на Северном Кавказе. А с 1934 года — первым секретарем Северо-Кавказского крайкома партии, затем — до сентября 1937-го первым секретарем Азово-Черноморского крайкома, а с сентября 1937-го и в начале 1938-го — первым секретарем Ростовского обкома.

Роберт Конквест в своей книге «Большой террор» называет Е.Г. Евдокимова «закадычным другом Сталина». Другом, а тем более закадычным, наверно, не был (у Сталина вообще не могло быть друзей), но доверенным лицом Сталина он безусловно был. Об этом свидетельствует уже один тот факт, что именно им, Евдокимовым, Сталин хотел заменить Филиппа Медведя на посту главы ленинградского НКВД, когда готовил убийство Кирова. Этому намерению Сталина решительно воспротивился Киров, заявив, что такие перемещения не могут быть предприняты без ведома ленинградского обкома. И тогда в Ленинград был отправлен другой верный сталинский пес — Иван Запорожец.

Чекистская карьера Евдокимова началась со знаменитого Шахтинского дела.

- ▶ Шахтинский процесс был пущен в ход уполномоченным ОГПУ на Кавказе Е.Г. Евдокимовым... Е.Г. Евдокимов сообщил о наличии в городе Шахты и его районе многочисленной вредительской организации, состоящей из старорежимных инженеров. Сам Евдокимов — в прошлом уголовник, выпущенный из тюрьмы во время революции, присоединившийся к большевикам и отличившийся в Гражданской войне. Он сумел сблизиться со Сталиным, получил немало отличий и в течение ряда лет сопровождал «вождя» в отпуск.

Говорят, что когда Менжинский просмотрел рапорт Евдокимова, он заметил в нем полное отсутствие доказательств. Евдокимов заявил, что отдельные частные письма подозреваемых инженеров зашифрованы, но признал, что не смог их расшифровать. Менжинский пригрозил, что, если в течение двух недель ему не будут представлены достаточные основания дела, он сам обвинит Евдокимова во вредительстве... Оказавшись в затруднительном положении, Евдокимов поехал прямо к Сталину. Сталин... дал ему «зеленую улицу». Евдокимов вернулся и арестовал инженеров. Менжинский, поддержанный Рыковым и Куйбышевым (по понятным причинам Куйбышев, как председатель ВСНХ, был сильно задет), решительно протестовал. Сталин заставил их замолчать...

*(Роберт Конквест. Большой террор. Firenze, 1974.  
Стр. 989—990)*

Вот какой человек домогался от Сталина санкции на арест Шолохова.

Но почему же в таком случае 31 октября «на ковер» вызвали представителей управления НКВД по Ростовской области и отделения НКВД по Вешенскому району и не вызвали его — главного инициатора разбиравшегося на том заседании «шолоховского дела»?

В этом не было надобности, потому что судьба Е.Г. Евдокимова к тому времени уже была решена.

Шолохов свое письмо Сталину отправил в феврале. А в мае Евдокимов был уже снят с должности первого секретаря Ростовского обкома и назначен заместителем Ежова. Полгода тому назад это было бы неслыханное повышение. Сейчас же это было даже не понижение, а — **падение**, потому что Ежов в это время был уже народным комиссаром водного транспорта.

Какое же это падение? — быть может, удивится мало что понимающий в тех делах современный читатель. Замнаркома — это, наверно, все-таки побольше, чем секретарь обкома. Да и Ежов как-никак в это время еще оставался наркомом. По-нынешнему — министром.

Но Н.И. Ежов недолго оставался наркомом водного транспорта. И так же недолго Е.Г. Евдокимов оставался его заместителем.

- ▶ После ареста Ежова обвинили в заговоре против партийного руководства. Он сам показал, что, когда начались аресты в аппарате НКВД, он вместе с Фриновским, Дагиным и Евдокимовым готовился совершить «путч» 7 ноября, в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, во время демонстрации на Красной площади. Они хотели спровоцировать беспорядки, а потом во время паники и замешательства «разбросать бомбы и убить кого-либо из членов правительства». Дагин, который был в НКВД начальником отдела охраны, должен был осуществить теракт, но 5 ноября его арестовали, а через несколько дней — и Евдокимова.

*(Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский титомец» — Николай Ежов. М., 2008. Стр. 172)*

31 октября 1938 года, когда в сталинском кабинете разбиралось «дело Шолохова» и Сталин спрашивал у Ежова, давал ли он указание собирать на Шолохова лживый компромат, судьба Ежова и Евдокимова была уже решена.

Давление пара в котле достигло критической точки, и пришла пора осудить «перегибы», как он сделал это пять лет назад статьей «Головокружение от успехов». Но на этот раз статьей или речью было не обойтись. Надо было предъявить стране главного виновника этих «перегибов», и лучшей кандидатуры на эту роль, чем Ежов, было не найти. Заодно пришлось пожертвовать и «закадычным другом» — Евдокимовым.

Совещание по «делу Шолохова», проходившее 31 октября 1938 года, было первой ласточкой, предвещавшей падение «железного наркома».

Вскоре появились и другие, более внятные знаки приближающейся развязки:

- ▶ 14 ноября 1938 года Сталин дал директиву региональным партийным комитетам провести проверку в органах НКВД и очистить их от всех «чуждых» людей, «не заслуживающих политического доверия»; вместо них должны быть назначены кандидаты, утвержденные соответствующими партийными инстанциями... На следующий день Политбюро утвердило директиву ЦК и СНК о приостановлении с 16 ноября всех дел на «тройках», а также и Военными трибуналами и Военной коллегией Верховного суда СССР...

Спустя два дня, 17 ноября, Политбюро приняло совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», подготовленное комиссией, в состав которой входили Ежов, Берия, Маленков и другие... В постановлении давалась в целом положительная оценка результатов массовых операций, проведенных НКВД в 1937—1938 годах. Однако отмечалось, что «упрощенное ведение следствия и суда» привело к «крупнейшим недостаткам и извращениям» в работе НКВД и Прокуратуры. Враги народа и шпионы иностранных разведок, внедрившиеся в органы государственной безопасности и систему судопроизводства, «старались всячески запутать следственные и агентурные дела, сознательно извращали советские законы, производили

массовые и необоснованные аресты, в то же время спасая от разгрома своих сообщников». Они «совершали подлоги, фальсифицировали следственные документы, привлекая к уголовной ответственности и подвергая аресту по пустяковым основаниям и без всяких оснований, создавали с провокационной целью «дела» против невинных людей». Они ограничивались исключительно получением признания вины от обвиняемого. Постановлением запрещалось проведение массовых операций, ликвидировались «тройки» и устанавливался прокурорский надзор за всеми процедурами по задержанию.

*(Конец карьеры Ежова. Исторический архив. 1992,  
№ 1. Стр. 125—128)*

Сталин, как всегда, действовал не торопясь, медленно, но верно реализуя хорошо продуманный план. (В состав комиссии, готовившей это обрушившееся на верхушку НКВД постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), вместе с Берией и Маленковым входил и уже ставший в то время наркомом водного транспорта Ежов.)

Конечно, не письмо Шолохова спровоцировало этот сталинский план. Но его письмо пришлось Сталину как нельзя более кстати.

Мысль использовать Шолохова в этой большой игре скорее всего явилась у него годом раньше — в сентябре 1937-го, когда он читал докладную записку В.П. Ставского.

В этой докладной записке, между прочим, говорилось:

► В крае (Ростов Дон) к Шолохову отношение крайне настороженное. Тов. Евдокимов сказал:

— Мы не хотим Шолохова отдавать врагам, хотим его оторвать от них и сделать своим!

Вместе с тем тов. Евдокимов также и добавил:

— Если б это был не Шолохов с его именем, — он давно бы у нас был арестован.

Тов. Евдокимов, которому я все рассказал о своей беседе с Шолоховым, — сказал, что Луговой до сих пор



не сознался, несмотря на явные факты вредительства и многочисленные показания на него.

На качество следствия обращено внимание краевого Управления НКВД.

Очевидно, что враги, действовавшие в районе, прятались за спину Шолохова, играли на его самолюбии (бюро райкома не раз заседало дома у Шолохова), пытаются и сейчас использовать его как ходатая и защитника своего.

*(Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931—1950 годы. Сборник документов из личного архива И.В. Сталина. Составитель Юрий Мурин. М., 1997, Стр. 72—73)*

Евдокимов, стало быть, уже тогда начал «копать под Шолохова».

К этой информации Сталин проявил острый интерес. На докладной записке Ставского появилась сталинская резолюция:

- ▶ Тов. Ставский! Попробуйте вызвать в Москву т. Шолохова дня на два. Можете сослаться на меня. Я не прочь поговорить с ним.

*(Там же. Стр. 147)*

Ставский «попробовал», и встреча Шолохова со Сталиным состоялась. Она продолжалась полтора часа (с 16.30 до 18 часов 25 сентября 1937 года). В кабинете Сталина при этом находились Молотов и Ежов.

Результатом этой встречи стало освобождение и возвращение на его прежнюю должность арестованного шолоховского друга Лугового.

Это был первый — еще не удар, но щелчок, и весьма чувствительный, — по Евдокимову. А может быть, даже уже и по Ежову.

Вряд ли стоит тут толковать о том, что, решив поддержать Шолохова (и тогда, и год спустя — в 38-м), Сталин менее всего руководствовался соображениями справедливости.

Попади к нему письмо Шолохова о недопустимости методов, которыми пользуются в НКВД, не на исходе, а в разгаре «ежовщины», реакция Сталина была бы совершенно иной. Если бы он почему-либо счел это целесообразным, Сталин пожертвовал бы и Шолоховым с такой же легкостью, с какой он пожертвовал своим «закадычным другом» Евдокимовым.

Чтобы это мое утверждение не выглядело совсем уж бездоказательным, приведу короткую запись, сделанную К.И. Чуковским в его дневнике 18 февраля 1964 года:

- ▶ Сейчас ушел от меня Влад. Семенович Лебедев. Вот его воззрения, высказанные им в долгой беседе...

«Вы, К.И., не знаете, а у меня есть документы, доказывающие, что Сталин намеревался физически уничтожить Шолохова. К счастью, тот человек, который должен был его застрелить, в последнюю минуту передумал. Человек этот жив и сейчас».

*(Корней Чуковский. Собр. соч. Том 13.  
Дневник. 1936—1969. М., 2007.  
Стр. 383)*

Владимир Семенович Лебедев, с которым К.И. Чуковский беседовал в Барвихе, был в то время помощником Н.С. Хрущева. Так что не исключено, что в его распоряжении действительно имелись такие документы. Хотя, по правде говоря, трудно представить, чтобы Сталин отказался от своего намерения физически уничтожить Шолохова только потому, что человек, которому поручено было его застрелить, вдруг передумал.

Одно только тут не вызывает сомнений: если бы Сталин по каким-то своим соображениям и впрямь решил расправиться с Шолоховым, он вряд ли дал бы команду арестовать его. Скорее всего решил бы устранить его именно вот так, как рассказал об этом Чуковскому Лебедев. Как Кирова. Или как Михоэлса, о способе устранения которого — это слышала его дочь Светлана — он сказал: «Тогда — автомобильная катастрофа».

\* \* \*

Шолохов не мог не понимать, что ходит по краю пропасти.

На этот раз Сталин вывел его из-под удара. Но дело легко могло повернуться и по-другому.

Хорошо зная Сталина, он понимал, что тот не забыл его дерзкого ответа на вопрос: «Говорят, вы много пьете, товарищ Шолохов?» — «От такой жизни запьешь, товарищ Сталин!»

И уж во всяком случае, понимал, что Сталин не забыл еще более дерзкий его призыв «покончить с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным». Наверняка ведь знал — а не знал, так догадывался, — что эта «постыдная система» была спущена «органам» самим Хозяином.

Но еще большую угрозу, чем память об этих двух эпизодах, которые могли вызвать неудовольствие и даже гнев вождя, несло в себе одно тайное обстоятельство его личной жизни, о котором Сталину было хорошо известно.

\* \* \*

Биограф Шолохова В. Осипов касается этой темы вскользь, одной фразой, как всегда у него, не столько оправдывающей, сколько возвышающей героя его повествования:

- ▶ ...Принимает участие в подготовке тематического — о казачестве — выпуска популярного журнала «СССР на стройке». И стойко сносит злоумышленные слухи и сплетни о себе, что стал любовником жены самого Ежова — Евгении Соломоновны Хякутиной.

(*Валентин Осипов. Шолохов. М., 2008. Стр. 259*)

Две эти фразы состыкованы по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька», и складывается впечатление, что нелепая и бессмысленная эта «состыковка» говорит только лишь о литературной неумелости автора. Что правда, то правда: литературная неумелость и даже беспомощность автора этой неуклюжей конструкции очевидна. Но при всем при том между этими двумя, как будто никак не связанны-

ми меж собой фактами (тем, что Шолохов «принимает участие в подготовке тематического выпуска журнала «СССР на стройке», и тем, что он «стойко сносит слухи и сплетни о себе, что стал любовником жены Ежова») действительно существует некоторая связь.

Дело в том, что жена Ежова в это время была редактором журнала «СССР на стройке», а Шолохов действительно был ее любовником.

У Евгении Соломоновны Хаютиной до того, как она стала женой Ежова, было несколько фамилий. Девичья ее фамилия была Фейгенберг. Родилась она в 1904 году в Гомеле. Там же в юном возрасте вышла замуж за Лазаря Хаютина. Но скоро с ним развелась и стала женой журналиста и дипломата Александра Гладуна, обретя таким образом еще одну фамилию. С сентября 1926 года они с Гладуном жили в Лондоне, но в мае 1927-го после разрыва дипломатических отношений между Лондоном и Москвой были высланы из Великобритании. Гладун вернулся в Москву, а Евгения некоторое время еще оставалась за границей — работала машинисткой в советском торгпредстве в Берлине. (Там, кстати, она познакомилась с Бабелем, с которым у нее тогда же завязался роман.) Но в Берлине она задержалась ненадолго. Вскоре вернулась в Москву, в дом мужа. И тогда же познакомилась с Ежовым.

В 1930 году Ежов женился на Евгении (уже не Хаютиной, а Гладун), и она стала Евгенией Ежовой.

Арестованный в 1938 году Гладун на допросе показал:

- ▶ Она называла Ежова восходящей звездой, и поэтому ей было выгоднее быть с ним, чем со мной.

*(Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008. Стр. 28)*

Став женой Ежова, она первое время работала машинисткой в «Крестьянской газете», редактором которой был Семен Урицкий. Урицкий (с которым у нее тоже был роман — дама была любвеобильная) освободил ее от обязанностей машинистки и сделал журналисткой. Так стала она редактором

журнала «СССР на стройке». Не главным, конечно. (Пост главного редактора этого журнала последовательно занимали Урицкий, Пятаков, Межлаук, Косарев.)

Благодаря журналу у Евгении завязались литературные знакомства и связи, и со временем у нее дома возник своего рода салон.

Впрочем, некоторые литературные знакомства у нее сохранились еще с более ранних, одесских времен. Скорее всего именно там, в Одессе, а не в Берлине впервые встретилась она и с Бабелем.

Об этом я слышал от С.И. Липкина, которому однажды тоже случилось побывать в том ежовском салоне.

Собственно, салона тогда еще не было. Салон возник позже. А это был, если можно так выразиться, эмбрион будущего салона.

Юного Липкина туда затащил его старший товарищ — Багрицкий.

Его рассказ об этом я слышал не однажды. Но не стану пересказывать его своими словами, поскольку однажды Семен Израилевич решил этому своему устному рассказу придать литературную форму — точную и строгую, хоть и стихотворную.

Нет, правильнее было бы выразиться иначе: не «хоть и стихотворную», а точную и строгую именно потому, что стихотворную:

Мы направлялись в гости. Он с собой  
Взял и меня, чтоб одному домой

Не возвращаться в стуже долгой ночи.  
Он ликовал: «Путиловский рабочий,

Как говорится, парень от станка,  
Работает инструктором Цека.

Жена — бабец что надо, одесситка,  
Моя приятельница»... Вот калитка

И с мезонином деревянный дом.  
Они в хоромах стали жить потом...

Сама хозяйка нам открыла дверь.  
Что в отошедшем вижу я теперь?

Авторитарную непринужденность;  
Ее шифоновое платье; склонность,

Однако, там, где нужно, к полноте;  
При этом ноги тонкие; и те

Глаза, что нравились великороссам —  
Тем выдвигенцам кряжистым, курносым;

На слишком выпуклой груди янтарь;  
Партийно-художественный словарь...

Нам приготовили домашний стол.  
Был лишь один нерусский разносол —

Со шкваркой редька. И лафитник с горькой  
Был позлащен внутри лимонной коркой,

И смех, и «я люблю лесную глушь»,  
И как-то странно появился муж, —

Как будто ниоткуда, не из двери.  
Воображенье или суеверье?

Он был урод. Он был колдун-урод!  
Почти что карлик. Был наполнен рот

Несхожими зубами — будто в разных  
Ртах реквизированными. Приказных

Снабжали, вероятно, в старину  
Глазами из такой слюды. К окну

Он резко подошел и к нам спиною  
Зачем-то постоял перед ночью

Безмолвной тьмой, придвинув лоб к стеклу,  
И, повернувшись, пригласил к столу.

Тост произнес. «Так, значит, мы соседи», —  
И перестал участвовать в беседе.

Поэт с хозяйкой вспоминали юг,  
«Зеленой лампы» одаренный круг,

Потом он стал читать. Читал с подъемом,  
Со свистом, звоном, щелканьем и громом.

Хозяйка сделала глазами знак:  
Мол, восторгись. Хозяин-вурдалак

Сказал, вульгарно ставя ударенье:  
«Иметь было бы неплохо точку зренья:

Вы пограничник иль контрабандист?  
А стиль у вас, что говорить, речист».

Кто мог предположить, что мы в берлоге  
Бесовской? Что уродец кривоногий,

Сей недоумок бедный сатана,  
В чьих рукавицах смерть заострена...

Этот портрет хозяина «салона» написан, конечно, не только по живым тогдашним впечатлениям. На тогдашние явно наложились более поздние, когда вчерашний путиловский рабочий, ставший инструктором ЦК, превратился в вурдалака, под взглядом которого покрывались холодным потом даже главные властители страны. Но меня этот стихотворный мемуар привлек портретом не хозяина, а — хозяйки. Дама, стало быть, была не только любвеобильная, но и литературная и к роли хозяйки литературного салона примеривалась давно.

Салон, — впрочем, уже не этот, а настоящий салон, который возник, когда из подмосковного деревянного дома с мезонином они переехали в каменные хоромы в центре столицы, — был не только литературный. Евгения Соломоновна привечала не только писателей, но и ученых, дипломатов, артистов. Постоянными гостями ее салона были Лев Кассиль, Самуил Маршак, Леонид Утесов, Михаил Кольцов, знаменитый полярный исследователь Отто Юльевич Шмидт, тогдашний наркоминдел Максим Литвинов.

Далеко не все из тех, кто был близок с Евгенией Ежовой, уцелели. Некоторые из них за эту близость к влиятельной и любвеобильной даме заплатили жизнью. Репрессирован был ее первый муж — Хаютин. Арестован и вскоре расстрелян второй — Гладун. Погибли в сталинских застенках Бабель, Михаил Кольцов и Иван Катаев. Погиб (тоже был расстрелян) и бывший комсомольский вожак Александр Косарев. У каждого из них, разумеется, было свое дело. (Косарев, например, проходил по так называемому «комсомольскому заговору».) Но каждому при этом инкриминировали и связь с женой Ежова. И у самого Ежова допрашивающие его следователи тоже почему-то с особым интересом выпытывали,

кто из постоянных гостей его жены были ее любовниками. (Он назвал Бабеля, Шмидта и Косарева).

По этой же линии чекисты «разрабатывали» и Шолохова.

Компромат на Ежова (не только о политическом, но и бытовом его «разложении») собирался еще до его ареста. И описание растленного морального облика жены опального наркома в этих документах, разумеется, тоже заняло немалое место:

- ▶ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ АРЕСТОВАННОГО  
ДАГИНА И.Я.  
БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА 1 ОТДЕЛА  
ГУГБ НКВД СССР  
О ПОВЕДЕНИИ Н.И. ЕЖОВА

15 ноября 1938 г.

Считаю необходимым привести известные мне данные о семье, жене и близких людях Ежовых.

Жена Ежова — Евгения Соломоновна — постоянно находится в окружении двух «Зин» — «большой» Зины и «малой», как их зовут в семье Ежовых. Обе Зины весьма подозрительные особы, находятся целиком на иждивении Ежова. Ведут разгульный образ жизни. Одна из Зин работает в ВОКСе, возвращается в кругу иностранцев.

*(Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008. Стр. 352)*

Обе «Зины» были арестованы, обвинены в том, что были завербованы женой Ежова Е.С. Хяютиной-Ежовой и вместе с ней занимались шпионажем в пользу иностранных разведок. Обе впоследствии были расстреляны. Но перед тем как их дела были окончательно «оформлены», разумеется, допрашивались. И в протоколах допросов второй «Зины» довольно большое место уделено Шолохову. Точнее — отношениям Шолохова с Е.С. Ежовой.

К шпионажу в пользу иностранных разведок этот сюжет



вроде отношения не имел. Но он почему-то вызвал пристальный интерес следователей.

Показания о связи Евгении Ежовой с Шолоховым на следствии дала «Зина малая» — Зинаида Фридриховна Гликина, референт по США в иностранной комиссии Союза советских писателей. Она была самой близкой и самой давней — еще по Гомелю — подругой Е.С. Хаютиной. От «Зины малой» у Евгении не было никаких тайн, и о романе своей ближайшей подруги с знаменитым писателем она рассказывала следователю долго и обстоятельно, не гнушаясь самыми мелкими и не особенно интересными подробностями и деталями. Это обилие мало что значащих подробностей удивляет не столько тем, что они появились в ее показаниях, сколько тем, что следователь почему-то решил все эти не идущие к делу подробности сохранить в протоколе. Создается даже впечатление, что он своими вопросами направлял, нацеливал подследственную на эти подробности.

Перечислив трех законных мужей любимой подруги и длинную вереницу ее именитых любовников, дойдя до Шолохова, она сразу объявляет, что эти ее показания представят для следствия особый интерес:

- ▶ Теперь хочу довести до сведения следствия о заслуживающем особого внимания обстоятельстве интимной связи Хаютиной-Ежовой с писателем Шолоховым...

Похоже, что эта реплика, предвещающая последовавшие за ней показания, была прямо подсказана ей, — а может быть, даже и вписана в протокол допроса — самим следователем.

Каковы же были эти обстоятельства, заслуживающие, по мнению подследственной, а скорее всего и допрашивающего ее следователя особого внимания?

Начинает она с их первой встречи:

«Весной 1938 г. Шолохов приезжал в Москву и был на приеме у Ежова, после чего Ежов пригласил его к себе на дачу. Тогда Евгения впервые увидела Шолохова. Они сразу друг

другу понравились». (Обстоятельство, как вы понимаете, заслуживающее особого внимания.)

Летом 1938 г. Шолохов снова оказался в Москве. На этот раз он уже по собственной инициативе встретился с Евгенией — в редакции журнала «СССР на стройке», где она работала, — «под видом, — как записано в протоколе, — своего участия в выпуске номера, посвященного Красному казачеству». Завершив деловую часть встречи, Шолохов стал ждать, когда освободится от работы Евгения. Дождавшись, проводил ее домой.

- ▶ Из разговоров, происходивших между ними, — говорится далее в протоколе, — явствовало, что Хаютина-Ежова нравится Шолохову как женщина. Однако особая интимная близость между ними установилась позже. Кстати сказать, Ежов был осведомлен от Хаютиной-Ежовой в том, что ей нравится Шолохов.

В августе 1938 года Шолохов опять приехал в Москву. На сей раз он заявился в редакцию журнала «СССР на стройке» с Фадеевым. Они пригласили Евгению пообедать с ними в гостинице «Националь».

Возвратившись домой поздно вечером, она рассказала мужу, где и с кем провела вечер. Узнав, что она была у Шолохова в «Национале», Ежов пришел в ярость.

- ▶ В связи с этим случаем, — рассказывает далее Гликина, — мне стал известен один из секретных методов органов НКВД по наблюдению за интересующими его лицами. Я узнала о существовании, в частности в гостинице «Националь», специальных аппаратов, посредством которых производится подслушивание разговоров между отдельными людьми, и что эти разговоры до мельчайших деталей фиксируются стенографистками.

Я расскажу сейчас, как все это произошло.

На следующий день после того, как Хаютина-Ежова обедала с Шолоховым в «Национале», он снова был в редакции журнала и пригласил Хаютину-Ежову к себе

в номер. Она согласилась, заведомо предчувствуя стремление Шолохова установить с ней половую связь.

Хаятина-Ежова пробыла у Шолохова в гостинице «Националь» несколько часов...

На другой день поздно ночью Хаятина-Ежова и я, будучи у них на даче, собирались уже было лечь спать. В это время приехал Ежов. Он задержал нас и пригласил поужинать с ним. Все сели за стол. Ежов ужинал и много пил, а мы только присутствовали как бы в качестве собеседников.

Далее события разыгрались следующим образом.

После ужина Ежов в состоянии заметного опьянения и нервозности встал из-за стола, вынул из портфеля какой-то документ на нескольких листах, обратившись к Хаятиной-Ежовой, спросил: «Ты с Шолоховым жила?» После отрицательного ее ответа Ежов с озлоблением бросил его в лицо Хаятиной-Ежовой, сказав при этом: «На, читай!»

Как только Хаятина-Ежова начала читать этот документ, она сразу же изменилась в лице, побледнела и стала сильно волноваться. Я поняла, что происходит что-то неладное, и решила удалиться, оставив их наедине. Но в это время Ежов подскочил с Хаятиной-Ежовой, вырвал из ее рук документ, ударил ее этим документом по лицу и, обращаясь ко мне, сказал: «Не уходите, и вы почитайте!» При этом Ежов бросил мне на стол этот документ, указывая, какие места читать.

Взяв в руки этот документ и частично ознакомившись с его содержанием, с таким, например, местом: «Тяжелая у нас с тобой любовь, Женя», «уходит в ванную», «целуются», «ложатся» и — «женский голос: — Я боюсь...», я поняла, что этот документ является стенографической записью всего того, что происходило между Хаятиной-Ежовой и Шолоховым у него в номере и что это подслушивание организовано по указанию Ежова.

После этого Ежов окончательно вышел из себя, подскочил к стоявшей в то время у дивана Хаятиной-

Ежовой и начал ее избивать кулаками в лицо, грудь и другие части тела. Лишь при моем вмешательстве Ежов прекратил побои, и я увела Хаютину-Ежову в другую комнату... В связи со всей этой историей Ежов был сильно озлоблен против Шолохова, и когда Шолохов пытался несколько раз попасть на прием к Ежову, то он его не принял.

Спустя примерно месяца два с момента вскрытия обстоятельств установившейся между Хаютиной-Ежовой с Шолоховым интимной связи Ежов рассказывал мне о том, что Шолохов был на приеме у Л. П. Берии и жаловался на то, что он — Ежов — организовал за ним специальную слежку и что в результате разбирательством этого дела занимается лично И. В. Сталин.

*(Виталий Шенталинский. Донос на Сократа. М., 2001. Стр. 420—422)*

Сталин стал заниматься разбирательством этого дела, разумеется, не потому, что у него возник личный интерес к обстоятельствам «интимной связи Хаютиной-Ежовой с писателем Шолоховым». Хотя и такой интерес тоже мог иметь место: обвинение в «бытовом разложении» будущего фигуранта того или иного политического дела у Сталина очень часто предшествовало обвинениям политическим, а иногда оба эти обвинения сплетались и в один узел.

Но обвинения, которые собирались предъявить жене «железного наркома», с самого начала носили характер сугубо политический. И ее реплика «Я боюсь», записанная подслушивающим устройством во время ее любовного свидания с Шолоховым, отнюдь не означала, что она боится разоблачения этой — или какой-нибудь другой ее любовной связи.

Сцена, которую Ежов устроил жене в присутствии З. Гликиной, была не сценой ревности. И его вопрос «Ты с Шолоховым жила?» тоже был продиктован не оскорбленными чувствами обманутого мужа, а совсем другими опасениями и страхами.

Любовные связи жены не больно волновали Ежова. Прекрасно зная механизм создания всех тогдашних политиче-

ских дел, будучи даже одним из создателей этого механизма, он опасался, — и эти его опасения вскоре подтвердились, — что любовные связи Евгении будут рассматриваться как шпионские или — еще того хуже! — террористические. И разоблачение этих ее связей с теми, кого Сталин захочет объявить врагами народа, угрожает не только ей, но и ему тоже. Может быть, даже ему в первую очередь.

Именно поэтому, а не из-за ее супружеских измен, он решил с Евгенией развестись.

Об этом своем решении он сообщил ей 18 сентября.

Услышав об этом, Евгения пришла в отчаяние. Хорошо зная, в каком мире она живет, она прекрасно понимала, что развод с мужем-наркомом означает не просто крах всего ее семейного благополучия и потерю ее высокого социального статуса. Если муж решил с ней развестись, значит, она обречена. И спасти ее теперь может только один человек. Вернее, не спасти, а — помиловать. Потому что только от него одного зависит решение ее судьбы.

На следующий же день — 19 сентября 1938 года — она пишет Сталину:

- ▶ Вчера Николай Иванович сказал мне, что мы должны развестись. Из того, что он меня долго расспрашивал о моих встречах с разными знакомыми, я поняла, что его вчерашнее решение вызвано не чисто личными причинами, то есть не охлаждением ко мне или любовью к другой женщине. Я почувствовала, что это решение вызвано какими-то политическими соображениями, подозрениями в отношении меня.

*(Никита Петров, Марк Янсен. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008. Стр. 175)*

Далее она заверяла вождя, что знать не знает и ведать не ведает, чем вызваны эти подозрения, ведь она всегда была «боевым другом и товарищем» своего мужа. И более всего ее угнетает, что эти подозрения «в отношении нее» бросают тень на него.

Сталин на это ее письмо не ответил.

А положение ее с каждым днем становилось все более угрожающим. Шли аресты людей из ближайшего ее окружения. Именно в это время был арестован один из бывших ее любовников Семен Урицкий, который на первых же допросах дал показания, разоблачающие его бывшую любовницу в преступных связях, — в частности, в любовной связи с И. Бабелем.

Последним знаком приближающегося конца стал арест обеих «Зин» — уже известной нам Зинаиды Гликиной и другой близкой подруги Евгении Зинаиды Кориман, в то время работавшей техническим редактором журнала «СССР на стройке».

В отчаянии Евгения снова обращается к Сталину:

► Умоляю Вас, товарищ Сталин, прочесть это письмо. Я все время не решалась Вам написать, но более нет сил. Меня лечат профессора, но какой толк из этого, если меня сжигает мысль о Вашем недоверии ко мне. Клянусь Вам моей старухой матерью, которую я люблю, Наташей, всем самым дорогим мне и близким, что я до последних двух лет ни с одним врагом народа, которых я встречала, никогда ни одного слова о политике не произносила, а в последние 2 года, как все честные советские люди ругала всю эту мерзостную банду...

Я не могу задерживать Ваше внимание, поручите кому-нибудь из товарищей поговорить со мной. Я фактами из моей жизни докажу мое отношение к врагам народа, тогда еще не разоблаченным.

Товарищ Сталин, дорогой, любимый, да, да, пусть я опорочена, оклеветана, но Вы для меня и дорогой и любимый, как для всех людей, которым Вы верите. Пусть у меня отнимут свободу, жизнь, я все это приму, но вот права любить Вас я не отдам, как это сделает каждый, кто любит страну и партию. Я клянусь Вам еще раз людьми, жизнью, счастьем близких и дорогих мне людей, что я никогда ничего не делала такого, что политически могло бы меня опорочить. В личной жизни были ошибки, о которых я могла бы Вам расска-

зять... Но это уж личное. Как мне невыносимо тяжело, товарищ Сталин, какие врачи могут вылечить эти вздернутые нервы от многих лет бессонницы, этот воспаленный мозг, эту глубочайшую душевную боль, от которой не знаешь, куда бежать. А умереть не имею права. Вот и живу только мыслью о том, что я честна перед страной и Вами.

У меня ощущение живого трупа. Что делать?..  
Простите, я не могла больше молчать.

Е. Ежова.

*(Там же. Стр. 352—353)*

Но и на это, совсем уже отчаянное, можно даже сказать, истерическое ее письмо Сталин тоже не ответил.

Письмо это было отправлено из санатория имени Воровского — небольшой лечебницы на окраине Москвы для пациентов, страдающих нервными расстройствами, куда ее поместил Ежов. Точная дата его отправления неизвестна. Известно только (по регистрационному штампу), что получено оно было 17 ноября. А 19-го Е.С. Хаютина-Ежова в результате передозировки номинала впала в бессознательное состояние и через два дня умерла.

Ежову на следствии в числе многих других обвинений было предъявлено и обвинение в том, что он будто бы отравил свою жену. Но в этом он если и повинен, то не прямо, а — косвенно.

Приятель Ежова В.К. Константинов — тоже арестованный и впоследствии расстрелянный — на допросе показал, что Ежов, получив от Евгении из больницы письмо, послал ей снотворное. Потом он взял какую-то безделушку (статуэтку гнома) и велел горничной отнести ее Евгении: это был условный знак, что она должна отравиться.

Когда Константинов — позже — спросил у Ежова, почему Евгения покончила с собой, тот ответил:

— Мне думаешь легко было расставаться с Женькой! Хорошая она была баба, а вот пришлось принести ее в жертву, потому что себя надо спасать.

А после похорон (на которых он не соизволил присутст-

зовать) на тот же вопрос, заданный ему кем-то из близких, ответил так:

— Женя хорошо сделала, что отравилась, а то бы ей хуже было.

В этом можно не сомневаться. По сравнению с тем, что ожидало Евгению в застенках Лубянки, смерть ее была легкой. Попадись она туда живой, заставили бы признаться во всех смертных грехах, включая подготовку «покушения на товарища Сталина».

Обвинили же в этом ее «подельника» Бабеля.

► ИЗ ДОПРОСА И.Э. БАБЕЛЯ  
НА ЗАСЕДАНИИ ТРОЙКИ,  
ПРИГОВОРИВШЕЙ ЕГО  
К РАССТРЕЛУ

— У вас были связи с Ежовым?

— С Ежовым никаких террористических разговоров у меня не было.

— Вы показали на следствии о том, что на Кавказе готовилось покушение на товарища Сталина.

— Я слышал такой разговор в Союзе писателей...

— Ну, а подготовка убийства Сталина и Ворошилова шайкой Косарева и Ежовой?

— Это тоже выдумка. С Ежовой я встречался, она была редактором журнала «СССР на стройке», а я там работал.

*(Виталий Шенталинский. Рабы свободы.  
В литературных архивах КГБ.  
М., 1995. Стр. 78)*

Никакие «отпирательства» Бабелю не помогли. Все эти обвинения фигурируют и в приговоре:

- Именем Союза Советских Социалистических Республик... Военная коллегия... рассмотрела дело... Установлено... будучи связанным с женой врага народа Ежова... был вовлечен в заговорщицкую террористическую организацию... Признав Бабеля виновным... при-



говорила... Подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу... Приговор окончательный... в исполнение приводится немедленно...

*(Там же)*

В начале 60-х я познакомился с Надеждой Августиновой Надеждиной (Адольфи) — вдовой поэта Николая Деметьева (того самого, о котором у Багрицкого: «Коля, не волнуйтесь, дайте мне...»), и она рассказала мне о таком своем разговоре с Бабелем.

— Двух вещей мне никогда не дано будет испытать, — сказал будто бы Бабель. — Я никогда не буду рожать, и мне никогда не придется сидеть в тюрьме.

— Не зарекайтесь, Исаак Эммануилович! — возразила она. — Вспомните пословицу: «От тюрьмы да от сумы...»

— Ну что вы, — отмахнулся Бабель. — При моих-то связях...

Среди друзей Бабель числился мудрецом. Но, как гласит другая русская пословица, на всякого мудреца довольно простоты. То, что Исаак Эммануилович считал самой надежной броней, самой прочно гарантией своей неуязвимости, — оказалось причиной его гибели.

Если бы Сталин по каким-то своим соображениям счел это целесообразным, то же могло бы случиться и с Шолоховым.

\* \* \*

Да, Михаилу Александровичу Шолохову было что вспомнить о зловещей реальности времен «культы личности», когда партия разрешила, — а кое-кому так даже и **поручила**, — об этом вспоминать.

Как же он воспользовался этой вдруг обретенной возможностью?

Впервые информация о том, что Шолохов осмелился переступить «рубеж запретной зоны» и прикоснуться к теме сталинских репрессий, просочилась в печать 1 марта 1960 года. В этот день в «Правде» появилась статья Шолохова, из которой советские читатели узнали, что американский журна-

лист Гаррисон Солсбери сообщил, что в первоначальной версии второй книги «Поднятой целины» главные ее герои — Давыдов и Нагульнов — погибали в сталинских застенках. Шолохов эти «гнусные измышления» американского «борзописца» решительно опроверг. (Статья его называлась: «О маленьком мальчике Гарри и большом мистере Солсбери».)

Опровержению этому, конечно, грош цена. В то время такие опровержения на страницах советской печати шли потоком. Несколько лет спустя сам Хрущев публично опроверг «ложные слухи» о том, что он будто бы наговорил на магнитофонную пленку и передал на запад свои мемуары. Впоследствии, как мы знаем, выяснилось, что слух этот вовсе не был ложным.

Существовал ли на самом деле вариант финала «Поднятой целины», о котором сообщал Солсбери, сказать трудно. Полностью исключить эту версию нельзя. Говорили, что прототипом шолоховского Давыдова был Луговой — тот самый секретарь райкома, друг Шолохова, который был арестован, подвергался всевозможным издевательствам и пыткам, а потом, благодаря заступничеству Шолохова, освобожден и возвращен на прежнюю свою должность. Драматическую его судьбу Шолохов вроде вполне мог бы примерять к судьбе своего Давыдова. Но это — маловероятно. В то время такая храбрая задумка вряд ли бы его осенила. Хоть и прогремел уже на весь мир знаменитый закрытый доклад Хрущева, но тут же был дан отбой, продиктованный отчасти событиями в Венгрии, отчасти внутренним ропотом. Нет, в 60-м году это было еще невозможно. «Рано еще, сыро еще...»

Иное дело — после XXII съезда, ознаменовавшего новый виток разоблачения «культы личности и его последствий». В особенности после того как волею Хрущева на литературный небосклон взошла новая ослепительная звезда: Солженицын. Тут Шолохова вполне — и даже с большим основанием, чем тогда, в случае с Гроссманом, — могло задеть за живое: «Почему какой-то никому не ведомый Солженицын? Почему **не мне** поручили это важное государственное дело?»

Вводить этот мотив в «Поднятую целину» было уже поздно (вторая книга этого романа была завершена в 1959 году), и он решил ввести его в свой новый роман — «Они сражались за Родину».

Но и тут — опоздал. Совсем другие поручения уже давала в это время своим подручным (так назвал советских писателей Хрущев) наша славная партия.

- ▶ Совсем недавно в московских литературных кругах распространилась удивительная новость: журнал «Октябрь» не будет печатать новые главы из романа Шолохова. Эти главы были уже набраны, но теперь набор рассыпан. Шолохов передал свои главы в «Правду», но ее главный редактор Зимянин также отказался печатать шолоховский роман...

Узнав об этом, Шолохов прилетел в Москву и позвонил Л.И. Брежневу. Шолохов попросил помощника Брежнева передать последнему о своем желании встретиться с ним и поговорить о судьбе романа. Однако через несколько дней помощник Брежнева сообщил Шолохову, что Л.И. Брежнев не может принять Шолохова ввиду занятости ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

Рассказывают, что Шолохов разразился после этого телефонного звонка самой грубой руганью. «Меня сам Сталин всегда принимал», — кричал он...

Досталось от Шолохова и руководителям Союза писателей. «Меня, — заявил он им, — больше не приглашайте на свои съезды и совещания». М.А. Шолохов уехал сейчас к себе в Вешенское, оставив литературные верхи в большой растерянности. Говорят даже, что Шолохов в специальном заявлении, которое обсуждалось при закрытых дверях, отказался от всех постов в руководстве Союза писателей...

В то же время среди литераторов обсуждается вопрос: если журнал «Октябрь» отказался напечатать Шолохова, то примет ли его новые главы такое ориги-

нальное издательство, как «самиздат»? Большинство склоняется все же к тому, что не примет.

(М.А. Шолохов *попадает в опалу?* «Вестник РСХД». Париж. № 91—92. Цит. по: Зеев Бар-Селла. *Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов»*. М., 2005. Стр. 269—270)

Слухи эти, как мы теперь знаем, возникли не на пустом месте. И даже ироническое предположение, что отрывок или даже главы из нового шолоховского романа могут попасть в «самиздат», тоже было не совсем беспочвенным. Такой опасностью Шолохов в то время не раз грозил Брежневу в посылаемых ему раздраженных телеграммах:

- ▶ ... Мне вовсе не улыбается, если где-нибудь в «Нью-Йорк Таймс» или в какой-нибудь другой влиятельной газете появится сообщение, что вот, мол, уже и Шолохова не печатают, а потом нагородят вокруг этого еще с три короба.

(М.А. Шолохов. *Собр. соч. в 9 томах*. М., 2001—2002. Т. 9. Стр. 229)

- ▶ Третий месяц вопрос с печатанием отрывка остается нерешенным.

Надо с этим кончать... По Москве (да и не только по Москве) ходят упорные слухи, что уже и «Шолохова не печатают»... Мне не хватает только одного: чтобы в «Нью-Йорк Таймс» или какой-нибудь другой газете на Западе появилась жесткая статья, в которой я был бы причислен к лику находящихся в оппозиции писателей и стоял бы в одной шеренге с Солженицыным и пр.

(Там же. Стр. 230)

Речь шла о так называемой «лагерной» главе романа «Они сражались за Родину», которая в первоначальном своем виде в печати так никогда и не появилась. О том, что составляло содержание этой главы, рассказывает дочь Шолохова Светлана Михайловна:

- ▶ В первом варианте этой главы (к сожалению, не сохранившемся)... действие разворачивалось в лагере... Картины лагерной жизни, издевательства, допросов и т.д.

(С.М. Шолохова. *К истории ненаписанного романа. Шолохов на изломе истории. Статьи и исследования. М.: Наследие, 1995. Стр. 166—167*)

Существовал ли на самом деле этот почему-то не сохранившийся вариант, или это еще один из множества шолоховских мифов, — бог весть! Но прежде, чем начать это выяснять или хоть обратиться к тому, что от этой «лагерной» главы в романе Шолохова все-таки уцелело, надо напомнить теперь уже основательно подзабытую историю появления так называемой «лагерной темы» на страницах официальной советской печати.

Рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», словно бы взрывом водородной бомбы снесший «рубеж запретной зоны», был напечатан с соизволения, — можно даже сказать, по прямому указанию Хрущева. И был момент, когда эта «лагерная тема» стала вдруг не то что дозволенной, разрешенной, а чуть ли даже не приоритетной.

6 ноября 1962 года (сигнальный экземпляр ноябрьского номера «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича» пришел из типографии только 16-го) в «Известиях» вдруг неожиданно появился рассказ Шелеста «Самородок» — о репрессированных коммунистах. Главный редактор «Известий» А.И. Аджубей — зять Хрущева — и по семейному, и по официальному своему положению знавший о предстоящем появлении солженицынской повести, решил перебежать до рогу Твардовскому.

- ▶ Сделано это, как можно полагать, чтобы сбить предстоящий успех Солженицына в журнале и, пользуясь дозволением опасной темы, самим забежать с лагерной сенсацией вперед.

М. Хитров рассказывает, как А.И. Аджубей волновался, разыскивая чего-нибудь на «лагерную тему».

Вспомнили, что был какой-то рассказ, присланный из Читы, который давно бросили в редакционную корзину. Текста не нашли, но связались с автором и срочно принимали рассказ по телефону из Читы — и тут же в номер.

*(Владимир Лакишин. «Новый мир» во времена Хрущева. Дневник и попутное. 1953—1964. М., 1991. Стр. 82. Запись датирована 12 ноября 1962 года)*

Громовой успех солженицынской повести этот пустяковый рассказ, конечно, не сбил. Да и не мог он его сбить: ведь триумф Солженицына был **официальный**. Хвалебные и даже восторженные статьи об этой маленькой повести тотчас же появились во всех периодических изданиях страны. На проходивший через несколько дней после выхода в свет 11-го номера «Нового мира» пленум ЦК были затребованы 1200 номеров журнала. Хрущев представлял Солженицына соратникам как образец настоящего партийного писателя. Суслов тряс ему руку и так оболостил наивного Александра Исаевича своей лаской, что тот сразу же для себя решил, что в трудную минуту (а он понимал, что такая непременно наступит) за защитой обратится именно к нему.

Критиковать солженицынскую повесть и даже отозваться о ней с прохладцей в тот момент в печати никто не посмел. (А если бы даже и посмел, — кто бы ему это позволил!). Но самые верные «подручные партии» (Хрущев их называл «автоматчиками») звериным своим чутьем сразу почуяли, какой угрозой для них чреват триумф этой маленькой повести. А один из них — самый оголтелый — даже ухитрился высказаться на эту тему в печати.

30 ноября 1962 года, — еще не высохла типографская краска журнальных и газетных страниц, на которых прославлялась высочайше одобренная солженицынская повесть, — в «Известиях» появилось стихотворение Н. Грибачева «Метеорит»:

Отнюдь не многотонной глыбой,  
Но на сто верст раскинув хвост,  
Он из глубин вселенских прибыл,  
Затмил на миг сиянье звезд.

Ударил светом в телескопы,  
Явил стремительность и пыл  
И по газетам всей Европы  
Почтительно отмечен был.

Когда ж без предисловий вычурных  
Вкатилось утро на порог,  
Он стал обычной и привычной  
Пыльцой в пыли земных дорог.

Лишь астроном в таблицах сводных,  
Спеша к семье под выходной,  
Его среди других подобных  
Отметил строчкою одной.

Смысл этой стихотворной сатиры, в сущности, тот же, который несла в себе возмущенная шолоховская реплика «Вы с ума сошли! Кому вы поручили!...». Ну, и, конечно, злорадная уверенность, что блеск этой «незаконной кометы в кругу расчисленных светил» вскоре обернется пшиком и на небосклон взойдут настоящие, законные «порученцы».

Вслед за Грибачевым, слегка осмелев, Солженицына стали пощипывать и другие «автоматчики», недовольные тем, что освещение этой важной темы было поручено не тому, кому следовало бы его поручить. Да и выполнено было «поручение», как тут же выяснилось, совсем не так, как надо было его выполнять.

А как надо было, — четко и ясно сформулировала «Литературная газета», подводя итог пока еще довольно робким, без площадной брани, нападка на «Один день Ивана Денисовича»:

- Речь идет о совершенно закономерном желании многих читателей и критиков, глубоко убежденных в том, что вера в Коммунистическую партию, в Советскую власть никогда не покидала советских людей, прочесть книгу, герой которой даже в самых жестоких условиях бериевского террора всем своим существом активно утверждал эту веру, — желании тем более оправданном, что в жизни таких примеров было немало.

(«Литературная газета». От редакции.  
14 июня 1964 года)

Тут же нашлось немало желающих выполнить это поручение, **как надо**. Вряд ли стоит вспоминать и называть тут их имена. Но одного все-таки назову, потому что он в тот момент стал фигурой, я бы сказал, знаковой. На короткое время имя его даже стало нарицательным.

Это был некий Б. Дьяков, повесть которого «Пережитое» появилась в мартовском номере 1963 года на страницах ленинградской «Звезды». На первых же страницах этой повести новичку, попавшему в лагерь, опытный, старый зэк объясняет, что тут сидят не только жертвы беззакония, но и «настоящие мерзавцы», с которыми им, честным коммунистам, предстоит вести постоянную борьбу.

Когда прошел слух (докатившийся даже до заграницы, до эмигрантского, парижского «Вестника РСХД»), что главы романа Шолохова «Они сражались за Родину» не хотят печатать, потому что в них каким-то боком затронута «лагерная тема», никто не сомневался, что если она там и затронута, то не «по-солженицынски», а — «по-дьяковски»:

- ▶ А.Т. (Александр Трифонович Твардовский. — Б.С.) рассказал о том, что он узнал от Воронкова. Оказывается, Шолохов послал в «Правду» свои лагерные главы. По недавней статье Анатолия Калинина в «Известиях» о Шолохове нетрудно представить ведущую мысль этих глав: несмотря ни на что, мы и там оставались коммунистами, мы и там верили в партию, коммунизм и т.п. Фальшь и вранье. Дьяковщина, а может быть, задьяковщина. Но «Правда» не рискнула напечатать Шолохова и послала главы наверх, а там и такие главы такого писателя забодали. Шолохов написал письмо Брежневу и попросил у него приема и получил отказ. В гневе он уехал из Москвы, заявив, что его ноги больше здесь не будут.

*(Алексей Кондратович. Новомирский дневник. 1967—1970. М., 1991. Стр. 335. Запись датирована 20 декабря 1968 года)*

Но что же все-таки на самом деле было в этих так называемых «лагерных» шолоховских главах?



- ▶ С.М. Туркова обнародовала доцензурную машинопись «глав» ...Вот несколько цитат:

«Что делают с людьми — уму непостижимо! Продержат в тюрьме или в лагерях четыре года, а потом: «Извините нас, вышла ошибка. Подпишитесь, что не будете разглашать и трепаться, как мы с вами обращались, и катитесь к чертовой матери!» Так ведь эти суки делают? Точно так! Я сам в тридцать седьмом отсидел под следствием восемь месяцев, знаю до тонкости ихние обычаи и повадки!»...

«Ведь больше тысячи людей сидят и ждут правду!»

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован.*

*Проект «Писатель Шолохов». М., 2005.*

*Стр. 273—274)*

«Восемь месяцев отсидел под следствием!.. Больше тысячи людей сидят и ждут правду!»

Но даже и эта насквозь лживая шолоховская «дьяковщина и задьяковщина» в то время уже не могла появиться на страницах советской печати. Новым властителям, сменившим Хрущева, «лагерная тема» даже и в таком подлолицемерном варианте, от которого за версту несло смрадным духом оправдания и защиты сталинской лагерной системы, была уже не нужна. Они предпочитали совсем ее не касаться.

Но с именем Шолохова (хоть они сами же его и раздули) им приходилось считаться. И в конце концов какие-то жалкие отрывки той «лагерной» главы на страницах «Правды» все-таки появились:

- ▶ Шолохов закончил публикацию глав в «Правде». Стыд немислимый. Сидящий в тюрьме генерал, явный мерзавец, в сегодняшнем отрывке прямо говорит: «Если несколько человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать», в том смысле, что много и виновных, врагов.

И снова описание рыбной ловли...

*(Алексей Кондратович. Новомирский дневник.*

*1967—1970. М., 1991. Стр. 393. Запись датирована*

*15 марта 1969 г.)*

Комизм этого растянувшегося на несколько правдинских номеров описания рыбной ловли был стократ усилен еще тем обстоятельством, что «Правда» тут с поразительной тупостью повторила идиотизм другой своей публикации, над которой за сорок лет до этой шолоховской влась поглумился в своем «Гамбургском счете» Виктор Шкловский.

В тот раз речь шла о «Климе Самгине» А.М. Горького, главы из которого тоже печатались в «Правде»:

- ▶ Ловят сома из номера в номер. Изменяет Фын-Юй-Сян, происходят события в Ухане, в Вене революция, а сом все еще ловится. Это совершенно комично по несовпадению темпа романа с темпом газеты, в которой он печатается. Не может же быть, чтобы человек, прочитавший о событиях в Вене или о каких-нибудь других событиях такого характера, спросил: «Ну, а что сом? Поймали его или нет?» Сом не поймали, и вообще оказалось, что мужики обманывают интеллигенцию.

Я не против самого романа Горького... Но, если возражать против сома по существу, то можно сказать, что сом этот произошел по прямой линии от рыси из «Крестьян» Бальзака. Там так же ловили несуществующую рысь, и так же ею крестьяне обманывали интеллигенцию. Таким образом, сом, плавающий на страницах газеты, — сом цитатный.

*(Виктор Шкловский. Гамбургский счет.  
Л., 1928. Стр. 39)*

У Шолохова ловят не сома, а сазана. Но этот шолоховский сазан тоже цитатный. Это установил дотошный Зеев Бар-Селла, сопоставив подробное описание рыбной ловли в романе «Они сражались за Родину» с таким же подробным описанием рыбной ловли в «Тихом Доне».

Но это уже — совсем другой сюжет.

А этот мой печальный сюжет я хочу завершить такой маленькой притчей.

Однажды в гостях у Вячеслава Шишкова Константин Александрович Федин сказал мечтательно:

— Если бы мне дали *carte blanche*, какой замечательный роман я бы написал о нашей сегодняшней жизни!

— Нет, Костинька, — сказал Вячеслав Яковлевич. — Не написал бы.

— Это почему же? — возмутился Федин.

— Потому что настоящие-то писатели, — сказал Шишков, — карт-бланшу не просят.

Василий Гроссман, Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Юрий Домбровский, Лидия Чуковская, Евгения Гинзбург не просили «карт-бланшу» и не ждали, чтобы им **поручили** написать «Жизнь и судьбу», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей», «Софью Петровну», «Крутой маршрут». Все эти книги были написаны потому, что их авторы просто не могли не написать о том, что им **выпало пережить**.

## Сюжет четвертый

### «ЗАЧЕМ НАСАЖДАТЬ АНТИСЕМИТИЗМ?»

Эту реплику, в то время в его устах довольно неожиданную, кинул Сталин. Дело было в 1950 году при обсуждении книг, выдвинутых на соискание Сталинской премии.

Когда приступили к обсуждению романа Ореста Мальцева «Югославская трагедия», Сталин вдруг (а может быть, и не вдруг) увидал, что вслед за фамилией автора этого романа «Мальцев» в скобках стоит другая — «Ровинский».

Год назад по стране, как тайфун, пронеслась развязанная Сталиным идеологическая кампания по разоблачению «безродных космополитов». Это была лавина газетных статей, фельетонов, заметок, «фирменным знаком» которых было раскрытие скобок. Что ни день, в очередной такой газетной информации появлялся какой-нибудь новый разоблаченный космополит, а чтобы никто не сомневался, что подразумевается под этим изящным эвфемизмом, в тех случаях, когда это нельзя было сделать упоминанием отчества затаившегося врага (скажем, «Моисеевич», «Аронович» или «Соломонович»), то есть когда и имя, и отчество, и фамилия у него были

русские, на помощь разоблачителям приходили спасительные скобки. То есть после фамилии, которую разоблачаемый «космополит» уже носил лет сорок, так что даже и сам уже не помнил свою прежнюю, ставилась она, так сказать, «девичья» его фамилия. Например. Вот так: «Каверин (Зильбер)». Или : «Яковлев (Хольцман)». (Оба эти примера не выдуманы мною, а взяты из тогдашних газет.)

Первой жертвой той кампании, а стало быть, первым литератором, псевдоним которого публично раскрыли обозначенной в скобках его «девичьей» фамилией, стал мой добрый знакомый, а впоследствии даже и приятель Нёма Мельников, за что на весь остаток его жизни прилепилось к нему прозвище — «Отец русской скобки».

Статья называлась: «Гнилая повесть «Редакция».

Запомнилась мне из нее только одна фраза:

- ▶ Н. Мельников (Мельман) смотрит на советского человека откуда-то сзади, с болезненным любопытством копаясь во всем отсталом и старом.

На эту тему в Литературном институте, где я учился, была даже сочинена (Владленом Бахновым) песенка:

Агранович нынче — Травин,  
И обычай наш таков:  
Если Мандель стал Коржавин,  
Значит Мельман — Мельников!

Тут, пожалуй, не до смеха:  
Не узнает сына мать!  
И старик Шолом-Алейхем  
Хочет Шолоховым стать!

Распевая ее, мы весело смеялись. (Видимо, это было еще до кампании 49-го года). Но в 49-м стало уж точно не до смеха.

Все, конечно, тогда знали, что «космополит» — это значит «еврей». Ни у кого на этот счет не было ни малейших сомнений. Но сказать об этом вслух все-таки никто не решался: уж больно плохо это сочеталось с принципами пролетарского интернационализма.

Впрочем, для многих активистов той кампании никакой

проблемы тут не было, и они высказывались на эту тему со всей, так сказать, большевистской откровенностью:

- ▶ Украинского литературоведа, человека аристократического немецко-русского происхождения Евгения Георгиевича Адельгейма исключали в 1949 году из партии. Ветерана войны и редактора журнала «Вітчизна» обвиняли в космополитизме, антипатриотизме и прочих «измах», пришили ему все те ярлыки, которые в ту пору навешивались литераторам с «подозрительными», пахнущими иностранщиной фамилиями...

Окончательное решение об исключении из партии должно было вынести Бюро ЦК Компартии Украины. Решение, естественно, было predetermined. В ходе краткого и предельно ясного «обсуждения» кто-то не удержался и сказал: «Адельгейм скрыл, что он — еврей!»

— Что я должен был ответить, — вспоминал спустя четверть века Евгений Георгиевич, — неужели опровергать приписываемое мне еврейство? Очень уж это противно было... Я молчал.

В это время попросил слово для справки человек, представлявший на заседании МГБ.

— Хочу уточнить, товарищи, — сказал он, — последнее обвинение неверно. Предки Адельгейма покоятся на лютеранской территории Байкова кладбища. Мы проверяли, они нееврейского происхождения.

(А. Жовтис. *Непридуманнные анекдоты*. М., 1995. Стр. 84—85)

В свете всех этих событий, о которых Сталин знал, быть может, и не так детально, но был, разумеется, хорошо осведомлен (являясь в некотором смысле даже их автором), нет ничего удивительного в том, что, прочитав в представленной ему «объективке» двойную фамилию — Мальцев (Ровинский), — он решил, что в скобках обозначена подлинная, то есть еврейская, фамилия автора «Югославской трагедии». И к изумлению всех присутствующих, разразился по этому поводу таким монологом:

- — Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии. Зачем это делается? Зачем пишется двойная фамилия? Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии. Человек имеет право писать под тем псевдонимом, который он себе избрал. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Кому это надо? Человека надо писать под той фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?

Вот и вся моя запись по этому поводу. Добавлю, что Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал, с оттенком непримиримости к происшедшему...

*(Константин Симонов. Истории тяжелая вода.  
М., 2005. Стр. 445)*

Что касается Мальцева-Ровинского, тут Сталин, как говорится, попал пальцем в небо. На самом деле обозначенная в скобках еврейская фамилия «Ровинский» вовсе не была настоящей фамилией Ореста Мальцева. Дело обстояло ровно наоборот. Он был чистокровный русак, уроженец деревни Скародная Курской области. Но, обладая роскошным именем «Орест», на книжке своих рассказов, которая, к слову сказать, тоже называлась красиво, по-иностранному — «Венгерская рапсодия», — вместо затрапезной своей родовой фамилии поставил не в пример более звучную: Ровинский. Скорее всего, он даже не предполагал, что она еврейская. А если и предполагал, в те времена это еще не было криминалом.

Симонов, как он рассказывает об этом в своих записках, тут же счел нужным это недоразумение Сталину разъяснить.

Но как отреагировал Сталин на это его разъяснение, не сообщает. Скорее всего, никак не реагировал. Разве только поморщился: он не любил, когда обнаруживалось, что он чего-то не знает. Предполагалось, что вождь знает ВСЁ.

Итак, на разъяснение Симонова Сталин внимания не обратил. Но скорее всего совсем не потому, что ему не хотелось признаваться в своей невольной ошибке. На самом деле ему было совершенно все равно, какая из двух фамилий автора «Югославской трагедии» была настоящая. Двойная фамилия литератора, на которой он споткнулся, — это был только удачно подвернувшийся повод для того, чтобы высказать некое основополагающее суждение, которое завтра — он в этом не сомневался, — будут повторять все, кому надлежало об этом узнать.

Завершив свой рассказ о другом таком же спектакле, разыгранном Сталиным на том заседании Политбюро и переходя к рассказу об этом, Симонов замечает, что —

- ▶ ...способность в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть, даже великим актером была присуща Сталину и составляла неотъемлемую часть его политического дарования.

*(Там же)*

Но для чего Сталину понадобился этот очередной спектакль, он объяснить не мог.

Исчерпывающего объяснения не могу предложить и я. Напомню лишь хронологию событий, которая уже сама по себе кое-что нам об этом скажет.

Заседание Политбюро, о котором идет речь, проходило, как вспоминает об этом Симонов, в середине 1952 года.

13 марта того же года было принято секретное постановление начать следствие по делу всех лиц еврейского происхождения, чьи имена назывались на допросах по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). (Идет подготовка новых крупномасштабных черносотенных процессов. Первыми жертвами определены Илья Эренбург и Василий Гроссман.) 8 мая открылось закрытое судебное заседание Военной



коллегии Верховного суда СССР по делу ЕАК; среди обвиняемых в шпионаже и антисоветской деятельности — писатели П. Маркиш, А. Квитко, Д. Бергельсон, Д. Гофштейн, актер В. Зускин, академик А. Штерн и другие.

18 июля всем подсудимым по делу ЕАК (кроме биолога А.С. Штерн, которой Сталин, скорее всего, приписывал знание секретов долголетия) выносится смертный приговор... 12 августа приговор приводится в исполнение...

Осенью 1952 года в Москве проводятся аресты крупнейших профессоров-медиков, преимущественно евреев. Начинается практическая подготовка процесса «врачей-отравителей»...

13 января 1953 года объявлено об аресте «врачей-отравителей». На местах готовятся списки для депортации еврейского населения...

В свете этих событий — и многих других, стоящих в том же ряду и образующих основу наверняка уже продуманного Сталиным сценария грядущего исторического действия, — брошенная им реплика «К чему насаждать антисемитизм?» и весь этот произнесенный им на том заседании монолог бросает достаточно яркий свет на природу сталинского коварства, составляющую, — воспользуюсь тут выражением Симонова, — «неотъемлемую часть его политического дарования».

Но при чем, спрашивается, тут Шолохов? К нему вроде все это никакого отношения не имеет?

На самом деле имеет. И похоже, что даже не косвенное, а самое прямое.

\* \* \*

27 февраля 1951 года в «Комсомольской правде» появилась статья Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?».

Поскольку имя этого литератора теперь уже прочно (и, по правде говоря, справедливо) забыто, хочу сказать о нем несколько слов. А заодно (не могу удержаться!) и рассказать один связанный с ним эпизод тогдашнего красочного нашего литературного быта.

Автор «Белой березы» Михаил Бубеннов был самым злостным антисемитом в Союзе писателей. А может быть, даже и во всем СССР. Сравниться с ним в этом качестве мог разве только другой корифей тогдашней официальной литературы — Анатолий Суров, — тоже давно уже и прочно забытый.

И вот однажды они подрались.

Уж не знаю, что они там не поделили. Может быть, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, может быть, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или, еще того либеральнее, — в Израиль.

Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель — стулья, табуретки...

Случилось это в старом писательском доме на Лаврушинском — том самом, который громила булгаковская Маргарита. Увлеченные борьбой супостаты выкатились из этого облицованного мрамором дома прямо на улицу, на потеху большой толпы народа, образовавшей традиционную очередь в Третьяковку. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад.

Сражение это вдохновило Эммануила Казакевича. Вдохновило настолько, что он описал его не прозой, как это можно было бы ожидать, а стихами. И даже облек эту свою поэтическую зарисовку в чеканную форму сонета:

Суровый Суров не любил евреев,  
Он к ним враждой старинною пылал,  
За что его не жаловал Фадеев  
И А. Сурков не очень одобрял.

Когда же Суров, мрак души развеяв,  
На них кидаться чуть поменьше стал,  
М. Бубеннов, насилие содеяв,  
Его старинной мебелью долбал.

Певец березы в жопу драматурга  
Со злобой, словно в сердце Эренбурга,  
Столовое вонзает серебро.

Но, следуя традициям привычным,  
Лишь как конфликт хорошего с отличным  
Решает это дело партбюро.

В сочинении этого сонета, во всяком случае, в доведении его до совершенства принял участие сам Твардовский. Именно он, как рассказывали свидетели творческого процесса, подарил Казакевичу замечательную (едва ли не лучшую во всем стихотворении) строчку «Столовое вонзает се ребро».

Так вот, этот самый Бубеннов — человек в то время весьма влиятельный — предпринял новую атаку на литераторов, скрывающих под псевдонимами истинные свои фамилии.

Дойдя до верхней точки, идеологическая кампания 49-го года постепенно сошла на нет и, в конце концов, окончательно угасла. И вот теперь, спустя два года Михаил Бубеннов решил ее, так сказать, реанимировать. Во всяком случае — кинуть пробный камень.

Статьека его была написана довольно ловко. Я бы даже сказал — осторожно. Для начала автор слегка поглумился над украинским поэтом Е. Бондаренко, который почему-то решил взять себе псевдоним «Бандуренко», изменив в своей фамилии всего только две буквы. Потом — над чувашским поэтом Н. Васянка, который выбрал себе псевдоним «Шаланка». Но это все — для отвода глаз. Точнее — для соблюдения некоторых приличий. Всерьез отводить глаза читателя от истинной мишени, в которую было направлено жало его сатиры, Бубеннов не собирался. Быстро покончив с Бондаренко-Бандуренко и Васянкой-Шаланкой, он приступил к главной теме своего повествования:

- ▶ Белорусская поэтесса Ю. Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет. А какая необходимость заставила ее сделать это?.. Молодой московский поэт Лидес стал Л. Лиходеевым, С. Файнберг — С. Северцевым, Н. Рамбах — Н. Гребневым.

Выбор «мальчиков для битья» о намерениях автора говорил достаточно ясно. Но для полной ясности он решил все-таки «под занавес» поставить все точки над *i*:

- ▶ Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами охотно пользовались космополиты в литературе.

*(Михаил Бубеннов. Нужны ли сейчас литературные псевдонимы? «Комсомольская правда», 27 февраля 1951 года)*

Слово «космополиты» не оставляло уже никаких сомнений насчет того, куда метит автор и ради чего написана эта его статейка. И зловеший смысл ее всеми был понят однозначно: как сигнал к новому погрому.

Не вполне ясно было только, ЧТО (или КТО) за этим стоит — отдельные, хоть и влиятельные, но все же никем не уполномоченные энтузиасты или — как и в тот раз — все наше великое и могущественное государство, то есть сам Хозяин.

Волнующая пауза эта длилась ровно неделю. Шестого марта в «Литературной газете» появился ответ. Он был краток. И назывался скромно: «Об одной заметке».

И малый размер реплики, и скромное ее название призваны были подчеркнуть, что выстрелу «Комсомольской правды» не стоит придавать особого значения. Автор реплики, в сущности, даже не полемизировал с Бубенновым. Он просто высек его. Как мальчишку:

- ▶ ...Если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобратся самому в существе вопроса. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя.

*(Константин Симонов. Об одной заметке. «Литературная газета», 6 марта 1951 года)*

Трудно было найти формулу более обидную, чем эта. Ведь эпитет «молодой» определялся тогда отнюдь не возрастом писателя и даже не его литературным стажем, а прежде всего — и даже исключительно — местом, которое этот писатель занимал в негласной, но хорошо всем известной таблице о рангах.

Зачислив Бубеннова в ряды «молодых талантливых писателей», ему как бы указали его место. Прямо дали понять, что он слишком много — не по чину! — на себя берет. И сделал это не кто-нибудь, а второй (после Фадеева) человек в ареопаге литературного начальства — секретарь СП и главный редактор «Литературной газеты», любимец Сталина — К.М. Симонов.

Но те, кто стоял за Бубенновым, тоже были не лыком шиты. И сдаваться они не собирались. К полю боя быстро была подтянута тяжелая артиллерия, и ответный выстрел последовал почти мгновенно. Через два дня, восьмого марта, в той же «Комсомольской правде» появился ответ Симонову, подписанный Михаилом Шолоховым. Я говорю «подписанный», поскольку не уверен, что ответ самого Шолохова, живущего, как известно, в Вешенской, можно было организовать так быстро.

Биограф Шолохова В. Осипов уверяет, что статейку Шолохов написал сам. Но при этом не скрывает, что не по своей инициативе, а по просьбе (даже подсказке) Бубеннова — вернее, тех, кто за ним стоял:

- ▶ Утром Бубеннов и тот работник «Комсомолки», Федор Шахмагонов, который готовил статью, напросились на встречу с Шолоховым (он оказался в Москве). Пожаловались, что Бубеннову не дают ответить Симонову, ибо был звонок из ЦК: запретили продолжение дискуссии...

Он сел к столу и вскоре передал газетчику небольшую статейку «С опущенным забралом». Она была напечатана.

(*Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005. Стр. 394*)

Не исключаю, что Шолохов в это время действительно был в Москве и, в отличие от «Тихого Дона», это свое произведение сочинил сам. Но тем, кто подвинул его на эту акцию, нужно было, конечно, не «золотое перо» Шолохова, не божественный его художественный дар. Им нужно было его имя. Именем этим они хотели сказать Симонову — и не только ему, а всем читателям «Литературной газеты»:

— Наш козырь старше!

Старшинство, подтвержденное той же негласной табелью о рангах, давало Шолохову право разговаривать с Симоновым свысока, с той же мерой снисходительности, с какой тот обращался к Бубеннову. Но он эту меру даже слегка превысил, что проявилось уже в самом названии его статьи.

Называлась она, как уже было сказано, — «С опущенным забралом...».

Читателю, вникавшему только в тексты всех этих полемических заметок и не шибко понимающему глубинный их подтекст (если, конечно, допустить, что такие читатели тогда были), — такому читателю было, конечно, невдомек, о каком «опущенном забрале» тут может идти речь. Весь тон и стиль реплики Симонова говорил о том, что выступает он как раз **под открытым забралом**. Всячески подчеркивая это обстоятельство, он даже — не без некоторого кокетства — подписался под этой своей репликой так, как ни разу в жизни — ни до, ни после этого случая — больше не подписывался: «**Константин Симонов (Кирилл Михайлович Симонов)**».

Не совсем обычная эта подпись как бы говорила: «Вам нравится раскрывать скобки? Что ж, извольте! Вот он я, весь — как на ладони. Как видите, мне нечего скрывать. Я не Иосиф Соломонович, как Василий Гроссман. Я — Кирилл. А вот — тоже взял себе псевдоним, назвался Константином».

Но Шолохов имел в виду не текст, а всем и каждому понятный **подтекст** симоновской реплики. И весьма прозрачно на этот подтекст намекал:

- ▶ Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь... Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами. Он

опустил забрало и наглухо затянул на подбородке ремни. Потому и невнятна его речь, потому и не найдет она сочувственного отклика среди читателей.

Намек был не слишком тонок, но для полной ясности Шолохов, как и Бубеннов, решил сделать его поглубже. А поскольку слово «космополиты» было уже отыграно, он выбрал для этого другую, более изящную форму:

- ▶ ...Правильно сказано в статье Бубеннова и о том, что известное наличие свежее испеченных обладателей псевдонимов порождает в литературной среде безответственность и безнаказанность. Окололитературные деятели и «жучки», легко меняющие в год по пять псевдонимов и с такой же поразительной легкостью, в случае неудачи, меняющие профессию литератора на профессию скорняка или часовых дел мастера, наносят литературе огромный вред...

*(Михаил Шолохов. С опущенным забралом.  
«Комсомольская правда», 8 марта 1951 года).*

Понять, в кого метил Шолохов, упомянув о профессиях скорняка или часовых дел мастера, было нетрудно. Но эта его реплика никак меня не задела. А вот зловещий его вопрос «Кого защищает Симонов? Что он защищает?» тогда хлестнул меня как удар казачьей нагайки.

Конечно, фраза Шолохова так больно хлестнула меня не только своим смыслом и даже не только зловещей своей интонацией, но прежде всего и главным образом тем, что произнес (написал) ее именно Шолохов.

Не могу сказать, чтобы я так уж сильно чтил Шолохова.

«Тихий Дон» я любил и — при всем моем юношеском максимализме и нигилизме — ставил высоко. Позже, когда стало известно, что кто-то (кажется, Алексей Толстой) назвал этот роман явлением областной литературы, и возникла у нас (в узкой нашей среде) небольшая устная дискуссия на эту тему, я по этому поводу высказался так:

— Пока можно было думать, что революция принесла несчастье только казачеству, «Тихий Дон» воспринимался

как явление областной литературы. Когда стало ясно, что она оказалась несчастьем для всего русского — и не только русского — крестьянства, масштаб этого литературного явления стал иным. Потом, когда мы поняли, что она была несчастьем не только для крестьян, а для всего народонаселения нашей страны, роман Шолохова стал явлением большой русской литературы. Когда же все поймут, что русская революция была общемировой катастрофой, «Тихий Дон» станет литературным явлением мирового масштаба.

Но это было уже на заре шестидесятых. А тогда, в пятьдесят первом, я до таких юмористических высот не поднимался. И не только «Тихий Дон», но даже «Поднятую целину» ценил высоко. Огромное впечатление произвела на меня при первом чтении этого романа сцена раскулачивания Титка. Впервые понял (не до конца, конечно, только начал понимать), каким кровавым кошмаром была коллективизация.

Да, книги Шолохова я ценил. Но сам Шолохов никогда не был героем моего романа.

Однажды (году в сорок восьмом), держась, как обычно, за руки, шли мы с моей любимой по Тверской и остановились перед портретами писателей, выставленными в витрине книжного магазина — того, что напротив Моссовета. Он и сейчас еще существует, этот магазин, и в витринах его и сейчас можно увидеть портреты писателей. Но теперь это — совсем другие портреты: Высоцкий, Окуджава... А тогда это были — сплошь титулованные, увенчанные всеми мыслимыми и немыслимыми регалиями, члены ЦК (Фадеев), депутаты Верховного Совета (Эренбург)... На самом видном месте там красовался портрет автора (если уж совсем точно — того, кто считался автором) «Тихого Дона».

И вдруг моя спутница сказала:

— Какое ничтожество — Шолохов!

В первую секунду я был этим определением слегка шокирован. Хотел было уже даже что-то возразить. Но тут же понял, что она имеет в виду только внешнее, зрительное впечатление, что эта ее реакция вовсе не распространяется на писателя Шолохова. Это был очень поверхностный, чисто женский взгляд. Но ведь не зря же кем-то было сказано, что



после тридцати (а может, после сорока?) лет человек сам отвечает за свое лицо. И не зря автор «Портрета Дориана Грея» сказал, что только очень поверхностный, очень неглубокий человек может не доверять своему первому впечатлению. Он был прав: ведь первое наше впечатление определяет не разум (очень несовершенный, в сущности, инструмент), а весь наш организм, все таящиеся в нем древние, еще звериные инстинкты.

Обо все этом я тогда, конечно, не думал. Но у меня вдруг словно открылись глаза.

Довоенный — молодой, большелобый Шолохов — тоже не шибко был похож на великого писателя. Но ничтожеством, во всяком случае, не казался. А тут — невзрачное какое-то, мелкое личико, усишки... Я вдруг увидел: в самом деле — ничтожество.

Это впечатление подтвердилось и окончательно укрепилось позже, когда я увидал его вживе: это было несколько лет спустя, на совещании молодых писателей, он там выступал перед нами в маленьком, тесном зале, а я сидел совсем близко, в первом ряду. Вдобавок ко всему оказалось, что он — совсем небольшого росточка. Но главным, конечно, был не малый рост, а именно вот эта убийственная печать ничтожества, лежащая на его заурядном лице, на всем его невзрачном облике.

И тем не менее имя Шолохова под гнусной антисемитской статейкой меня ушибло. Ушибло именно своей весомостью. К носителю этого громкого имени я, как уже было сказано, не питал особого уважения. Но при всем при том я все еще находился внутри той системы ценностей, согласно которой это имя было козырным тузом. Другого такого козыря во всей той карточной колоде больше не было.

Кто же ответит Шолохову? И ответит ли кто-нибудь?

Статьейка Шолохова, как я уже говорил, появилась на страницах «Комсомольской правды» 8 марта. А ответ на нее был обнародован даже быстрее, чем на статью Бубеннова, — 10 марта, то есть через два дня. Под ним стояла подпись того же Симонова.

Ответ был написан в очень решительном тоне. Он, в сущ-

ности, завершал дискуссию, о чем автор объявлял с некоторой даже надменностью:

- ▶ Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя. Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если «Комсомольская правда» вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу.

*(Константин Симонов. Еще об одной заметке.  
«Литературная газета»,  
10 марта 1951 года)*

Прочитав это, я был почти уверен, что на том дело не кончится, что Симонову непременно кто-нибудь возразит. Быть может, даже тот же Шолохов.

Но ответа не последовало. Последнее слово так и осталось за Симоновым.

Этот симоновский поступок казался тогда отчаянно смелым. И не только казался, но и был. Но эта его смелость не имела ничего общего с тем **безумством храбрых**, которое в годы своей романтической юности воспел Горький.

Не могу утверждать, что, прежде чем ринуться в драку с Шолоховым, Симонов проводил какие-то консультации **наверху**. Но что-то он, безусловно, знал.

В записанном им монологе, который Сталин произнес год спустя, обращает на себя внимание такая фраза:

- ▶ В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии.

Стало быть, точка зрения Сталина на сей счет была Симонову известна. Но поди угадай, как он отреагирует **сейчас**. Непредсказуемость сталинских реакций тоже составляла «неотъемлемую часть его политического дарования».

О том, что все эти мысли Симонову в голову приходили, свидетельствует письмо, с которым он в те дни обратился в верховную инстанцию:

- ▶ ЦК ВКП(б)  
Товарищу Маленкову Г.М.

В «Комсомольской правде» за подписью Михаила Шолохова напечатана беспрецедентная по грубости, проявленной в отношении меня, статья «С опущенным забралом»... Прошу Вас, Георгий Максимилианович, принять меры по этому вопросу, возникновение которого я меньше всего связываю с личностью Шолохова, хотя его подпись, к сожалению, и стоит под статьей.

Выражая уверенность, что Шолохов эту статью не писал, а только подписал, Симонов вроде давал понять, что своим ответом он замахнулся не на Шолохова, а на тех, кто прячется за его спиной, прикрывается его именем. Но сути дела эта дипломатическая оговорка, конечно, не меняла. А если и меняла, то не к оправданию Шолохова, а к еще большему его осуждению и унижению.

Зная, что в «Комсомольскую правду» был звонок из ЦК, запрещающий продолжение дискуссии (а он не мог об этом не знать), Симонов, конечно, мог бы держаться увереннее и этого осторожного письма Маленкову не писать. Но ведь и те, кто стоял тогда за спиной Бубеннова и Шолохова, тоже что-то знали, на что-то рассчитывали. Они знали, что истерическая газетная кампания по раскрытию скобок 1949 года не могла начаться, а тем более принять такой разнузданный и массовый характер без прямого одобрения Сталина.

Потом, правда, он сам же ее и прекратил.

Это был его стиль, его почерк. Он любил, дождавшись, когда лавина замысленного и развязанного им какого-нибудь очередного кровавого безумия дойдет до высшей точки, выступить, скажем, со статьей «Головокружение от успехов». И весь кошмар происходившего будет отнесен за счет так называемых **перегибов** («Всегда у нас так, — будут почесывать в затылках честные глуповцы, — пошли дурака Богу молиться...»). А ОН — как всегда — в белом смокинге.

Но отмена «перегибов» ни в коем случае не указывала на отступление от «генеральной линии». А какова она, эта генеральная линия, Бубеннов с Шолоховым знали отлично.

Так-то оно так... Но Сталин не терпел самодеятельности. Только ОН мог решать, когда должна начаться, а когда закончиться та или иная идеологическая кампания. Но не только этим объяснялась раздраженная реакция Сталина на выступление Шолохова против псевдонимов. (Я не оговорился: его сердитый монолог на заседании Политбюро в марте 1952 года наверняка метил и в прошлогоднюю статейку Шолохова.)

Наряду с актерством, составлявшим «существенную часть его политического дарования», в этом его монологе была и толика живого, искреннего чувства:

- ▶ Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии... Человека надо писать под той фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?

Приведя эти сталинские слова, Симонов замечает, что все это —

- ▶ ...Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал, с оттенком непримиримости к происшедшему.

Как тут не вспомнить, что у Сталина был здесь и свой, особый, личный повод для раздражения.

Вспомним эпизод с Садридином Айни, у которого он спросил, как его настоящая фамилия, после чего протянул ему руку и представился: «Будем знакомы. Джугашвили».

Он никогда не забывал, а время от времени не стеснялся даже прямо напомнить, что и сам тоже в свое время взял себе псевдоним и именно этим псевдонимом, а не настоящей своей фамилией вошел в историю.

\* \* \*

Биограф Шолохова В. Осипов изложение — весьма, надо сказать, произвольное — этого эпизода шолоховской биографии начинает с рассказа о выступлении Михаила Александровича перед студентами Московского высшего технического училища:

- ▶ Пришла записка: «Как вы относитесь к псевдонимам?» Зал встрепенулся. Пахнуло жареным. То был явный отклик на совсем недавний, в этом месяце, обмен раскаленными статьями между Шолоховым и любимцем молодежи красавцем Константином Симоновым, поэтом и прозаиком, а также автором пьес, идущих в лучших театрах. От этого обмена мнениями шли искры по всей Москве. Еще бы: заметили антисемитизм у Шолохова!

*(Валентин Осипов. Шолохов. М., 2005.  
Стр. 393—394)*

Это надо понимать так, что слухи о шолоховском антисемитизме на самом деле не имеют под собой никакой почвы.

Но сам Шолохов своего антисемитизма не скрывал.

Эренбург, вспоминая в своих мемуарах о предвоенных временах, бросил такую фразу: «Антисемитизма тогда еще стыдились».

Шолохов же и тогда не только не стыдился своего антисемитизма, но даже им бравировал:

- ▶ ...В очередной мой приезд — звонок. Приглашают на какое-то заседание, не то борцов за мир, не то комитета антифашистов.

Прихожу и вижу во главе стола — Илью Григорьевича, а вокруг него пятнадцать евреев. А я в военной, не очень свежей форме, с пистолетом, в сапогах. И вижу, сидит ближе всех ко мне, качается в качалке американский еврей Леонид Первомайский, протягивает мне качающуюся руку и говорит: «Здравствуйте, Михаил Александрович!» Я как заору на него: «Встань, сволочь!» Он вскочил — и за спину Ильи Григорьевича.

А тот суровым голосом обращается ко мне: «Надеюсь, мы находимся в интеллигентном обществе, и я прошу вас, Михаил Александрович...» — «А идите вы все... Борцы за мир! Я же один среди вас русский». Хлопнул дверью и ушел.

(В. Чивилихин. *Надежда на будущее. Избранные страницы дневников и писем. «Молодая гвардия». 1991. № 10. Стр. 180—181*)

Каша невообразимая. Он — в военной и к тому же не свежей форме, с пистолетом, стало быть, прямо с фронта. А «борцы за мир» — это ведь совсем из другой, уже послевоенной эпохи... И украинский поэт Леонид Первомайский, в военные годы майор Красной Армии, почему-то назван американским евреем... Евреем, положим, он действительно был, но отнюдь не американским.

Эту историю Шолохов, видимо, рассказывал не однажды и разным людям, потому что существует она в нескольких записях. Некоторые детали и подробности в этих разных записях меняются. Но антисемитская подоплека рассказа во всех его вариантах остается неизменной:

- ▶ Михаил Александрович рассказывал, что с передовой Западного фронта он приехал в редакцию «Красной звезды», отдал подготовленный материал и вдруг получил приглашение в ВОКС...

«Я, — говорил он, — еще подумал: идти или не идти? Одежда — гимнастерка, галифе помятые, подмасленные, фронтовые. Да и обещал возвратиться поскорее. Но воксовцы звонили, настаивали: «Важная встреча! Нам присылают американскую помощь!» Ладно! Пришел в Дом ВОКСа. Все толпятся вокруг кресла, на котором восседает невзрачный, похожий на скворца человек. Подбегают и ведут к креслу. Представляют по-английски:

— Это наш всемирно известный русский писатель Шолохов!

А он, сидя в кресле, небрежно протягивает мне руку. Разобрало. Я как крикну:

— Встать!

Он вскочил, обе руки протянул. Оказалось, в прошлом из Одессы. Нагайку казачью помнит. Пригласили за стол. Провозгласили тост. Гость на меня с опаской косится, а Илья Эренбург ему рассказывает: в Калуге его поразило, что в центре города повесили еврейскую девочку. Я даже по столу пристукнул:

— А тебя, Илья, не поразило, что во рвах на улицах тысячи русских убитых лежали?!

С досады хлопнул полстакана водки и вышел. Кто-то за мной побежал, кто-то просил возвратиться, но я отмахнулся.

*(В. Ганичев. Они сражались за Родину: К 100-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Южный Урал.*

*2003. 23 мая. Цит. по кн.: Зеев Бар-Селла.*

*Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М., 2005. Стр. 231—232)*

В этом варианте шолоховского рассказа о том, как он поставил на место самодовольного американского еврея, особенно замечательна фраза: «Оказалось, в прошлом из Одессы. Нагайку казачью помнит».

Казачью нагайку хорошо помнили участники тех революционных студенческих митингов и демонстраций, которых вызванные на помощь полиции казаки разгоняли своими нагайками. И советский писатель, к тому же еще и коммунист, даже член ЦК Коммунистической партии Михаил Шолохов, казалось бы, должен быть на стороне тех, КОГО лупили этими нагайками, а не тех, КТО лупил. Как же повернулся у него язык вдруг вслух признаться в нежной любви к той казачьей нагайке — и даже отождествить себя с теми, кто этой нагайкой в свое время орудовал? Нечаянно — спяну — проговорился, что ли? Но, проговорившись, наверно, должен был испугаться, пожалеть об этой выдавшей его истинную суть случайной проговорке?

Нет, ни пугаться этой своей невольной откровенности,

ни жалеть о ней ему в то время уже было не надо. И сошло это ему с рук не потому, что он был Шолохов и ему было позволено больше, чем кому-нибудь другому.

В то самое время, когда он так любовно помянул эту казачью нагайку, другой — не столь именитый, но в то время достаточно уже известный советский литератор, и тоже, конечно, член коммунистической партии, — не только воспел эту казачью нагайку в стихах, но даже сумел эти свои стихи напечатать.

Как выразился в свое время классик, «стихи на случай сохранились; я их имею; вот они»:

Принимай-ка, мой дружок,  
Сей ремянный батожок...  
Если надо — он задушит,  
Если надо — засечет...

.....  
Бей, ремянный батожок,  
По сусалам, по глазам,  
По зубам и по усам,  
Бей по морде деревянной!  
Что попортишь — не беда,  
Бей, родимый, бей, ремянный,  
Заплетенный в три ряда...  
Мой товарищ, мой дружок,  
Бей, ремянный батожок!

Стихи эти сочинил Анатолий Софронов. И это было, если угодно, его политическое — и человеческое — кредо. Он не только воспел этот «ремянный батожок», но и нещадно лупил им «безродных космополитов» — и «по сусалам, и по глазам», и по прочим чувствительным местам.

То, что этот софроновский стишок так крепко срифмовался с шолоховской ностальгической репликой о казачьей нагайке, которую хорошо запомнил американский (в прошлом одесский) еврей, могло, конечно, быть случайным совпадением. Но простым, а тем более случайным совпадением это не было:

- ▶ Личная дружба связывала таких могучих представителей советской журналистики — редакторов журналов «Огонек», «Молодая гвардия» и «Советский Союз»:



Софронова, Котенко, Грибачева. Они образовали могучий клан... Для этого круга советской интеллигенции, сплоченного вокруг трех вышеназванных журналов, кумиром и защитником был Михаил Александрович Шолохов. К нему постоянно звонили в станицу Вешенскую за советами и помощью, а когда он приезжал в Москву, его встречали, как в свое время студенты Льва Толстого.

*(И. Глазунов. Россия распятая. Цит. по книге: Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953—1985. М., 2003. Стр. 340)*

Автор процитированной фундаментальной монографии об истории русского варианта национал-социализма, едва только заходит у него речь о лидерах и «отцах-основателях» этого «движения», всякий раз подчеркивает особую роль Шолохова:

- ▶ Признание заслуг И. Сталина по строительству советской империи и в борьбе с евреями было свойственно почти всем русским националистам, и найти в этом существенную разницу между, скажем, В. Ганичевым и А. Софроновым сложно. У круга авторов «Молодой гвардии» были постоянные деловые контакты с характеризуемыми как «сталинисты» литераторами. М. Шолохов и вовсе был их духовным «гуру» на всем протяжении 1960—1970-х годов, и именно из этих людей вышло значительное число «шолоховедов» (Ф. Кузнецов, В.О. Осипов, П. Палиевский, В. Петелин).

*(Там же. Стр. 159)*

Заслуги Сталина по «борьбе с евреями», конечно, были им особенно по душе. Но и заслуги его «по строительству советской империи» они тоже ценили — не могли не ценить! — хотя некоторые из них предпочли бы видеть эту империю другой, без обветшавших декораций «пролетарского интернационализма», а может быть, даже и без Сталина.

Но Шолохов держался на этот счет другого мнения.

Однажды к нему в Вешенскую приехал на поклон то ли партийный, то ли тогда еще цекамольский функционер — Ю. Мелентьев:

- ▶ ...Мелентьев взял на встречу с М. Шолоховым и «известного поэта», который прочел антисталинский стих, где рифмовались слова «горе» и «Гори». М. Шолохов негативно отреагировал на это, сказав, что ему в этом вопросе ясно еще не все: «где больше горя, позади или впереди, вот что хорошо бы нам понять».

*(Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953—1985. М., 2003. Стр. 262)*

Эта шолоховская реплика так многозначительна, что я даже подумывал, не приберечь ли мне ее для того, чтобы заключить ею всю эту, порядком уже затянувшуюся главу, отенив ее четверостишием из давней (ранней, юношеской) поэмы Н. Коржавина:

С чего б я это? Ни с чего.  
Но просто мне отметить нужно,  
Что мой герой и вождь его  
Все эти годы жили дружно.

У Коржавина это сказано о другом герое и других временах. Но и мне тоже — именно «под занавес» — важно было бы отметить, что и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, когда Сталин давно уже был мертв, «мой герой и вождь его», за вычетом некоторых мелких и несущественных разногласий, «все эти годы жили дружно».

\* \* \*

А вот с новыми вождями — или, как тогда уже стали говорить, руководителями — отношения у него сперва не заладились:

- ▶ Я в Загородной больнице Кремля... По соседству со мной палата, где лежит Федор Гладков... Сейчас зашел к нему и ужаснулся. Болезнь искромсала его до неузна-

ваемости. Последний раз я видел его на Втором съезде писателей, когда он выступил против Шолохова. По его словам, с этого времени и началась его болезнь. Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нем. Но позвонил Суслов: «Вы должны дать Шолохову отпор». Он выступил, страшно волнуясь. На следующее утро ему позвонили: «Вашим выступлением вполне удовлетворены, вы должны провести последнее заседание...»

— И сказать речь?

— Непременно.

Это его и доконало... После его выступления против Шолохова он стал получать десятки писем — ругательных и угрожающих: «Ты против Шолохова, значит, ты — за жидов, и мы тебя уничтожим!»

Говоря это, Гладков весь дрожит и по щекам у него текут слезы — и кажется, что он в предсмертной прощании.

*(Корней Чуковский. Собр. соч. Том 13. Дневник. 1936—1969. М., 2003. Стр. 262)*

Суслов позвонил Гладкову и потребовал, чтобы тот «дал отпор» Шолохову, разумеется, не с тем, чтобы Федор Васильевич заступился «за жидов». У тогдашнего партийного руководства к выступлению Шолохова на Втором писательском съезде были совсем другие и, по правде сказать, более серьезные претензии.

Я на том съезде был, шолоховское выступление слышал и хорошо его помню. Вернее, помню, какое впечатление оно тогда на меня произвело, и мог бы сейчас этим своим впечатлением поделиться. Но лучше сошлюсь на впечатление менее пристрастного, — во всяком случае, более доброжелательно настроенного по отношению к Шолохову свидетеля:

- ▶ На вечернем заседании выступил Шолохов. Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого неболь-

шого человека, вслушиваюсь в его южнорусский говор с «h» вместо «г» — и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, — и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да попросту говоря — лучший. Никакая история Гражданской войны не объяснит ее так, как «Тихий Дон». Не было с «Анны Карениной» такого описания страстной любви, как между Аксиной и Григорием Мелеховым. Не люблю влезать не в свою область. Постараюсь повторить то же самое, но точнее. Всю трагичность Гражданской войны показал Шолохов. Без его книги — так никто и не понял бы ее. И «Анну Каренину» упомянул я напрасно. Страсть здесь еще страшнее. И грубее. Ну, словом, бросаю чужую область, — смотрю я на «Тихий Дон» как на чудо. И никак не видно было сегодня ни по внешности, ни поговору, ни по тому, что он говорил, — что это вот и есть автор «Тихого Дона».

*(Евгений Шварц. Позвонки минувших дней. М., 2008. Стр. 447—448)*

Из этой дневниковой записи ясно видно, что никаких сомнений насчет того, кто был автором «Тихого Дона», у Шварца не было. То ли давно уже поутихшие слухи о шолоховском плагиате до него не дошли, то ли он им не поверил, но совершенно очевидно, что именно Михаила Александровича Шолохова он искренно считал единственным автором этой великой книги. И вот, видимо, впервые увидав его, так сказать, вживе, — ужаснулся.

Кричащее, я бы даже сказал, вопиющее несоответствие облика этого невзрачного, серого человека издавна живущему в его сознании и не потускневшему за годы впечатления от его гениального создания не просто его поразило: оно его потрясло.

О том, какое впечатление произвел на него Шолохов (и тем, как он выглядел, и тем, КАК, а главное, ЧТО он говорил с трибуны съезда), Евгений Львович сказал, в сущности,

то же самое, что ляпнула моя молодая жена, увидав портрет Шолохова в витрине книжного магазина. Разве только выразил это в более, так сказать, парламентских выражениях.

Но что же все-таки Шолохов сказал тогда с этой трибуны? Чем так возмутил высокое начальство, что оно даже сочло необходимым немедленно дать понять «городу и миру», что оно не только не разделяет этих высказываний главного писателя страны, но даже решительно их осуждает?

Начал он свою речь весьма эффектно:

- ▶ Старая народная поговорка, давно родившаяся там, где бурлят стремительные горные потоки, говорит: «Только мелкие реки шумливы».

Отшумели собрания областных и краевых писательских организаций, собрания, наполненные острой полемикой, задорными речами. Республиканские съезды прошли на более сдержанном уровне, а вот наш Всесоюзный съезд, подобно огромной реке, вобравшей в себя множество больших и малых притоков, протекает прямо-таки величаво, но, на мой взгляд, в нехорошем спокойствии.

Бесстрастны лица докладчиков, академически строги доклады, тщательно отполированы выступления большинства наших писателей...

*(Второй Всесоюзный съезд советских писателей  
15—26 декабря 1954 года. Стенографический  
отчет. М., 1956. Стр. 295)*

Реплику «Мелкие реки шумливы!» сидящие в зале писатели приняли на свой счет и, конечно, обиделись.

Обиду эту — уже после того как стало ясно, что речь Шолохова не «установочная», и ее не только можно, но даже нужно критиковать, — выразил в своем выступлении Мирзо Турсун-заде:

- ▶ Да, мы согласны с пословицей Шолохова о том, что мелкие горные реки шумят сильнее, чем большие, великие. Но есть и другая народная истина — что из многочисленных ручейков и родников берут свое нача-

ло великие реки. Наша страна богата и ручьями, и полноводными реками. На всех этих реках советский народ построил электростанции. Они разной величины, но ведь каждая из них по своей мощи освещает какой-то участок огромной советской земли. (*Аплодисменты.*)

Этой витиеватой восточной формулой мудрый таджик, конечно, выразил не только свою личную задетость, но и мнение высокого начальства, которое тоже хотело, чтобы все были довольны и никто не был обижен.

Но главной причиной начальственного недовольства речью Шолохова было все-таки другое.

Об этом можно судить по тому, как было обставлено инспирированное Сусловым выступление Ф. Гладкова, но главное — по тому, ЧТО и КАК он в этом своем выступлении сказал:

► **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.** Слово для реплики предоставляется Федору Васильевичу Гладкову.

**Ф.В. ГЛАДКОВ.** Дорогие товарищи!

Как ни тяжело мне было подниматься на эту трибуну, но долгом своей совести, своим партийным долгом я считаю, что необходимо выступить против непартийной по духу и, я бы сказал, мелкотравчатой речи товарища Шолохова. (*Аплодисменты.*)

Наш съезд — большое событие в жизни нашей литературной организации, и не только в нашей литературной жизни, но и большое событие в жизни нашего народа. Наша партия оказывает огромное внимание нашему съезду. Поэтому каждый из выступающих с этой трибуны обязан не забывать, что на нем лежит большая ответственность за каждое сказанное слово. (*Аплодисменты.*)

Такому писателю, как М.А. Шолохов, пользующемуся огромным авторитетом, не следовало ронять своего достоинства. Критиковать можно и нужно, резко, может быть, критиковать, но критика критике рознь. Принципиальная критика ничего не имеет общего с

зубоскальством и балаганным зоильством. (*Аплодисменты.*)

За двумя-тремя верными мыслями, высказанными т. Шолоховым в форме плоского остроумия, следовали совсем неприличные выпады против отдельных лиц, весьма похожие на сплетню и на сведение личных счетов. (*Аплодисменты.*)

Товарищи, я по опыту прошлого, по пережитым испытаниям былого считаю, что это очень пахнет групповщиной.

*(Второй Всесоюзный съезд советских писателей  
15—26 декабря 1954 года. Стенографический  
отчет. Стр. 374)*

Вот оно — главное, ключевое слово.

Все сидящие в зале «по опыту прошлого» и «пережитым испытаниям» хорошо знали, что на партийном жаргоне означает любое слово с окончанием «-щина», — а тем более такое злое слово, не раз поминавшееся на ихних партийных собраниях: **групповщина**. (Пренебрежительный суффикс «-щина» не смягчал, скорее даже ужесточал тяжесть обвинения.)

Речь, в сущности, шла о том, кому отныне будет поручено представлять советскую литературу, а главное — этой литературой руководить.

Фадеев от этого руководства был в то время практически уже отстранен. И те, кто стоял за спиной Шолохова, пуще всего боялись, что его заменит «либерал» Симонов. И поэтому-то, а не только потому, что у него к Симонову был свой, собственный счет, именно Симонова Шолохов выбрал главной мишенью для своих нападок.

Начал он вроде издалека:

- ▶ ...Мы обязаны ходатайствовать перед правительством о коренном пересмотре системы присуждения премий работникам искусства и литературы, потому что так дальше продолжаться не может.

При такой системе, если она сохранится, мы сами

разучимся отличать золото от меди, а окончательно дезориентированный читатель будет настораживаться, увидев книгу очередного лауреата.

Высокая награда не может даваться легко и даваться походя, иначе она перестанет быть высокой.

Подумайте, что будет через десять-пятнадцать лет с некоторыми талантливыми представителями искусства и литературы, если утвердится существующее положение о премировании. Женщину, которую мы все любим за ее яркий и светлый талант (я говорю об Алле Константиновне Тарасовой), станут водить под руки, так как самостоятельно она ходить не сможет, будучи обремененной непомерной тяжестью медалей, которые она получила и еще получит. Я уже не говорю о т. Симонове. Он смело будет давать на-гора по одной пьесе, одной поэме, по одному роману, не считая таких мелочей, как стихи, очерки и т. д. Стало быть, три медали в год ему обеспечены. Сейчас Симонов ходит по залам съезда бравою походкой молодого хозяина литературы, а через пятнадцать лет его, как неумеренно вкусившего славы, будут не водить, а возить в коляске.

*(Там же. Стр. 302)*

Тарасову он тут приплел для камуфляжа. Совсем не Тарасова его тут интересовала. Только для того, чтобы атаковать Симонова, только ради этого был им затеян весь этот разговор о неправильной системе присуждения государственных премий.

Всем присутствующим тут сразу стало ясно, что этим мелким укусом Шолохов не ограничится, что предстоит большая драка. И, как сказано в одном знаменитом рассказе Зощенко, «тут же подтвердилась драка»:

- ▶ Со свойственной скромностью и по неписаной обязанности докладчик К. Симонов умолчал о себе. Разрешите мне восполнить этот пробел.

Здесь не время и не место заниматься разбором от-



дельных его произведений. Хочется сказать о всей совокупности его творчества.

К. Симонов отнюдь не новобранец в литературе, а достаточно пожилой и опытный боец. Написал он тоже достаточно много и во всех жанрах, которые свойственны литературе. Но когда я перечитываю его произведения, меня не покидает ощущение того, что писал он, стремясь к одному — лишь бы вытянуть на четверку, а то и на тройку с плюсом. А ведь он, бесспорно, талантливый писатель, и его нежелание (о неумении тут не может быть и речи) отдать произведению всего себя, целиком, заставляет тревожно задумываться. Чему могут научиться у Симонова молодые писатели? Разве только скорописи да совершенно необязательному для писателя умению дипломатического маневрирования. Для большого писателя этих способностей, прямо скажу, маловато. Особую тревогу вызывает его последняя книга: с виду все гладко, все на месте, а дочитаешь до конца — и создается такое впечатление, как будто тебя, голодного, пригласили на званый обед и угостили тюрей, и то не досыта. И досадно тебе, и голодно, и в душе проклинаешь скрягу хозяина.

Не первый год пишет т. Симонов. Пора уже ему оглянуться на пройденный им писательский путь и подумать о том, что наступит час, когда найдется некий мудрец и зрячий мальчик, который, указывая на т. Симонова, скажет: «А король-то голый!» Неохота нам, Константин Михайлович, будет смотреть на твою наготу, а поэтому, не обижаясь, прими наш дружеский совет: одевайся поскорее поплотнее, да одежду выбери такую, чтобы ей век износ не было!

*(Там же. Стр. 303—304)*

Даже нападая на старого, главного своего врага Эренбурга, Шолохов не забыл про Симонова, связав их «одной веревочкой», хотя в тот момент для этого вроде не было уж совсем никаких оснований.

Атаковал он повесть Эренбурга «Оттепель». Начальство этой повестью тоже было недовольно (рассчитываясь в ней с минувшей эпохой, Эренбург слишком поторопился, забежал вперед), и это начальственное недовольство только что в развернутой статье высказал именно Симонов.

Эренбург и Симонов, таким образом, в тот момент были вроде как антагонистами. Но Шолохов дал понять, что все это — «на публику». Что на самом деле Симонов своей статьей только «прикрыл» Эренбурга, защитил его, спас от настоящей, стократ более суровой критики:

- ▶ По старой дружбе не могу не помянуть здесь И.Г. Эренбурга. Не подумайте, что я снова собираюсь спорить по творческим вопросам, упаси бог! Хорошо спорить с тем, кто яростно обороняется, а он на малейшее критическое замечание обижается и заявляет, что ему после критики не хочется писать... Вот, в частности, он обиделся на Симонова за его статью об «Оттепели». Зря обиделся, потому что, не вырвись Симонов вперед со своей статьей, другой критик по-иному сказал бы об «Оттепели». Симонов, по сути, спас Эренбурга от резкой критики. И все-таки Эренбург обижается...

Но нам особенно беспокоиться по поводу перепалки между Эренбургом и Симоновым не стоит. Они как-нибудь помирятся.

*(Там же. Стр. 304)*

Начальству своими нападкамии на эренбурговскую «Оттепель» Шолохов вроде должен был угодить. Но вышло иначе:

- ▶ ...Тут не раз говорили о «литературной обойме» — о пятерке или десятке ведущих писателей. А не пора ли, товарищи, нам рачительно, как бывалым солдатам, пересмотреть свой боеприпас? Кому не известно, что от длительного пребывания в обойме, особенно в дождь или слякотную погоду, именуемую оттепелью, патроны в обойме окисляются и ржавеют? Так вот, не пора ли нам освободить обойму от залежавшихся там

патронов, а на смену им вставить новые патроны, по-свежее? Слов нет, не стоит выбрасывать старые патроны, они еще пригодятся, но необходимо по-хозяйски протереть их щелочью, а если надо, то и песчанкой.

(Там же. Стр. 300)

Тут слово «оттепель» явилось уже в совсем ином контексте. И хотел он того или нет, уже не в Эренбурга попал этот выпущенный им заряд, а совсем в другую мишень.

Символика эренбургской повести была прозрачна.

Несколько лет спустя, в 1958 году Эренбург написал короткое стихотворение, в котором опять обратился к той же символике, несколько ее углубив и расширив:

Да разве могут дети юга,  
Где розы плещут в декабре,  
Где не разыщешь слова «вьюга»  
Ни в памяти, ни в словаре...  
Да разве им хоть так, хоть вкратце,  
Хоть на минуту, хоть во сне,  
Хоть ненароком догадаться,  
Что значит думать о весне,  
Что значит в мартовские стужи,  
Когда отчаянье берет,  
Все ждать и ждать, как неуклюже  
Зашевелится грузный лед.  
А мы такие зимы знали,  
Вжились в такие холода,  
Что даже не было печали,  
Но только гордость и беда.  
И в крепкой, ледяной обиде,  
Сухой пургой ослеплены,  
Мы видели, уже не видя,  
Глаза зеленые весны.

Тут все сказано уже совсем впрямую, без обиняков.

Но и повестью 1953 года Эренбург достаточно внятно сказал, что перемены (лучше сказать — надежды на перемены), которые принесла смерть Сталина и приход к власти новых (не таких уж новых, но все-таки других) людей, — представляются ему благодетельными.

Шолохов, назвав оттепель **слякотью**, так же ясно дал понять, что ему эти перемены представляются крайне нежела-

тельными, даже отвратительными. И он всей душой надеется, что это ненадолго. Сталинская зима непременно вернется. А чтобы без особых потерь пережить эту временную «слякотную погоду», надо вручить руководство литературой надежным, проверенным людям.

И он, не стесняясь, прямо говорит, кому именно:

- ▶ Когда мы, думая о будущем, говорим о типе политического руководителя нашего Союза, то большинство из нас с благодарностью и грустью вспоминает т. Поликарпова: с благодарностью — потому, что он много сделал для здорового развития литературы прежде всего уже одним тем, что стоял вне всяких групп, а с грустью — потому, что при нашем молчаливом попустительстве его все же сумели «скушать» те из литературных молодчиков и молодиц, которые, к нашему несчастью, удачно соединяют в себе две профессии — писателя и интригана.

*(Там же. Стр. 299)*

Имя этого партийного функционера однажды уже мелькнуло на страницах этой книги: я приводил обращенную к нему легендарную реплику Сталина: «В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем предоставить Вам других писателей. Хотите работать, работайте с этими».

Приводя эту сталинскую реплику, я, по правде говоря, не был вполне уверен, что она была действительно произнесена.

Но оказалось, что была. И даже в еще более впечатляющем варианте:

- ▶ У нас был такой секретарь Союза писателей Поликарпов, крупный партийный работник. Журнал «Знамя» опубликовал повесть Веры Пановой «Спутники», и по этому поводу Поликарпов устроил этому журналу разгром... Сталин прочитал «Спутники» и вызвал Поликарпова: «В чем там дело?» Тот говорит: «Товарищ Сталин, вы знаете, повесть эта такая и сякая, но вообще очень сейчас настроения нехорошие среди писателей, пишут вещи идейно не выдержанные, с троцкист-

ским душком, трудно с ними работать очень...» На что Сталин ему говорит: «Вот что: других писателей для товарища Поликарпова у меня нет. А другого Поликарпова для писателей мы найдем». Мне эту историю сам Поликарпов рассказал.

*(Соломон Волков. Разговор с Анатолием Рыбаковым. «Дружба народов», 2000, № 1)*

Достоверность этой истории подтверждается не только репликой А.Н. Рыбакова («Мне эту историю сам Поликарпов рассказал»). Оказывается, той своей знаменитой репликой Сталин не ограничился, а тут же свою угрозу и исполнил: нашел для писателей «другого Поликарпова», а этого отправил в отставку, сопроводив свое решение еще одной, совсем уже убийственной для Поликарпова репликой:

- ...У Поликарпова были конфликты с Вишневским как с редактором «Знамени» по поводу публикаций некоторых вещей, в частности, кажется, «Ленинградского дневника» Веры Инбер и «Спутников» Пановой... Именно после этого Сталин произнес роковую для Поликарпова фразу о том, чтобы не подпускать его в дальнейшем к работе с интеллигенцией, — сказано это было еще грубее, — и потом, после этой фразы до смерти Сталина, все попытки... вернуть его к деятельности Союза писателей не приносили успеха.

*(Константин Симонов. Истории тяжелая вода. М., 2005. Стр. 260)*

И вот этого человека, которого сам Сталин отстранил от руководства литературным процессом, — и не как-нибудь, а с «волчьим билетом», наказав впредь близко не подпускать его к работе с интеллигенцией, — именно его Шолохов вспоминает «с благодарностью и грустью» и слезно умоляет опять вернуть его на роль того фельдфебеля, которого сулил дать интеллигентам «в Вольтеры» грибоедовский полковник Скалозуб:

Он в три шеренги вас построит,  
А пикнете — так мигом успокоит!

Вот он — истинный смысл всего этого шолоховского, как выразился Ф.В. Гладков, «балаганного зоильства».

Не гнилым либералам типа Симонова должно быть **поручено** руководить литературой, а бóльшим сталинцам, чем сам Сталин, — Поликарпову, Кочетову, Грибачеву... Ну и, конечно, Софронову, с его милой шолоховскому сердцу казачьей нагайкой.

\* \* \*

Счастливо найденное Эренбургом слово «оттепель» не зря обозначило целую историческую эпоху.

Назвав так свою маленькую повесть, от которой если что и осталось, так только это ее заглавие, Эренбург знал, что оттепель — еще не весна: после оттепели могут быть — и наверняка еще будут — заморозки.

И заморозки наступили.

В ноябре 1964 года в стране произошел государственный переворот. Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева отправили на пенсию.

Направление этого исторического поворота, — а если сказать проще, каким будет новое царствование, — стало ясно в сентябре следующего, 1965 года, когда были арестованы Андрей Синявский и Юлий Даниэль. За то, что переправляли на Запад и публиковали там — под псевдонимами — свои неподцензурные литературные произведения, они были вскоре судимы и приговорены к заключению в исправительно-трудовой колонии строгого режима (Синявский на семь, а Даниэль на пять лет).

Процесс над Синявским и Даниэлем был первым серьезным рецидивом сталинщины. Или — лучше сказать — первым знаком предпринимаемой новыми властями страны попытки (во многом удавшейся) сталинистского реванша.

Следующим шагом в этом направлении стал XXIII (первый после Хрущева) съезд КПСС, на котором первому секретарю ЦК КПСС Брежневу вернули сталинский титул **гене-**

рального секретаря (от которого сам Сталин в 1952 году отказался), а Президиуму ЦК — прежнее, тоже сталинское его наименование — Политбюро.

Смысл всех этих знаковых переименований был очевиден. Так же, как вектор всех других «исторических» решений этого съезда. (Историческими именовались все решения всех партийных съездов, но некоторые из них и впрямь оказывались историческими.)

И вот на этом историческом (увы, действительно историческом) партийном съезде с речью — в некотором смысле тоже исторической — выступил М.А. Шолохов.

В то время он уже был (с 1961 года) членом ЦК. Но членов ЦК среди выступавших на том съезде было много, а Шолохов — один. И хоть никто не сомневался (помня прежние его публичные вступления), что выступать он будет в любимом своем жанре деда Щукаря, многие все-таки с интересом ждали: что же скажет первый писатель страны? Не станет же он жевать всем осточертевшую партийную жвачку. А если даже и так, то наверняка внесет в нее что-то свое, неповторимо индивидуальное, шолоховское.

И Михаил Александрович не обманул этих ожиданий.

Коснувшись только что отшумевшего судебного процесса над Синявским и Даниэлем, он со всей определенностью дал понять, что решительно недоволен как всем ходом этого судебного действия, так и его итогом.

Недовольных тем, как протекал этот процесс, и его приговором тогда было много. Резкое недовольство выражали не только всегдашние враги Советского Союза, но и неизменные его доброжелатели, в числе которых были даже видные коммунисты Италии, Франции, Англии, Швеции, Дании...

Шум, поднятый «мировым сообществом» вокруг ареста двух до того никому не известных московских литераторов, в некотором смысле не имел прецедента. Но в некотором смысле беспрецедентным был и сам этот процесс. **Впервые в Советском Союзе судили — и осудили — писателей.**

— Вот те на! — изумится более или менее осведомленный и не утративший исторической памяти читатель. — Как это — впервые? А Гумилев, Клюев, Мандельштам, Бабель,

Пильняк, Артем Веселый, Иван Катаев, Заболоцкий, Павел Васильев, Борис Корнилов, Смеляков? Многих из них не просто судили и осудили, но даже расстреляли!

Да, конечно. Но их приговаривали к расстрелу или лагерным срокам внесудебные «тройки». И приговаривали не как писателей, а как участников мифических заговоров, шпионов, диверсантов, террористов, готовивших покушения на руководителей партии и правительства...

Выступить против ареста Бабеля или Пильняка западному интеллигенту — а тем более коммунисту — было непросто. Ведь им объяснили, что Пильняк был агентом японской, а Бабель — французской (или еще какой-то) разведки. Поди проверь, так оно или не так! Вот и не было по поводу их арестов никаких международных скандалов.

Небольшой скандалец однажды, правда, возник. В 1935 году в Париже на Международном конгрессе писателей в защиту культуры два оратора выступили с требованием освободить арестованного в Советском Союзе и сосланного на три года в Оренбург писателя Виктора Сержа...

Отпор защищавшим его двум ораторам дали Андре Жид, Анна Зегерс, Эренбург, кто-то еще. Примиряющую, половинчатую позицию занял председательствовавший на том заседании конгресса Андре Мальро. Все это дало возможность «Правде» осветить этот инцидент в присутствии этой газеты стили:

- ...Французский писатель Андре Жид, немецкая писательница Анна Зегерс и советские писатели тт. Тихонов, Эренбург, Киришон при бурных овациях делегатов дали резкий отпор двум троцкистам, пытавшимся использовать трибуну конгресса для гнусных антисоветских выпадов.

*(Борис Фрезинский. Писатели и советские вожди.  
М., 2008. Стр. 344)*

Это была не совсем правда, но и не совсем ложь.

Скандал вроде удалось погасить. Но за Сержа стал хлопотать Роллан. Приехав в Москву, он даже говорил о судьбе



арестованного французского писателя с самим Сталиным. И «товарищ волк» разжал свои стальные челюсти: Сержа — не сразу, а после долгих издевательств — выпустили во Францию, украв на таможене рукописи написанных им романов.

Но и Сержа тоже арестовали и отправили в ссылку не как писателя, а как троцкиста. За антисоветскую троцкистскую пропаганду.

А Синяевского и Даниэля арестовали и осудили **именно как писателей**. Не шпионаж в пользу иностранных разведок, не терроризм и не троцкизм вменяли им в вину, а только те книги, которые они писали и печатали. (Печатали, правда, не на родине, а на Западе, к тому же — под псевдонимами, что, конечно, дало Шолохову дополнительный повод злорадно потирать руки: вот, мол, выяснилось, наконец, кому и зачем нужны осуждавшиеся им псевдонимы!)

Не только на Западе, но и внутри страны суд над двумя писателями, виновными только в том, что они сочиняли и осмелились без разрешения публиковать свои произведения, стал некой вехой, обозначившей начало новой эпохи истории советского общества. Эпоха эта началась с попытки группы писателей вступить за арестованных коллег. Было сочинено и отправлено в высокие инстанции письмо в их защиту. Подписали это письмо что-то около восьмидесяти членов Союза писателей. Письмо это, как теперь может показаться, было довольно глупое. Вместо того, чтобы объяснить начальству, что писателя за его сочинения можно судить, как учил классик, лишь судом, им самим над собою признанным, подписавшие это письмо заявляли, что готовы взять своих провинившихся коллег **на поруки**. (Была тогда такая форма: коллектив предприятия мог взять на поруки какого-нибудь провинившегося или по пьянке надебоширившего своего члена и тем самым спасти его от тюрьмы.) Сочинив и отправив наверх такое письмо, они тем самым как бы признавали вину арестованных писателей перед обществом.

На самом деле тут проявилась отнюдь не глупость авторов этого обращения и тех, кто его подписал, а их **робость**. Казавшаяся тогда, да и не только казавшаяся, но и на самом деле бывшая по тем временам **несказанной смелостью**. Ведь

письмо это было первым в череде последовавших за ним в те годы, и каждое последующее было смелее предыдущего. Там «подписанты» уже не просили, а — требовали. Что же касается этого — первого — письма, то, будь оно чуть смелее, под ним никогда не поставили бы своих подписей аж целых восемьдесят писателей: хорошо, если бы таких смельчаков набралось с десятков.

Я считал нужным так подробно рассказать об этом письме восьмидесяти писателей, пожелавших взять Синявского и Даниэля «на поруки», потому что поначалу именно на них обрушил Шолохов свой гнев, свое гражданское негодование:

- ▶ Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью самое светлое для нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пытался и пытается взять их под защиту, чем бы эта защита ни мотивировалась.

Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев...

Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суровости приговора... Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости» приговора.

*(Михаил Шолохов. Собр. соч. Том 8.  
Очерки, статьи, фельетоны, выступления.  
М., 1986. Стр. 327)*

В том, что, тоскуя о временах, когда «судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса», Шолохов ссылается на «памятные 20-е годы», была известная доля лицемерия. Почему только 20-е, а не 30-е и 40-е, когда всю свирепствовали сталинские бессудные «тройки», вынося свои расстрельные приговоры?

Но вслух тосковать о сталинских временах, да еще с три-

буны партийного съезда, тогда все-таки было уже (или — еще?) невозможно.

А вот намекнуть на это — было очень даже в духе намекающихся перемен.

Но, назвав речь Шолохова на XXIII съезде КПСС в некотором смысле исторической, я имел в виду не это. А то, что хотел этим сказать, вряд ли смогу сформулировать лучше, чем это уже тогда сделала Л.К. Чуковская в своем, обращенном к Шолохову открытом письме:

- ▶ Именно в «памятные годы», т. е. с 1917 по 1922-й, когда бушевала гражданская война и судили по «правосознанию», Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасти писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись, благодаря ему, к своим рабочим столам.

Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что «милость к падшим призывал». Чехов в письме к Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: «Пусть Дрейфус виноват — и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание... Обвинителей, прокуроров... и без них много».

Дело писателей не преследовать, а вступаться...

Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров...

...Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

(Лидия Чуковская. Том 2. М., 2001.  
Стр. 509—512)

На этом своем письме Лидия Корнеевна обозначила несколько адресов, по которым оно было отправлено:

- ▶ В Правление Ростовского отделения  
Союза писателей
- В Правление Союза писателей РСФСР
- В Правление Союза писателей СССР
- В редакцию газеты «Правда»
- В редакцию газеты «Известия»
- В редакцию газеты «Молот»
- В редакцию газеты «Литературная Россия»
- В редакцию «Литературной газеты»

Ни одна из перечисленных газет его, конечно, не напечатала. На что Л.К., впрочем, и не рассчитывала. Рассчитывала она на «самиздат», где оно и было растиражировано.

А озаглавила она его так:

- ▶ МИХАИЛУ ШОЛОХОВУ,  
АВТОРУ «ТИХОГО ДОНА»

Верила ли она, что автором «Тихого Дона» действительно был тот, к кому она обращалась? Вряд ли<sup>1</sup>. Но обращением этим она вовсе не хотела сказать, что не согласна с теми, кто в его авторстве сомневается. Смысл этого обращения был другой: она хотела подчеркнуть, что обращается к человеку, создавшему (во всяком случае, считающемуся создателем) книгу, принадлежащую к той великой литературе, традиции и нравственные заповеди которой он так безобразно нарушил.

Есть, правда, в этом письме Лидии Корнеевны одна реплика, которая сегодня вызывает некоторое удивление и даже

---

<sup>1</sup> В только что вышедшем номере «Нового мира» (2008, № 9) опубликованы отрывки из дневников Лидии Корнеевны. И вот что я там прочел: «9 сентября 74, Переделкино. По радио: грядет книжка А.И. с разоблачениями Шолохова. Какой-то литературовед Д., который умер... Я этой работы не знаю; уверена, что Шолохов не автор «Тихого Дона»...» Ее открытое письмо Шолохову было написано десятью годами раньше этой записи. Но я думаю, что она и тогда была так же твердо уверена, что Шолохов не автор «Тихого Дона».

отторжение. И хотя погоды она не делает, мне все-таки не хотелось бы мимо нее пройти.

Вот она:

- ▶ Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок — только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря.

Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее.

На самом деле, конечно, Шолохов — и в этом и состоит пафос всего ее письма — в этой своей речи проявил себя отступником от традиций великой русской, а отнюдь не советской литературы.

Об особой природе советского (пролетарского, социалистического) гуманизма написаны тома. Но чтобы понять, в чем состоит эта его особая природа, достаточно привести небольшой отрывок из основополагающего выступления одного из самых видных представителей этой самой советской литературы:

- ▶ На нашем съезде получило все права гражданства одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это — гуманизм. Рожденное в замечательную эпоху, это слово было запакощено и заслужено тщедушными вырожденцами, ничтожными потомками великих отцов. Они подменили могучее его звучание — человечность — христианским сюсюканьем — человеколюбием.

Мы должны были и мы имели историческое право презирать и ненавидеть людей, произносивших это слово...

Некоторым товарищам гуманизм представляется в образе русоволосой девушки в белом платье, шагаю-

щей по солнечной, напоенной ароматом весеннего цветения земле...

Я хочу принять этот красивый образ, но не могу. Что-то восстает у меня внутри против него. Что-то заставляет рисовать себе образ нашего гуманизма другим, может быть более грубым, но в своей грубости более прекрасным.

Я знал одного человека. Мы познакомились с ним в санатории. Познакомились и сдружились, потому что были людьми одной жизни. Этот человек однажды рассказал мне историю своего бытия...

Октябрь застал его, четырежды георгиевского кавалера, дезертира и полубольшевика, председателем волостного совета. Он отчуждал помещичьи земли, делил барское имущество... Он стал председателем уездной ЧК. 13 лет провел он на работе в карательных органах республики, и когда некоторые приятели из «морально чистых» интеллигентов спрашивали его: «Неужели, когда ты посылаешь людей на расстрел, не просыпалось в тебе чувство гуманизма и ты ни разу не ставил себя на их место?» — он отвечал глухо и скупо:

«Я на их месте всю жизнь стоял. Когда мужик на поле выдирает лебеду, он не спрашивает ее — приятно ей это или нет...»

Образ этого человека заслоняет для меня метафорическую девушку, когда я думаю о гуманизме. Этот образ импонирует мне своей цельной мужественностью, ибо гуманизм класса, в свирепой борьбе добывающий людям право на подлинное человеческое существование, есть гуманизм мужественный.

Замечательную образную формулу этого гуманизма дал покойный Багрицкий в стихотворении «ТВС».

...Век поджидает над мостовой,  
Сосредоточен, как часовой,  
Иди и не бойся с ним рядом стать,  
Твое одиночество веку под стать.  
Оглянешься, а вокруг — враги:  
Руку протянешь — и нет друзей;  
Но если он скажет: «Солги!» — солги!  
Но если он скажет: «Убей!» — убей!

- ▶ Я счел нужным говорить на эту тему, потому что практика некоторых наших поэтов и писателей, в особенности молодых, заставляет несколько насторожиться. У нас по праву входят в широкий поэтический обиход понятия любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые молодые (да и не молодые иногда) поэты как-то сторонкой обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном понятии НЕНАВИСТЬ. (*Продолжительные аплодисменты*).

*(Речь А.А. Суркова на Первом Всесоюзном съезде советских писателей).*

Именно таковы были традиции и основополагающие принципы советской литературы, и в эти ее традиции речь Шолохова на XXIII съезде КПСС вписывается очень хорошо.

А вот «Тихий Дон» в эти традиции никак не вписывается. И это обстоятельство очень смущало официозных советских критиков и литературоведов.

Много сил было ими потрачено на то, чтобы доказать обратное, но мало кто из них в этом преуспел. Однако на одной такой попытке мне все-таки хотелось бы остановиться. Хотя бы потому, что она была выполнена с известной профессиональной ловкостью:

- ▶ Формулировать это трудно, и вывод, пожалуй, страшноват, но Шолохов допускает наибольший нажим на человека. Считает это нормальным. Не Михаил Александрович Шолохов, конечно, а его художественный мир. Вот что заставляет содрогнуться и задуматься. Речь, разумеется, идет не о политическом давлении и не о самой по себе жестокости как таковой. Нет — общая атмосфера жизни и ее давление; у Шолохова она принята намного суровее, чем обычно у всех классиков мировой литературы; именно принята, а не с ужасом, отвращением или злорадством отображена.

Кажется, что это противоречит всем гуманным целям, как мы их привыкли понимать. С этой стороны

шолоховский мир просто невообразим. Трудно сопоставить его, например, с тем, что мы называем бережным отношением. Это не бережное отношение, а самая свирепая проверка человека на прочность; кроме того, этот мир ни секунды не колеблется перед таким понятием, как личность. Не отвергает ее и, без сомнения, чтит, но если надо, свободно перешагивает.

(П. Палиевский. *Мировое значение М. Шолохова. В кн.: П.В. Палиевский. Из выводов XX века. СПб., 2004. Стр. 184—185*)

Итак, «Тихий Дон» противопоставлен всем классикам мировой литературы. И противопоставление идет по той же линии, по какой в речи А.А. Суркова на Первом съезде советских писателей пролетарский (социалистический) гуманизм противопоставлен традиционному, «буржуазному».

Для проверки обоснованности этого утверждения обратимся к коллизии знаменитого романа, которая при первом приближении к ней как будто бы этот тезис подтверждает:

- ▶ Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красноармейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал чуть вызывающе:

— Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К чорту! Сгрести с земли эту нечисть! И вообще — без сантиментов, раз дело идет об участи революции.

Эта реплика Бунчука почти дословно повторяет то, что отвечал председатель уездной ЧК, о котором рассказывал в своей речи на писательском съезде Сурков, когда некоторые приятели из «морально чистых интеллигентов» спрашивали, не трудно ли ему отправлять людей на смерть.

Но там, где А.А. Сурков — да и П.В. Палиевский тоже — **завершают** свои рассуждения, делают из них последний, окончательный вывод, автор «Тихого Дона» **только начи-**



нает свое художественное исследование этой жуткой, нечеловеческой коллизии.

Случается так, что Бунчуку приходится уже не на словах, а на деле подтвердить верность этому высказанному им категорическому императиву «пролетарского гуманизма». И подтвердить, не только подписывая расстрельные приговоры, как это приходилось делать сурковскому председателю уездной ЧК, но и самому приводя их в исполнение:

- ▶ Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова:

— По врагам революции... — и взмахивал наганом, — пли!..

За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их голодного и тоскующего блеска. Анна видела его лишь по ночам. Она работала в Ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе.

Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила:

— Ужинать будешь?

Бунчук не ответил: пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать. Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалявшиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью.

Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шопотом:

— Тебе тяжело, Илья?

Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова, а во сне что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного

страха: он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков.

— Уйди отсюда! — просила его наутро. — Иди лучше на фронт! Ты ни на что не похож, Илья! Сгибнешь ты на этой работе.

— Замолчи!.. — крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами.

— Не кричи. Я обидела тебя?

Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало рассматривая свои ладони, сказал:

— Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души... Ишь, ты... — в первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался. — На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь, чорт их побери! прежде, чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить! Удобрить надо! Руки надо измазать! — повышал он голос, несмотря на то, что Анна, отвернувшись, молчала... — Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгают!.. — уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая кровавыми глазами.

В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише:

— Я не уйду с этой работы! Тут я вижу, осязательно чувствую, что приношу пользу! Сгребаю нечисть, удобряю землю, чтоб тучней была! Плодовитей! Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди... Может, сын мой будет ходить, какого нет... — Он засмеялся скрипуче и невесело. — Сколько я расстрелял этих гадов...

Анна, молча слушавшая его, тихо сказала:

— Уходи на фронт или на иную работу... Уходи, Илья, иначе ты... свихнешься.

Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно.

— Нет, я крепок... Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала литы... В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил... не был нравственно исцарапанным... Ну, я пойду, — резко оборвал он... и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосным арканом, жесткой спазмой.

Но и это — еще не финал, не последняя точка.

Вспоминаю — уже не в первый раз — реплику А.А. Ахматовой, записанную Л.К. Чуковской (я приводил ее в главе «Сталин и Зоценко»). Они говорили о людях, которые «служат в НКВД». Кто они? Откуда взялись? Из каких бездн вдруг явилась на свет эта свора убийц, для которых уничтожение себе подобных было будничной повседневной работой? Как вынесли они все это? Почему не походили с ума?

- ▶ Я задала ей вопрос, который меня очень занимал: кто они социально? По своему происхождению? Если обобщить?

— Социально — не знаю. По-разному это бывало, наверно. Но вот о чем я думаю, Раскольников после уже ничего не мог. Только броситься на кровать одетым и так лежать. Больше ничего. Не мог и не хотел. А этим хотелось, вернувшись с «работы», увидеть жену в новом платье и чтобы у дочки — бант в волосах.

Бунчук, конечно, не Раскольников. И коллизия, в которой он оказался, — не та, что у Достоевского. И доводы, которыми он мотивирует оправданность своих действий, — не те, что у Раскольникова. Но в итоге с ним происходит то же, что с Раскольниковым, который «после уже ничего не мог»:

- ▶ Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал:

— Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале.

— Да что ты? Куда же тебя?

— В Ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ.

Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Возмущенный, он долго не мог уснуть, курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится. Он докуривал четвертую папиросу, когда ему слышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне на оголенный овал ее плеча падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы.

— Подвинься. Молчи...

Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула дымящимся синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:

— Не сегодня завтра я могу лишиться тебя... — и жутко содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!

Бунчук целовал ее и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание стыдом чувствовал, что он бессилен.

У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шопотом:

— Ты... ты бессилен? Или ты... болен?.. О-о-о, как это мерзко!.. Оставь меня!

Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, смутно черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, парализованно дергая головой:

— За что? За что судишь? Да, выгорел дотла!.. Даже на это не способен сейчас... Не болен... пойми, пойми! Опустошен я... А-а-а-а...

Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна.

Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб.

Этот далеко не главный, боковой, даже не второстепенный, а десятистепенный сюжетный мотив — один из тысячи, который я мог бы привести в подтверждение той неоспоримой истины, что «Тихий Дон» кровно связан не с той литературной традицией, к которой принадлежат «Поднятая целина», «Бруски» Панферова, «Цемент» Гладкова и «Счастье» Павленко, а с той, которая началась пушкинской «Капитанской дочкой» и была продолжена «Войной и миром» и «Анной Карениной» Толстого, «Преступлением и наказанием» и «Бесами» Достоевского.

Именно это имела в виду Л.К. Чуковская, подчеркнуто обратив свое открытое письмо не просто «М.А. Шолохову», но — «**М.А. Шолохову, автору «Тихого Дона».**

Именно в этом состоял главный смысл ее письма. И в соответствии с этим смыслом, исходя из него, она закончила его так:

- ▶ А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отстывает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующего для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы.

Вывод этот трудно, даже невозможно оспорить. Только вот причина и следствие тут поменялись местами. На самом деле, я думаю, дело обстояло ровно наоборот. Именно долготное хроническое бесплодие Шолохова было причиной, — я бы даже сказал, **первопричиной** — того, чем он стал, во что превратился.

СТАЛИН  
И ПИЛЬНЯК



## ДОКУМЕНТЫ

1

### ИЗ ЗАПИСКИ ТРОЦКОГО В ПОЛИТБЮРО О МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЯХ, ХУДОЖНИКАХ И ПР.

*Совершенно секретно*  
*Бюро секретариата ЦК РКП(б)*

30/VI 1922

Мы несомненно рискуем растерять молодых поэтов, художников и пр., тяготеющих к нам. Никакого или почти никакого внимания к ним нет, вернее сказать, внимание к отдельным лицам проявляется случайно отдельными советскими работниками или чисто кустарным путем. В материальном смысле мы даже наиболее даровитых и революционных толкаем к буржуазным или враждебным нам издательствам, где эти молодые поэты вынуждены равняться по фронту, т.е. скрывать свои симпатии к нам.

Необходимо поставить своей задачей внимательное, вполне индивидуализированное отношение к представителям молодого советского искусства. В этих целях необходимо:



1. Вести серьезный и внимательный учет поэтам, писателям, художникам и пр. Учет этот сосредоточить при Главном Цензурном Управлении в Москве — Петрограде. Каждый поэт должен иметь свое досье, где собраны биографические сведения о нем, его нынешние связи, литературные, политические и пр. Данные должны быть таковы, чтобы

а) они могли ориентировать цензуру при пропуске надлежащих произведений,

б) они могли помочь ориентировке партийных литературных критиков в направлении соответствующих поэтов, и

в) чтобы на основании этих данных можно было принимать те или другие меры материальной поддержки молодых писателей и пр.

2. Уже сейчас выделить небольшой список несомненно даровитых и несомненно сочувствующих нам писателей, которые борьбой за заработок толкаются в сторону буржуазии и могут завтра оказаться во враждебном нам лагере, подобно Пильняку (как мне сообщил т. Ионов).

2

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ АГИТАЦИИ  
И ПРОПАГАНДЫ ЦК РКП(б) Я.А. ЯКОВЛЕВА  
И.В. СТАЛИНУ О СИТУАЦИИ  
В ПИСАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ

[Не позднее 3 июля 1922 г.]

Товарищу Сталину

В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее:

1. В настоящее время уже выделился ряд писателей всех групп и литературных направлений, стоящих четко и определенно на нашей позиции. 21-й год оказался годом бурного литературного расцвета, выдвинувшего десятки новых крупных литературных имен из молодежи. В настоящий момент борьба между нами и контрреволюцией за завоевание значительной части этих литературных сил. (Вся эмигрантская печать стремится «купить» нашу лите-

ратурную молодежь; «Утренники», журнал Питерского дома литераторов, орган откровенной контрреволюции, принужден оперировать теми же литературными именами, что и мы.) Основные организационные литературные центры — в руках белых (скрытых или явных) — Питерский дом литераторов, Всероссийский союз писателей. Наши организационные центры бездеятельны, немощны, не умеют привлечь нового писателя-революционера, советского человека, но не члена РКП. (Московский Дом Печати в этом смысле безжизнен, Петроградская Ассоциация пролетарских писателей исключает Всеволода Иванова по соображениям «пуританского» объективно-вредного характера.)

2. Основные группы, политически нам близкие в настоящий момент:

а) старые писатели, примкнувшие к нам в первый период революции, — Валерий Брюсов, Сергей Городецкий, Горький и т. д.;

б) пролетарские писатели, Пролеткульт (питерский и московский), насчитывающий ряд несомненно талантливых людей;

в) футуристы — Маяковский, Асеев, Бобров и т. д.;

г) имажинисты — Мариенгоф, Есенин, Шершеневич, Кусиков и т. д.;

д) Серапионовы братья — Всеволод Иванов, Шагинян, Н. Никитин, Н. Тихонов, Полонская и т. д.; ряд колеблющихся, политически не оформленных, за души которых идет настоящая война между лагерями эмиграции и нами (Борис Пильняк, Зоценко и т. д.)...

3

### ИЗ РАБОТЫ И.В. СТАЛИНА «ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА»

Американская деловитость является... противоядием против революционной маниловщины и фантастического сочинительства. Американская деловитость — это та неукротимая сила, которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью

все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело, если это даже небольшое дело, и без которой немислима серьезная строительная работа.

Но американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное делячество, если ее не соединить с русским революционным размахом. Кому не известна болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых «большевиков» к перерождению и к отходу их от дела революции? Эта своеобразная болезнь получила свое отражение в рассказе Б. Пильняка «Голый год», где изображены типы русских «большевиков», полных воли и практической решимости, «фукцирующих» весьма «энегрично», но лишенных перспективы, не знающих «что к чему» и сбивающихся, ввиду этого, с пути революционной работы.

1924 г.

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)  
О ПОВЕСТИ Б.А. ПИЛЬНЯКА  
«ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ»

13 мая 1926 г.

№ 25. п. 22 — О № 5 «Нового мира» (тт. Молотов, Скворцов-Степанов, Полонский, Воронский, Лебедев-Полянский).

а) Признавая, что «Повесть о непогашенной луне» Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги «Нового мира».

б) Поставить на вид членам редакционной коллегии «Нового мира» Луначарскому и Степанову-Скворцову [за] помещение в «Новом мире» этого рассказа Пильняка, а тов. Полонскому, как члену редколлегии, ответственному за художественный отдел, объявить строжайший выговор.

в) Предложить т. Воронскому письмом в редакцию «Нового мира» отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК.

г) Редакционной коллегии «Нового мира» одновременно с письмом тов. Воронского опубликовать свое заявление о том, что, присоединяясь к мнению тов. Воронского, она считает напечатание этого рассказа явной и грубой ошибкой.

д) Снять Пильняка со списка сотрудников журналов «Красная новь», «Новый мир» и «Звезда» (Ленинград).

е) Запретить какую-либо перепечатку или переиздание рассказа Пильняка «Повесть о непогашенной луне».

ж) Поручить тов. Бройдо пересмотреть договор, заключенный ГИЗом с Пильняком, в целях устранения из издания тех сочинений Пильняка, которые являются неприемлемыми в политическом отношении.

з) Поручить отделу печати ЦК распространить то же и на остальные советские издательства.

и) Предложить отделу печати ЦК дать печати закрытую директиву по вопросам, связанным с закрытием «Новой России» и изъятием пятой книги «Нового мира», особенно подчеркнув в ней необходимость строго соблюдать разграничение между критикой, направленной на укрепление советской власти, и критикой, имеющей своей целью ее дискредитирование.

к) Констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пильняка «Повесть о непогашенной луне» не могли быть созданы Пильняком иначе, как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на тов. Воронском. Объявить тов. Воронскому за это выговор.

5

Г.И. БРОЙДО — В.М. МОЛОТОВУ, С.И. ГУСЕВУ

11 июня 1926 г.

РСФСР

Заведующий ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ

Телефоны 4-96-26. Кремль доб[авочный]. 1—41 11 июня

1926 г. № 493/с Москва, Рождественка, 4

В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

Копия:

- 1) тов. МОЛОТОВУ
- 2) тов. ГУСЕВУ

Во исполнение постановления Политбюро по поводу сочинения ПИЛЬНЯКА, сообщая:

По просьбе ПИЛЬНЯКА, в целях предоставления ему возможности осуществить путешествие в Японию и др. страны, заведующий литературно-художественным отделом ГИЗ'а тов. НИКОЛАЕВ (бывш[ий]. чл[ен]. правления «Красной нови») заключил договор с ПИЛЬНЯКОМ на издание отдельной книгой (в 23 листа) мелких рассказов. По этому договору уплачено ПИЛЬНЯКУ 3.450 рублей.

Весь томик озаглавлен «Повесть непогашенной луны».

Повести ранее были напечатаны в журналах «Новый мир», «Красная новь», «Огонек», «30 дней» и др.

В смысле художественном все они чрезвычайно слабы. По содержанию их объединяет настроение безысходного безразличия, оживляющегося лишь на моментах едких выпадов против советского строя: капитан парохода, коммунист — пьяница, самодур и антисемит, лозунг «всеобщей мировой забастовки», раздающийся со Шпицбергена, кончающий самоубийством от тоски и виски радиоинженер и т. п.

Особое место в этом сборнике должны занять известная «Повесть непогашенной луны» и рассказ «Жених во полунощи».

Последний представляет собой тонко сделанный контрреволюционный пасквиль на сущность диктатуры пролетариата, партии, ее руководства и разногласия.

Под видом описания государственной и хозяйственной жизни африканских термитов проводится мысль о бездушности, тупости слепого механизма, управляющего людьми, убивающего их волю, инициативу, личность.

«Это государство никогда не видит света, государственная машина, государство без индивидуальности, без интеллектов».

Во мраке, темными коридорами проделывают термиты свою работу крушения культуры. Там, где они поселяются, все превращается в рухлядь, пыль.

Руководство невидимое принадлежит «ОН»у, который

попытался вести к свету, а затем отступил и при отступлении за дряхлостью был съеден рабочими и солдатами и т. д. и т. п.

Необходимо обратить внимание на утончившиеся методы контрреволюционной отравы в области художественной литературы.

Указанный рассказ, напечатанный в журнале «30 дней», мною изъят из сборника.

С коммунистическим приветом

ЗАВ[ЕДУЮЩИЙ] ГИЗ'ом  
Г. Бройдо

6

ПИСЬМО Б. ПИЛЬНЯКА  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК А.И. РЫКОВУ

Москва, 10 октября 1926 г.  
ул. Воровского, 26-8, тел. 2-32-39

Глубокоуважаемый Алексей Иванович.

Позвольте мне обратиться к Вам за помощью. Я пишу Вам по поводу моей повести о «Непогашенной луне», получившей столь печальную для меня известность. В январе этого года я задумал написать рассказ о том, как машина человеческого коллектива подчиняет себе человеческие индивидуальности, и о том, как благие пожелания в нашей российской действительности очень часто превращаются в катастрофические непоправимости. Никак я не ожидал той судьбы, которая постигла этот рассказ, ибо все мои симпатии были на стороне героев-партийцев и злобствовал я только против врачей.

Формальная сторона дела обстояла так. Написав рассказ, я собрал группу писателей и моих знакомых партийцев, чтобы выслушать их критику, в том числе был и редактор «Нового мира» В.П. Полонский. Повесть была выслушана, одобрена и тут же была взята к напечатанию тов. Полонским для «Нового мира». Ввиду того, что в рассказе были места, дававшие повод считать, что рассказ посвящен смерти т. Фрунзе, редакцией «Нового мира» было

предложено мне написать предисловие, что я и выполнил. Рассказ был напечатан. Дальнейшее Вам известно: мое имя выкинуто из числа сотрудников нашей советской прессы, и я лишен возможности печататься в наших периодических изданиях. Все сейчас изложенное мной есть «формальное» существо дела, никак не решающее, где кончается ответственность автора и, при наличии цензуры, начинается ответственность редактора.

Теперь позвольте сказать по существу. Сейчас, задним числом, я никак не хочу себя оправдывать, я вижу, что появление моего рассказа и напечатание его — суть бестактности. Но поверьте мне, что в дни написания его ни одной такой мысли у меня не было, и когда я, вернувшись из-за границы, услышал, как принят был рассказ общественностью, ничего, кроме горького недоумения, у меня не было, потому что никак, ни на одну минуту я не хотел написать вещи, «оскорбительной памяти т. Фрунзе» и «злостно клеветущей на партию», как было написано в июньском «Новом мире». Судите сами, как я мог в какой-либо минимальной мере подозревать судьбу этого рассказа, когда он, рассказ писателя-непартийца, был одобрен уважаемыми партийцами и принят к напечатанию издательством «Известий ЦИКа». Никогда, ни на одну минуту я не хотел написать вещи, которая могла бы быть оскорбительной для партии. Все годы революции, и по сегодняшний день, я чувствовал и чувствую себя честным человеком и гражданином моей Республики и человеком, который делает, по мере сил своих, нужную революции работу, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я к вам за помощью: я хочу печататься и я думаю, что я буду полезен Республике.

Я являюсь писателем, имя которого рождено революцией, и вся моя судьба связана с революционной нашей общественностью; несмотря на то, что в печати почти ничего не было о моих невзгодах, тем не менее кривотолки просочились в разные, и в обывательские в частности, круги довольно широко, обыватель мне «сочувствует»; и я прошу Вашей помощи в том, чтобы я мог быть восстановлен в правах советского писателя. Чтобы я мог ликвидировать «сочувствие» обывателя, ни мне, ни нашей общественности не нужное, и чтобы я мог рассеять ту неприят-

ную атмосферу, которая возникла около моего имени — в этой здоровой нашей общественности, ради которой я и хочу работать.

Всего хорошего Вам.

*Борис Пильняк*

#### РЕЗОЛЮЦИЯ МОЛОТОВА:

С месяц тому назад я передал отделу печати ЦК, чтобы Пильняка с год не пускали в основные три журнала, но дали возможность печататься в других.

*В. Молотов*

#### РЕЗОЛЮЦИЯ СТАЛИНА:

Думаю, что этого довольно. Пильняк жульничает и обманывает нас.

*И. Сталин*

7

#### ПИСЬМО Б. ПИЛЬНЯКА В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

*Москва*  
*28 ноября 1926 г.*

В майской книге «Нового мира» появилась моя «Повесть непогашенной луны», а в июньской книге было напечатано письмо тов. Воронского, где он считает повесть «злостной клеветой на нашу партию ВКП(б)». В препроводительном к письму тов. Воронского примечании редакции редакция «считает помещение в «Новом мире» повести Пильняка явной и грубой ошибкой».

Сейчас, вернувшись из-за границы, где я был оторван от СССР, восстановив обстановку, при которой писалась повесть, я нахожу необходимым заявить: не учтя внешних обстоятельств, я никак не ожидал, что эта повесть сыграет в руку контрреволюционного



обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии, ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету, сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании. Теперь я знаю, что многое, написанное мною в повести, есть клеветнические вымыслы. Поэтому присоединяю мое мнение к мнению редакции и считаю большой ошибкой как написание, так и напечатание «Повести непогашенной луны».

*Бор. Пильняк*

8

ПИСЬМО Б. ПИЛЬНЯКА  
И.И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ,  
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

*Москва*  
*17 декабря 1926 г.*

Глубокоуважаемый Иван Иванович.

Вы просите меня написать Вам историю написания и напечатания «Повести непогашенной луны». Вот она. Точных дат я не помню, но все это было год назад, в декабре—январе. Однажды, гуляя с тов. Воронским, мы говорили с ним на тему о том, как индивидуальность всегда подчиняется массе, коллективу, всегда идет за колесом коллектива, иногда гибнет под этим колесом, — и еще говорили о «формульности» человеческой жизни. Эти темы тогда меня интересовали, и я собирался тогда на эту тему написать какой-либо рассказ. В ту же прогулку тов. Воронский рассказал мне о смерти и о мелочах быта тов. Фрунзе. И тогда же, в ту прогулку, мне пришла мысль написать повесть о смерти человека. Вам известно, что в толстовской повести «Смерть Ивана Ильича» описан взятый из жизни случай, сохранено даже имя Ивана Ильича Мечникова, брата знаменитого биолога Ильи Ильича Мечникова: Иван Ильич умер, забытый историей, «Иван Ильич» Толстого — жив и живет. При написании повести мне не приходила в голову мысль, что подлинная смерть

тов. Фрунзе так близка, видна и горяча — еще не остыла для того, чтобы стать материалом для очередной моей повести, для художественного вымысла, ибо всегда, получая материалы от жизни, тасуешь и располагаешь и освещаешь их по-своему. Никак не зная, что около смерти тов. Фрунзе возник клубок сплетен, никак не предполагая, что часть собранного мной материала есть сплетенные вымыслы, — я сел за написание очередной моей повести о прекрасном человеке, о прекрасных людях... Я забегу вперед, — сейчас я знаю, что многое написанное мною в повести есть клеветнические вымыслы, — при написании тогда мне казалось, что я пишу героическую вещь и описываю героев, людей героической воли. В повести есть «негорбящийся человек», мне говорят сейчас, что это есть пасквильная карикатура на тов. Сталина: вы обратите внимание, что все персонажи названы именами и только «негорбящийся человек» не имеет имени? — это я сделал потому, что при написании повести этим персонажем я хотел олицетворить не человека, а волю партии, положительную, героическую, непреклонную волю; поскольку я не символист, я не воспользовался художественным арсеналом символистов, полагая, что условность уничтожения имени разъяснит мою мысль; мне казалось, что я пишу героиню. В моих теоретических рассуждениях я стою на той точке зрения, что партия, по отбору своему и по своим идееустремлениям, стоит гораздо выше нашей действительности, что злейший враг революции и партии — обыватель и та человеческая разновидность, которая называется «примазавшимися». И в повести своей, мне казалось, я показывал, как героиня наша упирается в обывателя и примазавшегося, в двух типов интеллигенции, которым или наплевать, или которые — «чего изволите» — готовы все напутать и изгадить, только бы выслужиться. Повторяю, теперь мне ясно, что смерть тов. Фрунзе гораздо значимей, чем моя повесть, и имя тов. Фрунзе потянуло за собою повесть: если бы для развития моих писательских навыков я взял «Ивана Ильича», повесть вышла бы как рядовая моя повесть. Ни на одну минуту я не предвидел того, что получилось при напечатании этой повести. Ни в какой мере я не имел в помыслах написать клеветнической вещи. И никак я не придавал значения этой по-

вести, такого, какое она приобрела при напечатании — по той ошибочнейшей причине, что я не ощутил весомости имени тов. Фрунзе, полагая, что читатель не заметит, откуда я взял материалы — или, точнее, не придавая этому значения, не задумываясь об этом. Повесть была написана. Я посвятил повесть тов. Воронскому, потому что он был человеком, натолкнувшим меня на мысль написать эту повесть. У меня есть обыкновение, прежде чем отдавать более-менее большую работу в печать, устраивать читки. Сейчас, например, написав книгу о Японии, я давал ее читать инოდельцам и востоковедам, дабы исправить ошибки по их указанию. Так же я поступил и тогда. Пригласив друзей-писателей, Вс. Иванова, В.В. Вересаева, Гл. Алексева, я попросил прийти на читку и знакомых партийцев, тт. Радека, Полонского, Рейснер как литераторов, и Лашевича как военспеца. Тов. Воронского я не приглашал, ибо за несколько дней до читки мы с ним размовились по личным причинам, — все же в день читки я говорил с тов. Воронским по телефону, сказав ему, что будет читка, что, несмотря на нашу личную размовку, считая литературу делом общественным, посвящение я не нахожу возможным снимать и хотел бы его ознакомить с вещью, на что тов. Воронский предложил мне поступать так, как я знаю. В условленное время собрались писатели, тов. Полонский и тов. Лариса Рейснер. Тов. Радек и Лашевич не пришли, первый потому, что его задержали на лекции, второй по причинам мне неизвестным. В одиннадцатом часу мы приступили к читке. Вещь была прочитана, одобрена и тут же взята к напечатанию в «Новом мире». Читка эта была приблизительно в начале января. При обсуждении повести раздавались голоса, что в повести есть злободневность, тогда как редактором «Нового мира» было предложено мне написать предисловие, которого сначала не было. Повесть была напечатана. Дальнейшее Вы знаете. Мне известны разговоры о том, что повесть была инспирирована оппозиционерами. Я отрицаю это: я не знаю, была ли уже оппозиция в декабре прошлого года, когда повесть создавалась, — во всяком случае, мне о ней ничего не было известно. Лашевич приглашался мною исключительно как человек, знающий советский военный быт, и он, к слову, на чтении повести не был и повести до

напечатания читать не мог. Воронскому так же я рукописи не посылал, и он мог ознакомиться с повестью только в печати.

Кроме редакции «Нового мира» повесть была передана в феврале месяце в Госиздат, где она должна была выйти в моем шестом томе, была принята редакцией Госиздата (кто просматривал ее там, я не знаю) и, как мне передавали, была уже в наборе.

Вот Вам, глубокоуважаемый Иван Иванович, подробнейший отчет о том, как была написана и при каких обстоятельствах была напечатана эта моя, трижды мною проклятая, «непогашенная луна».

Позвольте пожелать Вам всего хорошего.

*Ваш Бор. Пильняк*

9

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О Б.А. ПИЛЬНЯКЕ

*24 января 1927 г.*

*№ 80. п. 35 — О Бор. Пильняке (т. Гусев)*

В связи с напечатанием в № 1 «Нового мира» за 1927 г. письма Б. Пильняка считать возможным отменить решение ПБ от 13 мая 1926 г. (пр. № 25, п. 22, подпункт «д») о снятии Пильняка со списков сотрудников журналов «Красная новь», «Новый мир» и «Звезда».

10

## ИЗ ОТВЕТА СТАЛИНА ПИСАТЕЛЯМ-КОММУНИСТАМ РАППа

*28.02.1929*

...общая линия у вас в основном правильна; сил у вас достаточно, ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники — вы безусловно способные и незаурядные люди; желания руководить — хоть

отбавляй, — и все же силы у вас расположены на фронте, да и сам фронт построен у вас таким образом, что вместо гармонии получается нередко какофония, вместо успехов — прорывы.

Вы говорите о «бережном отношении к попутчикам», о «коммунистическом перевоспитании их в товарищеской обстановке». И вместе с тем вы готовы уничтожить Б.-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк! Где же тут логика, последовательность, пропорция? Много ли у вас таких революционных драматургов, как т. Б.-Белоцерковский?

Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о «бережном» отношении, а для Б.-Белоцерковского не оказалось таких слов? Не странно ли, что, ругая Б.-Белоцерковского «классовым врагом» и защищая от него Мейерхольда и Чехова, «На Литпосту» не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с «классовым врагом» в художественной литературе?

Дело, очевидно, не в резкости тона, а в вопросе о руководстве сложнейшим фронтом советской художественной литературы. А руководить этим фронтом призваны Вы, и только Вы, ибо вы есть «Российская Ассоциация пролетарских писателей». Вы забыли, что вам слишком много дано. Забыли, что кому много дано, с того много и спросится. Смешно жаловаться и скулить: «Нас критикуют», «нас травят». Кого же еще критиковать и «ругать», как не вас?..

Что касается моих отношений к РАППу, они остались такими же близкими и дружескими, какими были до сего времени. Это не значит, что я отказываюсь критиковать ее ошибки, как я их понимаю.

С коммунистическим приветом.

*И. Сталин*

## ПИСЬМО Б.А. ПИЛЬНЯКА И.В. СТАЛИНУ

*4 января 1931 г.**Москва 40, 2-я ул. Ямского поля, 14, 21.*

Глубокоуважаемый товарищ Сталин.

Я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Если бы у Вас нашлось время принять меня, я был бы счастлив гораздо убедительнее сказать о том, ради чего я пишу.

Позвольте сказать первым делом, что решаясь, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей революцией, считая себя революционным писателем и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы.

В моей писательской судьбе множество ошибок. Я знаю их лучше, чем кто-либо. Оправдываться в них надо только делами. Должен все же сказать, как это ни парадоксально, — обдумывая свои ошибки, очень часто, наедине с самим собою, я видел, что многие мои ошибки вытекали из убеждения, что писателем революции может быть лишь тот, кто искренен и правдив с революцией: мне казалось, что если мне дано право нести великую честь советского писателя, то ко мне есть и доверие.

Последней моей ошибкой (моей и ВОКСа) было напечатание «Красного Дерева». Наша пресса обрушилась на мою голову негодованием. Я понес кары. Ошибки своей я не отрицал и считал, что исправлением моих ошибок должны быть не только декларативные письма в редакцию, но дела: с величайшим трудом (должно быть, меня боялись) я нашел издателя и напечатал мой роман «Волга впадает в Каспийское море» (который ныне переведен и переводится на восемь иностранных языков и немецкий перевод которого я сейчас посылаю Вам), — я поехал в Среднюю Азию и печатал в «Известиях ЦИК» очерки о Таджикистане, — последнее, что я напечатал, в связи с процессом вредителей, я прилагаю к этому письму и прошу прочитать хотя бы подчеркнутое красным карандашом. Содержание этих вещей я считал исправлением моих писательских ошибок, — этими вещами я хотел разру-

шить то недоверие, которое возникло к моему имени после печатной кампании против «Красного Дерева».

Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка «Красного Дерева» комментировалась не только прессою на русском языке, но западноевропейской, американской и даже японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником — я ответил на это «мученичество» письмом в европейской прессе и вещами, указанными выше. Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот «замученный» писатель в здравом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ (уже в течение трех лет я имею от американских писателей приглашение в САСШ, а в Европе я оказался бы принятым, как равный, писателями, кроме пролетарских, порядка Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Шоу), — если б этот писатель заявил хотя б о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, — это было бы политически значимо. Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу, — тем паче, что это было у меня в обычае, так как с 1921-го года, когда я впервые был за границей, я переезжал советские границы четырнадцать раз, а сейчас не был там с 1928-го года.

Кроме этого, у меня есть другие причины, по которым мне надо ехать за границу.

Полупричиной я считаю то обстоятельство, что, не приехав на место, я никак не могу наладить моих переводно-литературных дел, когда переводчики меня безбожно обворовывают, — хотя эта полупричина дала бы Госбанку в год тысячу-полторы валютных рублей, если бы я наладил получение гонораров.

Главная причина — следующая. Годы уходят, и время не ждет, — и с дней десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, к которому я подхожу, как к первой моей большой и настоящей работе. Мой писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора

взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся. Этот роман посвящен последним полуторадесятилетиям истории земного шара, — и я хочу противопоставить нашу, делаемую, строящую, создаваемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей, — ведь на самом деле перепластование последних лет истории гигантско, — и на самом деле историю перестраиваем мы. Сюжетная сторона этого романа уже продумана, лежит в моей голове, — место действия этого романа — СССР и САСШ, Азия и Европа, — Азию и Европу я представляю, в САСШ я не был, у меня не хватает знаний, а роман я должен сделать со всем напряжением.

Эти мои соображения я излагал ряду моих товарищей-партийцев, и по совету с ними я подал ходатайство о разрешении мне выезда за границу, месяцев на три — на шесть. Валюты я не просил, так как, все же, часть моих переводов оплачена.

В разрешении выехать за границу мне отказано.

Почему, я не знаю. Неужели мне надо предположить, что обо мне думают, что я убегу, что ли, — но ведь это же чепуха! Не могу же я убежать от самого себя и от своей писательской судьбы, от революции, от своей страны, от языка, от жены, от детей!?

Надо предположить, что это есть продолжение недоверия ко мне, — или меня наказывают? Я оказался в положении мальчишки, потому что, после разговоров с товарищами, я был убежден в получении паспорта, — озаботился в связи с этим об иностранных визах, переговорил с отделом печати НКВД, с ВОКСом о моих маршрутах и о предполагаемых делах и выступлениях за границей. Если это есть наказание, то оно очень жестоко.

Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только лишь революционным писателем. Я напишу нужную вещь.

Позвольте в заключение сказать о моем теперешнем состоянии. Я говорил о моих ошибках и о том методе, который я избрал, чтобы их исправить. Всем сердцем и всеми помыслами я хочу быть с революцией, и очень часто у



меня за последний год возникает ощущение, что кто-то меня отталкивает от нее, — я окружен недоверием, в атмосфере которого работать нельзя, — если бы Вы знали хотя б о том, сколько я обивал порог «Известий», чтобы напечатать ту статью, которую я шлю Вам, и обиваю до сих пор, чтобы допечатать мои таджикские очерки, которые приняты, но для которых катастрофически отсутствует в газете место.

Не ходите же мне ко всем и не говорить: верьте мне.

Но Вас я могу просить об этом, — и я прошу Вас мне помочь.

С величайшим нетерпением жду Вашего ответа.

Позвольте пожелать Вам всего хорошего.

*Бор. Пильняк*

12

## ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА Б.А. ПИЛЬНЯКУ

*7 января 1931 г.*

Уважаемый тов. Пильняк!

Письмо Ваше от 4.1. получил. Проверка показала, что органы надзора не имеют возражений против Вашего выезда за границу. Были у них, оказывается, колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш выезд за границу можно считать в этом отношении обеспеченным.

Всего хорошего.

*И. Сталин*

13

## ПИЛЬНЯК — СТАЛИНУ О СВОЕЙ КНИГЕ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В США

*28 января 1932 г.*

*Москва 40*

*2-я ул. Ямского Поля, 2а, 21*

*тел. ДЗ 77 12*

Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Я должен был бы написать Вам сейчас же после возвращения из Америки, чтобы благодарить Вас за данную мне возможность быть за границей. Я хотел это сделать, приложить к письму ту книгу, которую я сейчас заканчиваю, об Америке. Но мои обстоятельства сейчас складываются так, что я, кажется, теряю возможность не только что-либо издавать, но и вообще считаться советским гражданином, хотя вины я за собою не чувствую.

Ваше письмо, Иосиф Виссарионович, которое Вы прислали мне в связи с моею поездкой, накладывало на меня обязательства, которые я нес с гордостью. Я уверен, что НКВД подтвердит, что моя поездка, равно как и мои выступления, были полезны для СССР. Я десятка два раз выступал публично, на рабочих собраниях Германии, Америки, в Сорбоннском университете и т. д. Везде я отождествлял судьбу советской литературы с судьбою коммунизма, утверждал, что будущее только у нас. В Нью-Йоркском Таймсе, в частности, было однажды напечатано: «Пильняк предрекает гибель капитализма в Америке». У меня дома хранится около восьмисот газетных и журнальных вырезок — только американских, — связанных с моею поездкой как с поездкой советского писателя, — т. е. моя поездка была замечена хорошо.

Должен сказать, что я вернулся с утроенными, с удвоенными революционными настроениями. Вернувшись, я сел за книгу об Америке.

За месяцы моей поездки обо мне в советской прессе появилось несколько заметок. Ни одной из них не было такой, которая, говоря по существу, не паскудила б меня. В качестве примера разрешите привести эпизод. Зимой 30—31 годов в Известиях печатались мои очерки о Таджикистане, которые впоследствии вышли отдельными книгами как по-русски, так и на иностранных языках. Прежде, чем печатать эти очерки, я давал их на просмотр председателю Тадж. Совнаркома тов. Ходжибаеву. По поводу этих очерков была только одна заметка в Литературной Газете от 10 июня 31 г., подписанная некими краеведами. Меня не было тогда в СССР. Заметка эта была так несправедлива, что тов. Ходжибаев нашел необходимым ее опро-

вергнуть. Тов. Ходжибаев говорил мне, что все те три краеведа, подписавшие эту заметку, поименно отказались от написанного обо мне. Об этом нигде не напечатано. Таких примеров я могу привести много. Но это одна лишь и не главная сторона дела.

Вернувшись, я получил от нескольких товарищей и организаций предложения и поручения прочитать лекции об Америке. Такое предложение я получил, в частности, от Дома Печати, и в начале ноября, по предложению Правления, я говорил там об американских журналистических и писательских нравах. Без малого через два месяца после того, в Правде от 25-го декабря 31 г. появилась резолюция ячейки Правды под заглавием «За большевистскую бдительность на фронте печати». Эта резолюция была посвящена выступлению Левидова. Но она коснулась и меня, в традициях, установившихся по отношению ко мне, двумя фразами:

«...проявления гнилого либерализма со стороны руководства Дома Печати, предоставившего трибуну Левидовым, а еще ранее, Борису Пильняку».

«...Фракция признала также политической ошибкой постановку в ДП доклада Пильняка об Америке».

Этими фразами все, касающееся меня, и ограничено. Как видите, оценки того, что я говорил, не имеется, но получается по прямому смыслу обеих этих фраз, что ошибочно вообще давать мне право выступать вне зависимости от того, что я говорю, т. е. ошибочно, если я нахожусь в рядах советской общественности.

Я имел две открытые лекции в Политехническом музее — об них нигде отзывов не было.

Но заметку Правды наша общественность так и расценила, что я выкинут из ее рядов. Случайно совпало, что того же 25-го декабря я был направлен в Тулу с докладом. Я был свидетелем в Туле, как на мою лекцию собирались люди и расходились с нее, ибо доклад мой был экстренно отменен именно в связи с заметкой «Правды». Заметка «Правды» оказалась тою каплей, которая количество статей обо мне превратила в качество. Но не только о моих выступлениях не может быть сейчас и речи, но со мною порван договор на издание моих книг, которые начиная от «Голого года» переиздавались и Главлитом запрещаемы

не были, равно как не запрещены и сейчас. Договор рас-торгнут 27 января, и я не знаю, где я могу теперь издавать мои книги. На издание моей книги об Америке у меня есть предложения из ряда стран, даже от американских издателей, хотя они и знают, что эта книга будет скан-дальна для Америки, — и мне неизвестно, как мне издать эту книгу только в СССР.

Я написал в «Правду», прося реабилитировать меня. «Правда», за подписью тов. Мехлиса, ответила мне на мое имя письмом, где, в частности, сообщается:

«Само собою разумеется, что помещение в «Правде» матерьяла о вашем докладе не означает, что вы не можете выступить с лекцией о вашей поездке по Америке».

Матерьяла, как видно из приведенных выше выписок, о моем докладе в «Правде» не печаталось. Дело сейчас опирается уже не только в лекции об Америке, но о моем положении в советской общественности. Не приклеивать же мне письмо тов. Мехлиса себе на лоб, чтобы от меня не отворачивались.

Я просил редакцию «Правды» высказаться по этому поводу на своих страницах. Ответа я не получил до сих пор.

Эта ж заметка «Правды», расценивающая политиче-ской ошибкой мое выступление среди товарищей по про-фессии в Доме Печати, не только оставляет меня вне ря-дов советской общественности, но сводит насмарку всю мою поездку за границу, ибо она ставит меня в положе-ние самозванца и явно уже ставит в положение политиче-ской бестактности мои выступления за границей, где, с одной стороны, я был гостем наших полпредств, но где иной раз мне приходилось выступать не среди товари-щей, но среди врагов.

Нет труднее отталкиваемому человеку — оправды-ваться, когда он не чувствует себя виновным. В таких ус-ловиях легче вообще бросить заниматься литературным трудом, тем паче, что такие условия могут грозить и голо-дом. Но работать — я хочу, и моя судьба навсегда связана с нашей революцией и ее генеральной линией.

Я прошу Вашей помощи, Иосиф Виссарионович. Я хо-чу чувствовать себя советским гражданином и работать в нормальных для советского писателя условиях. Я прошу

Вас помочь мне восстановить права советского гражданина и писателя.

Разрешите заранее благодарить Вас, Иосиф Виссарионович.

Ваш

*Борис Пильняк*

К этому письму я прилагаю «Таджикистан» на русском и французском языках. Я очень просил бы Вас просмотреть их.

14

#### ПИСЬМО Б.А. ПИЛЬНЯКА В ЦК ВКП(б)

*[Ранее 15 мая 1934 г.]*

*Москва 40*

*2-я ул. Ямского поля, 1/2, 21*

*Тел[ефон]Д. 1 77 12*

Прошу мне и жене моей Кире Георгиевне [Андроникашвили], студентке Г[осударственного] и[нститута] к[инематографии], выдать заграничные паспорта для поездки в Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию и Норвегию. В Латвии, Эстонии и Финляндии я сделал бы доклады в связи с продлением пактов о ненападении, что находит целесообразным отдел печати НКВД, где и возникла мысль о моей поездке. Швецию и Норвегию я никогда не видел и хотел бы написать о них для советского читателя, равно как написал бы и о лимитрофах, бывших российских губерниях. Моя жена никогда не была за границей, и я считаю нужным взять ее с собой для того, чтобы будущий советский режиссер за границу знал. Мы намереваемся пробыть за границей не больше двух месяцев. Я хотел бы выехать за границу около пятнадцатого мая.

*Бор. Пильняк*

На первом листе резолюция: «Можно удовлетворить. И. Ст[алин]»

ИЗ ПИСЬМА А.М. ГОРЬКОГО  
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) А.А. АНДРЕЕВУ

8 декабря 1935 г.

Отношение к литераторам очень пестрое. Существует «меценатство», и весьма часто литератор ценится не по заслугам его, а по симпатии. Пильняку прощается рассказ о смерти т. Фрунзе — рассказ, утверждающий, что операция была не нужна и сделали ее по настоянию ЦК. Прощается ему, Пильняку, «Красное дерево» и многое другое скандальное. Фактов такого рода — немало... Это, разумеется, создает в среде литераторов рассуждения и настроения дрянные.

## ИЗ «СПРАВКИ НА АРЕСТ» Б.А. ПИЛЬНЯКА

Тесная связь Пильняка с троцкистами получила отражение в его творчестве. Целый ряд его произведений был пронизан духом контрреволюционного троцкизма («Повесть непогашенной луны», «Красное дерево»)...

Во время ссылки Радека и других троцкистов Пильняк из личных средств оказывал им помощь...

В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б. Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в «Литгазету» в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком. Установлено также, что в 1935 г. они договаривались информировать французского писателя Виктора Маргерита (подписавшего воззвание в защиту Троцкого) об угнетенном положении русских писателей, с тем чтобы эта информация была доведена до сведения французских писательских кругов. В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР.

Несомненным является, что эта информация была использована Жидом в его книге против СССР...

Необходим арест и обыск.

Начальник 9-го отделения 4-го отдела  
Главного управления госбезопасности (ГУГБ)  
капитан Журбенко

17

### ИЗ ПИСЬМА Б.А. ПИЛЬНЯКА Н.И. ЕЖОВУ

Моя жизнь и мои дела указывают, что все годы я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах.

Будет неправильно, если я признаю себя троцкистом, им я не был, я смыкался с троцкистами, как смыкался и с другими контрреволюционерами, я смыкался со всеми теми, кто разделял мои контрреволюционные взгляды...

В наших разговорах в те годы я и мои единомышленники сходились на том, что политическое положение в стране очень напряженно, гнет государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не дружества, но разъединение и одиночество, и уничтожает понятие социализма... Подробные показания о характере и времени этих разговоров я дам в процессе следствия. Так как я ничего не хочу таить, я должен сказать еще — о шпионаже. С первой моей поездки в Японию в 1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел шпионскую работу. Кроме того, у меня бывали другие японцы, равно как и иностранцы других стран. Обо всем этом я расскажу подробно в процессе следствия.

## ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА Б.А. ПИЛЬНЯКА

*11 декабря 1937 года.*

На путь борьбы против Советской власти я стал в первые годы революции. Во время военного коммунизма, во время напряженной классовой борьбы я сидел в Коломне, занимаясь писанием рассказов, а по существу отсиживался от того, что происходило в стране, считая, что «моя хата с краю» и «посмотрим, что из этого выйдет». Эти ощущения на очень долгие годы были решающими в моей человеческой и писательской судьбе.

Симпатизируя «Скифам» в 1920 г., я объединился с группой «Серапионовы братья», не принадлежа к ней формально, я разделял все ее литературные тенденции и политические стремления. Во главе этой группы стоял Евгений Замятин... До этого, еще в 1919 г., я вступил в члены Союза писателей, который объединял писателей таких же настроений, какие были и у меня, то есть людей, окопавшихся от революции...

В 1922 г., осенью, ряд писателей были приглашены в Москву телеграммой от Каменева. Каменев предложил нам организовать писательскую артель, издательство и альманах. В разговоре с Каменевым, по существу говоря, никаких политических требований нам не было поставлено, мы были сделаны самостоятельными хозяевами в издательстве... Через некоторое время в кабинете Каменева было проведено первое организационное собрание, на котором были даны установки о том, что мы можем писать и печатать что угодно. Главная задача писательской артели заключалась в том, чтобы вокруг себя собирать всех вновь приходящих писателей. Фактическим руководителем артели был тогдашний редактор «Красной нови» Воронский. Наши контрреволюционные стремления, в частности мои и Замятина, полностью совпадали с настроениями Воронского, с его литературной философией. Это и определило дружбу с Воронским на долгие годы.

В эти же годы Воронский направил меня к Троцкому. Помню, что у Троцкого были также Маяковский, Пастернак... Троцкий говорил с нами об интернационализме в



литературе, о том, что для него безразлично, где делать революцию — в Москве или в Риме, а главным образом Троцкий принимал все меры к тому, чтобы очаровать...

Ближайшими друзьями я в то время считал своего литературного учителя Андрея Белого и, как уже говорил выше, моего старшего товарища Замятина. Еще со времен военного коммунизма самым близким мне человеком был поэт Пастернак...

...Идею написания этой повести (речь идет о «Повести непогашенной луны». — Б.С.) мне подал Воронский. Во время писания я читал ее тогдашним моим товарищам, читал, в частности, и Агранову. Агранов рассказал мне несколько деталей о том, как болел Фрунзе. Затем у меня было собрание, обсуждавшее повесть. Присутствовали: Полонский — редактор «Нового мира», Лашевич — которого я пригласил как военного специалиста... Все они одобрили повесть, а Полонский нашел, что нужно сделать предисловие к повести, которое тут же и было написано...

Запрещение этой повести совпало как раз с моим пребыванием в Китае. Вернувшись оттуда, я обратился к Скворцову-Степанову, главному редактору «Известий», чтобы он решил мою судьбу. Скворцов-Степанов отнесся ко мне очень сочувственно, в беседе со мной сказал, что этот рассказ является талантливым произведением, обещал свою поддержку и устроил свидание с Рыковым. Рыков посоветовал мне написать покаянные письма, что я и сделал.

В последующем Радек выразил мне свое сочувствие и оказал материальную помощь. Нужно прибавить, что Радек читал в рукописи эту повесть и даже принял участие в ее редактировании... Радек был первым, кто стал со мной говорить прямо и резко против руководства партии. В беседах со мной Радек утверждал, что Сталин отходит от линии Ленина, в то время как он, Радек, Троцкий и другие их сторонники были настоящими ленинцами, и что снятие их с руководящих постов есть искажение линии Ленина, в связи с этим, говорил Радек, неминуема борьба троцкистов со сталинцами...

Когда Воронский стал организовывать группу «Перевал», мы договорились о том, что я официально к «Перевалу» не буду примыкать, однако должен буду принимать

активное участие в его работе. Я приходил на расширенные собрания «Перевала», дабы продемонстрировать свою солидарность с ними. К этому периоду относится второе мое троцкистское произведение. В 1928 г. вместе с Андреем Платоновым я написал очерк «Че-Че-О», напечатанный в «Новом мире», который заканчивается мыслью о том, что паровоз социализма не дойдет до станции «Социализм», потому что тормоза бюрократии расплавят его колеса...

В Союзе писателей существовало настроение, что было бы хорошо, если бы литература получила отставку от партии. Обсуждая на наших нелегальных собраниях положение в литературе и в партии, мы всеми мерами, прикрываясь политикой внепартийности, чистого искусства и свободного слова, пытались доказать гнет цензуры, зажим литературы со стороны партии... Для характеристики СП надо сказать, что в нем не было партийной ячейки. В 1929 г. я был избран председателем СП, и в том же году он как антисоветская организация был ликвидирован...

В это время я написал наиболее резкую антисоветскую повесть «Красное дерево», изданную за границей. «Красное дерево» оказалось водоразделом для литераторов, с кем они: с Советской ли властью или против...

Наряду с прекращением деятельности СП стала разваливаться и группа «Перевал». Воронского выслали в ссылку. Шла проработка «Красного дерева», мой авторитет среди писателей был подорван. Тогда мы с Воронским решили создать новую литературную организацию и создали кружок «30-е годы». Мы утверждали, что литература угнетена, что те задачи, которые ставятся перед литературой, невыполнимы, что писатели привязаны на корню и имеют право писать «от сюда до сюда», что в литературе идет упрощенчество. Активными участниками собраний «30-х годов» были Зарудин, И. Катаев, Андрей Платонов, посещал собрания раз или два Пастернак, считавшийся по духу приемлемым. «30-е годы» как литературная группа весной 1930-го распалась, но часть людей осталась в дружбе и общалась до самого последнего времени, помогая друг другу, бывая вместе...

Союз писателей был преобразован в Союз советских писателей. Подавляющее большинство писателей ушло в

этот новый СП, но осталось на тех позициях, на которых они были до реорганизации. Когда Пастернак пошел работать в оргкомитет ССП, я всячески нападал на него, и на этой основе у меня с ним даже осложнились отношения. В силу моих, тогда особенно злобных отношений к политике партии и к руководству, я бойкотировал ССП и поэтому не выступал на съезде писателей... Съезд мне казался лицемерной бюрократической затеей, а выступления писателей на нем — лживыми и двурушническими... На протяжении ряда лет все мои общественно-литературные стремления сводились к желанию «вождить», но из этого ничего не выходило. Я терпел неудачу за неудачей, в конечном итоге большинство писателей, поняв антисоветскую сущность моих стремлений, отошло от меня...

## Сюжет первый

### АМЕРИКАНСКАЯ ДЕЛОВИТОСТЬ

В главе «Сталин и Эренбург» я привел и подробно проанализировал ссылку Сталина (в его лекциях «Об основах ленинизма», читанных в Свердловском университете) на ранний рассказ И. Эренбурга «Ускомчел». Там же я попытался — в меру своего понимания — объяснить, что побудило Сталина в этом своем «классическом», как это тогда называлось, теоретическом труде вдруг сослаться на малоизвестный рассказ беспартийного (по тогдашней терминологии даже «буржуазного») писателя.

Но этой литературной виньеткой Сталин в тех своих лекциях не ограничился.

В следующей главке, заключающей последний, завершающий раздел этих своих лекций («Стиль в работе»), обозначив вторую из двух составляющих этого «большевистского стиля» словосочетанием «американская деловитость», он сослался на другого, уже входящего в славу тогдашнего писателя, — Бориса Пильняка:

- ▶ ...американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное делячество, если ее не соединить с рус-

ским революционным размахом. Кому не известна болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых «большевиков» к перерождению и к отходу их от дела революции? Эта своеобразная болезнь получила свое отражение в рассказе Б. Пильняка «Голый год», где изображены типы русских «большевиков», полных воли и практической решимости, «фукцирующих» весьма «энегрично», но лишенных перспективы, не знающих «что к чему» и сбивающихся, ввиду этого, с пути революционной работы.

*(И. Сталин. Сочинения. Том 6. М., 1947. Стр. 188)*

В главе «Сталин и Эренбург» я по мере сил старался показать, что рассказ Эренбурга «Ускомчел» к проблеме, о которой шла речь в этой сталинской главе, был притянут, что называется, за уши. Никакого касательства к сатирическому разоблачению «болезни «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества», как представил его там Сталин, этот эренбургский рассказ не имел. На самом деле он был совсем о другом.

Примерно так же — если не хуже — обстояло дело и со сталинской ссылкой на Пильняка, который, если верить Сталину, в своем «рассказе» «Голый год» якобы сатирически изобразил «болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых «большевиков» к перерождению и к отходу их от дела революции».

Начать с того, что «Голый год» Бориса Пильняка — не рассказ, а роман, в то время, когда Сталин читал в Свердловском университете свои лекции «Об основах ленинизма», уже оцененный критикой как лучшее и самое значительное произведение этого писателя.

Оговорился Сталин, назвав знаменитый роман уже известного писателя рассказом? Или не оговорился, а — **проговорился**? Невольно признался, что он этот роман даже и не читал, а просто пришласть ему кстати яркая словесная формула из этого романа, бывшая тогда у всех на слуху: «Энегрично фукцировать».

Нет ничего удивительного в том, что словесная формула эта показалась Сталину издевательской, а стало быть, сатирической. Но в романе Пильняка она появляется, а потом и повторяется как некий постоянный лейтмотив, неся в себе отнюдь не сатирическое, а совсем иное, противоположное смысловое и эмоциональное наполнение:

- ▶ В доме Ордыниных, в исполкоме (не было на окнах здесь гераней) — собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста. Петр Орешин, поэт, правду сказал: «Или — воля гольтьбе, или — в поле, на столбе!..» Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу — по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так: — константировать, энегрично, литефонограмма, фуқцировать, буждет, — русское слово могут — выговаривал: — магуть. В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева. — Смешно? — и еще смешнее: просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку: — книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистьяковского, историю России XIX века (издания Гранат), «Капитал» Маркса, «Финансовую науку» Озерова, «Счетоведение» Вейцмана, самоучитель немецкого языка — и зубрил еще, составленный Гавкиным, маленький словарик иностранных слов, вошедших в русский язык.

Кожаные куртки.

Большевики. Большевики? — Да. Так. — Вот, что такое большевики!

Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители — и ОТК, и ХМУ, и Отдела Металлов, и Гомзы, и Цепти, и Цепекапе, и Промбюро, и РКИ, и ВЦК, и проч., и проч., все спецы, — на собрании в областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива, — и заводы пустить нельзя. Нельзя. Я, автор, был участником этой экспедиции, начальником экспедиции был ц-х К., по отчеству Лукич. Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Москву, раз ничего нельзя сделать. Но мы поехали — на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать, — ибо нельзя не сделать... Поехали, потому что неспец большевик К., Лукич, очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки — все сделают.

Большевики.

Кожаные куртки.

«Энегрично фукиризовать». Вот что такое большевики. И — чорт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий?!

«Смешно?» — спрашивает автор, рассказывая о том, как большевик Архип Архипов выговаривает и выписывает в особую тетрадку разные иностранные слова. И тем, что следует за этим его вопросом, с некоторым даже пафосом отвечает: «Нет, не смешно!» Потому что, «энегрично фукирируя», эти железные люди в кожаных куртках творят невозможное. Они — только они в этой стране! — способны совершить то, что лежит за пределами сил человеческих..

Большевики в изображении Пильняка — это, как сказал однажды (о них же) В. Шульгин, в о л е в а я н а к и п ь н а ц у и. («Из русской рыхлой, корявой народности — отбор».) И в этих нелепых, уродливых искажениях с трудом дающих-

ся им нерусских, иноземных слов («константировать, энегрично, литефонограмма, фукуцировать») у него **не сатира, а — пафос.**

Именно так это было тогда прочитано и воспринято современниками:

«Энегрично фукуцировать». Вот что такое большевики.

Энегрично фукуцируют: Архип Архипов, рабочий Лукич, Донат, Наталья...

Это «энегрично фукуцировать» у большевиков на фоне разложившегося старого уклада Б. Пильняк отмечает всюду...

...Главное в этих, кто «энегрично фукуцирует», для кого нет слова нельзя, у кого — бодрость и радость, в ком есть совиное, крепкое, ночное. От них пахло новой Русью, они навсегда покончили с чеховской, окуривской, растеряевской Русью... И потому так легко бросается автором по адресу всех этих граждан — «и — чорт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий», — а в серых, скучных, мерзлых провинциальных буднях Пильняк ощущает, что революция продолжается...

От романа Пильняка и других вещей остается привкус горечи, полыни, но этот запах крепок, бодрящ, «сказочен». Это привносится людьми в кожаных куртках.

Б. А. Пильняк художник — молодой, неотстоявшийся. Много у него не согласуется, лезет куда-то в сторону, мысли и образы невозможно свести к одному целостному мироощущению. В среде «потерявших закон», в людской исторической пыли «кожаные куртки» выглядят особенно свежо, по-новому, бодро, нужно и жизненно. И уж совсем странными кажутся эти новые люди, железные и радостные, как бы слетевшие с другой планеты в старую, тихую, бездеятельную Русскую Азию... Одни «энегрично фукуцируют», пуская заводы, которые «нельзя пустить», говорят о тракторах



и электрификации, другие живут как птица, как дерево, зоологической в сущности жизнью — с лешими, домовыми, наговорами. У Пильняка как-то пока мирно уживаются и любовь к кожаным курткам, и любовь к зоологической Руси. «И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин». Автору еще неясно, кто будет «гулять по Руси». А между тем едва ли можно в этом сомневаться. «Ведьмам» враждебен весь революционный, новый уклад, а с Дарвином он связан органически. Дарвин уже гуляет по Руси. Не даром Архиповы по ночам втихомолку зубрят его в числе иных прочих. По сути же нет никакой допетровской Руси, она вся выветрилась, сгинула, а есть Русь кожаных курток...

(А. Воронский. *Литературные портреты. Том 1.*  
М., 1928. Стр. 422—425)

Сталин был глух к внутренней логике и эмоциональному смыслу художественного образа. (Мы уже видели это на примере его неуклюжей попытки разобрать рассказ Горького «Кирилка» и на примере его истолкования рассказа Эренбурга «Ускомчел».) Но по какому-то странному влечению (по закону контраста, что ли?) он любил — надо, не надо — обращаться в своих выступлениях к самым разным художественным текстам — то апеллируя к ним для подкрепления и подтверждения какой-нибудь своей мысли, то просто упоминая, то цитируя и почти всегда с явным удовольствием на этих упоминаниях и цитатах надолго задерживаясь.

Например, вот так:

- ▶ В одной из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа-самодура, очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного и ретивого. После того, как этот бюрократ навел во «вверенной» ему области «порядок и тишину», истребив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку — страну, конечно, малоизвестную, где имеются, оказы-

вается, какие-то свободы, смущающие народ, и где государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Америку и возмущился: что это за страна, откуда она взялась, на каком таком основании она существует? (*Общий смех, аплодисменты.*) Конечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад, но разве нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? (*Общий смех.*) И, сказав это, положил резолюцию: «Закрывать снова Америку!» (*Общий смех.*)

Мне кажется, что господа из «Дойче Дипломатиш-Политише Корреспонденц», как две капли воды, похожи на щедринского бюрократа. (*Общий смех, одобрительные аплодисменты.*)

(И. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года. И. Сталин. Сочинения. Том 14. М., 2007. Стр. 151—152)

В том же докладе, заговорив о буржуазных критиках проекта новой советской Конституции, он вдруг сказал:

- ▶ Нельзя не вспомнить по этому случаю дворовую «девчонку» Пелагею из «Мертвых душ» Гоголя.

(Там же. Стр. 155)

На самом деле совершенно очевидно, что, говоря об этих, как он их назвал, «горе-критиках», гоголевскую «девку Палашку» вспоминать было совсем не обязательно. Но в этом сталинском «нельзя не вспомнить» проявилась не только его стилистическая зависимость от прочно въевшихся в его речь казенных, канцелярских стилистических оборотов, но и это его загадочное влечение к таким вот литературным виньеткам.

Это странное его влечение к «художественным текстам» в несколько неожиданной форме выразилось и в его желании время от времени получать рифмованные (почему-то непременно рифмованные!) послания от выражающих ему

любовь и преданность населяющих нашу многонациональную страну народов.

Одним из самых выдающихся мастеров, которым время от времени поручалось сочинение таких писем, был Семен Израилевич Липкин.

Он любил рассказывать, как это происходило.

Начиналось обычно с того, что Усман Юсупов — тогдашний Первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана — говорил ему:

— Отэц соскучил. Давно п'сма не получал...

Это значило, что пришла пора сочинять очередное письмо узбекского народа «отцу народов», великому Сталину.

Далее следовали некоторые указания и пожелания:

— Будешь отцу п'смо писать, вставь побольше п'словиц. Отэц любит п'словиц.

Вот так же, наверно, и Поскребышев — или еще кто-нибудь из тех, кто давал указания референтам, готовившим материалы для какого-нибудь очередного доклада Сталина, — напутствовал их:

— Не забудьте вставить парочку-другую цитат из художественной литературы. Лучше всего из классиков. Хозяин любит ссылаться на классиков.

Впрочем, и народными пословицами и поговорками Сталин тоже любил уснащать свои речи. Не меньше, чем цитатами из художественных произведений. Например, вот так:

- ▶ ...факты, как говорят, упрямая вещь. Господа из германского официоза могут сказать, что тем хуже для фактов. (*Общий смех.*) Но тогда им можно ответить словами известной русской поговорки: «дуракам закон не писан». (*Веселый смех, продолжительные аплодисменты.*)

(Там же. Стр. 154)

Еще одна деталь из рассказов С.И. Липкина о том, как сочинялось какое-нибудь очередное «Письмо узбекского народа товарищу Сталину».

Перед публикацией его в «Правде» текст посылался ад-

ресату, и тот нередко слегка проходилась по нему своим редакторским карандашом.

И вот однажды был такой случай. В письме говорилось:

Вы землю крестьянам отдали навеки,  
За что говорят вам спасибо узбеки.

Сталин поправил: вместо «навечи» написал: «навечно».

Показывая Липкину контрольную газетную полосу с личной правкой вождя, Мехлис (тогдашний редактор «Правды») великодушно разрешил ему взять ее себе на память. Поглядев на замененное слово, Липкин с сожалением заметил, что пропала рифма. И тут же выразил готовность исправить этот огрех. Скажем, так:

Вы землю крестьянам отдали навечно,  
За что говорим вам спасибо сердечно.

Мехлис в ответ холодно осведомился:

— Вы идиот? Или притворяетесь?

О таком же пренебрежительном отношении Сталина к рифме рассказывает Сергей Михалков, вспоминая о том, как Сталин редактировал сочиненный им (вдвоем с Эль-Регистаном) первоначальный текст нового советского гимна.

Начинался он у них так:

Свободных народов Союз благородный  
Сплотила навеки великая Русь.  
Да здравствует созданный волей народной  
Единый, могучий Советский Союз.

На этот раз вторгаться в текст так грубо, как он это позволил себе в случае с «Письмом узбекского народа», Сталин не стал. Он ограничился лишь тем, что сделал — на полях стихотворного текста — два замечания. Против слов «Союз благородный» поставил знак вопроса и написал: «Ваше благородие?» Против слов «волей народной» тоже стоял вопросительный знак и такая же ироническая реплика: «Народная воля?»

Авторы, разумеется, тут же учли волю вождя. В исправленном виде четверостишие выглядело так:

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки великая Русь.

Да здравствует созданный волей народной  
Великий, могучий Советский Союз.

Рифма, конечно, пострадала. «Свободных — народной» — рифма плохая. Строго говоря, это даже и не рифма. Зато исчезла покоробившая вождя ассоциация с «вашим благородием» и еще более неприятное напоминание о террористах-народовольцах.

Такое наплевательское отношение к основной примете стихотворной речи, по правде говоря, удивляет. Сталин ведь в юности сам писал стихи, и в этом случае говорить о его глухоте я бы все-таки не стал. Плохую рифму от хорошей, а тем более рифму от «нерифмы» отличить он, наверно, мог. Но руководствовался в этих случаях другими, неизмеримо более важными соображениями:

- ▶ ...к семидесятилетию со дня рождения Сталина издательство детской литературы отыскало в Грузии старого учителя, бывшего священника, учившегося со Сталиным в горийской школе и в семинарии. Ловкий литератор записал, скомпоновал воспоминания старика, получилась целая книга о детстве вождя, о его необыкновенных способностях, благородстве, о его высоком чувстве товарищества. Книгу правили, сто раз редактировали, советовались с инструктором Цека, наконец подготовили к печати. Но издатели рано радовались, рано гордились. Секретариат Сталина запретил печатать книгу. Бывший священник потом поделился с редактором горем и счастьем: Сосо пригласил его к себе домой, хорошо угостил, был с ним ласков, вспоминал учителей, детские шалости, в конце беседы объяснил школьному товарищу:

— Не обижайся, нельзя печатать твою книгу. Ты пойми: слово не так скажешь — государство потеряешь.

*(Семен Липкин. Декада. М., 1993. Стр. 154—155)*

Эти опасения преследовали его постоянно. И именно ими он руководствовался всякий раз, решая, разрешить или

запретить ту или иную, на первый взгляд, вполне безобидную публикацию.

Особенно убедительно и красноречиво об этом свидетельствует правдивая история, которую однажды — под большим секретом — рассказал одному из своих друзей-приятелей Арсений Александрович Тарковский:

- ▶ Однажды в их квартире раздался телефонный звонок:

— Товарищ Тарковский? У нас к вам просьба... Нет, по телефону невозможно. Через полчаса у вашего подъезда будет машина...

Туда увезут, а когда обратно — неизвестно, да еще и вернешься ли? Но от таких предложений не отказываются. Оделся, собрался, попрощался с женой. Вышел — машина уже стоит, показалась очень большой и очень черной — у страха глаза велики.

Шофер — сплошное благорасположение, открыл дверцу, усадил.

— Куда едем? — прикинулся беззаботным Арсений Александрович.

— К нам, на Старую площадь, куда же еще?!

Стало легко-легко — ЦК КПСС это не... не что-нибудь другое...

Охрана приветлива, хозяин кабинета — сама учтивость...

И вручает он Арсению Александровичу большущий черный портфель, вручает с такими словами:

— Дорогой товарищ Тарковский, мы тут посоветовались... Мы знаем вас, как лучшего переводчика с восточных языков. Я говорю о стихах. И мы остановили свой выбор на вас, как на самом великолепном кандидате. Возьмите портфель. Нет, сейчас зачем открывать? Не надо. Там стихи вождя всего прогрессивного человечества... И подстрочники к ним, сделанные по нашему заказу светилami грузинской поэзии, владеющими русским языком. Отцу народов довольно скоро исполнится семьдесят, и вся страна готовит посильные подарки; есть решение сделать вождю сюрприз: издать

стихи на его родном грузинском языке и параллельно, вы знаете, как это делается, на развороте перевод, на языке старшей сестры Республик, на русском. Ваша почетнейшая задача... Мы уверены... Когда переведете — сообщите, пожалуйста. Пока мы вас не торопим.

Закончил монолог, нажав на это «пока». С улыбкой «сахаринной породы» подал руку, и — «машина внизу ожидает, вас отвезут».

*(«Я жил и пел когда-то...» Воспоминания о поэте  
Арсении Тарковском. Томск, 1999.  
Стр. 266—267)*

Получив это почетное правительственное задание, Тарковский пришел в ужас. Как-то вождь отнесется к его переводу? Ведь «может и полоснуть»!

Тем более, что стишки гения всех времен и народов, судя по подстрочникам, были — так себе. Стандартно разукрашенные излияния влюбленного юного семинариста. Может быть, их продиктовало подлинное чувство, но тоже, увы, стандартное.

Переведешь точно — выйдет сочинение весьма посредственное. Попытаешься «улучшить», обогатить его своими находками, как это не раз приходилось ему делать («Ах, точные переводы, как болит от вас голова!»), — вождь, того и гляди, еще больше разгневется: как посмел этот ничтожный толмач вносить в его бессмертные строки свою жалкую отсебятину!

- ▶ Арсений Александрович засыпал с обрывками строк в голове, вроде: «О, как прекрасны розы тех садов, чей аромат доносит воздух чистый! Я на луну лететь с тобой готов...» — рифма не шла, но и во сне он не находил покоя, счастливый, вскакивал и записывал на клочке бумаги: «Я так люблю, как любят коммунисты!»

Утром находил эту запись и с яростью раздирал ее в клочки.

Но всему приходит конец...

Все было давно готово, перепечатано, но так хоте-

лось оттянуть финал, что он выпросил еще недельку — «пошлифовать».

— Хорошо, — суше обычного проронила трубка. — Я записываю в календаре: в следующую среду в пятнадцать ноль-ноль за вашей работой заедет шофер. О результатах мы сообщим...

Примерно через месяц ему сообщили, что машина вновь прибудет за ним. И прибыл тот же самый шофер, и все были любезны, как и в первый раз. Тот же самый... с сахаринной улыбкой, ласково сказал, выткнувшись почти по стойке смирно:

— Мы отказались от идеи сделать вождю сюрприз и показали Иосифу Виссарионовичу ваши переводы...

— И он... прочел? — слегка задыхаясь, спросил Тарковский.

— Прочел, прочел... Он просил передать вам, что чрезвычайно доволен проделанной работой. Чрезвычайно. Но должен вас огорчить, Арсений Александрович... Он просит вас извинить его, но печататься ваши переводы не будут... Черновики у вас остались? Мы так и думали. Уничтожьте, голубчик. Сегодня же. И забудьте все это, и нашу просьбу, и ваши отличные переводы... Забудьте. А материалы, побывавшие у вас, хранить будем мы, у нас это организовано надежно.

*(Там же. 268—269)*

Может показаться, что в этом случае Сталин проявил совсем уже чрезмерную, исключительную, прямо-таки необъяснимую осторожность. В самом деле! Почему бы ему не разрешить публикацию своих юношеских стихов. И ко всем многочисленным его титулам («Гениальный полководец...», «Корифей всех наук...» и проч.) добавить еще один — титул великого поэта...

Не постеснялся же сделать это его великий собрат — «Председатель Мао»:

- ▶ Прочтя на страницах журнала Поэзия стихотворение «Люпаньшань», один из героев китайской освобод-



дительной войны рассказал, как во время сражения небольшого отряда революционных войск с превосходящими силами врага почти все бойцы погибли, остались лишь два-три человека. Движимые чувством верности партии и народу, они приготовились к гибели. В последний момент они пожелали послушать «голос Центрального комитета партии». Зазвучал радиоприемник, и до слуха донеслась декламация стихотворения «Люпаньшань». О, что это были за стихи! Они волновали, вселяли мужество, уверенность. Люди почувствовали прилив новых сил и решили пробиться из окружения. И им это удалось.

*(Из предисловия Николая Т. Федоренко к книге «Восемнадцать стихотворений Мао Цзэдуна». М., 1957)*

Что же помешало Сталину пойти тем же путем? Неужели его прославленная большевистская скромность?

Нет, у него были на этот счет более серьезные соображения.

Начать с того, что стихи «Председателя Мао» были — революционные, героические. Они звали и вели в бой. А его стихи были — лирические. Кажется, даже любовные.

Но главное тут было даже не это.

Он ведь хотел стать (и стал) не китайским и не грузинским, а русским царем. А сознанием простого русского человека (он это знал) сочинение стихов воспринималось как занятие в высшей степени несерьезное:

- ▶ — Это чтоб стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с?..

*(Ф. Достоевский. «Братья Карамазовы»)*

- Что ж, — говорит, — это такое? Ну пушай он гений. Ну пушай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем средних людей выселять?..

(М. Зоценко. «Пушкин»)

Нет, не мог, никак не мог он разрешить публикацию своих юношеских стихов о том, «как прекрасны розы тех садов, чей аромат доносит воздух чистый».

Слово не так скажешь — государство потеряешь!

И поэтому особенно удивительным кажется его странное желание украсить последнюю главу своего основополагающего труда цитатами из таких сомнительных источников, как рассказ Эренбурга и роман Пильняка. Уж если так приспичило ему во что бы то ни стало дать парочку-другую ссылок на что-нибудь художественное, мог бы найти — либо приказать Товстухе или Мехлису — отыскать что-нибудь подходящее у Щедрина, Гоголя или еще кого-нибудь из классиков.

Классики все-таки надежнее. Во всяком случае, они уже не могут выкинуть ничего неожиданного. А с писателем, биография которого не завершена, поди угадай, что еще может случиться.

Взять хоть того же Пильняка.

Впоследствии по соображениям государственной необходимости его пришлось расстрелять, объявив врагом народа и японским шпионом. Правила в этих случаях были жесткие. Человек исчезал, и автоматически исчезало со страниц всех печатных изданий его имя. Нет человека — нет проблемы.

Но с арестом Пильняка проблема не исчезла. И даже возникла новая, совершенно беспрецедентная проблема.

Имя врага народа — в сочинениях вождя! Это — немислимо! Невозможно!

Но с другой стороны — каждое слово, сказанное, а тем более написанное вождем, — святыня. И никто, — разумеется, кроме него самого, — не вправе тут что-нибудь менять.

Однажды, правда, был такой случай. И как раз с этой са-

мой последней главой, заключающей его лекции «Об основах ленинизма»

В разгар холодной войны в передовой статье «Правды» вдруг появилось новое словесное клише: «Русский революционный размах и большевистская деловитость».

Я был тогда студентом и, потрясенный таким своеволием правдивов, осмелившихся переиначить железную формулу вождя, спросил у нашей преподавательницы «Основ марксизма-ленинизма»: что это значит? Уж не сам ли вождь скорректировал эту свою старую формулировку, приведя ее в соответствие с новыми историческими обстоятельствами? И как быть теперь нам, студентам, если придется по ходу экзамена или зачета сослаться на эти бессмертные сталинские слова?

Ответить на все эти мои вопросы она не смогла. Но опыт старого партийного пропагандиста подсказал ей такую уклончивую, дипломатическую форму ответа:

— Как бы то ни было, — сказала она, — одно несомненно: большевистская деловитость безусловно является высшей формой деловитости.

О, да! — подумал я, уже вкусивший к тому времени немало плодов этой самой большевистской деловитости.

Но никакого развития этот сюжет так и не получил. Инициатива правдивов поддержана не была. Антиамериканская истерия с каждым днем набирала все новые и новые обороты, а пресловутая «американская деловитость» во всех изданиях и переизданиях сталинских «Вопросов ленинизма» (каждый год выходил новый многомиллионный тираж) так и оставалась американской деловитостью.

Так же обстояло дело и с Пильняком.

Такого писателя больше не было. Книги его были изъяты из всех библиотек страны. Имя его в вузовских учебниках не упоминалось даже среди имен злейших врагов советского общественного политического строя. Но в основополагающем сталинском труде «Вопросы ленинизма», куда неизменно входили лекции вождя «Об основах ленинизма», мы как ни в чем не бывало по-прежнему читали:

- ▶ Эта своеобразная болезнь получила свое отражение в рассказе Б. Пильняка «Голый год»...

Но что же все-таки побудило Сталина пренебречь всегдашней своей мудрой осторожностью («слово не так скажешь — государство потеряешь») и подкрепить свою мысль ссылкой на сомнительный авторитет такой неясной в политическом отношении, можно даже сказать одиозной фигуры, какой многим представлялся в то время писатель Борис Пильняк?

\* \* \*

Этот вопрос я уже задавал однажды — правда, в несколько иной форме, и по отношению не столько к Пильняку, сколько к Эренбургу, который в то время, когда Сталин ссылался на его рассказ «Ускомчел», тоже был фигурой в достаточной степени одиозной.

Отчасти я там (в главе «Сталин и Эренбург») на этот вопрос уже ответил.

Прошу прощения у тех читателей моей книги, которые помнят тот мой ответ, за то, что тут мне придется еще раз к нему вернуться.

В то время, когда Сталин читал в Свердловском университете свои лекции об основах ленинизма, он не только еще не ощущал себя корифеем всех наук, но даже чувствовал некоторую неуверенность, когда ему приходилось (а приходилось!) вторгаться в интеллектуальные сферы.

Рядом с блестящими партийными интеллектуалами — Троцким, Каменевым, Бухариным — он не мог не испытывать некий комплекс неполноценности. И именно из этого комплекса выросло свойственное ему в те годы стремление играть роль *покровителя искусств*.

Вячеслав Всеволодович Иванов — сын знаменитого в 20-е годы писателя Всеволода Иванова — рассказывает в своих воспоминаниях об отце, что Сталин, похвалив однажды какую-то его книгу (дело было в 1925 году), сказал, что готов даже сам написать предисловие к следующей его книге. Всеволод Вячеславович от этой чести отказался, сказав, что хоро-

шая книга ни в каких предисловиях не нуждается, а плохую никакое предисловие не спасет.

В такой же роли покровителя, готового защитить писателя, которому трудно приходится в его взаимоотношениях с суровой советской властью, предстает перед нами Сталин в воспоминаниях В. Вересаева о том, как он читал главы из своего романа «В тупике» в гостях у другого тогдашнего «покровителя искусств» — Каменева:

- ▶ Я стал расспрашивать Ангарского, кто здесь присутствует.

— Вот этот — Дзержинский, вот — Сталин, вот — Куйбышев, Сокольников, Курский.

Одним словом, почти весь тогдашний Совнарком без Ленина, Троцкого, Луначарского. Были еще Воронский, Д. Бедный, П.С. Коган...

Началось обсуждение прочитанного. На меня яро напали. Говорили, что я совершенно не понимаю смысла революции, рисую ее с обывательской точки зрения, нагромождаю непропорционально отрицательные явления и т.п.

Каменев говорил:

Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧК. Почему они не изображают подвигов на фронте Гражданской войны, строительства, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧК?

Раскатывали жестоко. Между прочим, Д. Бедный с насмешкой стал говорить о русской интеллигенции...

Точно не помню, кто еще что говорил. Помню, еще очень сильно напал профессор П.С. Коган. Говорили еще многие другие. Потом взял слово Сталин. Он в общем отнесся к роману одобрительно, сказал, что государственному издательству издавать такой роман, конечно, неудобно, но, вообще говоря, издать его следует.

*(В. Вересаев. Литературные портреты.  
М., 2000. Стр. 483)*

Сталин явно бравирует тут широтой своего взгляда на дела литературные. И точно так же он явно бравирует широтой своих литературных вкусов, вставляя в рассуждения о ленинском стиле работы в одном случае — ссылку на рассказ Эренбурга, в другом — на рассказ Пильняка.

\* \* \*

По отношению к Эренбургу такого объяснения было, может быть, и достаточно. Но ссылка Сталина на Пильняка требует еще и некоторых других, дополнительных разъяснений, специально приберегавшихся мною для этой главы, а теперь еще и нашедших подтверждение в новых документах, только что оказавшихся в поле моего зрения.

- ▶ 30 июня 1922 года председатель Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий направил в Политбюро записку. К очередному заседанию Политбюро она была размножена для его членов сталинским рабочим аппаратом.

*(Борис Фрезинский. Писатели и советские вожди. М., 2008. Стр. 70)*

«Записка» эта озаглавлена была так: «О молодых писателях, художниках и пр.». Речь в ней шла о недостаточном внимании партии и советского руководства к писателям и художникам, «тяготеющим к нам», которых при таком положении дел «мы несомненно рискуем потерять». (См. в разделе «Документы» — документ № 1).

В начале этой своей «Записки» Лев Давыдович отмечал, что «к отдельным лицам» иногда случайно проявляется внимание «отдельными советскими работниками». Но происходит это «чисто кустарным путем».

Суть его предложений состояла в том, что внимание к писателям и художникам должно стать постоянным и централизованным. Исходить оно должно не от «отдельных советских работников», а от государства. То есть — от определенных государственных органов:

- ▶ Необходимо поставить своей задачей внимательное, вполне индивидуализированное отношение к представителям молодого советского искусства.

*(Там же. Стр. 71)*

Казалось бы, чего лучше? Вместо «кустарного», то есть произвольного, вкусового внимания «отдельных советских работников» к каким-то «отдельным лицам» поставить это дело на широкую государственную ногу, проявлять внимание ко всем, и руководствуясь не личными симпатиями, а интересами нашего общего дела.

Да, намерения у Льва Давыдовича были самые хорошие. Но смысл конкретных, практических его предложений был ужасен:

- ▶ В этих целях необходимо:
  1. Вести серьезный и внимательный учет поэтам, писателям, художникам и пр. Учет этот сосредоточить при Главном Цензурном Управлении в Москве — Петрограде. Каждый поэт должен иметь свое досье, где собраны биографические сведения о нем, его нынешние связи, литературные, политические и пр. Данные должны быть таковы, чтобы
    - а) они могли ориентировать цензуру при пропуске надлежащих произведений,
    - б) они могли помочь ориентировке партийных литературных критиков в направлении соответствующих поэтов и
    - в) чтобы на основании этих данных можно было принимать те или другие меры материальной поддержки молодых писателей и пр.

*(Там же)*

Речь, как видим, шла о том, чтобы **огосударствить** стихийный литературный и художественный процесс, создать государственную структуру, которая сосредоточила бы в своих руках управление этим процессом.

Впоследствии, как мы знаем, это было сделано. Эту идею

Троцкого (как и многие другие его идеи) взял на вооружение Сталин и претворил ее в жизнь. Но в то время до литературы и искусства руки у него еще не дошли. Да он тогда еще и не был «Хозяином», только стремился к достижению этой главной своей цели. И на пути к ней у него было тогда немало других, более важных забот. Но мысль Троцкого об управляемой литературе должна была прийти к нему по душе.

Так оно, наверное, и было. Но поддержать эту мысль в то время он не мог. Чтобы поддержать ее, она должна была стать ЕГО мыслью. Не говоря уже о том, что он никогда, ни при какой погоде не стал бы поддерживать любую мысль, как бы ни была она ему близка, — **если она исходила от Троцкого.**

Тут, конечно, была и ревность, бурно проявившаяся еще в годы Гражданской войны.

Когда Троцкий был награжден орденом Красного Знамени (одним из первых, если не первым в стране), Бухарин сказал:

— Теперь придется дать этот орден и Сталину.

И на недоуменный вопрос собеседника: «Почему?» — с усмешкой ответил:

— Разве вы не знаете, что Сталин не выносит, когда у кого-нибудь есть что-то, чего нет у него.

Но теперь (в июле 1922 года) это была уже не просто ревность и даже не просто соперничество. Это было уже определенившееся противостояние двух главных претендентов на роль наследника Ленина, двух ключевых фигур, которым в самом недалеком будущем, — а может быть, даже уже и прямо сейчас, — предстояла решительная схватка за власть в партии, а значит, и в стране.

В свете этого противостояния и надо рассматривать весь ход дальнейших событий, разыгравшихся вокруг неожиданного вмешательства Предреввоенсовета Республики в дела литературные.

Получив «Записку» Троцкого и распорядившись размножить ее к очередному заседанию Политбюро (иначе он поступить тогда не мог), Сталин поручил Я.А. Яковлеву, бывшему в то время заместителем заведующего Агитпропом ЦК,



представить соответствующую справку, которая должна была продемонстрировать компетентность сталинского аппарата в этих вопросах, а также наличие у него (Сталина) на сей счет СВОИХ конструктивных идей.

Яковлев был **человеком Сталина**. (Впоследствии Сталин «бросил» его на сельское хозяйство, и он был одной из главных, ключевых фигур, на которых лежит прямая вина за реализацию чудовищного сталинского плана «раскрестьянивания» России. Недаром ярые сталинисты 90-х годов пытались установить кровное родство ненавидимого ими «отца перестройки» А.Н. Яковлева — с тем Яковлевым, который, к слову сказать, был даже и не Яковлев, а — Эпштейн.)

Неизвестно, дал ли Сталин замзаву Агитпропом ЦК какие-то конкретные указания, поручая ему составить эту «Справку», которая стала бы ЕГО ответом на предложения Троцкого. Но налаженный к тому времени сталинский аппарат работал безотказно, и Я.А. Яковлев и сам, без всяких подсказок, должен был знать, чего ждал от него, поручая ему это щекотливое дело, Генеральный секретарь.

В разделе «Документы» я поместил только ту часть этой яковлевской «Справки» (*документ № 2*), в которой составитель ее демонстрировал знание того, КТО ЕСТЬ КТО в современном литературном процессе. (Знание, кстати, далеко не безупречное: Мариэтта Шагинян никогда не входила в группу «Серрапионовы братья», а Эренбург никогда не был сменовеховцем.)

Но главным в той «Справке» было не это.

Главным в ней было то, что «плану Троцкого» в ней был противопоставлен совершенно другой план:

- ▶ 3. Оформить настроение сочувствия нам, привлечь на свою сторону колеблющихся можно путем создания единого центра, объединяющего эти группы писателей. Объединение должно быть безусловно беспартийным. Коммунистическое меньшинство должно отрешиться от недопустимого, ничем не оправдываемого коммунистического чванства, мешающего коммунистическому влиянию на беспартийных, но поли-

тически или социально близких (так! — Б.Ф.) нам писателей, особенно из молодежи.

4. Таким организационным центром может стать Всероссийский Союз писателей, имеющий некоторую материальную базу и который при некоторой работе (достаточно тактичной и осторожной) завоевать можно. Московский Дом Печати при его реорганизации мог бы стать Московской базой такого Всероссийского Союза.

Можно пойти и иным путем — путем организации «Общества развития русской культуры» — как беспартийного общества, объединяющего прежде всего литературную молодежь и имеющего некоторую материальную базу.

Можно пойти комбинированным путем — путем создания «Общества» с более строго ограниченным составом и одновременного завоевания Всероссийского Союза писателей, рамки которого могли быть в этом случае более широкими.

5. И той и другой организации должны быть представлены значительные издательские возможности.

*(Там же. Стр. 80—81)*

Троцкий тоже предлагал «привлечь на свою сторону колеблющихся» путем создания некоего «единого центра». Но в качестве такого «единого центра» он видел только одну государственную структуру: Главное Цензурное Управление.

Яковлев предложил более эластичный, мягкий и, по правде говоря, гораздо более удачный вариант:

- ▶ Таким организационным центром может стать Всероссийский Союз писателей, имеющий некоторую материальную базу и который при некоторой работе (достаточно тактичной и осторожной) завоевать можно.

Всероссийский Союз писателей — это был тот самый союз, который Маяковский (семь лет спустя) презрительно назвал «союзом пильняков» (Тогда Б.А. Пильняк был председателем правления этого Союза).

Прочитав (судя по дальнейшему ходу событий, весьма внимательно) эту яковлевскую «Справку», Сталин был полностью удовлетворен тем, как выполнил его задание этот его опытный «порученец».

«Справка», как и «Записка» Троцкого, тоже была размножена и представлена членам Политбюро, как пометил это в своем обращении к ним Сталин, «для ориентировки». Но в этом собственном своем обращении к членам Политбюро Сталин, в сущности, присоединился к предложениям Яковлева. С той только разницей, что яковлевская «Справка» полемизировала с «Запиской» Троцкого в прикровенной, скрытой форме, а Сталин этот полемический по отношению к плану Троцкого смысл своих предложений выразил с присущей ему большевистской прямоотой:

- ▶ Российская коммунистическая партия  
(большевиков)  
Центральный Комитет  
№ 50181/с Москва, 3 июля 1922 г.  
Тов. Молотову

Возбужденный тов. Троцким вопрос о завоевании близких (*тут Сталин повторил грамматическую ошибку Яковлева*) к нам молодых поэтов путем материальной и моральной их поддержки является на мой взгляд вполне своевременным...

Я думаю, что наиболее целесообразной формой этого сплочения молодых литераторов была бы организация самостоятельного, скажем, «Общества развития русской культуры» или чего-нибудь в этом роде. Пытаться пристегнуть молодых писателей к цензурному комитету или к какому-нибудь «казенному» учреждению — значит оттолкнуть молодых поэтов от себя и расстроить дело. Было бы хорошо во главе такого общества поставить обязательно беспартийного, по-советски настроенного, вроде, скажем, Всеволода Иванова. Материальная поддержка вплоть до субсидий, облеченных в ту или иную приемлемую форму, абсолютно необходима.

Для ориентировки прилагаю ответ Замзавагитпропа т. Яковлева на мой соответствующий запрос.

И. Сталин.

*(Борис Фрезинский. Писатели и советские вожди. М., 2008. Стр. 82—83)*

Все три документа («Записка» Троцкого, «Справка» Яковлева и резюме Сталина) были разосланы всем членам Политбюро с такой сопроводительной запиской:

- ▶ Российская Коммунистическая партия  
(большевиков)  
Центральный Комитет

№ 5018/с

3 июля 1922

Всем членам Политбюро

Т.т. Ленину, Троцкому, Каменеву, Зиновьеву,  
Рыкову, Томскому, Молотову и тов. Цюрупе.

По поручению тов. Сталина препровождается для ознакомления к заседанию Политбюро (в четверг 6 VII) материал по вопросу о моральной и материальной поддержке молодых поэтов (на 3 лист.)

Пом. Секретаря ЦК Назаретян.

*(Там же. Стр. 84)*

И вот — последний, итоговый документ.

- ▶ **Постановление Политбюро:**

а) Принять предложение т. Троцкого со следующими поправками:

В п. 1а слово «цензуру» заменить словом «Госиздат».

В п. 2-м вставить: «в течение ближайших 2-х недель».

Слова «подобно Пильняку (как сообщил т. Ионов)» — вычеркнуть. Тов. Лебедева-Полянского заменить тов. Яковлевым.

П. 5-ый заменить следующим: «В качестве формы организации и поддержки молодых поэтов наметить в предварительном порядке создание художественного издательства (при государственной субсидии), которое в общем и целом находилось бы под контролем Госиздата, но имело бы беспартийный характер и давало бы вполне достаточный простор для всяких художественных тенденций и школ, развивающихся в общесоветском направлении».

П. 6-ой: «Признать необходимым ассигновать для этого некоторую сумму денег».

б) Поручить комиссии в составе тт. Ионова, Яковлева и Мещерякова обсудить вопрос о целесообразности и способе организации молодых поэтов, сочувствующих советской власти, в самостоятельное общество во главе с беспартийным, но вполне надежным лицом. Созыв комиссии за т. Яковлевым.

*(Там же. Стр. 86)*

Приведа в своей книге все эти документы (не в выдержках, как здесь сделал это я, а полностью) и внимательно их проанализировав, Б. Фрезинский заключает:

- ▶ Таким образом, на заседании Политбюро Сталин провел свой вариант: во-первых, Троцкий был устранен от дальнейшей разработки писательского вопроса, и от Политбюро докладчиком был назначен тогда абсолютно лояльный Сталину Каменев; вся реальная работа по сохранению писательского сообщества была поручена специальной комиссии, во главе которой был поставлен сталинский человек Яковлев.

*(Там же. Стр. 87)*

У автора книги «Писатели и советские вожди», когда он анализировал эти документы, была своя цель. У меня цель другая, более узкая. И в соответствии с этой своей целью я хочу обратить внимание на тот пункт этого Постановления,

в котором в пункте втором предлагается вычеркнуть слова «подобно Пильняку (как сообщил т. Ионов)».

В постановлении Политбюро такая реплика и в самом деле была нежелательна, поскольку решение высшего партийного органа должно было носить обобщающий, принципиальный характер. А ссылка на Пильняка была тут особенно неуместна еще и потому, что Пильняк — **единственный писатель, которого Троцкий упомянул в своей «Записке»**, — тем самым невольно превращался в главную, ключевую фигуру, вокруг которого развернулась вся эта очередная подковерная схватка Сталина с Троцким.

На самом деле так оно, в сущности, и было.

Пильняк был в то время если не главной, то, во всяком случае, одной из главных мишеней, по которым тогдашние партийные критики с неизменным постоянством лупили из всех видов имеющегося в их распоряжении оружия.

Я мог бы привести тут тьму цитат из их статей, дышащих лютой классовой ненавистью, но, щадя читателя, ограничусь лишь несколькими строчками из ходившей тогда по рукам пародийной поэмы Багрицкого «Не Васька Шибанов и не Ванька Молчанов». Главный герой этой поэмы — один из самых оголтелых тогдашних рапповских «неистовых ревнителей» Лелевич — травестированным слогом «эпистолы», с какой в балладе А.К. Толстого князь Курбский обращается к царю Ивану, взывает к вождю РАППа Леопольду Авербаху:

Тебе, матюкаему древле от всех  
И тонушу в сквернах обильных,  
Скажи, лапетутник, каких ради грех  
Побил ты ученых и сильных?  
Не мы ли с Воронским в тяжелом бою  
Преславную линию гнули свою?..  
Ответствуй же, Ляпа, не нами ль в боях,  
В баталии остервенелой  
Разгромлен Волошин, затравлен Пильняк,  
Булгаков, Ахматова, Белый?

Эта поэма Багрицкого, судя по некоторым ее реалиям, была сочинена несколькими годами позже (скорее всего в 1926-м). Но и в то время, к которому относятся приведенные выше документы, Пильняк уже подвергался самой

ожесточенной травле — не только как матерый «классовый враг», но и как «любимчик» Троцкого:

Не утаить, как не таи  
 (Признаьем дружбы не нарушу?),  
 Мне Льва Давыдыча статьи,  
 Как кислота, разъели душу.

Да одному ли только мне?  
 С отравой справлюсь я, быть может,  
 Но не окрепнувший вполне  
 Наш молодняк меня тревожит.

Наш пролетарский молодняк  
 Сконфужен собственным обличем.  
 Зло-символический Пильняк  
 Пред ним смердит гнилым величем.

Это — из стихотворения Демьяна Бедного, сочиненного в 1923 году и тогда же появившегося в «Правде».

Статьи «Льва Давыдыча», которые, «как кислота», разъели душу главного пролетарского поэта, печатались в той же «Правде» с сентября 1922 года. Чуть позже (в 1923-м) они вышли отдельной книгой. (В 1924-м издание это было повторено.)

Сталин, который, как мы уже знаем, не выносил, когда у кого-нибудь было «что-то, чего нет у него», не мог не относиться к этой стороне деятельности Троцкого с жгучей и раздраженной ревностью.

Когда Демьян сочинял — и печатал — свой стихотворный отклик на эти статьи Троцкого, Ленин был уже не у дел, и публично задевать и «пощипывать» Льва Давыдовича было не только дозволено, — этим «пощипыванием» можно было даже снискать благорасположение правящей страной «тройки» (Сталин, Зиновьев, Каменев) и, уж во всяком случае — одобрение Сталина.

Демьян однажды написал о себе (этот его стишок я уже приводил в главе «Сталин и Демьян Бедный»):

Во времена оны,  
 Читая мои боевые фельетоны,  
 Ильич сказал (должно быть, не зря)  
 «У нашего Демьяна хорошая ноздря!»

Вспоминая время от времени эту меткую характеристику Ильича, Демьян всякий раз хвастливо повторял, что эта «хорошая ноздря» никогда его не подводила. Не подвела она его и на этот раз.

А для меня, как вы понимаете, тут особенно интересно то, что в этой его — пока еще мягкой — атаке на оттесняемого от государственного кормила Льва на первый план вылез все тот же Пильняк.

Не знаю, можно ли с полным основанием утверждать, что Пильняк был любимчиком Троцкого, но Троцкий безусловно Пильняку симпатизировал. И Пильняк, в свою очередь, тоже симпатизировал Троцкому. Во всяком случае, выделял его (и Луначарского) из сонма других тогдашних советских вождей:

- ▶ С Борисом Пильняком в 1922—23 гг. у Троцкого установились дружеские отношения; в очерке, посвященном Пильняку и Замятину, сын Пильняка, говоря о в целом отрицательном отношении обоих писателей к большевистским вождям, заметил: «Только для Троцкого и Луначарского делали они исключение, видя в них людей образованных, причем и тот и другой были писателями и безусловными сторонниками литературного плюрализма...»

*(Борис Фрезинский. Писатели и советские вожди.  
М., 2008. Стр. 72)*

Постоянные в те годы столкновения на Политбюро Сталина с Троцким происходили, конечно, не только на литературном поле. Поводы для таких столкновений находились самые разные. Но всякий раз, когда плацдармом, на котором разражалось очередное такое сражение, становились дела литературные, центральной фигурой, вокруг которой шел бой, снова и снова оказывался Пильняк.

\* \* \*

В 1922 году в издательстве Гржебина вышел сборник Бориса Пильняка «Смертельное манит».



На сборнике была виза Главлита, так что никаких происшествий с этой новой книгой Пильняка вроде быть уже не могло. Но над выходящими в свет книгами существовал в то время двойной контроль. Уже разрешенные цензурой и вышедшие в свет новые книги читались специальными политконтролерами ГПУ. И вот эти самые политконтролеры придрались к вошедшей в новый сборник Пильняка его повести «Иван да Марья». Они расценили ее как «враждебную, возбуждающую в среде обывателей контрреволюционные чувства, дающую превратное представление о коммунистической партии».

31 июля 1922 года это заключение было представлено заместителю начальника ОГПУ И.С. Уншлихту с предложением: впредь до особых распоряжений книгу запретить.

Уншлихт с этим предложением согласился, и весь тираж книги Пильняка «Смертельное манит» был конфискован.

Чуть ли не в тот же день Троцкий отреагировал на это решение запиской, обращенной к двум членам Политбюро — Каменеву и Сталину:

- ▶ Тов. Каменеву и тов. Сталину.

По поводу записки т. Уншлихта № 81423 от 1VIII.

В соответствии со всей нашей политикой по отношению к литераторам предлагаю арест книги Пильняка немедленно снять и объяснить его как недоразумение.

2 VIII 22 г.

*Л. Троцкий*

Поскольку никакой реакции на эту записку не последовало, через два дня (4 августа) Лев Давыдович обратился уже с официальным письмом в секретариат ЦК (то есть по существу уже прямо — Сталину):

- ▶ В<есьма> спешно. Совершенно секретно.  
В секретариат ЦК. Копия Л.Б. Каменеву.

Предлагаю немедленно поставить на разрешение Политбюро вопрос о конфискации, наложенной на

книгу Пильняка «Смертельное манит». Ни по содержанию, ни по форме эта книга ничем не отличается от других книг Пильняка, которые, однако, не запрещены и не конфискованы (и совершенно правильно). Обвинение в порнографии неправильно. У автора наблюдается несомненная склонность к натуралистической необузданности. За это надо его жестоко критиковать в печати. Но натуралистические излишества, хотя бы и грубые, несомненно, в художественном произведении не являются порнографией. В отношении автора к революции та же двойственность, что и в «Голом годе». После того автор явно приблизился к революции, а не отошел от нее. В согласии с уже состоявшимся решением ЦК по отношению к авторам, развивающимся в революционном направлении, требуется особая внимательность и снисходительность. Конфискация есть грубая ошибка, которую нужно отменить немедленно.

4. VIII—22 г.

*Л. Троцкий*

Каменев, которому была отправлена копия этого письма, оставил на нем краткую пометку: «Согласен».

Но реакция Сталина была иной.

Об этом мы можем судить по решению, принятому на заседании Политбюро 10 августа 1922 года. В нем, как метко заметил, комментируя публикуемые им эти документы Б. Фрезинский, «легко ощутим почерк Сталина»:

► О конфискации книги Б. Пильняка «Смертельное манит» (Троцкий).

а) Отложить до следующего заседания, не отменяя конфискацию.

б) Обязать Рыкова, Калинина, Молотова и Каменева прочесть рассказ Пильняка «Иван да Марья», а всех членов ЦК — повесть «Метель» в сборнике «Пересвет».

Тут легко различимо стремление Сталина, которому удалось это постановление провести, затянуть дело с оконча-

тельным решением вопроса, положив его «в долгий ящик». Особенно это заметно во втором пункте постановления, обязывающем не только Рыкова, Калинина, Молотова и Каменева прочесть вызвавший скандал рассказ «Иван да Марья», но и ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПБ прочитать еще и другую повесть Б. Пильняка — «Метель», в конфискованную книгу не входившую.

Неделю спустя, на следующем заседании Политбюро было все-таки принято:

- ▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)  
ОБ ОТМЕНЕ КОНФИСКАЦИИ КНИГИ  
Б.А. ПИЛЬНЯКА  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ МАНИТ».

*17 августа 1922 г.*

№ 23. п. 20 — О конфискации книги Б. Пильняка «Смертельное манит».

Предложить ГПУ отменить конфискацию книги Пильняка.

*(Власть и художественная интеллигенция.  
М., 2002. Стр. 42)*

Сталин, когда это было ему нужно, умел отступить, маневрировать. А может быть, — и даже скорее всего, — он и не собирался настаивать на конфискации книги Пильняка. Просто хотел сперва показать, «кто хозяин в доме».

Во всяком случае, сразу согласиться с позицией Троцкого, какой бы она ни была, он не мог.

Его собственная позиция по обсуждаемому вопросу, — даже если она у него и была, — тут тоже никакого значения не имела. Просто если Троцкий говорил «Да», он отвечал: «Нет». И наоборот.

Если Троцкий предлагает жесткий путь объединения писателей, он предлагает более мягкий. Если Троцкий предлагает немедленно («весьма спешно») отменить решение Уншлихта о конфискации книги Пильняка, он настаивает на том, чтобы с этим решением повременить.

\* \* \*

Ссылаясь в одном случае на Эренбурга, в другом на Пильняка — писателей, репутация которых у ортодоксальных тогдашних (рапповских) литвождей была самая плохая, — Сталин, как всегда, преследовал сразу несколько целей.

Прежде всего демонстрировал широту своих литературных вкусов, неприятие сектантской рапповской узости.

Показывал, что не хуже Троцкого осведомлен о том, «кто есть кто» в современной литературе. Лев Давыдович, мол, печатает в «Правде» литературно-критические статьи, а потом даже издает их отдельными книгами. Писатель! Но вот, видите, и мы, практические работники, на плечах которых тяжкое бремя других, не столь приятных дел, тоже не лыком шиты. Почитываем кое-что. Следим за литературным процессом.

Он подавал этим знак и самим писателям, которых так благожелательно упомянул. И перед ними тоже бравировал своей начитанностью.

И он действительно читал много.

И если даже «Голый год», на который сослался в последней главе своих лекций «Об основах ленинизма», на самом деле не прочел или прочел бегло — через пятое на десятое, — то уж другую повесть Пильняка, явившуюся на свет год спустя, прочел наверняка. И очень внимательно.

Сюжет второй

## «ПИЛЬНЯК ЖУЛЬНИЧАЕТ И ОБМАНЫВАЕТ НАС»

31 октября 1925 года в Москве, в Солдатенковской (Боткинской) больнице, умер председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам, начальник штаба РККА, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) Михаил Васильевич Фрунзе. Смерть наступила во время операции по поводу язвы желудка. Непосредственной причиной остановки сердца наркомвоенмора стала двойная доза хлороформа, введенная ему для обезболивания по предложению доктора В.Н. Розанова. Он же как будто и настоял на операции, в которой, как считали многие, на самом деле не было никакой необходимости.

Владимир Николаевич Розанов был старшим врачом хирургического отделения Солдатенковской (Боткинской) больницы, позже — с 1928 или 1929 года — стал заведующим хирургическим отделением Кремлевской больницы.

В 1919 году он был вызван к раненному эсеровской пулей Ленину.

В самом начале 20-х Розанов провел сложнейшую операцию аппендицита, исходом кото-

рой, по его словам, сугубо интересовался Ленин. В этот раз его пациентом был доверившийся ему Сталин.

11 марта 1923 года Сталин позвонил Розанову и попросил его участвовать в лечении Ленина.

Болезнь Ленина хирургического вмешательства, как известно, не требовала, и никакой необходимости в появлении хирурга у постели смертельно больного вождя, разумеется, не было. Эта несообразность, видимо, была замечена и потребовала специального разъяснения.

Разъяснение в некрологе В.Н. Розанову (он умер в 1934 году) дала — не исключено, что по прямому указанию Сталина, бывшего тогда уже полновластным хозяином страны, — сестра Ильича Мария Ильинична:

- ▶ В тяжелые моменты его болезни в нашем доме попеременно дежурили врачи, пользовавшие Владимира Ильича, главным образом невропатологи. Но при приглашении дежурных врачей мы и ближайшие товарищи исходили из соображений не только узко медицинского характера. Важно было и отношение Владимира Ильича к тому или иному врачу. И поэтому в число дежурных врачей т. Сталин, звавший хорошо отношение Ильича к Владимиру Николаевичу, пригласил и его.

*(Н. Петренко. Ленин в Горках — болезнь и смерть. Источниковедческие заметки. Минувшее-2. М., 1990. Стр. 207)*

Трудно сказать, была ли в таком разъяснении (к тому же и опоздавшем на десять лет) у Сталина насущная необходимость. О какой-либо сомнительной роли В.Н. Розанова в лечении и смерти Ленина никаких слухов как будто не было. А о сомнительной — и даже зловещей — роли, какую он будто бы сыграл в неожиданной и во многом загадочной смерти М.В. Фрунзе, — слух был.

Современный историк так объясняет появление этого слуха:

- ▶ ...в мае 1924 из Кремлевской больницы в Боткинскую к Розанову был переведен давно лечившийся у

Розанова, Гетье и за границей В.П. Ногин. Через несколько дней после операции больной скончался (послеоперационный перитонит)... Две неудачные операции могли породить слухи.

*(Там же)*

Какую-то роль могло тут, конечно, играть и это. Две неудачные операции подряд. И в обоих случаях под ножом хирурга погибли видные государственные и партийные деятели. (В.П. Ногин в первые советские годы тоже был наркомом, а с 1921 года — председателем Центральной ревизионной комиссии РКП(б).) К тому же оба были оперированы не в Кремлевской больнице, где им полагалось лежать по штату, а у Розанова, в Боткинской.

Насчет Ногина не скажу, но для слухов, распространившихся после известия о внезапной смерти наркомвоенмора, кое-какие основания были.

Сегодня, когда за минувшие с того времени годы на старую ложь напластовались тонны новой лжи (как в «Министерстве правды» у Джорджа Оруэлла), порой приходится слышать, что источником этих слухов была «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка. На самом деле, конечно, все было ровно наоборот: не повесть стала источником слухов, а именно ходившие тогда слухи породили эту повесть, легли в ее основу.

А слухи были такие.

Говорили, что М.В. Фрунзе будто бы лечиться на операцию не хотел. Чувствовал он себя хорошо, и были все основания предполагать, что язва у него зарубцевалась и в операции никакой нужды уже нет. Но решение о том, что он должен лечь на операционный стол, было будто бы принято высшей партийной инстанцией, и он вынужден был, против собственной воли, подчиниться этому решению в порядке партийной дисциплины.

А высшая партийная инстанция будто бы вовсе не была заинтересована в том, чтобы наркомвоенмор эту операцию перенес. И врачам будто бы были даны на этот счет соответствующие указания.

Споры о том, насколько основательны были эти слухи, не прекращаются и поныне. В последнее время они даже вспыхнули с новой силой. Поводом для этого стал выход на экран киносериала «Московская сага» (по известному роману В. Аксенова), где это старое объяснение загадочной смерти наркомвоенмора было повторено.

Многочисленные попытки опровергнуть его, продиктованные, разумеется, «благородным» стремлением обелить Сталина, снять с него вину за преждевременную гибель наркомвоенмора, сводятся к двум основным версиям.

Первая не отрицает, что М.В. Фрунзе действительно был умерщвлен. Но «заказчиком» убийства, оказывается, был не Сталин, а — Троцкий:

- ▶ Только в последние годы отечественные историки, наконец, стали понимать: во время Гражданской войны Троцкий и его сторонники целенаправленно и планомерно уничтожали, в том числе и чужими руками, не исключая белогвардейских, наиболее талантливых полководцев из народа — Чапаева, Щорса, Тимофея Черняка, В. Боженко, А. Богунского, впоследствии Фрунзе... А если к этому добавить, что за кулисами этих убийств, как правило, стояли фигуранты процессов 1937—1938 годов и их приспешники, то нет никаких оснований сомневаться в указанном умысле Троцкого.

*(Арсен Мартиросян. Тайны и загадки XX века.  
Тайны убийств и покушений. Повесть о «повести»)*

Вторая версия, хоть и не так прямо, но тоже нацеленная на то, чтобы обелить Сталина, исходит из того, что никакого «умерщвления» вовсе даже и не было, а был просто несчастный случай, каких — при тогдашнем состоянии медицины — случалось немало:

- ▶ ...Документально известно, как и почему пришли к решению об операции, кто оперировал и кто «был на наркозе» (см. В. Тополянский. «Вожди в законе». М., 1996).

До сих пор на протяжении более 100 лет категори-



ческим, почти абсолютным показанием к оперативному лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки является только острое кровотечение или опасность его повторения. Были (С.С. Юдин) и сейчас есть хирурги, придерживающиеся более активной хирургической тактики и, наоборот, предпочитающие консервативное лечение, а радикальное оперативное вмешательство рекомендуемые проводить только вне обострения (т.е. в холодном периоде). И никто из хирургов с мировым именем, кроме С.С. Юдина, не описал эти страдания, может быть самые драматичные из существующих на нашей грешной земле, — страдания в связи с необходимостью принять решение: оперировать или не оперировать (С.С. Юдин. «Этюды желудочной хирургии». М., Медицина, 1965, 2-е изд.).

В те далекие 20-е годы высшие руководители вмешивались не только в процесс лечения своих соратников, но порой даже в их личную жизнь. В приказном порядке (решение ЦК и/или лично Ленина) заставляли лечиться Дзержинского, Цюрупу и других «номенклатурных» работников. М.В. Фрунзе не мог быть исключением, а течение его язвенной болезни могло потребовать планового оперативного вмешательства, что и было выполнено после трех консилиумов с 8 по 27 октября: 1-й в составе 12 врачей, 2-й — 17 консультантов и 3-й — четверых ведущих хирургов.

Протокол операции соответствует рецидивирующему течению язвенной болезни желудка. В протоколе также отмечено, что «...больной трудно засыпал и плохо переносил наркоз; общая продолжительность операции составила 35 минут, при этом израсходовано 60 г хлороформа и 140 г эфира» (здесь и далее цит. по В. Тополянскому). При явлениях паралича сердца смерть наступила через 39 часов.

Через 10 минут после смерти Фрунзе в больницу прибыли И.В. Сталин, А.И. Рыков, А.С. Бубнов, И.С. Уншлихт, А.С. Енукидзе и А.И. Микоян.

Протокол вскрытия подтвердил язвенную болезнь

желудка с типичными для этой болезни осложнениями, да и сам М. Фрунзе считал, что болезнь делает его инвалидом.

Проблема обезболивания во время операции в 20-х годах прошлого столетия была весьма далека не только от своего окончательно решения, но даже не приблизилась к нему и совсем не имела четких научных контуров. Несмотря на опыт применения эфира со времен Крымской войны 1846—47 гг. (Н.И. Пирогов впервые применил эфир для оказания хирургической помощи раненым). С этого же времени для общего обезболивания (в просторечии наркоза) стал применяться и хлороформ, который, по сравнению с эфиром, обладал минимум двумя преимуществами: быстрым и более сильным наркотическим эффектом и невоспламеняемостью.

Первая официально зарегистрированная «наркотическая смерть» от применения хлороформа случилась в Англии в 1848 году, и с тех пор подобных трагедий во всем мире было достаточное количество.

Только через более чем сто лет ученые смогли установить причину хлороформных «наркотических» смертей; наиболее вероятная причина заключается в излишней эмоциональности пациентов, т.е. в мощном неадекватном выбросе катехоламинов перед операцией (в современной трактовке — стресс-реакция). Этот фактор, постоянно присутствующий у любого оперируемого, учитывал еще Н.И. Пирогов и перед проведением эфирного наркоза для уменьшения расхода эфира вводил больному морфий, что делало наркоз более управляемым.

Как будет реагировать тот или иной пациент на предстоящую операцию, иногда невозможно предвидеть: описаны случаи инфаркта миокарда за несколько дней или даже часов перед проведением оперативного вмешательства. М. Фрунзе был весьма эмоциональным человеком и физически очень сильным, что и объясняет большое количество наркотизирующих средств.

И только достижения современной анестезиологии (науки об обезболивании) позволили в 60—70-х годах прошедшего столетия одному из выдающихся анестезиологов СССР Б.Г. Жилису (НИИ им.Н.В. Склифосовского) регулярно применять хлороформ как при плановых, так и при экстренных оперативных вмешательствах.

Чтобы избежать возможного отрицательного действия наркоза, в 20—30-е годы лишь немногие хирурги могли оперировать под спинальной анестезией, но для этого надо было быть виртуозным хирургом и за 40—50 минут выполнить обширную операцию, например, в связи с язвенной болезнью желудка. Таким хирургом в те годы был только С.С. Юдин, который до операции сам добивался полноценного обезбоживания.

Стало быть, трагедия с Фрунзе, увы, не была какой-то наркозной редкостью.

*(В. Сигаев. Историк медицины. Газета «Дуэль». 7 декабря 2002 г.)*

Первую версию, перекалывающую вину за смерть Фрунзе со Сталина на Троцкого, обсуждать, разумеется, не стоит. Я привел ее только для того, чтобы лишний раз подивиться **живучести** тотальной сталинской лжи. Что же касается второй версии, медицинской, то она, быть может, выглядела бы даже убедительной, если бы не то обстоятельство, что слухи о подлинной причине смерти наркомвоенмора возникли отнюдь не на медицинской почве. Для появления и распространения этих слухов были совсем другие, куда более серьезные основания.

А у людей, близких к сталинской политической кухне, и вовсе не было никаких сомнений в подлинной причине внезапной смерти наркомвоенмора.

Практика уже в то время осуществляемых по приказу Сталина политических убийств в близких к Сталину кругах не была тайной за семью печатями:

- ▶ ...В начале марта новый пленум наносит новый удар по Троцкому: заместитель Троцкого Скланский (кото-

рого Сталин ненавидит) снят; утвержден новый состав Реввоенсовета. Троцкий еще оставлен председателем, но его заместителем назначен Фрунзе...

На тройке обсуждается вопрос, что делать со Склянским. Сталин почему-то предлагает послать его в Америку председателем Амторга. Это пост большой. С Америкой дипломатических отношений нет. Там нет ни полпредства, ни торгпредства. Есть Амторг — торговая миссия, которая торгует. На самом деле она выполняет функции и полпредства, и торгпредства, и базы для всей подпольной работы Коминтерна и ГПУ...

Удивляюсь сталинскому предложению не только я. Сталин ненавидит Склянского (который во все время Гражданской войны преследовал и цукал Сталина) больше, чем Троцкого...

Склянский был назначен председателем Амторга и уехал в Америку. Когда скоро после этого пришла телеграмма, что он, прогуливаясь на моторной лодке по озеру, стал жертвой несчастного случая и утонул, то бросилась в глаза чрезвычайная неопределенность обстановки этого несчастного случая: выехал кататься на моторной лодке, долго не возвращался, отправились на розыски, нашли лодку перевернутой, а его утонувшим. Свидетелей несчастного случая не было.

Мы с Мехлисом немедленно отправились к Каннеру и в один голос заявили: «Гриша, это ты утопил Склянского». Каннер защищался слабо: «Ну, конечно, я. Где бы что ни случилось, всегда я». Мы настаивали, Каннер отнекивался. В конце концов я сказал: «Знаешь, мне, как секретарю Политбюро, полагается все знать». На что Каннер ответил: «Ну, есть вещи, которые лучше не знать и секретарю Политбюро». Хотя он, в общем, не сознался... но мы с Мехлисом были твердо уверены, что Склянский утоплен по приказу Сталина и что «несчастный случай» был организован Каннером и Ягодой.

*(Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990, стр. 90—91.)*

Фрунзе, сменивший Троцкого на посту Председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам, не был ставленником Сталина. Для Сталина он был промежуточной, переходной фигурой. Назначить на пост, с которого только что был убран Троцкий, во всем ему послушного, ничтожного Ворошилова Сталин тогда еще не мог. Пришлось согласиться с предложением Зиновьева. (Это он предложил кандидатуру Фрунзе.)

Верный своей неизменной тактике Сталин делал вид, что назначение Фрунзе на пост наркомвоенмора его вполне устраивает. Но на самом деле Фрунзе — так, во всяком случае, ему казалось — на этом посту представлял для него куда большую опасность, чем уже смещенный с поста зампреда Реввоенсовета Складанский.

Вот что об этом рассказывает тот же Борис Бажанов:

- ▶ Во главе военного ведомства стал Фрунзе. Надо сказать, что еще в мае 1924 года были добавлены три кандидата в члены Политбюро: Фрунзе, Сокольников и Дзержинский.

Старый революционер, видный командир гражданской войны, Фрунзе был очень способным военным. Человек очень замкнутый и осторожный, он производил на меня впечатление игрока, который играет какую-то большую игру, но карт не показывает. На заседаниях Политбюро он говорил очень мало и был целиком занят военными вопросами.

Уже в 1924 году, как председатель комиссии ЦК по обследованию состояния Красной Армии, он доложил в Политбюро, что Красная Армия в настоящем своем виде совершенно небоеспособна, представляет скорее распущенную банду разбойников, чем армию, и что ее надо всю распустить. Это и было проделано, к тому же в чрезвычайном секрете... Второе глубокое изменение, которое произвел Фрунзе, — он добился упразднения института политических комиссаров в армии; они были заменены помощниками командиров по политической части с функциями политической пропаганды и без права вмешиваться в командные решения. В 1925 г.

Фрунзе дополнил все это перемещениями и назначениями, которые привели к тому, что во главе военных округов, корпусов и дивизий оказались хорошие и способные военные, подобранные по принципу их военной квалификации, но не по принципу их коммунистической преданности... Я не имел случая говорить со Сталиным по этому поводу, да и не имел ни малейшего желания привлекать его внимание к этому вопросу. Но при случае я спросил у Мехлиса, приходилось ли ему слышать мнение Сталина о новых военных назначениях. Я делал при этом невинный вид: «Сталин ведь всегда так интересуется военными делами». — «Что думает Сталин?» — спросил Мехлис. — Ничего хорошего. Посмотри на список: все эти Тухачевские, Корки, Уборевичи, Авксентьевские — какие это коммунисты. Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной Армии». Я поинтересовался: «Это ты от себя или это — сталинское мнение?» Мехлис надулся и с важностью ответил: «Конечно, и его, и мое».

Между тем, Сталин вел себя по отношению к Фрунзе скорее загадочно. Я был свидетелем недовольства, которое он выражал в откровенных разговорах внутри тройки по поводу его назначения. А с Фрунзе он держал себя очень дружелюбно, никогда не критиковал его предложений... Что это могло значить? Не было ли это повторением истории с Углановым (о которой я расскажу дальше), то есть Сталин делает вид, что против зиновьевского ставленника Фрунзе, а на самом деле заключил с ним секретный союз против Зиновьева. На это не похоже. Фрунзе не в этом роде, и ничего общего со Сталиным у него нет.

Загадка разъяснилась только в октябре 1925 года, когда Фрунзе, перенеся кризис язвы желудка (от которой он страдал еще от времени дореволюционных тюрем), вполне поправился. Сталин выразил чрезвычайную заботу об его здоровье. «Мы совершенно не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работников». Политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе

сделать операцию, чтобы избавиться от его язвы. К тому же врачи Фрунзе операцию опасной отнюдь не считали.

Я посмотрел иначе на все это, когда узнал, что операцию организует Каннер с врачом ЦК Погосянцем. Мои неясные опасения оказались вполне правильными. Во время операции хитроумно была применена как раз та анестезия, которой Фрунзе не мог вынести. Он умер на операционном столе, а его жена, убежденная в том, что его зарезали, покончила с собой...

Почему Сталин организовал это убийство Фрунзе? Только ли для того, чтобы заменить его своим человеком — Ворошиловым? Я этого не думаю: через год-два, придя к единоличной власти, Сталин мог без труда провести эту замену. Я думаю, что Сталин разделял мое ощущение, что Фрунзе видит для себя в будущем роль русского Бонапарта. Его он убрал сразу, а остальных из этой группы военных (Тухачевского и прочих) расстрелял в свое время.

*(Там же. Стр. 140—141)*

Противники этой версии утверждают, что жена Фрунзе вовсе не покончила с собой, а умерла от тифа. Приводят даже письма наркомвоенмора к жене. Он будто бы писал ей из больницы, что вот-вот соберется консилиум, и выражал опасение, что от операции откажутся. Сам, стало быть, оперироваться хотел.

Но даже если такие письма и были, они, в сущности, ни о чем не говорят. Мало ли что он мог писать из больницы жене, чтобы уверить ее, что сам считает предстоящую ему операцию благом, верит в нее и надеется на благополучный исход.

Версию Бажанова повторил Л.Д. Троцкий в своей книге о Сталине. Он разошелся с Бажановым только в одном пункте:

- ▶ ...в апреле 1925 г. я был смещен с поста главы военного ведомства. Моим преемником стал Фрунзе, старый революционер, прошедший годы на каторге. Не будучи политически крупной фигурой, он обнаружил в

гражданской войне несомненные качества полководца и твердый характер. На посту руководителя вооруженных сил ему суждено было оставаться недолго: уже в ноябре 1925 г. он скончался под ножом хирурга. Но за эти немногие месяцы Фрунзе проявил слишком большую независимость, охраняя армию от опеки ГПУ: это было то самое преступление, за которое погиб 12 лет спустя маршал Тухачевский. Оппозиция нового главы военного ведомства создавала для Сталина огромные опасности; ограниченный и покорный Ворошилов представлялся ему гораздо более надежным инструментом. Бажанов изображает дело так, что у Фрунзе был план государственного переворота. Это только догадка, и притом совершенно фантастическая. Но, несомненно, Фрунзе стремился освободить командный состав от ГПУ и ликвидировал в довольно короткий срок комиссарский корпус. Зиновьев и Каменев уверяли меня впоследствии, что Фрунзе был настроен в их пользу против Сталина. Факт во всяком случае таков, что Фрунзе сопротивлялся операции.

Из всех данных ход вещей рисуется так. Фрунзе страдал язвой желудка, но считал, вслед за близкими ему врачами, что его сердце не вынесет хлороформа, и решительно восставал против операции. Сталин поручил врачу ЦК, т.е. своему доверенному агенту, созвать специально подобранный консилиум, который рекомендовал хирургическое вмешательство. Политбюро утвердило решение. Фрунзе пришлось подчиниться, т.е. пойти навстречу гибели от наркоза...

Права ли была в этом случае партийная молва, я не знаю; может быть, никто никогда не узнает. Но характер подозрения сам по себе знаменателен. Во всяком случае, в конце 1925 г. власть Сталина была уже такова, что он смело мог включать в свои административные расчеты покорный консилиум врачей, и хлороформ, и нож хирурга.



Нетрудно заметить, что, выразив несогласие с догадкой Бажанова (как он говорит, совершенно фантастической), будто у Фрунзе был некий «план государственного переворота» (в этом и состоял единственный пункт расхождения его версии с версией Бажанова), Троцкий приписал Бажанову то, чего тот на самом деле не говорил.

Бажанов хоть и намекает, что М.В. Фрунзе при случае мог бы стать русским Бонапартом, вовсе не утверждал, что такие планы у наркомвоенмора действительно были. Но Троцкий, я думаю, был прав, говоря, что вовсе не какие-то мифические бонапартистские замыслы М.В. Фрунзе стали причиной его гибели. Скорее всего Сталин просто опасался, что кандидат в члены Политбюро, предреввоенсовета и наркомвоенмор, выдвинутый на эти посты Зиновьевым и Каменевым, в будущей — неизбежной — его схватке с двумя другими членами правящей «тройки», окажется не на его, а на их стороне.

Впрочем, и опасность бонапартистского варианта его тоже могла тревожить. Разумеется, не потому, что такое развитие событий представляло угрозу для революции, а потому, что на роль русского Бонапарта метил он сам.

Продолжая рассуждать на эту тему, Троцкий вспоминает свои разговоры с Зиновьевым и Каменевым о Сталине, с которыми тот в пору «медовых месяцев» их триумvirата, бывало, откровенничал. Вспоминает брошенную ему однажды реплику Зиновьева: «Вы думаете, Сталин не взвешивал вопроса о вашем физическом истреблении? Взвешивал, и не раз...»

И заключает:

- ▶ В 1930 г., когда вышла книга Бажанова, это рассуждение показалось мне литературным упражнением. После московских процессов я более серьезно отнесся к сравнительной оценке коховских бацилл и ядов Борджиа. Откуда это? Кто внушил молодому человеку эти мысли? Бажанов получил свое воспитание в передней у Сталина. Там вопросы о бациллах и ядах обсуждались, следовательно, уже до 1926 года, когда Бажа-

нов покинул секретариат Сталина, чтобы два года спустя бежать за границу...

*(Там же. Стр. 260)*

Итак, Борис Бажанов свою книгу «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» выпустил в свет в 1930-м. А Троицкий свою книгу о Сталине заканчивал (не успел закончить) в 1940-м. И не надо при этом забывать, что выяснять загадочные обстоятельства смерти М.В. Фрунзе и рассуждать на эту тему в открытой печати они могли только после того, как оба (разными путями и по разным причинам) оказались на Западе.

А в СССР — в 1926 году — это могла обсуждать только, как говорит Троицкий, «партийная молва».

Слух, ставший достоянием этой «партийной молвы», мог, конечно, дойти — и наверняка доходил — и до беспартийных. Но о том, чтобы он проник на страницы какого-нибудь журнала, казалось, нельзя было и мечтать.

И вот — это произошло.

Загадочная смерть наркомвоенмора стала сюжетом произведения, в котором все коллизии этого сюжета были рассмотрены и исследованы без каких-либо иносказаний, с поразительной откровенностью и прямоотой.

Подлинные имена главных действующих лиц не назывались. Но ни у кого не оставалось ни малейших сомнений насчет того, о ком и о чем идет речь.

Произведение называлось «Повесть непогашенной луны». Автором его был писатель Борис Пильняк.

\* \* \*

Повесть не оставляла ни малейших сомнений насчет того, какое событие легло в ее основу. Всем все было ясно и так. Но автор для пушней ясности принял еще и некоторые дополнительные меры. Он предпослал этому своему сочинению такое коротенькое предисловие:

- ▶ Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М.Ф. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, ед-

ва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю, и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не является репортаж о смерти наркомвоена. Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц.

*Бор. Пильняк*

*Москва*

*28 янв. 1926 г.*

Этим предисловием все точки над *i* были поставлены. Теперь уже до самого тупого и неосведомленного читателя наверняка дойдет, где тут зарыта собака.

Но и этого Пильняку показалось мало.

К этому предисловию он присовокупил еще и посвящение:

► Воронскому, скорбно, дружески.

Для «партийной молвы» не было тайной, что Александр Константинович Воронский был близким другом Михаила Васильевича Фрунзе. (Фрунзе в 1918 г. был председателем Иваново-Вознесенского губкома партии и губисполкома, а Воронский в это же время работал в Иваново-Вознесенском губисполкоме и редактировал местную газету «Рабочий край».)

Как я уже сказал, никакой нужды в этих дополнительных мерах, предпринятых автором для того, чтобы его намерения были ясны всем и каждому, не было. Все было ясно и так. Сюжет повести — один к одному — совпадал со слухами, подхваченными партийной (и не только партийной) молвой.

Пересказывать ее сюжет я поэтому не буду. Но без постоянных обращений к тексту повести обойтись не смогу, потому что тут важен не столько сам сюжет, сколько разработка автором отдельных поворотов и перипетий этого сюжета.

Повесть начинается с того, что к салон-вагону экстренного поезда, привезшего спешно — неизвестно по какому делу — вызванного в Москву командарма подходит человек «в демисезонном стареньком пальто и — не по сезону — в меховой шапке ушанке».

- ▶ Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести, он сказал:

— Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов.

Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил:

— Товарищ командарм еще не вставали.

Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на «ты», сказал дружески:

— Ну ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов.

Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. В салоне, потому что опущены были занавеси и горело электричество, застряла ночь. В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг: пахло гранатами, апельсинами, грушами, хорошим вином, хорошим табаком, — пахло хорошим благословеньем полуденных стран. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга и около нее тарелка с недоеденной манной кашей, — за кашей — расстегнутый кобур кольта, с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стояли раскупоренные бутылки. Трое военных, с ромбами на рукавах, сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены, сидели очень скромно, навтыяжку, — безмолвствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу...

Нетрудно догадаться, что этот человек в стареньком демисезонном пальто и несвежих ботинках, чувствующий себя так свободно в этом салон-вагоне, где трое военных с ромба-

ми на рукавах сидят навтыжку, — старинный и близкий друг командарма.

Эта естественная догадка тут же и подтверждается:

- ▶ Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой на фабрике, тогда, далеко в молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зுவскими ткачами; там, в юности, затерялась река Клязьма, леса за Клязьмой по дороге в город Покров, в Покровскую пустынь, где собирались комитетчики: там была голоштанная ткачья молодость с подпольными книжечками, с изданиями «Донской Речи», — с «Искрой», как Евангелие, с рабочими казармами, сходками, явками, с широкой площадью у станции, где в пятом году свистали над рабочими толпами казачьи пули и плетки; потом была — совместная богородская тюрьма, — и дальше — бытие революционера-профессионала — ссылка, побег, подполье, таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго, — и тогда: тучи четырнадцатого года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург, — и тогда: гроза семнадцатого года, Смольный, Октябрь, гром пушек над Московским Кремлем, и — один начальник штаба Красной гвардии в Ростове-на-Дону, а другой — предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Туле, для одного тогда — войны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями, — для другого — губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания, проекты и доклады; для обоих — все, вся жизнь, все мысли во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Но навсегда один другому — Николаша, один другому — Алексей, Алешка, — навсегда товарищи, ткачи, без чинов и регламентов.

Как тут не вспомнить человека, которому «скорбно, дружески» посвятил автор эту свою повесть. И невольно закрадывается мысль: уж не он ли был прототипом этого Попова?

Он, не он — это в конце концов даже и неважно. Важно

другое: то, что первыми же репликами, которыми обмениваются в салон-вагоне командарма старые друзья, сразу же — круто — завязывается трагический сюжет повести:

► — Как твоё здоровье, Николаша? — спросил Попов заботливо, как спрашивают братья.

— Здоровье мое — как следует, совсем наладилось, здоров — а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле, — ответил Гаврилов, не то шутя, не то серьезно: во всяком случае, невеселой шуткой.

Что это? Дурное предчувствие? Или он что-то знает?

Похоже, что знает. Во всяком случае, догадывается.

Спустя минуту-другую Попов, не удовлетворившись ответом друга, повторяет свой вопрос:

► — Ты мне расскажи, Николаша, как твоё здоровье, — спросил Попов.

— Видишь ли, у меня была, а может быть, и есть, язва желудка. Ну, знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные, — так, гадость страшная, — командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею. — Посылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли, стал на работу, проработал полгода, опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина... — Командарм перебил себя: — Алешка, может, вина хочешь, вон там, под лавкой, — я привез тебе ящичишко, откупори.

Попов сидел, подперши голову ладонью, он ответил:

— Нет, я с утра не пью. Ты говори.

— Ну, вот, здоровье мое совсем в порядке. — Командарм помолчал. — Скажи, Алешка, зачем меня вызвали сюда, не знаешь?

— Не знаю.

— Пришла бумага, — выехать прямо из Кавказа, — даже к жене не заезжал. — Командарм помолчал. — Черт его знает, не могу придумать, в чем дело, в армии все в порядке, ни съездов, ничего...

— Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь? — сказал Попов. — Что это ты болтал про почетный караул?

Командарм ответил не сразу, медленно:

— В Ростове я встретил Потапа (он партийной кличкой назвал крупнейшего революционера из «стаи славных» осьмнадцатого года), — так вот, он говорил... убеждал меня сделать операцию, вырезать язву или зашить ее, что ли, — подозрительно убеждал. — Командарм смолк. — Я чувствую себя здоровым, против операции все мое нутро противится, не хочу — так поправлюсь. Болей ведь нет уже никаких, и вес увеличился... и... черт знает, что такое, — взрослый человек, старик уже, вельможа, — а смотрю себе в брюхо. Стыдно... Крови я много видел, а... а операции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут...

Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал — о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома номер первый, просят пожаловать туда... Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там, в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось: «Приезд командарма Гаврилова» — и вот на третьей странице было сообщено, что «сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии для того, чтобы оперировать язву в желудке». В этой же заметке сообщалось, что «здоровье товарища Гаврилова вызывает опасение», но что «профессора ручаются за благоприятный исход операции».

Старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью, — Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал:

— Алешка, слышишь? Это неспроста. Д-да. Что же делать? — И крикнул: — Вестовой, шинель!

Нет, не операции боится командарм. Подумаешь, дела — операция!

Не в самой операции тут дело, а в том, что он чувствует, — не чувствует даже, а точно знает: **все это неспроста**. И разговор с Потапом, уговаривавшим его лечь на операцию. И вот это сообщение в сегодняшней газете. И эта машина, которая сейчас пришла за ним «из дома номер первый».

Разговор, который состоялся у него в этом доме с «негорбящимся человеком» (именно так именует его автор, — в отличие от всех других персонажей повести, у каждого из которых есть имя и фамилия), все эти мрачные мысли командарма, это его знание, что **все это неспроста**, полностью подтверждает.

Это очень странный разговор. Настолько странный и настолько важный для понимания глубинного смысла повести, что придется привести его тут полностью:

► Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.  
Первый — негорбящийся человек:

— Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо — к сожалению, я полагаю, — в очень большой мере движется смертью и кровью — особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад, и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежали все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав.

Второй, командарм:

— Эх, как ты тут обставился, совсем министр, — у тебя здесь курить можно? — Я окурков не вижу.

Первый:

— Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю.

Второй, строго, быстро:



— Говори без предисловий, — зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори!

П е р в ы й:

— Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал.

В т о р о й:

— Ты как хочешь, а я все-таки закурю. Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу...

П е р в ы й:

— Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать четыре тысячи людей на верную смерть. Ты приказал послать. Правильно сделал. — Через три недели ты будешь на ногах. Ты извини меня, я уже отдал приказ...

Звонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего-навсего каких-нибудь тридцать — сорок проводов. П е р в ы й снял трубку, слушал... переспросил, сказал: «Ноту, французам, — конечно, официально, как говорили вчера. Ты понимаешь, помнишь, мы ловили форелей? Французы очень склизкие. Как? Да, да, подвинти. Пока».

П е р в ы й:

— Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов.

Командарм докурил папиросу, всунул окурочок к синим и красным карандашам — поднялся из кресла.

К о м а н д а р м:

— Прощай.

П е р в ы й:

— Пока.

Если операция не опасна, если профессора ручаются за благоприятный исход, уверяют, что через месяц командарм

будет на ногах, — зачем все эти разговоры о жернове революции, об историческом колесе, которое движется смертью и кровью, о праве посылать людей на смерть, которым командарм и сам не пренебрегал, а однажды даже собственной рукой пристрелил из нагана струсившего красноармейца...

Все эти высокие слова в этом случае вроде совершенно ни к чему?

Нет, они тут очень даже к чему. Потому что на самом деле речь идет о том, что операцию, о которой идет речь, **командарм не переживет**. И они оба это знают.

«Негорбящийся человек» даже и не собирается это от командарма скрывать. В сущности, он говорит ему об этом прямым текстом:

— Да, ты умрешь. Ты должен умереть. Такова историческая необходимость. Этого требует революция, как она требовала от тебя, чтобы ты пристрелил того струсившего красноармейца. И говорить тут больше не о чем. Извини, я уже отдал приказ.

Этот приказ, который он отдал, был не единственным. За ним, как мы узнаем из дальнейшего хода событий, последовали еще два. Один — письменный, под грифом: «Совершенно секретно», другой — устный, о котором знали только двое: тот, кто его отдал, и тот, кто его услышал.

И эти два суперсекретных, тайных приказа отдал тоже он — «негорбящийся человек».

\* \* \*

«Негорбящийся человек» — это, конечно, Сталин.

Недаром, прочитав объяснительную записку Пильняка, обращенную к председателю совнаркома (*документ № 6*) и проект решения, представленный ему Молотовым, он не ограничился деловой пометкой («Думаю, что этого довольно»), а, не удержавшись, добавил: «Пильняк жульничает и обманывает нас».

Что правда, то правда. В обеих своих объяснительных записках — и той, что была направлена Рыкову, и во второй, более подробной, адресованной И.И. Скворцову-Степанову (*документ № 8*), Пильняк действительно и жульничал, и врал:

- ▶ В повести есть «негорбящийся человек», мне говорят сейчас, что это есть пасквильная карикатура на тов. Сталина: вы обратите внимание, что все персонажи названы именами и только «негорбящийся человек» не имеет имени? — это я сделал потому, что при написании повести этим персонажем я хотел олицетворить не человека, а волю партии.

*(«Исключить всякие упоминания...» Очерки истории советской цензуры. М., 1995. Стр. 72)*

На самом деле, конечно, намерения у него были прямо противоположные, о чем с особенной наглядностью свидетельствует другое обозначение «негорбящегося человека» в диалоге, который тот ведет с командармом. Командарм там тоже фигурирует не под своей фамилией (Гаврилов), а под «номером»: в т о р о й. А «негорбящийся человек» там, соответственно, называется — п е р в ы й. То есть как бы первый из двух участников диалога.

Но по ситуации и по смыслу разговора, который они ведут, слово п е р в ы й обретает совершенно другое значение. Оно прямо дает нам понять, КТО он, этот «негорбящийся человек», КТО на самом деле выведен под этим прозрачным псевдонимом.

После смерти Ленина вся реальная власть в стране практически принадлежала так называемой «тройке», в которую входили Сталин, Каменев и Зиновьев. Триумvirат этот сложился еще при жизни Ленина, но после его смерти, сразу оттеснив Троцкого, практически сосредоточил в своих руках все рычаги управления партией, а значит, и страной.

- ▶ Накануне заседания Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин собираются, сначала чаще на квартире Зиновьева, потом обычно в кабинете Сталина в ЦК. Официально — для утверждения повестки Политбюро. Никаким уставом или регламентом вопрос об утверждении повестки не предусмотрен. Ее могу утверждать я, может утверждать Сталин. Но утверждает ее тройка, и это заседание тройки и есть настоящее засе-

дание секретного правительства, решающее, вернее, предрешающее все главные вопросы... Я докладываю вкратце всякий вопрос, который предлагается на повестку Политбюро, докладываю суть и особенности. Формально тройка решает, ставить ли вопрос на заседании Политбюро или дать ему другое направление. На самом деле члены тройки стовариваются, как этот вопрос должен быть решен на завтрашнем заседании Политбюро, обдумывают решение, распределяют даже между собой роли при обсуждении вопроса на завтрашнем заседании.

Я не записываю никаких решений, но все по существу предрешено здесь. Завтра на заседании Политбюро будет обсуждение, будут приняты решения, но все главное обсуждено здесь, в тесном кругу; обсуждено откровенно, между собой (друг друга нечего стесняться) и между подлинными держателями власти. Собственно, это и есть настоящее правительство...

Правда, ничто не вечно под луной, не вечна и тройка; но еще два года этот механизм власти будет действовать отлично.

*(Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990, стр. 48)*

Зиновьеву и Каменеву нужен был Сталин, а Сталину Зиновьев и Каменев, чтобы отстранить от власти Троцкого. Когда эта задача была достигнута, «тройка» распалась. Закончила она свое существование в марте 1925 года. Укрепившемуся за минувшие два года Сталину теперь надо было отделаться от Зиновьева и Каменева. Что он и осуществил.

На XIV съезде партии (декабрь 1925 года) отчетный доклад — впервые! — делал уже не Зиновьев, а Сталин.

Это, разумеется, еще не означало, что он — «корифей науки», «отец народов» и «Ленин сегодня». До всего этого было еще далеко. И даже **единственным** законным наследником Ленина он тогда еще не был. Но **первым** уже безусловно был.

При чтении диалога «негорбящегося человека» с коман-

дармом, где этот «негорбящийся человек» неизменно обозначался словом п е р в ы й, невозможно было не отождествить этого собеседника командарма со Сталиным. И объяснение Пильняка, что он якобы хотел в этом своем персонаже «олицетворить не человека, а волю партии», не могло быть воспринято иначе, как жульничество.

Тут, правда, нельзя не отметить, что этот «жульнический» ход Пильняка, это обманное его объяснение — из второй объяснительной записки, адресованной им Скворцову-Степанову. А Сталин свою гневную резолюцию («Пильняк жульничает и обманывает нас») начертал на первой, обращенной к Рыкову и написанной двумя месяцами раньше.

Но и в этой, первой своей объяснительной записке Пильняк тоже темнил, мухлевал, выворачивался, наводил, что называется, тень на ясный день:

- ▶ Никак я не ожидал той судьбы, которая постигла этот рассказ, ибо все мои симпатии были на стороне героев-партийцев и злобствовал я только против врачей.

*(«Исключить всякие упоминания...» Очерки истории советской цензуры. Стр. 68)*

Врачей в повести довольно много. И сперва все они даны, так сказать, общим планом:

- ▶ С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. В приемную приходили люди в сюртуках и черных жакетах; эти люди снимали пиджаки и облачались в белые халаты... Люди входили, здоровались, встречал их — хозяином — высокий человек, бородатый, добродушный, лысый. Люди науки, медицины в частности, в огромном большинстве случаев почему-то очень некрасивы: или у них не доросли скулы, или гипертрофировались скулы так, что скулы расставлены шире ушей; глаза у них почти всегда под очками, или сели на висках, или залезли в самые углы глазниц; судьба одних лишила благословения волосами, и рендельная бороденка растет у них на шее, — у других же волос прет не только на скулах и подбородке, но и на

носу и на ушах; и, быть может, это обстоятельство создало в среде ученых обычай чудачества, когда каждый ученый обязательно чудака, причем чудачество его — увеличивает его ученость...

Первый, второй, третий — отрывки разговоров, негромко, поспешно.

— При чем тут консилиум?

— Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета.

— Командарм Гаврилов — знаете, тот, который.

— Да-да-да, знаете ли, — революция, командир армии, формула — и — пож-жалуйте.

— Консилиум.

— Вы его видели, господа, — товарища Гаврилова, — что за человек?

— Да-да-да, знаете ли, батенька.

Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата; один другого взял под руку, чтобы пройтись. Тогда — громко, медленно, покойно — один, другой, третий:

— Доклад профессора Оппеля о внутренней секреции на съезде хирургов. Я оппонировал — двенадцатиперстная кишка.

— Сегодня в Доме ученых.

— Спасибо, жена здорова, немного старший количеством. А как Екатерина Павловна?

— Павел Иванович, ваша статья в «Общественном Враче».

От этого «общего плана» автор переходит к «среднему плану», на котором высвечиваются уже только две фигуры:

- ▶ Тот, который встречал хозяином, хирург, профессор, заросший волосами так, что волосы росли на носу, — чудачествовал только обильным этим бурным волосом, на котором сидели маленькие очки, — и чудачеством блистала его лысина. К нему навстречу прошел

профессор Лозовский, человек лет тридцати пяти, бритый, в сюртуке, в пенсне с прямою перекладной, с глазами, влезшими в углы глазниц.

— Да-да-да, знаете ли.

Бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучной печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел, — опять поправил очки, недоуменно передал лист третьему.

Бритый человек, торжественно:

— Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете.

Вот эти двое теперь и остаются в поле нашего зрения.

Оба затем даны уже «крупным планом». И первый из них, являющийся нам на этом «крупном плане», обрисован автором не только без всякого «злобствования», но с явной и несомненной симпатией:

- ▶ Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в семь утра, и в этот же час он проснулся в день операции... В доме было тихо в тот час, когда профессор проснулся, но когда он, крикая, выходил из ванной, в столовой жена Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях.

— Доброе утро, Павел Иванович, — сказала жена.

— Доброе утро, Екатерина Павловна, — сказал муж.

Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки, и тогда за стеклами очков стали видны небольшие, поповского склада глазки, и добродушные, и хитрые, — и простоватые, и умные. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное. Но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неуточнен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно на жену, на эту стареющую уже, пухлую женщину в японском кимоно, — встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон

пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом, ворчливо:

— Ну, ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело?

В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на половину девятого, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-нибудь помощь, не надо ли прислать за профессором автомобиль. — И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал:

— Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам, — да, да, да, знаете ли, батенька, — и в клиники езжу на трамвае, ба-батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести. И сегодня не вижу причин не ехать на трамвае.

Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене, к чаю. Пофыркал, покусал усы и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные...

Профессор помолчал.

— Хуже нет, Екатерина Павловна, консилиумов. Я не хочу обижать Анатолия Кузьмича. Анатолий Кузьмич меня не хочет обидеть. Compliments говорим друг другу и ученость показываем, а больной неизвестно при чем, точно на большевистских показательных процессах, парад с музыкой, — никто больного как следует не знает, — «видите ли, Анатолий Кузьмич, — видите ли, герр Шиман»...

Профессор помолчал.

— Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командармом Гавриловым.

— Это тот, который... — сказала Екатерина Павловна, — который... ну, в большевистских газетах... ужасное имя! А почему не вы оперируете, Павел Иванович?

— Ну, ничего особенно ужасного нет, конечно, — ответил профессор, — а почему Лозовский, — сейчас время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо.



Оперировать, стало быть, полагалось бы ему. Но на этот раз он почему-то только ассистирует, а оперировать будет Лозовский.

Уклончивая реплика профессора, что сейчас, мол, время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо, жену Павла Ивановича, может быть, и удовлетворила. Может быть, она удовлетворила бы и нас тоже, если бы не та «секретная бумага» из надорванного пакета с сургучной печатью, которую давеча показал Павлу Ивановичу профессор Лозовский. Но, зная уже об этой секретной бумаге, мы не сомневаемся, что профессор Кокосов не сам, не по своей воле передоверил эту ответственную операцию более молодому Лозовскому. Таков был секретный приказ. А приказы такого рода не обсуждаются, их надо выполнять.

Ситуация эта Павлу Ивановичу явно не нравится. Недаром он ворчит:

- ▶ А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после всех этих консилиумов, хоть его прошупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши знаменитости. А самое главное — человека не знают, не с человеком имеют дело, с формулой...

И недаром так раздражается в ответ на невинное предложение прислать за ним автомобиль:

- ▶ — Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам, — да, да, да... И в клиники езжу на трамвае... Я выполняю мой долг, извините, по моей совести.

Иное дело — профессор Лозовский, которому той «секретной бумагой» предписано оперировать командарма.

Он нарисован автором совсем другими красками:

- ▶ Комната профессора Анатолия Кузьмича Лозовского не была похожа на квартиру Кокосова... Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, стены затянуты были коврами и висели

на коврах картины — второй сорт с выставок «Мира Искусств». Лозовский спал на диване, и не один, а с молодой, красивою женщиной; крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лозовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лозовский посмотрел на улицу, на снег, на небо, заботливо, как это делают по утрам холостяки, оглянул комнату, — и прежде чем пойти умываться, в пижаме и лаковых ночных туфлях, стал убираться в комнате, убрал со стола, поставил на книжный шкаф недопитую бутылку красного вина, вазу с печеньем поставил на книжный шкаф, на нижнюю полку, перебрал на столе пепельницу, чернильницу, блокноты, книги. Воткнул в штепсель провод от электрического чайника, всыпал в чайник кофе, женщина спала, и видно было, что эта женщина того порядка женщин, которые любят и отдаются любви тихо и преданно. Она сказала, просыпаясь:

— Милый. — Открыла счастливо глаза, увидела бодрый зимний день, снег на деревьях, — поднялась с постели, сложила молитвенно руки, счастливо крикнула: — Милый, первый снег, зима, милый!..

Профессор большие белые свои руки положил на плечи женщины, прислонил ее голову к себе, сказал:

— Да, да, зима, — весна моя, ландыш мой...

В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном, за ковром. Профессор взял трубку, «да, да, вас слушают». В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль.

Профессор ответил:

— Да, да, пожалуйста! Об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины — пожалуйста — тем паче, что мне надо перед

операцией заехать по делам. Да, да, пожалуйста, к восьми часам.

Профессор повесил трубку и сказал женщине, радостно, с гордостью:

— Ландышек, одевайся, за мной зайдет машина, я тебя прокачу и отвезу домой. Спеши! — И он обнял женщину, положив голову к ней на плечо, обнял женщину и положил голову так, как это делают очень счастливые люди...

Перед тем как уйти из дому, профессор с торжественным лицом и с неким почтительным страхом звонил в телефон: всякими окольными телефонными путями профессор проник в ту телефонную сеть, которая имела всего-навсего каких-нибудь тридцать — сорок проводов; он звонил в кабинет дома номер первый, почтительно он спрашивал, не будет ли каких-либо новых распоряжений, твердый голос в телефонной трубке предложил приехать сейчас же после операции с докладом. Профессор сказал: «Всего хорошего, будет сделано», — поклонился перед трубкой и не сразу повесил ее. Машина уже рывкала перед подъездом.

Какая роль отведена профессору Лозовскому в предстоящей операции (операции — не только в хирургическом смысле), более чем ясно. Но этой ясностью автор не ограничивается. Он ставит все точки на *i*. И это — очень отчетливые, я бы даже сказал, очень жирные точки:

- ▶ Операция тогда началась в восемь часов тридцать минут и — на столе с колесиками — вывезли Гаврилова из операционной в одиннадцать часов одиннадцать минут. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лозовского дважды вызывали по телефону из дома номер первый, — и опять пришел швейцар, сказал, что у телефона ждут. Лозовский пошел к телефону. Лозовский ожидал звонка из дома номер первый. В телефоне прозвучало: «Милый, я соскучилась по тебе», — и у Лозовского на минуту ощерились зубы, он, должно быть, хотел сказать очень злое, но ничего не сказал,

бросил трубку. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, которая имела тридцать — сорок проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать...

Гаврилов умер, — то есть профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию, — скончался в час семнадцать минут...

Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы... В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться луна. В этот час в крытом «ройсе» профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый: «ройс» бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, часовой открыл дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата... Разговор, бывший у Лозовского в этом кабинете, — неизвестен, — но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета — из подъезда — со двора — очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел, покачиваясь, точно он был пьян; улицы были пустынные в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лозовским.

Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским. Лозовский — Гофманом — вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек.

Если раньше у какого-нибудь уж очень непонятливого читателя еще могли оставаться какие-то сомнения, после

этого никакого места для сомнений уже не осталось. Все ясно. Профессор Лозовский — убийца. На нашем сегодняшнем языке, более жестком и циничном, чем тот, на котором изъяснялись в 20-е годы прошлого века, — киллер.

Это, впрочем, не означает, что другие врачи, включая так подчеркнуто непохожего на Лозовского, изображенного с явной авторской симпатией профессора Кокосова, — что они так-таки совсем уж безгрешны:

- ▶ Кокосов пеланами и кохерами неожиданно ловко для его медвежества зажимал кровоточащие сосуды. Другим ножом Лозовский прорезал пузырь брюшины. Лозовский оставил нож, — стерильными салфетками стер кровь. В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лозовский опустил руку в кишки, повернул желудок, обмял его. На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва, — белый, точно вылепленный из воска, похожий на личинку навозного жука, — был рубец, — указывающий, что язва уже зажила, что операция была бесцельна...

Для профессора Кокосова это не было неожиданностью. Он и раньше, до того как операция началась, знал, что она не нужна. Знал даже, что для больного она — смертельно опасна:

- ▶ Установлено, что у больного, по-видимому, имеется *ulcus ventriculi* и его необходимо оперировать.

Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмичу Лозовскому. Проф. Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции.

Город, число, семь подписей профессоров.

Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме, операции не требующей, — но на консилиуме тогда об этом не говорилось; лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем, не

настаивая на нем после возражения коллег; да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в Дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лозовскому: — «ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции»...

Так что же он раньше-то молчал, симпатичный профессор Кокосов? И до консилиума, и на консилиуме? И даже дал согласие ассистировать при операции? Где тогда была его врачебная совесть? И где была торжественно произнесенная им в молодые годы, при вступлении на его медицинское поприще, клятва Гиппократа?

Это, как говорят в таких случаях герои Зоценко, вопрос и ответ.

Так может быть, Пильняк вовсе даже и не жульничал, когда писал в своем объяснительном письме Рыкову, что «злобствовал» он только «против врачей»?

Нет, какая-то толика если не жульничества, так лукавства в этом его объяснении, конечно, все-таки была.

А вот уверяя, что, когда он писал эту свою повесть, все его симпатии были на стороне изображенных в ней «героев-партийцев», и даже — более того! — что, создавая ее, он искренне полагал, что пишет «вещь героическую», изображает «людей героической воли», — тут, как ни дико это звучит, он не врал. Не обманывал.

Он действительно хотел не осудить, не разоблачить, а **героизировать** этих своих персонажей. В том числе — и даже в первую очередь — «негорбящегося человека» из «дома номер первый». То есть — Сталина.

\* \* \*

В том же году, когда Борис Пильняк создавал свою «Повесть непогашенной луны», другой русский писатель написал роман, одним из ключевых эпизодов которого стала та же коллизия, что в этой повести Пильняка. Роман назывался «Разгром». Автором его был Александр Фадеев.

В центре этого эпизода, как и у Пильняка, были «герои-партийцы», — то есть коммунисты, большевики. И как у Пильняка, — даже более отчетливо, чем у Пильняка, — поведение этих его персонажей в рассматриваемой им экстремальной ситуации не разоблачалось, а, напротив, героизировалось.

Революционная необходимость вынуждает командира партизанского отряда Левинсона принять страшное, нечеловеческое решение. Чтобы спасти отряд, необходимо умертвить раненого товарища. Раненый безнадежен, он все равно умрет.

Есть, правда, другой выход:

▶ — Конечно, я могу остаться с ним... — глухо сказал Сташинский после некоторой паузы. — В сущности, это моя обязанность.

— Ерунда! — Левинсон махнул рукой. — Не позже как завтра к обеду сюда придут японцы по свежим следам... Или твоя обязанность быть убитым?..

Волею случая (а вернее сказать, волею автора) этот разговор слышит другой герой романа — Павел Мечик. Он человек совсем другого склада, и нечаянно подслушанный им разговор Сташинского с Левинсоном его ужасает:

▶ — Придется сделать это сегодня же... только смотри, чтобы никто не догадался, а главное, он сам... можно так?

— Он-то не догадается... скоро ему бром давать, вот вместо брома... А может, мы до завтра отложим?

— Чего ж тянуть... все равно... — Левинсон спрятал карту и встал. — Надо ведь, ничего не поделаешь...

«Неужели они сделают это?..» — Мечик навзничь упал на землю и уткнулся лицом в ладони... Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном...

Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку.

— Обождите!.. Что вы делаете?.. — крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными глазами. — Обождите! Я все слышал!..

Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее... Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу.

— Вон!... — сказал он зловещим придушенным шепотом. — Убью!..

Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака...

Страшная багровая жила вздулась на лбу у Сташинского вовсе не потому, что Мечик случайно застал его «на месте преступления», стал невольным свидетелем чего-то такого, чего ему (да и вообще никому) не полагалось видеть. Эту внезапную ярость, ненависть и презрение к Мечику Сташинский испытал совсем по другой причине. Острое желание немедленно убить — нет, даже не убить, а **раздавить** Мечика, как какую-нибудь последнюю нечисть, погань, паука или таракана, Сташинский почувствовал потому, что в инстинктивном ужасе Мечика перед тем, что он, Сташинский, обязан был совершить, он усмотрел стремление **остаться чистеньким**. Сташинский знает, что в данных обстоятельствах остаться чистеньким — это значит переложить **свою** ответственность на чьи-то чужие плечи. Он этого делать не собирается. Он готов до конца нести свое страшное бремя. Но это вовсе не значит, что ему легко.

Мечик даже не способен понять все величие души Сташинского — таков подтекст этой сцены. Рядом со Сташинским он — не человек. Крыса какая-то, вызывающая невольную гадливость: «Мечик **взвизгнул** и, не помня себя, выскочил из барака...»

Последняя фраза не вызывает сомнений: у автора романа поведение Мечика возбуждает примерно те же чувства, что и у Сташинского. Коммунист Сташинский в его глазах нравственно — бесконечно выше Мечика с его дряблой интеллигентской (христианской) моралью.

Следующая сцена, нечаянным свидетелем которой чуть не стал Мечик, в чем-то схожа с тем разговором, который в



повести Пильняка ведут меж собой обреченный на смерть командарм и уже решивший его судьбу «негорбящийся человек»:

- ▶ — Это бром, выпей... — настойчиво, строго сказал Сташинский.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец», — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи.

Вот так же командарм и «негорбящийся человек» у Пильняка. О них тоже можно было бы сказать, что «взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью». И как Фадеев про этого своего Фролова, так же и Пильняк про своего командарма тоже, наверно, мог бы сказать, что, узнав, что ему предстоит умереть, он «не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи».

Но на этом и кончается сходство этих двух сцен. Дальше начинается их различие. И различие это — коренное, кардинальное.

Написать эту сцену так, как свою написал Пильняк, Фадеев не смог. Не смог не потому, что ему не хватило для этого силы художественного воображения или пластического дара, а совсем по другой причине.

Написать ее, как Пильняк, ему помешал Л.Н. Толстой.

- ▶ Все оказалось простым и легким, и даже странно было, зачем он так много мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повел глазами вокруг, словно отыскивал что-то... Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.

— Случится, будешь на Сучане, — сказал он медленно, — передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все

к этому месту придут... да?.. Все придут, — повторил он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала личную — **его, Фролова**, — смерть ее особенного, отдельного, страшного смысла и делала ее — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойственным всем людям.

Фраза Фадеева насчет того, что мысль о неизбежности смерти всех вообще людей как бы еще не была Фролову «совсем ясна и доказана», прямо восходит к повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Толстовский Иван Ильич, размышляя о неизбежности собственной смерти, вспоминает силлогизм, который его заставляли учить в детстве: «Люди смертны. Кай человек. Следовательно, Кай смертен». Вспоминая этот силлогизм, Иван Ильич думает, что этот неведомый ему Кай — действительно смертен. Этому безликому, абстрактному Каю, как он, Иван Ильич, это формулирует, — **правильно умирать**. Но при чем тут он, Иван Ильич, который был когда-то мальчиком Ваней, у которого был полосатый мяч, который любил папеньку и маменьку... Какое он имеет отношение к этому древнему силлогизму? Почему он, со своей неповторимой личностью, со своей душой, которую он полагал бессмертной, должен исчезнуть, превратиться в ничто? Нет! Что бы там ни утверждал этот глупый силлогизм, ему, Ивану Ильичу, — **неправильно умирать!**

Но о Толстом нам напоминает не одна только эта фраза умирающего Фролова. Ритм, синтаксис, все интонации фадеевского «Разгрома» — типично толстовские. Да Фадеев и не скрывал никогда, что считает себя учеником Толстого. Однако при этом он наивно полагал, что воспримет литературные, так сказать, чисто художественные достижения Толстого, отринув неприемлемое для него толстовское мировоззрение.

У него и в мыслях не было учиться у Толстого думать, чувствовать, постигать и осознавать мир. Он хотел только одного: учиться у Толстого писать.

Но оказалось, что учиться у Толстого писать — это и значит учиться у него главному: **отношению к жизни**.

Вместе с синтаксисом Толстого, вместе с ритмом и интонацией толстовских фраз Фадеев невольно усвоил толику толстовского миропонимания. И вот этот его Фролов, решительно ничем и ни в чем не похожий на толстовского Ивана Ильича, узнав, что ему — не когда-нибудь, а вот прямо сейчас! — предстоит умереть, думает и чувствует совершенно так же, как у Толстого в сходных обстоятельствах думал и чувствовал его Иван Ильич.

Командарм у Пильняка в той же ситуации и думает, и чувствует, и ведет себя совершенно иначе.

\* \* \*

Врачей, которым по роду их деятельности наверняка случилось видеть самых разных людей, готовых лечь под нож хирурга, это его поведение изумляет. С такой реакцией они, похоже, еще не встречались:

► Автомобиль зашумел, пошел. Лозовский уселся удобнее, поправил фалды пальто, наклонился к Кокосову, сказал шепотом, так, чтобы не слышал шофер:

— А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона, — «прикажете раздеваться? — я, видите ли, считаю операцию излишней, — но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции». — Точно и коротко.

— Да-да-да, батенька, знаете ли, — большевик, знаете ли, ничего не поделаешь, — сказал Кокосов.

Это слово (большевик) произнесено старым профессором так, как будто оно одно тут все объясняет. Словно большевики — это какие-то загадочные существа, сделанные не из того материала, из какого были сотворены все прочие, обычные люди, с которыми профессорам прежде приходилось иметь дело.

Как тут не вспомнить, что именно так — в этих самых

словах и выражениях — определил однажды суть этой новой человеческой породы Сталин:

- ▶ Мы, большевики, люди особого склада. Мы сделаны из особого материала.

Сталин эту свою чеканную формулу не раскрыл, никак ее не конкретизировал. Но это сделал однажды другой «старый большевик» — Георгий (Юрий) Леонидович Пятаков.

Как почти все «из стаи славной» большевиков первого призыва, он впоследствии был Сталиным уничтожен, признав перед гибелью — на открытом процессе — себя виновным в преступлениях, которые на самом деле, конечно же, не совершал.

Видимо, уже предчувствуя, а может быть, даже и предвидя такой исход, он оставил поразительный по откровенности человеческий документ — письмо давно уже разочаровавшемуся в большевизме и отошедшему от большевиков Николаю Владиславовичу Валентинову (Вольскому):

- ▶ Большевизм — есть партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным, неосуществимым и недопустимым... Ради чести и счастья быть в ее рядах мы должны действительно пожертвовать и гордостью, и самолюбием, и всем прочим. Возвращаясь в партию, мы выбрасываем из головы все ею осужденные убеждения... Небольшевики и вообще категория обыкновенных людей не могут сделать мгновенного изменения, переворота, ампутации своих убеждений... Мы — партия, состоящая из людей, делающих невозможное возможным: проникаясь мыслью о насилии, мы направляем его на самих себя, а если партия этого требует, если для нее нужно и важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из головы идеи, с которыми носились годами... Подавляя свои убеждения, выбрасывая их, — нужно в кратчайший срок перестроиться так, чтобы внутренне, всем мозгом, всем существом быть согласным с тем или иным решением, постановлением партии. Легко ли насильственное вы-

кидывание из головы того, что вчера еще считал правым, а сегодня, чтобы быть в полном согласии с партией, считать ложным? Разумеется, нет. Тем не менее насилием над собой нужный результат достигается... Я слышал следующего вида рассуждения: она (партия) может жестоко ошибаться, например, считать черным то, что в действительности явно и бесспорно белое... Всем, кто подсовывает мне этот пример, я скажу: да, я буду считать черным то, что считал и что могло казаться белым, так как для меня нет жизни вне партии, вне согласия с ней.

*(Н. Валентинов. Пятаков и большевизм.  
Новый журнал. № 52, N.Y.,  
1958, стр. 148)*

Командарм Гаврилов в повести Пильняка и думает, и чувствует, и ведет, и осознает себя в точном соответствии с этой программой.

От ближайшего друга он не скрывает, что не хочет ложиться на операционный стол:

- ▶ Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице, у профессоров... Не хочу резаться, естество против...

Естество против, но партия (он говорит — «революция», но для него эти слова — синонимы) сказала, что ему **правильно умирать**, — и он не спорит: значит, так тому и быть, значит, ему и в самом деле **правильно умирать**.

- ▶ Проникаясь мыслью о насилии, мы направляем его на самих себя... Подавляя свои убеждения, выбрасывая их, — нужно в кратчайший срок перестроиться так, чтобы внутренне, всем мозгом, всем существом быть согласным с тем или иным решением, постановлением партии... Насилием над собой нужный результат достигается...

По ходу дела постепенно выясняется, что на самом деле командарм Гаврилов вовсе не сделан из какого-то «особого материала». Естество его — такое же, что у всех нас, простых смертных. И не какими-то там особыми качествами его большевистского естества достигается «нужный результат», а **насилием над собой**.

Как ни странно, выясняется это при участии и даже не без помощи Л.Н. Толстого.

Фадееву, как уже было сказано, Лев Николаевич помещал, а Пильняку, напротив, — помог.

Имя Л.Н. Толстого командарм произносит впервые в том, самом первом своем разговоре с другом, в котором признается, что все его нутро противится операции, к которой его толкают:

- ▶ ...взрослый человек, старик уже, вельможа, — и смотрю себе в брюхо. Стыдно. — Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. — Толстого читаю, старика, «Детство и отрочество», — хорошо писал старик, — бытие чувствовал, кровь... Крови я много видел, а... операции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут... Хорошо старик про кровь человеческую понимал...

Какая связь между страхом командарма перед операцией и повестью Л.Н. Толстого «Детство и отрочество», — понять трудно. А может быть, вовсе и нет тут никакой связи?

Нет, какая-то связь безусловно есть. Иначе командарм (лучше сказать — автор) не возвращался бы время от времени ко Льву Николаевичу. А возвращается он к нему постоянно:

- ▶ В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, в деревнях запели первые петухи, когда люди, прожевывая ужин, дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, лезли — мужья, жены, любовники, любовницы — в постели, — Гаврилов уходил от Попова.  
— Ты мне дай почитать чего-нибудь — только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую лю-

бовь, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, о людях, о простой человеческой радости.

Такой книги не нашлось у Попова.

— Вот тебе и революционная литература, — сказал, пошутив, Гаврилов. — Ну, ладно, я еще раз почитаю Толстого, уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу. — И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: — Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице, у профессоров. Профессора умственность разводили... Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай!..

Между толстовскими старыми перчатками на балу и не отпускающими командарма мыслями о том, что завтра ему ложиться под нож, как будто уже и вовсе не может быть никакой связи. Но не случайно же автор уже во второй раз возвращает командарма к повести Толстого «Детство и отрочество» именно в тот момент, когда его одолевают эти неотвязные мысли!

И чтобы у нас совсем уже не оставалось сомнений, что все это неспроста, что некая прочная и важная связь тут все-таки есть, автор снова, уже в третий раз возвращает нас к этому постоянно возникающему мотиву:

- ▶ В день операции, утром, до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах, — но разговаривать не пришлось, потому что хозяйка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал:

— Прочти, Алеша, у Толстого в «Отрочестве» насчет ком-иль-фо и не ком-иль-фо. — Хорошо старик кровь чувствовал! — это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов.

Последние слова, которые произносит герой перед смертью, уж точно не могут быть случайными.

Но и это еще не все.

Уже лежа на операционном столе, когда одурманенный наркотом командарм лепечет какую-то совсем уж бессмысленную невнятицу, в этом не контролируемом сознанием, последнем его монологе тоже вдруг возникает то самое французское словцо, пришедшее к нему из повести Толстого «Детство и отрочество»:

- ▶ Через несколько минут больной запел и заговорил:  
— Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой, золотой, я, девчоночка, влюбилась, — пропел командарм и зашептал: — А ты спи, спи, спи. — Помолчал, сказал строго: — А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело, это не ком-иль-фо. — Помолчав, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: — Не отступать! Ни шагу! Расстреляю... Алеша, брат, скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила... И мне не страшна смерть. — И опять запел: — За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой...

Совершенно очевидно, что всеми этими настойчивыми возвращениями к повести Л.Н. Толстого «Детство и отрочество», с мыслями о которой не расстается, не может расстаться командарм, автор прямо дает нам ключ к пониманию чего-то очень важного, главного, быть может, самого главного в характере своего героя.

Чтобы понять, куда ведет нас эта авторская подсказка, последуем совету, который командарм перед смертью дал самому близкому своему другу. Заглянем в ту главу толстовской повести, в которой говорится «про ком-иль-фо и не ком-иль-фо». Наверняка именно там мы и найдем ответ на интересующий нас вопрос. (А иначе зачем стал бы автор давать нам эту свою «наводку»?)

- ▶ Род человеческий можно разделять на множество отделов — на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых, и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно



подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*... Мое *comme il faut* состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре... Второе условие *comme il faut* были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека.

Нет, не дает ответа!

Как понять, чем эти заносчивые утехы молодых дворянчиков могли задеть простую, суровую душу командарма Рабоче-крестьянской Красной Армии?

Однако — пойдём дальше. Может быть, там, в последующих абзацах этой толстовской главы что-нибудь все-таки прояснится:

- ▶ Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал... большей части моих знакомых, все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцованием, над выработываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, — и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели... Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие,

и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, и не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий *comme il faut* была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается *comme il faut*.

Вот оно! Вот это последнее рассуждение, надо думать, и пленило командарма.

«Ком-иль-фо» в дословном переводе означает: «Как надо». А «не ком-иль-фо» — «как не надо». Лучше сказать: «Как подобает» и — «как не подобает».

Командарм озабочен тем, **как надлежит (подобает)** и как **не подобает** в обстоятельствах, в которых он оказался, вести себя **большевику**.

Признаться, что ему, коммунисту, большевику, страшно лечь на операционный стол, под нож хирурга, — «не ком-иль-фо». Это он прекрасно знал и без Толстого, хотя, наверно, и выражал другими какими-нибудь словами. Толстой же открыл ему глаза на то, что одним из главных, может быть, даже самым главным условием «ком-иль-фо» должна быть **скрытность в отношении тех трудов, которыми это самое «ком-иль-фо» достигается**.

В точном соответствии с этим своим пониманием сути дела, почерпнутым у Толстого, он и является перед консилиумом врачей:

- ▶ «Прикажете раздеваться? — я, собственно, считаю операцию излишней, — но если вы находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции». — Точно и коротко.

И врачи не должны догадаться — и не догадываются! — каких усилий воли стоит ему это равнодушное спокойствие. Думают (и пусть думают, в этом и состоит его цель), что это равнодушие, это спокойствие — органическое свойство той породы людей (особого склада, сделанных из особого материала), к которой он принадлежит.

И точно так же и сам командарм не должен был знать, — и так и не узнал, — каким страшным усилием воли зажал в железные тиски свое сердце «негорбящийся человек», подписывая приказ, обрекший его на смерть:

- ▶ Лозовский... вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен... Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: «Беговую, открытую». Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых, — голос его был слаб: — «Андрей, милый, еще ушел человек, — Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик, мы виноваты, я и Потап».

Шоферу негорбящийся человек сказал — «в больницу»... Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть. Негорбящийся человек — черными коридорами — прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату, — там на кровати лежал труп командарма, — там удушливо пахло камфарой. Все вышли из палаты, в палате остались негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал:

— Прощай, товарищ! Прощай, брат!

И вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: — «форточку бы там открыли, дышать нельзя», — и быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы.

В деревнях в этот час пели третьи петухи. Человек — молча — сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Чело-

век опомнился, — человек сказал: — «за город! — на всех скоростях».

Машина рванула с места сразу на полной скорости, веером, разворачиваясь, кинула огни, — пошла кроить осколки переулков, вывесок, улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари, — фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад.

Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже разбежались овцами в собачьем визге деревенские избы. Уже не видно было полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колес, в те мгновения, когда машина летела по воздуху. Воздух, ветер, время и земля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались: и в колоссальном этом мчании, когда все мчалось, — неподвижными стали, идущими рядом, стали — только луна за облаками, да эта машина, да человек, покойно сидящий в машине.

Эта бешеная гонка почти дословно повторяет такую же бешеную гонку, в какую ринулся накануне предстоящей ему операции командарм:

- ▶ Беговая, двухместная, стосильная рванула с места сразу на второй скорости, веером, разворачиваясь, кинула в снопы белого света, — шофер отбежал в сторону, — у рулей сидел командарм, — рывкнул гудок, машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок и учреждений, рвущая ветер и пространство... И машина стала отбрасывать назад улицы, переулки, плеск луж, светы фонарей. Воздух все твердел и твердел, прорвался воем ветра, засвистел в машине, стал ледяным и колючим — фонари на перекрестках размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад — один, другой просвистели милиционеры. Но машина уже вырвалась из груд домов и улиц, выходила за заставу, сначала в просторы пустырей и редких газовых рожков на трамвайных ли-

ниях, — потом в черный мрак полей. Все скорости были открыты. Воздух и ветер сошли с ума, резали, мешали дышать. Шоссе под машиной давно уже слилось в белый ровный плат, где не видно ни впадин, ни каменных куч по краям шоссе, — лишь тогда, когда уж очень велики были впадины на шоссе, взлетала машина над землей и несколько саженей летела по воздуху, теряя шум летящих из-под шин камней. Раз, и два, и три огни машины упирались в стены деревенских изб, избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге. В лощине между двух холмов запутались огни машины в серых космах осеннего тумана, и узналось, что и туман может лететь, визжать, стремиться, выть метелью и пургой колоть лицо. Гаврилов сидел, склонившись над рулем, внимание, точность и расчет, — и все вперед, вперед, сильней, сильней, быстрее — гнал Гаврилов машину... Так, в срок меньше часа, машина прорвала расстояние верст в сто. Там, на опушке какого-то старого леса, машина потеряла свои скорости, обессилела, замолкла, отпустила на покой ветры, холод, — мчащую, косую изморось поставила на ноги, в отвес, — машина стала...

Гаврилов сказал:

— Дай папироску, Алешка.

Попов ответил:

— Ну тебя к черту с этими фокусами, у меня все печенки в пятки переселились. На, кури, черт бы тебя побрал.

Гаврилов закурил, откинулся, отдыхая, на спинку, раздумчиво сказал:

— Когда я очень переутомлюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок. Я помню все до одного эти мчания. И помню все до мелочей, что было в этих мчаниях, все разговоры, все фразы, до интонации голоса, до того, как светится окурок. У меня плохая память, я все забываю — я не помню даже того, что было в самые ответственные дни боев, — мне об этом рассказывали потом. Но эти мчания я помню аб-

солютно. Я сейчас машину вел безумно, с девяноста девятью шансами разбиться, но каждое мое движение точно — и разбиться нельзя... Мне хорошо, потому что это мчание, это стремление есть то, ради чего надо жить, стоит жить, ради чего мы живем...

Это признание командарма как будто бы все объясняет. Причина владеющей всем его существом тяги к бешеным скоростям ясна и ни в каких дополнительных объяснениях вроде не нуждается. Но в той невнятице, которую несет командарм на операционном столе, уже одурманенный наркотом, в том бессвязном предсмертном своем монологе, он снова возвращается к этим своим «мчаниям»:

- ▶ Алеша, брат, скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция. Какая это сила. И мне не страшна смерть.

То же, наверно, и теми же самыми словами мог бы сказать «друг и брат» командарма — «негорбящийся человек». А какой еще другой смысл может быть в этом нарочитом, подчеркнутом сближении двух «мчаний»? В «мчании» командарма — «...избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге». И точно так же в бешеной гонке «негорбящегося человека» — «...разбегались овцами в собачьем визге деревенские избы». И сам того не подозревая, завершает «негорбящийся человек» эту свою бешеную гонку там же, где несколько дней тому назад командарм завершил свою:

- ▶ У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал: «Стоп!» — и машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер, — остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса — несколько ночей назад был Гаврилов. Человек слез с машины и — молча и медленно — пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать.

Вот оно как!

У командарма был друг, которому он мог открыть душу, с которым мог разделить томившую его тоску. А он должен нести свою ношу один. Ему не с кем разделить гнетущее его сознание своей страшной правоты. (Конечно, правоты, а не вины! Ведь то, что он сделал, требовала от него революция!)

Ноша, которую взвалил на себя он, выходит, тяжелее той, которую выпало нести командарму. Но он не согнется даже и под такой ношей — недаром же он «негорбящийся».

Такой вот получается смысл.

Нет, Пильняк не жульничал и не обманывал, говоря, что у него и в мыслях не было сочинять «пасквильную карикатуру на товарища Сталина», что в образе «негорбящегося человека», в котором все узнали Сталина, он хотел «изобразить волю партии, положительную, героическую, непреклонную волю».

«Мне казалось, что я пишу героику», — уверял он. И в это можно было бы поверить, если бы не сцена в больничной палате у тела только что умершего командарма.

\* \* \*

Вся эта сцена («Прощай, товарищ! Прощай, брат!»), равно как и предшествующая этой сцене реплика, брошенная им по телефону «одному из тройки первых» («Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища»), выглядит чистой воды лицемерием. Ведь у нас нет никаких сомнений в том, что это он, именно он отправил своего «товарища и брата» Колю Гаврилова на верную гибель, приказав ему лечь на операцию и дав соответствующие указания своему доверенному врачу.

Но в том-то и состоит загадочный феномен Сталина, что на самом деле это было не лицемерие. Это был сложный психологический комплекс, составляющий едва ли не главную особенность темной, криминальной души этого человека.

Тут можно и, наверно, даже нужно было бы оговориться, отметив, что, высказывая это странное умозаключение, я подразумевал не реального Сталина, а того «Сталина», которого сочинил Борис Пильняк, представив его в образе своего

«негорбящегося человека». Но я не стану делать эту оговорку. Хотя бы потому, что однажды нечто похожее было сказано и о настоящем, реальном, живом Сталине — том, каким тот был на самом деле:

- ▶ Не случайно то, что властелином империи стал сын Востока... В Сталине было восточное понимание монарха без легитимности. Сталин полагал: этой стране нужен царь. Пусть не помазанник Божий (хорошо бы, а не получается), а все-таки трансцендентный. Среди многих его черт, еще до конца не познанных, была одна очень важная: бесчеловечность, не забывающая, однако, о существовании человечности. Сталин убил своего друга Кирова, приревновав к его внутрипартийной славе. Поступок бесчеловечный, но именем Кирова он назвал улицы, города, заводы, корабли, и не только ради своей выгоды, чтобы обелить себя, а и вследствие своей принадлежности к человеческой натуре. Возможно, что он, убийца, нежно вспоминал иногда плембейские афоризмы Кирова, его любимые блюда. Но, оживи Киров, он бы убил его во второй раз. Когда он подарил Кирову «Вопросы ленинизма» (говорят, не он их писал) с надписью «Другу и брату», он любил Кирова, как друг и брат, и убил Кирова, как друг и брат. В этом нет противоречия, как и нет противоречия в том, что Сталин истреблял миллионы людей ради власти над людьми... Он не думал о том, что будет после его смерти: он, как животное, боялся опасности и не думал о смерти. Считается, что Сталин притворялся, когда утверждал, что любит Бухарчика, но, возможно, он продолжал любить Бухарина даже после того, как убил его, возможно, что вспоминал о нем порой даже с умилением. Нет, нет, глагол «любить» со Сталиным не сопряжен. Скажем так: убивая, он свои жертвы не ненавидел, некоторые из них не переставали ему нравиться...

Сталин убивал человека, потому что ему было необходимо уничтожить действия, характер, связи челове-



ка, а не самого человека. Поэтому Сталин никогда не считал себя убийцей.

*(Семен Липкин. Декада. М., 1990. Стр. 153—154)*

Автор процитированной книги предпринял эту свою попытку понять загадочную душу Сталина в конце 80-х. Сталин в это время давно уже был мертв, и автор «Декады», размышляя о нем, имел возможность мысленно обозреть весь его жизненный путь. Пильняк лепил образ своего «негорбящегося человека», когда прототип этого его героя делал еще только самые первые свои шаги на пути к абсолютной власти «нелигитимного монарха».

Автор «Декады» не сомневается, что Сталин убил Кирова (как раньше Фрунзе, а потом Бухарина, Тухачевского, Орджоникидзе и многих других), потому что каждый из них в той или иной мере мешал ему, был — или мог стать — препятствием на пути к этой его цели.

У Пильняка «негорбящийся человек» (Сталин) убивает командарма (Фрунзе) не корысти ради, а только лишь потому, что этой жертвы требует от него революция.

Был ли это «тактический ход»? Уловка? (любимое сталинское словцо). Или автор «Повести непогашенной луны» и впрямь так наивно представлял себе эту драматическую (трагическую!) коллизию?

По правде сказать, это не так уж и важно.

Тут важно то, что, несмотря на свою репутацию скрытого, а то и явного контрреволюционера, Пильняк, в сущности, был **вполне советский писатель**.

Рапповские «неистовые ревнители», делившие «попутчиков» на левых и правых, но всех их — гуртом — почитавшие чуждыми и даже враждебными пролетариату, в каждом из них видевшие затаившегося — а то и не очень таящегося — классового врага, не могли разглядеть в Пильняке эту его «советскость». Но глядевший на него, как и на других его советских собратьев, издали и со стороны Владимир Набоков углядел это сразу, при первом же знакомстве. Подвернувшееся мне на язык слово «углядел» тут, пожалуй, даже и не совсем уместно. Углядывать и разглядывать тут ему было не-

чего. Безусловная и даже карикатурная советскость Пильняка сразу бросилась ему в глаза, как несомненная и безусловная **очевидность**:

- ▶ ...Леонов, да вот Федин, пожалуй, единственные писатели сейчас в России, которых можно читать если и не с художественным упоением, то без того омерзенья, которое вызывают Гладков, Сейфуллина, Быстров, Пузанов и т.д. И все-таки «Барсуки» очень чем-то похожи на ту же «Виринею» — и такой же там добродетельный сильный человек, который знает как раз, что нужно сделать, чем помочь. Быть может, меня оглушила эта волна всякой дряни, и просто уж сил не было искать хорошее. Но как не придти в уныние, если даже у такого писателя, как, например, Пильняк, у которого так хочется найти что-нибудь хорошее... — как не придти в уныние, когда у него читаешь такой нелепый, ненужный, лживый рассказище, как, например, его «Мать сыра-земля»... Рассказ состоит вот в чем. В этих волжских краях, которые изображает Пильняк, крестьяне безжалостно рубят лес. После насильственной смерти лесничего приезжает его заместитель Некульев. Я ходил его встречать сквозь дебри пильняковской прозы — и что же, — Господи! — старый наш знакомый, гладковский Глеб, сейфуллинский Павел, — та же честность, тот же скрип челюстей, та же суровость, та же верность коммунизму. Этот наш старый знакомый начинает бороться с порубщиком. Несколько раз его чуть-чуть не убивают мужики, но в конце концов все обходится благополучно. Между прочим он сходится с этой самой кожевенницей Ириной Сергеевной. И вот описание: «Такие люди, как Некульев (читай: честный коммунист), стыдливы в любви — они целомудренны и правдивы всюду... Потом, через немногие дни — в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал — всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим — «люблю, люблю», — чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло липами и была красная луна <..> [и] остались толь-

ко луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему — девушка — женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен».

Полагаю, что это выпрненное словоблудие отнюдь не литература. Как бы то ни было, Некульев alias Глеб alias Павел вскоре замечает, что от кожевенницы Ирины пахнет кожей, а тут, кстати, и белые наступают. Глеб-Некульев и говорит: «Товарищи, я ухожу от вас, в Красную Армию. Поступайте как знаете. Если хотите, идемте за мной». Ирине он оставляет записку: «Арина, прости меня. Я был честен — и с тобой и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером»...

Об удивительном однообразии этих писателей я еще буду говорить, но позволю себе уже сейчас — раз я сопоставил Глеба Гладкова с Некульевым Пильняка — позволю себе отметить тождественную разработку тем: у одного рабочие распродают сталь, и Глеб во имя производства завода прекращает это; а у другого мужики рубят лес, и Некульев это прекращает во имя лесного дела.

*(В. Набоков. Несколько слов об убожестве советской беллетристики и попытка установить причины оного. Диаспора. 2. Новые материалы. СПб., 2001. Стр. 15—17)*

Оставив в стороне снисходительно-брезгливый тон этих характеристик и «непарламентские выражения», которыми не гнушается автор этого разбора («выпрненное словоблудие», «меня оглушила эта волна всякой дряни»), и сосредоточившись лишь на содержательной стороне набоковских наблюдений, нельзя не признать их абсолютную, безукоризненную точность.

Увы, увы. Рассказы и повести Пильняка, у которого Набоков «так хотел найти что-нибудь хорошее», при ближайшем рассмотрении сразу обнаружили свое кровное родство с «Цементом» Федора Гладкова, «Виринеей» Лидии Сейфул-

линой и другими сочинениями основоположников только еще зарождавшегося тогда социалистического реализма.

Вот и «Повесть непогашенной луны», которую мы с вами только что перечитали, при всей скандальной неординарности и взрывоопасности своего сюжета, оказывается, тоже не сет на себе «родимые пятна» того же творческого метода.

\* \* \*

Так-то оно так. Но Сталину было совершенно все равно, — советская эта повесть или антисоветская. Для него суть дела заключалась совсем в другом вопросе: ЗА НЕГО она — или ПРОТИВ НЕГО. А на этот счет у него тут не могло быть никаких сомнений. Ведь он-то знал, что Михаилу Васильевичу Фрунзе пришлось умереть не потому, что такова была революционная, историческая необходимость, а совсем по другой причине.

Рассказывают, что в те времена, когда «левые», рассуждая меж собой о том, какую опасность для революции и молодой советской страны представляет Сталин, в очередной раз думали и гадали, как быть и что тут надо бы сделать, Владимир Александрович Антонов-Овсеенко предложил такое решение этого вопроса. Обратившись к Троцкому, он будто бы сказал:

— Лев Давыдович! Дайте мне роту курсантов!

Судьба однажды свела меня с сыном Владимира Александровича — Антоном. И я спросил его, правда ли это.

— Нет, — сказал он. — Это, конечно, уже легенда. На самом деле отец сказал: «Лев Давыдович! Дивизия готова!»

Хрен, как известно, не слаще редьки, и в принципе не так уж важно, понадобилась бы Владимиру Александровичу для кардинального решения вопроса целая дивизия, или он сумел бы обойтись ротой курсантов. Важно было, что он готов был эту проблему решить. И в его устах это были не пустые слова, поскольку однажды ему уже пришлось решить такую же проблему и именно таким способом. Чтобы узнать, как это было, не надо рыться в забытых, возможно, даже изъятых исторических источниках. Достаточно заглянуть в знаменитую поэму Маяковского:



го сталинского большевизма, надо остановиться на истории зарождения криминального течения в большевистской партии — на истории кавказских «экспроприаторов», которых на партийном языке называли сокращенно «эксами». Здесь впервые в истории политической мысли и политических движений мы присутствуем при рождении политико-уголовного «гибрида», когда для осуществления политической цели программы (захват власти) проповедуются и применяются чисто уголовные методы (убийства, грабежи, поджоги, фальшивомонетничество).

*(А. Авторханов. Происхождение партократии. Том 1. Frankfurt/Main., 1981. Стр. 164)*

Троцкий, Каменев, Зиновьев, Пятаков, Радек, — каковы бы они ни были, — к этому криминальному направлению в большевизме не принадлежали.

Но Сталин мерил их на свой аршин. И поскольку сам он в подобной ситуации колебаться бы не стал, не мог не опасаться, что и они, чего доброго, тоже окажутся на это способными.

Для Троцкого предложение Антонова-Овсеенко было неприемлемо. А новый наркомвоенмор, — кто его знает? — при случае, может быть, такое предложение и не отверг бы?

Нет, Сталин не мог, никак не мог мириться с тем, что председателем Реввоенсовета и наркомвоенмором после Троцкого стал Фрунзе. Принадлежал он или не принадлежал к «левой» (или какой-нибудь другой) оппозиции, для Сталина значения не имело. Для него неприемлемо было уже одно то, что он был НЕ СВОЙ. Эту должность, позволявшую тому, кто ее занимает, распоряжаться дивизиями и ротами курсантов, мог занимать только безусловно надежный, верный, СВОЙ человек (Ворошилов).

Произвести эту замену административным, аппаратным путем Сталин в то время еще не мог. Вот он и решил ее по-своему. («Нет человека — нет проблемы».)

Пильняк не мог всего этого не понимать. Как же он осмелился, — не могу не воспользоваться тут как нельзя лучше подходящим к этому случаю выражением киплингковского Маугли, — дергать смерть за усы?

\* \* \*

«Повесть непогашенной луны» явилась на свет в 1926 году, в майской книжке «Нового мира».

Строго говоря, этот лексический оборот тут не совсем уместен, поскольку **явиться на свет** этой повести Бориса Пильняка как раз не дали.

- ▶ Тираж журнала «Новый мир», в котором в 1926 году была напечатана повесть, был изъят ГПУ прямо в типографии, к тем же, кто успел получить журнал, приходили сотрудники Органов и под расписку повесть изымали. Главный редактор «Нового мира» Полонский за потерю бдительности был снят со своего поста.

*(Виталий Шенталинский. Рабы свободы.  
В литературных архивах КГБ. М., 1995. Стр. 197)*

Последняя фраза этого сообщения не совсем верна.

Главный редактор «Нового мира» В.П. Полонский не был тогда снят со своего поста: он отделался «строжайшим выговором». (Документ № 4.)

Мягкость этого наказания уже сама по себе являет некую странность. Но чем глубже будем мы погружаться в обстоятельства этого дела, тем больше встретится на нашем пути таких странностей.

Недавно были опубликованы дневники В.П. Полонского, охватывающие период с мая 1920-го по январь 1932-го (Вячеслав Полонский. Моя борьба на литературном фронте. «Новый мир», 2006, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6). Трудно себе представить, чтобы в дневнике главного редактора журнала, напечатавшего «Повесть непогашенной луны», то есть человека, находившегося, так сказать, в эпицентре землетрясения, это «землетрясение» никак не отразилось. Тем не менее это так. По-видимому, страница (может быть, даже не одна), содержащая соответствующую запись, впоследствии была автором дневника изъята и уничтожена.

Но одна — более поздняя и совсем короткая запись, в которой вскользь упоминается этот сюжет, — сохранилась:

► Вечером вчера беседа с Иваном Ивановичем Скворцовым-Степановым по поводу Ингулова. Прочитал мои объяснения Ярославскому и письмо Ингулову. Сокрушительно качал головой — ой-ой-ой, какое безобразие. Сообщил мне, что меня хотят, в конце концов, — в результате всех историй — снять с работы.

— Да каких историй? — воскликнул я. — Ведь историй-то нет; с Пильняком ведь была ошибка — и только!

— А юбилей «Красной нови»? — сказал Ив. Ив.  
Ну, что же. Печально.

*(Записано 8 марта 1927 г. «Новый мир», 2008, № 2.  
Стр. 146)*

С.Б. Ингулов (видный партийный деятель, впоследствии, разумеется, расстрелянный) в то время вел против Полонского какую-то интригу и в конце концов, когда тот все-таки был снят со своего поста, на короткое время занял его место. А под упомянутым тут юбилеем «Красной нови» подразумевается празднование пятилетней годовщины существования этого журнала, основателем и главным редактором которого был А.К. Воронский.

Полонский на этом юбилейном вечере председательствовал. А сам вечер вызвал неудовольствие начальства, потому что присутствовали на нем только попутчики. Не было ни представителей РАППа и ВАППа, ни других пролетарских писателей, хотя соответствующие приглашения были им посланы. Враждовавшие с Воронским рапповцы этот юбилей проигнорировали, и произвольно возникший таким образом подбор присутствовавших на вечере был воспринят как политическая демонстрация.

По сравнению со скандалом, вызванным появлением на страницах возглавляемого Полонским журнала «Повести непогашенной луны», эта история не стоила выеденного яйца. Но Полонскому она стоила его редакторства. Именно из-за этого юбилея его все-таки вывели из редколлегии «Нового мира», а на его место пришел интриговавший против него Ингулов.



Серьезных последствий для Полонского эта акция не имела. В 1928 году он вернулся на прежнюю свою должность. Редколлегия в составе Луначарского, Скворцова-Степанова и Ингулова подписывала номера с 4-го по 8-й. Начиная с номера 9 фамилия Ингулова с обложки «Нового мира» исчезает, и вновь появляется фамилия Полонского.

Для моего сюжета вся эта мелкая интрига представляет интерес лишь постольку, поскольку в ней отразилась странная — прямо-таки загадочная! — реакция Полонского на «землетрясение», в эпицентре которого он оказался:

► Сообщил мне, что меня хотят, в конце концов, — в результате всех историй — снять с работы.

— Да каких историй? — воскликнул я. — Ведь историй-то нет; с Пильняком ведь была ошибка — и только!

Ничего себе — ошибка!

Да ведь ничего похожего на то, что произошло с «Повестью непогашенной луны», не случилось больше ни разу за все время существования ни «Нового мира», ни какого-либо из других советских журналов.

Мало того, что тираж майского номера 1926 года, в котором была напечатана эта «Повесть...», был изъят. Весь этот тираж был отпечатан заново с заменой повести Пильняка повестью А. Сытина о борьбе с басмачеством — «Стада Аллаха». И хотя, как уже было сказано, к подписчикам, успешным получить журнал, приходили сотрудники ГПУ и под расписку его изымали, совсем спрятать концы в воду властям не удалось. На обложке каждого номера из этого нового тиража красовалась надпись: «ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ». Какая-то часть первого тиража с повестью Пильняка до читателей, значит, все-таки дошла, и сделать вид, что никакого ЧП не произошло, было уже невозможно.

Полонский, может быть, искренне полагал, что появление на страницах возглавляемого им журнала «Повести непогашенной луны» — всего лишь «ошибка», да и не такая уж страшная, если он, главный редактор, отделался выговором. Но Сталин держался на этот счет совсем другого мнения.

Он не мог рассматривать появление этой повести иначе как враждебную по отношению к нему лично, точно рассчитанную политическую акцию, инспирированную троцкистской оппозицией.

Но по каким-то своим соображениям (по каким именно, — это и предстоит нам понять) он решил это дело забыть. Сделать вид, что это даже не ошибка, а всего лишь мелкий, не заслуживающий особого внимания казус.

Немало способствовали такому решению многочисленные доброжелатели Пильняка, искренне сочувствующие ничему не смыслящему в большой политике автору, и постаравшиеся вывести его из-под удара:

- ▶ — Идею написания этой повести мне подал Воронский. Во время писания я читал ее тогдашним моим товарищам, читал, в частности, и Агранову. Агранов рассказал мне несколько деталей о том, как болел Фрунзе. Затем у меня было собрание, обсуждавшее повесть. Присутствовали: Полонский — редактор «Нового мира», Лашевич — которого я пригласил как военного специалиста... Все они одобрили повесть, а Полонский нашел, что нужно сделать предисловие к повести, которое тут же и было написано...

Запрещение этой повести совпало как раз с моим пребыванием в Китае. Вернувшись оттуда, я обратился к Скворцову-Степанову, главному редактору «Известий», чтобы он решил мою судьбу. Скворцов-Степанов отнесся ко мне очень сочувственно, в беседе со мной сказал, что этот рассказ является талантливым произведением, обещал свою поддержку и устроил свидание с Рыковым. Рыков посоветовал мне написать покаянные письма, что я и сделал.

В последующем Радек выразил мне свое сочувствие и оказал материальную помощь. Нужно прибавить, что Радек читал в рукописи эту повесть и даже принял участие в ее редактировании... Радек был первым, кто стал со мной говорить прямо и резко против руководства партии. В беседах со мной Радек утверждал, что Сталин отходит от линии Ленина, в то время, как он, Радек, Троцкий и другие их сторонники были настоя-

щими ленинцами, и что снятие их с руководящих постов есть искажение линии Ленина, в связи с этим, говорил Радек, неминуема борьба троцкистов со сталинцами...

(Виктор Шенталинский. *Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995. Стр. 197—198*)

Все это Пильняк говорил в допросах на Лубянке в 1937 году. Рыков в то время был уже репрессирован, а Радек даже уже осужден, и допрашивавшие арестованного писателя следователи, естественно, выколачивали из него признания в его преступных связях с этими *врагами народа*.

Всем ярлыкам, которые следователи навешивали на подследственного, всему словесному оформлению полученных от него показаний, разумеется, верить нельзя. Но вся фактическая сторона дела была им тут изложена вполне правдиво.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить эти его «признательные показания» 1937 года с письмом, написанным им 17 декабря 1926 г., — то есть по горячим следам событий, — тогдашнему редактору «Известий» И.И. Скворцову-Степанову:

▶ Глубокоуважаемый Иван Иванович.

Вы просите меня написать Вам историю написания и напечатания «Повести непогашенной луны». Вот она... Однажды, гуляя с тов. Воронским, мы говорили с ним на тему о том, как индивидуальность всегда подчиняется массе, коллективу, всегда идет за колесом коллектива, иногда гибнет под этим колесом... Эти темы тогда меня интересовали, и я собирался тогда на эту тему написать какой-либо рассказ. В ту же прогулку тов. Воронский рассказал мне о смерти и о мелочах быта тов. Фрунзе. И тогда же, в ту же прогулку, мне пришла мысль написать повесть о смерти человека...

Повесть была написана. Я посвятил повесть тов. Воронскому, потому что он был человеком, натолкнувшим меня на мысль написать эту повесть. У меня есть обыкновение, прежде чем отдавать более-менее боль-

шую работу в печать, устраивать читки... Так же поступил я и тогда. Пригласив друзей-писателей, Вс. Иванова, В.В. Вересаева, Гл. Алексеева, я попросил прийти на читку и знакомых партийцев, тт. Радека, Полонского, Рейснер как литераторов, и Лашевича как военспеца... Вещь была прочитана, одобрена и тут же взята к напечатанию в «Новом мире». Читка эта была приблизительно в начале января... Повесть была напечатана. Дальнейшее Вы знаете. Мне известны разговоры о том, что повесть была инспирирована оппозиционерами. Я отрицаю это: я не знаю, была ли уже оппозиция в декабре прошлого года, когда повесть создавалась, — во всяком случае, мне о ней ничего не было известно. Лашевич приглашался мною исключительно как человек, знающий советский военный быт...

*(Т.Ф. Павлова. «Пильняк жульничает и обманывает нас...» К истории публикации «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка. В кн.: «Исключить всякие упоминания...» Очерки истории советской цензуры. М., 1995. Стр. 71—75)*

Для Пильняка все эти приглашенные им на читку его повести видные коммунисты (Радек, с которым Пильняк был особенно близок, был тогда из числа самых видных, а М.М. Лашевич был не больше и не меньше, как заместителем наркома по военным и морским делам) — для беспартийного попутчика Пильняка все они были — «партийцы». Чистота их партийных риз не вызывала у него никаких сомнений. Так он изображает дело и в своей объяснительной записке Рыкову:

- ▶ Судите сами, как я мог в какой-либо минимальной мере подозревать судьбу этого рассказа, когда он, рассказ писателя-непартийца, был одобрен уважаемыми партийцами и принят к напечатанию издательством «Известий ЦИКа».

*(Там же. Стр. 69)*

Для Пильняка Радек, Лашевич, Воронский были «уважаемыми партийцами». А для Сталина — троцкистами или зиновьевцами, то есть злейшими его врагами. И для него эта объяснительная записка Пильняка могла только подтвердить наверняка возникшее у него подозрение, что «Повесть непогашенной луны» была **«инспирирована оппозиционерами»**.

Пильняк не зря так всполошился, когда до него докатилось это обвинение. Категорически его отметая, он в запальчивости договаривается до того, что будто бы даже и сейчас не знает, «была ли уже оппозиция в декабре прошлого года, когда повесть писалась». И тут же, словно спохватившись, добавляет, что даже если и была, то ему о ней «ничего не было известно».

Можно ли в это поверить?

\* \* \*

В то самое время, когда Пильняк писал эту свою повесть (он закончил ее 9 января 1926 года), в Москве — с 18 по 31 декабря 1925 г. — заседал XIV съезд ВКП(б), едва ли не главным содержанием которого стала схватка Сталина с **новой оппозицией**. (Впоследствии это стало официальным ее названием: в сталинской истории ВКП(б) эта оппозиция так и именуется: «Новая оппозиция».)

В отчетном докладе Сталина (это был первый партийный съезд, на котором отчетный доклад ЦК делал он) есть даже специальная глава: «Платформа оппозиции». Но начинается эта глава с заявления, что никакой политической платформы у этой «Новой оппозиции», в сущности, нет:

- ▶ А теперь перейдем к платформе Зиновьева и Каменева, Сокольникова и Лашевича. Пора и о платформе оппозиции поговорить. Она у них довольно оригинальная. Много разнообразных речей у нас было сказано со стороны оппозиции. Каменев говорил одно, тянул в одну сторону, Зиновьев говорил другое, тянул в другую сторону, Лашевич — третье, Сокольников — четвертое. Но, несмотря на разнообразие, все они сходились

на одном. На чем же они сошлись? В чем же состоит их платформа? Их платформа — реформа Секретариата ЦК. Единственное общее, что вполне объединяет их, — вопрос о Секретариате. Это странно и смешно, но это факт.

(И. Сталин. Сочинения. Том 7. М., 1947. Стр. 386)

Для начала отметим, что Лашевич, которого Пильняк приглашал на читку своей повести, как явствует из этой сталинской цитаты, был видным членом «Новой оппозиции». Можно даже сказать — одним из ее вождей. И в декабре 1926 года, когда Пильняк сочинял свое письмо Скворцову-Степанову, он уж точно не мог этого не знать. Знал, конечно. Недаром же так настойчиво подчеркивал, что Лашевич, в отличие от других приглашенных на читку «партийцев», был им приглашен туда «исключительно как человек, знающий советский военный быт».

Вернемся, однако, к сталинской цитате. Она требует некоторых пояснений.

«Это странно и смешно», — заключает Сталин свое утверждение, что оппозиционеров объединяет только «вопрос о Секретариате». Но на самом деле это было вовсе не странно и уж совсем не смешно, потому что выражение «вопрос о Секретариате» было чистейшей воды эвфемизмом. «Вопрос» был не о Секретариате, а — о нем, о Сталине.

Оппозиционеры говорили об этом в выражениях обтекаемых, но вполне ясных. Все отлично понимали, о чем идет речь. Но один из лидеров оппозиции — Л.Б. Каменев, — сказал об этом прямо, со всей «большевистской откровенностью», поставив все точки над *i* и назвав кошку кошкой:

- ▶ Мы против теории «вождя», против создания «вождя». Мы против Секретариата, который на практике соединил в себе и политику и организацию, став над политическим органом... Мы за то, чтобы Политбюро на деле стало полновластным и в то же время, чтобы Секретариат был ему подчинен и исполнял бы только технические аспекты его решений... Я лично утвер-

жду, что наш генеральный секретарь не принадлежит к той категории людей, которые могут объединить вокруг себя старый большевистский штаб.

Тут он вспомнил про «Завещание» Ленина и предложил съезду выполнить наконец волю покойного вождя и снять Сталина с поста Генерального секретаря ЦК.

- ▶ Я, — сказал он, — уже много раз говорил об этом и Сталину лично, и другим товарищам. И вот сейчас, на съезде, хочу повторить: «Я пришел к убеждению, что Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба».

Тут стенограмма съезда отмечает такую реакцию зала:

- ▶ «Неверно!», «Чепуха!», «Он раскрыл свои карты!» (Шум. Аплодисменты со стороны Ленинградской организации). «Мы не отдадим вам командных высот!» «Сталин! Сталин!» (Делегаты встают и чувствуют т. Сталина. Бурные аплодисменты). «Да здравствует т. Сталин!»

*(Четырнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1926. Стр. 273—275)*

Состав делегатов этого съезда был уже не тот, что на предыдущих съездах, заканчивавшихся здравицами в честь «наших мировых вождей» товарища Ленина и Троцкого и «наших железных вождей» товарищей Каменева и Зиновьева. Сталинский секретариат хорошо поработал над тем, чтобы обеспечить своему хозяину на этом съезде твердое большинство.

При таком раскладе для Сталина, наверно, не составило бы большого труда добиться не только полного разгрома «Новой оппозиции», но и настоять на выводе Каменева и Зиновьева из Политбюро. Может быть, даже и на исключении их из партии.

Но Сталин не любил торопиться. Он умел ждать. И отчасти поэтому, а отчасти по другим, более серьезным причи-

нам, в рассмотрение которых сейчас нам не стоит вдаваться, — слишком уж далеко это бы нас увело, — избрал иную линию поведения:

- ▶ Позвольте теперь перейти к истории нашей внутренней борьбы внутри большинства Центрального Комитета. С чего началась наша размолвка? Началась она с вопроса о том, «как быть с Троцким». Это было в конце 1924 года. Группа ленинградцев вначале предлагала исключение Троцкого из партии. Я имею тут в виду период дискуссии 1924 года. Ленинградский губком вынес постановление об исключении Троцкого из партии. Мы, т. е. большинство ЦК, не согласились с этим (*Голоса*: «Правильно!»), имели некоторую борьбу с ленинградцами и убедили их выбросить из своей резолюции пункт об исключении. Спустя некоторое время после этого, когда собрался у нас пленум ЦК и ленинградцы вместе с Каменевым потребовали немедленно исключения Троцкого из Политбюро, мы не согласились и с этим предложением оппозиции, получили большинство в ЦК и ограничились снятием Троцкого с поста наркомвоена. Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови — а они требовали крови — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, — что же у нас останется в партии? (*Аплодисменты.*)

(И. Сталин. Сочинения. Том 7. М., 1947.  
Стр. 379—380)

Это говорит человек, который спустя десять-двенадцать лет устроил своим товарищам по партии такое «пускание крови», какое даже в самом страшном сне им не могло присниться.

А на предложение оппозиции вернуть Секретариату его былую роль технического органа, каким он был при Ленине, Сталин отвечал так:



- ▶ Этот вопрос имеет свою историю. В 1923 году, после XII съезда, люди, собравшиеся в «пещере» (*смех*), выработали платформу об уничтожении Политбюро и политизировании Секретариата, т. е. о превращении Секретариата в политический и организационный руководящий орган в составе Зиновьева, Троцкого и Сталина. Каков смысл этой платформы? Что это значит? Это значит руководить партией без Рыкова, без Калинина, без Томского, без Молотова, без Бухарина. Из этой платформы ничего не вышло, не только потому, что она была в то время беспринципной, но и потому, что без указанных мной товарищей руководить партией в данный момент невозможно.

*(Четырнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Стр. 504—508)*

Я процитировал этот абзац из сталинского доклада по стенограмме съезда, потому что в тексте, напечатанном в 7-м томе его Сочинений имени Рыкова, Томского и Бухарина выпали. В 1947 году сохранить реплику Сталина о том, что «руководить партией без указанных товарищей невозможно», было бы нелепо, поскольку в 1947 году, когда вышел в свет этот том, все уже знали, что «указанных товарищей» оказалось можно не только выкинуть из Политбюро, но даже расстрелять.

А на тот момент Рыков, Томский и Бухарин в Политбюро были ему еще нужны. Так же, впрочем, как Троцкий, Зиновьев и Каменев.

- ▶ Мы — партия, правящая страной, — не забывайте этого. Не забывайте, что каждая размолвка вверху отдается в стране, как минус для нас. Я уже не говорю о загранице.

Органы ЦК, должно быть, останутся в том же виде, в каком они существуют. Едва ли партия согласится их ломать. (*Возгласы: «Правильно!» Аплодисменты.*) Политбюро и так полновластно, оно выше всех органов ЦК, кроме пленума. А высший орган — пленум, о ко-

тором иногда забывают. Пленум решает у нас все, и он призывает к порядку своих лидеров, когда они начинают терять равновесие. (*Возгласы: «Правильно!» Смех. Аплодисменты.*) Единство у нас должно быть, и оно будет, если партия, если съезд проявит характер и не поддастся запугиванию. (*Голоса: «Не поддадимся, тут народ стреляный».*) Если кто-либо из нас будет зарываться, нас будут призывать к порядку, — это необходимо, это нужно. Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об этом после Ильича (*аплодисменты*), глупо об этом говорить.

Коллегиальная работа, коллегиальное руководство, единство в партии, единство в органах ЦК при условии подчинения меньшинства большинству, — вот что нам нужно теперь.

(И. Сталин. Сочинения. Том 7. М., 1947.  
Стр. 390—391)

На земли мир и во человецех благоволение. И давайте жить дружно. И никто ни из кого не собирается «делать вождя».

Эта лицемерная тактика Сталина нашла свое выражение и в кадровых итогах съезда. Главные оппозиционеры — Зиновьев, Каменев, Сокольников и Евдокимов — остались членами ЦК. Крупская (она тоже примыкала к оппозиции) вошла в состав ЦКК. Лашевич из членов ЦК был переведен в кандидаты.

1 января 1926 года состоялся организационный пленум нового Центрального Комитета, на котором были «выбраны» руководящие органы ЦК. В Политбюро сохранили свои места Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Томский и Сталин. Каменев был переведен в кандидаты. А Ворошилов, Молотов и Калинин, бывшие до того кандидатами, стали полноправными членами высшего партийного органа. В Секретариат вместе со Сталиным и «сталинцами» — Молотовым, Углановым и Косиором, вошел ярый «зиновьевец» — Евдокимов.

Все это создавало иллюзию (а может быть, и не только

иллюзию), что оппозиционеры сохранили свое влияние на политическом партийном олимпе. Мало того! Что игра еще не доиграна, ситуация обратима, и еще неизвестно, как в конце концов обернется и чем закончится эта их «внутривидовая» борьба.

Этим отчасти и объясняется отчаянная смелость Пильняка, как раз в это самое время заканчивавшего свою крамольную повесть.

Тут надо еще сказать, что ситуация тогда и по существу — без учета этой лицемерной сталинской тактики — была довольно запутанная. Две антисталинские оппозиционные группы в «высшем эшелоне власти» — троцкистская и зиновьевская — были смертельными врагами. И приятель Пильняка Радек, будучи неизменным и последовательным приверженцем Троцкого, был в то же время на стороне Сталина против Зиновьева. (У него, помимо всего прочего, был тут и личный мотив: незадолго до этого Зиновьев выставил Радека из Коминтерна.)

Воронский, внушивший Пильняку идею «Повести непогашенной луны» и даже подсказавший ему ее сюжет, тоже был троцкистом. Троцкий же во время схватки Сталина с Зиновьевым «держал нейтралитет». На протяжении всей дискуссии он сидел в президиуме съезда и молчал, надо полагать, злорадствуя, что Сталин теперь расправляется с Зиновьевым и Каменевым тем же способом, каким год назад вместе с этими вчерашними своими соратниками расправился с ним. Должно было пройти еще два года, чтобы оба эти фланга антисталинцев наконец спохватились и создали объединенную антисталинскую оппозицию. Но было уже поздно.

«Перемирие», заключенное Сталиным с оппозицией, было недолгим и в достаточной мере условным. Но нарушил его не Сталин.

Вот как об этом сообщалось в официальном документе ЦК (23 июля 1926 года):

- ▶ Оппозиция не удержалась в своей борьбе на почве законного отстаивания своих взглядов в рамках партийного Устава... прибегнув в своей борьбе с партией к попыткам создания нелегальной фракционной орга-

низации, противопоставленной партии... Особо должно быть отмечено нелегальное фракционное собрание в лесу, близ Москвы, устроенное... по всем правилам конспирации... На этом тайном от партии собрании с докладом выступает кандидат в члены ЦК ВКП(б) Лашевич, призывая собравшихся организовать борьбу... Растущая фракционность новой оппозиции привела ее к игре с идеей двух партий.

*(КПСС в резолюциях, ч. II, стр. 161—162).*

Дело было нешуточное. Особенно если учесть, что М.М. Лашевич был не только кандидатом в члены ЦК, но и заместителем наркомвоенмора и заместителем председателя Реввоенсовета СССР, то есть человеком, в распоряжении которого были и роты курсантов, и дивизии, и многие другие средства силового решения проблемы. Ни Троцкий, ни Зиновьев с Каменевым, как уже было сказано, на такое решение никогда бы не пошли. Но Сталин этим казусом вполне мог бы воспользоваться именно для такого, силового решения.

Мог бы — но не захотел.

Не захотел даже воспользоваться им для того, чтобы объявить «Повесть непогашенной луны» Пильняка частью этой заговорщицкой деятельности оппозиционеров.

Он хотел разгромить оппозицию легитимно, оставаясь «в рамках партийного Устава». По существу — аппаратными методами, то есть — втихаря. И раздувать скандал вокруг повести Пильняка (который мог привлечь всеобщее внимание как раз к его умению решать эти вопросы совсем не легитимными, а чисто уголовными методами) в этих обстоятельствах ему было совсем ни к чему. В его интересах было этот скандал как можно скорее погасить.

\* \* \*

Высший орган партийной (а значит, и государственной) власти на появление «Повести непогашенной луны» отреагировал мгновенно. Тотчас по выходе майской книжки «Нового мира», 13 мая 1926 года Политбюро принимает решение, в первом пункте которого эта повесть именуется «зло-

стным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии». (Документ № 4.) Тем же пунктом своего постановления Политбюро подтверждает правильность изъятия из обращения пятой книги «Нового мира».

Далее следует перечень взысканий, которым подвергаются все лица, в той или иной мере причастные к появлению на свет этой повести и несущие ответственность за это появление.

Членам редколлегии «Нового мира» Луначарскому и Скворцову-Степанову — «поставить на вид».

Полонскому, «как члену редколлегии, ответственному за художественный отдел», объявить «строжайший выговор».

Воронскому —

- ▶ ...письмом в редакцию «Нового мира» отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК.

И кроме того:

- ▶ Констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пильняка «Повесть о непогашенной луне» не могли быть созданы Пильняком иначе, как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на тов. Воронском. Объявить тов. Воронскому за это выговор.

Редколлегии «Нового мира» —

- ▶ ...одновременно с письмом тов. Воронского опубликовать свое заявление о том, что, присоединяясь к мнению тов. Воронского, она считает напечатание этого рассказа явной и грубой ошибкой.

Что же касается главного виновника происшедшего — автора крамольной повести, — то ему в этом постановлении был посвящен только один короткий пункт:

- ▶ Снять Пильняка со списка сотрудников журналов «Красная новь», «Новый мир» и «Звезда» (Ленинград).

Главлит эти пункты постановления Политбюро интерпретировал по-своему, что нашло свое выражение в тотчас же объявленном его *секретном циркуляре*:

- ▶ 27 мая 1926 г. Главлит. Секретно.

Предлагается вам впредь до особого распоряжения не допускать помещения произведений Б. Пильняка в толстых партийно-советских журналах и сборниках и вычеркивать фамилию названного писателя из списка сотрудников этих журналов.

Начальник Главлита Лебедев-Полянский

(А. Блюм. *За кулисами «министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917—1928.* СПб., 1994. Стр. 229)

Все это клонилось к тому, что Пильняка «закроют» надолго. Может быть, даже навсегда.

Но дошедшая до нас резолюция на письме Пильняка Рыкову дает уже другую, смягченную формулировку этого крутого решения.

Резолюция эта, правда, принадлежит не самому Рыкову.

Но человеку, указания которого в то время были никак не менее, а может быть, даже более весомыми, чем распоряжения председателя Совнаркома:

- ▶ С месяц тому назад я передал отделу печати ЦК, чтобы Пильняка с год не пускали в основные три журнала, но дали возможность печататься в других.

В. Молотов

(«Исключить всякие упоминания...» *Очерки истории советской цензуры. М., 1995. Стр. 69*)

Согласно этой резолюции Пильняка надлежало отлучить уже не от всех «толстых партийно-советских журналов и сборников», а только от трех. И не навсегда, а на время. При-

чем время это точно указано: на год. И при этом еще особо оговаривается, что, «не пуская» Пильняка в три основных толстых журнала, ему все-таки надо дать «возможность печататься в других».

Эту молотовскую резолюцию подтвердил Сталин, сделав на том же листе уже знакомую нам приписку:

- ▶ Думаю, что этого довольно. Пильняк жульничает и обманывает нас.

И. Сталин.

*(Там же. Стр. 70)*

Своего раздражения и даже личной своей задетости «злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом» Пильняка Сталин в этой своей резолюции не утаил. Но смягченный вариант наказания оскорбившего его писателя санкционировал. (Не исключено, что именно от него этот смягченный молотовский вариант и исходил. Во всяком случае, он наверняка с ним согласовывался.)

Как мы уже установили, Пильняк в обеих своих объяснительных записках (и Рыкову, и Скворцову-Степанову) действительно «жульничал». Но, внимательно взглядевшись во все имеющиеся в нашем распоряжении документы, мы увидим, что «жульничали» тут все. Жульничал Воронский, когда, имитируя праведный гнев, восклицал в своем письме в редакцию «Нового мира», что повесть Пильняка «оскорбительна для памяти т. Фрунзе» и он считает ее «злостной клеветой на нашу партию ВКП(б)». Жульничал Скворцов-Степанов, видимо, искренне старавшийся помочь попавшему в трудное положение Пильняку, но каждый свой шаг согласовывавший с Рыковым. Жульничал, как мы в этом сейчас убедимся, и Рыков. Ну, и наконец, жульничал сам Сталин, делая вид, что резолюцией Молотова и его согласием с ней в «деле Пильняка» поставлена последняя точка.

\* \* \*

Рыков, прочитав «объяснительную записку» Пильняка и обсудив ситуацию со Скворцовым-Степановым, видимо, дал понять, что автору порочной повести следует признать свою

вину в специальном обращении к читателям, которое должно появиться на страницах «Нового мира».

Такое письмо Пильняком было написано.

Вот оно:

► В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА  
«НОВЫЙ МИР»

Москва

26 ноября 1926 г.

Глубокоуважаемый товарищ редактор. Позвольте мне сообщить читателям нижеследующее. Возвратившись из-за границы, где я пробыл более полугода, ныне в полной мере сил я понял, как моя «Повесть непогашенной луны», напечатанная в майской книге «Нового мира» за 1926 год, возмутительнейше была использована контрреволюционной обывательщиной. Обыватель, искажая мои замыслы, вкладывает в повесть содержание, клеветящее на виднейших работников партии и революции, противное моему писательскому существу. При таких обстоятельствах мне совершенно ясно, что появление повести есть несомненная бестактность. Это тем более печально для меня, что я сознаю себя художником революции, рожденным революцией и связанным с революционной — здоровой — общественностью.

Бор. Пильняк

*(«Исключить всякие упоминания...» Очерки истории советской цензуры. М., 1995. Стр. 70)*

Как видим, Пильняк продолжал «жульничать».

Скажем мягче — вилять.

Ему предписано было признать, что он сочинил «злостную клевету на партию», а он всю вину за случившееся взваливает на «контрреволюционную обывательщину», которая, искажая его замыслы, вложила в повесть содержание, противное его «писательскому существу».

Сам факт сочинения клеветнической повести и появления



ее на страницах журнала, который ему надлежало квалифицировать как грубую политическую ошибку (свою и редакции), он деликатно именуется бестактностью.

Нет ничего удивительного в том, что этот вариант «Письма в редакцию» Рыков не стал даже рассматривать. Он сразу и категорически его отверг.

Через два дня Пильняк представил пред светлые очи председателя Совнаркома другой вариант своего обращения к читателям:

► В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА  
«НОВЫЙ МИР»

Москва  
28 ноября 1926 г.

В майской книге «Нового мира» появилась моя «Повесть непогашенной луны», а в июньской книге было напечатано письмо тов. Воронского, где он считает повесть «злостной клеветой на нашу партию ВКП(б)». В препроводительном к письму тов. Воронского примечании редакции редакция «считает помещение в «Новом мире» повести Пильняка явной и грубой ошибкой».

Сейчас, вернувшись из-за границы, где я был оторван от СССР, восстановив обстановку, при которой писалась повесть, я нахожу необходимым заявить: не учтя внешних обстоятельств, я никак не ожидал, что эта повесть сыграет в руку контрреволюционного обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии и ее ответственным вождям, ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету, сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании: поэтому присоединяю мое мнение к мнению редакции и считаю явной бестактностью как написание, так и напечатание «Повести непогашенной луны».

Бор. Пильняк

(Там же. Стр. 70—71)

Этот вариант Рыкова в принципе устроил, но он все-таки счел нужным слегка его скорректировать. Вычеркнул выделенную мною курсивом фразу «и ее ответственных вождей» (она напоминала о том, что прототипом «негорбашегося человека» был Сталин). Вычеркнул совершенно неуместное, на его взгляд, в таком объяснении слово «бестактность». И вместо последних строк (так же выделенных мною курсивом) собственноручно вписал другую формулировку, которую счел единственно здесь уместной:

- ▶ Теперь я знаю, что многое, написанное мною в повести, есть клеветнические вымыслы. Поэтому присоединяю мое мнение к мнению редакции и считаю большой ошибкой как написание, так и напечатание «Повести непогашенной луны».

*(Там же. Стр. 71)*

С этими поправками «Письмо в редакцию» Бориса Пильняка и было напечатано.

Сам по себе тот факт, что член Политбюро и глава Правительства собственноручно редактирует письмо беспартийного писателя в редакцию опубликовавшего его повесть журнала, — не слишком удивляет. Из многочисленных документов, опубликованных в последние годы, мы узнали, что Сталин собственноручно редактировал тексты признательных показаний Каменева и Зиновьева и даже текст вынесенного им приговора.

Процесс над Зиновьевым и Каменевым был, конечно, делом неизмеримо большей государственной важности, чем скромное «дело Пильняка». Но для Сталина, как видим, и оно тоже было делом государственной важности. Недаром же заниматься им было поручено главе Правительства.

Свою роль в этом деле глава Правительства, правда, держал в секрете.

К собственноручно выправленному им «Письму в редакцию» Пильняка, текст которого он переслал Скворцову-Степанову, им была сделана такая приписка:

- ▶ Иван Иванович! Вот поправки, которые хотелось иметь в тексте письма... Необходимо избежать, чтобы кто-нибудь знал, что я предварительно читал это письмо.

*А. Рыков*

Направляя Рыкову «объяснительную записку» Пильняка, Скворцов-Степанов снабдил ее своей — «препроводительной» запиской:

- ▶ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
И.И. СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА  
К ПИСЬМУ Б. ПИЛЬНЯКА,  
АДРЕСОВАННАЯ А.И. РЫКОВУ

*19 декабря 1926 г.*

Дорогой Алексей Иванович!

Препровождаю Вам объяснение и заявление Пильняка. Разрешите на днях зайти к Вам, чтобы определить, что делать дальше.

*С ком. прив. И. Скворцов*

Теперь, после получения секретной записки Рыкова и отредактированного им лично текста письма Пильняка, Иван Иванович, казалось бы, уже мог действовать самостоятельно. Но — как видно, не мог. Далее в деле фигурирует еще одна —

- ▶ СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА А.И. РЫКОВУ  
С ПРИПИСКОЙ И.И. СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА

*21 декабря 1926 г.*

Т. Степанов-Скворцов сообщает: «верстка январской книжки «Нового мира» выходит во вторник, поэтому Письмо Пильняка может появиться в печати в том случае, если оно будет сдано в печать во вторник.

Приписка от руки: 21. 12. 26. Просьба: Вырешить вопрос по окончании недели (24. 12). Иначе выход январской книжки «Нового мира» сильно задержится.

*И. Скворцов*

И.И. Скворцов-Степанов был не последний человек в тогдашнем партийном истеблишменте. (Член партии с 1896 года. Сталин — с 1898-го.) Держался независимо, о чем красноречиво свидетельствует, например, такой факт:

- ▶ Когда Т<роцкий> прислал в «Новый мир» статью, статья должна была пойти в январской книге, Воронский позвонил Степанову-Скворцову. Я был в кабинете. Воронский стал пугать старика: у меня, говорит, есть статья, ее не пропускают. Откажитесь и вы. Степанов-Скворцов, хитро мне подмигивая, ответил ему: «Ничего, Саша, не беспокойся, спасибо. Что у тебя не прошло — может пройти у нас. Ведь знаешь, — звезда от звезды...» и т. д. Воронский еще что-то говорил ему, отговаривал печатать. Старик не сдался. Повесив трубку, сказал:

— Беспокойся Саша. Не советует печатать. Ну, да ничего, напечатаем.

*(Вячеслав Полонский. «Моя борьба на литературном фронте». Дневник. «Новый мир», 2006, № 3)*

Воронский беспокоился не зря. Дело было в 1926 году, Троцкий, хоть и оставался членом Политбюро, был в то время главным антагонистом, врагом Сталина, и публикацию его статьи Сталин наверняка расценил как проявление, — скажем мягко, — нелояльности. Тем не менее Иван Иванович эту статью Троцкого опубликовал. (Лев Троцкий. Культура и социализм. «Новый мир», 1926, № 1, стр. 166—177.) Опубликовал, ни с кем «наверху» это дело не согласовывая.

А в «деле Пильняка» самостоятельно ничего «вырешить» не мог. Каждый свой шаг должен был согласовывать с Рыковым. А тот, уже отредактировав письмо Пильняка, все что-то еще медлил, тянул. Тоже с кем-то, видать, согласовывал. (Как вы понимаете, согласовывать это предсовнаркома мог только с одним человеком.)

В конце концов, решение было все-таки принято, и «Письмо Бориса Пильняка в редакцию «Нового мира» появилось в январской книжке журнала 1927 года.

24 января того же года было принято новое —

▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)  
О Б.А. ПИЛЬНЯКЕ

24 января 1927 г.

№ 80. п. 35 — О Бор. Пильняке (т. Гусев)

В связи с напечатанием в № 1 «Нового мира» за 1927 г. письма Б. Пильняка считать возможным отменить решение ПБ от 13 мая 1926 г. (пр. № 25, п. 22, подпункт «д») о снятии Пильняка со списков сотрудников журналов «Красная новь», «Новый мир» и «Звезда».

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы 1917—1953. М., 2002. Стр. 69)*

На этом инцидент был наконец исчерпан. Из чего, конечно, не следует, что Сталин о нем забыл.

Он ничего не забывал. Память у него была хорошая.

## Сюжет третий

### «ВОЗЬМИТЕ, НАПРИМЕР, ТАКОГО ПОПУТЧИКА, КАК ПИЛЬНЯК...»

26 августа 1929 года в «Литературной газете» появилась небольшая заметка.

- ▶ Эмигрантские газеты и журнальчики, — говорилось в ней, — охотятся за нашей литературой и наиболее каверзное и сомнительное у себя перепечатывают. Особым успехом обычно пользуется у эмиграции творчество Булгакова, Зощенко, Пильняка и др. Мы не понимаем, как может случиться, что советские литераторы, чьи произведения перепечатываются белогвардейской прессой, ни разу не удосужились выразить по этому поводу свой протест. Ведь надо помнить, что за рубежом создается впечатление подлинного сотрудничества наших писателей с белой прессой.

Но есть факты еще более недопустимые: Борис Пильняк напечатал свой роман «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис». Как мог Пильняк этот роман туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом он входит

в контакт с организацией, злобно-враждебной стране Советов? Почему Пильняк, председатель Всероссийского союза писателей, не протестовал, если этот роман был напечатан эмигрантами без его ведома и помимо его желания?

(Б. Волин. *Недопустимые явления.*  
«Литературная газета», 26.8.1929. Стр. 1)

Тон заметки спокойный. По тем временам можно даже сказать — сдержанный. Рапповские «неистовые ревнители», когда им случалось писать о писателях-попутчиках, делали это обычно совсем в другой тональности.

Например, вот так:

- ▶ Пьеса А.Н. Толстого — бывшего графа — вчерашнего певца разорившегося дворянства, до последнего времени числившегося в рядах мелкобуржуазных попутчиков, злобая, — бешеная вылазка классового врага, прикрытая искусной маской «историчности»... искусно замаскированная контрреволюционная вылазка, во много раз более активная, чем «Дни Турбиных» или «Багровый остров».

(И. Бачелис. *Для чего сие?* «Комсомольская правда»)

В сравнении с критическими откликами такого толка заметка Б. Волина о Пильняке с ее суховатым и сравнительно скромным заглавием и сдержанно укоряющим, совсем не крикливым и не скандальным тоном могла показаться даже миролюбивой. Во всяком случае, ни в малой мере не предвещала оно того, что за ней последовало.

А последовало за ней следующее.

В тот же день — 26 августа — заметка Б. Волина была перепечатана в вечернем выпуске «Красной газеты». А несколько дней спустя в той же «Красной газете» (вечерний выпуск от 31 августа 1929 г.) появилась уже не заметка, а большая, программная статья («с продолжением») М. Чумандрина. Она называлась «Итак, что же такое Союз писателей?». Речь шла о том Союзе, во главе которого стоял Пиль-

няк и который Маяковский вскоре пренебрежительно назовет «союзом пильняков». В этом «аполитичном» Союзе автор предлагал провести генеральную чистку. Не брезгуя при этом и такими верными и испытанными методами выявления затаившихся врагов, как политические доносы:

- ▶ Доносы? Мы не боимся слов. Для нас важно дело, стоящее за этим словом. Разоблачить чуждую, враждебную тенденцию, выявить врага и обрушиться на контрреволюционера, да ведь это почетнейший долг перед лицом рабочего класса!

*(«Красная газета». Вечерний выпуск.  
2 сентября 1929 г.)*

С каждым днем кампания набирала все новые и новые обороты.

В травлю Пильняка (а заодно и Замятина, роман которого «Мы» тоже в это время был напечатан на Западе) включились другие газеты. Вслед за писателями, с готовностью принявшими участие в этой травле, к ней, как водится, подключились «представители широкой общественности», выступившие с требованиями «указать на дверь» этим «откровенным врагам рабочего класса», «устроить показательный общественный суд на одном из самых больших заводов с участием литературных работников», «незамедлительно провести в жизнь проверку всех писателей-попутчиков».

9 сентября исполбюро Федерации объединений советских писателей вынесло решение по делу Пильняка и Замятина:

- ▶ Факт издания ими за границей своих произведений может быть расценен только как проявление вредительства интересам советской литературы и всей советской страны.

*(Красная газета. Вечерний выпуск, 9 сентября 1929 г.)*

*Эту цитату, как и все предыдущие цитаты из тогдашних газет, я привожу по комментариям Евг. Барабанова к книге: «Е. Замятин. Сочинения». М., 1988. Стр. 524—575)*



Вот лишь некоторые из заголовков тогдашних газетных статей:

«Недопустимое явление».

«Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Б. Пильняка».

«Против Пильняка с белой эмиграцией».

«Недопустимая переключка».

«Борис Пильняк — собственный корреспондент белогвардейщины».

«Проверить Союз писателей».

«Против переключки с эмигрантщиной».

Проходил месяц за месяцем, а кампания все не утихала.

Почти год спустя после появления в «Литературной газете» заметки Волина, обозначившей начало кампании, «бородатый комсомолец» (так однажды назвал его Маяковский) Александр Безыменский с трибуны XVI съезда партии (июнь 1930 года) продолжал клеймить «предателей» (разумеется, в стихах):

А в дали  
Боевую идею  
Взяв язвительным словом в штыки,  
Цветом «Красного дерева» преют  
И Замятины  
И Пильняки.

Не удержался и сам Маяковский, тоже заклеив Пильняка (правда, не в стихах, а в прозаическом отклике):

- ▶ Повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал.

К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов.

В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.

Надо бросить беспредметное литературничанье.  
Надо покончить с безответственностью писателей.  
Вину Пильняка разделяют многие. Кто? Об этом —  
особо.

Например, кто отдал треть Федерации союзу пиль-  
няков?

Кто защищал Пильняков от рефовской тенденциоз-  
ности?

Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев  
на классовую экстерриториальность?

*(Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений.  
Том 12. М. 1959. Стр. 196)*

Сын Б.А. Пильняка (Б.Б. Андроникашвили-Пильняк) в  
своих воспоминаниях об отце по этому поводу замечает:

- ▶ Что касается Маяковского, то он явно покривил ду-  
шой — Пильняка тогда читали все. Есть фотография,  
оставшаяся на память о совместном выступлении  
Пильняка, Маяковского, Кирсанова, Джека Алтаузена  
и др. перед красноармейцами. Маяковский и Пильняк  
стоят на снимке рядом, возвышаясь над остальными.  
Есть образный рассказ двоюродной сестры Бориса Ан-  
дreeвича Н. П. Раенко, певицы, о том, как она познако-  
милась с Маяковским на квартире Бориса Андреевича  
на улице Воровского: «Он сидел в низком кресле, когда  
я вошла. И вот встает, встает, встает, выдвигается все  
вверх, как башня». Маяковский дружил с обеими сест-  
рами Андроникашвили — Натой Вачнадзе и Кирой Ге-  
оргиевной, также с мужем Натой — Николаем Шенге-  
лая (об этом интересно написано в воспоминаниях  
Натой Вачнадзе), встречался с Борисом Андреевичем у  
А. В. Луначарского, был, короче говоря, хорошим зна-  
комым, если даже не приятелем, — и не читать Пиль-  
няка, конечно, он не мог. Другое дело, что он, вероятно,  
не разделял его убеждений.

*(Борис Пильняк. Расплеснутое время. М., 1990.  
Стр. 594—595)*

К этому можно добавить, что этот свой отклик на «фронтную измену» Пильняка Маяковский написал как бы не от себя, а от имени группы «РЕФов», которую возглавлял. (Что считал нужным даже подчеркнуть заголовком этой своей заметки: она называлась «Наше отношение».) Но сути дела это, конечно, не меняет.

Герцен сказал однажды, что нехорошее это дело — подсвистывать, когда жандармская тройка уже готова тронуться в Сибирь. Вот и Маяковский, как это ни грустно, тоже оказался в числе тех, кто «подсвистал жандармской тройке».

Все это нам (людям моего поколения) хорошо знакомо по другим таким же идеологическим кампаниям, которые нам пришлось пережить: кампании против Зощенко и Ахматовой, кампании против Пастернака.

Антипастернаковская кампания особенно напоминает антипильняковскую, потому что поводом для нее — как и в случае с Пильняком — стала публикация опального произведения писателя за рубежом, на Западе.

Размахом, накалом страстей, оголтелостью, а главное, временем, на которое она растянулась, антипильняковская кампания как будто даже превосходит антипастернаковскую.

Но главное отличие антипильняковской кампании от этих двух последующих не в этом. И даже не в том, что она была **первая**, а те две уже повторяли опыт, освоенный советской пропагандистской машиной.

Поводом для газетной травли Зощенко и Ахматовой стало как-никак постановление ЦК, специально посвященный «проштрафившимся» писателям доклад секретаря ЦК и члена Политбюро, сразу объявившего, что основные положения этого его доклада подсказаны и поддержаны лично товарищем Сталиным.

Кампания против Пастернака была развязана после смерти Сталина, времена были уже «вегетарианские». Но и тут повод мог показаться серьезным: холодная война, Нобелевская премия, присуждение которой Пастернаку, как писали тогда (и даже сейчас на эту тему появилось целое исследование<sup>1</sup>), не обошлось без активного участия ЦРУ.

---

<sup>1</sup> Иван Толстой. Отмытый роман Пастернака. «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. М., 2009.

Да и началась кампания солидной артподготовкой: публикацией обстоятельного «Письма членов редколлегии журнала «Новый мир» Б.Л. Пастернаку по поводу рукописи романа «Доктор Живаго», под которым стояли подписи Б. Агапова, Б. Лавренева, К. Федина, К. Симонова, А. Кривицкого.

А предваряло публикацию этого — двухлетней давности — «Письма...» предисловие, подписанное членами уже новой редколлегии того же журнала. Некоторые подписи под этим предисловием были те же, что и под тем, прежним. Но были среди них и новые. Вот полный их перечень:

- ▶ Главный редактор журнала «Новый мир»  
А.Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Е.Н. Герасимов,  
С.Н. Голубов,  
А.Г. Дементьев (зам. гл. редактора)  
Б.Г. Закс,  
Б.Л. Лавренев,  
В.В. Овечкин,  
К.А. Федин.

*(Борис Пастернак и власть. Документы  
1956—1972. М., 2001. Стр. 377)*

Некоторые из этих имен (Лавренев, Овечкин, Федин) были тогдашнему читателю хорошо известны. А иные (Твардовский) даже пользовались заслуженным уважением.

А тут — маленькая заметка какого-то Волина!  
Кто он, собственно, такой — этот Волин?

- ▶ ВОЛИН Борис Михайлович [1886 — ] — литератор, член ВКП(б). С 1904 вступил в РСДРП(б). За время с 1905 по 1911 год неоднократно подвергался арестам. В 1911 эмигрирует за границу. Активный работник московской организации ВКП(б). С 1918 по 1921 — в Орле, Брянске, Костроме и Харькове — председатель губисполкомов, редактор местных газет, секретарь

губкома ВКП(б) (в Брянске), замнаркомвнудел УССР (Харьков). С 1921 по 1924 — редактор «Рабочей Москвы» и сатирического журнала «Переу». В 1924—1925 Волин — секретарь советского полпредства во Франции, в 1925—1926 — зам. редактора «Известий», в 1926—1927 — заведующий отделением ТАСС в Вене. С 1927 — заведует отделом печати Наркоминдела. С 1929 — член редакционной коллегии журн. «Красная новь».

В литературной жизни Волин начинает активно участвовать с 1923, когда, вместе с Лелевичем и Родовым, основывает журнал «На посту» (см.) и помещает в нем ряд статей. После раскола среди напостовцев примкнул к позиции налитпостовцев и состоял членом редакции журнала «На литературном посту» до 1929.

*(Литературная энциклопедия. Том 2. М., 1930.  
Стр. 280)*

Том «Литературной энциклопедии», из которого я вытаскивал эту информацию, вышел в свет, когда карьера Б.М. Волина еще не достигла своего пика. Из других источников мне удалось выяснить, как эта его карьера развивалась дальше и до каких высот ему в конце концов удалось подняться:

- ▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, КРИТИКИ  
И ПУБЛИЦИСТИКИ

26 мая 1934 г.

Поручить комиссии в составе тт. Жданова, Стецко-го, Агранова, Рабичева, Волина и Бонч-Бруевича обсудить вопрос... и внести свои предложения...

*(Власть и художественная интеллигенция.  
М., 2002. Стр. 209)*

▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ  
ПО УПРОЩЕНИЮ ПРАВОПИСАНИЯ

16 декабря 1935 г.

а) Создать комиссию по вопросу об упрощении правописания и исправления имеющихся в этом деле ошибок.

б) Включить в состав комиссии тт. Бубнова (председатель), Волина (заместитель председателя), Стецкого (заместитель председателя)...

(Там же. Стр. 281)

В «Литературной энциклопедии» Б.М. Волин, как мы только что видели, был назван *литератором*.

А вот — другое издание, в котором он выступает уже в ином качестве:

- ▶ Волин (Фрадкин) Борис Михайлович (01. 06. 1886—16. 02. 1957) — историк, в 1933 — начальник Главлита при Наркомпросе РСФСР. Позднее сменил Бубнова на посту наркома просвещения.

(«Вопросы истории», 2004, № 1. Стр. 11)

Из информации, содержащейся в этих документах, можно с уверенностью заключить, что на самом деле Б.М. Волин не был ни литератором, ни историком. А был он — «из присматривающих». То есть — партийным функционером, которого партия по мере надобности «бросала» то на дипломатическую работу, то на высшую в стране цензорскую должность, то на улучшение правописания, то еще на что-нибудь.

При этом нельзя не признать, что к 1929 году, когда в «Литературной газете» появилась его заметка о Пильняке, в этой партийно-государственной иерархии он, видимо, котиrowался уже довольно высоко. Но все-таки не настолько, чтобы заметку, опубликованную за его подписью в одной газете, в тот же день автоматически должна была перепечатать другая.

Да, заметка Б. Волина развязала кампанию. Вернее, стала ее началом. Но не автор этой заметки решил, что пришло время, как тогда говорили, «ударить по Пильняку».

Честь этой инициативы приписывал себе другой партийный функционер, занимавший тогда должность, которую Волину со временем — но еще не так скоро — тоже предстояло занять.

Функционером этим был Павел Иванович Лебедев-Полянский — тогдашний начальник Главлита.

В январе 1931 года на «секретном совещании заведующих крайобллитами» он прочитал доклад — «О руководстве художественной литературой», в котором открыл совравшимся эту маленькую государственную тайну:

- ▶ Вы скажите, кто ударил «Красное дерево» Пильняка? Вы не знаете? Ударили Пильняка мы. Я прочел, что в белой прессе выходит роман Пильняка «Красное дерево». Кто разрешил? Никто. Значит, вывезли самовольно. Вызвали Пильняка сюда на допрос (!), допросили его, причем я сам его и допрашивал... А дальше так. Решили — в ГПУ, а потом посоветовались, посоветовались... а почему нельзя использовать Союз Писателей, пускай они своего друга, члена, по-семейному, так сказать, выпорют. А попутно выпороли и тех, которые пытались спасти Пильняка и выявили свои слабые места. Ну, попарились, а как вы знаете, как пар на русского человека действует, каждый желает, чтобы градус был повыше, а веник покрепче, раз, два, четыре, кости размяли, и все улыбались. Так произошло и с Пильняком. Взял свое «Красное дерево» и перерабатывает, говорит, дайте и за границей поправить. Пожалуйста, поправляй...

(А. Блюм. *За кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917—1929.* СПб., 1994. Стр. 232)

Это уже больше похоже на правду. Но и это не совсем правда. Во всяком случае, не вся правда.

На самом деле решение «ударить по Пильняку» было принято в еще более высокой — самой высокой тогдашней партийной инстанции.

\* \* \*

В 1993 году в 12-м выпуске исторического альманаха «Минувшее» было напечатано никогда прежде не публиковавшееся сочинение И.В. Сталина — «Ответ писателям-коммунистам из РАППа».

«Ответ...» этот, написанный 12 февраля 1929 года, был спровоцирован передовой статьей, появившейся осенью 1928 года в журнале «На литературном посту». Автор этой программной статьи (им безусловно был Л. Авербах), ссылаясь на речь Сталина «О правой опасности в ВКП(б)» (на пленуме Московского комитета партии 19 октября 1928 года), призывал бороться с «правой опасностью» и в РАППе. Если раньше рапповцы усматривали правую опасность в произведениях Булгакова, Сергеева, Клюева, Клычкова и других «правых попутчиков», как они тогда именовались, то теперь эту опасность они углядели в позиции своего товарища по РАППу драматурга Билль-Белоцерковского. В связи с этим внутри РАППа произошло что-то вроде раскола. И тогда какая-то из борющихся групп «неистовых ревнителее» обратилась за поддержкой к Сталину.

В существо этой «внутривидовой борьбы» я тут входить не стану, поскольку для моего сюжета это совершенно не важно. Важно же тут для меня отметить, что Сталин в своем «Ответе...» не только решительно защитил Билль-Белоцерковского, но и воспользовался им как поводом для того, чтобы дать соответствующие указания насчет того, как нынче надлежит руководить *«сложнейшим фронтом советской художественной литературы»*.

И вот тут в его рассуждениях на эту тему совершенно неожиданно, без всякой связи с предыдущим, вдруг появляется Пильняк:

- ▶ Вы говорите о «бережном отношении к попутчикам», о «коммунистическом перевоспитании их в товарищеской обстановке». И вместе с тем вы готовы изничтожить Б.-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк! Где же тут логика, последовательность, пропорция?..



Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о «бережном» отношении, а для Б.-Белоцерковского не оказалось таких слов?.. Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с «классовым врагом» в художественной литературе?

*(Минувшее. Исторический альманах. 12. М.—СПб., 1993. Стр. 373—374)*

Это был прямой и ясный сигнал. Прямое и ясное указание: вот он, «классовый враг», с которым в настоящий момент вам надлежит бороться!

Начальник Главлита П.И. Лебедев-Полянский, быть может, не сомневался, что это именно он дал команду «ударить по Пильняку», когда обнаружил, что «в белой прессе» выходит его роман (на самом деле — маленькая повесть) «Красное дерево»:

- ▶ Кто разрешил? Никто. Значит, вывезли самовольно. Вызвали Пильняка сюда на допрос...

Сегодняшним читателям, в особенности тем, на памяти у которых всесоюзная травля Пастернака, развязанная из-за самовольной, никем не разрешенной публикации на Западе его романа «Доктор Живаго», такое объяснение может показаться не только правдоподобным, но и вполне исчерпывающим. Но Пастернак «самовольно» переправил итальянскому издателю рукопись своего романа (по смелости совершенно немислимый, беспрецедентный в те времена поступок) в разгаре холодной войны, когда Советский Союз был надежно огражден от «свободного мира» герметически непроницаемым железным занавесом. А в 1929 году, когда Лебедев-Полянский вдруг обнаружил, что «Красное дерево» Пильняка «самовольно, без разрешения» выходит в «белой прессе», постоянные связи советских писателей с западными, «буржуазными» издателями были делом вполне обычным.

Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в первый том вышедшего сравнительно недавно двухтомника писем И.Г. Эренбурга и хотя бы бегло пролистать его письма, относящиеся к 1928, 1929, 1930 годам:

▶ **Е.И. Замятину**

*<Из Парижа в Ленинград 1-го июня <1928>*

Дорогой Евгений Иванович,  
спешу сообщить Вам приятную новость: мне удалось устроить французский перевод романа «Мы» в издательстве «Нувель ревю франсез». Сейчас выписал русскую рукопись.

Переводить будет хороший переводчик, француз, хорошо владеющий русским языком.

Книга выйдет зимой. Как только подпишу договор, пришлю Вам. Условия нормальные для Парижа, точно те же, что и для моих книг: 5% с продажной цены, право приоритета на другие книги. Если книга будет пользоваться коммерческим успехом — кое-что получите, если нет — то на спички плюс слава.

*(Илья Эренбург. Дай оглянуться...*

*Письма 1908—1930. М., 2004. Стр. 568—569)*

▶ **Е.И. Замятину**

*<Из Парижа в Ленинград 3/3 <1929>*

Дорогой Евгений Иванович,  
Ваша книга («Nous autres») уже объявлена и <издательств> вом к выходу. Выйдет она, думаю, через месяц-два. Перевел молодой француз, хорошо знающий русский язык Carvet Duhamel. Надеюсь, перевод неплох.

*(Там же. Стр. 583)*

▶ **Е.И. Замятину**

*<Из Парижа в Ленинград 17/3 <1930>*

Дорогой Евгений Иванович,  
спасибо большое за письмо, которое очень меня об-

радовало. Ваши прежние рассказы прошли с успехом, был ряд занятных статей (последняя, в журнале «Нувель ревью франсез»). Вторая книга намечена, но пока только в проекции. Когда выяснится точнее, сообщу. В американскую антологию советских писателей включен «Мамай».

Нет ли у Вас пьесы на русский сюжет для здешних театров — ищут.

(Там же. Стр. 593)

Тон всех этих писем самый что ни на есть будничный. Ни тени намек на то, что речь идет об обстоятельствах чрезвычайных или даже опасных.

Но может быть, это он так только с Замятиным, который в то время уже довольно далеко закинул чепчик за мельницу?

Нет, тем же будничным тоном сообщает он об их издательских делах и перспективах на Западе и таким вполне законопослушным советским писателям, как Николай Тихонов, Владимир Лидин, Николай Никитин, Михаил Слонимский:

► **Н.С. Тихонову:**

*<Из Парижа в Ленинград>, 26 января 1928*

Немецкое издательство «Malik Ferlag» на днях спрашивало меня, что я могу им предложить из новых русских книг для перевода. Я указал «Рискованного человека». Пошлите им экземпляры. Это серьезное издательство, и я думаю, что они возьмут книгу.

(Там же. Стр. 556)

► **В.Г. Лидину**

*<Из Парижа в Москву, 5 января 1929>*

Был и в Берлине, радовался Вашим успехам. Видали ли Вы антологию «Малика» — там Ваш рассказ. Словом, проходя мимо соседнего дома по Малой Никитской, можете презрительно щуриться.

(Там же. Стр. 581)

В доме на Малой Никитской, — соседнем с тем, где жил Лидин, — в то время помещался Госиздат.

► **Н.Н. Никитину**

*<Из Парижа в Ленинград,> 6/5 1930*

Из присланной Вами статьи беру немало, также кое-что из «Часа на Западе». Из «Шпиона»... «Шпиона» я читал в «Красной Нови», и многое мне очень понравилось. Мне кажется, что устройством переводов занято издательство. Поговорю с ними и постараюсь подтолкнуть книгу здесь.

*(Там же. Стр. 595)*

► **В.Г. Лидину**

*<Из Парижа в Москву,> 21/X1 1930*

...письмо Ваше получил вчера и тотчас же переговорил касательно рыбацких очерков. Обещали дать окончательный ответ в ближайшие дни. Что касается переводчика романа, то этот вопрос улажен... Я буду налегать на Парена всюю.

*(Там же. Стр. 601)*

«Рыбацкие очерки» — это книга В. Лидина «Путина». Парен — парижский издатель.

► **В.Г. Лидину**

*<Из Парижа в Москву, 17 декабря 1930>*

Ваши рассказы напечатаны в «Ревю эропен» и в «Ревю де виван». Пришлите мне две «Путины» — одну для меня с дедикасом, другую для эдиторов.

*(Там же. Стр. 606)*

«С дедикасом» — то есть с автографом. А «эдиторы» — это издатели.

Как видите, вступать в отношения с западными (то есть

буржуазными) «эдиторами» тогда не боялись даже самые пугливые представители молодой советской литературы.

Тут, правда, можно возразить, что Пильняку ставили в вину связь не с французским (или немецким, или английским, или еще каким-нибудь зарубежным) издательством, а — с эмигрантским. По тогдашней терминологии — «белогвардейским».

Но и в этом «белогвардейском» издательстве («Петрополис»), где вышла его повесть «Красное дерево», печатались (в чем сейчас у нас будет случай убедиться) — и Каверин, и Федин, и тот же Н. Никитин, и А.Н. Толстой, и Пантелеймон Романов... А публичной порке (и какой!) почему-то подвергли одного Пильняка.

Вообще-то — не одного, а на пару с Замятиным. Но Замятин — это совсем другой, особый случай. Переведенный на все европейские языки, на весь мир прогремевший его роман «Мы», ставший предтечей знаменитых антисоциалистических антиутопий XX века Оруэлла и Хаксли («1984» и «Этот прекрасный новый мир»), по своей взрывчатой силе не мог идти ни в какое сравнение с маленькой и, в сущности, вполне «кошерной» повестью Пильняка «Красное дерево». Да и вся история взаимоотношений Замятина с Советской властью была совсем не та, что у Пильняка, — о чем в свое время будет рассказано в специально посвященной этому сюжету главе «Сталин и Замятин».

Что же касается причин, по которым для всенародной показательной порки был выбран именно Пильняк, то о них тогда мало кто догадывался.

Да и сам Пильняк на первых порах не понимал (или сделал вид, что не понимает?), почему вдруг именно на него обрушилась вся эта лавина разоблачений и проклятий:

► В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

В № 19 «Литературной газеты» в передовице Б. Волина написано обо мне: «Б. Пильняк написал роман «Красное дерево». Не нашлось никаких оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей литературы. Роман был отвергнут редакци-

ями советских журналов. И что же? «Красное дерево» Пильняка оказывается напечатанным в издательстве «Петрополь», в издательстве берлинских белогвардейцев. Как мог этот роман Пильняк туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом он входит в контакт с организацией, злобно-враждебной стране Советов? Почему Пильняк, председатель Всероссийского союза писателей, не протестовал, если этот роман был напечатан эмигрантами без его ведома и помимо его желания?»

Отвечаю.

1) Повесть «Красное дерево» была закончена 15 января 1929, — 14 февраля я сел за роман (ныне заканчиваемый), «Красное дерево» в котором перерабатывается в главы, — в моем письменном столе хранится рукопись «Красного дерева» с пометкой одного из редакторов «Красной Нови»: «За печатание в № 3. 23. II. 1928»...

Повесть «Красное дерево» не появилась в РСФСР не потому, что она была запрещена, но потому, что я решил ее переделать.

2) Тем не менее «Красное дерево» появилось отдельной книгой в «Петрополисе»...

Мною в ряду с другими писателями заключен типовой договор с членом коллегии защитников Ленинградского суда в том, что он представляет мои авторские права за пределами СССР. Договор имел целью избавить от невыгодных для советских писателей последствий из-за отсутствия литературных конвенций — тем, что произведения советских писателей, хотя бы на день раньше, чем в СССР, будут появляться за границей. Аналогичное было организовано Горьким, когда в Берлине был Ладыжников, представлявший «Знание». По этому договору я обязан был пересылать рукописи в Ленинград сейчас же после их написания... О том, что «Красное дерево» появилось в «Петрополисе», я узнал только тогда, когда получил книгу, — причем в проспекте «Петрополиса»,

этого издательства берлинских белогвардейцев, как определяет Волин, я прочитал, что там изданы книги моих товарищей по советской литературе, а именно — Вас. Андреева, Веры Инбер, В. Каверина, Н. Никитина, Пант. Романова, А. Толстого, К. Федина, Ю. Тынянова, А. Сытина и др. — и не нашел ни одного имени беллетристов-эмигрантов. Позднее «Красного дерева» в этом же издательстве появился «Тихий Дон» Шолохова. Список приведенных авторов не родил во мне мысли, что я попал «в контакт с организацией, злобно-враждебной стране Советов».

3) Волин обращается ко мне с вопросом: «Почему Пильняк не протестовал, если этот роман был напечатан эмигрантами?» Почему Волин не обращается с этим же вопросом ко всем тем авторам, выше перечисленным, которые также издавались в этом издательстве?

Тем не менее... я протестовал... когда в белой прессе появились отзывы о «Красном дереве». «Красное дерево» русскому читателю неизвестно, — поэтому я находил нужным выразить мой протест не в СССР, а за границей, — и за границей опубликовано мною ниже следующее письмо:

*Не имея досуга полемизировать с эмигрантами, я нахожу необходимым довести до сведения читателей, уважающих судьбу СССР, что не во-первых, а во-вторых и в-сороковых — действительно в России есть еще отрепье прошлого, обыватели, реставраторы, мелкие ворюжки, распутники и бездельники.*

*Советский Союз достаточно силен, чтобы видеть и не пугаться этих клопных щелей, которые, к слову, усердно изничтожаются и уничтожению которых «Красное дерево» помогает.*

В заключение позвольте сказать следующее. Статья Волина вызвала уже реакцию «Комсомольской Правды». Я чувствую себя в атмосфере травли. В таких об-

стоятельствах оправдываться трудно и работать еще трудней, но тем не менее: будучи одним из зачинателей советской литературы, издав первую в РСФСР книгу рассказов о советской революции, — я хочу и буду работать только для советской литературы, ибо это есть долг каждого честного писателя и человека.

*Ямское Поле 28 авг. 1929*

Бор. Пильняк

Р. С. Прошу «Комсомольскую Правду» и др. газеты письмо это перепечатать.

Б. П.

Письмо было напечатано. Но кампанию это не остановило. Напротив, она все ширилась и ширилась, и заголовки газет, в которых поминался Пильняк, день ото дня становились все более грубыми и угрожающими:

- ▶ Кампания разрасталась: «Советская общественность против пильняковщины», «Вылазки классового врага в литературе», «О буржуазном влиянии на советскую художественную культуру», «Об антисоветском поступке Б. Пильняка», «Писатели осуждают пильняковщину», «Уроки пильняковщины», «Против пильняковщины и примиренчества с ней» и т. д. Диспуты, резолюции, осуждения. Одними заголовками я мог бы заполнить несколько страниц. Весь юмор в том, что люди, выступившие столь горячо на защиту советской власти, не знали даже, от чего они ее защищают. Давно замечено — чем правдивее вещь, тем большее она вызывает негодование. Но здесь даже этого нельзя сказать — «Красного дерева» никто не читал.

Кампания, по накалу еще более высокая, чем последующие проработки Ахматовой и Зощенко, продолжалась весь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, перешла на следующий год и закончилась аж в апреле 31-го года.

Все это время повесть, в которой стандартных



51 страница, то есть два с хвостиком печатных листа, упорно называли «романом».

(Б. Андроникашвили-Пильняк. *Пильняк, 37-й год*. В кн.: *Бор. Пильняк. Расплеснутое море*. М., 1990. Стр. 597)

Что же все-таки было настоящей причиной этой беспрецедентной — не только по продолжительности — идеологической кампании?

Если не факт самовольной публикации «Красного дерева» за рубежом, так может быть, сама эта повесть?

Основания для такого предположения как будто есть.

Реплика Сталина о Пильняке, брошенная им в его «Ответе писателям-коммунистам из РАППа» («...этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции»), вполне могла быть реакцией именно на эту повесть писателя.

Трудно сказать, дошла ли до Пильняка эта сталинская характеристика его писательской физиономии (вполне могла и дойти), но протест, опубликованный им за границей (тот, который он привел в своем письме в редакцию «Литературной газеты»), по существу был прямым ответом на эту сталинскую инвективу:

- ▶ ...в России есть еще отрепье прошлого, обыватели, реставраторы, мелкие воришки, распутники и бездельники.

Советский Союз достаточно силен, чтобы видеть и не пугаться этих клопидных щелей, которые, к слову, усердно изничтожаются и уничтожению которых «Красное дерево» помогает.

Это, в сущности, был спор писателя, отстаивающего свое право оставаться приверженцем *критического реализма* (дурацкий этот термин появился позже), — с будущим провозвестником концепции реализма *социалистического*, согласно которой художник должен видеть и изображать окружающую его действительность в ее историческом раз-

вители, то есть — поступательном движении к сияющим вершинам.

Ничего антисоветского в «Красном дереве» не было и в помине. Там вообще не было никакой политики, если не считать, что на мгновение мелькнул на ее страницах некий «троцкист Аким», изображенный не только без всякого сочувствия, но даже — в полном соответствии с тогдашними партийными установками — охарактеризованный такой насмешливой, пренебрежительной авторской репликой: «К поезду, как и к поезду времени, троцкист Аким опоздал».

Но по части изображения тогдашнего российского быта эта повесть Пильняка была действительно уязвима.

Российская действительность изображалась им, мягко говоря, малоприспособленной для построения социализма:

- ▶ Ехали полем — таким же, каким оно было пятьсот лет тому назад, — въехали в деревню, потащились грязями ее семнадцатого века. За деревней дорога шла в овраг, переехали мост, за мостом была лужа, которая оказалась непроезжей. Въехали в лужу. Лошади рванули и стали. Возница ударил лошадей кнутом, — лошади дернулись и не сдвинулись с места. Кругом была непролазная грязь, тарантас увязал посреди лужи, увяз левым передним колесом выше чеки. Кучер изловчился на козлах и ударил коренника в зад сапогом, — лошадь дернулась и упала, подмяв под себя оглоблю, лошадь ушла в тину по хомут. Кучер хлестал лошадей, пока не понял, что коренник встать не может, — тогда он полез в грязь по колено, — он ступил второй ногой, — и он завяз, — он не мог вытащить ног, ноги вылезли из сапогов, сапоги оставались в грязи. Старик потерял равновесие и сел в лужу. И старик — заплакал, — заплакал горькими, истерическими, бессильными слезами злобы и отчаяния...

*(Борис Пильняк. Красное дерево. В кн.: Бор. Пильняк. Расплеснутое море. М., 1990. Стр. 137)*

По меркам социалистического реализма это, конечно, ужасно. Но ведь никаким социалистическим реализмом тогда и не пахло.

Тогдашнюю российскую реальность, малопригодную для построения социализма в «отдельно взятой стране», в таких же тонах тогда изображали многие русские писатели. (Например, Пантелеймон Романов, который, кстати, тоже печатался в эмигрантском «Петрополисе».) А уж Зоценко, — так тот пошел куда дальше Пильняка в изображении этой российской реальности, оставшейся такой же, какой она была не только пятьсот, но, пожалуй, даже и тысячу лет тому назад. И делал это с неизмеримо большей, чем Пильняк, беспощадностью и безнадежностью. Он почти прямо давал понять своему читателю, что за минувшую тысячу лет в этой «отдельно взятой стране» не только ничего не изменилось, но, пожалуй, ничего и не изменится:

- ▶ Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит. Кругом бедно, грязно, некультурно... Ох, до чего скучно это видеть!

И подходит, скажем, к бабе этакий русский, вроде ходячего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стекляшек, — чего это баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. «Эх, скажет, спать, что ли ча, пойти. Скушно чтой-то...» И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее взять? Как ее приспособить к этой деревенской действительности? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение. И рады бы, так сказать, раздуть кадило, да не с чего.

*(Михаил Зоценко. Страшная ночь. В кн.: Мих. Зоценко. Собрание сочинений. Том 2. Л., 1986.*

*Стр. 90—91)*

И никто этого Зоценко тогда даже пальцем не тронул. Семнадцать лет должно было пройти (и каких лет!), что-

бы Сталин наконец опомнился и рявкнул: «Не хочет перестраиваться, пусть убирается ко всем чертям!»

Нет, повесть «Красное дерево» не могла стать единственной — и даже главной — причиной этой беспримерной, более полугода длящейся кампании.

Была еще одна попытка понять и объяснить, в чем состояла эта настоящая, главная причина:

- ▶ Выступление Волина было лишь началом кампании, истинные причины которой не имели прямого отношения ни к роману Замятина, ни к повести Пильняка. Речь шла о чистке Федерации объединения советских писателей (ФОСП) (Федерация включала в себя Всероссийский союз писателей (ВСП), Всероссийское общество крестьянских писателей, Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей (ВАПП), «Кузницу», «Круг», «Перевал», «Литературный центр конструктивистов» и «Лев»), и чистка эта должна была начаться с «аполитичного» Всероссийского союза писателей.

*(Евг. Барабанов. Комментарии. В кн.: Е. Замятин. Сочинения. М., 1988. Стр. 530)*

Наверно, могла быть у этой кампании и такая цель. Как я уже не раз говорил, задумывая и начиная каждую из развязываемых им идеологических кампаний, Сталин решал сразу несколько задач. Быть может, попутно решал и эту. Но главной целью кампании чистка ФОСПа быть не могла. Чтобы «почистить» ФОСП, совсем не нужна была такая мощная артиллерийская подготовка, да еще растянувшаяся на месяцы.

Нет, для того, чтобы начать и так долго длить громкую кампанию, клеймящую и разоблачающую Пильняка, у Сталина, помимо этих, были еще и другие соображения.

\* \* \*

Все жертвы идеологических кампаний, подобных тем, через которую прошел Пильняк, навсегда оставались прокляженными. К прежнему своему статусу им уже не было возврата.

Исключенный из Союза писателей Пастернак так и умер членом Литфонда. И до конца дней не оставляло его сознание, что он «пропал, как зверь в загоне».

И над Зошенко и Ахматовой тоже до конца их дней висел дамоклов меч неотмененного постановления ЦК. И до конца дней не отпускала их боль от незаживающих шрамов и переломанных в пыточном застенке костей.

Ахматова говорила об этом спокойно:

- ▶ Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи.

*(Ф.Г. Раневская. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М., 2006. Стр. 421)*

Зошенко не мог сдерживать своих чувств:

- ▶ ...моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Я не могу выйти из положения. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын! Как я могу работать?

Я думал, что это забудется. Это не забылось и через восемь лет мне задают этот вопрос..

У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить!

Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков! Я больше чем устал! Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!

*(Культура и власть от Сталина до Горбачева. Аппарат ЦК и культура. 1953—1957. Документы. М., 2001. Стр. 231—235)*

Другими словами, но о том же писал в своем письме Сталину «одноделец» Пильняка Замятин:

- ▶ Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою...

Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли.

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы 1917—1953. М., 2002. Стр. 153)*

Для Пильняка обстоятельства сложились иначе.

Из переделки, в какую попал вместе с Замятиным, он вышел целым и невредимым. Как сказано в знаменитой детской сказке Корнея Чуковского, —

Утроба крокодила  
Ему не повредила.

Можно даже сказать, что пребывание в этой «утробе» пошло ему во благо.

Кампания еще продолжалась, Безыменский еще кидал в него с трибуны XVI партийного съезда последние комья грязи, а он уже готов был отправиться в свой очередной заграничный вояж.

Вот как писал об этом тот же Замятин в том же своем письме Сталину:

- ▶ ...амплуа чёрта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу.

*(Там же. Стр. 156)*

Прочитав письмо Замятина, Сталин и ему тоже позволил уехать на Запад. Но Замятин был отправлен в изгнание, а Пильняк в творческую командировку. Как говорил Пушкин, дьявольская разница.

Решение об этой творческой командировке Пильняка было принято самим Сталиным и согласовано им чуть ли не со всеми тогдашними членами Политбюро:

## ▶ ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА Б.А. ПИЛЬНЯКУ

7 января 1931 г.

Уважаемый тов. Пильняк!

Письмо Ваше от 4.1. получил. Проверка показала, что органы надзора не имеют возражений против Вашего выезда за границу. Были у них, оказывается, колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш выезд за границу можно считать в этом отношении обеспеченным.

Всего хорошего.

И. Сталин

На письме имеются две колонки резолюций. Первая — «Прочтите. Ст[алин]» и подписи членов Политбюро ЦК ВКП(б): «Читал. Молотов», «Ворошилов», «В. Куйбышев», «Киров», «Калинин», «Я. Рудзутак». Вторая — «Предлагаю разрешить выезд. И. Сталин», «Я. Рудзутак», «Молотов», «Каганович», «Ворошилов», «М. Калинин», «Киров».

*(Там же. Стр. 141)*

Это решение было принято в ответ на личное обращение писателя к Сталину (*документ № 11*), в котором, помимо прочих, им был высказан и такой — едва ли не главный — мотив, объясняющий, почему поездка в Соединенные Штаты является для него насущной творческой необходимостью:

- ▶ ...с дней десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, к которому я подхожу, как к первой моей большой и настоящей работе. Мой писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся. Этот роман посвящен последним полуторадесятилетиям истории земного шара, — и я хочу противопоставить нашу, делаемую, строимую, создаваемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей, — ведь на самом деле перепластование последних лет истории

гигантско, — и на самом деле историю перестраиваем мы. Сюжетная сторона этого романа уже продумана, лежит в моей голове, — место действия этого романа — СССР и САСШ, Азия и Европа, — Азию и Европу я представляю, в САСШ я не был, — у меня не хватает знаний, а роман я должен сделать со всем напряжением.

*(Там же. Стр. 140)*

Этот свой грандиозный замысел Пильняк не реализовал, но на основе своих американских впечатлений создал все-таки довольно объемистое сочинение, которое озаглавил так: «О'КЭЙ. Американский роман».

Роман этот был до отворачивания советский и до отворачивания антиамериканский.

От знакомства с американцами автора стошнило еще до того, как он ступил на землю Соединенных Штатов, — на пароходе, на котором он приближался к берегам Америки. И тут же он преисполнился чувством неизбывной гордости от сознания, что сам он принадлежит к совсем другому миру, ничего общего с тем, что развернулся тут перед ним во всей своей гнусности, не имеющему:

- ▶ ...в ночь перед Америкой, когда американцы вспоминают, что на родине у них «прохибишен», то есть сухой закон, и налегают на легальные алкоголи со всем американским размахом. Размах действительно получается грандиозный. Пьют грандиозно не только в салонах, но на всех лестницах и палубах, залезая для поэзии иной раз под вельботы. Пьют, не разбираясь ни полом, ни возрастом. Каютные дела выползают тогда не только на палубы, но и в салоны, в каютных переулках останавливая время в вечность бутылкой виски в рот из горлышка. С российским пьянством этот американский размах во всепалубном масштабе сравнить возможно разве лишь в ломовом порядке. Куда русским!

Советскому гражданину и пассажиру — прямо на-



до сказать — все это кажется свинством, в независимости от масштабов. Советский человек, оставивший за собой трудное, стальное величие его страны (а действительно, за пределами СССР, сейчас же за польским «кордоном», необыкновенно, величественно начинает гореть звезда СССР, когда быть гражданином СССР — величественно и гордо!), — советский человек понимает, конечно...

И т.д.

(Б. Пильняк. *Избранные произведения*.  
Л., 1978. Стр. 447)

Дальнейшее, более близкое знакомство автора с Америкой и американцами не только подтверждает первые его впечатления об американском свинстве, но и обогащает их новыми, чем дальше, тем все более красочными подробностями:

- ▶ Музыка захлебывается разными пуками. Юбки женщин взлетают вверх, обнажая, что полагается и чего не полагается обнажать. Женщины судорожно хватают летящие юбки, стараясь собрать их и удержать на коленях... Юбки вновь летят вверх. Иль женщины бегут куда попало. Тогда под ними начинает прыгать пол наподобие взбесившегося козла. Женщины теряют равновесие и хватаются за поручни. Но по поручням идет ток. Но воздух снизу их не подкидывает! — И никто, никогда, нигде, если и он не был в Конэй-айлэнде, не видал таких выражений лиц, как у тех зрителей, которые сидят в зрительном зале этого удовольствия! — Зал хрюкает, хохочет, визжит, сучит и стучит ногами, — наслаждается! — За вечер таких зримых пройдет не меньше сотни, и сколько панталон, подвязок, а то и совершенно беспанталонья насмотрится этакий миллионный американский зритель! — С мужчинами поступается иначе, чем с женщинами. В тот момент, когда ветер срывает шляпу и мужчина за шляпу хватается, его тыкают сзади электричеством, и ловкостью рук

урода-жерди, вместо канотье иль шляпы поддуваемого, нахлобучивается на его голову какой-нибудь шутовской головной убор. Поддуваемый и электризуемый замечает это лишь тогда, когда он выбрался из пытки обалдения. За шляпу он платил кровные доллары. Он секунду рассматривает то шутовство, которое оказалось у него на голове и о котором он узнал по хохоту окружающих. Он кидает это шутовство уродам и требует свою шляпу. Его шляпа лежит на троне среди сцены, ему говорят:

— Иди бери!

Жалость к потраченным долларам и жалость к своему достоинству секунду борются, и человек идет за своей шляпой. В тот момент, когда он протягивает за нею руку, шляпа летит в сторону, а вместо шляпы выскакивает из-под трона электрический урод, ужасно визжащий и пугающий шляпного обладателя.

Наслаждение невероятное!

Наслаждение сверхъестественное!

Зал гогочет, и музыка захлебывается, пукая.

Зал украшен национальными флагами.

Но самое замечательное заключается в том, — это по поводу секунды раздумья о стоимости шляпы и своего достоинства, — замечательно то, что зримые и одуроченные выскакивали со сцены — веселыми, счастливыми, хохочущими, никак не обиженными. Ясно было, что ряд зримых проходил по этой сцене, украшенной национальными флагами, не в первый раз. Все, что полагалось, они проделывали со знанием и удовольствием, они получали удовольствие...

*(Там же. Стр. 466)*

Такими красками рисует автор Америку и американцев на протяжении всего своего — довольно объемистого — «американского романа».

Строго (даже не очень строго) говоря, на самом деле это никакой не роман. Путевые очерки? Публицистика? Сатира?

Да, можно сказать и так. На крайний случай годится любое из этих определений. Но дело не столько в жанровой природе этого сочинения, сколько в самой его сути. Суть же эта — откровенно лакейская.

В том своем письме Сталину, в котором он просил разрешить ему этот его американский вояж, Пильняк заверял вождя:

- ▶ Позвольте сказать первым делом, что решающе, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей революцией, считая себя революционным писателем и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы.

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы 1917—1953. М., 2002. Стр. 139)*

Эту декларацию надо было теперь подтвердить своим «романом». Что — по причинам, о которых мы еще поговорим, — было непросто.

В Литературном институте, где я учился, старенький профессор читал нам — сейчас уже не вспомню, то ли историю цивилизации, то ли историю культуры. Читать этот курс полагалось, разумеется, с марксистско-ленинских позиций. Пронизать свои лекции марксистской философией старику было не под силу (темна вода во облацех), и он поступил просто. Вынул из кармана тетрадку, в которой у него были выписаны подходящие к случаю цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина — и зачитал нам их. А потом, спрятав тетрадку обратно в карман, начал читать свою историю цивилизации так, как читал ее еще «до несчастья», когда никакого марксизма-ленинизма от него не требовалось.

Примерно так же поступил в своем «американском романе» Пильняк.

Его «американский роман» начинается так:

- ▶ 4 июля 1776 года, в день объявления независимости, в день возникновения Соединенных Штатов, в Филадельфии американская женщина Бэтси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американско-

му президенту, первое американское знамя. Это было полтора года тому назад. 7 ноября 1931 года, в годовщину Октябрьской революции, в Детройте американская женщина Бэтси Росс, праправнучка первой Бэтси Росс, передала коммунистическое красное знамя детройтской организации коммунистической партии.

(Б. Пильняк. *Избранные произведения*. Л., 1978. Стр. 443)

И такая же виньетка — ни единым словом не отличающаяся от начальной, — заключает «роман».

Ни тематически, ни сюжетно, ни каким-либо иным образом с содержанием «романа» она не связана. Это — знак. Единственный на весь «роман» знак, призванный удостоверить, что его автор Б.Н. Пильняк — писатель революционный.

Иначе обстоит дело со знаками, удостоверяющими, что он писатель советский.

Такие знаки разбросаны «там и сям» по всему тексту его «романа», как советские гербы «на сиденьях, спинках и прочих выдающихся местах» тех кресел, которые в «Бане» Маяковского заказывал для своего кабинета главначупус Победоносиков.

Вот, например, рассказывая, в какой дорогой гостинице его поселили, и объясняя, что самому расплатиться за роскошный номер люкс, который ему в ней предоставили, ему, конечно, было бы не по карману, он не преминул воспользоваться этим сюжетным мотивом, чтобы лишний раз угодливо подтвердить свою безусловную «советскость»:

- ▶ Советский гражданин, автор этих строк «О'кэй», американского романа, ехал в качестве писателя. Он знал, что ему нужно было поехать, но он также знал, что для его страны американские комбайны и тысячетонные штамповальные станки нужней его поездки. Поэтому он не взял с собой советского золота и отъезжал от советской границы без единого цента.

(Там же. Стр. 448)

Так же ловко нашел он повод, чтобы, рассказывая о своем пребывании в Соединенных Штатах, упомянуть «товарища Сталина»:

- ▶ Мне задавали вопросы:
  - как вам понравилась Америка?
  - сколько стоит в загсе развестись и выйти замуж?
  - сколько получает жалованья товарищ Сталин?
  - как вам понравились американские женщины и Нью-Йорк?

Когда спросили, сколько получает жалованья товарищ Сталин, я ответил, что получает он, надо полагать, партмаксимум, около полутора ста долларов в месяц. Народ трепетно поразился этакой мизерной оплатой, — что, мол, стоит Сталину из-за такой мелочи трудиться?!

Меня спросили:

— Кто же в таком случае сколько получает жалованья, и есть ли люди, которые получают больше, чем товарищ Сталин?

Поразив журналистов тем, что миллионеров у нас нет, понеже они изгнаны (есть еще такие в Америке, которые об этом плохо знают, даже среди журналистов), я сказал, что больше полутора ста долларов в месяц зарабатывают квалифицированные рабочие, инженеры, люди свободных профессий, писатели, артисты.

Меня спросили:

— Ну, а вы?

Я ответил, что я зарабатываю раза в три больше в месяц, чем полтора ста долларов. Наутро в «Нью-Йорк таймсе» было напечатано:

— «Пильняк предрекает гибель капитализма!»

— «Самый богатый человек в СССР — Пильняк!»

*(Там же. Стр. 455—456)*

Ничего не скажешь, лизнул изящно. «Заплата» так хорошо подобрана в цвет ткани, из которой сшито произведение, что не всякому даже в голову придет, что это «заплата».

Как, мол, было, так и рассказываю, просто и безыскусственно, без всякой задней мысли. Простодушные американцы, быть может, это и слопали, но от нас, опытных советских читателей, эту его «заднюю мысль» не скроешь. Смысл ее прост и очевиден: смотрите, смотрите все и поражайтесь, как скромнен в быту наш великий вождь! Можно сказать — «хозяин земли русской», а получает меньше, чем квалифицированный рабочий. И в несколько раз меньше, чем он сам, скромный советский писатель. Вот какая замечательная у нас страна!

Этот свой «американский роман» Пильняк сварганил довольно быстро. (Начал в октябре 1931-го, закончил 18 февраля 1932-го. То есть на все про все — четыре месяца.)

И.М. Гронский в своих воспоминаниях пишет, что Пильняк приезжал к Сталину на дачу, где Сталин, Молотов и Ежов якобы читали его новый роман и одобрительно о нем отзывались.

Не думаю, чтобы Сталину «О'кэй» так уж понравился. Тот же Гронский — в другой главе своих воспоминаний — вспоминает, что на самом деле Сталин был об этом сочинении Пильняка не больно высокого мнения (к этому сюжету впоследствии мы еще вернемся). Но положение Пильняка после этой его заграничной командировки вроде стало иным. Складывается впечатление, что он был прощен и даже обласкан.

Так оно вроде и было. Но политическая его репутация при этом оставалась прежней. И публично, и в закрытых партийных документах его, как ни в чем не бывало, по-прежнему продолжали честить контрреволюционером и антисоветчиком:

- ▶ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВСЕСОЮЗНОГО  
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  
РЕСПУБЛИКАНСКИХ, КРАЕВЫХ  
И ОБЛАСТНЫХ ОРГКОМИТЕТОВ СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*15 июля 1933 года*

СТАВСКИЙ: ...Мы должны заявить, что не всякого примем в Союз писателей. У нас имеются указания,

кто должен быть в Союзе. Это писатели, которые стоят на платформе советской власти...

Я... хочу указать на 4-ю книжку «Нового мира». Там напечатаны «Камни и корни». Эти «Камни и корни» направлены против советской пролетарской литературы. Вещь эту написал Пильняк. В советской литературе нужно поставить вопрос о Пильняке...

...Пильняк предлагает устроить чистку в литературе. 80% он предлагает выкинуть как никуда не годных. Подающих надежды, вроде Фадеева, посадить на учебническую скамью. Самых безнадежных, вроде Либединского, лишить права писать... А для остальных организовать художественно-организующий и литературно-разделяющий институт, без диплома которого никто не может печататься. Дальше у него есть высказывания такие, что наши писатели в старых экипажах ездят на Днепрострой социализма, смазав себе салом верноподданнические пятки. Контрреволюция, товарищи!

*(Валерий Яковлевич Кирпотин. Ровесник железного века. М., 2005. Стр. 242—243)*

В.Я Кирпотин в то время был ответственным сотрудником отдела культуры ЦК ВКП(б).

- ▶ Вместе со своими непосредственными начальниками Ангаровым, Стецким, — рассказывает он, — я вынужден был подписывать протоколы писательских собраний... Мы присутствовали на этих собраниях от ЦК, мы были обязаны подробно и объективно докладывать о том, что там происходило.

В протоколах перечислялось, что говорили на собраниях писатели. Сталин хотел знать мельчайшие подробности, и отдел культуры ЦК ВКП(б) постоянно информировал его в специальных докладных. Это была наша политическая работа. Литературой, по примеру Сталина, интересовались все секретари ЦК. Докладные сначала попадали к ним на стол, а затем их получал генсек...

Вот одна из таких его докладных записок:

- ▶ СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б)  
Л.М. КАГАНОВИЧУ,  
А.А. АНДРЕЕВУ И Н.И. ЕЖОВУ

Писатель Иван Катаев (член партии с 1919 года) в 1928 году ездил к сосланному в Липецк троцкисту Воронскому за директивами о работе литературной группы «Перевал». Активные связи с осужденными троцкистами Катаев поддерживал систематически, оказывая им денежную помощь. Денежную помощь он оказывал осужденным троцкистам Мирову и Малеву... Катаев все время покровительствует писателю Зарудину, исключенному из партии троцкисту.

В 1932 году Иван Катаев заявил о ликвидации литературной группы «Перевал». На самом деле группа продолжала существовать при активном участии Воронского. Группа добивалась печатного органа под названием «Тридцатые годы» вплоть до последнего времени, когда Иван Катаев и Пильняк настойчиво стремились получить разрешение на издание альманаха под этим названием. Решением партгруппы постановлено исключить Ивана Катаева из партии.

*(Там же. Стр. 368—369)*

Пильняка, который выступает тут в паре с исключенным из партии Иваном Катаевым, исключить из партии было нельзя, поскольку он в этой партии не состоял. Но не пустить-то его за границу было можно!

Казалось бы, отказ на его просьбу об очередной заграничной командировке при таких обстоятельствах был неизбежен.

Командировка, однако, была ему разрешена. И не просто разрешена, а в режиме, так сказать, наивысшего благоприветствия.



## ► ПИСЬМО Б.А. ПИЛЬНЯКА В ЦК ВКП(б)

[Ранее 15 мая 1934 г.]

Москва 40, 2-ая ул. Ямского поля, 1/2, 21,  
тел[ефон] Д. 1 77 12

Прошу мне и жене моей Кире Георгиевне [Андроникашвили], студентке [Государственного] и[нститута] к[инематографии], выдать заграничные паспорта для поездки в Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию и Норвегию. В Латвии, Эстонии и Финляндии я сделал бы доклады в связи с продлением пактов о ненападении, что находит целесообразным отдел печати НКВД, где и возникла мысль о моей поездке. Швецию и Норвегию я никогда не видел и хотел бы написать о них для советского читателя, равно, как написал бы и о лимитрофах, бывших российских губерниях. Моя жена никогда не была за границей, и я считаю нужным взять ее с собой для того, чтобы будущий советский режиссер за границу знал. Мы намереваемся пробыть за границей не больше двух месяцев. Я хотел бы выехать за границу около пятнадцатого мая.

*Бор. Пильняк*

На первом листе резолюция: «Можно удовлетворить. И. Ст[алин]» и автографы Куйбышева и Кагановича. Результаты голосования других членов Политбюро: Андреев, Чубарь, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе, Микоян — за. 17 мая Политбюро приняло решение: «Разрешить Б. Пильняку выезд в Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию и Норвегию с женой на срок не более 2-х месяцев».

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы 1917—1953. М., 2002. Стр. 209)*

Но особенно поражает тут не столько безоговорочно разрешительный характер этого документа, сколько самый тон письма, с которым Пильняк обращается в высшую государственную инстанцию. Тон этот не просто уверенный, а прямо нахальный. Его жена, видите ли, никогда не была за

границей, а он, видите ли, полагает, что ей — студентке Государственного института кинематографии — побывать там прямо-таки необходимо.

И всю эту нахальную ерунду члены Политбюро покорно визируют, словно их положительный ответ на нее уже заранее предрешен. (А он и был предрешен!)

Вообще-то писателей (разумеется, не всех) в то время за границу время от времени выпускали. Но от просьбы разрешить поездку до получения заграничного паспорта путь был весьма не прост, и сплошь и рядом обращавшемуся с такой просьбой в разрешении на выезд бывало отказано. Нередко даже в тех случаях, когда за просителя хлопотали люди весьма влиятельные.

Напомню короткий эпистолярный диалог Кагановича со Сталиным — как раз на эту тему:

► КАГАНОВИЧ — СТАЛИНУ

23 июня 1932 г.

М. Горький обратился в ЦК с просьбой разрешить Бабелю выехать за границу на короткий срок. Несмотря на то, что я передал, что мы сомневаемся в целесообразности этого, от него мне звонят каждый день. Видимо, Горький это принимает с некоторой остротой. Зная, что Вы в таких случаях относитесь с особой чуткостью к нему, я Вам об этом сообщаю и спрашиваю, как быть.

Л. Каганович

(Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М., 2001. Стр. 189)

► СТАЛИН — КАГАНОВИЧУ

26 июня 1932 г.

По-моему, Бабель не стоит того, чтобы тратить валюту на его поездку за границу.

И. Ст.

(Там же. Стр. 198)

Но чтобы понять — и не только понять, но и почувствовать, — всю беспрецедентность, я бы даже сказал, уникальность «случая Пильняка», сравним его с унижительным положением, в каком (в то же самое время: май 1934 года) оказался М.А. Булгаков, обратившийся «в инстанции» с такой же просьбой: разрешить ему выехать — тоже с женой и тоже на два месяца, — за границу.

Сделать это нам будет легко, поскольку все мытарства, через которые в связи с этой его просьбой ему пришлось пройти, Михаил Афанасьевич подробно описал в своем письме Сталину.

Заранее прошу прощения у читателя за непомерно длинную цитату, но уж очень она выразительна, и именно этой своей выразительностью (хотя и не только ею) очень мне тут нужна.

► И. В. СТАЛИНУ

*< 10 июня 1934 г. Москва >*

Товарищу Сталину

От драматурга и режиссера МХАТ СССР

имени Горького

Михаила Афанасьевича Булгакова

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Разрешите мне сообщить Вам о том, что со мною произошло:

1

В конце апреля сего года мною было направлено Председателю Правительственной Комиссии, управляющей Художественным Театром, заявление, в котором я испрашивал разрешение на двухмесячную поездку за границу, в сопровождении моей жены Елены Сергеевны Булгаковой.

В этом заявлении была указана цель моей поездки — я хотел сочинить книгу о путешествии по Западной Европе (с тем, чтобы по возвращении предложить ее для напечатания в СССР).

А так как я действительно страдаю истощением

нервной системы, связанным с боязнью одиночества, то я и просил о разрешении моей жене сопровождать меня, с тем, чтобы она оставила здесь на два месяца находящегося на моем иждивении и воспитании моего семилетнего пасынка.

Отправив заявление, я стал ожидать одного из двух ответов, то есть разрешения на поездку или отказа в ней, считая, что третьего ответа не может быть.

Однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье.

17 мая мне позвонили по телефону, причем произошел следующий разговор:

Вы подавали заявление относительно заграничной поездки?

Да.

Отправьтесь в Иностранный Отдел Мосгубисполкома и заполните анкету Вашу и Вашей жены.

Когда это нужно сделать?

Как можно скорее, так как Ваш вопрос будет разбираться 21 или 22 числа.

В припадке радости я даже не справился о том, кто со мною говорит, немедленно явился с женой в ИНО Исполкома и там отрекомендовался. Служащий, выслушав, что меня вызвали в ИНО по телефону, предложил мне подождать, вышел в соседнюю комнату, а вернувшись, попросил меня заполнить анкеты.

По заполнении он принял их, присоединив к ним по две фотографических карточки, денег не принял, сказавши:

Паспорта будут бесплатные.

Советских паспортов не принял, сказавши:

Это потом, при обмене на заграничные.

А затем добавил буквально следующее:

Паспорта вы получите очень скоро, так как относительно вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, но уже поздно. Позвоните ко мне восемнадцатого утром.

Я сказал:

Но восемнадцатого выходной день.

Тогда он ответил:

Ну, девятнадцатого.

19 мая утром, в ответ на наш звонок, было сказано так:

Паспортов еще нет. Позвоните к концу дня. Если паспорта будут, вам их выдаст паспортистка.

После звонка к концу дня выяснилось, что паспортов нет, и нам было предложено позвонить 23 числа.

23 мая я лично явился с женою в ИНО, причем узнал, что паспортов нет. Тут о них служащий стал наводить справку по телефону, а затем предложил позвонить 25 и или 27 мая.

Тогда я несколько насторожился и спросил служащего, точно ли обо мне есть распоряжение и не ослышался ли я 17 мая?

На это мне было отвечено так:

Вы сами понимаете, я не могу вам сказать, чье это распоряжение, но распоряжение относительно вас и вашей жены есть, так же как и относительно писателя Пильняка.

Тут уж у меня отпали какие бы то ни было сомнения, и радость моя сделалась безграничной.

Вскоре последовало еще одно подтверждение о наличии разрешения для меня. Из Театра мне было сообщено, что в секретариате ЦИК было сказано:

Дело Бугаковых устраивается.

В это время меня поздравляли с тем, что многолетнее писательское мечтание о путешествии, необходимом каждому писателю, исполнилось.

Тем временем в ИНО Исполкома продолжались откладывания ответа по поводу паспортов со дня на день, к чему я уже относился с полным благодушием, считая, что сколько бы ни откладывали, а паспорта будут.

7 июня курьер Художественного Театра поехал в ИНО со списком артистов, которые должны получить заграничные паспорта. Театр любезно ввел и меня с женой в этот список, хотя я подавал свое заявление отдельно от Театра.

Днем курьер вернулся, причем даже по его растерянному и сконфуженному лицу я увидел, что случилось что-то.

Курьер сообщил, что паспорта даны артистам, что они у него в кармане, а относительно меня и моей жены сказал, что нам в паспортах ОТКАЗАНО.

На другой же день, без всякого замедления, в ИНО была получена справка о том, что гражданину Булгакову М.А. в выдаче разрешения на право выезда за границу отказано.

После этого, чтобы не выслушивать выражений сожаления, удивления и прочего, я отправился домой, понимая только одно, что я попал в тягостное, смешное, не по возрасту положение.

## 2

Обида, нанесенная мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я и прошу Вас о заступничестве...

Единственной причиной этого, как я предполагаю, может быть только одно: не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположение, что я, отправившись в кратковременное путешествие, останусь за границей навсегда?

Если это так, то я, принимая на себя ответственность за свои слова, сообщаю Вам, что предположение это не покоится ни на каком, даже призрачном, фундаменте.

Я не говорю уже о том, что для того, чтобы удалиться за границу после обманного заявления, мне надлежит разлучить жену с ребенком, ее самое поставить этим в ужасающее положение, разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в Художественном театре, ослабить себя, — и, главное, — все это неизвестно зачем.

Здесь важно другое: я не могу постичь, зачем мне, обращающемуся к Правительству с важным для меня

заявлением, надлежит непременно помещать в нем ложные сведения?

Я не понимаю, зачем, замыслив что-нибудь одно, спрашивать другое?

И тому, что я этого не понимаю, у меня есть доказательство.

Именно я четыре года тому назад обращался к Правительству с заявлением, в котором спрашивал или разрешения выехать из Союза бессрочно, или разрешения вступить на службу в МХАТ.

Задумав тогда бессрочный отъезд, под влиянием моих личных писательских обстоятельств, я не писал о двухмесячной поездке.

Ныне же, в 1934 году, задумав кратковременную поездку, я и прошу о ней.

У меня нет ни гарантий, ни поручителей.

Я обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре моего дела — о поездке с моей женой во Францию и Италию для сочинения книги, на срок времени со второй половины июля по сентябрь этого года.

*Михаил Булгаков*

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы 1917—1953. М. 2002. Стр. 210—213)*

На первой странице этого булгаковского письма, поперек первых двух абзацев, Сталин размашисто написал: «Советаться».

О чем они там совещались, и совещались ли, — неизвестно. Известно только, что никакого ответа на этот свой вопль Булгаков не получил.

Все, о чем он в этом своем письме Сталину рассказал, очень похоже на издевательство, даже на какую-то садистскую попытку. Но вряд ли такая цель входила в намерения решающих это дело инстанций. Просто были какие-то колебания, дело клонилось то в одну, то в другую сторону. И реплика одного из чиновников, о которой упоминает Булгаков («Вы сами понимаете, я не могу вам сказать, чье это распоряжение, но распоряжение относительно вас и вашей жены

есть, так же как и относительно писателя Пильняка»), быть может, и не была обманом, а отражала какой-то из витков этих колебаний.

Как бы то ни было, в случае с Булгаковым дело решилось так, а в случае с Пильняком — совершенно иначе.

Это тем более удивительно, что к Булгакову Сталин благоволил, «Дни Турбиных», как известно, смотрел 15 раз, а когда спектакль этот был снят с репертуара, лично распорядился восстановить его. Что же касается его отношения к Пильняку, то вряд ли он забыл его «Повесть непогашенной луны» и свою раздраженную реплику: «Пильняк жульничает и обманывает нас».

К этому можно добавить, что Булгаков частенько бедствовал, о чем свидетельствует такое его душераздирающее письмо:

► 5 мая 1930 г.

*Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)*

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность.

Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется.

Уважающий Вас

*Михаил Булгаков*

А постоянно гонимый и преследуемый Пильняк жил на широкую ногу и беспрепятственно ездил по заграницам.

Эта странность не осталась незамеченной современниками. Об этом много тогда было всяких толков и пересудов:

► ИЗ ДНЕВНИКА К.И. ЧУКОВСКОГО

*1 апреля 1935 года*

Кольцов почему-то советует, чтобы я не видался с Пильняком.

Странная у Пильняка репутация. Живет он очень



богато, имеет две машины, мажордома, денег тратит уйму, а откуда эти деньги неизвестно, т.к. сочинения его не издаются. Должно, это гонорары от идиотов иностранцев, которые издают его книги.

*(Корней Чуковский. Собрание сочинений  
в 15 томах. Том 12.  
М., 2006. Стр. 564)*

А вот как объяснил природу этого загадочного феномена другой современник Б.А. Пильняка:

► ИЗ ДНЕВНИКА В.П. ПОЛОНСКОГО

20. VII. 1931.

Вернулся из Америки Б. Пильняк. Привез автомобиль — и на собственном автомобиле, без шофера, прибыл из Ленинграда. Предмет всеобщей зависти: ловкач! Создает вокруг себя шум какой-нибудь контрреволюционной вещью, — затем быстро публично кается, пишет статью, которая обнаруживает всю глубину его «перестройки», — тем временем статьи печатаются о нем, имя его не сходит со страниц, книги раскупаются. — Заработав отпущение грехов, получаетграничную командировку; реклама, конечно, перебрасывается за границу. И парень пожинает лавры...

Пильняк хитер. Он, конечно, чужд революции. Он устряловец, чистопробный собственник, патриот «России». Но умеет «маневрировать», умеет кривить душой, подделываться, а главное, извлекать из всего этого «монету».

*(Вячеслав Полонский. Моя борьба  
на литературном фронте. Дневник.  
«Новый мир», 2006, № 5. Стр. 143)*

С такой характеристикой моральной и политической физиономии Пильняка можно и не согласиться. Но что правда, то правда: такая **тактика** и в самом деле была ему присуща. Надо только внести в этот вывод одно небольшое, но весьма существенное дополнение.

Это была тактика не только Пильняка.

Такова же была (в отношении Пильняка) и тактика Сталина.

\* \* \*

В 1928 году Пильняк познакомился с молодым литератором Петром Андреевичем Павленко. Они сразу сблизились, даже стали соавторами: первую свою повесть Павленко написал совместно с Пильняком.

В архиве Павленко чудом сохранилось небольшое письмо Пильняка (чудом, потому что хранить письмо расстрелянного врага народа было опасно. Но Павленко этой опасностью пренебрег):

► Б.А. ПИЛЬНЯК — Н.С. ТИХОНОВУ

*2 сентября 1928 года*

Брат Николай... Пишу не за себя, а за друга моего Петра Павленку, с коим крещу я последнее время совместно ценят. При сем имею его рассказ «Изображение вещей», время действия которого относится ко времени Моголита завоевателя... Рассказ, я понимаю, очень хорош.

*(Наталья Громова. Узел. Поэты: дружбы и разрывы.  
Из литературного быта конца 20—30-х годов.  
М., 2006. Стр. 205)*

Павленко был человек, что называется, со связями.

В данном случае я имею в виду не только его давнюю и прочную связь с ОГПУ, которая тоже не вызывает сомнений, а довольно рано возникшую и долгие годы длившуюся (случай едва ли не уникальный) его связь со Сталиным.

В.Я. Кирпотин, рассказывая об одной из встреч Сталина с писателями (в доме у Горького, 26 октября 1932 года), вспоминает, что одним из самых ярких и впечатливших его моментов этой встречи был брудершафт между Сталиным и Горьким: «Под громко выражаемое желание присутствующих Горький и Сталин расцеловались».

И далее он приводит отрывок из воспоминаний другого участника той же встречи Ф. Березовского:

- ▶ В этот вечер на квартире у Горького писатели очень много пели. После песни «Вниз по матушке по Волге» кто-то крикнул:

— Пусть выпьют на брудершафт Сталин и Горький!

— Просим! — закричали со всех сторон и захлопали в ладоши. — Просим! Просим!

Сталин и Горький поднялись. Протянули друг к другу рюмки — через стол. Выпили, обнялись и крепко расцеловались.

Мы долго и оглушительно аплодировали...

В эти минуты, вероятно, не одному из нас хотелось подойти к Сталину, обнять его и расцеловать как самого близкого, родного человека. За всех нас это сделал Петр Андреевич Павленко. Он порывисто поднялся, быстро обошел край стола и, обращаясь к Сталину, взмахнул руки вверх и взволнованно произнес:

— Дорогой Иосиф Виссарионович! Разрешите вас расцеловать?!

Улыбаясь, Сталин ответил:

— Если это нужно, пожалуйста...

Они обнялись и крепко расцеловались.

Мы опять долго и оглушительно аплодировали.

*(Валерий Яковлевич Кирпотин. Ровесник железного века. М., 2005. Стр. 206)*

Еще ярче отражает характер отношений, сложившихся у Павленко со Сталиным, другой эпизод, рассказанный уже самим Кирпотиным:

- ▶ В последний момент произошла еще одна колоритная сценка, характерная для всего вечера, для всего застолья.

Сталин застегивал шинель, около него юлил пьяный Павленко. Я застал конец разговора:

— Говно ваш Слонимский, — сказал Сталин.

— Говно, но свое, — быстро нашелся Павленко. Ста-

лину понравился ответ. Он засмеялся и еще раз повторил:

— Говно ваш Слонимский.

Павленко видит, что Сталину нравится ответ, и снова повторяет:

— Говно, товарищ Сталин, говно, но свое.

И Сталину понравилась эта игра:

— Говно, говно ваш Слонимский.

Стоящие вокруг радостно посмеивались.

*(Там же. Стр. 204)*

Подробно рассказав далее о причинах, спровоцировавших эту сталинскую реплику, Кирпотин так завершает эту замечательную историю:

- ▶ Через 20 лет в Малеевке я осторожно рассказал ему о веселом разговоре Сталина и Павленко. Слонимский покраснел, но, как мне показалось, все же был благодарен, что я ему рассказал это.

Он, наконец, понял истинную причину всяческих трудностей, которые возникли после октября 1932 года. И оценил правильно поведение действующих лиц:

— Я понял: Павленко защищал меня, и защищал умело.

*(Там же. Стр. 205)*

Такие вот у них были нравы. А лучше сказать — такие были обстоятельства. Друг (Слонимский с Павленко в то время были близкими друзьями) радостно поддакивает: «Да, действительно, говно «мой» Слонимский», а он не только не возмущен таким предательством, но даже благодарен ему: «Павленко защищал меня, и защищал умело». И рассказчик тоже относится к этому с пониманием: правильно тот, кого назвали «говном», оценил поведение действующих лиц.

Приходилось ли Петру Андреевичу вот так же — или каким-нибудь другим, менее изысканным способом — защищать от Сталина и своего друга Пильняка, — неизвестно. На сей счет никакими документальными свидетельствами мы

не располагаем. Но легко можно предположить, что, если бы какой-нибудь такой разговор у них возник о Пильняке, Сталин вряд ли так легко согласился бы с утверждением, что он — «свой». Да Павленко вряд ли и стал бы на этом настаивать.

Но «своим» или «чужим», «нашим» или «не нашим» человеком был Пильняк, — Сталина совершенно не интересовало. Его в этом случае интересовало совсем другое. Каков бы ни был Пильняк, он имел на него свои виды. И сам Пильняк это прекрасно понимал, о чем вполне ясно — я бы даже сказал, цинично, — высказался в своем письме Сталину от 4 января 1931 года:

- ▶ Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка «Красного Дерева» комментировалась не только прессою на русском языке, но западноевропейской, американской и даже японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником, — я ответил на это «мученичество» письмом в европейской прессе и вещами, указанными выше. Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот «замученный» писатель в здравом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ (уже в течение трех лет я имею от американских писателей приглашение в САСШ, а в Европе я оказался бы принятым, как равный, писателями, кроме пролетарских, порядка Стефана Цвейга, Романа Роллана, Шоу), — если б этот писатель заявил хотя б о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, — это было бы политически значимо. Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу, — тем паче, что это было у меня в обычае, так как с 1921 года, когда я впервые был за границей, я переезжал со-

ветские границы четырнадцать раз, а сейчас не был там с 1928 года.

*(Власть и художественная интеллигенция.  
М., 2002. Стр. 139—140)*

Последняя фраза этого абзаца довольно прозрачно дает понять, что роль агента влияния, на исполнение которой он сейчас так откровенно себя предлагает, ему приходилось играть и раньше.

Все это дает основания предположить, что подспудная — и едва ли даже не главная — цель «антипильняковской» кампании, начавшейся в августе 1929 года и с невиданным размахом продолжавшейся более полугода, состояла в том, чтобы создать Пильняку вот этот самый ореол мученика, а затем, как деликатно выразился по этому поводу сам Пильняк, «это мученичество использовать политически».

Исходил ли при этом Сталин из того, что «политическое использование» Пильняка в его будущих заграничных поездках будет ограничено только ролью «агента влияния», или со временем ему будут поручены и какие-то другие, более важные и более деликатные задания, — решать не берусь.

Да и вообще все это ведь — только догадки.

Хотя — как сказать!

Догадки — догадками, но есть свидетельство, эти догадки как будто подтверждающее:

- ▶ Пильняк как писатель очень неровный. После осуждения Замятина и Пильняка за публикацию их произведений за границей Пильняк был отправлен в командировку за рубеж. Вернувшись из-за границы, вскоре Пильняк написал новое произведение. На одном из вечеров у Пильняка (в его доме на Ямском поле) собрались К. Радек, А. Воронский, В. Осинский, Дюранти — корреспондент «Нью-Йорк Таймс» — и я. Пильняк читал нам свой новый роман: «Страна, в которой бандиты условились хорошо жить». После чтения роман все стали хвалить. Выступил я и сказал, что, начиная с названия, в произведении допущены ошиб-

ки. В Америке живет народ высокой культуры... Все мое выступление и дальше строилось в таком плане. После меня и другие стали высказываться критически и говорить о недостатках. Пильняк дважды переделывал роман. И он увидел свет под названием «О'кэй». Это было слабое произведение. «Повесть непогашенной луны» была частично использована троцкистами против руководства партии, против Сталина. Однако в одной из бесед со мной Сталин очень интересовался материальными условиями, жизнью Пильняка. Сталин даже просил оказывать ему всевозможную поддержку. Я заметил Сталину, что Пильняк средний писатель и есть более талантливые, которые нуждаются в нашей поддержке. На что Сталин мягко возразил: «Он нужен нам не только как литератор». И действительно, почти каждый год Пильняк ездил за границу.

*(Вячеслав Нечаев. Ненаписанные воспоминания. Беседы с И.М. Гронским. Минувшее. Исторический альманах. 16. М.—СПб., 1994. Стр. 106)*

Как принято говорить в таких случаях, комментарии излишни.

## Сюжет четвертый

### «Я БЫЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОМ...»

В 1931 году Борис Пастернак написал одно из самых знаменитых своих стихотворений:

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,  
Вовек не вышла б к свету темнота,  
И я — урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,  
Не падаю, не поднимаюсь с ней?  
Но как мне быть с моей грудною клеткой  
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,  
Где высшей страсти отданы места,  
Оставлена вакансия поэта:  
Она опасна, если не пуста.

В том же году оно было напечатано (в апрельской книжке «Нового мира») под названием — «Другу». В наборном экземпляре (машинопись с авторской правкой) у стихотворения было другое название (посвящение): «Борису Пильняку». Оно было зачеркнуто и заменено тем, под которым в конце концов и появилось в журнале. Но в той же рукописи и это второе заглавие тоже было зачеркнуто.



Эти замены и зачеркивания, надо полагать, отражали не столько колебания автора, сколько требования редакции: скандал вокруг «Красного дерева» в то время еще не утих.

В современных изданиях восстановлено первое авторское заглавие (посвящение): «Борису Пильняку».

В этом посвящении есть одна странность.

Не в самом факте посвящения, конечно. С Пильняком Пастернак действительно дружил. В том же — 1931-м — году, когда Пильняк путешествовал по Америке, Пастернак, без памяти влюбившийся в будущую свою вторую жену и ушедший от первой семьи, жил в его квартире.

Как писателя Пильняка Борис Леонидович ставил необычайно высоко. И даже признавался, что ценит его, быть может, выше, чем тот того заслуживает:

- ▶ Я думаю, что огня и гения, так сказать, больше всего у Бабея и Всеволода Иванова. И однако из крупных наших писателей мне всего ближе Пильняк и Федин.

*(Борис Пастернак. Полное собрание сочинений.  
Том VIII. Письма. М., 2005. Стр. 311)*

Нет, в том, что одно из самых сильных и пронзительных своих стихотворений Пастернак посвятил Пильняку, ничего странного не было. Странность заключалась в том, что он посвятил ему именно ЭТО стихотворение.

Куда понятнее было бы, если б такое стихотворение он посвятил Маяковскому, Асееву. Или, скажем, Бухарину. Но — Пильняку?

25 января 1929 года в письме к сестре он набросал такой — беглый, но выразительный — его портрет:

- ▶ Раз уж взявшись за перо, хочу рассказать тебе о Пильняке... Ты, вероятно, знаешь, что в числе четырех-пяти наших писателей у него — мировое имя, что он переведен на много языков и, может быть, даже видела или могла видеть в витрине «Das nackte Jahr»... Мы часто ездим к нему в Петровский парк, где у него чудесный небольшой коттедж, великолепный дог, приве-

зенный из Египта, хороший подбор старинных книг, мебель красного дерева...

*(Там же. Стр. 283)*

И вот перед этим обладателем чудесного коттеджа, великолепного дога, привезенного из Египта, старинных книг и мебели красного дерева он мечет бисер, распинается, сбивчиво оправдываясь и стараясь уверить его, что и он тоже «мерится пятилеткой», и «счастье сотен тысяч» ему тоже ближе «пустого счастья ста».

Один из самых внимательных и вдумчивых исследователей творчества Пастернака, тоже обративший внимание на эту странность, замечает, что она будто бы —

- ▶ ...становится понятной, когда мы приурочиваем полемический его (стихотворения. — Б.С.) подтекст к эволюции Пильняка 1930—1931 гг., увенчавшейся пильняковской апологией процесса Рамзина...

*(Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. М., 2005. Стр. 55)*

Имеется в виду появившийся 14 декабря 1930 года на страницах «Известий» фельетон, которым Пильняк откликнулся на проходивший в то время «процесс Промпартии».

Сейчас уже доподлинно известно, что никакой «Промпартии» никогда не существовало, что один из главных «заговорщиков» Н.К. Рамзин сотрудничал с ОГПУ задолго до начала процесса и помог следствию получить «чистосердечные признания» от других обвиняемых.

В то время, разумеется, все это было еще далеко не так ясно. Но у такого человека, как Пильняк, не могло быть сомнений, что обвинение старых русских инженеров в сотрудничестве с западными разведками — чистая липа.

Это, однако, не помешало ему выступить с гневным осуждением Рамзина и его подельников:

- ▶ ...сотня фабрикантов и тысяча помещиков стали б хозяевами русских мужиков и рабочих, а Рамзин был у

них премьер-лакеем, — для того чтобы, в свою очередь, эти фабриканты и помещики стали б во вселакейскую цепь к Пуанкаре.

Я, пишущий эти строки, — интеллигент и не публицист. Я взялся сейчас за перо потому, что мне с очевиднейшей ясностью видны пути истории и пути русской интеллигенции: или во вселакейский мрак к Рамзину, или с революцией, с пролетариатом, с историей.

Интеллигенция, знайте, что бы ни было — будущее у социализма, будущее у СССР, будущее у нас!

*(Борис Пильняк. Слушайте поступь истории!  
«Известия», 1930, № 343, 14 декабря. Стр. 3)*

Нет, не может такого быть, чтобы «полемический подтекст» пронзительного, из самой души вылившегося стихотворения Пастернака был нацелен в этот насквозь лживый, сервильный, холуйский фельетон Пильняка!

А между тем этот «полемический подтекст» (и даже не подтекст, а текст) своего стихотворения поэт все-таки адресовал не кому-нибудь, а именно Пильняку...

Некоторый свет на эту загадку проливает реплика, вскользь брошенная о Пильняке Зинаидой Николаевной Пастернак в книге ее воспоминаний:

- ▶ ...я относилась к нему с предубеждением, мне казались странными его литературные установки. То он приходил к нам и прорабатывал Борю за то, что тот ничего не пишет для народа, то вдруг начинал говорить, что Боря прав, замкнувшись в себе, что в такое время и писать нельзя.

*(Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к  
З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания.  
М., 1993. Стр. 293)*

Был ли Борис Андреевич искренен, упрекая Бориса Леонидовича за то, что тот «ничего не пишет для народа»? Или и в этом случае тоже выполнял роль «агента влияния»?

Кто может ответить на этот вопрос!

Могло быть и то и другое.

Его «кураторы» (а таковые наверняка у него были) могли ему посоветовать: скажи, мол, своему дружку-небожителю, что пора бы ему уже спуститься с неба на землю. Не вечно же там, наверну, будут терпеть его «небожителство».

Но мог он и вполне искренне убеждать Пастернака, что тот должен писать для народа.

Скорее же всего в этих его разговорах с другом проявлялся случай того загадочного психологического феномена, который Оруэлл в знаменитом своем романе именует *двоемыслием*:

- ▶ Двоемыслие — это способность придерживаться двух взаимоисключающих мнений и верить в оба.

(Джордж Оруэлл. 1984)

Так или иначе, но стихотворение Пастернака, надо думать, было спровоцировано именно вот этими разговорами Пильняка, которые так не нравились Зинаиде Николаевне.

А теперь раздвинем границы этой цитаты из книги ее воспоминаний:

- ▶ 24 октября 1936 года мы праздновали мои именины у нас на даче. Собралось много гостей — приехали из города Асмусы, грузины, Сельвинские. Боря хотел пригласить Пильняка, но я относилась к нему с предубеждением, мне казались странными его литературные установки. То он приходил к нам и прорабатывал Борю за то, что тот ничего не пишет для народа, то вдруг начинал говорить, что Боря прав, замкнувшись в себе, что в такое время и писать нельзя. С ним очень дружил Федин, мы часто встречались, но в день моих именин я потребовала, чтобы Пильняка у нас не было — раз это мои именины, то ничего не должно меня огорчать. Боря говорил, что Пильняк из окна увидит большой съезд гостей и обидится. На другой день вечером мы пошли к Пильнякам, чтобы загладить неловкость. Тогда он был уже женат на сестре Наты Вачнад-

зе — Кире Георгиевне Андроникашвили. У них был трехлетний сын Боря, очень черненький, за это его прозвали Жуком. Мы сидели у них, как вдруг подъехала машина и из нее вышел какой-то военный, видимо, приятель Пильняка, называвшего его Сережей. Этот человек сказал, что ему нужно увезти Пильняка на два часа в город по какому-то делу. Мы встали и ушли.

Рано утром прибежала к нам Кира Георгиевна и сообщила, что Пильняка арестовали и что всю ночь у них шел обыск. Она была уверена, что вскоре и ее заберут (тогда без жен не брали) и хотела отдать ребенка своей матери. Она не могла понять, почему этот Сережа, с которым он был на ты, не предъявил ордер на арест и увез его тайком. Из окна утром я увидела, как делали обыск в гараже и конфисковывали вещи.

Все это было ужасно, и с минуты на минуту я ждала, что возьмут и Борю.

*(Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. М., 1993. Стр. 292—293)*

Кто был этот таинственный человек, с которым Пильняк был на «ты» и которого он звал Сережей? «Куратор»? Коллега по тем загадочным делам, из-за которых Пильняк был нужен Сталину «не только как литератор»? Или просто приятель, которого «контора» решила использовать в столь деликатном деле?

Вполне могло быть и такое. Были же у Маяковского свои «Яня» и «Зоря» (Яков Агранов и Захар Волович). Так почему и у Пильняка среди многочисленных его приятелей не мог оказаться свой «Сережа»?

Есть рассказ еще одного свидетеля ареста Б.А. Пильняка. Свидетелю этому, правда, было тогда всего три года, но рассказ о том, как все это происходило, он не раз слышал потом от матери. Так что и его рассказу тоже можно верить. Тем более что он лишь в незначительных деталях расходится с тем, что рассказала З.Н. Пастернак:

- День тихо склонился к закату. Сели пить чай... Только когда стемнело, кое-кто заглянул на огонек.

В десять часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Борис Андреевич встречался с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. «Николай Иванович, — сказал он, — срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома». Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны при упоминании имени Ежова, он добавил: «Возьмите свою машину, на ней и вернетесь». Он повторил: «Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить».

Борис Андреевич кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок. «Зачем?» — отверг Борис Андреевич. «Кира Георгиевна, Борис Андреевич через час вернется!» — с упреком сказал человек в белом. Мама настойчиво протягивала узелок, срывая игру, предложенную любезным человеком, но Борис Андреевич узелка не взял. «Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом»...

Мама рассказывала мне, как вели себя друзья отца после его ареста: Николай Федорович Погодин нисколько не изменил своего поведения, приходил не чаще и не реже и сидел столько же, во всем остался прежним; Борис Леонидович, хотя два дома разделяла лишь калитка, шел через улицу, громко заявляя, что идет к Пильняку, узнать, как там Кира Георгиевна, демонстративно, так сказать, оповещая об этом окрестности. Федин прокрадывался, когда стемнеет, осторожно и пугливо оглядываясь, и Кира Георгиевна разрешила ему не приходиться, — больше его не было.

*(Б. Андроникашвили-Пильняк. Пильняк, 37-й год.  
В кн.: Бор. Пильняк. Расплеснутое море. М., 1990.  
Стр. 602—603)*

З.Н. Пастернак не зря ждала, что «с минуты на минуту возьмут и Борю». И причиной этого ее страха было отнюдь

не только демонстративное поведение Бориса Леонидовича. «Органы» и без того были прекрасно осведомлены об их дружбе и, как фиксировалось это в следственных протоколах, «совместной контрреволюционной деятельности». О том, что они под этим подразумевали, мы еще поговорим. Пока же отметим, что оснований для ареста Б.А. Пастернака у них было предостаточно.

Был слух, что, подобрав соответствующие материалы, за санкцией на его арест уже обращались к Сталину. И Сталин будто бы, даже не заглянув в старательно подготовленное dossier, махнул рукой:

— Не трогайте этого небожителя.

Если слух этот верен, то случиться это скорее всего могло именно после ареста и допросов Пильняка. А значит, арест Пильняка тоже не мог быть произведен без санкции Сталина.

Документа, подтверждающего, что арест Пильняка был санкционирован Сталиным, мне отыскать не удалось. Но по ходу этих поисков обнаружили другие документы, подтверждающие это хоть и не прямо, но и не совсем косвенно:

► СПЕЦСООБЩЕНИЕ Н.И. ЕЖОВА  
И.В. СТАЛИНУ О ЛИТЕРАТОРЕ А. ВЕСЕЛОМ

5 июня 1937 г.

№ 57717

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

Прошу Вашей санкции на арест литератора Артема Веселого (КОЧКУРОВА Николая Ивановича) в связи с выявленной его контрреволюционной троцкистской деятельностью.

А. ВЕСЕЛЫЙ, член ВКП(б), член Союза советских писателей; в 1927—1928 гг. был связан с московским троцкистским центром, по заданиям которого написал контрреволюционную повесть «Босая правда». Эта повесть нелегально распространялась среди участников организации и использовалась ими для троцкистской пропаганды.

По показаниям арестованного троцкиста ВОРОН-

СКОГО, Артем ВЕСЕЛЫЙ в 1934 г. в беседе с ним проявил свою ненависть к руководству ВКП(б) и террористические настроения, заявив: «Я бы поставил пушку на Красной площади и стрелял бы в упор по Кремлю». (Из показаний П. ВАСИЛЬЕВА от 7/III-37 года.)

По последним агентурным данным, Артем ВЕСЕЛЫЙ тесно связан с контрреволюционно настроенным писателем БАГРОВЫМ В.К. (г. Куйбышев).

Совместно с БАГРОВЫМ А. ВЕСЕЛЫЙ намеревался писать поэму, восхваляющую расстрелянных участников троцкистско-зиновьевского центра («Гибель славных»), намечавшуюся ими к изданию за границей.

Народный комиссар  
внутренних дел Союза ССР Н. ЕЖОВ

На первом листе имеется резолюция: «За. Ст. Арх.»;  
«Сообщено Ежову. 6.VI. 19 ч. 15 мин.».

*(Лубянка. Сталин и главное управление  
госбезопасности НКВД. 1937—1038.  
Документы. М., 2004. Стр 215—216)*

Такое же — только более краткое — «спецсообщение» было направлено Н. Ежовым Сталину с просьбой о его санкции на арест писательницы Р.М. Азарх. *(Там же. Стр. 134).*

Такой, значит, был у них порядок.

Б.А. Пильняк был фигурой куда более крупной, чем Р.М. Азарх. Да и более заметной, чем Артем Веселый. Так что и речи быть не могло, чтобы он был арестован без такого же, положенного на стол Сталину «спецсообщения» и без такого же сталинского: «За». И сам Пильняк это, разумеется, прекрасно понимал.

Виктор Серж, вокруг ареста которого ломали копья участники Парижского конгресса в защиту культуры (см. главу «Сталин и Эрэнбург»), в своей книге «Записки революционера» рассказывает, что Пильняк однажды в разговоре с ним бросил такую реплику:

— В стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять.



Реплика эта свидетельствует о том, что Борис Андреевич прекрасно понимал, в каком он живет царстве-государстве. Но это, надо полагать, тогда уже понимали многие. А он так же ясно понимал и другое. А именно, — что все тогдашние расхожие клише, которыми утешали себя люди, попавшие в сталинскую мясорубку («Лес рубят, щепки летят», «Сталин не знает...», «Доложите Сталину...», «Это — ошибка, недоразумение...», «Разберутся...»), что все эти глупости — не для него. Он точно знал, что раз уж и с ним это случилось, значит, такое решение принял Сталин. И, значит, у Сталина есть на этот счет какие-то свои соображения. Стало быть, на этот раз ему назначена ТАКАЯ роль. Что ж, он готов ее играть — так же, как играл предыдущую. Во всяком случае, это единственный его шанс выжить. Другого нет и не будет.

Именно так, я думаю, он рассуждал, именно из этого исходил, сочиняя свое покаянное письмо «сталинскому наркомму» Ежову.

► ИЗ ПИСЬМА Б.А. ПИЛЬНЯКА Н.И. ЕЖОВУ

*2 ноября 1936 г.*

Я ставлю перед собой вопрос, правильно ли поступило НКВД, арестовав меня, — и отвечаю, да, правильно...

Моя жизнь и мои дела указывают, что все годы я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах.

Будет неправильно, если я признаю себя троцкистом, им я не был, я смыкался с троцкистами, как смыкался и с другими контрреволюционерами, я смыкался со всеми теми, кто разделял мои контрреволюционные взгляды...

В наших разговорах в те годы я и мои единомышленники сходились на том, что политическое положение

ние в стране очень напряженно, гнет государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не дружелюбия, но разъединение и одиночество, и уничтожает понятие социализма... Подробные показания о характере и времени этих разговоров я дам в процессе следствия. Так как я ничего не хочу таить, я должен сказать еще — о шпионаже. С первой моей поездки в Японию в 1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел шпионскую работу. Кроме того, у меня бывали другие японцы, равно как и иностранцы других стран. Обо всем этом я расскажу подробно в процессе следствия.

*(Виталий Шенталинский. Рабы свободы.  
В литературных архивах КГБ. М., 1995.  
Стр. 193—194)*

Это письмо было им написано на пятый день ареста — в тот же день, когда он впервые встретился со своим следователем, и тот предъявил ему обвинения: контрреволюция, террор, шпионаж.

Сам ли он решил сразу обратиться со своими признательными показаниями прямо к наркому? Или этот шаг подсказал ему следователь?

Во всяком случае, следователь не возражал и даже поддержал его в этом его намерении. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что заявление Пильняка на имя наркома написано не от руки, а отпечатано на пишущей машинке.

Быть может, решив написать это письмо, он вспомнил реплику приехавшего за ним и увезшего его на Лубянку «человека в белом»:

- ▶ — Николай Иванович срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос... Он хочет что-то у вас уточнить.

Судя по этой реплике, с «Николаем Ивановичем» встречаться ему уже доводилось.

Но главным, конечно, тут было не это.

Не сомневаясь, что санкцию на его арест дал Сталин, Пильняк имел все основания предполагать, что и окончательное решение о том, расстрелять его или оставить в живых, вынесет именно ОН. Поэтому его письмо на имя Ежова вполне можно рассматривать как прямое обращение к Сталину. Именно ЕМУ он прямо дает понять, что ГОТОВ НА ВСЕ, только бы ему сохранили жизнь:

- ▶ И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно.

При первом — беглом, поверхностном чтении письмо Пильняка на имя Ежова кажется типичным самооговором, одним из множества таких же самооговоров, какие следователи вымогали из своих подсудимых с помощью самых разных способов психологического давления, а если это не помогало, то и пытками.

— Вам угодно, чтобы я признал себя контрреволюционером? Террористом? Японским шпионом? Извольте...

Казалось бы, именно таков и только таков весь смысл этого его письма.

Но если вчитаться в него чуть внимательней, мы увидим, что в этих его признательных показаниях есть и немалая толика истины:

- ▶ В наших разговорах в те годы я и мои единомышленники сходились на том, что политическое положение в стране очень напряженно, гнет государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не дружелюбия, но разъединение и одиночество...

Можно ли сомневаться в том, что такие разговоры он и его друзья меж собою действительно вели?

Да и его признание в шпионаже тоже не совсем похоже на те высосанные из пальца самооговоры, какие тысячами, десятками тысяч подписывали тогда в подвалах Лубянки забитые, затравленные, до потери сознания замученные пытками арестанты.

- ▶ С первой моей поездки в Японию в 1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел шпионскую работу.

Казалось бы, чушь несусветная! Ну какую, к чертовой матери, «шпионскую работу» мог он вести? Какие государственные секреты и тайны мог выдать японскому профессору? Да не обладал он никакими государственными секретами и тайнами!

Но если этот профессор Йонекава действительно существовал и если он и в самом деле был офицером Генерального штаба, то уж он-то наверняка обладал какими-то сведениями, которые могли заинтересовать НАШУ разведку. А поскольку у нас есть основания предполагать, что уже тогда, в 1926 году, Б.А. Пильняк в постоянных своих зарубежных поездках был нужен отправлявшим его в эти поездки компетентным органам «не только как литератор», — невольно возникает вопрос...

Не стану продолжать, поскольку ответа на этот вопрос у меня нет, и вряд ли когда-нибудь этот ответ мы получим.

Но вопрос возникает. Не может не возникнуть.

Ну, а что касается некоторых других обстоятельств и фактов его «контрреволюционной» деятельности, о которых в своем письме на имя Ежова он обещал «рассказать подробно в процессе следствия», то среди них действительно были и не выдуманные, а вполне реальные.

\* \* \*

Сталин был озабочен созданием и упрочением привлекательного образа Советского Союза на Западе. И надо сказать, что он много в этом преуспел.

- ▶ Старшее поколение — Уэллс, Шоу, Роллан, Манн — было целиком за «новую Россию», за «любопытный опыт», ликвидировавший «ужасы царизма», за Сталина против Троцкого, как оно было за Ленина против других лидеров русских политических партий. Стар-

шее поколение — с Драйзером, Синклером Люисом, Элтоном Синклером, Андрэ Жидом (до 1936 г.), Стефаном Цвейгом во всех вопросах было на стороне компартии против оппозиции. Затем шли «средние», как, например, группа «Блумсберри» с Вирджинией Вульф, или Валери, или Хемингуэй, которые энтузиазма к компартии не высказывали, но которые были безразличны к тому, что совершалось в России в тридцатых годах. Кумир молодежи Жан Кокто писал: «Диктаторы способствуют протесту в искусстве, без протеста искусство умирает»... Главным врагом их была реакция...

*(Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография.  
Том 1. Нью-Йорк, 1983. Стр. 265)*

Та же Берберова рассказывает, что летом 1927 года в редакции парижских газет пришло анонимное письмо из Москвы. «Группа русских писателей» обращалась в нем к «писателям мира». Это был вопль отчаяния, смысл которого состоял в том, что в Советской России гасят каждый проблеск живой мысли.

Ни одна французская газета это письмо не напечатала. Опубликовала его только русская (эмигрантская) газета «Последние новости» (10 июля 1927 года). 23 августа того же года в «Правде» появилось опровержение. Главная советская газета называла это письмо фальшивкой, сфабрикованной «охвостьем белогвардейщины».

- ▶ «Левая» печать Франции разумеется стояла на позиции «Правды», правая не интересовалась положением русской литературы «на данном этапе». Писатели-эмигранты начали прилагать усилия к тому, чтобы голос из Москвы был услышан. Но их никто не слушал, их нигде не принимали, ответ всегда бывал один: вы потеряли ваши фабрики и заводы, доходные дома, текущие счета. Мы сочувствуем, но дела с вами иметь не хотим.

*(Там же. Стр. 272)*

Ни один «писатель мира» не откликнулся на обращение русских писателей к ним. Бунин и Бальмонт написали письма-обращения к «совести» французских писателей. Несколько месяцев они старались напечатать их в какой-нибудь парижской газете. Не получалось. Наконец в каком-то крохотном, затрапезном периодическом издании это их обращение появилось. Его никто не заметил.

Впрочем, нет. Один французский писатель это обращение все-таки заметил. И даже ответил на него. Это был Ромен Роллан. Но ответ его, в общем, сводился к тому же:

- ▶ Вы потеряли ваши фабрики и заводы, доходные дома, текущие счета. Мы вам сочувствуем, но...

Изложено это было Ролланом в несколько иных, более выпретенных, как это было свойственно его стилистике, выражениях. Но смысл был именно такой:

- ▶ Бальмонт, Бунин, я вас понимаю, ваш мир разрушен, вы — в печальном изгнании. Для вас гудит набат погибшего прошлого. О люди прозорливые, почему вы ищете себе союзников среди ужасных реакционеров Запада, среди буржуазии и империалистов? О, новобранцы разочарований!.. Я иду к новорожденному, я беру его на руки... Секретная полиция всегда была в России, этот ужасный яд, от которого вянут цветы души нации... Высокие умы ездят в Россию и видят, что делается там... Ученые лихорадочно работают на вашей родине... там больше писателей и читателей, чем у нас... Только недавно получил я в подарок новую книгу Пришвина... Меня в моей собственной стране тоже мучила цензура... Выжжем рану каленым железом! Всякая власть дурно пахнет... И все-таки человечество идет вперед...

*(Там же. Стр. 272—273)*

Примерно в таком же духе высказывались и другие корифеи тогдашнего интеллектуального и культурного мира Запада: Бернард Шоу, Герберт Уэлс, Лион Фейхтвангер.

Все они в разное время побывали в Советском Союзе. Все встречались со Сталиным. И все — кто по незнанию, кто по недомыслию, кто по равнодушию, кто по другим, более серьезным причинам, о которых речь впереди, — приветствовали и воспевали рождающийся в Советском Союзе новый прекрасный мир.

Немалую роль в создании и утверждении этого мифа играли и наши славные органы, в совершенстве овладевшие искусством запудривания мозгов и вешания лапши на уши поседающим нашу страну знатным иностранцам.

С 24 января по 22 марта 1949 года в Париже слушалось на весь мир прогремевшее «Дело Кравченко». Прокоммунистический еженедельник «Леттр Франсэз» обвинил Кравченко в клевете. Кравченко тотчас же привлек эту французскую газету к суду. Газета вызвала на процесс около сорока свидетелей, среди которых были люди весьма почтенные: Жолио-Кюри, Хьюлетт Джонсон, Веркор, д'Астье де ля Вижери.

Со стороны Кравченко свидетелями выступили чудом уцелевшие и оказавшиеся на Западе узники сталинских лагерей.

Когда я читал стенограмму этого процесса (в далеко не полном виде она дошла до меня, конечно, лишь целую эпоху спустя), едва ли не самое сильное впечатление произвели на меня свидетельские показания Хьюлетта Джонсона (настоятеля Кентерберийского собора).

Он рассказал, что был в Советском Союзе несколько раз. Два раза встречался со Сталиным, который произвел на него впечатление доброго и обаятельного человека. В одну из своих поездок по стране, когда он летел на самолете в какую-то советскую глубинку, он — сам, лично, — обнаружил какую-то неполадку в моторе (по первому своему, светскому образованию он был инженер) и сообщил об этом экипажу. Пришлось совершить вынужденную посадку.

Они сели в каком-то захолустном колхозе, где их приняли с чисто русским гостеприимством. Пока летчики с местными умельцами чинили самолет, колхозники пригласили иностранных гостей на импровизированный вечер самодея-

тельности, на котором колхозные девочки-пионерки прелестно танцевали и пели английские песни на английском языке. Все это, разумеется, никак не могло быть подстроено, поскольку это была совершенно незапланированная, вынужденная посадка, а неисправность в моторе первым заметил он сам.

То, что наши умельцы (не те, что помогали ремонтировать самолет, а те, что придумали и реализовали всю эту грандиозную липу) сумели втереть очки наивному настоятелю Кентерберийского собора, меня не удивило. И не такие простые задачи им приходилось решать. Но то, что такие умы, как Уэллс, Бернард Шоу, Роллан и Фейхтвангер, побывав в Советском Союзе, не углядели там того, о чем чирикали все воробьи на московских улицах, долгое время представлялось мне некоторой загадкой.

Особенно загадочным казалось поведение Фейхтвангера.

Представьте: горячий, искренний, убежденный, неприимимый, неподкупный, на весь мир прославленный антифашист, он приезжает в Москву 1937 года, где творятся дела куда пострашнее тех, что творили у себя дома гитлеровцы, — и всем своим моральным авторитетом освящает не только всю эту кровавую вакханалию, но и самого главного ее вдохновителя и творца.

Вот лишь несколько цитат из печально знаменитой книги Фейхтвангера «Москва 1937»:

- ▶ Народ говорит: Сталин, разумея под этим именем растущее процветание... Народ говорит: мы любим Сталина, и это является самым непосредственным, самым естественным выражением доверия к экономическому положению, к социализму, к режиму.

...Сталин действительно является плотью от плоти народа... Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией, он не возвышается весьма эффектно на подмостках, в то время как остальные сидят внизу, — нет, он очень быстро уста-



наваливает связь, интимность между собой и своими слушателями. Они сделаны из того же материала, что и он; им понятны его доводы...

Сталин говорит неприкрашено и умеет даже самые сложные мысли выражать просто. Порой он говорит слишком просто, как человек, который привык так формулировать свои мысли, чтобы они стали понятны от Москвы до Владивостока...

Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин стал его Августом, его «умножателем» во всех отношениях. Сталинское строительство росло и крепло.

Сталин — поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов.

Перечень этих комплиментов можно длить до бесконечности.

Нечто похожее говорили о Сталине и другие посещавшие его высокие гости. Роллан тоже сравнил его с Августом. Шоу тоже дал понять, что был очарован Сталиным, его скромностью, его человеческим тактом:

- ▶ Сталин, лорд-протектор России, — писал он, — живет с семьей в трех комнатах... Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. Сталин играл свою роль с совершенством, принял нас как старых друзей и дал нам наговориться вволю, прежде чем скромно позволил себе высказаться.

Что говорить! Сталин был недурным актером и сумел охмурить не одного Фейхтвангера.

Но все прежние именитые сталинские гости поминали об этих чарующих качествах советского вождя вскользь, мимоходом. Фейхтвангер был единственным (если не считать

Барбюса), кто попытался дать законченный и вполне апологетический его портрет.

Как бы то ни было, этот свой грех Фейхтвангер разделил с другими духовными лидерами западного мира. Но помимо этих славословий палачу был у него еще и другой, куда более страшный, совсем уже «непрощенный», непрощаемый, непростительный грех.

Фейхтвангер был единственным влиятельным и, как тогда казалось, безусловно честным и неангажированным представителем западной интеллигенции, кому удалось побывать на одном из знаменитых московских процессов. И этот процесс, о котором весь мир орал как о чудовищной фальсификации, он описал в высшей степени сочувственно и доброжелательно, с абсолютной, ничем не замутненной верой в правдивость официальной советской версии:

- ▶ По общему виду, — делится он своими впечатлениями, — это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс... Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга...

Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясущейся острой бородой, стоял перед микрофоном и как он говорил — будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вредил в вверенной ему промышленности.

Тайной подоплеки этого жуткого спектакля, зрителем которого он стал, Фейхтвангер, конечно, не знал.

Не знал (а вернее — **предпочел** не знать), что это была грандиозная инсценировка. И был у нее Автор. И был Режиссер. И за кулисами были пытки, долгие ночные допросы, угрозы расстрелять не только самих обвиняемых, из которых вымогали ложные признания, но и их жен, детей, и лживые

обещания, если публично во всем признаются, сохранить им жизнь.

Но было тут и другое. И это другое Фейхтвангер как раз уловил.

За всем этим жутким спектаклем стоял долгий опыт, в плоть и кровь, в каждую нервную клетку каждого из обвиняемых ввевшийся ритуал партийных собраний, партийных дискуссий, давно уже ставших привычными для них партийных покаяний.

Георгий Леонидович Пятаков, поведение которого на процессе произвело такое сильное впечатление на Фейхтвангера, был внутренне готов к тому, чтобы именно так повести себя в тот роковой час своего земного пути, задолго до того, как его к этому вынудили.

Нельзя тут не вспомнить уже приводившееся мною на этих страницах его письмо Валентинову (Вольскому), в котором он объяснял, к чему должен быть готов человек, связавший себя с большевистской (коммунистической) партией.

Случись Фейхтвангеру прочесть это письмо, он бы, наверно, лучше понял, что происходило на том Московском процессе и почему это жуткое судилище, приговорившее почти всех обвиняемых к расстрелу (те немногие, что получили более мягкий приговор, тоже были расстреляны или погибли в сталинских лагерях), показалось ему похожим скорее на партийную дискуссию, чем на суд.

Письма Пятакова, правда, он знать тогда не мог, поскольку опубликовано оно было спустя двадцать лет после того процесса, да и появилось на страницах малотиражного эмигрантского журнала. Но кое-что своим зорким глазом художника он все-таки углядел, и эта зоркость безусловно делает ему честь.

Но как все-таки могло случиться, что при всей этой своей художественной зоркости и при всем своем незаурядном уме он не смог разглядеть главного? Не понял, что весь этот громкий процесс был чудовишной фальсификацией, грандиозным обманом, — быть может, самым жутким, самым кровавым из всех, которыми так богат был наш страшный XX век?

А если понял, то почему же умолчал об этом? И не просто умолчал, а даже как бы дал этому чудовищному злодеянию некое моральное оправдание?

Тут возможно несколько объяснений. Но я остановлюсь только на одном.

А начну с небольшой, но поучительной истории, которую однажды рассказал замечательный наш историк Натан Эйдельман. А ему ее рассказал его отец.

В лагере, у костра, каждый день отчаянно спорили сталинцы с троцкистами. К этим спорам с интересом прислушивался один зэк — старый еврей, не принадлежавший ни к ортодоксам, ни к поклонникам Троцкого. После нескольких таких «политдискуссий» он сказал отцу Натана:

— Знаете, Яков Наумович, я наконец-таки понял, в чем разница между Троцким и Сталиным.

— ???

— Вот вы сколько писем имеете право посылать домой?

— Два письма в год.

— А если бы победил Троцкий... Что ни говорите, а Лев Давыдович, в отличие от Сталина, был человек интеллигентный. Если бы победил он, вы имели бы право посылать не два, а три письма в год.

При всей меткости этого иронического замечания следует все-таки признать, что гражданам Страны Советов, — как отбывающим свой безразмерный срок в сталинских лагерях, так и тем, кто в эти лагеря по случайности не попал, было все-таки не совсем все равно, кто кого слодал бы в той кровавой грызне — Сталин или оппозиционеры.

Фейхтвангеру же на это было в высшей степени наплевать. Для него не существовало даже той микроскопической разницы между Сталиным и Троцким, которую иронически отметил старый лагерник в своем разговоре с отцом Натана Эйдельмана. И поэтому ему было совершенно все равно, кто кого победит и кто кого убьет: Троцкий Сталина или Сталин Троцкого (Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Пятакова).

Фейхтвангеру было важно только одно: Советский Союз

(то есть Сталин) — это единственная реальная сила, которая может противостоять Гитлеру.

Понимал ли он, что воспетый им советский вождь не слишком отличается от ненавистного ему фюрера?

Быть может, не в полном объеме, но кое-что безусловно понимал.

Вот, например, как рассказывает об этом вдова И.Э. Бабеля, принимавшая у себя (вместе с мужем, конечно) Фейхтвангера в том самом 1937 году:

► После ухода Фейхтвангера я спросила Бабеля, что особенно интересного сообщил наш гость.

— Он говорил о своих впечатлениях от Советского Союза и о Сталине. Сказал мне много горькой правды. Но распространяться Бабель не стал.

*(Антонина Пирожкова. Семь лет  
с Исааком Бабелем.  
New York, 2001. Стр. 87)*

Бабель лишь скупой да понять жене, о чем ему говорил и в чем признался Фейхтвангер. Но и сказанного им вполне достаточно, чтобы сделать вывод, что кое-что во время своего визита в Москву тот все-таки понял.

Но кроме Фейхтвангера и всех перечисленных выше корифеев западного культурного истеблишмента, не решавшихся разрушить светлый образ Страны Советов, было по крайней мере два писателя Запада — из числа тех, что посетили Советский Союз, — которые в этой ситуации повели себя совершенно иначе.

\* \* \*

Приезд Фейхтвангера в Москву был ознаменован не только официальными, но и неофициальными откликами. Самым популярным из них был такой:

Стоит Фейхтвангер у дверей  
С весьма унылым видом.  
Боюсь я, как бы сей еврей  
Не оказался Жидом.

Андре Жид считался одним из самых надежных и верных друзей Советского Союза.

Он прилетел в Москву днем 17 июня 1936 года. Первым его желанием было — увидеться с Горьким. Но к Горькому в тот день его не пустили, а на следующий день Алексей Максимович был уже мертв. Так что увидеть его Жиду привелось уже только в гробу.

Но когда Горького хоронили, он стоял на Мавзолее, рядом со Сталиным и другими руководителями советского государства.

Не только в этот день, но и потом, во все время его пребывания в Советском Союзе, принимали Жида, что называется, по первому разряду. Но отплатил высокий гость так бережно лелеявшим его хозяевам черной неблагодарностью.

Вернувшись из поездки по СССР, он опубликовал книгу, в которой об этой светлой надежде человечества высказался весьма нелицеприятно.

Если попытаться ответить коротко на вопрос, что же именно не понравилось ему в Советском Союзе, ответ этот можно будет свести к одному слову: «Всё».

Об этих его впечатлениях можно было бы рассказать и подробнее, но, связанный своей темой, от которой я и так уже довольно сильно отвлекся, остановлюсь только на одном своем наблюдении.

Все соображения знаменитого французского писателя о том непривлекательном и даже отталкивающем, с чем он столкнулся в Советском Союзе, резко делятся на две категории.

К первой относится то, что он вполне мог увидеть и понять сам, без чьей бы то ни было помощи.

Например, вот это:

- ▶ ...я захожу в магазин. Громадное помещение, невообразимая толкотня... Каждый ждет своей очереди, стоя или сидя, часто с ребенком на руках... Здесь можно провести все утро, весь день — в спертом воздухе, которым, сначала кажется, невозможно дышать, но потом люди привыкают, как привыкают ко всему... Я обошел магазин вдоль и поперек и сверху донизу.

Товары, за редким исключением, совсем негодные. Можно даже подумать, что ткани, вещи и т. д. специально изготавливаются по возможности непривлекательными, чтобы их можно было купить только по крайней нужде, а не потому, что они понравились. Мне хотелось привезти какие-нибудь сувениры друзьям, но все выглядит ужасно.

*(Андре Жид. Возвращение из СССР;  
Лион Фейхтвангер. Москва 1937.  
М., 1990. Стр. 73)*

Не только увидеть, но и понять природу этого явления он тоже, наверно, мог бы и без чьей-либо помощи или под-сказки:

- ▶ ...несмотря на весь свой антикапитализм, я думаю о тех людях у нас — от крупного промышленника до мелкого торговца, — которые с ног сбиваются и мучаются одной мыслью: что бы еще такое придумать, чтобы удовлетворить публику? С какой изошренной изобретательностью каждый из них ищет способа свалить конкурента! Государству же до этого дела мало — у него нет конкурентов. Качество? «Зачем оно, если нет конкурентов?» — говорят нам. Именно так, очень бесхитроно, объясняют нам плохое качество всего производимого в СССР...

*(Там же. Стр. 74—75)*

Но есть вещи, которые — он сам в этом признается, — ему нипочем было бы не заметить и не понять, если бы ему на них не указали:

- ▶ Пьер Эрбар более полугода жил в Москве, руководил там пропагандистским журналом «Интернациональная литература», выходящим на четырех языках. Благодаря этому был в курсе всех интриг, всего, что там происходило... Он, несомненно, мне во многом помог, то есть прояснил многие вещи, до которых я сам, конечно, не додумался бы. Приведу небольшой пример.

На другой день после нашего прибытия в Москву (мы с Пьером Эрбаром прибыли из Парижа самолетом — Эрбар прилетал туда на три дня, — остальные должны были прибыть через десять дней в Ленинград пароходом) ко мне явился с визитом Бухарин. Он был еще очень популярен. В последний раз, когда он явился на каком-то собрании, публика приветствовала его овациями. Однако незаметно надвигалась уже опала, и Пьер Эрбар, пытавшийся опубликовать в своем журнале его замечательную статью, столкнулся с сильным сопротивлением. Все это надо было знать, но я узнал только позже. Бухарин пришел один, но не успел он переступить порог роскошного номера, предоставленного мне в «Метрополе», как вслед за ним проник человек, назвавшийся журналистом, и, вмешиваясь в нашу беседу с Бухариным, сделал ее попросту невозможной. Бухарин почти тотчас поднялся, я проводил его в прихожую, и там он сказал, что надеется снова со мной увидеться.

Спустя три дня я встретился с ним на похоронах Горького — или даже, точнее, за день до похорон, когда живая очередь двигалась мимо украшенного цветами монументального катафалка, на котором покоился гроб с телом Горького. В соседнем, гораздо меньшем по размерам зале собрались различные «ответственные лица», включая Димитрова, с которым я еще не был знаком и которого я подошел поприветствовать. Рядом с ним был Бухарин. Когда я отошел от Димитрова, он взял меня под руку и, наклонясь ко мне, спросил:

— Могу я к вам через час зайти в «Метрополь»?

Пьер Эрбар, сопровождавший меня и все слышавший, понизив голос, сказал: «Готов держать пари, что ему это не удастся».

И в самом деле, Кольцов, видевший, как Бухарин подходил ко мне, тотчас отвел его в сторону. Я не знаю, что он мог ему сказать, но, пока я был в Москве, я Бухарина больше не видел.



Без этой реплики я бы ничего не понял. Я подумал бы о забывчивости, подумал бы, что Бухарину, в конце концов, не столь важно было меня увидеть, но я никогда не подумал бы, что он не мог.

*(Там же. Стр. 139—140)*

И вот точно так же он сам, без чьей-то подсказки, ни за что бы не увидал и не понял — во всяком случае, за те полтора-два месяца, которые провел в СССР, — самое главное из того, что отвратило его от Советского Союза и в конечном счете вызвало тотальное его разочарование в том грандиозном социальном эксперименте, какой еще совсем недавно представлялся ему таким привлекательным:

- ▶ Известный ученый принужден отрицать теорию, приверженцем которой он был и которая оказалась неортодоксальной. Академик клеймит себя за свои «прошлые ошибки», которые, как он сам публично заявил, «могли быть использованы фашистами» («Известия», 28 декабря 1936 г.). Его заставляют признать обвинения, выдвинутые по приказу «Известиями», поднаторевшими в поисках позорных симптомов «контрреволюционной горячки».

Эйзенштейн вынужден прервать работу. Он должен признать свои «ошибки», заявить, что он ошибался и что новый фильм, над которым он работал и который уже обошелся в два миллиона, не отвечает требованиям доктрины, на основании чего он и был справедливо запрещен.

*(Там же. Стр. 114)*

- ▶ Как бы прекрасно ни было произведение, в СССР оно осуждается, если не соответствует общей линии... Каким бы гениальным ни был художник, но, если он не следует общей линии, ему не дождаться внимания, удача отвернется от него. От художника, от писателя требуется только быть послушным, все остальное приложится.

*(Там же. Стр. 94)*

- ▶ ... Сейчас требуются только приспособленчество и покорность. Всех недовольных будут считать «троцкистами». И невольно возникает такой вопрос: что, если бы ожил вдруг сам Ленин?..

*(Там же. Стр. 90)*

И наконец — такой, совершенно оглушительный вывод:

- ▶ ...не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено.

*(Там же. Стр. 87)*

Эта последняя реплика, видимо, вызвала особенно бурный взрыв негодования у «левых» (да, надо думать, и не только у «левых») читателей книги Жида на Западе. Недаром в опубликованных им в июне 1937 года «Поправках к моему «Возвращению из СССР» он к ней возвращается и упрямо на ней настаивает:

- ▶ А правосудие! Уж не думают ли, что последние процессы в Москве и в Новосибирске заставят меня сожалеть о сказанной мной фразе, которая вас возмущает: «Не думаю, чтобы в какой-либо другой стране, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено».

*(Там же. Стр. 114)*

За тот короткий срок, который был ему отпущен на его поездку по Советскому Союзу, увидеть и понять все это на таком — отнюдь не поверхностном — уровне он вряд ли бы смог. Ну, а что касается предположения, что и сам Ленин, если бы он вдруг ожил, тоже, того и гляди, был бы объявлен «троцкистом» и оказался на скамье подсудимых рядом с Каменевым и Зиновьевым, — так оно-то уж точно было ему подсказано кем-то из московских его собеседников.

Сомнений нет: наверняка нашлись какие-то смельчаки, которые, рискуя жизнью, постарались открыть Жиду глаза на реальное положение дел в стране, в которую он прибыл в качестве ее друга и почетного гостя.

Много ли нашлось таких смельчаков? И кто это был? Казалось бы, узнать это уже невозможно.

Но, после того как нам стало доступно следственное дело Пильняка, по крайней мере двоих из них мы можем назвать поименно:

### ► ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА Б.А. ПИЛЬНЯКА

В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б. Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в «Литгазету» в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком. Установлено также, что в 1935 г. они договаривались информировать французского писателя Виктора Маргерита (подписавшего воззвание в защиту Троцкого) об угнетенном положении русских писателей, с тем чтобы эта информация была доведена до сведения французских писательских кругов. В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР. Несомненным является, что эта информация была использована Жидом в его книге против СССР.

*(Виталий Шенталинский. Рабы свободы.  
В литературных архивах КГБ. М., 1995. Стр. 196)*

Идеологическое и стилистическое оформление этого документа («стремился втянуть в свою группу...», «тенденциозно информировали...» и т.п.) принадлежит, конечно, следователям. Но что касается фактической стороны дела, то она сомнений не вызывает.

\* \* \*

Кроме «законспирированных встреч» с Андре Жидом Пильняку инкриминировали такую же преступную связь с еще одним французским писателем.

Его звали — Панаит Истрати.

Он был, конечно, фигурой не такого масштаба, как Жид, но в 20-годы был, что называется, на виду.

Ромен Роллан назвал его «балканским Горьким», и с легкой руки живого классика это броское определение прочно к нему пристало. Начавшая тогда выходить у нас первая советская «Литературная энциклопедия» уделила Истрати весьма внушительную статью:

- ▶ **ИСТРАТИ** Панаит [Panait Gherassime Istrati, 1884] — французский писатель. И. — румын по национальности, вышел из социальных низов (сын прачки), провел первые пятнадцать лет своей жизни на берегах Дуная (в Браилове) — это был мрачный и жестокий пролог его существования. Следующая глава его жизни охватывает четверть века непрерывных исканий. «Я испробовал все ремесла, на которые способен человек, вынужденный зарабатывать свой хлеб. В Египте и Малой Азии, в Греции и Италии, во Франции и Швейцарии, повсюду я принимал то, что мне предлагали: грузчик на вокзале и в портах, подручный на верфях, лакей в гостиницах, кухонный мальчик в ресторанах, гарсон в пивных, кузнец, землекоп, расклейщик афиш, фигурант в цирковых пантомимах, тракторист, аптекарский ученик, пильщик, газетный экспедитор, странствующий фотограф...», рассказывает о себе писатель. Первая книга И. «Кира Киралина» (Kuga Kugalina) появилась в 1923.

Произведения И. автобиографичны. С этим связана форма сказа, к к-рому он постоянно тяготеет.

(Литературная энциклопедия. Том 4.  
М., 1930. Стр. 643—644)

Называя эту статью внушительной, я имел в виду в основном ее объем. (Четыре с половиной колонки убористого текста. Для сравнения: в том же томе статья такого объема была посвящена очень тогда знаменитому Всеволоду Иванову.) Что же касается самой статьи, то она была в высшей степени странной. После очень короткой (процитированной выше) справочной части сразу же начинался погром:

- ▶ И. не стремится охватить действительность широко, раскрыть ее движущие противоречия, — он замкнут в себе самом, его книги являются «исповедями» мятущегося мещанского искателя. Ограниченность художника исключительна: несмотря на то, что все время он стоит перед фактом ужасающей уродливости капиталистического порядка и сама драма мещанской беспочвенности является лишь порождением этого порядка, Истрати не поднимается до последовательной и открытой критики капитализма, подменяя эту критику сентиментальным «самоуглублением», ханжеским «правдоискательством», убогой морализирующей фразеологией. Замкнутость И. есть выражение его косности, он — целиком в пределах мелкобуржуазного мышления, слишком трусливого для того, чтобы понять действительную сущность противоречий капиталистического общества.

В «Моих скитаниях», в романе «Михаил» (Michail, 1928) дана наиболее последовательная формула мещанской ограниченности. Здесь очень убедительно выясняется, что Истрати, который, казалось бы, всем ходом обстоятельств готовился к роли революционного художника (вспомним его трудовую биографию), пребывает в болоте мещанской философии... Что утверждается в этих необычайно слащавых произведениях? То, что капиталистический порядок — несправедливый порядок. Но уже в критике, в отрицании капиталистической действительности у Истрати ощущается половинчатость, робость. Еще больше очевидна эта трусливость в тех выводах, которые художник делает из критики капиталистической действительности: мы

сразу оказываемся здесь перед чем-то крайне расплывчатым, беспомощным. Проповедуется бунтарство против капиталистической действительности, но она — лишь внешняя поза, прикрывающая самое откровенное примиренчество. Бунт Истрати — бессодержательный. Здесь нет и признака революционной сознательности, это только крик, истерика растерявшегося мещанина.

(Там же. Стр. 644—645)

Все это напоминает знаменитый фельетон Ильфа и Петрова, в котором сатирики зло высмеивали стереотип типичных тогдашних предисловий к книжным новинкам, изданиям классиков и даже музыкальным радиопередачам:

- ▶ Когда по радио передавали «Прекрасную Елену», бархатный голос руководителя музыкальных трансляций сообщил:

— Музыка оперетты написана Оффенбахом, который под никому не нужной внешней мелодичностью пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала...

Тот же бархатный голос возвестил:

— Итак, слушайте оперетту «Прекрасная Елена». Через две-три минуты зал будет включен без предупреждения.

И действительно, через две-три минуты зал был включен без всякого предупреждения. И слышалась музыка, судя по вступительному слову диктора:

- а) никому не нужная;
- б) душевно опустошенная,
- в) что-то скрывающая.

(И. Ильф, Е. Петров. В золотом переплете)

Говоря о сходстве статьи «Литературной энциклопедии» о Панаите Истрати с этим фельетоном, я сказал, что она этот фельетон *напоминает*. А можно было бы, ничуть не преувели-

личивая, сказать, что она его *повторяет*. Если бы не то обстоятельство, что статья, как уже было сказано, появилась на свет в 1930 году, а фельетон Ильфа и Петрова — в 1932-м.

Так может быть, фельетон именно эту (или другую такую же) статью и пародировал?

Нет, даже и этого сказать нельзя, потому что для «Литературной энциклопедии» такой стиль был не больно характерен.

О писателях, чьи имена удостоились попасть в ее словник, писать в таком стиле было все-таки не принято. Сперва полагалось сказать о том, чем данный писатель хорош, за что мы его ценим, чем заслужил он право на эту энциклопедическую статью, и только уж потом, под занавес можно было слегка пожурить его за классовую ограниченность и недостаточно глубокое разоблачение мерзостей капитализма.

Статья про Панаита Истрати в этом смысле не то что нетипична, она прямо-таки изумляет этой своей нетипичностью.

Чтобы так резко нарушить привычные правила «хорошего тона», у редакции «Литературной энциклопедии», вероятно, были какие-то особые причины. Наверняка тут им пришлось принять во внимание какие-то необычные, чрезвычайные обстоятельства...

Да, так оно и есть. Такие чрезвычайные обстоятельства тут действительно были. И в последнем, заключительном абзаце об этих чрезвычайных обстоятельствах нам сообщают без обиняков и каких-либо туманных намеков, а прямым текстом:

- ▶ В истерических метаниях Истрати, на пути его ханжеского «правдоискательства», являющегося, как мы уже говорили, лишь формулой примирения, отказа от действительной борьбы с капиталистическим порядком, было и то, что можно назвать «революционным эпизодом». Истрати сближается с французской компартией, клянется в верности рабочему классу, публикует ряд деклараций, бичующих капиталистический мир и возвещающих о революционном прозрении ав-

тора «Кира Киралина». Со слезами на глазах И. приезжает в Советскую Россию, умиленно и восторженно проводит здесь несколько месяцев, потом отправляется в Париж с намерением вернуться в СССР навсегда. Очень скоро выясняется, что И. оказался наглейшим ренегатом, его интервью, а позднее и целые книги оказываются тупыми, циническими контрреволюционными пасквилями. И. всегда был жонглером пустыми фразами, его творчество всегда имело махровый цвет мещанской беспринципности, но никогда этот писатель еще не раскрывался так неприглядно и полно, как то было в «революционном эпизоде». Бесспорно это обозначает окончательную творческую гибель Истрати. Он разоблачен окончательно, ничтожество его раскрыто, — путь пасквилянта, продажного писаки — единственный оставшийся Истрати путь; он вступил на него уверенно, он «нашел себя».

*(Литературная энциклопедия. Том 4.  
М., 1930. Стр. 646—647)*

Написано с большим чувством. Автор прямо-таки кипит от негодования, от праведного гнева.

В более поздние времена авторы и редакторы наших энциклопедий научились сдерживать свои чувства — держать себя в руках.

Об основополагающем критерии официальных советских литературных оценок очень точно выразился В.Б. Шкловский. «Отметки, — сказал он, — нам ставят не за успехи, а за поведение». По отношению к иностранным авторам этот принцип работал безотказно. И если случалось какому-нибудь — даже очень известному — европейскому или американскому писателю ненароком проявить «плохое поведение» (сказать что-нибудь нелिцеприятное о Советском Союзе), как имя его сразу же становилось неупоминаемым.

Вот так бы им, наверно, надо было бы поступить и с Панаитом Истрати. Нет никакого Панаита Истрати — и все тут.



Но тут, видимо, сыграл свою роль фактор внезапности.

Уж больно неожиданным был удар, который вдруг нанес им этот «балканский Горький». И не только неожиданным. С рассчитанной точностью он бил в самые уязвимые, самые болезненные точки советского государственного и общественного устройства.

Впервые я услышал имя Панаита Истрати от своего коллеги и соседа по дому, с которым сошелся взглядами, а потом и подружился, — Ильи Давыдовича Константиновского. Он родился и вырос в Румынии. (Точнее — в Бессарабии.) В юности был горячим приверженцем коммунистической доктрины и активным членом румынской коммунистической партии. Был, кажется, даже близок к тогдашнему ее руководству. В 1940 году, узнав, что его родная Бессарабия отходит к Советскому Союзу, рванул из Бухареста в Кишинев, чтобы оказаться в Стране Своей Мечты и стать ее гражданином.

Когда я с ним познакомился, природу советской социально-экономической системы он уже понимал глубоко. Глубже многих.

На эти темы мы с ним часто беседовали.

И всякий раз, когда мы вели очередную такую беседу, в его пылких речах неизменно всплывало имя Панаита Истрати.

Его поражало и восхищало, что этот бывший его compatriot еще вон когда, в 1929 году, да еще за такой короткий срок, который был ему отпущен на поездку по Союзу, почти вплотную приблизился к пониманию того, на что у него ушли годы.

И всякий раз эти свои недоумения и восторги он заключал так:

— Нет! Сам бы он не смог... Наверняка кто-то ему открыл глаза. Но кто? У кого хватило смелости?

Теперь и эта загадка разъяснилась.

- ▶ В показаниях на следствии Пильняк подробно рассказывает о дружбе с Виктором Сержем. Беседы их были вполне откровенны: об ужасах коллективизации,

о терроре, о том, что в стране такая обстановка, при которой невозможно ни жить, ни писать...

— В результате наших встреч мы с Сержем, — говорит Пильняк, — пришли к выводу, что необходимо проинформировать западную общественность о положении в России...

Такая возможность вскоре представилась: из Парижа приехал Панайт Истрати, с большой помпой встреченный советским правительством как европейский революционный писатель... Он разъезжал по всей стране, окруженный вниманием партии и Органов, озабоченных тем, чтобы на Западе появилась еще одна хвалебная книга об СССР.

Пильняка познакомил с Истрати Виктор Серж. Поначалу Пильняк не хотел с ним знакомиться: ему нечего делать с писателями, которых так легко покупают в Советском Союзе. Но Серж все же привез гостя.

— Вы не хотели встречаться со мной? — спросил тот. — Именно поэтому я и приехал. Почему вы не хотели меня видеть?

— Потому что вы смотрите на нашу страну не так, как следовало бы, а глазами официальных лиц, принимаете слишком много поздравлений и слишком часто благодарите. Положение у нас вы оцениваете ложно и если напишете о нем, — это будет прятничная сторона, а не действительность...

— Я хочу знать правду, — сказал Истрати.

И Пильняк с Сержем начали открывать ему глаза...

— Таким образом, вы явились основным источником предательской информации против Советской страны? — спросил Пильняка следователь.

— Да, — покорно согласился Пильняк, — я повинен перед советским народом в том, что путем переданной Панайту Истрати предательской информации пытался дискредитировать Советский Союз в глазах интеллигенции Запада...

*(Виталий Шенталинский. Рабы свободы.  
В литературных архивах КГБ. М., 1995.  
Стр. 200—201)*

«Путем предательской информации...», «пытался дискредитировать...» — это все, конечно, формулировки следователя. Но за этими казенными формулировками встает правда.

\* \* \*

Кроме этих признаний Б.А. Пильняка, хоть и в навязанной ему следователем форме, но все-таки отражающих реальность, были и другие, совсем уже фантастические.

«Предательская информация», посредством которой обвиняемый «пытался дискредитировать Советский Союз в глазах интеллигенции Запада», на «вышку» не тянула. А следователям надо было (такая, видать, была им дана установка) подвести его именно под «вышку».

Так возникает еще одно обвинение — террор:

- ▶ В протоколе появляется запись о писательском собрании у Воронского осенью 1932 года, на котором якобы возник план покушения на Сталина: «Воронский произнес речь, смысл которой сводился к тому, что в стране и партии создан такой режим, при котором невозможно жить, что если партия по отношению к троцкистам применяет террор, то троцкисты также должны ответить террором. Воронский тогда так разгорячился, что закричал: «Стрелять, стрелять надо в Сталина!»

Дальше зафиксировано, какие преступные разговоры вел Пильняк с друзьями-писателями — Пастернаком, Фединым, Артемом Веселым...

— С Фединым я особенно близок. Мы с ним часто вели разговоры о невыносимом режиме в партии, о том недоверии, которым окружен человек. Этот режим нами рассматривался как террор... Мы сходились на том, что партии нет, что есть один Сталин, что положение в партии и в стране неминуемо грозит катастрофой...

Уже перед самым арестом у Пильняка был такой разговор с Артемом Веселым:

— Ну вот ты, Артем, революционер-большевик, член партии, как же ты чувствуешь себя в партии?

— Волком...

— Ну если ты настоящий революционер и большевик, как же ты допускаешь, чтобы в твоей партии ты был волком?

— Это большой разговор, без водки не выговоришь, — раздраженно сказал Артем и помолчал. — Хочу в партию, а мне говорят — лезь в подворотню...

И снова помолчав, в раздумье добавил:

— Хоть бери револьвер и иди с ним...

— На кого?

— Ну, на кого? Конечно, на Сталина!..

Однако никаких фактов о терроризме пока нет, одни разговоры. Следователь насеждает:

— Мы располагаем данными, что вы практически подготавливали теракт. Признавайтесь!

И подследственный признается во всем, что от него требуют. Да, он вместе с друзьями задумал убить Ежова. Как? Проникнув в его квартиру через знакомых женщин или прямо на улице. Почему же не исполнили? Из-за бдительности НКВД, аресты сорвали эти злодейские планы.

*(Там же. Стр. 201—203)*

20 апреля 1938 года Пильняк получил копию обвинительного заключения, из которого узнал, что судить его будет Военная коллегия. Суд состоялся на следующий день и продолжался он с 17.45 до 18.00 — **пятнадцать минут**.

Военная коллегия заседала в таком составе: председатель — армвоенюрист Ульрих, члены — диввоенюрист Зарянов и бригавоенюрист Ждан, секретарь — военюрист 1-го ранга Батнер.

- ▶ Председатель объявил, чье дело подлежит рассмотрению и по каким статьям. Секретарь доложил, что подсудимый доставлен и что свидетели не вызывались. Затем судьи «удостоверились в самоличности» подсу-

димого, который никаких ходатайств и отвода суду не заявил.

Секретарь торопливо огласил обвинительное заключение...

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил Ульрих.

— Да, полностью... И полностью подтверждаю свои показания. На следствии я рассказал всю истинную правду и добавить ничего не имею...

Последнее слово подсудимого...

— Я очень хочу работать. После долгого тюремного заключения я стал совсем другим человеком и по-новому увидел жизнь. Я хочу жить, много работать, я хочу иметь перед собой бумагу, чтобы написать полезную для советских людей вещь...

Суд удалился на совещание.

Оглашается приговор...

— Именем Союза Советских... бывшего писателя... участником антисоветских, троцкистских, диверсионных, террористических организаций... подготавливал теракты... товарища Сталина и Ежова... шпионскую работу в пользу Японии... к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор окончательный и подлежит немедленному исполнению.

Маленький желтый листочек: «Приговор приведен в исполнение... Начальник 12-го отделения 1-го спецотдела лейтенант Шевелев».

*(Там же. Стр. 205—206)*

Понимал ли Пильняк, произнося свое «последнее слово», что обращаться к этому суду бесполезно, что все эти «военюристы» — только куклы, а суд — чистейшей воды комедия? Настоящее судилище происходило не здесь, и настоящими судьями были совсем другие лица.

За два дня до этого заседания Военной коллегии расстрельный список, в котором упоминался Пильняк, лег на стол Сталина.

Такие списки тогда ложились ему на стол чуть ли не еже-

дневно: работать приходилось много. Но трудился он не один, а вместе с соратниками. Не потому, конечно, что одному ему было не справиться. Зная Сталина, можно с уверенностью сказать, что работа эта была ему не в тягость и даже доставляла немалое удовольствие. Соратники же в этом случае были ему нужны не для того, чтобы они облегчили ему этот тяжкий труд, а потому, что, в соответствии с «Катехизисом революционера» Нечаева и откровениями Шигалева и Петруши Верховенского, ему надо было **повязать их кровью**.

В расстрельном списке, который лег на стол Сталину 18 апреля 1938 года, значилось:

- ▶ ... 32. *Большаков Константин Александрович...*
- 95. *Завалишин Александр Иванович...*
- 118. *Касаткин Иван Михайлович...*
- 124. *Кин-Суровикин Виктор Павлович...*
- 131. *Козловский-Батрак Иван Андреевич...*
- 224. *Пильняк (Вогау) Борис Андреевич...*
- 252. *Селивановский Алексей Павлович...*

Подписали список: Сталин, Ворошилов, Каганович, Жданов.

*(Виталий Шенталинский. Преступление без наказания. М., 2007. Стр. 543)*

Но почему все-таки Пильняк попал в этот расстрельный список? Зачем Сталину понадобилось его убить?

Зная Сталина, в ответ на этот вопрос можно только пожалеть плечами. Разве для того, чтобы пожелать расправиться с Пильняком, не довольно ему было одной только «Повести непогашенной луны»?

Однако не распорядился же он расстрелять Мандельштама. И если бы тот не лез сам в пекло, прямо-таки напрашиваясь на арест, наверняка не было бы и этого второго ареста, в результате которого он получил «пятерку» — срок по тем временам просто смешной, и будь Осип Эмильевич более крепкого здоровья — физического и психического — гля-

дишь, мог бы уцелеть, как получивший тот же срок Заболоцкий. Это Мандельштам! Которому за одну только «широкую грудь осетина», казалось, не миновать было пули в затылок.

Не тронул он и Платонова, хотя о его рассказе, на котором некогда начертал «Сволочь», конечно, не забыл.

Все это, правда, были случаи единичные, а тут ситуация была уже другая. Пильняк попал в кровавый поток 37-го года, когда счет шел уже не на единицы и даже не на сотни, а на сотни тысяч человеческих жизней.

Но в этом кровавом безумии была своя система. Уничтожалась старая — ленинская — партия. Ее должна была заменить новая, **сталинская**.

Были, конечно, тут и ошибки, и промахи, — как им не быть в таком большом деле, — но истребление старых большевистских кадров велось прицельно. Охота шла на людей **идейных**. Идеиные Сталину были не нужны. Ему были нужны **лично преданные**, готовые колебаться вместе с «генеральной линией», куда бы он, Сталин, эту генеральную линию ни повернул и ни направил.

Но Пильняк-то был как раз из этих последних!

Он, правда, путался с троцкистами (Радеком, Воронским), но настоящим троцкистом никогда не был. И свою угодливую готовность делать, что прикажут, засвидетельствовал не только в своих письмах-обращениях к Сталину. Не только на словах, но и на деле, своей писательской практикой он подтвердил готовность принять участие в создании той псевдолитературы, которая требовалась теперь, в новых исторических условиях, когда настоящая литература была уже не нужна и за редчайшими исключениями даже невозможна.

В двадцатые годы он тоже был готов на многое. Но в тех, прежних его вещах эта его готовность была закамуфлирована густым и плотным бытописанием, вычурными и сложными языковыми конструкциями в духе его учителей Ремизова и Андрея Белого. (Что все-таки не помешало Набокову за всеми этими изысками разглядеть истинную, сервильную сущность и тогдашних его сочинений.) Теперь же, в новых его повестях и романах этот и раньше свойственный

ему сервидизм предстал уже без всяких прикрас, в самой откровенной, я бы даже сказал, бесстыдной наготе:

- ▶ Арбеков услышал гулы, социальные в первую очередь. Он услышал мир, свою родину... родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории, переселения народов от феодалов к социализму, рождение народов из небытия, городов, дорог, индустрии... Арбеков ощутил путь ледокола истории, ледокола, трактора, домны, — путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно.

Разве не стоит жить только для того, чтобы видеть эту эпоху, — даже только видеть? — и разве не вдвойне чудесно быть, — ну, хотя бы каменщиком эпохи?!

*(Борис Пильняк. Созревание плодов. М., 1936.*

*В кн.: Б. Пильняк. Избранные произведения. Л., 1978. Стр. 23)*

Ну зачем, скажите на милость, нужно было убивать человека, готового сочинять такие книги, да к тому же еще и сумевшего убедить вождя, что он может ему пригодиться «не только как литератор»?

Отчасти на этот вопрос ответил Л.Д. Троцкий, размышляя о тех, кто, подобно Пильняку, попал в кровавый поток сталинской «большой чистки» 37-го года:

- ▶ Среди тех, которые каялись и обещали верную службу, было немало бескорыстных и искренних людей. Они, конечно, не могли заставить себя верить, что Сталин — отец народов и пр. Но они видели, что в его руках власть... Они обещали ему свою верность без всякой задней мысли... Тем не менее они не спаслись. Сталин не верил им... Когда наступила пора московских театральных процессов, все эти бывшие члены оппозиции, хорошо знакомые с условиями оппозиции, хорошо знавшие вождей оппозиции и действительное со-



держание их работы, становились величайшей опасностью... В населении оказались рассеяны многие тысячи, десятки тысяч свидетелей... Они могли шепнуть ближайшим друзьям, что обвинение есть подлог. От друзей к друзьям это обличение могло распространиться по всей стране. Опасных свидетелей надо было устранить.

Но было и другое соображение более близкого личного характера, которое, несомненно, играло немалую роль в политической психологии Сталина. Параллельно с истреблением оппозиции шло его личное обогащение. Шла перестройка его биографии, ему приписывались черты, которых он не имел, качества, которыми он не располагал, подвиги, которых он не совершал. Между тем, среди оппозиционеров и вполне искренно раскаявшихся были сотни и тысячи людей, которые... знали его прошлое... и которых нельзя было обмануть, хотя бы они и делали все от них зависящее, чтобы быть обманутыми... Сталин никак не мог терпеть... людей, которые знали правду и которые сознательно говорили ложь в качестве доказательства своей верности вождю. К преданным, но знающим прошлое, Сталин относился, пожалуй, с большей враждой, с большей неприязнью, чем к открытым врагам.

*(Лев Троцкий. Сталин. Том 2. М., 1990.  
Стр. 263—264)*

Пильняк безусловно принадлежал к этой категории раскаявшихся и лично преданных Сталину, готовых лгать, доказывая свою преданность ему, но — **знавших правду**. И Троцкий, как никто другой понимавший «политическую психологию» Сталина, на главную причину гибели Пильняка этим своим рассуждением нам указал.

Но кое-что к этим его соображениям хотелось бы все-таки еще добавить.

Все утверждавшиеся им расстрельные, и не только расстрельные, но и другие проскрипционные списки Сталин не штамповал механически. Он рассматривал их внимательно.

И порой, как мы знаем, случалось даже, что, вопреки обычным своим установкам, склонялся и к гуманным, великодушным решениям: «Не трогайте этого небожителя», «Не будем трогать жену Маяковского».

Смешно предполагать, что в этих — или других подобных — случаях им двигали какие-то человеческие побуждения.

«Небожителя» он распорядился не трогать, рассчитывая, что тот еще может ему пригодиться. Жену Маяковского пощадил, потому что ее арест мог поставить под сомнение его резолюцию о лучшем, талантливейшем поэте эпохи, которую он начертил на ее обращении к нему.

И так — всегда.

Не естественный человеческий порыв, не движение души, а холодный деловой расчет неизменно лежал в основе каждого такого его «гуманного» решения.

Для наглядности еще раз приведу документ, который уже приводил однажды — в главе «Сталин и Эренбург»:

- ▶ В представленном вождю министром госбезопасности СССР В.С. Абакумовым в начале 1949 г. списке лиц, намечаемых к аресту по этому делу, фамилия И.Г. Эренбурга стояла одной из первых. «По агентурным данным, — указывалось, в частности, — находясь в 1937 году в Испании, Эренбург в беседе с французским писателем, троцкистом Андре Мальро допускал вражеские выпады против товарища Сталина»... Однако вождь, поставив рядом со многими другими фамилиями галочку и начальные буквы слова «Ар[естовать]», напротив фамилии Эренбурга оставил лишь замысловатый полувопросительный значок. Рядом с ним — помета А.Н. Поскребышева: «Сообщено т. Абакумову».

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 790)*

Сталин вполне мог поверить доносу Абакумова. Но мог и не поверить: уж он-то знал, как лепятся и чего стоят такие обвинения. Однако не это заставило его поставить против

фамилии Эренбурга вместо роковой пометки «ар» эту свою полувопросительную закорючку.

Что же? Минутное настроение? И попадись ему на глаза расстрельный список, в котором был Пильняк, в другую минуту, он, глядишь, и против его фамилии тоже поставил бы такую же закорючку, и Борису Андреевичу, которому так хотелось жить, тоже выпал бы счастливый билет?

Эренбург на постоянно задававшийся ему вопрос, как случилось, что он уцелел в кровавой сталинской мясорубке, неизменно отвечал, что это была лотерея.

Нет, никакая это была не лотерея. А была во всех этих, казалось бы, непредсказуемых сталинских решениях своя логика.

И если Сталин в 1949 году решил Эренбурга (пока!) не трогать, то лишь по той единственной причине, что тогда (как, впрочем, и потом) Эренбург **был ему еще нужен.**

А Пильняк в 1938-м был ему уже не нужен.

СТАЛИН  
И ЗАМЯТИН



## ДОКУМЕНТЫ

1

### ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) «ОБ АНТИСОВЕТСКИХ ГРУППИРОВКАХ СРЕДИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ»

8 июня 1922 г.

Строго секретно

Об антисоветских группировках среди ин-  
теллигенции  
(т. Уншлихт)

Г) Предложить ВЦИК издать постановление о создании особого совещания из представителей НКВД и НКЮ, которому предоставить право в тех случаях, когда имеется возможность не прибегать к более суровому наказанию, заменять его высылкой за границу...

Д) Для окончательного рассмотрения списка подлежащих высылке верхушек враждебных интеллигентских группировок образовать комиссию в составе гг. Уншлихта, Курского и Каменева...

*Секретарь ЦК СТАЛИН*

ПИСЬМО В.И. ЛЕНИНА И.В. СТАЛИНУ  
ОБ УСКОРЕНИИ ВЫСЫЛКИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

16 июля 1922 г.

т. Сталин!

К вопросу о высылке из России меньшевиков, н[ародных] с[оциалистов, кадетов и т[ому] п[одобных] я бы хотел задать несколько вопросов ввиду того, что эта операция, начатая до моего отпуска, не закончена и сейчас...

Комиссия под надзором Манцева, Мессинга и др. должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго.

Озеров, как и все сотрудники «Экономиста», — враги самые беспощадные. Всех их — вон из России.

Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — выезжайте, господа!

Всех авторов «Дома литераторов», питерской «Мысли»; Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас «заграница». Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров.

Обратите внимание на литераторов в Питере (адреса «Нов[ая] русская книга», № 4, 1922 г., с. 37) и на список частных издательств (стр. 29).

С ком[мунистическим] прив[етом]

ЛЕНИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)  
«О ПРОЦЕССЕ ЭСЕРОВ»

20 июля 1922 г.

Строго секретно

О процессе эсеров (т. Троцкий)

а) Поручить тройке по делу эсеров заказать и просле-

дять за напечатанием ряда статей в том смысле, что ходатайства Горького и Анатоля Франса никакого значения для Советской России иметь не будут.

б) Сообщить т. Пятакову, что Политбюро считает абсолютно необходимым окончание процесса 1 августа.

*Секретарь Цека СТАЛИН*

4

ЗАПИСКА И.С. УНШЛИХТА В ПОЛИТБЮРО  
ЦК РКП(б) ОБ УСКОРЕНИИ ПОДГОТОВКИ  
К ВЫСЫЛКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

*22 июля 1922 г.*

В Политбюро ЦК РКП т. Сталину

Сведения, полученные нами из зарубежных источников, определенно устанавливают, что заинтересованным кругам белой эмиграции стало известно о предполагающихся в Советской России репрессиях против антисоветской интеллигенции.

Некоторая тревога в профессорском и литературном мире наблюдается в последнее время и в Москве: ждут каких-то массовых арестов, высылки.

Эта осведомленность контрреволюционного лагеря указывает на то, что проводившийся нами метод опрашивания представителей заинтересованных центральных ведомств и отдельных ответственных товарищей об известных им кругах антисоветских деятелей привел к тому, что необходимая в подобных случаях строгая конспирация была нарушена и при дальнейшей проволочке в проведении операции последняя ни для кого не будет неожиданностью и вовсе не даст необходимых результатов. Следует отметить также, что профессура разъезжается на летние каникулы.

Ввиду этого представляется крайне необходимым спешное проведение намеченной операции, о чем и доводим до Вашего сведения.

*Зампред ГПУ УНШЛИХТ*



## СПИСОК АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ г. ПЕТРОГРАДА

Список литераторов, характеристики которых обсуждены на заседании 22-го июля в ГПУ под председательством т. Уншлихт в присутствии специально приглашенных гг. Ю.М. Стеклова, Знаменского, Ионова и Лебедева-Полянского

1. Сорокин Питирим Ал[ексан]дрович. Профессор социологии Питерского университета. Сотрудник «Экономического возрождения», «Артельного дела» и других. Бывш. социал-революционер. Фигура, несомненно, антисоветская. Учит студентов ориентировать свою жизнь на преподобного Сергия. Последняя книга была враждебна и содержит целый ряд инсинуаций против Соввласти.

2. Изгоев-Ланде А.С. Правый кадет, старый веховец. Довольно сильная фигура. Всегда был большевистствующим кадетом. Это опасная его сторона. Его «Дурачки и умники» — хороший памфлет на большевиков. Он умный и хитрый литератор. До сих пор избегает всяческого соприкосновения с нами и ведет довольно упорную работу в «Доме литераторов». Душа всяких протестов, резолюций, которые там выносятся. Тов. Стеклов отмечает, что Из-ев пережил все лишения, но все же за границу не уехал...

9. Замятин Е.И. Сотрудник «Летописи» и «Литературных записок». Скрытый заядлый белогвардеец. Он автор нелегальной резолюции, которую он проводил на собрании Дома литераторов, в которой выносилось порицание Андрею Белому за его произведение в защиту Советской России. Выступает в своих литературных произведениях всецело против Советской власти. Он в тесной компании с бежавшим Ремизовым. Ремизов — это определенный враг. Замятин — то же самое. При высылке за границу он сделается опасным лидером. Нужно выслать в Новгород, в Курск, но за границу ни в коем случае...

11. Булгаков С.Н. Профессор. Поп. Живет в Крыму, черносотенец, церковник, антисемит, погромщик, врангелевец. Комиссия с участием т. Богданова и др. за высылку...

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ГПУ  
В.И. ЛЕНИНУ И И.В. СТАЛИНУ  
С ПРИЛОЖЕНИЕМ РАПОРТА  
СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА ГПУ  
О ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЫЛКЕ  
АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
НА 22 АВГУСТА 1922 г.

*22 августа 1922 г.*

тт. Ленину и Сталину

По поручению тов. Уншлихта посылаю Рапорт о состоянии операции по высылке антисоветской интеллигенции на 23 августа 1922 г.

Приложение: упомянутое.

*Секретарь коллегии ГПУ ЕЗЕРСКАЯ*

ИЗ «РАПОРТА О СОСТОЯНИИ  
ПО ВЫСЫЛКЕ АНТИСОВЕТСКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
НА 23 АВГУСТА 1922 г.»

Петроградский губотдел представил следующую сводку о результатах операции: с 16 на 17 августа арестовано, согласно распоряжения ГПУ, по списку антисоветской интеллигенции города Петрограда 30 человек:

1. Пумпянский Леонид Алексеевич
2. Замятин Евгений Иванович
3. Харитонов Борис Иосипович
4. Изгоев-Ланде Александр Соломонович
5. Карсавин Лев Платонович
6. Волковысский Николай Моисеевич
7. Лосский Николай Ануфриевич

Вышеуказанные 7 человек согласно их желания будут отпущены за границу за свой счет.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ  
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО «ПО ПЕРЕСМОТРУ  
ХОДАТАЙСТВ ОБ ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ ЛИЦ,  
О КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЕЛАЛИСЬ ЗАЯВЛЕНИЯ  
ОБ ОСТАВЛЕНИИ НА МЕСТАХ».

*31 августа 1922 г.*

ПО ПЕТРОГРАДУ

8) Замятин Евгений Иванович

Вследствии ходатайства т. Воронского об оставлении Замятина в России на предмет сотрудничества его в «Красной нови» высылка приостановлена до окончания переговоров.

ШИФРОТЕЛЕГРАММА П.А. ЗАЛУЦКОГО  
И.В. СТАЛИНУ И Г.Е. ЗИНОВЬЕВУ  
О НЕДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЙ  
ОБ ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ  
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
«АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
г. ПЕТРОГРАДА»

*3 сентября 1922 г.*

Москва. ЦК РКП тов. Сталину. Копия тов. Зиновьеву.

В Питере меньшевики представляют довольно реальную политическую силу. Это сказывается не только на их работе в пролетарских массах, но, более того, это сказывается на настроениях низовых ячеек, предприятиях нашей партии... Помимо этого меньшевики ведут подпольную кружковую работу, кое-где не без успеха, получают необходимое пополнение своих организаций свежими силами,

с которыми борьба труднее, чем со старыми, ибо их не знаешь. Между тем Москва не утверждает наши списки меньшевиков [из] интеллигенции. Мотивы Пека о высылке никогда не заслуш[ив]али. В настоящее время по протекции освобождают меньшевиков Крохмалю, Канцеля, из буржуазной интеллигенции проф. Штейна, писателя Замятина из числа 36 человек. Пека же представил список более двухсот человек. Можно потребовать от Пека, чтобы он еще раз пересмотрел эти списки, чтоб дал большие доказательства, но освобождать по протекции и ходатайствам отдельных лиц, игнорируя Пека, это недопустимо... Вынужден заявить, что такое положение дел создает условия для культивирования в Питере прошлой кронштадтчины, беспомощным наблюдателем быть чего я считаю тяжким преступлением. Отвечать за питерскую организацию при таком отношении ЦК нельзя, и я буду просить освободить меня от этого.

Секретарь Петргубкома РКП ЗАЛУЦКИЙ

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)  
ПО ШИФРОТЕЛЕГРАММЕ  
П.А. ЗАЛУЦКОГО  
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  
ИЗ-ПОД АРЕСТА  
ПИСАТЕЛЯ Е.И. ЗАМЯТИНА.

7 сентября 1922 г.

Строго секретно

17. О питерских меньшевиках (т. Зиновьев)

а) Отклонить ходатайство Питерского губкома в отношении Замятина, т.е. освободить его.

б) В отношении остальных предложить т. Дзержинскому переговорить с Питерским губкомом.

Секретарь ЦК

10

СПИСОК АНТИСОВЕТСКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ г. ПЕТРОГРАДА

1. Сорокин Питирим Александрович. Арестован, высылается.

2. Изгоев-Ланде А.С. Арестован, высылается, на свободе для ликвидации дел...

9. Замятин Е.И. Арестован, высылка отсрочена впредь до особого распоряжения (постановление комиссии т. Дзержинского от 31/8 с.г.).

11

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)  
ОБ УСИЛЕНИИ РЕПРЕССИЙ  
ПРОТИВ МЕНЬШЕВИКОВ

14 декабря 1922 г.

[Строго] секретно  
О меньшевиках  
(т. Уншлихт)

а) Принять предложение т. Уншлихта, внеся в него следующие поправки:

п. 1 заменить следующим: «Вменить ГПУ в обязанность в своей практической работе рассматривать те меньшевистские элементы, которые стоят на позиции новой платформы, формулированной в «Социалистическом вестнике», как элементы контрреволюционные и нелегальные....»

б) Поручить Секретариату разослать [членам Политбюро] № 1 альманаха «Литературная мысль», в котором напечатана драма Замятина.

Если никто из членов Политбюро не потребует пересмотра вопроса к следующему заседанию Политбюро, Замятина выслать.

Секретарь ЦК

Е. ЗАМЯТИН. В УПРАВЛЕНИЕ  
ДЕЛАМИ СНК И СТО

*Секретариату по приему  
заявлений и жалоб*

Настоящее письмо является ответом на предложение Секретариата (от 11/Х с. г. № С 3/76 — 1) дать список моих литературных работ и рецензий о них пр.

<...> С 1911 года — в печати появилось до 50 названий моих повестей, рассказов и пьес — не считая статей по вопросам искусства. Произведения мои переводились на немецкий, французский, английский, испанский, чешский, польский, японский, хорватский языки. В моем распоряжении имеется до 300 рецензий. <...>

Большая часть моих работ вошла в 4 тома моего Собрания Сочинений, вышедших зимой 1928 — 29 г. в издательстве «Федерация»; предполагавшийся в этом же издательстве выпуск 5-го тома <...> не может быть осуществлен в результате кампании, поднятой против меня за последнее время. <... >

Из недавних критических статей можно упомянуть о статье Н. Замошкина («Личное и безличное» — «Новый мир», III, 1929), дающей анализ последней моей повести «Наводнение» (напечатанной в альманахе ЗИФа № 4, 1929). <...> Едва только была опубликована эта повесть, как журнал «На лит. посту» (передовица в № 7, 1929) обрушился на издательство ЗИФ за самый факт ее напечатания; каково содержание повести — неважно, важно другое: «В альманахе ЗИФа появляются произведения такого писателя, как Евг. Замятин. Не хватает только Булгакова и Сергеева-Ценского», — негодует редакция «На лит. посту». Если для советского издания оказалось непозволительным напечатание такой работы, как «Наводнение», если так ставится вопрос до последней газетной кампании — ясно, чего я могу ждать в дальнейшем. Это станет еще яснее, если я упомяну о тех нападках, каким подвергалось изд-во «Федерация» за то, что оно осмелилось вы-

пустить 4 тома моих сочинений («Комс. правда», статья «Как работает Федерация Сов. Пис.», 7/X, 1929 и др.).

С помощью каких приемов организовывалась иногда газетная кампания против некоторых моих работ, может показать хотя бы история небольшого моего рассказа «Слово предоставляется т. Чурыгану» (т. IV, Собр. соч. изд-ва «Федерация»). <...> Действие происходит в самом начале Февральской революции (анекдотический сюжет рассказа построен на своеобразном преломлении убийства Распутина в сознании неграмотного деревенского парня). И все же не кто-нибудь, а В. Фриче, и не где-нибудь, а в московской «Правде» (8/VIII, 1927) не постеснялся написать, что Замятин в этом рассказе «явно издевается над самой октябрьской революцией». С легкой руки Фриче вокруг рассказа создалась целая серия аналогичных отзывов.

<...> Желание во что бы то ни стало отыскать в моих работах «контрреволюцию» не раз приводило рецензентов к приключениям совершенно анекдотическим. В моей коллекции есть, например, статья некоего Левина («Литер. еженедельник», № 20—21, 1923 г. — прилож. к «Ленингр. правде»), где он открывает в моей сказке «Бог» издевательство над революцией в связи с... введением НЭПа; оказывается, НЭП я предвидел еще в 1916 году — ибо сказка «Бог» была напечатана в 1916 г. в журн. «Летопись» (см. т. IV Собр. соч.).

Точно так же в рассказе «Инок Эразм» (т. IV. Собр. соч.), написанном в 1920 году и представляющем собою не что иное, как пародию на «жития», на монастырское сказание, — критик Машбиц-Веров открыл «притчу о помневших (после НЭПа) вождях»: «НЭП Замятин воспринял как исцеление вождей, а с ними и масс, как возвращение к старому... Рассказ этот — мещанская философия революции после НЭПа».

Я привел только наиболее типические случаи: всех не перечислить. С 1921 года — я был избран главной мишенью для советской критики. С этого года рецензия обо мне — это преимущественно словарь крепких слов, начинающая от «классового врага», «кулака», «мещанина», «махрового реакционера», «зубра» — вплоть до... шпиона, како-

вым меня недавно объявил М. Кольцов («Чудак», № 35, X—1929).

Из коллективных отзывов о моих работах — мне известен только один, закреплённый документально: это — отзыв представителей ленинградских заводов о моей пьесе «Аттила». <...>

Именно эта пьеса — «Аттила», получившая самую положительную оценку рабочей общественности, разрешённая Главреперткомом и уже срететированная в театре — была запрещена к постановке Ленинградским Облитом.

Опираясь на заключённый с театром договор о постановке пьесы, я пробовал обратиться к советскому суду — чтобы таким путем добиться реабилитации пьесы. Четыре разных состава ленингр. суда (Окружного и Областного) читали пьесу и на судебных заседаниях выражали недоумение по поводу мотивов ее запрета; четыре разных состава суда вынесли решения в пользу автора, несмотря на выступления в суде представителей Облита; при последнем слушании дела присутствовал Прокурор, безоговорочно ставший на сторону автора. А затем оказалось достаточным какого-то нажима со стороны, чтобы все четыре решения суда были зачеркнуты по протесту Председателя ленингр. обл. суда (Озолина). Это, компрометирующее Советский суд, заключение дела было опротестовано Прокурором Республики — и, несмотря на это, все же было утверждено определением (от 6 октября с. г.) Касс. Коллегии Верх. суда. <...>

Кроме пьесы «Аттила» цензурой не был пропущен также мой роман «Мы». <...> О романе «Мы» Воронский в упомянутой выше статье («Кр. Новь», VI, 1923) между прочим говорит: «Замятин написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государственному, бисмарковскому, реакционному социализму... Как будто чувствуя, что не все в романе на месте, Замятин вкладывает в уста своей героини слова... что герои двухсотлетней войны (читай — большевики) были правы, так как разрушали старое. Их ошибка в одном: они решили потом, что они последнее число, а такового нет, т. е. из разрушителей они сделались консерваторами... На каком основании художник находит своевременным бороться с «коммунистиче-



ским консерватизмом», оставляя последнее время в тени другой, старый мир?»

Эта цитата <...> открывает и одну из причин отношения ко мне официальной прессы: я никогда не боялся критиковать то, что мне казалось консервативным в нашей современности. Критиковать «старый мир» сейчас, живя в Советской России, — очень удобно и выгодно, этим занимаются многие — и именно потому я не занимаюсь этим. Я предпочитал заниматься этим тогда, когда это было менее удобно — в царское время: тогда мне приходилось сталкиваться с царской цензурой и царским судом.

То, что я никогда не скрывал своего отношения к почти повальному литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию, — это, мне кажется, является второй причиной травли. Посвященные именно этому вопросу две моих статьи — «Я боюсь» (журн. «Дом искусств», I, 1920) и «О сегодняшнем и современном» (журн. «Русский современник», II, 1924) — вызвали особенные нападки, первая из них едва ли не была исходным пунктом всей восьмилетней газетно-журнальной кампании против меня.

Особенности моего литературного зрения, свойственная мне, как писателю, сатирическая установка, может быть, даже неуменье изображать положительные типы — это еще одна из причин создавшегося ко мне отношения.

Возможно, наконец, это отношение усугубляется и тем, что во время революции 1905 года и позже — я был большевиком, отбывал соответствующую тюремную повинность, был выслан (в 1911 г.), был привлечен к суду за антимилитаристскую повесть («На куличках», судебное дело — с 1914 по 1917 г.).

Весь изложенный материал я даю здесь именно потому, что получил об этом запрос от Секретариата. Я отнюдь не имел и не имею в виду обременять Председателя Совнаркома жалобами на травлю по моему адресу в советской печати. Об этой травле в своем письме от 30/IX был вынужден упомянуть для того, чтобы объяснить один из основных мотивов, заставивших меня обратиться к А. И. Рыкову с просьбой о разрешении мне выезда за границу.

Иного выхода из создавшегося для меня положения я не вижу, и сейчас это для меня еще яснее, чем три недели назад.

Резолюции московских и ленинградских правлений Союза Писателей, принятых — будем говорить прямо — под давлением со стороны — требуют от меня «отказа от идей», девять лет назад выраженных в романе «Мы» («Лит. газ», от 14/X с. г., п. 2 Ленингр. резолюции и п. 3 Московской). Таких нелепых требований никто не пытался предъявлять к писателю даже в царское время. То, что сделано, что существует, — объявить несуществующим я не могу.

О последствиях — я предупрежден все той же «Лит. газетой» (№ от 14/X): «Если Е. Замятин не станет высокомерно упорствовать в своих ошибках, то будут разорваны последние нити, связывающие его с советской общественностью... Е. Замятин должен понять ту простую мысль, что страна строящегося социализма вполне может обойтись без такого писателя».

Эту простую мысль — я понял. Я понял, что на время, пока не изменятся утвердившиеся у нас взгляды на литературу или не изменюсь я, — Советской России и советской литературе я не нужен.

Совершенно ясно, что при создавшемся положении продолжать оставаться здесь — для меня означает литературную смерть, молчание. Мне думается, что смертного приговора я все-таки не заслужил, и кое-что — хотя бы в моем прошлом — дает основания этот приговор смягчить. И потому я еще раз обращаюсь с настоятельной просьбой: разрешить мне, вместе с женой, выезд за границу на один год. Политической деятельностью я заниматься не собираюсь — я хочу только продолжать свою жизнь как художник слова. И если обстоятельствами я приведен к временной невозможности быть русским писателем и писать о России — быть может, мне удастся (как это удалось поляку Джозефу Конраду) стать на время писателем английским <...>, а писать по-английски мне немного труднее, чем по-русски.

Я знаю, что Республика вынуждена сейчас быть очень экономной в вопросе о выдаче валюты едущим за границу. Если это может задержать выдачу мне разрешения на

выезд (других мотивов я не вижу) — я готов отказаться даже от установленной правилами валютной нормы, так как авторский гонорар от предстоящей (в Нью-Йорке) постановки моей пьесы «Блоха» на английском языке — на первое время даст мне средства к существованию.

Я убедительно прошу по возможности ускорить ответ на мою просьбу и о результатах сообщить мне по прилагаемому адресу.

*Евг. Замятин*

*Ленинград, ул. Янковского, 29, кв. 16.*

13

## ПИСЬМО Е.И. ЗАМЯТИНА И.В. СТАЛИНУ

*Июнь 1931 г.*

Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3—4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападков. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать, — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме, поставленный в одной из моих статей

(журн[ал] «Дом искусств», № 1, 1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта — так критика сделала из меня черта советской литературы. Плюнуть на черта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дявольский замысел. Чтобы отыскать его — меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» — еще в 1916 году, — некий критик умудрился найти... «издательство над революцией в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи — уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства «Академия» я проредактировал комедию Шеридана «Школа злословия» и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть — и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя, — разрешено было печатать и статью, и даже мое криминальное имя.

Этот факт приведен здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнаженном, так сказать — химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь еще один факт, связанный уже [не] с случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса — трагедия «Аттила» — заставит, наконец, замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мра-

кобеса. Для такой уверенности я как будто имел все основания. Пьеса была прочитана на заседании Художественного совета Ленинградского Большого Драматического Театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов — и вот выдержки из их отзывов (цитируются по протоколу заседания от 15-го мая 1928 г.).

Представитель фабрики им. Володарского: «Это — пьеса современного автора, трактующего тему классовой борьбы в древние века, созвучную современности... Идеологически вполне приемлема... Пьеса производит сильное впечатление и уничтожает упрек, брошенный современной драматургии, что она не дает хороших пьес...» Представитель завода им. Ленина, отмечая революционный характер пьесы, находит, что «пьеса по своей художественной ценности напоминает шекспировские произведения... Пьеса трагическая, чрезвычайно насыщена действием и будет очень увлекать зрителя».

Представитель Гидромеханического завода считает «все моменты в пьесе весьма сильными и захватывающими» и рекомендует приурочить ее постановку к юбилею театра.

Пусть насчет Шекспира товарищи рабочие хватили через край, но во всяком случае о той же пьесе М. Горький писал, что считает ее «высокоценной и литературно, и общественно» и что «героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней». Пьеса была принята к постановке театром, была разрешена Главреперткомом, а затем... показана рабочему зрителю, давшему ей такую оценку? Нет: затем пьеса, уже наполовину срепетированная театром, уже объявленная на афишах, — была запрещена по настоянию ленинградского Облита.

Гибель моей трагедии «Аттила» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом» Пильняка. Для истребления чёрта, разумеется, допустима любая подтасовка — и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году, — был подан рядом с «Красным деревом» как моя

последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая во МХАТе 2-м четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в издательстве «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и «Федерация», и «Земля и фабрика», и особенно — «Изд[ательст]во писателей в Ленинграде». Это последнее изд[ательст]во еще целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей, в том числе и коммунистов. Весной этого года ленинградский] отд[ел] РАППа добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Литературная газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: «...издательство надо сохранить, но не для Замятиных». Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор этому автору был опубликован.

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если ж я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хоть бы на год, выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании

надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.

Я знаю, мне очень нелегко будет за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу — об этом достаточно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде — меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорен к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься — хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я буду приведен к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем — может быть мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более, что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает, главным образом, для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню еще одно другое имя: Б. Пильняка. Как и я, ампула черта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?

Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах, более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) — мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две моих пьесы, переведенных на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей», уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес, вдобавок, дает мне возможность не обременять Наркомфин просьбой о выдаче мне валюты. Все эти мотивы — налицо: но я не хочу

скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу — является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь.

Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие, обратившиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.

*Е. Замятин*

14

ИЗ СПЕЦЗАПИСКИ ОГПУ  
«ОБ ОТКЛИКАХ ПИСАТЕЛЕЙ  
НА ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СЫНУ  
ПИСАТЕЛЯ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА»

*Март 1932 г.*

... выяснилось, что отдельные литераторы, отмечая необычайный эффект имевших место тех или иных обращений писателей с просьбами к т. Сталину (отъезд Замятина за границу, история с Булгаковым и т.д.), сами намереваются обратиться к последнему с некоторыми прошениями. Литераторы Эйхенбаум, Н. Радлов, Зоценко предполагают обратиться персонально к т. Сталину за разрешением выехать за границу. Детский писатель К. Чуковский, которого, в связи со статьями Крупской, более не печатают, — за разрешением печататься, писатель Тынянов — с просьбой повлиять на критику с тем, чтобы последняя прекратила бы травлю его и т.д.

В связи с отмеченными разговорами передавалась, между прочим, версия, что писатель Пильняк письмом к т. Сталину добился прекращения начатой против него травли и напечатания в [центральном] о[ргане] «Правде» извинительного письма, а также разрешения на новую поездку за границу.



15

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОРГКОМИТЕТА  
ССП СССР П.Ф. ЮДИНА И.В. СТАЛИНУ  
О ПРОСЬБЕ ПИСАТЕЛЯ Е.И. ЗАМЯТИНА  
О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

14 июня 1934 г.

Тов. Сталину.

Писатель Замятин прислал из Парижа в Ленинградский Оргкомитет заявление (телеграмму) с просьбой принять его в члены Союза советских писателей.

Заявление Замятина вызвало сильную поддержку и удовлетворенность этим поступком у беспартийных писателей Конст. Федина, Ал. Толстого, Н. Тихонова, М. Слонимского, Б. Пастернака и др.

Поскольку прием Замятина в члены союза связан с вопросами, выходящими за пределы союза писателей, прошу Ваших указаний.

Секретарь Оргкомитета писателей

*П. Юдин*

Предлагаю удовлетворить просьбу Замятина.

**И. СТАЛИН**

## Сюжет первый

### «МОЕ ИМЯ ВАМ, ВЕРОЯТНО, ИЗВЕСТНО...»

Это начальная фраза письма Замятина Сталину (*документ № 13*) — того самого, результатом которого стало неслыханное в те времена разрешение писателю свободно покинуть СССР, уехав, как теперь говорят, на ПМЖ (постоянное место жительства) в Париж.

Слово «вероятно» было тут не более, чем знаком вежливости (скромности). На самом деле Замятин был уверен, что имя его Сталину, конечно же, известно. В этом у него не могло быть ни малейших сомнений. Ведь только что отгремела грандиозная идеологическая кампания, одним из двух главных фигурантов которой был он (вторым был Борис Пильняк), которую Сталин скорее всего сам инициировал, и, уж во всяком случае, санкционировал и одобрил.

Но имя Замятина могло стать — и скорее всего стало — известно Сталину раньше, поскольку он был в числе первых — и главных — кандидатов на высылку за границу представителей старой интеллигенции, объявленных злейшими врагами советской власти. В «Списке антисоветской интеллигенции г. Петрограда» он

фигурировал под № 9, между такими известными пассажирами «философского парохода», как Питирим Сорокин (№1) и о. Сергей Булгаков (№ 11).

Чуть позже мы подробно рассмотрим все перипетии этого непростого сюжета, пока же отметим только, что, помимо этого списка, а также и других таких же списков, в которых неизменно фигурировало его имя, вопрос о высылке Замятина (так сказать, его «персональное дело») дважды обсуждался на заседаниях высшего органа тогдашней партийной и государственной власти — Политбюро ЦК РКП(б). (*Документ № 9 и документ № 12*).

Так что имя его вполне могло Сталину запомниться еще с тех времен. Память на такие вещи у него, как мы знаем, была хорошая. А тут еще надобно учесть, что именно он, Сталин, непосредственно, так сказать, напрямую занимался высылкой за границу сперва «верхушек враждебных интеллигентских группировок» (документ № 1), а потом, когда дело приняло более широкий размах, уже всех «враждебно настроенных» представителей старой интеллигенции. Не случайно именно к нему, к Сталину, Ленин обратился со своей знаменитой директивой, в которой предлагал «очистить Россию надолго» от всех, кто в той или иной форме обозначил свое неприятие начатого им и его товарищами по партии социального эксперимента.

В конце мая 1922 года Ленин уехал на отдых в подмосковные Горки, где 25—27 мая у него случился первый инсульт. Это, однако, не помешало ему уже 18 июня расспрашивать Крупскую о ходе судебного процесса над эсерами. А 11 июля в Горки — навестить больного Ленина — приехал Сталин. С ним Ленин тоже обсуждал ход судебного процесса над эсерами. И тут, видимо, и возник вопрос о высылке — уже не только эсеров и меньшевиков, а всех, невзирая на их партийную принадлежность.

Нельзя сказать, чтобы идея эта была так уж нова. К тому времени она уже была высказана — и отнюдь не в секретном меморандуме, предназначенном для узкого круга избранных, а в открытой печати.

Ровно за две недели до директивы Ленина Сталину —

2 июня 1922 года — в «Правде» появилась статья Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?».

И патетический этот заголовок, и злобно яростный тон, обозначившийся уже в первых строках этого грозного памфлета давали основания предполагать, что речь в нем пойдет о ком-то из самых коварных и самых опасных противников диктатуры пролетариата. Но, вопреки этим ожиданиям, не то что главным, а прямо-таки единственным объектом ярости наркомвоенмора, разразившегося вдруг этой гневной статьей, стал не Деникин, не Колчак и не Врангель (с ними в то время было уже покончено), а, казалось бы, вполне безобидный, во всяком случае, никакой реальной угрозы для молодой советской республики не представляющий литературный критик Юлий Айхенвальд, вся вина которого состояла в том, что он исповедовал давно разоблаченную марксистскими идеологами «философию чистого искусства»:

- ▶ Мы всегда знали, что философия «чистого» искусства, как и само чистое искусство, есть ложь... Философия чистого искусства и литературная критика, стоящие под этим же знаком, всегда и неизменно обнаруживали ослиные уши реакции. И уши эти отличались в разные периоды только длиной.

У господина Ю. Айхенвальда уши длины непомерной, и первое впечатление от его книги — это удивление: как это в Советской России — даже в момент десятимесячного перемирия с буржуазным миром — нашлись бумага, шрифт и типографские чернила для того, чтобы дать столь полное отражение длинейшим ушам айхенвальдовского чистого искусства. Мы здесь не литературную критику или антикритику собираемся писать. Мы ставим чисто политический вопрос. Или вернее — мы зовем к политическому ответу.

Книжка г. Айхенвальда насквозь пропитана трусливо-пресмыкающейся гнидой, гнойной ненавистью к Октябрю и к России, какой она вышла из Октября. Сей жрец чистого искусства подходит к поэтам и к поэтессам, проще всего, с той бескорыстной эстетической целью, чтобы найти у них чуть-чуть замаскиро-

ванный булыжник, которым можно было бы запустить в глаз или в висок рабочей революции. Если удар неметок, то никак не потому, что не хватает злой воли. Господин Айхенвальд начинает издалека. Мы упомянули об ушах, это дает основание думать, что у него имеются и другие соответствующие атрибуты...

Это философский, эстетический, литературный, религиозный блюдолиз, т.е. мразь и дрянь. Во внутренних борениях трусости с надеждой он и не успел, очевидно, в свое время бежать из пределов «бесславия». Пять лет он накоплял свой гной низверженного приживала. А теперь НЭП открыл шлязы его творчеству. И он осмелел. И он вынес в литературу свои длинные уши, свои эстетические копыта и злобный скрип своих изъеденных пеньков.

Старый мир был «родовит», в этом Айхенвальд подбострастно прав. Но представители, защитники, адвокаты и эстеты старого мира в рабочей республике — безродные псы. В этом великолепно прав Блок. Безродные псы — несмотря на НЭП, на десятимесячное перемирие с буржуазной Европой и на все каннские пункты. Безродные псы!

У диктатуры не нашлось в свое время для подколодного эстета — он не один — свободного удара хотя бы древком копья. Но у нее, у диктатуры, есть в запасе хлыст, и есть зоркость, и есть бдительность. И этим хлыстом пора бы заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому он принадлежит по праву — со всей своей эстетикой и со всей своей религией.

*(«Очистим Россию надолго...» Репрессии против  
инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г.  
М., 2008. Стр. 121—124)*

Как видим, Лев Давыдович не зря почитался ближайшим соратником Владимира Ильича. В этой дышащей гневом статье — тот же, хорошо нам знакомый ленинский дух нетерпимости. Та же брезгливая ненависть к старой русской

интеллигенции. Даже лексика та же. (У Ленина — «не мозг нации, а говно нации». У Троцкого — «пресмыкающаяся гнида», «мразь и дрянь».) И даже вывод тот же — то же, что у Ленина предлагаемое практическое решение:

▶ ТРОЦКИЙ:

... у диктатуры, есть в запасе хлыст... И этим хлыстом пора бы заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому он принадлежит по праву...

▶ ЛЕНИН:

... надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго.

Но тут же видна и разница. И разница эта яснее ясного показывает, что хоть и звучал тогда повсеместно лозунг «Да здравствуют наши мировые вожди, товарищи Ленин и Троцкий!», истинным вождем пролетарской диктатуры был все-таки Ленин. А Троцкий — всего лишь его соратником, хоть и ближайшим.

У Троцкого его предложение пустить в ход хлыст пролетарской диктатуры и, воспользовавшись этим хлыстом, заставить кое-кого «убраться за черту», носит все-таки несколько риторический характер. И направлено оно персонально на Айхенвальда, которому посвящена вся статья.

Иными словами, Троцкий выступает тут как публицист. В лучшем случае — идеолог.

Ленин же тут предстает перед нами как политик. И политик воистину нового типа.

В блеснувшей ему на миг ослепительной идее он сразу увидел возможность решить проблему «инакомыслия» радикально — сразу и навсегда. И сразу же поставил это на реальную, деловую основу:

- ▶ Комиссия под надзором Манцева, Мессинга и др. должна представить списки... Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — выезжайте, господа!

Несколько сот... Без объявления мотивов...

Что говорить! По смелости и беспрецедентности принимаемых им решений Ленин был на десять голов выше всех своих соратников.

24 сентября в «Правде» были напечатаны заметки Сталина — «Товарищ Ленин на отдыхе». В этих заметках он подробно рассказал о двух своих посещениях Ленина после случившегося с ним инсульта — первого, июльского, о котором мы уже знаем, и второго, случившегося месяц спустя:

- ▶ Мне кажется, что не следовало бы писать о «тов. Ленине на отдыхе», когда отдых кончается и тов. Ленин скоро вернется к работе. Кроме того, впечатлений у меня так много и они так ценны, что писать о них в виде маленькой заметки, как этого требует редакция «Правды», не вполне целесообразно. Тем не менее приходится писать, ибо редакция настаивает.

Мне приходилось встречать на фронте старых бойцов, которые, проведя «напролет» несколько суток в непрерывных боях, без отдыха и сна, возвращались потом с боя как тени, падали как скошенные и, проспав «все восемнадцать часов подряд», вставали после отдыха, свежие для новых боев, без которых они «жить не могут». Тов. Ленин во время моего свидания с ним в июле, после полуторамесячного перерыва, произвел на меня именно такое впечатление старого бойца, успевшего отдохнуть после изнурительных непрерывных боев и освежившего после отдыха. Свежий и обновленный, но со следами усталости, переутомления.

«Мне нельзя читать газеты, — иронически замечает тов. Ленин, — нельзя говорить о политике, я старательно обхожу каждый клочок, валяющийся на столе, боясь, как бы он не оказался с газетой и как бы не вышло из этого нарушения дисциплины».

Я хохочу и превозношу до небес дисциплинированность тов. Ленина. Тут же смеемся над врачами, которые не могут понять, что профессиональным полити-

кам, получившим свидание, нельзя не говорить о политике.

Поражает в тов. Ленине жадность к вопросам и рвение, непреодолимое рвение к работе. Видно, что изголодался. Процесс эсеров, Генуя и виды на урожай, промышленность и финансы — все эти вопросы мелькают один за другим...

Совершенно другую картину застал я спустя месяц. На этот раз тов. Ленин окружен грудой книг и газет (ему разрешили читать и говорить о политике без ограничения). Нет больше следов усталости, переутомления. Нет признаков нервного рвения к работе — прошел голод. Спокойствие и уверенность вернулись к нему полностью... Зато и беседа наша на этот раз носит более оживленный характер.

Внутреннее положение... Урожай... Состояние промышленности... Курс рубля... Бюджет... Внешнее положение... Антанта... Поведение Франции... Англия и Германия... Роль Америки...

*(«Очистим Россию надолго...» Репрессии против  
инакомыслящих Конец 1921 — начало 1923 г.  
М., 2008. Стр. 343—344)*

В этом перечне обсуждаемых политических тем и сюжетов вопрос о высылке за границу нескольких сот строптивых интеллигентов не значит. Из этого, разумеется, не следует, что вопрос этот не обсуждался: как-никак — дело секретное, для гласного обсуждения на страницах «Правды» не предназначенное.

На самом деле этот вопрос для Ленина был — из числа первостепенных. Недаром же он озадачил Сталина этой проблемой еще в июле, когда размышлять и говорить о политике ему было запрещено.

Ну, а теперь, когда запрет снят, он не выпускает этот вопрос из поля своего зрения, постоянно к нему возвращается, хочет знать поименно, кто арестован, кто уже выслан, а кто еще нет, хочет во всех подробностях знать, в каком положении находится дело сейчас, в данную минуту:



- ▶ ЗАПИСКА В.И. ЛЕНИНА И.С. УНШЛИХТУ  
С ПРОСЬБОЙ СООБЩИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ВЫСЫЛКИ

17 сентября 1922 г.

г. Уншлихт!

Будьте добры распорядиться вернуть мне все приложенные бумаги с *заметками*, кто выслан, кто сидит, кто (и почему) избавлен от высылки?..

Ваш ЛЕНИН

- ▶ ЗАПИСКА Г.Г. ЯГОДЫ В.И. ЛЕНИНУ  
С ПРИЛОЖЕНИЕМ СПИСКА ВЫСЫЛАЕМЫХ  
И УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСЫЛКИ

18 сентября 1922 г.

23 час. 45 мин.

Тов. В.И. Ленину

Согласно Вашего распоряжения посылаю обратно присланные Вами списки с соответствующими пометками на них, с фамилиями лиц (выделенных отдельно), кои оставлены по тем или иным причинам в Москве и Питере.

С коммунистическим приветом

Г. ЯГОДА

P.S.

Первая партия уезжает из Москвы 22 сентября (пятница)

(Там же. Стр. 345)

В этой записке Ягоды есть одна курьезная деталь. На всех документах такого рода обычно ставится дата: день, месяц, год. Здесь же указан не только день, но и точное время отправления «Записки» и прилагаемых списков: 23 часа 45 минут. Что это? Знак особого значения, которое имеют для Ленина затребованные им документы? Или просто подчеркиваемая дотошность исполнительного чиновника?

Скорее, наверно, все-таки последнее. Не собирався же Ленин лично, да еще точно — по минутам — осуществлять непосредственное руководство задуманной операцией.

Практическое выполнение этой задачи он поручил Сталину. (Знал, кому что поручать.) А может быть, Сталину просто полагалось этим заниматься — по его должности генсека.

Так или иначе, все списки, доклады, рапорты и жалобы, имеющие отношение к этой теме, направлялись именно ему. (См.: Документ № 4, документ № 6, документ № 8.)

Как я уже не раз отмечал, память у Сталина была хорошая. Но из этого, разумеется, еще не следует, что он поименно запомнил каждого, попавшего в представлявшиеся ему проскрипционные списки. Но чтобы выделить в этих списках, отметить и запомнить Замятина, у него были особые, дополнительные причины.

Причин этих было по меньшей мере две.

Первая заключалась в том, что Е.И. Замятин был в этих списках единственным писателем. (К писателям у Сталина, как мы знаем, был особый интерес). А вторая, — быть может, даже главная, — состояла в том, что судьба Замятина тогда решилась не сразу, а после множества самых разнообразных и причудливых колебаний, да и решилась в конце концов не по шаблону — не так, как у всех, взятых по этому «делу».

Слово «дело» я взял в кавычки, потому что никакого «дела» ведь, в сущности, не было. Не было, — в отличие от только что отшумевшего процесса эсеров и всех последующих советских политических процессов, — даже попытки сотряпать какое-никакое дело.

Но Замятин и тут был в особом положении.

В отношении него такое «дело» чуть было не возникло.

\* \* \*

У советской власти Замятин был под подозрением с первых лет ее существования. Несмотря на то, что до революции он был большевиком. А может быть, как раз именно поэтому.

Впрочем, в 1919 году, когда он впервые был арестован

органами «пролетарской диктатуры», большевиком он уже не был. (Он им уже не был и в 17-м).

Арестовали его 15 февраля 1919 года по подозрению в принадлежности к партии левых эсеров. (По той же причине в тот же день, вечером 15 февраля 1919 года по ордеру Петроградской Чрезвычайной Комиссии был арестован А.А. Блок. И кажется, в тот же день — или днем позже — Ремизов и Иванов-Разумник.)

### ► ПРОТОКОЛ

На основании ордера Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-революцией и спекуляцией при Союзе Коммун Северной области, за № 5809, от 15 февраля 1919 года, произведен обыск в доме № 19, кв. № 4, по ул. Карповка в кв. у гр. Замятина Евгения Ивановича.

Указанный гражданин задержан и «взято для доставления в ЧК: разная переписка».

«Все указанное в протоколе удостоверяем: Евг. Замятин». Ниже — подпись Представителя Домового Комитета: Воробьев.

На допросе гражданин Замятин показал:

что он — русский, 35 лет, женат, писатель-беллетрист, преподаватель 1-го СПб Политехнического института.

В настоящее время — ни в какой партии не состоит. Место службы: Комиссариат Народного Просвещения — редактор Издательства Комиссариата Народного Просвещения «Всемирная Литература»; преподаватель 1-го Петроградского Политехнического Института.

Окончил Петроградский Политехнический Институт. В бытность студентом состоял в соц.-демократической партии, во фракции большевиков; работал в Выборгском районе. В 1905 г. был арестован по делу этой же партии. Состоял членом студенческого Совета старост от партии с.-д. большевиков.

С 1910 года — начал писать повести и рассказы. С 1913 года, по напечатании повести «Уездное» и

«На куличках» (запрещенной цензурой за сообщение «ложных сведений» об армии) — главным образом занимаюсь худож. литературой. Состоял постоянным сотрудником, издававшейся М. Горьким газеты «Новая жизнь» и журнала А.М. Горького «Летопись», как писателя, смею думать, известного — меня хорошо знает А.М. Горький, с которым меня связывают дружеские и деловые отношения (из-во «Всемирная Литература»).

На вопрос о принадлежности к партии левых эсеров — могу только, конечно, ответить — нет; как у видного писателя-художника, которого знает весь литературный Петербург, — у меня могли быть и встречи с левыми эсерами из литераторов, при таких встречах, если они бывали, меня интересовала литературная физиономия того или иного лица, а не его партийная принадлежность, каковой я никогда не интересовался.

В настоящее время, когда я — по указанию того же Горького и целого ряда критиков — пришел к выводу, что моим призванием является именно художественная литература, — в настоящее время ни к политике, ни к политическим партиям отношения не имею и поэтому производством обыска и ареста весьма удивлен.

*Евг. Замятин*

## ► ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Чрезв. Ком. при С.К.С.О. постановила Замятина Евгения Ивановича освободить, дело о нем прекратить и сдать в архив.

Член През. Дежур. Следов. 15. 11. 19 г.

*(Григорий Файман. «И всадили его в темницу...».*  
*Новое о Замятине. Сборник материалов под*  
*редакцией Леонида Геллера. М., 1997. Стр. 79—80)*

Итак, это было чистейшей воды недоразумение, которое тут же и разъяснилось.

На самом деле, однако, все было не так просто. На самом

деле, заинтересовавшись писателем Замятиним, чекисты проявили настоящее охотничье чутье. И дело тут не в том, перестал или не перестал Замятин считать себя большевиком, был или не был он левым эсером. Истинной причиной его ареста могло — и должно было — стать то, что он был **революционером**. А власть, которую призвана была защищать и охранять «Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контр-революцией», на самом деле была властью **контрреволюционной**.

Ленин не зря не любил интеллигенцию.

— Вот, получил от интеллигенции пулю в подарок, — сказал он Горькому.

Он знал, от кого получил в подарок эту пулю. А главное, — хорошо знал, **за что**. Об этом однажды — в минуту откровенности — рассказал Бухарин:

- ▶ В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе. У меня в кармане пальто была бутылка хорошего вина, и мы (следовало перечисление) долго сидели за столом. Под утро Ильич попросил повторить что-то из рассказанного о разгоне Учредилки и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.

Мы не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем.

*(Камил Икрамов. Дело моего отца.  
М., 1991. Стр. 162)*

Сам-то Владимир Ильич, конечно, считал себя революционером. И разгон Учредительного собрания тоже, наверно, считал сугубо революционным актом. Но на деле вышло иначе, и теперь уже мало кто сомневается в том, что захват власти большевиками был не революцией, а — **контрреволюцией**.

Примерно так, вероятно, смотрели на это дело и эсеры — как левые, в принадлежности к которым чекисты за-

подозрили Замятина, так и правые, от которых Ленин получил пулю в подарок.

Но Замятин видел эту ситуацию иначе. И революционером он был не потому, что принадлежал к какой-нибудь из тогдашних подлинно революционных (в отличие от ставших контрреволюционерами большевиков) политических партий (он действительно не принадлежал ни к одной), а совсем по другой причине:

- ▶ Революция — всюду, во всем; она бесконечна, последней революции — нет, нет последнего числа. Революция социальная — только одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, а неизмеримо больше — космический, универсальный... — такой же, как закон сохранения энергии; вырождения энергии (энтропии)...

Багров, огнен, смертелен закон революции; но это смерть — для зачатия новой жизни, звезды. И холоден, синь, как лед, как ледяные межпланетные бесконечности — закон энтропии. Пламя из багрового становится розовым, ровным, теплым, не смертельным, а комфортабельным; солнце стареет в планету, удобную для шоссе, магазинов, постелей, проституток, тюрем: это — закон. И чтобы снова зажечь молодостью планету — нужно зажечь ее, нужно столкнуть ее с плавного шоссе эволюции: это — закон.

Пусть пламя остынет завтра, послезавтра (в книге бытия — дни равняются годам, векам). Но кто-то должен видеть это уже сегодня и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретики — единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли.

Когда пламенно-кипящая сфера (в науке, религии, социальной жизни, искусстве) остывает, огненная магма покрывается догмой — твердой, окостенелой, неподвижной корой. Догматизация в науке, религии, социальной жизни, искусстве — энтропия мысли; догматизированное — уже не сжигает, оно — греет, оно — тепло, оно — прохладно. Вместо нагорной проповеди, под палящим солнцем, над воздетыми руками и рыда-

ниями — Дремотная молитва в благолепном аббатстве; вместо трагического Галилеева «А все-таки она вертится» — спокойные вычисления в теплом пулковском кабинете. На Галилеях эпигоны медленно, полипно, кораллово строят свое: путь эволюции. Пока новая ересь не взорвет кору догмы и все возведенные на ней прочнейшие, каменнейшие постройки.

Взрывы — малоудобная вещь. И потому взрывателей, еретиков, справедливо истребляют огнем, топором, словом. Для всякого сегодня, для всякой эволюции, для трудной, медленной, полезной, полезнейшей, созидательной, коралловой работы — еретики вредны: они нерасчетливо, глупо вскакивают в сегодня из завтра, они — романтики. Бабефу в 1797 году справедливо отрубили голову: он заскочил в 1797 год, перепрыгнув через полтора года. Справедливо рубят голову еретической, посягающей на догмы, литературе: эта литература — вредна.

Но вредная литература полезнее полезной: потому что она — антиэнтропийна, она — средство для борьбы с обызвествлением, склерозом, корой, мхом, покоем. Она утопична, нелепа — как Бабеф в 1797 году: она права через полтора года.

(Е. Замятин. *О литературе, революции, энтропии и о прочем*. В кн.: Евгений Замятин. *Я боюсь*. М., 1999. Стр. 95—97)

Эту теорию, разумеется, можно — и даже нетрудно — оспорить. Но я привел здесь эту длинную выписку из концептуальной замятинской статьи не для того, чтобы согласиться с ней или, напротив, ее отвергнуть, а только лишь для того, чтобы стало ясно, почему такая власть, в какую с первых же своих шагов превратилась так называемая «Власть Советов», не могла — раньше или позже — не увидеть в таком писателе, как Замятин, несомненного своего врага.

Второй арест Замятина — в июле 1922 года — тоже кажется чистым недоразумением. В особенности, если вспомнить, что в политическом обосновании ареста он характери-

зуются, как «скрытый заядлый белогвардеец» (документ № 5), каковым Замятин, разумеется, никогда не был.

Но дурацкую эту характеристику можно во внимание не принимать, поскольку сочинял ее, наверно, какой-нибудь не шибко грамотный чекист, твердо усвоивший, что — «кто не с нами, тот против нас», а все, кто «против нас», само собой, — белогвардейцы.

Нет, эта характеристика нас не удивляет.

Удивляет другое: то, что не так уж сильно от нее отличается другая (политическая и художественная) характеристика писателя Замятина, принадлежащая человеку совсем другого разбора:

- ▶ Есть группа внеоктябрьских молодых беллетристов и поэтов. Не уверен в точности, насколько эти молодые молоды, но в предреволюционную и предвоенную эпоху они, во всяком случае, либо были начинающими, либо вовсе еще не начинали. Пишут они рассказы, повести, стихи, в которых с известным не очень индивидуальным мастерством изображают то, что полагалось не так давно, чтобы получить признание в тех пределах, в каких полагалось. Революция растоптала их надежды («гвоздевый сапог!»). По мере сил они притворяются, что ничего такого, в сущности, не было, и выражают это свое подшибленное высокомерие в не очень индивидуальных стихах и в прозе. Только время от времени они отводят душу показыванием небольшого и нетемпераментного кукиша в кармане.

Для всей этой группы мэтром является Замятин, художник «Островитян». Дело у него идет, собственно, об англичанах. Замятин знает их и изображает в ряде очерков неплохо, но в конце концов довольно внешне, как наблюдательный, даровитый и не очень к себе требовательный иностранец. Но под той же обложкой у него очерки о русских островитянах, об интеллигентах, которые живут на острове в чуждом и враждебном им океане советской действительности. В этих своих очерках Замятин потоньше, но не глубже. В конце концов автор сам островной человек, и притом с



маленького островка, куда он эмигрировал из нынешней России. И пишет ли Замятин о русских в Лондоне или об англичанах в Петрограде, сам он остается несомненным внутренним эмигрантом. По своему подтянутому стилю, в котором выражается особое писательское джентльменство (на границе снобизма), Замятин как бы создан для учительствования в кружках молодых, просвещенных и бесплодных островитян.

(Л. Троцкий. *Литература и революция*.  
М., 1991. Стр. 38—39)

«Внутренний эмигрант» — это, конечно, не вполне то же, что «заядлый белогвардеец». Но — близко. Очень близко.

А далее — в том же очерке, из которого взят процитированный фрагмент (он принадлежит к циклу литературных статей и заметок, который Лев Давыдович печатал в «Правде» тем же летом 1922 года) — эта характеристика уже не только вплотную приближается к чекистской справке на арест «белогвардейца» Замятина, но по смыслу уже прямо с нею сливается:

- ▶ Катастрофа, личная, как и общественная, всегда большая проверка, ибо необманно обнаруживает подлинные, а не показные связи, личные и общественные. Именно через Октябрь дооктябрьское искусство, которое стало почти сплошь противооктябрьским, обнаружило свою неразрывную связь с господствующими классами старой России... В эмиграцию ушел помещик, капиталист, военный и штатский генерал, их адвокат и их поэт... Конечно, поэт считал себя независимым от буржуа и даже вступал с ним в пререкание. Но когда вопрос оказался поставлен с революционной серьезностью, то поэт сразу обнаружил себя приживальщиком до мозга костей. Этот исторический урок по части «свободного» искусства развернулся параллельно с уроком по части всех других «свобод» демократии — той самой, которая подметала и подтирала за Юденичем...

Психология приживальства и содержанства вовсе не равнозначна покорности, учтивости и почтительности. Наоборот, она предполагает весьма резкие сцены, взрывы, расхождения, угрозы полным разрывом — но только угрозы. Фома Фомич Опискин, классический тип старого дворянского приживальщика «с психологией», почти всегда находился в состоянии домашнего восстания. Но дальше гумна, помнится, не уходил. Это очень грубо, конечно, во всяком случае неучтиво сопоставлять Опискина с академиками и почти классиками: Буниным, Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Н. Котляревским, Зайцевым, Замятиным и пр. Но из исторической песни слова не выкинешь. Обнаружились приживальщиками и содержанцами.

*(Там же. Стр. 48—49)*

Вот в какую компанию у Троцкого попал Замятин. Он оказался тут рядом — бок о бок — не только с «внутренним эмигрантом» Айхенвальдом, которому Лев Давыдович, как мы помним, предлагал «убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому он принадлежит по праву», но и с эмигрантами внешними — Буниным, Мережковским, Зинаидой Гиппиус. И даже — с генералом Юденичем!

Этими двумя фрагментами интерес Троцкого к фигуре Замятина не ограничивается.

В сентябре того же 1922 года он обратился к А.К. Воронскому с такой как будто неожиданной просьбой:

▶ ЗАПИСКА ТРОЦКОГО ВОРОНСКОМУ  
И ГОРОДЕЦКОМУ

*10 сентября 1922 г.*

Лично  
т. Воронскому.  
Т. Городецкому.

Уважаемый товарищ.  
Не сможете ли Вы дать мне справку по следующим вопросам:

1. Верно ли, что «Дон Аминадо», автор «Сына без отечества», — Иван Бунин?

2. К какой группировке принадлежит О. Манделштам, Лидин и каково их отношение к Замятину?

3. Что это за группа — Островитяне, Тихонов, Алпатьев и пр.? Каково их идейное происхождение? Куда они сейчас устремляются?

С тов. приветом

ТРОЦКИЙ

Воронский не замедлил с ответом:

11 сентября 1922 г.

Тов. Троцкий!

Отвечаю на Ваши вопросы:

1) Настоящая фамилия Дон-Аминадо — ШПОЛЯНСКИЙ. Раньше сотрудничал в «Сатириконе» и других изданиях. Никакого отношения этот псевдоним к Ив. Бунину не имеет.

2) О. Манделштам ни к какой группировке сейчас не принадлежит. Начинал с акмеистами. Охотно сотрудничает в Сов. изданиях. Настроен к нам положительно. Пользуется большим весом как хороший знаток стиха, талантлив. Стихи индивидуалистичны. К Замятину никакого отношения не имеет.

3) Лидин — состоит членом правления Всероссийского Союза Писателей. К определенным литературным группировкам тоже не принадлежит. Год тому назад боялся участвовать в Сов. Изданиях. Теперь идет охотно.

В литературных настроениях замечается тоже перелом: советский быт в последних вещах («Ковыль Скифский», «Мышиные будни», — еще не напечатанные) выглядит приемлемо. Раньше писал под Бунина, теперь копирует Пильняка. К Замятину тоже отношения, по-моему, не имеет и, кажется, его не любит.

4) «Островитяне» — небольшое издательство в Петрограде. Ник. Тихонов — серапионовец. Был в красных гусарах. Ему 23 года. Чрезвычайно талантлив

(книга стихов «Орда», поэма о Ленине «Сами» в «Красной Нови»). Об Алпатъеве сведений не имею. Полагаю, что «Островитяне» просто небольшое и не-доходное издательство.

С тов. приветом

А. ВОРОНСКИЙ

11/9-22 г.

*(Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917—1956. Документы. М., 2005. Стр. 59—60)*

Этот обмен записками имел место уже после того, как статья Троцкого, которую я цитировал в связи с Замятиным, была написана. Об этом можно судить по примечанию, которое Л.Д. сделал к своему рассуждению об «Островитянах», у которых Замятин почитается мэтром:

- После того, как это было написано, я познакомился с группой поэтов, которые почему-то сами себя именуют «островитянами» (Тихонов и др.). Но у них-то как раз слышатся живые ноты, по крайней мере у Тихонова, молодого, свежего, обещающего. Откуда же экзотическое наименование?

*(Л. Троцкий. Литература и революция. М., 1991. Стр. 39)*

Из разъяснения Воронского Лев Давыдович узнал, что те «островитяне», где Тихонов, не имеют ничего общего с теми, где мэтром числится Замятин. Тут чуть было не рухнуло все его построение, базирующееся на игре с самим понятием «островитяне». И вот, чтобы избежать полного крушения этой и без того хрупкой конструкции, ему пришлось сделать такое примечание.

Из этого видно, что Лев Давыдович не так уж хорошо ориентировался в расстановке сил на «литературном фронте», как хотел это продемонстрировать. Да и большим эрудитом в делах литературных, каким считался и за какого себя выдавал, тоже не был. (Чего стоит уже один тот факт, что

авторство сатирической поэмы Дона Аминадо готов был приписать Бунину.)

Но для нашей темы в этом контексте особый интерес представляет та роль, какую в этой короткой переписке Троцкий отводит Замятину.

Замятин у него выступает как некая точка отсчета — последняя (крайняя правая) граница некоей идеологической шкалы. Близостью к Замятину — или степенью удаленности от него — характеризуется (должен характеризоваться) каждый из тех, кто представляется ему «чуждым элементом» в современной российской словесности — в данном случае О. Мандельштам и В. Лидин. И ответ на вопрос, который он задает Воронскому («каково их отношение к Замятину?»), нужен ему для того, чтобы определить местоположение этих литераторов в этой самой, выстраиваемой им идеологической шкале.

Каково бы ни было политическое лицо Замятина, но как писатель он — по принятой тогда терминологии — числился попутчиком. Пусть правым, даже крайне правым, но — попутчиком. То есть — одним из тех, кому с нашей революцией **по пути**.

Но на этот счет у Троцкого была своя формула:

- ▶ Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции? Этому вопросу нельзя сейчас, однако, предрешить и в самой приблизительной степени. Разрешение его зависит не только от субъективных свойств того или иного из попутчиков, но главным образом от объективного хода вещей в ближайшее десятилетие.

*(Там же. Стр. 56)*

Но для Замятина, похоже, этот вопрос встал уже сейчас.

Именно сейчас, в 1922 году, наш поезд подошел к той станции, на которой таким господам, как Замятин, может быть, придется сойти. А может быть, и нет? Может быть, на какое-то время можно ему разрешить ехать с нами на нашем поезде и дальше?

Это и предстояло сейчас решить.

Принять окончательное решение по этому вопросу предстояло Сталину. Но — не сейчас, а десять лет спустя.

Сейчас же я хочу объяснить, почему в главе из книги, которая называется «Сталин и писатели», — и сама глава тоже не «Троцкий и Замятин», а «Сталин и Замятин», — я счел нужным так много места уделить Троцкому.

Троцкого Сталин всю жизнь яростно ненавидел и мучительно ему завидовал. Но это не мешало ему, отринув и разоблачив те или иные идеи и концепции Льва Давыдовича, потом, слегка перефразировав и объявив своими собственными, претворить их в реальность.

Так было с лозунгами Троцкого об «огосударствлении профсоюзов», формировании «трудармий» (система сталинских лагерей) и создании тяжелой индустрии за счет эксплуатации крестьянства.

Немало Сталин почерпнул и из кладовой эстетических идей и концепций Льва Давыдовича. (В обильно цитируемой мною здесь книге Троцкого «Литература и революция» мелькнуло даже словцо «низкопоклонство», ставшее потом в идеологическом словаре Сталина одним из ключевых.)

Разница между Сталиным и Троцким — не такая уж маленькая — помимо всего прочего, состоит еще и в том, что Троцкий полагал, что решение того или иного вопроса (например, вопроса о том, кому из попутчиков на какой станции придется сойти), в конечном счете будет зависеть «от объективного хода вещей». Сталин же считал, что зависеть оно должно — и будет — только от него, от его личного волеизъявления. И в соответствии с этим своим убеждением и поступал. Поэтому-то для одних «попутчиков» станция, на которой их решено было сбросить с «нашего паровоза», который все летел и летел вперед («в коммуне остановка»), обозначилась 1934-м, для других 1937-м, для третьих 1946-м годом. Для Замятина этой «станцией» стал год 1932-й.

А тогда, в 1922-м, когда этот вопрос применительно к его судьбе встал впервые, окончательное его решение на некоторое время повисло в воздухе.

\* \* \*

В литературе о Замятине не раз высказывалась и отчасти даже и утвердилась версия, согласно которой решение уезжать или не уезжать ему в 1922 году за границу, Замятин будто бы принял сам. Будто бы даже решение этого вопроса только от него самого и зависело:

- ▶ «Однако на этот раз Замятин выехать отказался», — пишет Чудакова в 1988 году, соглашаясь с мнением Джона Мальмстеда и Лазаря Флейшмана 87 года. Основываясь на других источниках, подтверждает это и Александр Галушкин в 92 году:

«Не-эмиграция была актом свободного выбора, а не результатом запрета или давления», — можем мы повторить вслед за Д. Мальмстедом и Л. Флейшманом...

*(Григорий Файман. «И всадили его в темницу...».*  
*В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов под*  
*редакцией Леонида Геллера. М., 1997. Стр. 78)*

Автор процитированного здесь сообщения с этой версией не соглашается, но оспаривает ее в выражениях крайне осторожных. Вежливо замечает, что она не кажется ему «стопроцентно убедительной».

Его можно понять: уж больно высок научный авторитет авторов приведенных им высказываний.

Но сейчас, после выхода в свет замечательного тома документов, на который я тут уже неоднократно ссылался («Очистим Россию надолго...» *Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г. М., 2008*), мы уже без всякой осторожности, а с полной уверенностью можем утверждать, что все это было не так. Совсем не так.

Не сам Замятин, а весьма высокие инстанции решали в 1922 году, уезжать ему или оставаться. И принятое ими в конце концов либеральное, можно даже сказать, великодушное решение, принято было отнюдь не в соответствии с его намерениями и желаниями, а, как мы в этом еще убедимся, вопреки им.

\* \* \*

Первый список «антисоветской интеллигенции города Петрограда», в котором оказался Замятин, рассматривался 22 июля 1922 года. Это тот самый список, в котором он был назван «заядлым белогвардейцем».

Характеристика его политической физиономии и рекомендация, как с ним надлежит поступить, там была такая:

- ▶ Замятин Е.И. Сотрудник «Летописи» и «Литературных записок». Скрытый заядлый белогвардеец. Он автор нелегальной резолюции, которую он проводил на собрании Дома литераторов, в которой выносилось порицание Андрею Белому за его произведение в защиту Советской России. Выступает в своих литературных произведениях всецело против Советской власти. Он в тесной компании с бежавшим Ремизовым. Ремизов — это определенный враг. Замятин — то же самое. При высылке за границу он сделается опасным лидером. Нужно выслать в Новгород, в Курск, но за границу ни в коем случае.

*(Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД.  
Январь 1922 — декабрь 1936. Документы.  
М., 2003. Стр. 45)*

На самом деле, как мы уже знаем, никаким врагом советской власти Замятин не был. Как, впрочем, и Ремизов, близость с которым тут ставится Замятину едва ли не в главную его вину:

- ▶ После одного вечера в Доме искусств я шел домой вместе с Ремизовым. Засунув пальцы глубоко в рукава, сутулясь, ежась и вздрагивая (мне казалось, что Ремизов вечно дрожал от внутреннего холода), он говорил потихоньку, с лицом юродиво-верующего, будто посвящая меня в потайные свои убеждения.

— Ну, вот и появляются молодые, из медвежьих углов, кто с посада, кто с городища. Я всегда говорил — погодите, придут, откуда никто и не ждет, явятся пре-емствовать, и с полным правом: не инкубаторные и не



гомункулы, а с отцом и матерью — равно и от русской революции, и от русской литературы. Я счастлив, что был прав, что вижу теперь, как вы все рождаетесь, что стою при самом начале, при родах, и что буду кого-нибудь повивать, как бабка. Счастлив, счастлив.

Он касался меня беглым взглядом, мгновенно улавливая, что я верю его словам, и продолжая еще сокровеннее:

— Счастлив, очень счастлив, что всю революцию просидел в Петербурге. Ну, что там они поразъехались, наши писатели, по границам? Что они там видят? С кем живут? Жалко мне их. Взять хоть бы Алексея Толстого. Отказался бы от своего «графа» и жил бы тут. Ведь он это понимает, что не в «графе» дело, а вот поди!.. Пропащие они, эти эмигранты, пропащие...

В то время в литературе из года в год раздавались жалобы, и было привычно слышать поскрипывание зубов, видеть печаль, усталость. Неудивительно, что я обрадовался, когда голос веры излетел из такой хилой оболочки. Особенно убеждало, пожалуй, как раз то, что оптимизм принадлежал человеку болезненному, жалкому своей физической незащитностью. Он мне показался сразу сильнее, больше, внушительнее. Значит, не все плачутся и скрипят зубами, думал я, есть писатели, глубоко соединенные со своей землей, не бегущие от ее судеб. И как хорошо, что эта национальная гордость проявляется в настолько сложном художнике, как Ремизов...

Я был очень рад такому открытию...

Но тут неожиданно разнесся слух, что Ремизов бежал за границу.

В первые дни никто из молодежи не поверил этому. Ждали, что все разъяснится, что он так же вдруг объявится, как исчез, что он уехал куда-нибудь в глушь, в уединение, отдыхать. Зоценко говорил мне, что бегство такого человека в чужие страны было бы противостоестественно, как переселение рыбы на жительство в горы: Ремизов и его уверял, будто бы счастлив, что просидел всю революцию в Петербурге и что эмигран-

ты — пропащие люди. Но прошло еще некоторое время, и сам Ремизов позаботился рассеять сомнения: от него пришли письма из Ревеля, в которых он печалился обо всем покинутом, из множества околичностей выходило, будто он никогда не бежал бы, если бы его не заставили, либо чуть ли не похитили.

*(Конст. Федин. Горький среди нас. М., 1968.  
Стр. 120—122)*

Никто, конечно, бежать на Запад его не заставлял и, тем более, не похищал. Может быть, ему с лихвой хватило тех двух суток в чрезвычайке, куда его «замели» в 1919-м, в один день с Замятиным, Ивановым-Разумником и Блоком. Но уж во всяком случае, не для того бежал он в Париж, чтобы вести оттуда вражескую деятельность против Страны Советов. И Замятин, случись ему тогда оказаться вместе с Ремизовым в Париже, тоже ни при какой погоде не сделался бы «опасным лидером» белоэмигрантов. (Об этом мы можем судить по тому, как он повел себя в 30-е, когда действительно выпало ему там оказаться. Но об этом — позже.)

Ни в малейшей степени не соответствовало действительности и другое обвинение, предъявленное Замятину в той его характеристике: будто бы он «выступает в своих литературных произведениях всецело против Советской власти».

О том, что это полная ерунда, он потом — десять лет спустя — напишет в своем знаменитом письме Сталину:

- ▶ ...в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» — еще в 1916 году — некий критик умудрился найти... «издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи — уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной.

Единственным его «литературным произведением», которое могло дать повод (с точки зрения ОГПУ, конечно) для

обвинения в том, что он выступает в нем «всецело против Советской власти», была на шумевшая его статья «Я боюсь», напечатанная в 1920 году в первом номере журнала «Дом искусств»:

- ▶ Я боюсь, что мы слишком бережно и слишком многое храним из того, что нам досталось в наследство от дворцов. Вот все эти золоченые кресла — да, их надо сберечь: они так грациозны и так нежно лобызают лобное седалище. И пусть бесспорно, что придворные поэты грацией и нежностью похожи на прелестные золоченые кресла. Но не ошибка ли, что институт придворных поэтов мы сохраняем не менее заботливо, чем золоченые кресла? Ведь остались только дворцы, но двора уже нет.

Я боюсь, что мы слишком уж добродушны и что французская революция в разрушении всего придворного была беспощадней...

...презрительным декретом — французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы — своих «юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда скинуть», когда петь сретение царя и когда молот и серп, — мы их преподносим народу как литературу, достойную революции...

Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным... не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло...

...афинский народ — умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы... где нам думать об Аристофане, когда даже невиннейший «Работяга Словотеков» Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого несмышленища — демос российский!..

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое.

*(Евгений Замятин. Я боюсь. М., 1999. Стр. 49—52)*

Конечно, его страшит грядущая судьба русской литературы. Но не в меньшей мере — судьба русской революции!

Таков был этот «контрреволюционер» и «заядлый белогвардеец».

Но поскольку, как мы уже выяснили, большевистский переворот был не революцией, а контрреволюцией, нельзя не признать, что у новых властителей России были совсем не малые основания для того, чтобы считать писателя Замятина своим врагом.

Впрочем, не исключено, что они вполне искренне считали себя революционерами, а Замятина — контрреволюционером. Но это уже — дело десятое.

Итак, 22 июля 1922 года Замятина предлагалось за границу ни в коем случае не высылать, а выслать его куда-нибудь поближе: в Новгород или в Курск.

Но вскоре — 10 августа того же года — Политбюро ЦК РКП(б) утверждает другой список, представленный Л. Камневым, Д. Курским и И. Уншлихтом, в котором в числе высылаемых за границу — рядом с Питиримом Сорокиным, Бердяевым, Изгоевым, С.Н. Булгаковым и другими знаменитыми пассажирами будущего «философского парохода» — числится и Замятин.

А еще две недели спустя — 22 августа — зампред ГПУ Уншлихт направляет Ленину и Сталину еще один, новый список, в котором Замятин — вместе с Изгоевым, Карсавиным и Лосским — фигурирует уже в другой группе — из се-

ми человек, которые «согласно их желания будут отпущены за границу за свой счет».

Перечню этих семи «счастливицев» предшествует список другой группы — из девятнадцати человек, о которых сказано, что «все указанные лица будут высланы за границу под конвоем за счет ГПУ».

Рядом с этой грозной формулировкой («под конвоем») формула «согласно их желания» выглядит проявлением какого-то совсем уж немыслимого либерализма. Может быть, отсюда и возникла версия, согласно которой Замятин будто бы сам, собственным волеизъявлением решал, уезжать ему или оставаться?

На самом деле, однако, эта либеральная формула никакого выбора высылаемым не оставляла. Без конвоя за свой счет или под конвоем и за счет ГПУ — роли не играло. И та и другая мера равно предполагала насильственное выдворение высылаемых за пределы отечества.

Арестован Евгений Иванович был 17 августа. Во всяком случае, именно этим числом помечен протокол первого его допроса.

На допросе он с предъявленными ему обвинениями не согласился, но в «глухую несознанку» не уходил и истинных своих взглядов не скрывал, хотя, быть, может, излагал их и в несколько смягченном виде:

#### ► ПОКАЗАНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА.

1. Мои взгляды на структуру Сов. Власти... Считаю, что в данный момент, когда существующая власть в России, по-моему, совершенно укрепилась, в интересах Советской власти — политика не репрессий, но, главным образом, идейной борьбы.

2. Задача интеллигенции в России — быть мозгом страны, и если он видит «недостатки механизма» — говорить о них.

3. Мое отношение к вопросу об обязанности этого мозга работать: конечно, он должен, невзирая на самые трудные условия, работать для своей страны.

4. Мое отношение к сменовеховцам: это — буржу-

азная группа, которая видит в НЭП'е возвращение, в большей или меньшей степени, к буржуазной государственной организации. Это — очень далеко от социализма.

О савинковцах и их работе, по совести, ничего не знаю; общие впечатления, которые остались в отрывках от чтения газет, — это малочисленная и не играющая никакой роли политическая организация авантюристов-романтиков.

5. Последнее время я в течение шести дней в неделю работал как писатель, как завед. редакцией в отделе Госиздата («Всемирная Литература») — и пять раз в неделю ездил в Политехнический институт читать лекции. На факультетских заседаниях не бывал (я живу в городе, заседания — в Лесном); общественной стороной жизни в высшей школе не интересовался, не хватало времени.

6. Будущее русской эмиграции за границей — трудный вопрос. Скорее всего — все или большая часть, раньше или позже, вернутся в Россию.

Я думаю сейчас об этом вопросе как писатель и считаю, что писатель временно, пока у него еще живут впечатления от Родины — может за границей жить и творить; а затем — ему неминуемо снова прикоснуться к земле и набраться от нее сил.

*Евг. Замятин*

*(Григорий Файман. «И всадили его в темницу...».  
В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера. М., 1997. Стр. 82—83)*

В этих своих ответах Замятин не задирается, не прет на рожон. Формулировки для выражения своих взглядов выбирает сдержанные, даже осторожные. Но при этом он не лукавит, говорит то, что думает. Взять хотя бы ответ на вопрос следователя о его отношении к Советской власти. На первый взгляд он скорее уклончив. В оценку не вдается, предпочитает говорить о том, какой он хотел бы эту власть видеть. В то

же время дает понять, что в принципе Советскую власть он признает.

Тут, правда, невольно вспоминается мрачная шутка Зоценко, так ответившего однажды на вопрос, признает ли он пролетарскую поэзию:

- ▶ ...тут я должен рассказать вот что.

Однажды Куприна спросили — признает ли он правительство.

Да, конечно, он признает правительство. Дождь идет, и вымокло его платье — признает ли он это? Да, признает. Лопнул городской коллектор, и город затопило нечистотами. Может ли он это признать? Да, он совершенно признает это. Он признает правительство.

*(Мих. Зоценко. Конец рыцаря печального образа. В кн.: Неизданный Зоценко. Ardis/Ann Arbor. Стр. 71).*

Примерно так же и Замятин признает Советскую власть.

Ответ на тот же вопрос следователя, зафиксированный в протоколе допроса под пунктом десятым, на первый взгляд кажется совсем уже «идеологически выдержанным». Во всяком случае — вполне лояльным:

- ▶ Считаю, что Советская власть впоследствии может быть одной из наиболее удачных государственных организаций после исправления «маленьких недостатков механизма».

*(Григорий Файман. «И всадили его в темницу...». В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера. Стр. 82)*

Но в основе своей этот ответ ничем не отличается от того, который записан в его «Показаниях по существу дела».

«Впоследствии...», «Может быть...» «После исправления маленьких недостатков...»

Ведь сам факт его ареста и допроса яснее ясного говорит о том, что эти «маленькие недостатки механизма» не только не малы, но в основе своей неискоренимы, поскольку составляют существо этой власти, по самой своей природе неспо-

собной «политику репрессий» заменить «политикой идейной борьбы».

Ответы Замятина на другие вопросы следователя более откровенны. Они совсем уже адекватно выражают истинные его взгляды.

Но наибольший интерес тут представляет его ответ на последний — шестой вопрос: о его отношении к эмиграции.

Совершенно очевидно, что и сам этот вопрос, и ответ, который на него дает Замятин, весьма многозначителен. Речь, в сущности, идет о том, как писатель относится к перспективе его высылки за границу. И он отвечает — прямо и недвусмысленно: что ж, при некоторых обстоятельствах он считает этот вариант вполне для себя приемлемым. Во всяком случае — на время, «пока у него еще живут впечатления от Родины».

Но в открытую о таком варианте развития событий речь еще не идет. Во всяком случае, в принятом на основании этого допроса постановлении о высылке арестованного писателя за границу в нем — ни слова:

#### ► ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я Пом. Уполномоченного 1-го Спец. Отдела... ГПУ рассмотрел дело на гр. Замятина Евгения Ивановича,  
ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь его в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в том, что он, с момента октябрьского переворота и до настоящего времени не только не примирился с существующей в России Рабоче-Крестьянской Властью, но ни на один момент не прекращал своей анти-советской деятельности, при чем в моменты внешних затруднений для РСФСР свою контрреволюционную деятельность усиливал, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 57—1 Уголовного Кодекса РСФСР.

Как меру пресечения, уклонения суда и следствия гр-на Замятина Евгения избрать содержание под стражей.

Нач. Уп. Согласен. Утверждаю. Нач.

(Там же. Стр. 83)



Все эти предъявленные ему обвинения Замятин решительно отверг:

- ▶ Настоящее постановление мне объявлено, прочел, предъявленные обвинения считаю неправильными, ибо все непримирившиеся — уехали за границу, я остался здесь — и работал в Сов. России, как специалист.

*Евг. Замятин*

17.VIII. 1922 г.

*(Там же. Стр. 84)*

И только тут следователь наконец открыл все свои карты. Решение о высылке его за границу было Замятину объявлено в тот же день—17 августа, о чем неопровержимо свидетельствует дата, стоящая под следующим написанным и подписанным им в тот день документом:

#### ▶ ПОДПИСКА

Даю сию подписку П.Г.О.Г.П.У. в том, что добровольно изъявляю согласие уехать на свои средства в двухнедельный срок в Германию.

*Евг. Замятин*

17-VIII—1922.

*(Там же)*

Эта «Подписка» отчасти объясняет, почему в приведенном мною выше списке, составленном несколько дней спустя (22 августа), Замятин оказался среди тех, кого предполагалось выслать не «под конвоем», а в числе семи «счастливых», о ком там было сказано, что они «отпущены за границу за свой счет».

Чем была вызвана эта особая милость в отношении шести других его товарищей по несчастью, неизвестно. Но на некоторую неординарность «случая Замятина» отчасти проливают свет две ведомственные телеграммы, одна из которых была отправлена в тот же день, а другая — на следующий:

► ТЕЛЕГРАММА ИЗ МОСКВЫ  
ОТ 17 АВГУСТА 1922 г.

По распоряжению тов. Ягода, если вами арестован Замятин Е.И. то освободите, сославшись на недоразумение. Подпись: Ягода.

Служебные отметки поставлены 18 августа. И той же датой помечена новая телеграмма из Москвы:

Телефонограмма об освобождении Е. И. ЗАМЯТИНА, повторяю ЗАМЯТИНА, переданная 17 августа... аннулируется. По отношению ЗАМЯТИНА остается наш № 25703.

ЗАМПРЕД ГПУ УНШЛИХТ  
НАЧСОГПУ САМСОНОВ.

В Справке от того же числа сказано, что гр. Замятин Евгений Иванович, 38 лет, писатель-беллетрист, преподаватель Политех. ин-та, был арестован 15/11—19 г. по делу 8008—19 (лев. ср.) и 16/11—19 освобожден, как не причастный.

Гр. ЗАМЯТИН Е. И. проходит также по агентурному делу... которое находится в разработке...  
18/VIII-22 г.

*(Там же. Стр. 84)*

Уже по этому обмену телеграммами можно предположить, что у Замятина нашлись какие-то покровители, пытавшиеся вырвать его из лап ГПУ. На этом — первом — этапе у них, как видно, ничего не получилось. Но они не сдались, и спустя две недели «дело Замятина» рассматривалось уже в другой, более высокой инстанции:

- ▶ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ  
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО «ПО ПЕРЕСМОТРУ  
ХОДАТАЙСТВ ОБ ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ ЛИЦ,  
О КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЕЛАЛИСЬ  
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕНИИ НА МЕСТАХ».

31 августа 1922 г.

ПО ПЕТРОГРАДУ

8) Замятин Евгений Иванович

Вследствии ходатайства т. Воронского об оставлении Замятина в России на предмет сотрудничества его в «Красной нови» высылка приостановлена до окончания переговоров.

*(«Очистим Россию надолго...» Репрессии против  
инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г.  
М., 2008. Стр. 321—322)*

Теперь мы уже знаем, что за Замятина вступился тогда не только Воронский. В его деле обнаружилось три ходатайства: ходатайство издательства «Всемирная литература», ходатайство Всероссийского союза писателей (подписанное Акимом Волынским и Анной Ахматовой) и, наверно, совсем уже неожиданное для тех, кто распорядился арестовать писателя, —

- ▶ ХОДАТАЙСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
В ГЛАВПРОФОБР РСФСР ОБ ОТМЕНЕ  
ВЫСЫЛКИ Е.И. ЗАМЯТИНА ЗА ГРАНИЦУ.

8 сентября 1922 г.

В ГЛАВПРОФОБР

Из числа лиц, арестованных в последнее время в Петрограде и подлежащих высылке за границу, находится преподаватель Кораблестроительного факультета Евгений Иванович Замятин. По отъезде в командировку за границу Декана Кораблестроительного факультета К.П. Боклевского Е.И. Замятин фактически

остался его заместителем по преподаванию корабельной архитектуры, специалистом по проектированию портовых плавучих средств. Отсутствие Е.И. Замятина поставит Кораблестроительный факультет в затруднительное положение, почему и позволяю себе ходатайствовать перед Главпрофобром об оказании содействия к оставлению Е.И. Замятина в Петрограде и о скорейшем его освобождении.

И.о. ректора института Бор[ис] ВОРОБИЧ  
Заведующий канцелярией ВАСИЛЬЕВА

*(Там же. Стр. 340—341)*

В чекистской «Справке», послужившей основанием для ареста Замятина и включения его имени в список высылаемых за границу (той, в которой он был назван «заядлым белогвардейцем»), было сказано, что он сотрудник «Летописи» и «Литературных записок». И только. Ни издательство «Всемирная литература», ни Всероссийский союз писателей там не упоминались. А о том, что он к тому же является еще и преподавателем кораблестроительного факультета Политехнического института, чекисты, надо полагать, и вовсе не подозревали. Знать не знали и ведать не ведали (хотя по роду их занятий знать это им вроде бы полагалось), что, помимо литературы, есть у него еще и другая профессия и другая любовь, так же кровно, как и первая, связанная с его любовью к России и ко всему русскому:

- ▶ Русских недаром обвиняют в легкости нравов: вот, например, я — двоеженец, и что еще хуже — не стесняюсь открыто, вслух заявлять об этом. В оправдание себе могу сказать только одно: я — не первый и не единственный, в истории русской литературы такие случаи уже бывали. Антон Чехов в своих письмах признался, что у него тоже было две жены: законная жена — медицина и незаконная — литература.

Мои две жены: техника и литература. И сегодня я хочу изменить литературе со своей старой, технической женой: я хочу написать... о ледоколах.

Ледокол — такая же специфически русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом, беспощадной зимой — и чтобы не быть тогда отрезанными от мира, приходится разбивать эти оковы.

Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая.

И так же ход ледокола непохож на движение приличного, европейского корабля...

.....

Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра — «шпангоуты», особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно — нужны ледоколу, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все же еще было бы мало: нужна особая хитрая увертливость, похожая на русскую «смекалку». Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке — вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо — и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль.

*(О моих женах, о ледоколах и о России.  
В кн.: Евгений Замятин. Я боюсь. М., 1999.  
Стр. 178—181)*

На чекистов эти сантименты особого впечатления, наверно, не произвели бы. Но с ходатайством ректора Политехнического института они могли бы и посчитаться: ведь оказалось, что «заядлый белогвардеец» был не только болтуно-литератор, от которого стране никакого проку, а один только вред, но еще и «спец». А к «спецам» у советской власти все-таки было другое отношение. (Во всяком случае, до 1928 года, до знаменитого Шахтинского дела.)

Но фирма, как говорится, перед затратами не стояла и с народно-хозяйственными интересами страны не считалась. В списках высылаемых интеллигентов были и «Список профессоров Московского высшего технического училища», и «Список профессоров Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии», и «Профессора Института инженеров путей сообщения», и «Список антисоветских агрономов», и «Список антисоветских инженеров».

В числе хлопотавших о Замятине называют еще Пильняка, А.Н. Тихонова, П.Е. Щеголева, Ю. Анненкова. Но их заступничество для чекистов тем более не имело никакого веса.

Юрий Анненков вскоре (осенью 1924 года) и сам стал эмигрантом. Ахматова тоже того и гляди могла попасть в такой же проскрипционный список, в каком оказался Замятин. Хотя — за Ахматовой и Акимом Вольнским все-таки стояла какая-никакая общественная организация: Всероссийский союз писателей.

Нет, то обстоятельство, что арест Замятин не сошел для чекистов совсем гладко, что вокруг этой их акции неожиданно возник какой-то нежелательный шумок, какую-то роль, наверно, все-таки сыграло.

Но все это тем не менее вряд ли произвело бы большое впечатление на членов «Комиссии под председательством Ф.Э. Дзержинского», если бы не ходатайство Воронского.

Недаром же в решении «Комиссии» было упомянуто только оно.

А.К. Воронский был тогда человек влиятельный. Неприятности его начались позже, в 1925-м, когда он примкнул к троцкистской оппозиции. А в 1922-м репутация его была

безупречна: старый большевик, видный партийный функционер, он был редактором «Красной нови», единственного тогда литературно-художественного журнала, вокруг которого группировались самые известные писатели России. Все они, конечно, были «попутчики». И Воронский им покровительствовал, защищал от рапповской травли, понимая, что без них, с одними только «пролетарскими», литература зачахнет, а то и совсем выродится.

При всех этих своих добрых намерениях Воронский твердо держал партийную линию и любимых своих «попутчиков», когда надо — осаживал, а когда надо — так даже и разоблачал.

О том же Замятыне он — как раз в это самое время (октябрь 1922 г.) — написал большую статью, которую начал так:

- ▶ На примере Замятына прекрасно подтверждается истина, что талант и ум, как бы ни был ими одарен писатель, недостаточны, если потерял контакт с эпохой, если изменило внутреннее чутье, и художник или мыслитель чувствуют себя среди современности пассажирами на корабле либо туристами, враждебно и неприветливо озирающимися вокруг.

*(А. Воронский. Литературные портреты.  
В двух томах. Том 1.  
М., 1928. Стр. 76)*

Отметив далее, что Замятин уже первой своей вещью («Уездным»), появившейся в 1913 году, «сразу поставил себя в разряд крупных художников и мастеров слова», он приступает к разбору сегодняшних, современных замятинских творений и завершает этот свой разбор так:

- ▶ ... «еретик» — любит это слово Замятин — «еретик» Уэльс внутренним чутьем понял как-то по-своему современных коммунистических еретиков буржуазной цивилизации и сказал: уважаю, ценю, понимаю... а вот автор «Уездного», «На куличках», «Алатыря», «Островитян», проповедник принципиального еретичества и

максимализма, не нашел для себя лучшей доли в годы тяжчайшей борьбы со старым миром, как выписывать вещи, которым, по справедливости, следует дать общий подзаголовок: долой коммунизм, коммунистов и Октябрь.

«Еретик» до сих пор не почувствовал и не дал почувствовать читателю ни одной вещью своею, что самые опасные еретики из еретиков в отношениях к старому миру — мы, коммунисты. Самые опасные, самые верные, самые закаленные и твердые до конца. Странный еретик, странный максимализм...

На очень опасном и бесславном пути Замятин. Нужно это сказать прямо и твердо.

*(Там же. Стр. 108—109)*

Однако, сказав это «прямо и твердо», Александр Константинович все-таки обратился к «самым закаленным и твердым» органам пролетарской диктатуры с просьбой не арестовывать и не высылать Замятина. Видно, он, как и этот «странный еретик», тоже полагал, что не «политику репрессий» должна вести по отношению к инакомыслящим его родная советская власть, а — «политику идейной борьбы».

Вряд ли члены «Комиссии под председательство Ф.Э. Дзержинского» придерживались тех же взглядов. Но к мнению Воронского они все же прислушались. И решили:

- ▶ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  
СЕКРЕТАРИАТА КОЛЛЕГИИ ГПУ  
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА  
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР  
В.Н. ЯКОВЛЕВОЙ С ПРИЛОЖЕНИЕМ  
СПИСКА ЛИЦ, ВЫСЫЛКА  
КОТОРЫХ ЗАДЕРЖАНА ИЛИ ОТМЕНЕНА

*2 сентября 1922 г.*

Тов. Яковлевой

Согласно личных телефонных переговоров с тов. Уншлихтом препровождаю список петроградской и



московской интеллигенции, высылка коих задержана или отменена.

Приложение: упомянутое.

Секретарь коллегии ГПУ ЕЗЕРСКАЯ

Приложение:

Замятин. Высылку отсрочить впредь до особого распоряжения.

*(«Очистим Россию надолго...». Репрессии против  
инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г.  
М., 2008. Стр. 330)*

Казалось бы, — чего уж лучше! С всесильным «товарищем Уншлихтом» все сговорено («согласно личных телефонных переговоров»). Да и как могло быть иначе, если решение принято Комиссией под председательством самого железного Феликса!

Но тут в судьбу Замятина неожиданно вмешались другие силы:

- ▶ ШИФРОТЕЛЕГРАММА П.А. ЗАЛУЦКОГО  
И.В. СТАЛИНУ И Г.Е. ЗИНОВЬЕВУ  
О НЕДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЙ  
ОБ ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ НЕКОТОРЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «АНТИСОВЕТСКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ г. ПЕТРОГРАДА»

3 сентября 1922 г.

Москва. ЦК РКП тов. Сталину. Копия тов. Зиновьеву.

В Питере меньшевики представляют довольно реальную политическую силу. Это сказывается не только на их работе в пролетарских массах, но, более того, это сказывается на настроениях низовых ячеек, предприятиях нашей партии... Помимо этого меньшевики ведут подпольную кружковую работу, кое-где не без успеха, получают необходимое пополнение своих организаций свежими силами, с которыми борьба труднее, чем

со старыми, ибо их не знаешь. Между тем Москва не утверждает наши списки меньшевиков [из] интеллигенции. Мотивы Пека о высылке никогда не заслуш[ив]али. В настоящее время по протекции освобождают меньшевиков Крохмалю, Канцеля, из буржуазной интеллигенции проф. Штейна, писателя Замятина из числа 36 человек. Пека же представил список более двухсот человек. Можно потребовать от Пека, чтобы он еще раз пересмотрел эти списки, чтобы дал большие доказательства, но освободить по протекции и ходатайствам отдельных лиц, игнорируя Пека, это недопустимо...

Вынужден заявить, что такое положение дел создает условия для культивирования в Питере прошлой кронштадтчины, беспомощным наблюдателем быть чего я считаю тяжким преступлением. Отвечать за питерскую организацию при таком отношении ЦК нельзя, и я буду просить освободить меня от этого.

Секретарь Петргубкома РКП ЗАЛУЦКИЙ

*(«Очистим Россию надолго...» Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г. М., 2008. Стр. 331)*

Хотя в адресе этой шифрограммы два имени — Сталина и Зиновьева, — адресована она по существу одному Сталину. А копия направлена Зиновьеву только потому, что Зиновьев в это время по делам Коминтерна находился в Москве. Если бы он был тогда в Петрограде, можно не сомневаться, что адресованную Сталину шифрограмму подписал бы он, а не его заместитель по Петроградскому губкому.

Я говорю об этом так уверенно, потому что, получив копию этой шифрограммы, Зиновьев послал Сталину записку, в которой выразил полную поддержку позиции своего зама («Залуцкий, по-моему, совершенно прав») и предложил направить И.С. Уншлихту (центральное ГПУ) и С.А. Мессингу (полномочный представитель ГПУ по Петрограду) директиву не идти на поводу у ходатайств и всех включенных в спи-

ски немедленно выслать: «Иначе наживем себе в Петрограде много новых осложнений». (Там же. Стр. 569.)

Шифрограмма Залуцкого была отправлена 3 сентября. Записка Зиновьева была получена Сталиным не позднее 4-го. И уже через три дня — 7 сентября — было принято —

- ▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК РКП(б)  
ПО ШИФРОГРАММЕ П.А. ЗАЛУЦКОГО  
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД АРЕСТА  
ПИСАТЕЛЯ Е.И. ЗАМЯТИНА

7 сентября 1922 г.

Строго секретно

ПБ № 25/17

17. О питерских меньшевиках (т. Зиновьев)

а) Отклонить ходатайство губкома в отношении Замятина, т.е. освободить его.

б) В отношении остальных предложить т. Дзержинскому переговорить с Питерским губкомом.

Секретарь Цека

(Там же. Стр. 338)

В примечании к публикации этого документа сказано, что публикуется он по копии, на которой подпись секретаря ЦК отсутствует. Но на оригинале, надо полагать, стояла подпись Сталина: ведь именно к нему обращались и Залуцкий, и поддерживавший Залуцкого Зиновьев.

Через два дня — 9 сентября — Замятина освобождают. (Под подписку о невыезде.)

Казалось бы, вопрос исчерпан. Но остается все-таки маленькая неясность.

Означало ли это решение Политбюро, что предложение ГПУ выслать Замятина из страны отменяется? Или оно предполагало лишь изменение «меры пресечения»?

Вопрос вроде дурацкий. Трудно предположить, чтобы высший в стране орган партийной и государственной власти, решающая судьбу опального писателя и не посчитавшись при этом с

мнением могущественного Зиновьева, занимался такой пустяковой проблемой, как изменение «меры пресечения».

И тем не менее такой вопрос не может не возникнуть.

Не может он не возникнуть потому, что в тот же день — 7 сентября — был подписан другой документ:

- ▶ Р.С.Ф.С.Р.  
Н.К.В.Д.  
Гос. Политическое Управление  
7 сентября 1922 г.  
№ 21923  
Дело № 21001  
Удостоверение  
Г.П.У. за № 21923  
1922

Москва, Большая Лубянка, 2.  
Телеф. Г.П.У. Коммутатор.  
Сдается на погранпункте  
единовременно с предъявлением  
загранич. паспорта.

Выдана виза № 5076  
11 октября 1922 г.

1 секретарь (подпись неразборчива)

Дано сие гр. Р.С.Ф.С.Р.  
Замятину Евгению Ивановичу, р. в 1884 г.  
в том, что к его выезду за границу в Германию, по  
(день поездки): *высыл. бессрочно*, со стороны Гос. Пол.  
Упр. препятствий не встречается.

Настоящее удостоверение выдается на основании  
постановления СОВНАРКОМА от 10 мая 1922 г.

Нач. Особого Отдела ГПУ — Ягода

(Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том 1. Л., 1991. Стр. 252*)

Можно ли вообразить, чтобы Ягода подписал такой документ, не считаясь с принятым в тот же день постановлением Политбюро?

Нет, такого, конечно, быть не могло. Не те еще были времена.

Может быть, подписывая этот документ, Ягода просто еще не знал, что в этот же день судьба Замятина решается высшим органом партийной и государственной власти?

Может быть, и так.

Но тут нельзя не отметить, что, хоть и стоит на этом документе дата — 7 сентября, на самом деле не вполне ясно, каким число надлежит его датировать. С одной стороны, на полученном Замятиным «Удостоверении» о том, что к выезду его в Германию никаких препятствий не имеется, помечено, что выдано оно «на основании постановления СОВНАРКОМА от 10 мая 1922 г.». Но при этом в том же документе говорится, что виза на выезд выдана ему *11 октября*. Вот и поди пойми, когда на самом деле было подписано это «Удостоверение» и что вообще все это значит.

Юрий Анненков, из мемуаров которого я извлек процитированный документ, приведя его, рассказывает:

- ▶ Постановлением о высылке за границу Замятин был чрезвычайно обрадован: наконец-то — свободная жизнь! Но друзья Замятина, не зная его мнения, стали усердно хлопотать за него перед властями и в конце концов добились: приговор был отменен. Замятина выпустили из тюрьмы, и в тот же день, к своему глубокому огорчению, он узнал, со слов Бориса Пильняка, что высылка за границу не состоится.

Вскоре после выхода из тюрьмы Замятин вместе со мной присутствовал на Николаевской набережной, в Петрограде, на проводах высылаемых из Советского Союза нескольких литераторов, среди которых были Осоргин, Бердяев, Карсавин, Волковыский и некоторые другие, имена которых я теперь забыл. Провожающих было человек десять, не больше: многие, вероятно, опасались открыто прощаться с высылаемыми «врагами» советского режима. На пароход нас не до-

пустили. Мы стояли на набережной. Когда пароход отчаливал, уезжающие уже невидимо сидели в каютах. Проститься не удалось.

Сразу же после этого Замятин подал прошение о его высылке за границу, но получил категорический отказ.

*(Там же. Стр. 256)*

Не всяким свидетельствам мемуариста (любого мемуариста) можно доверять. Но этот рассказ Ю. Анненкова (за вычетом некоторых мелких неточностей) заслуживает доверия, поскольку он подтверждается свидетельством еще одного мемуариста — Н.М. Волковыского, с которым Замятин сидел в тюрьме и которого — вместе с Анненковым — он потом провожал на Николаевской набережной:

- ▶ Мы были арестованы с ним одновременно — в ночь на 16 августа 1922 года — и оказались в одной, густо населенной камере ГПУ на Гороховой. Никто из нас не знал, что нас всех ожидает. Мы думали, что предстоит отвратительный «показательный процесс» с выворачиванием всей подноготной жизни, с лживыми, в кривом зеркале отражающими судебные заседания, газетными отчетами, которые в то время были в моде. Замятин сохранял свое обычное внешнее спокойствие. Его длинный, тоненький мундштучок не расставался с сжимавшими его крепкими, ровными зубами, и только это могло быть показателем внутреннего волнения. Во всей его манере держаться было английское спокойствие — не только приобретенное за годы пребывания в Англии, но и врожденное.

Его вызвали на допрос первым. Прошел час, пролетел второй, еще кто-то из нашей группы был в это время вызван к следователю. Наконец возвращается Замятин. Порозовели бледные щеки, глаза сверкают непривычным для них блеском.

— Меня высылают в Берлин!

Никто ничего не понял: высылают за границу? Аб-

сурд! Замятин, потерявший часть своей английской выдержки, четко, как всегда, тонко и образно передает подробности двухчасового допроса. «Как Вы относитесь к профессорским забастовкам, к эсеровскому процессу, что Вы думаете о будущем русской эмиграции?» Какой-то бред... Дикое обвинение в «острой борьбе с советской властью в годы наиболее тяжелого ее положения»... Итог: высылка за границу. Нельзя было разобраться во всем этом хаосе, но Замятину был важен только итог: возможность уехать.

*(Н.М. Волковыский Е.И. Замятин в советской обстановке. «Очистим Россию надолго...» Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г. Стр. 704)*

Далее Волковыский излагает свою версию, объясняющую, почему высылка Замятина не состоялась. Главную роль тут будто бы сыграли хлопоты его учеников — «Серапионовых братьев», которых в Москве принял и обласкал Л.Б. Каменев.

В остальном же его рассказ повторяет то, что мы уже прочли у Анненкова:

- ▶ В ответ на хлопоты «братьев» за своего учителя, вместе с нами переведенного тогда уже из общей переполненной камеры ГПУ в отдельные камеры Дома предварительного заключения, им ответили (они хлопотали одновременно и за Б.И. Харитона и за пишущего эти строки): будете писать в «Красной нови» — освободим Замятина (остальных двух пока еще подержим). Согласие было дано (литературная молодежь была принята в Москве «по-барски»), — и Замятин внезапно вышел из тюрьмы, где мы все продолжали сидеть. Но Евгений Иванович рассчитывал, что это лишь временная льгота и что он вместе с нами уедет за границу, куда рвалась его «европеизованная» душа. Однако высылка наша затягивалась; Замятин считался вообще вышедшим из игры и с печальным лицом провожал он нас на пристань, возле которой стоял герман-

ский пароход, увозивший нас всех в заграничное изгнание. Он нам завидовал. Тихо говорил, что надеется вскоре встретиться с нами в Берлине. Это было вечером 15 ноября 1922 года.

В следующий раз я увидел его в своей берлинской квартире тоже в ноябре, но 1931 года. Девять лет спустя.

*(Там же. Стр. 705)*

Логика поведения властей тут вырисовывается вполне правдоподобная: если арестант не хочет, чтобы его выслали, надо его выслать. Если же, напротив, он только и мечтает о том, чтобы его выслали за границу (как у дедушки Крылова: «И шуку бросили в реку»), и даже сам об этом хлопочет, тогда, разумеется, выдавать ему заграничный паспорт ни в коем случае не следует.

Не исключено, что эта изуверская логика тут тоже сыграла свою роль.

Но предположение Н.М. Волковыского (и Ю. Анненкова), что к 28 ноября 1922 года вопрос о высылке-невысылке Замятина был на тот момент уже решен и вновь встал в повестку дня лишь девять лет спустя, — это предположение было весьма далеко от реального положения дел.

Именно в это самое время (конец ноября — начало декабря 1922 года) в «деле Замятина» начался новый этап. Сюжет, казалось бы, уже склонившийся к развязке, вдруг совершил новый крутой виток.

\* \* \*

Через три месяца после того заседания Политбюро, на котором было принято решение выпустить Замятина из тюрьмы и вычеркнуть его фамилию из списков высылаемых за границу «активных контрреволюционеров и антисоветчиков», 14 декабря 1922 года «разрушительная антисоветская деятельность» писателя Замятина вновь предстала перед судом самого высокого в РСФСР органа партийной и государственной власти:



► ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК  
РКП(б) ОБ УСИЛЕНИИ РЕПРЕССИЙ  
ПРОТИВ МЕНЬШЕВИКОВ

14 декабря 1922 г.

[Строго] секретно  
О меньшевиках  
(т. Уншлихт)

а) Принять предложение т. Уншлихта, внеся в него следующие поправки:

п. 1 заменить следующим: «Вменить ГПУ в обязанность в своей практической работе рассматривать те меньшевистские элементы, которые стоят на позиции новой платформы, формулированной в «Социалистическом вестнике», как элементы контрреволюционные и нелегальные...»

б) Поручить Секретариату разослать [членам Политбюро] № 1 альманаха «Литературная мысль», в котором напечатана драма Замятина.

Если никто из членов Политбюро не потребует пересмотра вопроса к следующему заседанию Политбюро, Замятина выслать.

Секретарь ЦК

*(«Очистим Россию надолго...» Репрессии против  
инакомыслящих. Конец 1921 — начало 1923 г.  
Стр. 439)*

В цитируемом томе впервые публикуемых документов к тексту пункта «б» этого пункта «Постановления» сделано такое примечание:

- Усилия хлопотавших за Замятина Воронского, Ю. Анненкова, П.Е. Щеголева увенчались успехом. Замятин был освобожден и оставлен в РСФСР. Но, выйдя из тюрьмы, он сам предпринимает попытки выехать за границу. За него ходатайствуют Воронский, Тихонов А.Н., ведутся переговоры с Каменевым, Уншлихтом, но, несмотря на все недовольство власти писателем,

его оставляют в РСФСР до особого распоряжения. Только в 1931 году после письма И.В. Сталину... И т.д.

*(Там же. Стр. 575)*

Совершенно очевидно, что к тексту нового постановления Политбюро, к которому оно «прикреплено», это примечание никакого отношения не имеет. В лучшем случае оно комментирует — и не очень точно — предыдущую ситуацию, которая этим постановлением была полностью дезавуирована.

Действительно ли Замятин предпринимал какие-то самостоятельные попытки добиться выезда за границу, как говорится в этом примечании (и как об этом рассказывал в своих воспоминаниях Ю. Анненков, чьи мемуары скорее всего и стали источником этой версии автора примечаний) — неизвестно. Во всяком случае, никакими документами это предположение в примечании не подтверждено.

Может быть, Замятин и в самом деле хлопотал о разрешении на выезд, а может быть, и не хлопотал. Но что мы знаем точно — так это то, что чекисты о необходимости его высылки хлопотали неустанно. И даже сентябрьское решение Политбюро, казалось бы, уже поставившее в этом деле последнюю точку, их не остановило.

Они состряпали новую «Справку», в которой, не мудрствуя лукаво, сперва повторили все, что было сказано в той, первой, на основе которой было принято майское (или июльское?) постановление о его высылке:

#### ► СПРАВКА

...ЗАМЯТИН Евгений Иванович, литератор, сотрудник «Летописи» и «Литературных записок». Скрытый, заядлый белогвардеец. Автор нелегальной резолюции, которую он проводил на собраниях «Дома литераторов», которой выносилось порицание Андрею Белому за его произведения в пользу Соввласти.

Выступает в своих произведениях против Сов. власти. Подлежал высылке за границу, но высылка была

временно задержана по постановлению Комиссии под председательством тов. Дзержинского...

*(Григорий Файман. «И всадили его в темницу...»  
Новое о Замятине. Сборник материалов под  
редакцией Леонида Геллера.  
М., 1997. Стр. 85)*

И, добавив несколько новых — весьма неуклюжих и маловразумительных — обвинений, завершили ее таким ЗАКЛЮЧЕНИЕМ:

- ▶ ...не только не примирился... ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в моменты внешних затруднений для РСФСР он свою контр-революционную деятельность усиливал. Все это подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом... в целях пресечения разрушительной антисоветской деятельности гр-на ЗАМЯТИНА Евгения Ивановича выслать из пределов РСФСР за границу.

*(Там же. Стр. 86)*

В каком-нибудь другом случае все это наверняка бы содилось. Но чтобы Политбюро дезавуировало прежнее свое решение и приняло новое, этих общих и ничем не подтвержденных заклинаний («свою контрреволюционную деятельность усиливал...», «ни на один момент не прекращал...», «подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом...») было недостаточно. Тут нужна была какая-то с в е ж а т и н к а.

И вот — такая свежатинка нашлась: только что явившаяся на свет драма Замятина «Огни Святого Доминика».

Она была опубликована в первом номере альманаха «Литературная мысль», каковой альманах и было решено срочно разослать всем членам партийно-государственного ареопага, чтобы решить наконец этот проклятый вопрос: не обращать внимания на мелкие укусы нераскаявшегося крамольника или все-таки выслать его за пределы отечества.

\* \* \*

В 60-е годы прошлого века советская цензура вдруг обрела новую власть и новые права, которыми вроде никогда прежде не обладала. До этого времени цензура (официальное название: «Главлит») могла настаивать лишь на изъятии из текста ставших неупоминаемыми фамилий врагов народа и названий каких-нибудь секретных военных объектов. Все остальные цензурные функции выполнял редактор или «внутренний редактор», сидящий в самых тайных глубинах сознания и подсознания понаторевшего в этих делах автора. Новые функции цензора (главлитчика) состояли в том, что он получил право запретить тот или иной рассказ (повесть, роман, пьесу), мотивируя свой запрет такими неопределенными понятиями, как «очернительство», «мрачный колорит» — или еще того мутнее: «неконтролируемый подтекст». Но чаще всего в устах цензоров (главлитчиков) стало тогда мелькать неведомое нам прежде слово «аллюзия».

Академический словарь так объясняет значение этого загадочного слова:

- ▶ Стилистический прием, заключающийся в использовании намек на реальный общеизвестный политический, исторический или литературный факт. *Аллюзия в тексте. Политическая аллюзия.*

(Словарь современного русского языка.  
Том 1. М., 1991. Стр. 138)

В 1922 году советские чекисты этого слова (во всяком случае, в таком его значении) еще не знали. Но если бы знали, могли бы свои претензии к драме Замятина «Огни Святого Доминика» объяснить множеством обнаруженных в ней недопустимых *политических аллюзий*.

Не без некоторых оснований они могли бы даже сказать, что вся эта драма представляет собой *одну сплошную политическую аллюзию*.

Аллюзия эта начиналась с первой ее страницы, с перечня действующих лиц и обозначения места и времени действия:

- ▶ Гонсалес де-Мунебрага — инквизитор...  
Секретарь инквизиции.

Первый мастер инквизиции.  
Второй мастер...  
Альгусилы. Служители инквизиции. Еретики. Мо-  
нахи. Народ.  
Место действия: Севилья.  
Время действия: вторая половина 16-го  
века.

(Евгений Замятин. Сочинения. Том 2.  
*A. Neimanis buchvertrieb und verlag, 1982. Стр. 243*)

Это мое утверждение может показаться весьма стран-  
ным. По правде говоря, даже нелепым. Какая может таиться  
политическая аллюзия в том, что временем действия своей  
драмы автор выбрал вторую половину шестнадцатого века?  
Инквизиция, что ли?

Да, конечно, и инквизиция. Но — не только:

- ▶ ...большевизм был уникальной верой и социальной системой, базирующейся на кровопролитии. Большевики были атеистами, но их ни в коем случае нельзя было назвать светскими политиками в том смысле этого слова, в котором его понимают во всем мире. Они обратились к массовым убийствам, самодовольно считая себя высшей моральной инстанцией. Большевизм мог и не быть религией, но он был близок к ней. Сталин говорил Берии, что большевики были чем-то вроде военно-религиозного ордена. Когда умер Феликс Дзержинский, основатель и руководитель ЧК, Иосиф Виссарионович назвал его преданным рыцарем пролетариата. Сталинский орден меченосцев был больше похож на средневековый орден тамплиеров или даже на теократию иранских аятолл, чем любая другая светская организация на земле. Большевики умирали и убивали за свою веру. Они двигались, как слепо верили, к лучшей жизни для всего человечества. Они приносили в жертву собственные семьи с таким рвением, какое можно найти лишь в периоды, когда на планете проходила та или иная массовая религиозная резня.

Примерно на такие же лишения обрекали себя мученики в средневековой Европе и на Востоке...

Меченосцы должны были слепо верить в свою мессианскую миссию, они должны были действовать с необходимой безжалостностью и убеждать других в том, что имеют на это право...

Они ненавидели иудео-христианство и поэтому заменили ортодоксальную веру своих родителей еще более суровым учением, суть которого заключалась в систематическом попирании правил морали. «Эта религия или, вернее, наука, как скромно называли ее приверженцы, дает человеку богоподобную власть... В двадцатые годы многие проводили параллель с победой христианства и думали, что их новая религия просуществует тысячу лет, — писала Надежда Мандельштам. — Все соглашались с превосходством новой религии, которая обещала рай на земле вместо других земных наград».

Партия оправдывала свою диктатуру борьбой за чистоту веры... Партийность превратилась почти в мистическую категорию... Обязательные условия стали железной дисциплиной. Они тщательно соблюдались в качестве ритуалов партийной жизни. Как написал один ветеран партиец, большевиком считается не тот человек, который просто верит в марксизм. Большевик — это тот, «кто обладает безграничной верой в партию независимо от каких бы то ни было обстоятельств; тот, кто способен приспособлять свою мораль и совесть по приказу партии и без малейших колебаний все время верить в правоту партии даже тогда, когда она все время не права».

*(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин. Двор Красного монарха. М., 2005. Стр. 99—100)*

Вряд ли все это в полной мере относится к Сталину, в котором политического цинизма было куда больше, чем этого религиозного фанатизма. Но к ситуации 1922 года, когда Замятин сочинял свою «историческую драму», эта характеристика приложима вполне.

Мрачным духом Средневековья веет от стихов дебютировавших в начале 20-х молодых советских поэтов:

Пей, товарищ Орлов,  
Председатель Чека.  
Пусть нахмурилось небо,  
Тревогу тая, —  
Эти звезды разбиты  
Ударом штыка,  
Эта ночь беспощадна,  
Как подпись твоя.

Пей, товарищ Орлов!  
Пей за новый поход!  
Скоро выпрыгнут кони  
Отчаянных дней.  
Приговор прозвучал,  
Мандолина поет,  
И труба, как палач,  
Наклонилась над ней...

Расскажи мне, пожалуйста,  
Мой дорогой,  
Мой застенчивый друг,  
Расскажи мне о том,  
Как пылала Полтава,  
Как трясса Джанкой,  
Как Саратов крестился  
Последним крестом.

Ты прошел сквозь огонь —  
Полководец огня,  
Дождь тушил воспаленные  
Щеки твои...  
Расскажи мне,  
Как падали  
Тучи, звеня  
О штыки,  
О колеса,  
О шпоры твои...

Как мосты и заставы  
Окутывал дым  
Полыхающих  
Красногвардейских костров,  
Как без хлеба сидел,  
Как страдал без воды  
Разоруженный  
Полк юнкеров...

Приговор прозвучал,  
Мандолина поет,  
И труба, как палач,  
Наклонилась над ней...

(М. Светлов)

Можно ли вспомнить — или хоть представить себе — какого-нибудь старого (дореволюционного) русского поэта, который вот так, захлебываясь искренним восторгом, воспевал бы жандармские приговоры или «столыпинские галстуки»?

Добро бы еще, если бы этот юный комсомольский поэт был бездарен. Или если бы двигала им та приспособленческая «юркость», о которой Замятин в знаменитой своей статье «Я боюсь» говорил с нескрываемой брезгливостью. Но то-то и горе, что восторг, который кружит голову юного стихотворца, упоение, которое звучит в этих повторяемых им заклинаниях («Приговор прозвучал...», «И труба, как палач...»), не искусственны, не вымучены, а — искренни.

Эти молодые поэты с такой простодушной искренностью воспевали кровопролитие и палачество, потому что «орден меченосцев», к которому они примкнули, был в их глазах «высшей моральной инстанцией». И потому что цель, во имя которой проливались эти реки крови, была так величественна и свята, что для выносящего расстрельный приговор никакого значения уже не имели все их былые — дружеские или самые близкие, кровные — связи:

Ты меня вводил, Чека вводил  
В обман,  
На Игрени брал ты взятки  
У крестьян!  
Сколько волка ни учи —  
Он в лес опять,  
К высшей мере без кассаций,  
Расстрелять!

Суд идет революционный,  
Правый суд,  
Конвоиры провокатора  
Ведут.

— Сорок бочек арестантов!  
Виноват...



Если я не ошибаюсь,  
 Вы — мой брат,  
 Ну-ка, ближе, подсудимый,  
 Тише, стоп!  
 Узнаю у вас, братуха,  
 Батин лоб...

Вместе спали, вместе ели,  
 Вышли — врозь,  
 Перед смертью, значит,  
 Свидется пришлось.  
 Воля партии — закон,  
 А я — солдат.  
 В штаб к Духонину! Прямей  
 Держитесь, брат!

Суд идет революционный,  
 Правый суд.  
 Конвоиры песню «Яблочко»  
 Поют.

(Михаил Голодный)

Эта коллизия (истово верующий фанатик отправляет на смерть родного брата) в драме Замятина стала центральной. Но есть в ней и другие ситуации, сцены, эпизоды, крепко «рифмующиеся» с реалиями советской жизни 20-х годов. Есть там, например, поэт, восторженно прославляющий палача-инквизитора, у которого «руки по локоть в крови»:

- Б а л т а с а р. Неужели же тебе не ясно, Рюи, что было бы жестокостью предоставить еретикам идти их пагубным путем? Разве не милосерднее спасти их?

Р ю и. Насильно? Тюрьмой? Костром?

Б а л т а с а р (опять вскакивает. Вызывающе). Да! Да! А разве Бог не посылал казни на избранный народ? Разве не Бог приказал Моисею истребить смертью четыреста поклонников Ваала? Разве не ясно, что генеральный инквизитор — вовсе не Мунебрага, а сам Господь? И мы, воины Инквизиции, в руках его — как благородный, беспощадный меч Тисон в руках Сиды Кампеадора...

Г о с т и. Bravo! Bravo!

Ф р а-С е б а с т ь я н о (встает). Сеньоры, кстати,

о Сиде: если разрешите, я прочту свою новую поэму, посвященную Его Преподобию, сеньору Мунебраге. Там как раз ...

Г о с т и. Просим! Просим!

Б а л т а с а р. Нет, позвольте! Я хочу, чтобы Рюи ответил мне прямо на вопрос: считает ли он, что Католическая Церковь... Что Церковь...

Ф р а-С е б а с т ь я н о (*стоит с листком в руках*).  
Сеньоры...

Г о с т и. Да, да, фра-Себастьяно! — Конечно! — Мы ждем!

Ф р а-С е б а с т ь я н о (*читает*).

Гремите, трубы и литавры,  
Хвалите Бога, стар и млад:  
Покорны были Сиду мавры —  
Покорен Мунебраге ад.  
Как Сидов меч, Тисон могучий,  
У Мунебраги — крест Христов:  
Взмахнет — все выше, выше, круче —  
Горой тела еретиков...  
Как под Валенсией, у Сиды уж руки...

(*Тихий стук в дверь.*)

Ф р а-С е б а с т ь я н о (*сердито оглядывается и продолжает громче*).

Уж руки по локоть в крови:  
Господь его благослови...

(*Евгений Замятин. Сочинения. Том 2.*  
*A. Neimanis buchvertrieb und verlag,*  
*1982. Стр. 248—249)*

По этим стихам трудно судить об искренности их автора. Замятин тут словно бы предоставляет это решить будущему режиссеру-постановщику его драмы — или актеру, исполняющему роль Фра-Себастьяно: изобразить ли этого явно бездарного стихотворца слепцом, простодушным болваном — или представить его одним из тех юрких приспособленцев, готовых славить любую власть, о которых Замятин с таким презрением говорил в своей уже не раз упоминавшейся мною статье «Я боюсь». Но искренность главного героя

драмы — Балтасара, бестрепетно отдавшего в руки инквизиции любимого брата, никаких сомнений не вызывает:

► К р и с т о б а л (*с добродушной усмешкой*). Ты, Рюи, не шути с ним: ведь он у нас — ревнитель веры. Три месяца уже, как он стал el santo.

Р ю и. El santo?

К р и с т о б а л. Ну да. Бедный мальчик! Чему же там вас учили в Нидерландах? Ты не понимаешь?

Р ю и. Нет, сеньор отец, прошу вас извинить меня, но право же...

К р и с т о б а л. Я помню — это было очень торжественно, после мессы, собор полон рыцарей и дам. Вас было десять: не так ли, Балтасар? И каждому из десяти сеньор де-Мунебрага, инквизитор севильский, вручил вот этот белый знак. (*Показывает на грудь Балтасара.*) Тишина в соборе такая, что слышно было, как шуршали шелковые складки фиолетовой одежды де-Мунебраги. И в тишине каждый из десяти поклялся перед алтарем — бороться с еретиками, поклялся забыть, согласно заветам Христа, об отце, о матери, о братьях, и кто бы ни были еретики — всех предавать в распоряжение Святейшей Инквизиции. Обет тяжелый, но Санта-Круссы всегда в первых рядах сражались против врагов Церкви — против турок, мавров и против...

Р ю и. Прошу прощения, сеньор отец. Но с маврами — Санта-Круссы, насколько знаю, сражались мечом, а не доносами. Я ушам не верю: испанский рыцарь — пойдет с доносом в инквизицию! И об этом так, вслух...

Б а л т а с а р (*с шумом отодвигает кресло, берется за шпагу*). Рюи, у тебя на щеке еще цел след от моей рапиры, и если ты...

К р и с т о б а л (*хватает его за руку*). Тише, тише! Вспомни, Балтасар, что Рюи уже три года не был в Испании и потому...

Б а л т а с а р. Там три года или не три года... Но должен же он понять, что служба инквизиции — это

служба Церкви, и потому это честь для каждого из нас! (*Кулаком по столу.*) Неужели же не ясно, что убийство, ложь — все, что угодно, ради Церкви — благородней, чем благороднейший из подвигов ради сатаны и его слуг — еретиков?

(Там же. Стр. 247—248)

Последняя реплика («...убийство, ложь — все, что угодно ради Церкви...») почти дословно совпадает с знаменитыми строчками Багрицкого:

А век поджидает на мостовой,  
Сосредоточен, как часовой...  
Оглянешься — а вокруг враги;  
Руки протянешь — и нет друзей;  
Но если он скажет: «Солги», — солги.  
Но если он скажет: «Убей», — убей.

Замятин этих строк поэта, разумеется, не знал. Он просто не мог их знать: они тогда еще не были написаны. Но тем примечательнее это совпадение.

А вот — еще одно, не менее примечательное:

► М у н е б р а г а. Сын мой!.. У тебя есть еще время покаяться. И есть путь: сказать нам чистейшую, как это небо, правду.

Р ю и. Ни один из Санта-Крусов не нуждается в таком щите, как ложь.

М у н е б р а г а. Тем лучше. Тогда скажи: известен ли тебе указ нашего доброго короля — указ о том, что всякий перепечатавающий, продающий или читающий эту книгу (*осторожно, двумя пальцами, как бы опасаясь запачкаться, поднимает со стола книгу*) — должен быть казнен на костре, на эшафоте или в яме?

Р ю и (*вздрагивает*). Известен.

М у н е б р а г а. И, значит, ты признаешь, что впал в ересь сознательно, с открытыми глазами вступил на этот сатанинский путь?

Р ю и (*спокойно*). Мой путь не сатанинский, а путь Христа.

М у н е б р а г а (*негодуя*). Вы слышите? Что он

говорит, что он говорит, безумный! Если твой путь есть путь Христа, то, следовательно, наш — сатанинский? Ты, следовательно, считаешь, что Святая Церковь... нет, мой язык не в состоянии произнести такую хулу!

Р ю и (*все еще спокойно*). Вы просто хотите придать другой смысл моим словам. Я утверждал раньше и утверждаю, что ни в чем не отступил от учения Христа.

М у н е б р а г а. Но раз Церковь — раз мы говорим тебе, что ты впал в ересь... Ты, стало быть, хочешь сказать, что Церковь может ошибаться?..

Ф р а-П е д р о (*горячо*). Несчастный! Да если бы мне Церковь сказала, что у меня только один глаз, — я бы согласился и с этим, я бы уверовал и в это. Поэтому что хотя я и твердо знаю, что у меня два глаза, но я знаю еще тверже, что Церковь — не может ошибаться.

(Там же. Стр. 248—249)

Это — прямая аллюзия на краеугольный камень большевистского вероучения, на первую, главную заповедь каждого большевика: «Партия не может ошибаться. Партия всегда права»:

- ▶ Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права, потому что она есть единственный исторический инструмент, данный пролетариату для разрешения его основных задач... Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала...

(Л. Троцкий. *Новый курс*. М., 1923. Стр. 158—159)

Что говорить, сказано красиво. И в том, что впервые это было сформулировано именно Троцким, которому партия не замедлила продемонстрировать свою правоту самым на-

глядным, а потом и самым зловещим образом, как нельзя ярче проявилась жуткая ирония истории.

Но Троцкий только со свойственным ему литературным блеском оформил эту идею, придав ей форму чеканного афоризма. А подлинным ее автором был, разумеется, Ленин.

«Автором» — это слишком слабо сказано. Он был тем, кто воплотил эту идею в жизнь, сделал ее, в соответствии с главной догмой учения Маркса, *материальной силой*. Недаром Виктор Чернов, лидер враждующей с большевиками партии правых эсеров, сравнил его с Торквемадой:

- ▶ Ленин был большим человеком, он не просто был самым большим человеком в его партии; он был некоронированным, но заслуженным королем этой партии. Он был ее голова, ее воля, я бы даже сказал, был ее сердцем, если бы оба — он и партия — не подразумевали бессердечность как долг. Интеллект Ленина был энергичен, но холоден. Это был прежде всего иронический, саркастический и циничный интеллект. Ничто не было ему так чуждо, как сентиментальность... моральные или этические соображения в политике для него были мелочью, лицемерием, поповской проповедью. Политика для него означала стратегию, чистую и простую. Только победа заслуживала внимания. Воля ко власти и осуществление политической программы без компромисса — только это было добродетелью. Колебание было единственным преступлением.

.....

Со своими друзьями он был дружелюбным, добродушным, веселым и вежливым, каким должен быть хороший товарищ... Да, Ленин был добродушным, но быть добродушным еще не значит быть добросердечным. Он посвятил всю свою жизнь рабочему классу. Любил ли он рабочих? Вероятно, любил, хотя его любовь к ним была менее сильная, чем его ненависть к их угнетателям. Его любовь к пролетариату была такой же деспотической, суровой и безжалостной любовью, с какой сотни лет назад Торквемада сжигал людей для их спасения... Просто пассивная оппозиция к его пар-

тии в критический момент была достаточной причиной для него расстрелять сотни людей без рассмотрения.

*(Цит. по кн.: А. Авторханов. Происхождение партократии. Том 2. Frankfurt/Main, 1983. Стр. 147—153)*

Таковы были предпосылки для превращения политической партии, какой позиционировали себя большевики, в структуру, подобную структуре средневековой католической Церкви с «великим инквизитором» во главе. (В реальности его звали Торквемадой, у Замятина он носит другое имя — Мунебрага.)

Создателем этого «ордена меченосцев», подобного средневековому монашескому ордену тамплиеров, был, разумеется, Ленин. Но Ленин был чужд всякой мистики, «поповщину» ненавидел. А Сталин...

О Троцком Ленин говорил, что его меньшевистское прошлое не случайно. Так вот, о Сталине, — пожалуй, даже с большим основанием, — можно сказать, что не случайным было его «семинаристское» прошлое:

- ▶ Пленум ЦК поручил Сталину выступить на открывающемся 26 января 1924 года II Всесоюзном съезде Советов с речью «По поводу смерти Ленина». Произнесенная как проповедь священника с церковного амвона, речь эта была полна религиозной патетики и мистицизма, устанавливала новые каноны идолопоклонства партийных шаманов, взывающих к духу Ленина на церковном же языке. Сказывался бывший воспитанник духовной семинарии, но Сталин знал, что он делал. То была «политика дальнего прицела». Сталин сказал:

«Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина...

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена пар-

тии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою *заповедь*... И таких «клятв» Сталин насчитал еще пять... Каждая «клятва» кончалась по одному и тому же канону: «Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою *заповедь!*»...

Тот же II съезд, по предложению Сталина, подтвердил решение «тройки» не предавать труп Ленина земле, а, набальзамировав, поставить его как святыню в Мавзолей на Красной площади. Сам Сталин объяснил, почему атеиста и революционера Ленина набальзамировали, как древнеегипетского фараона: «Вы видели за эти дни *паломничество* к гробу товарища Ленина десятков и сотен тысяч трудящихся. Через некоторое время вы увидите паломничество представителей миллионов трудящихся... Можете не сомневаться в том, что за представителями миллионов потянутся потом представители десятков и сотен миллионов со всех концов света»... Слова, которые Сталин ввел сейчас в большевистский жаргон, означали, по изданному Академией наук СССР «Словарю современного русского литературного языка»: «*заповедь*» — «библейское или евангельское изречение», а по Далю: «*клясться*» — «давать клятву, божиться», «*паломник*» — «богомолец, бывший на поклонении у гроба Господня». Сталин намеренно превратил мавзолей Ленина в «гроб Господень», чтобы его именем освящать свою будущую инквизицию. Ленин, конечно, хотел, чтобы ученики продолжали его дело, но едва ли он согласился бы на создание ему культа нового бога. Слишком хорошо знавший Ленина в этом отношении, Троцкий писал: «Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии».

(Там же. Стр. 139—140)

На самом деле Ленин тоже уже был «главой церковной иерархии». Но Сталин, конечно, пошел дальше, гораздо дальше по этому ленинскому пути.



17 октября 1935 года, отдыхая в Сочи, Сталин решил ненадолго отправиться в Тифлис, чтобы повидаться с матерью.

Мать Сталина была совсем простая, неграмотная женщина, она весьма слабо представляла себе, кем стал ее сын, и вот какой на эту тему вышел у них разговор.

Она спросила:

- ▶ — Иосиф, а ты сейчас кто?
- Помнишь царя? Ну так вот, я что-то вроде царя.
- Было бы лучше, если бы ты стал священником, — вздохнула старушка.

Иосиф Виссарионович расхохотался.

*(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин. Двор Красного монарха. М., 2005. Стр. 198)*

Надо ли объяснять, почему наивная реплика матери вызвала у Иосифа Виссарионовича взрыв веселого смеха?

Был еще такой случай.

На всех съездах и конференциях борцов за мир, среди артистов, писателей, ученых и прочих представителей борющейся с поджигателями войны советской духовной элиты непременно мелькали два-три митрополита в рясах и высоких клобуках. Высшие иерархи Русской православной церкви еще во время войны были извлечены на свет и причислены Сталиным к сонму «советской общественности». В «борьбе за мир» они снова пригодились. Вид какого-нибудь такого митрополита, сидящего в президиуме очередного съезда, придавал мероприятию не только необходимую в таких случаях декоративность, но и служил как бы подтверждением широты и **беспартийности** развернувшегося всенародного движения.

И вот на одном таком съезде сидящий в президиуме митрополит передал председательствующему — Николаю Тихонову — записку, в которой уведомлял, что он, такой-то, учился некогда с товарищем Сталиным в духовной семинарии. И выражал робкую надежду, что, быть может, вожделю будет интересно с ним встретиться.

Тихонов сильно в этом сомневался, но на всякий случай

доложил. И Сталин отреагировал благосклонно. Встреча была назначена. И тут для митрополита настала пора мучительных колебаний: в каком виде предстать пред светлые очи вождя? В обыкновенном цивильном платье? Но это значило бы — унизить свой сан. В рясе и клобуке? В Кремль, к главному идеологу атеистического государства, корифею и признанному основоположнику безбожного коммунистического учения? Тоже не совсем удобно. Это может быть истолковано как некий вызов, — демонстрация нелояльности.

Промаявшись в этих сомнениях долгую бессонную ночь, митрополит решил все-таки идти на встречу с бывшим соучеником в штатском.

И вот, трепеща, он входит в кремлевский кабинет вождя. Тот поднимается ему навстречу.

Оглядев гостя, Сталин понимающе усмехнулся и, ткнув указательным пальцем в потолок, удовлетворенно произнес:

— Его не боишься? Меня боишься!

Веселый смех вождя в ответ на наивную реплику матери, что лучше бы ему стать священником, и эта его ухмылка по поводу того, что бывший его соученик, ставший священником, своего земного владыку боится больше, чем Отца Небесного, говорят как будто только о том, что Сталин ничуть не жалеет, что несостоявшуюся свою духовную карьеру променял на светскую, что он полностью этим удовлетворен.

Но это «чувство глубокого удовлетворения», которого он не мог скрыть ни в первом случае, ни во втором, было рождено не только тем, что должность «красного монарха», конечно же, несопоставима с жалкой участью священника, хотя бы и самого высокого ранга. Да, Сталин безусловно был доволен тем, что, вопреки желанию своей наивной, неграмотной матери, стал не священником, а «царем». Но это его самодовольство питалось еще и тем, что, будучи царем, он в то же время был и священником. И не просто священником, а **первосвященником** Церкви, стократ более могущественной и страшной, чем та, которую некогда возглавлял Торквемада.

В сравнении со Сталиным Торквемада (как и изображенный Замятиным Мунебрага) был великий гуманист. Но

кое-что у этого своего предшественника Сталин (как, впрочем, до него еще Ленин) перенял.

Главой католической Церкви, как известно, почитался Иисус, который сказал:

- ▶ Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много.

(Иоанн. 14:2)

В полном соответствии с этой заповедью герой драмы Замятина говорит, что его путь — это путь Христа, что он ни в чем не отступил от учения Христа.

Но у инквизитора на этот счет другая, своя логика. Для него — вопреки тому, чему учил Иисус, — существует только **одна обитель**, в которой надлежит молиться Христу и веровать в него. И каждый, кто *только помыслит* найти для себя другую обитель, другой путь к Христу, — подлежит казни.

Точно так же обстоит дело и в той «Церкви», первосвященником которой был сперва Ленин, а потом Сталин:

- ▶ Имелся в репрессиях и... религиозный подтекст. По указанию Сталина Вышинский на январском процессе 1937 года упрекнул обвиняемых: «Вы потеряли веру». Они потеряли веру и должны были за это умереть. Иосиф Виссарионович как-то сказал Берии: «Врагом народа является не только тот, кто устраивает акты саботажа, но и тот, кто сомневается в правильности партийной линии. Таких очень много, и мы должны их ликвидировать»...

На ужине после ноябрьских праздников вождь объявил, что любой человек, который посмеет ослабить мощь Советского государства «даже в своих мыслях, да, даже в своих мыслях», должен считаться врагом, и «мы уничтожим их, как клан».

(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин.  
Двор Красного монарха.  
М., 2005. Стр. 259—260)

Вот эту преемственность, это кровное родство Церкви, первосвященником которой стал Иосиф Сталин, с Церковью, первосвященником которой был Торквемада, провидел и обнажил Замятин в своей «исторической драме».

\* \* \*

Что говорить, основания для того, чтобы объявить эту вещь Замятина крамольной, заслуживающей осуждения, может быть, даже запрета, были серьезные. Но не настолько же, чтобы разбирательством этого пустякового дела занимался — в полном составе — весь синклит высших сановников государства!

Пьеса была напечатана в малотиражном альманахе «Литературная мысль», а чуть позже (в начале 1923 года) издательством «Мысль» еще раз — **на правах рукописи (!!!)**. Советская власть от появления в печати этой крамольной пьесы не рухнула, и, учитывая, сколько у членов Политбюро было тогда реальных, куда более важных государственных забот, дело вообще-то не стоило и выеденного яйца.

Но члены Политбюро отнеслись к нему с поразительной серьезностью.

Решение Политбюро («поручить Секретариату разослать [членам Политбюро] № 1 альманаха «Литературная мысль», в котором напечатана драма Замятина») было принято 14 декабря. А уже на следующий день — 15-го — секретарь Агитпропотдела ЦК РКП(б) В. Лядова сообщила В.В. Куйбышеву, что еще 8 декабря № 1 альманаха «Литературная мысль» был разослан В.И. Ленину, Л.Д. Троцкому, И.В. Сталину, Г.Е. Зиновьеву, М.П. Томскому, К.Б. Радеку, А.Б. Каменеву. И из-за нахождения А.И. Рыкова в командировке за границей ему он был отправлен неделей позже — 15 декабря.

Как я уже сказал, у членов Политбюро было тогда немало других государственных забот. Все эти их заботы нам тут не объять, но на главной стоит остановиться подробнее.

Именно в эти самые дни разыгралась, вернее, приняла особенно острый характер подковерная борьба больного Ленина со Сталиным. Незадолго до этого Ленин предложил Троцкому создать некий оборонительный и наступательный

союз против Сталина. По существу, решался вопрос о власти, — о том, кому быть преемником Ленина после его смерти, которая, — это было тогда уже очевидно, — была не за горами. Но, как это всегда бывало во всех их внутрипартийных разборках, борьба за власть и на сей раз приняла форму идейных, политических разногласий.

15 декабря 1922 года, помимо того, что в этот день альманах с пьесой Замятина дошел наконец до вернувшегося из заграничной командировки Рыкова, в высшем эшелоне партийно-государственной власти Страны Советов произошло еще одно, куда более важное событие:

- ▶ ...Ленин сообщил Сталину 15 декабря 1922 г., что он заключил «соглашение с Троцким о защите моих взглядов на монополию внешней торговли... и уверен, что Троцкий защитит мои взгляды несколько не хуже, чем я»... Сталин решил предупредить образование блока Ленин—Троцкий. Поэтому в письме к членам ЦК в тот же день Сталин пишет: «Ввиду накопившихся за последние два месяца новых материалов... говорящих в пользу сохранения монополии, считаю своим долгом сообщить, что снимаю свои возражения против монополии внешней торговли»... Разумеется, «новые» материалы были те же самые старые материалы, но новым во всем политическом развитии партии был этот явно обозначившийся, для дела Сталина очень опасный блок Ленина и Троцкого. Его надо было любой ценой предупредить. Для Сталина, как для «тройки» вообще, Троцкий, действующий по мандату Ленина, был хуже, чем сам Ленин. Партия наглядно увидела бы, кого Ленин метит в свои преемники...

Троцкий пишет, что «Ленин чуял, что в связи с его болезнью, за его и за моей спиной плетутся пока что почти неуловимые нити заговора. Он готовился дать «тройке» отпор» (Л. Т р о ц к и й. Моя жизнь, ч. II. Стр. 212). Последние недели перед вторым ударом Ленин беседует с Троцким, предлагая Троцкому стать заместителем. Троцкий отказывается (это подтверждают и официальные партийные документы)...

Ленин настаивал, во время новой встречи, на своем предложении, говоря, что «нам нужна радикальная личная перегруппировка» — и что новое положение помогло бы Троцкому «перетряхнуть» аппарат. Когда в ответ Троцкий сказал, что все зло заключается не столько в государственном бюрократизме, сколько в партийном и во взаимном укрывательстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей, то, «чуть подумав, Ленин поставил вопрос ребром: «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК»... Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. «Пожалуй, выходит так». — «Ну, что ж, — продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали существо вопроса, — я предлагаю вам блок...» — «С хорошим человеком лестно заключить хороший блок», — сказал я. Мы условились встретиться снова через некоторое время... Он намечал создание комиссии ЦК... Мы оба должны были войти туда. По существу эта комиссия должна была стать рычагом разрушения сталинской фракции» (Л. Троцкий и. Там же. Стр. 216—217). Троцкий даже не подозревает, какой это великий комплимент по адресу Сталина, что признанные вожди октябрьского переворота — Ленин и Троцкий — должны заключить блок, чтобы свергнуть одного Сталина!

(А. Авторханов. *Происхождение партократии.*  
Том 2. Frankfurt/Main, 1983. Стр. 13—15)

В результате этих ленинских маневров по вопросу о монополии внешней торговли «тройка» (Сталин, Каменев, Зиновьев) капитулировала, о чем Ленин с удовлетворением писал Троцкому:

- ▶ Как будто удалось взять позиции без единого выстрела простым маневренным движением. Я предлагаю не останавливаться и продолжать наступление.

(В.И. Ленин. ПСС, т. 54. Стр. 327—328)

Но 13 декабря в состоянии здоровья Ленина произошло ухудшение. В этот день у него было два тяжелых приступа, 15—16 декабря наступило еще более резкое ухудшение, а в ночь с 22 на 23 декабря его хватил второй удар с параличом правой руки и ноги.

23 декабря Ленин просит врачей разрешить ему в течение пяти минут продиктовать стенографистке нечто важное. Меня, — говорит он, — «волнует один вопрос». Но врачи (и, разумеется, Сталин, на которого ЦК возложил персональную ответственность за соблюдение режима, установленного для Ленина врачами) ему в этом отказывают. И тогда он предъявляет ультиматум: если ему не разрешат несколько минут в день диктовать свой «дневник», он перестает лечиться.

Ультиматум подействовал: разрешение было получено, и в тот же день — 23 декабря — он начал диктовать свое знаменитое «Завещание».

Все эти события происходили в те самые дни, когда, выполняя постановление Политбюро от 14 декабря, «водители» должны были ознакомиться с напечатанной в разосланном им альманахе «Литературная мысль» исторической драмой «Огни Святого Доминика» и окончательно решить судьбу ее автора.

Вряд ли им было тогда до Замятина.

Но постановление 14 декабря не предполагало вторичного рассмотрения вопроса. Вопрос, в сущности, был уже решен:

- ▶ Если никто из членов Политбюро не потребует пересмотра вопроса к следующему заседанию Политбюро, Замятина выслать.

Никто из членов Политбюро пересмотра вопроса, как видно, не потребовал. Об этом мы можем судить по нескольким выразительным документам.

Документ первый: выписанная 15 января 1923 года ПОВЕСТКА, предписывающая гр-ну Замятину 17 января явиться «в Контр-Разведывательный Отдел ГПУ».

Документ второй: сохранившаяся его расписка за заграничные паспорта. На ней та же дата: 17 января 1923 года.

Вопрос о высылке, следовательно, уже решен.

Но из следующего документа, — заявления Замятина в соответствующую инстанцию, — следует, что после этого ему была дана отсрочка на два месяца — до 1 апреля. На этом заявлении — резолюция:

- ▶ Ввиду неполучения распоряжения из Москвы ГПУ — записка носит частный характер. 6-го февраля должен выехать.

*(Григорий Файман. «И всадили его в темницу...»  
Новое о Замятине. Сборник материалов под  
редакцией Леонида Геллера. М., 1997. Стр. 86)*

Москва подтвердила, что двухмесячная отсрочка была ему действительно дана.

О том, как развивались события дальше, можно судить по еще двум сохранившимся документам.

Один из них, — письмо, адресованное небезызвестному «Янечке Агранову», — носит не совсем официальный, скорее даже частный характер:

- ▶ Уважаемый т. Агранов.

Когда в конце января тек. г. я, при Вашем содействии, обратился в Г.П.У. с просьбой отсрочить мой выезд за границу, я просил отсрочки до начала навигации, чтобы ехать пароходом и избежать трудностей международного пути. В качестве вероятного срока открытия навигации — я указывал первую половину апреля; прошлые годы так это и было, но в этом году совершенно необычно затянувшиеся морозы делают возможным открытие навигации только в первой половине мая, может быть даже 10—15 мая.

Ввиду этого я очень просил бы Вас помочь мне продлить полученную отсрочку — до времени отхода первых пароходов линии Петроград — Штеттин, т. е. примерно до 10 мая.

От того, что я пробыв зиму не за границей, а в России — никакого худа для России не было, а может быть, даже и кое-какая польза — от моей работы во



«Всемирной Литературе» и в Политехническом Институте. Никакого худа, разумеется, не выйдет и от того, что я пробуду здесь и еще короткое время. А для меня это продление отсрочки очень важно, так как, помимо всего прочего, мне приходится везти с собой за границу больную (туберкулезом) жену, которую мне нужно было бы обставить в пути возможно более сносно.

Любезно оказанное Вами мне в январе с. г. содействие в исходатайствовании отсрочки — позволяет мне рассчитывать на Вашу помощь и теперь. Ввиду срочности вопроса ответ, если возможно, просил бы протелеграфировать по адресу: Петроград, Моховая, 36, кв. 4, мне.

При этом письме прилагаю официальное заявление о продлении отсрочки.

*Евг. Замятин*

14 — III — 1923

*(Там же. Стр. 85—87)*

А вот приложенное к этому письму официальное заявление:

▶ В Г.П.У.

В конце января с. г. я обращался в Г.П.У. с просьбой об отсрочке моего выезда за границу до открытия навигации, причем на основании примеров прошлых лет вероятным сроком открытия таковой я указывал первую половину апреля. Необычно затянувшиеся морозы делают возможным открытие навигации — по наведенным справкам — только около 10—15 мая.

Ввиду этого прошу не отказать в продлении до указанного срока предоставленной мне ранее отсрочки — чтобы дать возможность выехать с одним из первых пароходов линии Петроград — Штеттин. Это избавило бы меня от лишних расходов по оплате добавочных (при сухом пути) виз, стоимости железнодорожных билетов и провоза багажа; расходы эти — для

меня вопрос существенный, так как живу я только на то, что заработано моим трудом. Кроме того, возможность ехать на пароходе, а не по железной дороге, важна для меня еще и потому, что меня сопровождает за границу моя жена — больная (туберкулезом), для которой мне нужно было бы обставить поездку возможно более благоприятно.

О решении прошу не отказать уведомить меня по адресу: Петроград, Моховая, 36, кв. 4.

*Евг. Замятин*

14—III—1923

*(Там же. Стр. 87—88)*

Судя по этим двум идентичным обращениям, Евгений Иванович не сомневался, что его высылка из страны — дело решенное. И хлопотал только о том, чтобы отъезд состоялся в наиболее предпочтительной для него форме и в удобные ему сроки. Знал бы, что дело еще может обернуться и по-другому, наверно, не стал бы медлить с отъездом и добиваться все новых и новых отсрочек.

Но тут действовал все тот же, уже знакомый нам закон подлости: если «клиент» хочет быть высланным, надо в этом ему отказать, а если он почему-либо в указанные ему сроки выезжать не хочет, значит, надо его выслать как можно скорее, лучше всего — немедленно.

В полном соответствии с этой садистской логикой на официальном обращении Замятина в ГПУ появилось —

## ► ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку антисоветская деятельность гр. ЗАМЯТИНА установлена, нельзя быть уверенным в том, что отсрочки выезда из пределов РСФСР не будут им использованы для своей настоящей подготовки к будущей вредной деятельности.

Соображения же, приводимые им о продлении отсрочки, как стесненное материальное положение и болезнь жены (туберкулез), не могут служить серьез-

ным препятствием к немедленному выезду, а посему полагаю: Ходатайство гр. ЗАМЯТИНА отклонить, о чем сообщить, для соответствующего исполнения, Петроградскому Губотделу ГПУ.

*(Там же. Стр. 88)*

Под заключением этим стоит дата: 27 марта 1923 года. И резолюция непосредственного начальника того, кто составил эту бумагу: «Согласен». Но 4 апреля того же года на той же бумаге появилась другая резолюция — начальника рангом повыше: «Отсрочить до начала навигации».

То ли поспособствовал «Янечка», к которому Евгений Иванович обращался с частным письмом, то ли сыграли роль еще чьи-то хлопоты.

Как бы то ни было, дело затянулось. И тянулось — в том же режиме качающегося маятника — еще аж **полтора года!** Пока вдруг не разрешилось совершенно неожиданным образом:

#### ► ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*8 августа 1924 года*

Дело гр-на ЗАМЯТИНА считать следствием законченным, а посему подлежащим сдаче в архив.

*(Там же. Стр. 88)*

Как видно, хлопоты его высоких покровителей (Воронского?) в конце концов все-таки увенчались успехом.

Был ли Евгений Иванович доволен таким исходом? Трудно сказать. Может быть, так устал от этого качающегося маятника, что даже вздохнул с облегчением. Хотя, конечно, понимал, что на Родине, где в конце концов ему разрешили остаться, ничего хорошего его не ждет.

## Сюжет второй «ПРИГОВОРЕННЫЙ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ...»

Эта фраза — из того же письма Замятина Сталину (*документ № 12*), из которого была взята реплика, ставшая заглавием первого сюжета.

Почему он называет себя приговоренным к высшей мере, Замятин в этом своем письме объяснил так:

- ▶ Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.

*(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 153)*

Виктор Борисович Шкловский однажды, когда речь зашла об отношении высокого советского начальства к писателям, выразился так:

— Оценки они нам ставят не за успехи, а за поведение.

У Замятина поведение было самое плохое, поэтому на успех у начальства ему рассчитывать было нечего. Какие у него могли быть успехи, если даже просто напечататься почти никогда не удавалось.

Но одна его вещь все-таки принесла ему успех, и даже довольно громкий.

Это была его пьеса «Блоха», написанная на сюжет лесковского «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе». Это была не инсценировка знаменитого лесковского «Левши», а именно пьеса — самостоятельное художественное решение классического сюжета.

Принятая к постановке и поставленная на сцене Второго МХАТа эта замятинская пьеса была обречена на успех. Не только потому, что была она блистательно талантлива. Не мог не стать ослепительной удачей театра спектакль, в создании которого участвовали — не говоря уже о Лескове — драматург Замятин, режиссер-постановщик Алексей Дикий и художник Борис Кустодиев.

Это было воистину счастливое соединение художников не просто близких, но в полном смысле этого слова конгениальных:

- ▶ Декорации должен был делать Н. П. Крымов, человек, оформлявший много спектаклей в МХТ, великолепный пейзажист, знаток русской природы и быта. Он работал с увлечением, тщательно, а эскизы представил довольно поздно, когда работа входила в решающую стадию. Эскизы были великолепные. С полотна глядела на нас русская уездная «натуральная» Тула: низенькие хатки, побуревшие крыши, серое осеннее небо, хмурые тучки, голые, облетевшие деревья, на одном из них — черная намокшая ворона. Повторяю, это было прекрасно, но совсем не то, что нужно было нам.

Ведь мы мыслили себе «Блоху» как балаганное представление, лубок, почему-то высокомерно заброшенный в наше время. Все события этой смехотворной, шутейной истории как бы даны были через представ-

ление ее воображаемых исполнителей — неграмотных, бойких, веселых и дерзких народных потешников-скоморохов. Не случайно у нас вели спектакль так называемые халдеи (двое мужчин и женщина — последнюю великолепно играла С.Г. Бирман), перевоплощавшиеся по ходу действия то в англичан, то в лекаря-аптекаря, то в деревенскую девку Машку, то в чопорную англичанку Мерю. Весь спектакль должен был стать игровым, шутейным, пряничным, и потому мне нужны были не натуральные, а лубочная Тула, лубочная Англия и лубочный Петербург. Я заявил на Художественном совете, что бракую эскизы Крымова, несмотря на их высокое качество. Был целый переполох, и меня предупредили, что в случае неудачи второго художника все издержки будут отнесены на мой счет. Я согласился, хотя у меня не было никаких денег. Зато к тому времени я уже точно себе представлял, какой художник нужен для оформления задуманного нами спектакля «Блохи». Решено было обратиться к Б.М. Кустодиеву, тогда уже больному, наполовину парализованному, жившему постоянно в Ленинграде. Занятый по горло репетициями, я не мог вырваться ни на один день в Ленинград, и к Кустодиеву поехал Замятин.

Прошло совсем немного дней (почти рекордный срок для художника), и Кустодиев прислал в Москву эскизы — полутораметровый ящик, набитый сверху донизу. Когда его вскрыли, в дирекции собрались все, кто в это время был в театре. Было известно, что коллектив «Блохи» в цейтноте, что от художника теперь зависит, быть или не быть спектаклю, а переделывать — времени нет. Попал или не попал?

Затрепала крышка, открыли ящик — и все вдруг ахнули. Это было так ярко, так точно, что моя роль в качестве режиссера, принимавшего эскизы, свелась к нулю — мне нечего было исправлять или отвергать. Как будто он, Кустодиев, побывал в моем сердце, подслушал мои мысли, одними со мной глазами читал лесковский рассказ, одинаково видел его в сценической

форме. Он все предусмотрел, ничего не забыл, вплоть до расписной шкатулки, где хранится «аглицкая нимфозория» — блоха, до тульской гармошки-ливенки, что вьется, как змея, как патронная лента через плечо русского умельца Левши.

Никогда у меня не было такого полного, такого вдохновляющего единомыслия с художником, как при работе над спектаклем «Блоха». Я понял весь смысл этого содружества, когда на сцене встали балаганные, яркие декорации Кустодиева, появились сделанные по его эскизам бутафория и реквизит. Художник повел за собой весь спектакль, взял как бы первую партию в оркестре, послушно и чутко зазвучавшем в унисон. Приученный еще в студийные годы манкировать формой, «нейтрально» одевать спектакли, я, кажется, впервые понял, что такое принципиальное единство в театре, когда все компоненты спектакля бьют по единой цели, как безошибочно меткий стрелок.

*(А.Д. Дикий. Повесть о театральной юности.  
В кн.: Алексей Дикий. Избранное. М., 1975.  
Стр. 398—399)*

Зрители приняли спектакль восторженно, а критика — скорее кисло, о чем режиссер-постановщик после премьеры сообщил автору без особого огорчения:

▶ А.Д. ДИКИЙ — Е.И. ЗАМЯТИНУ

*До 12 марта 1926 г.  
Москва*

Дорогой мужественный старик!  
«Блоха» делает сборы. Пресса, как и полагается ей, ни черта не поняла в этом спектакле и своим разнообразием только усилила интерес к спектаклю.

*(Там же. Стр. 391)*

Разнобой, о котором пишет в этом письме Алексей Денисович, состоял не в том, что мнения критиков о спектакле разошлись — одни хвалили, другие ругали. Это как раз было

бы понятно и даже вполне нормально. Но то-то и дело, что все критики были на редкость единодушны. Спектакль они дружно хвалили. А разноречивой заключался в том, что все «пирог и пышки» при этом достались режиссеру, актерам, художнику. А автору пьесы — «синяки и шишки».

14 февраля 1925 года, сразу после премьеры, в «Правде» появилась статья П.М. Маркова. Тон был задан уже с самых первых ее строк:

- ▶ Как будто все обстояло благополучно в этом затейливом спектакле и даже дань «современности» была отдана. Инсценировщик и постановщик добродушно и немного запоздало подсмеивались над царем и бюрократами. Талантливый Замятин самоотверженно, с искусством большого мастера слова распространил маленький рассказ Лескова «Левша» до размеров балаганного «увеселительного военно-драматического представления в 4-х переменах» под наименованием «Блоха». Не менее талантливый Кустодиев нарисовал пышные декорации и дал остроумные костюмы. Режиссер Дикий изобретательно и темпераментно построил на основе сценария Замятина своего рода лубочную «Турандот» с многочисленными вариациями и, как гласит стилизованная афиша, «разными превращениями и танцами». Талантливые актеры смешно и затейливо исполняли в преувеличенной манере «Летучей мыши» свои роли; узкая форма лубка тесно ограничивала их возможности, и они в ряде актов были принуждены повторять вариации на тему одного и того же положения: Дикий (Платов) и Попов (Царь) были в этих пределах весьма красочны и играли с огромным юмором. Успех спектакля у так называемой «большой публики» обеспечен, и слава о затейливом искусстве МХАТ-2 широко распространяется.

Однако этот веселый спектакль оставляет в конечном итоге существенную неудовлетворенность. Дело не только в том, что самонадеянная мечта расширить рассказ Лескова о Левше, подковавшем заморскую



механическую блоху, до пределов большого спектакль бесплодна...

Когда-то у Первой студии был один существенный вопрос при постановке пьес: «Во имя чего она ставится?» На такой вопрос спектакль «Блоха» не отвечает. Вероятно, театр интересовала тема России. Но России-то и не было, театр заблудился между стилизованной лубочной «Расею» и сказочной «Матушкой-Русью». За стилизованной «Расею» не было слышно крестьянской России. Театр повернул спектакль к мифической «Матушке-Руси», к тоскливому изображению «судьбы природного русского гения». Сознаемся, что и здесь Россия была слышна в малой степени. Миф остался мифом. Но сила актерского исполнения не могла оставить зрителя равнодушным... Этот гладкий, хорошо сфабрикованный, но бесплодный и в корне неверный спектакль звучит тревогой за судьбу МХАТ-2.

*(Там же. Стр. 393)*

Примерно так же в те же дни высказались и «Известия» статьей известного в то время театрального критика Х.Н. Херсонского:

- ▶ Басню театр пересказал в форме стилизованного народного русского балагана, красочно и остроумно, объединив удачно таланты художника, режиссера и писателя, чувствующих стиль национального лубка старой «Расеи». Правда, эта стилизация лубочной «Расеи» нас теперь не захватывает за живое, и мы, по существу, остаемся равнодушными к столь далекой от сознания нашего старенькой игрушке эстетного национализма и народничества, так далеко дореволюционного!..

Отдельные места этого увеселительного представления в режиссерском отношении сделаны блестяще, с едкой и веселой сатирой.

Гораздо менее мы склонны увеселяться лубочным изображением мужичков-туляков — изображением, столь чуждым нашему обращению лицом к современ-

ной деревне, но и здесь лубочное зрелище сделано также по-своему мастерски. Стилизованные декорации Кустодиева «местности около Тулы» талантливы, костюмы и мизансцены остроумны. Удачно сочетались они с музыкальными и песенными мелодиями. Но не во всем этом суть. Не в игрушках. Россия самодержавная жива в нашей памяти болью и цепями. Шутить о ней, и только шутить — будет невесело. Суть в «душе» человечьей.

Ради нее и ставился спектакль. Не ради балагана. Балаган скоро перестает увеселять, и в спектакле сознательно просачивается грусть-тоска. О чем? О «судьбе-индейке» и «жизни-копейке» крестьянского пьяненького гения дореволюционной Руси. О народных талантах, погибших в безалаберности, невежестве и тьме самодержавной Расеи. Эта тоска и любовь, узывная любовь к родному народному воздуху, Расеи подсолнухов, гармошки, тоскливых горьких песен, — «она, моя любимая», — это разбивает побрякушку балагана...

Театр оказался на распутье между веком нынешним и веком минувшим. С одной стороны, он вбивает осиновый кол в спину старой Расеи, вводя заключительную горькую и жестокую сцену с городовыми — «фараонами», избивающими... и утопляющими в питерской мутной Неве горемыку-Левшу. А с другой стороны, окончив все увеселительные и едкие шутки, провозглашает вечное «воскресение» несчастенького, пьяненького Левши, — под звуки гармошки он выходит сухим из воды, — «он жив и будет жить, пока солнце светит, пока земля стоит!»... Идея спектакля — любовь к национальному крестьянскому гению — обернулась только печалью о его горькой судьбине! Но как все это, однако, далеко от «века нынешнего»!

*(Там же. Стр. 392)*

Все это было в духе того времени, когда все русское почиталось чуть ли не белогвардейщиной. Не говоря уже о том,

что уже само одиозное имя Замятина обрекало спектакль, поставленный по его пьесе, на неизбежный идейный разгром. Еще слава богу, что разгром этот был не такой уж сокрушительный: не только для режиссера, актеров и художника, но даже и для автора пьесы у рецензентов нашлись какие-то — сквозь зубы — произнесенные снисходительно-добрые слова. Сам же тон и, так сказать, идейная направленность этих критических откликов ни в малой мере нас не удивляет.

Удивляет другое: то, что к этой брюзгливой оценке в конце концов присоединился влюбленный в замятинскую пьесу и с наслаждением ее ставивший А.Д. Дикий.

Припомнив слова рецензента о том, что театр будто бы «провозглашает вечное «воскресение» несчастенького, пьяненького Левши», он словно бы и возражал критиковавшим спектакль — и в то же время с ними соглашался:

- ▶ Но это как раз не было грехом... Грех был в другом. Ведь у Лескова Левша — только иронический герой. Ведь и он предстает перед беспощадным судом писателя, вызывает его сдержанный гнев. Хотел того Лесков или не хотел, но он видел ясно: унизительна, позорна смиренность русского простого человека перед сильными мира сего; горька его безграмотность, глупо, бесцельно гибнет в условиях царской действительности его прирожденный талант. В конце концов блоху испортили: подкованная, она утратила точность своей конструкции, математические пропорции, разучилась прыгать, не стала играть (а играла она в спектакле «яблочко» на «аглицкий» манер). Не случайно лесковский рассказ кончается трагически: запивший Левша тонет в Неве. Мы же наивно сочли, что такой финал будет оскорбительным для нашего героя, что по всей логике комедийного зрелища он должен оставаться победителем, и потому в «Блохе» Левша возникал под занавес, как феникс из пепла, что было верно по отношению к жанру лубка, зато сомнительно в смысле идейном и уже совершенно неверно по отношению к автору, который, думается мне, не случайно разрезал

ярмарочную суету балагана трагическим исходом ска- за о блохе.

Кое-кто из современников спектакля нащупывал эту его слабую струну. Мелькали в газетах обидные фразочки о том, что у театра «глаза оказались сзади», что он повторяет в своем спектакле буржуазный миф о мудрости «нищего духом», возрождает старую ин- теллигентскую мечту «о мужичке». Идеализируя свое- го Левшу, мы доказали тем самым, что еще не крепки, как выразились бы теперь, в социалистической идео- логии, что мы пока что не все понимали в новом мире, окружавшем нас. Мы наивно думали, что гибель героя разрушит идейные начала спектакля, и в этом мы бы- ли неправы...

*(Там же. Стр. 404)*

Все это, правда, Алексей Денисович написал много лет спустя, вспоминая о своей театральной юности. И время то- гда уже было другое. И сам он уже был другой. Не оглядыва- ясь на разные печальные и даже драматические страницы его биографии, достаточно сказать, что к тому времени он уже сыграл в знаменитых тогда фильмах не только Кутузова и Нахимова, но и — дважды — самого Сталина, за что удо- стоился двух Сталинских премий.

Сталина он сыграл в фильмах «Третий удар» и «Сталин- градская битва». И сыграл смело, отважившись представить вождя без акцента, чем, вопреки страхам кинематографиче- ского начальства, вызвал милостивое благорасположение от- ца народов.

Я, помню, тогда был уверен, что Дикий решил играть Сталина без грузинского акцента не по каким-нибудь там эстетическим соображениям, а потому, что ему было сказа- но, что ТАК НАДО. Во всяком случае, в отличие от киношно- го начальства, которое (об этом я узнал позже) это дерзкое решение встретило с испугом, я точно знал, что СТАЛИНУ ЭТО НРАВИТСЯ.

Я не сомневался в этом, потому что хорошо помнил, как в день победы над Японией Сталин сказал: «Мы, русские лю- ди старшего поколения, сорок лет ждали этого дня».

Тогда, услышав эту фразу, я был возмущен. Меня ведь учили, что русско-японская война обнажила всю гнилость царского самодержавия, и это было хорошо. Недаром же большевики занимали в той войне пораженческую позицию. Фраза Сталина, причислившего себя к русским людям старшего поколения, которые восприняли поражение России в той войне как личную травму и сорок лет мечтали о реванше, была в моих глазах предательством. Она означала, что Сталин больше не считает себя большевиком. (Так оно, в сущности, и было.)

Но теперь в этой сталинской фразе мне слышалось совсем другое: мне показалось, что, назвав себя русским человеком старшего поколения, Сталин был искренен. Им двигали, — думал я теперь, — не только политический расчет, не только желание потрогать национальным (а также имперским) чувствам и настроениям народа. Это была, как мне показалось, подлинная, самая что ни на есть искренняя его самоидентификация. И это меня даже тронуло.

Много лет спустя, прочитав книгу Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу», я узнал, что не слишком тогда обманывался на этот счет.

- ▶ Грузинское, — вспоминает Светлана о своем детстве, — не культивировалось у нас в доме, отец совершенно обрусел... Брат мой Василий как-то сказал мне в те дни: «А знаешь, наш отец **раньше был** грузином».

И в другой главе той же книги:

- ▶ Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы всё русское.

Эту свою любовь к России и ко всему русскому он полагал взаимной. Где-то (кажется, у Авторханова) я прочел, что, когда Берия заменил всю его охрану специально вызванными для этой цели грузинами, он немедленно отменил этот приказ, озадачив Лаврентия таким раздраженным вопросом:

— Что же, по-твоему, русские меньше любят товарища Сталина, чем грузины?

Я чувствовал, что Сталину нравится видеть и ощущать себя не грузином, а именно вот — «русским человеком старшего поколения». И не без некоторых к тому оснований подзревал, что его грузинский акцент, от которого он до последнего своего дня так и не смог избавиться, ему самому давно уже был в тягость. Поэтому-то ему и понравился (не мог не понравиться!) Дикий.

Рассказывали, что Сталин не только принял, одобрил и поощрил смелое актерское решение А.Д. Дикого, но даже удостоил артиста аудиенции.

Был накрыт маленький столик, на котором утвердился бутылка хорошего коньяка и скромная закуска. Как рассказывали, совсем скромная: лимон, еще какие-то мелочи.

Чокнулись, выпили, закусили.

Сталин сказал:

— Как вам удалось так замечательно меня сыграть? Ведь мы с вами до сегодняшнего дня ни разу не встречались.

— А я играл не вас, — будто бы ответил Алексей Денисович.

— ???

— Я играл представление народа о вожде.

И Сталину такой ответ будто бы очень понравился.

История эта «пошла в народ», разумеется, со слов Дикого, и не исключено, что, рассказывая о своей встрече с вождем, Алексей Денисович кое-что и приукрасил. А может быть, это — легенда, миф. Может быть, ничего такого вовсе даже и не было.

Но скорее всего — было. Уж очень это похоже на Сталина. На его отношение к «образу вождя»:

- ▶ Приемный сын Сталина, Артем Сергеев, вспоминал, что вождь сердился на своего родного сына Василия, так как тот использовал его фамилию.

— Но я тоже Сталин, — говорил Василий.

— Нет, ты не Сталин, — гневно возразил его отец. — Ты не Сталин, и я не Сталин. Сталин — это советская власть! Сталин — это то, что пишут о нем в газетах и

каким его изображают на портретах. Это не ты, и даже не я!

*(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин. Двор Красного монарха. М., 2005. Стр. 15)*

Как бы то ни было, Дикого Сталин обладал. За созданный им небанальный «образ вождя» не только наградил его двумя Сталинскими премиями, но даже на время заменил им своего любимца Геловани.

Луч сталинской благосклонности, озаривший Алексея Денисовича, коснулся и Замятина:

► ИЗ СТАТЬИ ОБ А.Д. ДИКОМ  
В «ТЕАТРАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»:

Одна из наиболее значительных работ Дикого — постановка на сцене МХАТа 2-го спектакля «Блоха» Замятина (по Лескову, худ. Б.М. Кустодиев, 1925). Ощущательный в стиле озорной, веселой народной игры, балаганной буффонады, этот спектакль поражал смелостью решения, богатством фантазии, взволнованностью и любовью к русскому умельцу Левше, к русской земле. В «Блохе» Дикий с великолепным мастерством и размахом играл роль казака Платова. («Я ужасно люблю эту роль, — писал Дикий, — и играл ее всегда с удовольствием»).

*(Театральная энциклопедия. Том 2. М., 1963.  
Стр. 440)*

И — ни звука о том, что это был «бесплодный и в корне неверный спектакль», внушавший «тревогу за судьбу МХАТ-2», ни о том, что создатели его были «не крепки в социалистической идеологии».

Нелишним тут будет отметить, что главным редактором этой «Театральной энциклопедии» был тот самый П.А. Марков, который без малого тридцать лет тому назад опубликовал в «Правде» ту кислую и отчасти даже разоблачительную рецензию на этот, как теперь выяснилось, «поражающий смелостью решения, богатством фантазии, взволнованно-

стью и любовью к русскому умельцу Левше и к русской земле» спектакль.

В том же томе той же «Театральной энциклопедии» была помещена маленькая статейка и о самом Замятине, в которой, между прочим, говорилось:

- ▶ В 1925 на тему повести Н.С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» Замятин по заказу МХАТа 2-го, при участии руководства театра и прежде всего А.Д. Дикого, написал пьесу «Блоха». Решенная в плане народного балагана, насыщенная яркой буффонадой, пьеса высмеивает отсталость царской России и мещанскую ограниченность буржуазной Англии, прославляет народных умельцев; образы ее носят гротесковый характер. Замятину принадлежат драма «Огни святого Доминика» (1923) и трагедия «Атилла» (1928).

*(Там же. Стр. 737)*

О том, что являла собой драма Замятина «Огни Святого Доминика» и какую она вызвала в свое время реакцию у «советских вождей», мы уже знаем. А о печальной судьбе своего «Атиллы» Замятин писал Сталину:

- ▶ Пьеса была принята к постановке театром, была разрешена Главреперткомом, а затем... затем пьеса, уже наполовину срететированная театром, уже объявленная на афишах, — была запрещена по настоянию ленинградского Облита.

Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение.

*(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 155)*

И вот — об этих самых «Огнях Святого Доминика» и об этом самом «Атилле» говорится хоть и без реверансов и комплиментов, но и без малейшего намека на ту хулу, какая неизменно сопутствовала каждому упоминанию имени Замя-



тина в печати: в спокойном, корректном, сдержанно академическом тоне, как о каком-нибудь Треневе или Погодине.

Как, бывало, говорил мой отец, когда ему в очередной раз казалось, что советская власть слегка ослабила свою железную хватку, — «жидивьска вера полегчила». Но Евгению Ивановичу Замятину даже и до этого, еще такого робкого смягчения нашего социального климата дожить не довелось.

\* \* \*

Идеологическая кампания, вошедшая в историю под названием «Дело Пильняка и Замятина», была первой в ряду других идеологических погромов, оставивших незаживающие кровавые рубцы на растерзанном теле замордованной российской словесности (и не только словесности). Вспомню лишь главные из них: статья «Правды» об опере Шостаковича «Катерина Измайлова» и начавшаяся после нее так называемая «дискуссия» о формализме; постановление ЦК 1946 года о Зощенко и Ахматовой; статья «Правды» 28 января 1949 года «Об одной группе театральных критиков», с которой началась прокатившаяся по всей стране кампания по борьбе с «безродными космополитами»; наконец, «дело Пастернака», словно бы прямо скопированное с «дела Пильняка и Замятина», а чуть позже — «Дело Синявского и Даниэля».

Кампания 1929 года была не только первой в этом ряду. Она стала моделью, по которой создавался сценарий и разыгрывалось действие каждого из этих идеологических погромов, череда которых обозначает главные вехи всей трагической истории нашей культуры под властью большевиков.

Но значение «Дела Пильняка и Замятина» выходит далеко за пределы культурного (антикультурного) события. Оно обозначило не только культурный, общественный, но, можно сказать, общеисторический поворот. Это была важная составляющая того — уже безальтернативного — выбора, который в 1929 году сделал Сталин. Недаром этот год был им назван **годом великого перелома**.

Этот сталинский термин обычно привязывают к началу коллективизации. Да и сам Сталин как будто привязал его именно к этому событию, о котором он сказал, что по глуби-

не и мощи, по своим последствиям для страны этот переворот даже превосходит революцию 1917 года.

Начало коллективизации, обозначившее конец НЭПа и полное закрепощение (по существу, уничтожение) крестьянства, было, конечно, главным событием «года великого перелома», определившим всю будущую историю и самую природу сталинской «империи зла». Но 1929 год был отмечен и другими событиями, если и не сравнимыми с этим по значению, то, во всяком случае, не менее знаковыми.

В этом году из страны выслали Троцкого.

21 декабря этого же года страна с большой помпой отпраздновала 50-летие Сталина.

Оба эти события, вроде никак меж собою не связанные, говорят о том, что именно в этом году Сталин стал единовластным вождем коммунистической партии и советского государства. Кончилась эпоха «вождей», эпоха так называемого «коллективного руководства», эпоха внутривластных дискуссий и оппозиций, а по существу — подковерной борьбы за власть. Отныне в стране был только один вождь: Сталин. И это было удостоверено официальным титулом, которого он был удостоен именно в этом году: «Сталин — это Ленин сегодня».

Казалось бы, игра сыграна. Цель, к которой он упорно стремился все эти годы, достигнута, и больше ему уже нечего желать.

Но Сталина такое положение дел не устраивало.

Ленин, конечно, был признанный вождь партии, и авторитет его был велик. Но этот его авторитет не был непререкаем.

Достаточно вспомнить хоть некоторые из выступлений делегатов XI съезда партии большевиков, — последнего, в котором Владимир Ильич принимал участие:

Из выступления делегата Рязанова:

- По Ленину выходит, что коммунистическая партия для всего того нового положения, в котором приходится работать, «абсолютно не годится»... Каков строитель, такова и обитель.

*(Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1961. Стр. 79)*

Из речи делегата Преображенского:

- ▶ Тов. Ленин больше занимался совнаркомовской вермишелью, игнорируя партийную работу.

*(Там же. Стр. 85)*

Из выступления делегата Ларина:

- ▶ Речь т. Ленина была очень хороша тем, что сказал ее он, то есть он выздоровел и был здесь. Но если отнять от нее это главное ее достоинство, то останется немного... Порядки, которые критикует т. Ленин, он же сам и установил.

*(Там же. Стр. 112)*

Не такой человек был Сталин, чтобы позволить разговаривать с собой подобным образом — не только делегатам съезда, но и членам ЦК, и даже членам Политбюро.

Да он и в другом тоне не хотел с ними разговаривать. Он хотел, чтобы они перед ним **трепетали**.

Говоря проще, он хотел быть **не вождем, а диктатором**.

В 1929 году в Политбюро были уже одни только сталинцы. Но на пути к абсолютной власти Сталину пришлось разными способами устранить — даже уничтожить физически — и этих, бесконечно преданных ему соратников: Кирова, Орджоникидзе, Куйбышева, Косиора, Постышева, Рудзутака. Потому что не соратники были ему нужны, а холопы.

Путь от лидерства к диктатуре занял несколько лет и завершился лишь большим террором 37-го года. Но первые шаги на этом пути Сталиным были сделаны именно тогда, в «год великого перелома».

Одним из них было начавшееся годом раньше «Шахтинское дело». Другим — не менее важным его шагом в этом направлении стало «Дело Пильняка и Замятина».

Исследователи, изучавшие весь ход этого — во многом загадочного — дела, потратили много сил, чтобы установить, кто был его инициатором:

- ▶ Имена «вдохновителей и организаторов» кампании уже не раз упоминались выше. Но мне не кажется лишним посвятить им еще несколько строк (тем более, что фигуры двоих из них долгое время оставались в тени). И первое, конечно, место в этом недлинном списке будет по праву занимать Б.С. Ольховый — один из главных организаторов чистки общественных объединений в 1929 году. Его именем подписано... заключение для заседания Политбюро, его статьи мы не раз встретим позднее на страницах литературной печати в разгар «дела Пильняка и Замятина»...

Другой организатор «дела» — Борис Волин — фигура, несомненно, более заметная...

Непосредственным исполнителем же решений на местах стал Л.Ю. Шмидт — самая, пожалуй, теневая фигура «дела Пильняка и Замятина». Однако истинная его роль современникам «дела Пильняка и Замятина» и его жертвам была очевидна.

*(Александр Галушкин. «Дело Пильняка и Замятина».*

*Предварительные итоги расследования.*

*В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов  
под редакцией Леонида Геллера.*

*М., 1997. Стр. 104—107)*

Но далее, оговорив, что «начало кампании обычно принято связывать с публикацией статьи Бориса Волина «Недопустимые явления», в которой он резко выступил против публикации произведений советских писателей «в русскоязычных зарубежных изданиях», автор этих «предварительных итогов расследования» замечает:

- ▶ Удивительная скоординированность публикаций, последовавших за статьей Волина, не оставляет сомнений в том, что их появление было заранее спланировано.

*(Там же. Стр. 111)*

На естественно возникающий вопрос, кем было спланировано появление всех последующих публикаций, мы ответа не получаем. Но насчет того, кто был истинным и главным «вдохновителем и организатором» самой кампании, сомнений быть не может.

Разумеется, это был Сталин.

Сам план кампании он, может быть, и не составлял. Может быть, даже лично и не распорядился, когда и как ее начать и какие она должна принять конкретные формы. Но он ДАЛ СИГНАЛ, ясно и недвусмысленно означающий, что необходимость в такой кампании назрела:

- ▶ Нельзя считать случайностью так называемое шахтинское дело. «Шахтинцы» сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма. Вредительство тем более опасно, что оно связано с международным капиталом. Буржуазное вредительство есть несомненный показатель того, что капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накапливают силы для новых выступлений против Советской власти.

Что касается капиталистических элементов деревни, то тем более нельзя считать случайностью выступление кулачества, продолжающееся вот уже второй год против советской политики цен...

А что собой представляет сопротивление капиталистических элементов города и деревни наступлению социализма? Это есть перегруппировка сил классовых врагов пролетариата, имеющая своей целью отстоять старое против нового. Нетрудно понять, что эти обстоятельства не могут не вызывать обострения борьбы классов.

*(И. Сталин. О правом уклоне в ВКП(б).  
Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г.  
Стенограмма. В кн.: И. Сталин. Сочинения. Том 12.  
М., 1949. Стр. 14—15)*

В том, что Сталин объединил «шахтинцев» с кулаками, наклеив на тех и других общий ярлык «капиталистических элементов города и деревни», уже виден его генеральный стратегический план, суть которого, как мы теперь знаем, состояла в том, чтобы загнать в один большой колхоз не только деревню, но и город. В общем — все население страны.

Разобравшись с технической интеллигенцией (во всяком случае, сделав первый шаг в этом направлении), Сталин решил заняться писателями.

В том, что «Дело Пильняка и Замятина» было частью этого стратегического сталинского плана, можно убедиться по такому фрагменту из выступления В.М. Молотова на Московской областной партийной конференции 14 сентября 1929 года:

- ▶ Дифференциация среди интеллигенции, в частности, в среде ее старых кадров, усиливается. За последнее время это находит отражение в ряде новых, заслуживающих внимание фактов. Так, в литературной среде завязалась борьба вокруг вопроса о допустимости для советских писателей печататься в заграничных белогвардейских изданиях, чего еще недавно не наблюдалось. Помещенная Пильняком в эмигрантском берлинском издательстве повесть «Красное дерево» вызвала в среде литераторов бурю протестов. Этот факт сослужил большую службу в деле дифференциации писательской среды. В связи с вопросом о допустимости для советского писателя издаваться в эмигрантских издательствах начинает расчищаться застойная атмосфера некоторых писательских организаций. Кажется, наконец, появилась на свет Федерация советских писателей, формально возникшая почти два года тому назад. Можно лишь пожелать, чтобы на борьбе с антисоветскими выступлениями писателей, пропитанных буржуазной идеологией, действительно по-советски стали воспитываться наши писательские кадры.

*(В. Молотов. Строительство социализма и противоречия роста. Доклад о работе ЦК ВКП(б) на 1 Московской областной партийной конференции 14 сентября 1929 года. М., 1929. Стр. 57—58)*

Молотов был в то время секретарем ЦК, членом Политбюро и Оргбюро ЦК, то есть вторым человеком в партии. Из чего, однако, вовсе не следует, что в таких ответственных выступлениях он мог, как теперь говорят, «озвучивать» какие-то свои, не согласованные со Сталиным, а точнее — не продиктованные ему Сталиным — мысли.

Это — очевидно. Но гораздо интереснее тут другое.

Одно из коренных свойств человеческого языка состоит в том, что говорящий иногда проговаривается. То есть — невольно высказывает то, что на самом деле думает, хотя это и не входило в его намерения. В какой-то мере это свойственно и тому партийному жаргону, на котором привыкли выражать свои мысли Сталин и Молотов.

С этой точки зрения особый интерес представляет такая молотовская реплика:

- ▶ Этот факт сослужил большую службу в деле дифференциации писательской среды.

Это означает вот что.

Когда начальство потребовало, чтобы «антисоветская вылазка» Пильняка и Замятина, выразившаяся в том, что они посмели опубликовать свои произведения за границей, была единодушно осуждена «писательской общественностью», эта «писательская общественность» раскололась:

- ▶ В архиве ФОСП сохранился замечательный документ — протокол объединенного собрания комьячеек ФОСП и ВСП, состоявшегося 26 августа, т.е. в день публикации статьи Волина. На нем присутствовали от ФОСП: А.П. Селивановский, М. Алексеев, И.И. Катаев, М. Пасынок, Л.Л. Авербах, Ю.Н. Либединский, Б. Волин, А.А. Богданов, А.А. Сурков, А. Исбах и Л.О. Осипов, от ВСП: Я.Я. Страуян, А.Н. Новиков, П.А. Павленко и Л.Ю. Шмидт.

Судя по этому протоколу, активный напор коммунистов ФОСП (большинство которых, кстати, было членами РАПП или МАПП) на этом заседании встре-

тил неожиданное сопротивление со стороны коммунистов — членов ВСП...

...на этом собрании принять решения, осуждающие поступок Пильняка и Замятина и позицию ВСП, не удалось; многие из его участников (И.И. Катаев, П.А. Павленко, Я.Я. Страуян) заняли умеренную позицию... В результате было принято несколько решений, в некоторых случаях весьма различающихся по своим оценкам.

*(Александр Галушкин. «Дело Пильняка и Замятина». Предварительные итоги расследования. В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера. М., 1997. Стр. 113—114)*

Такова была первая реакция писателей-коммунистов, большинство которых к тому же были рапповцами. «Попутчики», разумеется, реагировали куда более бурно. Не всегда имея возможность протестовать через свои литературные организации, выражали свое несогласие индивидуально:

- ▶ Первым индивидуальным протестом такого рода было заявление о выходе из членов ВСП, поданное Б.Л. Пастернаком и Б. Пильняком 21 сентября. 2 октября аналогичное заявление поступило от М.А. Булгакова, около 8 октября — от А.А. Ахматовой. Из Правлений ЛО и МО ВСП вышли в знак протеста: 23 сентября — К.А. Федин, 24-го — Н.В. Баршев, около 8 октября — В.В. Вересаев и А.Г. Малышкин. Сходно — не в письменной разве что форме — реагировали и другие писатели. Так, к примеру, в письме Замятину от 9 января 1930 г. Андрей Белый вспоминал: «<...> Я настолько волновался тогдашним шумом, что вместе с Вересаевым и другими писателями (между прочим, и В.Н. Фигнер) собирался вообще переменить род профессии (писателя, например, на хоть дворника)»...

Были и другие — коллективные формы протеста: так, судя по упоминанию в протоколе заседания Прав-



ления АО ВСП от 26 сентября 1929 г. Президиум Правления АО ВСП подал «коллективное заявление <...> о сложении им своих полномочий» (напомню, что в Президиум Правления АО ВСП тогда входили: В.Я. Шишков, К.А. Федин, М.Э. Козаков, Л.И. Раковский, А.В. Ганзен)...

Общую картину настроения писательской общественности дает письмо А.С. Яковлева Замятину...

«...Булгаков подал заявление о выходе из Союза. Вересаев ушел из Правления, тоже Малышкин. А Волина-то действительно убрали в Нижн. Новгород. Мы четверо — Огнев, Лидин, Леонов — сочинили длинное письмо — протест против травли писателей, будем добиваться его напечатания. Через 2 недели перевыборы Правления — конец нашим мукам. Вересаев рекомендовал уйти из Правления под предлогом болезни. Думаю, не исход. Если уйти, то с протестом.

Выход из Союза — Ваш, Ахматовой, Булгакова — моральный удар для всех — вплоть до ШМ<идта> — это ясно. Думаю, что все очень скоро изменится к лучшему. Не только в нашем Союзе.

*(Там же. Стр. 125—129)*

Картина получается — с точки зрения начальства — довольно-таки безотрадная. Похоже даже, что главной своей цели кампания не достигла. А Молотов тем не менее доволен.

Причина этого его довольства с исчерпывающей ясностью выразилась в отмеченной мною выше его проговорке. Каков бы ни был конечный результат кампании, уже сейчас, на этом своем этапе едва ли не главную свою роль она выполнила: «сослужила большую службу в деле дифференциации писательской среды». То есть помогла отделить овец от козлищ. Или, выражаясь по-сталински, «выловить» в писательской среде не только открытых, но и скрытых «шахтинцев».

Что касается выраженной в конце процитированного письма уверенности, что «все очень скоро изменится к луч-

шему», то это, конечно, были, как выразился однажды последний русский император, «беспочвенные мечтания».

Но дым был не без огня.

16 октября 1929 года давший начало кампании Б. Волин решением Секретариата ЦК действительно был вдруг командирован в Нижний Новгород, якобы «по просьбе Нижегородского крайкома партии для работы редактором газеты «Нижегородская коммуна».

В это же время был снят со своего поста (заместителя заведующего АППО — Отдела агитации пропаганды и печати ЦК) и другой закоперщик кампании Б.С. Ольховый:

- ▶ Партия словно приносила в жертву фигуры, с которыми в общественном сознании ассоциировалась кампания против «попутчиков»... Возможно, что одной из целей этих перемещений было разрежение сгустившейся общественно-литературной атмосферы.

В конце декабря в «Литературной газете» появилась статья А.В. Луначарского, в которой критиковалась упрощенная постановка вопроса «с нами ты или против нас». А спустя два дня (25 декабря) было принято постановление ЦК «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького», которое, мне кажется, также имело двойную цель. Им не только компенсировались нанесенные Горькому оскорбления от наиболее «неистовых ревнителей»... — этим постановлением партия демонстрировала свою заботу о писателях в целом.

*(Там же. Стр. 131)*

Так оно, наверное, и было. Не такой уж храбрец был Анатолий Васильевич Луначарский, чтобы противопоставить свое особое мнение идеологической кампании, спущенной с самого верха. И постановление ЦК, защищавшее Горького, тоже могло означать, что кампания захлебнулась. (В особенности, если учесть, что незадолго до этого (15 сентября) в «Известиях» и в «Красной газете» появилась статья Горького «О трате энергии», которая, в общем, осуждала развязанную

кампанию.) Так что «разрежение сгустившейся общественно-литературной атмосферы» в тот момент, видимо, и в самом деле входило в намерения начальства.

Но, высказав это предположение, исследователь далее резонно замечает:

- ▶ Однако все эти «жертвы» и «уступки» были не более чем стратегической игрой, — какой, например, было выступление Сталина со статьей «Головокружение от успехов», критикующей «перегибы» в проведении коллективизации.

*(Там же. Стр. 132)*

Насчет этой знаменитой статьи Сталина высказывались разные мнения. А. Авторханов, например, полагает, что выступить с этой статьей Сталина **заставили**:

- ▶ Сталину дали понять, что он не наделен прерогативами единоличной власти. Более того, когда начались массовые антиколхозные восстания, то ЦК заставил Сталина, во-первых, написать статью («Головокружение от успехов»), в которой он, по существу, вынужден был признать ошибочной свою установку (в речи от 27 декабря) на немедленную насильственную коллективизацию (теперь он писал: «нельзя насаждать колхозы силой»), во-вторых, в новой статье («Ответ товарищам колхозникам») открыто дисквалифицировать самого себя как претендента в диктаторы. Вот соответствующее место из второй статьи Сталина: «Иные думают, что статья «Головокружение от успехов» представляет результат личного почина Сталина. Это, конечно, пустяки. Не для того у нас существует ЦК, чтобы допускать в таком деле личный почин кого бы то ни было. Это была глубокая разведка ЦК. И когда выяснились глубина и размеры ошибок, ЦК не замедлил ударить по ошибкам всей силой своего авторитета».

*(А. Авторханов. Происхождение партократии. Том 2. Frankfurt/Main, 1983. Стр. 482—483)*

Не смею спорить со столь высоким авторитетом, хотя Сталин вполне мог и сам, без всякого давления извне, сообщить, что дать отбой в этом случае необходимо. Умение выждать, лавировать, а если надо, то и отступить, — одна из главных особенностей политического стиля Сталина. Но как бы ни обстояло дело с той знаменитой его статьей, тактика обращения Сталина с писателями — это совсем другой случай.

\* \* \*

9 мая 1924 года в Отделе печати ЦК РКП(б) состоялось совещание, стенограмма которого была потом выпущена отдельной брошюрой. Называлась эта брошюра так: «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе».

Несмотря на это скучное канцелярское заглавие, читается эта брошюра, как острый приключенческий роман. Вернее, как остроконфликтная драма.

Но прежде чем приступить к изложению основного конфликта этой драмы, надо рассказать по порядку, что это было за совещание и чем оно было вызвано.

Группа писателей-попутчиков, как их тогда называли, обратилась в ЦК партии с жалобой на литераторов, группировавшихся вокруг журнала «На посту». Те буквально не давали этим самым попутчикам житья. Они ретиво и въедливо разоблачали их как чуждых пролетариату и новой революционной действительности. При этом свое мнение они выдавали за мнение Коммунистической партии.

Имена писателей, подписавших это письмо, сегодня известны каждому. Большинство из них составляет ныне славу и гордость нашей литературы. Достаточно сказать, что среди них были Сергей Есенин, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Максимилиан Волошин, Исаак Бабель, Михаил Пришвин, Борис Пильняк, Валентин Катаев, Николай Тихонов, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Вячеслав Шишков.

Имена даже самых видных «напостовцев» современному читателю решительно ничего не скажут, они давно и прочно забыты: Г. Лелевич, И. Вардин, С. Родов...

Но в то время это были люди известные.

Какую цель ставили перед собой эти «отважные бойцы», занимаясь травлей лучших русских писателей, которых они презрительно именовали попутчиками, объяснять не надо. И вспомнил я про эту брошюрку не для того, чтобы уяснить смысл главного конфликта отраженной в ней драмы. Смысл этот ясен и так. Но тут интересен не столько даже сам конфликт, сколько царившая на том совещании атмосфера.

Для начала — небольшой фрагмент из выступления С. Родова:

- ▶ Если бы мы здесь решили подходить к литературе только с той точки зрения, насколько то или иное произведение талантливо или неталантливо, нужно было бы собираться не здесь... Может быть, в Академии Художественных Наук[...] Вопрос стоит совсем по-другому. Здесь дело идет о литературном движении класса. О литературном движении, которое уже началось. В целом ряде городов есть организации пролетарских писателей... Я могу также перечислить целый ряд организаций... (Б у х а р и н: «Организаций, а произведений нет»). Организация есть, а произведений нет... И я говорю, что для того, чтобы этих произведений было больше, мы должны организовать пролетарских писателей (с м е х), должны организовать, потому что только тогда отпадут УСЛОВИЯ, которые препятствуют творчеству пролетарских писателей... Литературное движение рабочего класса нуждается в руководстве партии... (Б у х а р и н: «Какое дворянское Политбюро давало директивы Пушкину, когда он писал стихи?»). Мы настаиваем и говорим, что должен быть классовый подход к той или иной литературе. Поэтому мы считаем, что задача сегодняшнего совещания хотя бы в первую очередь поставить вопрос о том, что партия во что бы то ни стало должна овладеть литературным движением рабочего класса...

*(К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе. М., 1994. Стр. 71—73)*

Даже из этого короткого отрывка видно, что сочувствие участников совещания в той схватке было не на стороне рапповцев. Николай Иванович Бухарин со своими ироническими репликами там был не одинок. Примерно таким же было настроение и других выступавших на том совещании «вождей» и «руководящих товарищей» (Л. Троцкого, А. Луначарского, К. Радека, А. Воронского, Вяч. Полонского).

В результате последовавших за этим совещанием других — не только публичных, но и закрытых, закулисных — споров и дискуссий, была в конце концов выработана и определена официальная «политика партии в области художественной литературы», нашедшая свое выражение в соответствующем партийном документе:

- ▶ Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы (теперь крайне незначительные), борясь с формирующейся идеологией новой буржуазии среди части «попутчиков» сменовеховского толка, партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно драматические формы изживать в процессе все более тесного товарищеского сотрудничества с культурными силами коммунизма.

Совершенно очевидно, что эта резолюция, принятая в 1925 году и официально и сейчас, в 1929-м, остающаяся «руководством к действию», в новую политическую ситуацию уже не вписывалась. Ни Троцкого, ни Бухарина и никаких других «вождей» теперь уже не было. Был один вождь: Сталин. И он ясно сказал, что «вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма» и что «капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накапливают силы для новых выступлений против Советской власти».

Можно ли было при таких — новых — политических установках «терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам», «терпеливо помогая изживать» идеологические разногласия «в процессе все более тесного товарищеского сотрудничества»?

Неизбежность замены резолюции 1925 года другой, новой, была очевидна. И работа над этой новой резолюцией, которая должна была заменить прежнюю, устаревшую, даже началась. Но дело вдруг застопорилось, и эта новая резолюция в конце концов почему-то принята так и не была:

- ▶ История подготовки этой резолюции и причины отказа от ее принятия остаются еще «белым пятном» в истории советской культуры. К сожалению, архив Отдела агитации, пропаганды и печати (далее — АППО) ЦК за 1928—1929 гг. практически не сохранился, и представление о ходе подготовки этого (так и не принятого) решения можно составить только на основе печатных источников.

Насколько мне известно, вопрос о пересмотре резолюции публично стал обсуждаться с конца 1928 г. Хронологически первым (19 октября 1928 г.) было выступление одного из лидеров РАПП В.А. Сутырина, требовавшего на Пленуме Закавказского крайкома партии пересмотра партийной линии по отношению к «попутчикам»:

«На чем было сделано ударение в 1925 году? — На терпимости, на терпеливой помощи изживать промежуточные идеологические формы. На чем мы должны сделать ударение теперь? — На нетерпимости, на непримиримости к антипролетарским и антиреволюционным элементам. <...> Помимо этого, в 25 году мы не имели еще такого усиления антиреволюционной, антикоммунистической идеологии, какую мы имеем сейчас».

*(Александр Галушкин. «Дело Пильняка и Замятина».*

*Предварительные итоги расследования.*

*В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера.*

*М., 1997. Стр. 94)*

Далее автор этого исследования внимательно и подробно рассматривает все сложные перипетии подготовки этой новой, более жесткой партийной резолюции, пытаясь все-таки установить причины ее неприятия. Но в конце концов — разводит руками:

- ▶ Вопрос о причинах отказа партийной верхушки от принятия новой резолюции — отдельный и не до конца проясненный вопрос, ответ на который будет со временем найден.

*(Там же. Стр. 99)*

Не исключено, что конкретный, фактический, может быть, даже документальный ответ на этот вопрос со временем действительно будет найден. Но в общей форме, я думаю, ответить на него можно уже сейчас.

Главной — если не единственной — причиной отказа от принятия этой новой резолюции была, я думаю, ставшая несколько неожиданной для поднявших голову рапповцев позиция Сталина.

Сталин, конечно, хотел загнать всех писателей в «колхоз» и создать управляемую литературу. И как мы знаем, много в этом преуспел. Но уже тогда, в 1929 году, он ясно понимал, что дело это непростое. Даже пятнадцать лет спустя, когда эта поставленная им некогда задача была уже более или менее выполнена, он исходил из того, что ему легче найти для писателей «другого товарища Поликарпова», чем подыскать для «товарища Поликарпова» других писателей. А уж тогда, в 1929 году, он точно знал, что других писателей для «товарища Поликарпова» у него нет. Хочешь не хочешь — приходится иметь дело с этими.

Эту свою позицию он обозначил, отвечая «неистовым ревнителям», требующим запретить пьесы контрреволюционера Булгакова. В главе «Сталин и Булгаков» я рассматривал эту коллизию подробно, а здесь напомним только одно его высказывание на эту тему, хоть и осторожное, но все-таки достаточно внятное:

- ▶ ИЗ НЕПРАВЛЕННОЙ СТЕНОГРАММЫ  
ВЫСТУПЛЕНИЯ И.В. СТАЛИНА  
НА ВСТРЕЧЕ С УКРАИНСКИМИ  
ЛИТЕРАТОРАМИ

*12 февраля 1929 г.*

Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил



партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие меры... Требовать, чтобы и литература была коммунистической, — нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая... Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе. Или, например, «Бег», его запретили, — это правая опасность. Это неправильно, товарищи. Правая и левая опасность — это чисто партийное. Правая опасность — это, значит, люди несколько отходят от линии партии, правая опасность внутри партии. Левая опасность — это отход от линии партии влево. Разве литература партийная? Это же не партийная, конечно, это гораздо шире литература, чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие... Требовать, чтобы беллетристическая литература и автор проводили партийную точку зрения, — тогда всех беспартийных надо изгонять... С этой точки зрения, с точки зрения большего масштаба, и с точки зрения других методов подхода к литературе я и говорю, что даже и пьеса «Дни Турбиных» сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской...

Но даже у таких людей, как Булгаков, можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбиных». Даже в такой пьесе, даже у такого человека можно взять кое-что для нас полезное.

Еще раз подчеркну, что, объясняясь с оголтелыми блюстителями чистоты партийных и пролетарских риз, Сталин высказывался достаточно осторожно. В других случаях он бывал откровеннее:

- ▶ П. Марков в свое время передавал гулявшую по Москве фразу Сталина в связи с запретом «Бега»:  
— В «Беге» я должен был сделать уступку комсомолу.

(М.А. Булгаков. *Собрание сочинений в пяти томах.*  
Том 3. М., 1990. Стр. 595)

Рассматривая эту коллизию в главе «Сталин и Булгаков», я поневоле делал акцент на особом отношении вождя именно к этому писателю, к которому — во всяком случае, к его пьесе «Дни Турбиных», — он питал некоторую слабость. Здесь же хочу подчеркнуть, что это была общая его установка, — впрямую нигде не сформулированная, но достаточно ясно обозначенная.

Сталин не только писателей, он всех граждан СССР хотел бы сделать если не коммунистами, так «беспартийными большевиками», и в конце концов этого добился. (На официальном советском политическом жаргоне это называлось «Блок коммунистов и беспартийных», «Морально-политическое единство советского народа».)

Чтобы добиться этого «морально-политического единства», многих, конечно, пришлось расстрелять или загнать в лагерь.

С писателями тоже не миндальничали: процент расстрелянных и репрессированных из их числа был, может быть, даже выше, чем из числа рядовых граждан. Но от писателей — во всяком случае, поначалу — не требовали, чтобы все они — сплошь — были коммунистами.

Сталин прекрасно понимал даже некоторое преимущество положения, при котором его будут поддерживать не только партийные и беспартийные большевики, но и интеллигенты более широкого политического спектра. Он сразу понял все преимущества проекта Эренбурга, предложившего заменить сектантскую, узко коммунистическую международную писательскую организацию (МОРП) более широкой, состоящей из «антифашистов», или «борцов за мир». Это, конечно, была тактика, ориентированная в основном «на экспорт». Но и создавая Союз писателей и распределяя места в будущих его руководящих органах (это он не доверял никому, всегда делал сам), придерживался той же тактики:

► ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА  
КАГАНОВИЧУ И ЖДАНОВУ

*30 августа 1934 г.*

Состав президиума нужно пополнить Каменевым, Демьяном, Юдиным, Эренбургом. Состав правления

нужно пополнить Пильняком, дагестанцем, немцем Поволжья.

*(Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М., 2001. Стр. 467—468)*

В этой подчеркнутой демонстрации своей политической широты он дошел даже до того, что всерьез подумывал, не сделать ли председателем Союза советских писателей Пастернака:

- ▶ Могу вам рассказать о таких случаях, но вы мне не поверите. Но это был факт. Сталин был против того, чтобы Горький стал председателем Оргкомитета по организации союза писателей. Когда я тяжело заболел, Сталин предложил мне, чтобы я хотя бы номинально числился председателем. Я ответил ему отказом и заявил, что не могу обманывать. Сталин даже подумывал о Пастернаке как руководителе Союза писателей, но все же пришлось ему утвердить председателем Горького.

*(Вячеслав Нечаев. Ненаписанные воспоминания. Беседы с И.М. Гронским. Минувшее. Исторический альманах. 16. М.—СПб., 1994. Стр. 103)*

Председателем Союза писателей Пастернак не стал, но в президиуме съезда — рядом с Горьким — сидел.

Эта сталинская тактика дала свои плоды. Не сразу, конечно. Но Сталин, как уже не раз говорилось, умел ждать.

Кто, например, из тех, кому довелось наблюдать К.А. Федина в последний период его писательской и общественной деятельности, когда он стал председателем Союза писателей СССР, снискав себе на этом поприще прозвища «Чучело орла» и «Комиссар собственной безопасности», — кто тогда помнил, что 23 сентября 1929 года этот самый Федин в знак протеста против оголтелой травли Пильняка и Замятина демонстративно вышел из ВСП (Всероссийского союза писателей), а двумя днями позже сделал в своем дневнике такую запись:

► Три дня назад — общее собрание Союза писателей, перед тем — заседание Правления с москвичами: новым председателем Правления Леоновым, Кирилловым, Шмидтом, который проводит всю работу по «оживлению» Союза, и лысым мальчиком Кином, присланным в роли комиссара 18-го года. Все было сделано, как надлежало... Правление высекло себя, дало себя высечь. Поступить как-нибудь иначе, т.е. сохранить свое достоинство, было невозможно. Все считают, что в утрате достоинства состоит «стиль ЭПОХИ», что «надо слушаться», надо понять бесплодность попыток вести какую-то особую линию, линию писательской добропорядочности. Смысл кампании против Союза — в подчинении его директивам руководителей пролетарских писателей — лысым мальчикам; в лишении его иллюзии внутрисоюзной демократии; в лишении его «права молчания». За все писательство будут решать лысые мальчики. Решать, говорить. Писательство же должно будет выдавать чужие слова за свои. Мы должны окончательно перестать думать. За нас подумают.

Стиль эпохи! Сейчас нужны люди вроде «историка литературы» Евгеньева-Максимова, который в Правлении Союза писателей открыто признался, что ему «приходится писать о романе Замятина «Мы», между тем до сего времени он не имел возможности прочитать этого романа»...

Я был раздавлен происходившей 22 сентября поркой писателей. Никогда личность моя не была так унижена.

*(Русская литература, 1992, № 4. Стр. 169)*

Чтобы так думающий и так чувствующий К.А. Федин превратился в «Чучело орла» и «Комиссара собственной безопасности», плотно закрытыми шторами отгородившегося от толпы, провожающей в последний путь бывшего близкого его друга Б.Л. Пастернака, должно было пройти — ни много ни мало — тридцать лет. Целая эпоха.

Другой близкий друг Бориса Леонидовича — тот, кому

он посвятил знаменитое свое стихотворение («Но как мне быть с моей грудной клеткой...»), — Борис Андреевич Пильняк, как мы знаем, проделал этот путь гораздо быстрее. В этом случае сталинская политика кнута и пряника дала свои плоды сразу.

Замятин оказался упрямее.

\* \* \*

На протяжении всей кампании имена Пильняка и Замятина неизменно стояли рядом. Этот лексический тандем превратился тогда в некое слитное словосочетание, как в 40-е «Зощенко и Ахматова», а в 60-е «Синявский и Даниэль».

Но разница между двумя фигурантами этого «Дела» была обозначена уже на самой ранней стадии развернувшейся травли.

Одним из первых эту разницу отметил Александр Фадеев в своем выступлении на том самом собрании ВСП (Всероссийского союза писателей), гнетущая атмосфера которого вогнала в депрессию К.А. Федина:

- ▶ Товарищи, совершенно ясно, что мы должны в нашем деле проводить в дальнейшем чрезвычайно упорно систематическую работу-разоблачение этих идейных отцов интеллигенции, поскольку они этим фактом уже получили в значительной степени очень сокрушительный удар. Но, товарищи, они еще держатся в таком виде, на который никто не обращает внимание. Замятин в этом отношении гораздо более определенная фигура, чем Пильняк. Он во всех своих выступлениях, во всем свое творчестве, не скрывая, не принимает наше дело. Сейчас они Пильняка отдали довольно быстро. Посмотрите, сейчас Ленинград пользуется всеми моментами, а этого, давно уже выяснившегося как реакционного руководителя Замятина, до сих пор держат у себя, стараются оттянуть разбор и т.д. Это подтверждает мой анализ. Они его очень берегут. Это одна из тех фигур, на которых держится в значительной степени демократическая интеллигенция, которая

сейчас смыкается через Замятина. Они не решаются отказать от него до сих пор, потому что он для них является выполнением тех выпренных вещей, которые они о себе говорят.

*(Александр Галушкин. «Дело Пильняка и Замятина».  
Предварительные итоги расследования.  
В кн.: Новое о Замятине. Сборник материалов  
под редакцией Леонида Геллера.  
Стр. 124—125)*

Этим своим выступлением Фадеев, в сущности, уже в самом начале развернувшейся кампании предсказал, как по-разному она завершится для «однодельцев», которым были предъявлены одни и те же обвинения.

Пильняк, как мы знаем, был прощен и на него даже излился поток августейшего благоволения в виде почетной заграничной командировки, о чем Замятин не без иронии упомянул в своем письме Сталину:

- ▶ Как и я, ампула чёрта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу.

Для Замятина вся эта история кончилась иначе. Совсем иначе.

Тому было множество причин, о главной из которых речь впереди. Но предвидеть такой исход на самой ранней стадии кампании можно было уже по тому, как по-разному повели себя эти два писателя, когда им выпало — сперва вроде как на равных — «разделить ампулу чёрта».

Поначалу оба решили объясниться. И оба сделали это в форме «открытого письма» в редакцию «Литературной газеты».

Сперва напомним самую суть объяснений Б.А. Пильняка:

- ▶ 1) Повесть «Красное дерево» была закончена 15 января 1929, — 14 февраля я сел за роман (ныне заканчиваемый), «Красное дерево» в котором перерабаты-

вается в главы, — в моем письменном столе хранится рукопись «Красного дерева» с пометкой одного из редакторов «Красной Нови»: «За печатание в № 3. 23.II.1928»...

Повесть «Красное дерево» не появилась в РСФСР не потому, что она была запрещена, но потому, что я решил ее переделать.

2) ...О том, что «Красное дерево» появилось в «Петрополисе», я узнал только тогда, когда получил книгу, — причем в проспекте «Петрополиса», этого издательства берлинских белогвардейцев, как определяет Волин, я прочитал, что там изданы книги моих товарищей по советской литературе, а именно — Вас. Андреева, Веры Инбер, В. Каверина, Н. Никитина, Пант. Романова, А. Толстого, К. Федина, Ю. Тынянова, А. Сытина и др. — и не нашел ни одного имени беллетристов-эмигрантов. Позднее «Красного дерева» в этом же издательстве появился «Тихий Дон» Шолохова. Список приведенных авторов не родил во мне мысли, что я попал «в контакт с организацией, злобно-враждебной стране Советов».

3) ...Я протестовал... когда в белой прессе появились отзывы о «Красном дереве». «Красное дерево» русскому читателю неизвестно, — поэтому я находил нужным выразить мой протест не в СССР, а за границей...

В заключение позвольте сказать следующее. Статья Волина вызвала уже реакцию «Комсомольской Правды». Я чувствую себя в атмосфере травли. В таких обстоятельствах оправдываться трудно и работать еще трудней, но тем не менее: будучи одним из зачинателей советской литературы, издав первую в РСФСР книгу рассказов о советской революции, — я хочу и буду работать только для советской литературы, ибо это есть долг каждого честного писателя и человека.

*Ямское Поле  
28 авг. 1929  
Бор. Пильняк*

Пока он еще не кается, не признает ошибок. (Это все — впереди.) Но завершает эти свои объяснения клятвой в верности, а начинает их с того, что **оправдывается. Защищается** от обвинений, которые — не без оснований — представляются ему несправедливыми.

Объяснения Замятина совсем иного рода. Он не защищается. Он — **нападает**:

- ▶ Когда я, после летней поездки, вернулся в Москву, все дело с моим романом «Мы» уже было закончено: было уже установлено, что появление отрывков из «Мы» в пражской «Воле России» — это мой поступок, и относительно «поступка» уже вынесены были все надлежащие резолюции.

Но факты — упрямы, они упрямее резолюций, каждый из них может быть подтвержден документами или людьми, и я хочу, чтобы они стали известны моим читателям...

Начало литературной кампании по моему адресу положено было статьей Волина в номере 19 «Литературной газеты».

В своей статье Волин забыл сказать о том, что о моем романе «Мы» он вспомнил с запозданием на девять лет (ибо роман, как говорилось, написан в 1920 году).

В своей статье Волин забыл сказать о том, что о напечатании отрывков из романа «Мы» в «Воле России» он вспомнил с запозданием на два с половиной года (ибо эти отрывки, как говорилось, были напечатаны весной 1927 года).

И, наконец, Волин забыл сказать о редакционном предисловии «Воли России», из которого явствует, что отрывки из романа печатаются без моего ведома и согласия.

Это — поступок Волина. Сознательны или случайны были его умолчания — я не знаю, но последствием их было неправильное освещение дела в дальнейшем.

Дело это обсуждалось в Исполбюро ФОСП — постановление Исполбюро опубликовано в ном. 21 «Литературной газеты». В § 2 Исполбюро «решительно



осуждает поступок названных писателей» — Пильняка и Замятина. А в § 4 того же постановления Исполбюро предлагает ленинградскому отделению ФОСП «срочно расследовать обстоятельства издания за границей романа Замятина «Мы».

Итак, сначала — приговор, потом — расследование. Ни один суд в мире, вероятно, еще не знает такого случая. Это — поступок Федерации писателей.

Дальше — вопрос о напечатании романа «Мы» в «Воле России» обсуждался на общем собрании Моск. отд. Всероссийского союза писателей и позже — на общем собрании Ленингр. отд. союза.

Московское общее собрание, не дожидаясь моих объяснений, не выразив даже желания их выслушать, — приняло резолюцию, осуждающую все тот же мой «поступок»...

Общее собрание Ленинградского отдела союза состоялось 22 сентября, и о результатах его я знаю только по газетной заметке («Вечерн. Красная» от 23 сент.). Из этой заметки видно, что в Ленинграде уже были прочитаны мои объяснения по делу, что там мнения присутствовавших на собрании разделились — часть писателей после моих объяснений считала исчерпанным весь инцидент, но большинство все же нашло более осторожным осудить мой «поступок».

Таков поступок Всероссийского союза писателей. И из этого последнего поступка я делаю свой вывод:

Состоять в литературной организации, которая хотя бы косвенно принимает участие в травле своего сочлена, — я не могу, и этим письмом заявляю о выходе своем из Всероссийского союза писателей.

24 сентября 1929 г.  
Москва.

*Евг. Замятин*

(Е. Барабанов. Комментарии.  
В кн.: Евгений Замятин. Сочинения.  
М., 1988. Стр. 532—534)

Я нарочно опустил все факты и аргументы, на которые Замятин опирает этот свой вывод. Не они тут важны, а **тон**. Тон свободного, независимого человека, ни на йоту не желающего поступиться чувством собственного достоинства.

Мог ли такой человек дышать в той атмосфере всеобщего холоу́йства и истерического покаяния, которая уже становилась тогда в нашей стране непременным, общеобязательным ритуалом?

Вот как он (Замятин) несколько лет спустя, уже из Парижа, вспоминал о том, как это начиналось:

- ▶ В плановом порядке начался обстрел «по квадратам» отдельных крупных писателей-попутчиков и целых литературных групп. Критические снаряды неизменно были наполнены одним и тем же стандартным газом: обвинение в политической неблагонадежности, причем в это понятие входили теперь «формалистический уклон», «биологический уклон», «гуманизм», «аполитичность» и так далее. Искренность, талант, художественные средства писателя — обычно оставались вне поля зрения этой критики. Если этот критический метод и не был обременен чрезмерной эрудицией, то своей цели он во всяком случае достигал безошибочно: обстреливаемым оставалось только уйти, как в блиндаж, в свой письменный стол и не показываться на печатном поле...

Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы — все уравнилось, исчезло в дыму этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах газет проходили целые процессы литературных флагеллантов: Пильняк бичевал себя за признанную криминальной повестью («Красное дерево»); основатель и теоретик формализма Шкловский — отрекался навсегда от формалистической ереси; конструктивисты каялись в том, что они

впали в конструктивизм, и объявляли свою организацию распушенной; старый антропософ Андрей Белый печатно клялся, что он, в сущности, антропософический марксист...

(Е. Замятин. Москва—Петербург. Париж, 1933.  
Цит. по кн.: Евгений Замятин. Сочинения. Том 4.  
Мюнхен, 1988. Стр. 421)

К этой впечатляющей картине надо сделать только одно небольшое, но существенное примечание.

Эта якобы внезапно вспыхнувшая «психическая эпидемия покаяний» была не просто реакцией слабонервных интеллигентов, ставших жертвой «шока от непрерывной критической бомбардировки». Покаяние входило в условия игры. Это был неременный, неукоснительно соблюдавшийся ритуал.

Эти покаяния вымогались. Тем, от кого требовали публичного признания своих ошибок, крутили руки, на них давили, и разнообразные формы этого давления теперь уже хорошо известны. Чтобы далеко не ходить за примером, напомним только подробный рассказ А. Солженицына (в его книге «Бодался теленок с дубом») о том, как «чертова дюжина секретариата» вымогала у него публичное отречение от его книг, публиковавшихся на Западе. Такого же публичного отречения требовали (и отчасти добились) от Варлаама Шаламова, Булата Окуджавы, — да мало ли кого еще...

Но в 1929-м эта пыточная технология еще только отработывалась, и давление, которому подвергался Замятин, было сравнительно мягким:

- ▶ ВССП считает необходимым категорически отвергнуть всякое обвинение в том, что советская общественность и, в частности, ВССП травил Замятина. С нашей точки зрения неоспоримо то, что большой художественный талант Замятина не дает ему права на забвение интересов страны, писателем и гражданином которой он является. Дорога в советскую литературу не преграждена писателям, которые вместе со

всей советской общественностью берут на себя разрешение задач, возлагаемых на нас эпохой. Литературные же организации, в том числе и ВССП, со всей готовностью поддержат их на этом пути.

*(Литературная газета, 1929, 14 октября)*

ВССП — это тот самый Всероссийский союз писателей, о своем выходе из которого Замятин объявил месяц назад. За это время к этой аббревиатуре добавилось еще одно «С»: он стал теперь называться «Всероссийским союзом **советских** писателей».

Итак, этот обновленный писательский союз «считает необходимым категорически отвергнуть всякое обвинение в том, что советская общественность и, в частности, ВССП травил Замятина». Это напоминает знаменитую ироническую реплику Виктора Шкловского: «Булгарин не травил Пушкина, он только давал ему руководящие замечания».

При всем при том сама эта декларация выглядит как будто вполне корректной и даже мягкой. Но в то же время — достаточно жесткой: «Дорога в советскую литературу не преграждена писателям, которые...»

Условия капитуляции обозначены достаточно четко. Мы никого не гоним! Пожалуйста! Покайся, признай, что ты был неправ, и двери советской литературы для тебя откроются...

Но для Замятина это, казалось бы, так легко выполнимое условие было неприемлемо. И дело тут было не в самолюбии, не в оскорбленном чувстве собственного достоинства, не в гордыне.

Вот как он сам объяснял природу этой своей строптивости:

- ▶ Правда: идея романа — не одобрена цензурой. Быть может, мнение цензуры и есть для писателей мнение общественности? Думаю, что нет — хотя бы уже по одному тому, что мнение цензуры уж не такая постоянная величина. Например, не дальше как в прошлом году Главрепертком разрешил мою пьесу «Атилла», а ленинградский Облит эту же пьесу запретил: отказы-

ваться или не отказываться мне от идей, проводимых в пьесе?

Правда, содержание романа — не одобрено общими собраниями ВСП в Москве и Ленинграде. Содержание романа было известно части присутствовавших на собрании — именно тем, кто в свое время слышал чтение романа (на литературных вечерах ВСП) и после чтения аплодировал. Остальные голосовали, зная из романа только его заглавие, и голосовали (на собрании 22 сент. в Ленинграде) так: при 200-х присутствовавших в начале собрания — в конце голосовало за резолюцию только 42. Можно ли на это опираться как на мнение общественности? Думаю, что нет.

...Так чего же от меня хотят? <...> Если бы я писал роман не девять лет тому назад, а сейчас — вероятно, роман был бы написан иначе: слишком многое переменялось за девять лет. Но это не значит, что я могу отказаться от идей, составляющих сущность моего мирозерцания. Для меня идеи — не галстук, цвет которого можно менять в зависимости от сегодняшней моды...

Художник отказаться от своей работы не может. И меня удивляет только одно: как такого отказа могли требовать от меня художники слова? Таких требований к писателю никогда не предъявляла даже царская цензура.

(Е. Барабанов. *Комментарии.*  
Евгений Замятин. *Сочинения.* М., 1988.  
Стр. 534—535)

Что же это был за роман, отказ от которого был для него равносителен отказу от идей, составляющих сущность его мирозерцания?

Сюжет третий  
«БЛАГОДЕТЕЛЮ  
НАШЕМУ КАЖЕТСЯ...»

Эта фраза (точнее — полуфраза) — из письма Б.Л. Пастернака к О.М. Фрейденберг, написанного и отправленного 4 февраля 1941 года.

Контекст, из которого я ее выдернул, таков:

- ▶ ...я стал приходить в отчаяние. Атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость.

*(Борис Пастернак. Полн. собр. соч.  
Том 9. Стр. 203)*

«Благодетель» — это, конечно, о Сталине. Слово взято из романа Замятина «Мы».

Замятин написал этот свой роман в 1920 году. Впервые опубликован он был в 1924-м. Но — по-английски. Затем появилось чешское издание (1926), а вскоре и французское (1929). Первое полное издание романа «Мы» на русском языке

вышло только в 1952 году, в Нью-Йорке. Но в 1927 году в пражском журнале «Воля России» были напечатаны главы из этого романа.

В начале 20-х Замятин не только охотно давал читать рукопись романа близким и не очень близким знакомым (он еще не терял надежды опубликовать его на родине), но и не раз выступал с публичными чтениями как отрывков из романа, так и полного его текста. (В московском и ленинградском отделениях Всероссийского союза писателей, в других литературных аудиториях.) В общем, роман Замятина «Мы» за долго до того, как было осуществлено первое его издание, если воспользоваться более поздней формулировкой, был «широко известен в узких кругах».

В письме 1922 года А.К. Воронский писал Замятину:

- ▶ Лежит у меня от Пильняка полученный роман ваш «Мы».

*(Литературное наследство. 1983, т. 93. Стр. 571)*

Если Пильняк не постеснялся дать рукопись неопубликованного замятинского романа Воронскому, так уж наверняка давал ее и ближайшему своему другу Пастернаку. Да что говорить! Вполне мог Борис Леонидович получить ту рукопись и из рук самого автора.

«Благодетелем» в замятинском романе называется верховный властитель утопического (антиутопического) *Единого Государства*, описание социальной структуры которого составляет главное содержание романа. Но помимо функции номинального и фактического главы государства, Благодетель выполняет там еще одну, не менее важную функцию:

- ▶ Торжественный светлый день...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства... мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству — спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия

Единому Государству... величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один — стоял на ступеньках налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать... Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — застилают собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест...

...Колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке...

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически-чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившаяся в сердце.



Итак, Благодетель не только глава Единого Государства, он еще и **палач**.

Понимал ли Пастернак, ЧТО он говорит, когда посмел отнести это замятинское слово к отцу народов и лучшему другу физкультурников?

Наверно, понимал. Не мог не понимать.

Но сам Замятин, задумывая и изображая своего «Благодетеля», конечно, и думать не думал о Сталине. (В 1920 году и сам Сталин вряд ли осмеливался думать о себе, как о главе государства.)

В томе «Литературной энциклопедии», вышедшем в свет в 1930 году, роман Замятина «Мы» был назван «грязным пасквилом на социализм». В томе «Краткой литературной энциклопедии», вышедшем тридцать четыре года спустя (в 1964-м), эта формулировка была слегка изменена. Здесь этот замятинский роман был охарактеризован как «злой памфлет на Советское государство».

Памфлет — это все-таки не пасквиль: вполне почтенный литературный жанр.

Но на самом деле роман Евгения Замятина «Мы» не был и памфлетом. Он был пророчеством.

\* \* \*

Когда читаешь этот роман сегодня, поражает в нем то, что отраженные в нем, сразу бросающиеся в глаза, так хорошо нам знакомые черты советского государства характерны не для того советского государства, каким оно было в 1920 году, а для того, каким оно стало позже, гораздо позже. Так что, если бы мы даже и согласились с определением «Краткой литературной энциклопедии», нам пришлось бы признать, что это памфлет не на то Советское государство, каким оно было в 1920 году, а на то, каким оно стало при Сталине. Точнее — на то, каким его создал Сталин.

Взять хоть вот эту ситуацию, одну из самых наглядно рисующих социальное устройство утопического замятинского Единого Государства:

- ▶ Завтра — День Единогласия... Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется, для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха»...

Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон...

Мы празднуем выборы открыто, честно... Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «МЫ». Насколько это облагораживающе, искренней, выше, чем трусливая, воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, т.е. какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них самих.

Ситуация эта представляется даже не пародией на созданную Сталиным уникальную советскую систему **выборов без выбора**, а прямо-таки точной ее копией. И может пока-

заться, что я привел здесь эту пространную выписку из замятинского романа, чтобы подтвердить истинность своего утверждения, что роман этот не памфлет, а — пророчество.

Да, действительно, первые всенародные сталинские выборы без выбора состоялись в 1938 году. То есть через восемнадцать лет после создания замятинского романа.

Но, для того чтобы еще в 1920-м угадать, какими они будут, не надо было быть пророком. Нет, это не пророчество, а всего лишь экстраполяция того, что в зародыше тогдашняя советская действительность нам уже являла.

И тем не менее эта нарисованная Замятиным картина была воистину пророческой. Но пророческий, провидческий ее смысл состоял не в самом изображении **выборов без выбора**, а в том, как это абсурдное, идиотическое, насквозь фальшивое, лицемерное праздничное действо воспринимается гражданами замятинского Единого Государства. И самое поразительное тут то, что воспринимается оно ими точь-в-точь так же, как гражданами Страны Советов воспринимались всенародные выборы 12 декабря 1938 года, проходившие по новой, недавно принятой сталинской конституции.

Этот день я хорошо помню.

Родители взяли меня с собой. Обставлено все было очень торжественно. Играл духовой оркестр. Пол на избирательном участке устилали ковровые дорожки. Всюду цветы, много цветов. На стенах — транспаранты, лозунги: «Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных!» Афиши с портретами кандидатов в депутаты.

Все было как на Первое мая или Седьмое ноября — главные наши праздники. И лица у людей были праздничные. (Это потом, позже вся эта предвыборная и выборная канитель стала рутинной тошнилровкой.)

Я был охвачен радостным праздничным возбуждением. Не забывайте, все это было **впервые**. Не только в моей жизни, а вообще впервые — первые демократические советские выборы, равные, без всяких там лицензев, а главное — тайные.

Это поразило меня больше всего.

Не слово (его я слышал и раньше), даже не понятие, а его материальная реализация: **кабины**. Роскошные, занавешенные бархатными портьерами кабины, куда каждый избиратель мог уединиться, чтобы — как это гарантировала ему самая свободная в мире сталинская конституция — в полной тайне исполнить свой гражданский долг: проголосовать за блок коммунистов и беспартийных. Или — против.

Но кто же станет голосовать против? Неужели такие найдутся?

А если не найдутся, так зачем же тогда эти кабины?

Я не долго мучился над этой загадкой. Мне сразу пришло в голову, что кабины эти устроены **нарочно**. Для того, чтобы выявить не только всех голосующих против, но даже и колеблющихся, сомневающихся.

Я даже подумал, что там, в этих кабинах есть какие-то специальные устройства, регистрирующие всех этих скрытых и даже потенциальных врагов советской власти. Может быть, фотоаппараты, запечатлевающие их лица. Или другие какие-нибудь приборы, благодаря которым их можно будет потом опознать — по почерку или по отпечаткам пальцев.

А если даже никаких таких приборов и аппаратов там нет, то за каждым, кто осмелится войти в такую кабину (у настоящего советского человека такая потребность не может даже и возникнуть!), наверняка будет установлена слежка. И всех их потом арестуют.

Ей-богу, я не вру. Разве только чуть упрощаю: ход моих мыслей был, может быть, не так последователен и логичен, как в этом сегодняшнем, довольно-таки неуклюжем моем изложении. Но самая суть моей реакции на эти поразившие мое воображение кабины была именно такова.

Тут у читателя наверняка возникнет раздраженный вопрос: с какой стати я морочу ему голову воспоминаниями о том, как воспринималась эта абсурдная ситуация одиннадцатилетним несмышленищем? Чем заниматься такими подтасовками и фальсификациями, рассказали бы лучше, как воспринимали ее взрослые граждане Страны Советов!

То-то и горе, что они воспринимали ее точно так же.

В 1960 году в Москве, в издательстве «Советский писа-

тель», вышла книга известного советского драматурга Александра Афиногенова «Дневники и записные книжки». Она включала в себя выбранные места из дневников и записных книжек писателя, начиная с 1927 года по 1941-й.

Это был, как принято выражаться в таких случаях, совершенно замечательный человеческий документ, и когда-нибудь я в этой своей книге к нему еще обязательно вернусь. А сейчас приведу из него только одну запись, помеченную тем самым днем — 12 декабря 1938 года:

- ▶ Пришло и прошло это знаменательное число. С утра уже в самом воздухе было что-то праздничное, особое, нежное... Мы пошли голосовать в полдень... В самом участке (помещается в школе) — тишина, много народа... Народ толпится, не хочет уходить, уж очень скоро проходит вся процедура. За столом регистраторы отмечают прибывших, выдают по конверту и два бюллетеня — белый и голубой.

В стороне — другой стол, покрытый красным, на нем литература, цветы...

Из этой первой комнаты — ход в другую, где отделены пять-шесть кабинок. Там распорядительница — молодая девушка, направляет в свободную кабинку, а в кабинке — крохотный столик, на нем трогательный горшок цветов, привезенных из города, красный карандаш, если хочешь вычеркнуть фамилию. И действительно, не хочется уходить, хочется продлить процедуру голосования, с кем-то поделиться мыслями, задержаться, порасспросить. У выхода из комнаты с кабинками — урна. Деревянный ящик, опечатанный сургучом...

Старушка в полушалке, встречая другую, кричит ей через улицу: «Ну как, причастилась?»

И действительно, в тишине комнаты с кабинками, в процедуре опускания конверта есть что-то торжественное. Почти как причастие для этих самых старушек. Им бы еще ладаном покурить для вящего благолепия — и совсем тогда как в церкви.

Едем в Москву. Там — полное ощущение праздника.

Действительно, как первый день пасхи по детским воспоминаниям, когда народ высыпал на улицы и шел не торопясь, делясь впечатлениями, здороваясь, оставаясь...

Обычная суетливая московская толпа шла сегодня неторопливо, без портфелей и сумок. Около некоторых домов стояли кучки — это участковые избирательные комиссии — туда шли и подъезжали машины, повитые лентами, — это привозили пожилых избирателей. Говорят, к больным приезжали на дом и давали им возможность голосовать, не сходя с постели.

Лица улыбающиеся, добрые, в воздухе разлито приветствие и торжество. Рупора передают музыку, флаги полощутся в морозном, тихом воздухе, портреты кандидатов на каждом углу.

Великий день. Его значение сейчас еще совсем не оценено. Только на расстоянии лет будет он выделяться все ярче и ярче как дата первого голосования по новой конституции.

Совпадение этой дневниковой записи, сделанной 12 декабря 1938 года, с фантастической картиной, нарисованной Замятым в 1920-м, — прямо-таки поразительно. Но более всего поражает совпадение (не просто совпадение — тождество) душевного состояния писателя Афиногенова с душевным состоянием вымышленного героя замятинской антиутопии. Даже ассоциация с Пасхой приходит в голову им обоим!

О Пасхе у Афиногенова, правда, вспоминают какие-то темные малограмотные старушки, от которых трудно ждать адекватного восприятия происходящего. Но и сам автор дневника тоже воспринимает все это безобразие совершенно так же, как эти темные старушки:

- ▶ Действительно, как первый день пасхи по детским воспоминаниям, когда народ высыпал на улицы и шел не торопясь, делясь впечатлениями, здороваясь, оставаясь...

И совершенно так же думает и чувствует замятинский «номер» Д-503:

- ▶ Мне кажется, для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха».

Все другие «пророчесственные» совпадения реальности созданного воображением Замятина утопического Единого Государства с реальностью сталинского социализма — того же свойства. То есть все они из области психологии.

Замятин, конечно, исследует и социальную структуру своего Единого Государства, и в этой структуре тоже много общего с той, которую постепенно создавал и создал Сталин. Но в центре его внимания — извращенная психология его граждан. Их перевернутая мораль. Поставленные с ног на голову представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

У главного героя романа есть, как мы бы сейчас сказали, любимая женщина. На самом деле это определение тут не годится. В замятинской антиутопии эти проблемы решаются иначе. Там действует такой принцип: «Всякий из номеров имеет право — как на сексуальный продукт — на другой номер». В соответствии с этим принципом «возлюбленная» Д-304 — «номер» О-90 — свои отношения с ним другим «номерам» объясняет фразой: «Он на меня записан». То есть она, «положив на него глаз», на него «записалась», получила соответствующее количество «розовых талонов» и в определенные дни, предъявив такой розовый талон, является к нему в его стеклянную, прозрачную комнату, где они имеют право на точно обозначенное в талоне время опустить шторы, чтобы сделать ее непрозрачной, и «заниматься любовью».

Но на Д-304 «положила глаз» другая женщина. И тоже на него «записалась».

В замятинском Едином Государстве это дело совершенно обычное. Но оно осложнилось тем, что эта другая женщина так заморочила герою голову, что он совершил какое-то мелкое дисциплинарное нарушение, о чем — по существующему в Едином Государстве закону — должен немедленно доне-

сти в «Бюро Хранителей». Но что-то помешало ему это сделать. Он и сам еще толком не понимает — что:

- ▶ Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 — иду туда непременно...

В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидал О — всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня»... Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода — все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

— Гулять, — круглые синие глаза мне широко раскрыты — синие окна внутрь — и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего — внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного.

— Нет, не гулять. Мне надо... — я сказал ей, куда. И к изумлению своему увидел: розовый круг рта — сложился в розовый полумесяц, рожками книзу — как от кислого. Меня взорвало.

— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня — но это просто тупость.

— Вы — идете к шпионам... фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по-женски. — Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. — Ну, вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не мо-же-те, ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у



нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось, но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного!

Сочиняя эту сцену, Замятин наверняка полагал, что эта его выдумка — доведенное до абсурда преувеличение, гротеск.

Знал ли он, что на самом деле это — самая что ни на есть реальнейшая реальность:

- ▶ Доносы? Мы не боимся слов. Для нас важно дело, стоящее за этим словом. Разоблачать чужую, враждебную тенденцию, выявить врага и обрушиться на контрреволюционера, да ведь это почетнейший долг перед лицом рабочего класса!

*(М. Чумандрин. И так, что же такое Союз писателей? Красная газета. Вечерний выпуск. 1929 г., 2 сентября)*

Эту статью Чумандрина Замятин скорее всего читал. Как было ему ее не прочесть, если посвящена она была отчасти — и даже главным образом — его персоне. (Это был едва ли не первый отклик на статью Б. Волина, начавшую многомесячную газетную и журнальную травлю Пильняка и Замятина.)

Но статья эта появилась в 1929-м, а Замятин — напоминаю — писал свой роман в 1920-м. Может быть, и тогда, в 20-м, уже раздавались отдельные голоса, с пеной на губах доказывавшие, что донос в «Бюро Хранителей» — не «белена», а «ландыш»?

Может быть.

Но массовым психозом тогда это точно еще не стало.

Впрочем, и в замятинской антиутопии, чтобы это сознание стало массовым, надо было создать, выстроить систему,

при которой каждый усомнившийся в правильности устройства Единого Государства обречен — рано или поздно — оказаться в «машине Благодетеля».

Именно такую систему, как мы знаем, и создал Сталин.

А вот еще одна коллизия, создавая, выдумывая которую Замятин, надо полагать, уж точно считал гротескной.

Платон, как известно, из своего идеального Государства изгнал поэтов. И правильно сделал: от этих поэтов в обществе одна только смута и смятение умов.

В Едином Государстве Замятина поэты есть. Но общественная функция у них тут совсем не та, к какой мы привыкли («В мой жестокий век восславил я свободу...», «Милость к падшим призывал» — и все такое). И даже не то, что «не та», а — прямо противоположная:

► — Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R—13, старый приятель...

— Ну, а как же ваш «И н т е г р а л»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «И н т е г р а л у» не поднять. Каждый день от восьми до одиннадцати...

Я оживился:

— А, вы тоже пишете для «И н т е г р а л а»? Ну скажите, о чем? Ну вот хоть, например, сегодня.

— Сегодня — ни о чем. Другим занят был...

— Чем другим?

R сморщился:

— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов. Два года сидели рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, говорит, — гений, гений — выше закона». И такое наляпал... Ну да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R—13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену.

О том, как и для чего R—13 «поэтизировал приговор», мы узнаём в следующей главе — той, в которой Благодетель на глазах у праздничной, ликующей толпы «номеров» совершает свое публичное «благодаяние», то есть — казнь:

- ▶ ... наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла... фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать... Но зато руки...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу номер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств....

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые, — острым топором — хореи. О неслыханном преступлении: о кошунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить...

R—13 бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости) — опустил ся, сел.

Похоже, что рассказчик не совсем правильно понимает природу волнения Государственного Поэта. Похоже даже, что его понимание этого волнения бесконечно далеко от реальности. Нет, не потому R—13 бледен, как смерть, и не по-



И в этой вот ланде  
 сидит  
         военный молодой  
 в холеной бороде.  
 Перед ним,  
         как чурки,  
 четыре дочурки.  
 И на спинах булыжных,  
 как на наших горбах,  
 свита  
         за ним  
         в орлах и в гербах.  
 И раззвонившие колокола  
 расплылись  
         в дамском писке:  
 Уррра!  
         царь-государь Николай,  
 император  
         и самодержец всероссийский!

Это — агитлубок. В духе знаменитых его плакатов для окон РОСТА. «Сверхзадача» такого стилистического решения очевидна: надо сперва так изобразить расстрелянного императора, чтобы ни у кого из читателей не возникло и тени сочувствия ни к нему, ни к его «чуркам-дочуркам».

От этого, однако, до «поэтизации приговора» еще далеко. И тут эстетика лубка решительно отбрасывается и в дело вступает суровое реалистическое описание. Автор с председателем Свердловского исполкома Парамоновым едут на поиски места, где зарыт труп расстрелянного царя:

За Исетью,  
         где шахты и кручи,  
 за Исетью,  
         где ветер свистел,  
 приумолк  
         исполкомовский кучер  
 и встал  
         на девятой версте.  
 Вселенную  
         снегом заволокло.  
 Ни зги не видать —  
         как на зло.  
 И только  
         следы  
         от брюха волков

по следу  
                   диких козлов.  
 Шесть пудов  
                   (для веса ровного!)  
 будто правит  
                   кедров полком он,  
 снег хрустит  
                   под Парамоновым,  
 председателем  
                   исполкома.  
 Распахнулся весь,  
 роют  
                   снег  
                   пимы.  
 — Будто было здесь?!  
 Нет, не здесь.  
                   Мимо!  
 Здесь кедр  
                   топором перетроган,  
 зарубка  
                   под корень коры,  
 у корня,  
                   под кедром,  
   дорога,  
  
 а в ней —  
                   император зарыт.  
 Лишь тучи  
                   флагами плавают,  
 да в тучах  
                   птичье вранье,  
 крикливое и одноглавое  
 ругается воронье.

Какая-то тут взята не та, не подходящая к «сверхзадаче», неожиданно торжественная нота. Но это — дело поправимое. Присобачить бравурную концовку: мол, так ему и надо, поделом вору и мука, — и задание выполнено.

Такая концовка у него — вчерне — была уже заготовлена. Но тут — словно какая-то муха его укусила! — его вдруг развернуло и повело совсем в другую, противоположную сторону:

Я сразу вскину две пятерни  
 Я голосую против  
 Спросите руку твою протяни  
 Казнить или нет человечьи дни  
 Не встать мне на повороте



Вслед за ними тащатся фрейлины да няни —  
Ветер Революции, дуй веселей!  
На семи подводах разной дряни,  
Начиная с вороха старых дочерей.  
Тебя, как председателя,  
Как главу Совдепа,  
Всякий день запрашивали об одном:  
Что прикажешь делать с горевыми девками,  
С молодым последышем,  
С этим табуном?

Короли живут зубасты  
И катаются на лихачах.  
Революция сказала:  
Баста!  
Хватит проживаться на чужих харчах.

А они-то вертятся сатаной на блюде,  
Молчок,  
Старичок!  
Скидывайте шапочки перед Революцией,  
Чтобы пуля видела мозжечок!

Надо скинуть пиджачки,  
Расстегнуть пояса —  
Вот как,  
Во-как! —  
Чтоб прибыть на небеса  
Раньше срока.

В этакую бурю  
Ближе к делу —  
Там вас и обуют,  
Там вас оденут.

В этакую бурю,  
Друзья-доброхоты,  
С головами распроститься  
Им неохота.

И они все вертятся сатаной на блюде,  
Слезы собирая в кулачок.  
Скидывайте шапочки перед Революцией,  
Чтоб косая пуля била в мозжечок!

---

Не знаю, в какой несусветный Париж  
Тебя заведет тропа.  
Но ты, отвечая за все, говоришь:  
Советская власть скупа.



Она (прославляемая на век  
С начала и до конца)  
Дала на одиннадцать человек  
Одиннадцать слёз свинца.

Это — из стихотворения Александра Прокофьева «Два разговора с П. М. Быковым» (П. М. Быков — председатель Екатеринбургского Совдепа в 1918 году). Это он, по слову поэта, если судьба заведет его в какой-нибудь «несусветный Париж», должен, «отвечая за всё», гордо нести свою голову, не стыдиться и не стесняться содеянного.

Тут надо сказать, что душевное смятение «Государственного Поэта» R—13 у Замятина отчасти связано с тем, что ему приходится «поэтизировать» смертный приговор над своим собратом: «Из наших же поэтов. Два года сидели рядом... И вдруг...».

Что ж, в советской реальности и такое тоже бывало.

У Багрицкого в его «Стихах о поэте и романтике», в первом (никогда не публиковавшемся) варианте, который назывался «Разговор поэта с Романтикой», Романтика говорила:

Фронты за фронтами. Ни лечь, ни присесть!  
Жестокая каша, да сытник суровый;  
Депеша из Питера: страшная весть  
О том, что должны расстрелять Гумилева.  
Я мчалась в телеге, проселками шла,  
Последним рублем сторожей подкупила,  
К смертельной стене я певца подвела,  
Смертельным крестом его перекрестила.

Столь явное сочувствие расстрелянному «белогвардейцу», выплеснувшееся в этих строчках, делало совершенно невозможным появление их в тогдашней советской печати. Вот и Багрицкому тоже пришлось «наступить на горло собственной песне». В опубликованном варианте эти строки выглядели уже так:

Депеша из Питера: страшная весть  
О черном предательстве Гумилева...  
Я мчалась в телеге, проселками шла;  
И хоть преступленья его не простила,  
К последней стене я певца подвела,  
Последним крестом его перекрестила...



Не одной это  
    Венгрии дело:  
 речь обвинителя  
    ярким лучом  
 очень многих господ  
    задела,  
 делающих вид,  
    что они — ни при чем.  
 Те, что в Англии  
    и в Америке,  
 из даллесочерчиллевой  
    семьи,  
 раздуватели  
    военной истерики, —  
 отводят взор  
    от подсудимых скамьи.  
 Приспешник их  
    Тито —  
 лишен аппетита  
 и, читая  
    судебный отчет,  
 зубами  
    в остервененье скрипит он,  
 с губ его  
    злобы пена течет...

Ну, и долго еще в том же духе и на том же поэтическом уровне.

Именно в этом и состоял главный смысл пророчества Замятина о назначении поэзии в государстве сталинского типа. «Поэтизация» смертных приговоров — это, в сущности, частность. Суть же его пророчества в том, что он предсказал появление статуса Государственного Поэта, для которого необходимость прославлять в стихах каждую очередную государственную гнусность стала уже привычной, не очень даже обременительной, механически выполняемой обязанностью:

- ▶ ...мой путь: от части к целому; часть R—13, величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Про-

сто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег и заключенные в волнах миллионы килограммометров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них — разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» — этот классический образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... А «Ежедневные оды Благодарителю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные «Цветы Судебных Приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»?..

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода.

Заклячая этот перечень замятинских предсказаний и пророчеств, не могу не вернуться к тому, с чего начал: к культуре Благодетеля.

Тут уж ни о какой экстраполяции не может быть и речи. В 1920 году, когда Замятин создавал свой роман, это было чистейшей воды фантазией, как тогда, вероятно, казалось, бесконечно далекой от правдоподобия и даже довольно-таки безвкусной:

- ▶ Когда, перед началом, все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн —

сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов — я на секунду забыл все...

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе — и все выше навстречу ему миллионы сердец — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (— сияние блях); и в центре ее — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но для тех, кому выпало жить, как теперь говорят, «при Сталине», и эта фантазия тоже стала самой что ни на есть наиреальнейшей реальностью:

Мы все ходили под богом.  
У бога под самым боком.  
Он жил не в небесной дали,  
Его иногда видали  
Живого. На мавзолее.  
Он был умнее и злее  
Того — иного, другого,  
По имени Иегова,  
Которого он низринул,  
Извел, пережег на уголь,  
А после из бездны вынул  
И дал ему стол и угол.  
Мы все ходили под богом.  
У бога под самым боком.  
Однажды я шел Арбатом,  
Бог ехал в пяти машинах.  
От страха почти горбата,  
В своих пальтишках мышинных  
Рядом дрожала охрана.  
Было поздно и рано.  
Серело. Брезжило утро.



- На следующий день Керенский в сопровождении генерала Брусилова выехал на передовую. В течение дня он пять раз выступал с речами, каждый раз срывая шквал аплодисментов. Очевидцем одного из таких выступлений оказался прапорщик Ф.А. Степун. Он вспоминал: «Как сейчас вижу Керенского, стоящего спиной к шоферу в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа. Сзади нее офицерские фуражки и погоны. Неподалку от меня, у заднего крыла, стоит знакомая фигура дважды раненного пехотного поручика. Приоткрыв рот, он огромными печальными глазами и полными слез в упор смотрит на Керенского и не только ждет, но как будто бы требует у него какого-то последнего всерешающего слова».

Приступ ораторского вдохновения, посетивший Керенского накануне, не прошел и к этому времени: «Его широко разверстые руки то опускаются к толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко поднимаются к небу. В раскатах его взволнованного голоса уже слышны характерные для него исступленные всплески. Заклиная армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Керенский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сейчас пойдет вперед, чтобы победить или умереть».

Аудитория слушала Керенского заворуженно. Внезапно одорукий поручик протиснулся вперед и, подойдя к Керенскому, сорвал с себя Георгиевский крест и нацепил его на френч военного министра. Керенский пожал поручику руку и передал крест своему адъютанту: в благотворительный военный фонд. «Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому руки, один за другим летят в автомобиль Георгиевские кресты, солдатские и офицерские. Бушуют рукоплескания. Восторженно взвиваются ликующие возгласы: «За землю и волю!», «За Россию и революцию!», «За мир всему

миру!» Где-то, поднимаясь и ширясь, надвигаются на автомобиль торжественные звуки «Марсельезы».

*(Там же. Стр. 157—158)*

Эти — и другие такие же — выразительные свидетельства современников биограф Керенского предваряет таким обобщением:

- ▶ Никогда, ни раньше, ни позже, ни один из российских лидеров не удостоивался такого масштабного и беззаветного обожания.

*(Там же. Стр. 144)*

Если это обобщение не ограничивать пределами нашего отечества, к сказанному можно добавить, что харизму Александра Федоровича Керенского можно сравнить с харизмой еще только одного политического деятеля той же эпохи — Адольфа Гитлера.

Но позвольте! А Сталин? Разве его харизма не превосходит — и во много раз — харизму Гитлера — не говоря уже о Керенском?

Да, конечно, превосходит, даже смешно сравнивать. Но его харизма совсем другого рода.

Харизма Гитлера, как и Керенского, была связана с их личным магнетизмом. Харизма Сталина отчуждена от его личности, и сам Сталин не только готов был с этим согласиться, но даже на этом настаивал:

- ▶ На мое замечание о безвкуском, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами — портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций.

*(Лион Фейхтвангер. Москва 1937. В кн.: Андрэ Жид. Возвращение из СССР. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. М., 1990. Стр. 213)*



Это, конечно, была милая шутка (отговорка), продиктованная желанием произвести хорошее впечатление на собеседника: я, мол, не хуже, чем вы, понимаю, что эти сотни тысяч портретов человека с усами — проявление дешевого дурновкусия. Но при всем при том он и в самом деле не склонен был отождествлять себя с этим «человеком с усами», глядящим на него с тысяч гигантских портретов. Он был искренен, когда сказал сыну:

- ▶ Сталин — это советская власть! Сталин — это то, что пишут о нем в газетах и каким его изображают на портретах. Это не ты, и даже не я!

Но главное отличие сталинской харизмы от харизмы Керенского или Гитлера даже не в этом.

Сталин знал, что массовый психоз — это огромная сила. «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами», — эту марксистскую заповедь он усвоил хорошо. Но он, — в отличие от Маркса и Ленина, — прекрасно понимал, что идея (настоящая идея) овладеть массами не может. Массами может овладеть только экскремент идеи, ее отброс. А кроме того, он понял, что массовый психоз можно не только подогреть и раздуть, но и создать искусственно. А создав, — умело им управлять.

Способы создания и управления этим массовым психозом нам хорошо известны. Это — сотни тысяч и даже миллионы портретов человека с усами, мраморные памятники и гипсовые бюсты человека с усами, гигантский портрет человека с усами, вознесенный аэростатами в ночное небо и высвеченный прожекторами, демонстрации и физкультурные парады.

Вот этот искусственно создаваемый и направляемый, управляемый массовый психоз и предрек, предсказал Замятин в своем романе:

- ▶ Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золоты-



мир Ильич Ленин» и «Хорошо», этот энтузиазм уже угасал, но еще не угас.

А позже, когда ресурс этого энтузиазма уже совсем иссяк, направляемый и управляемый массовый психоз подпитывала, поддерживала уже другая, еще более властная стихия: **страх**.

И в этой книге, и в других своих книгах я уже не раз говорил о том, что истерическая любовь моих современников к «вурдалаку» была не чем иным, как **сублимацией страха**.

Евгений Замятин предугадал природу этого психологического феномена задолго до того, как он стал реальностью.

В его романе истерическая любовь граждан Единого Государства к Благодетелю не просто подпитывается, поддерживается страхом, о ней даже не скажешь, что она порождена им. Она, в сущности, и есть не что иное, как вот этот самый превращенный, преобразованный, сублимированный страх:

- ▶ ...белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Эта паутина, эти «благодетельные тенеты счастья», которыми опутал всех граждан Единого Государства «белый, мудрый Паук — Благодетель», в фантастической антиутопии Замятина зовутся Хранителями. Власть этих Хранителей над душами сограждан безгранична. И основана эта их безграничная власть, помимо всего прочего, еще и на технике, которая тогда, в 1920 году, когда сочинялся этот замятинский роман, могла существовать только в воображении фантаста:

- ▶ Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха.

Тридцать лет спустя и эта замятинская фантазия обернулась реальностью:

► Герасимович вошел, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку...

— По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизившись и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

— У-гм, — ответил Осколупов. — Садитесь.

Герасимович сел...

— Вы... это... — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы... — оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?

— Да.

— И вас это... — Фома поворочал языком, как бы протирая зубы. — Вас хвалят. Да... Вам сколько сидеть осталось?

— Три года.

— До-олго! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой, до-олго!.. А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.

— Какая ж работа, разрешите узнать?

— Да там много работ намечено, только хватать. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках, — там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это — не по вашей специальности?

— Нет, это не по моей.

— Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печет. И обе прямо по вашей специальности, — ведь так, Антон Николаич? — (Яконов поддакнул головой.) — Одно — это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультракрасных лучах. Чтоб, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идет, а он бы и до смерти не знал. За границей уже наметки есть, тут надо только... творчески перенять... А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фотоаппаратик, толь-

ко такой манехонький, чтоб его в дверные косяки вде-  
лывать. И он бы автоматически, как только дверь от-  
крывается, фотографировал бы, кто через дверь прохо-  
дит. Хотя бы днем, ну, и при электричестве... Такой бы  
аппаратик нам тоже в серийное производство запустить.  
Ну, как? Возьметесь?

Суженым худощавым лицом Герасимович был  
обернут к окнам и не смотрел на генерал-майора...

Впервые за много лет возврат домой своей доступ-  
ностью, близостью, теплотой обнял сердце.

А сделать надо было только то, что... вместо себя по-  
садить за решетку сотню-две доверчивых лопоухих во-  
льяшек...

Все законы жестокой страны эзков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тертых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой эсками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках...

— Вы просто отвыкли от серьезных заданий, оттого и робеете, — убеждал Осколупов. — Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшой рукой подпер лоб и молчал...

— Но о чем вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у эзков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхатого, вислощекого, тупорылового выродка в генеральской папахе...

— Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности!.. Довольно, что нас посадили...

*(Александр Солженицын. В круге первом)*

От ситуации, о которой упоминается в романе Замятина, эта коллизия отличается только тем, что герой Солженицына после минутных колебаний отказывается от гнусного задания, а герой Замятина выполняет такое же дурно пахнущее поручение без всяких колебаний и вспоминает об этом, как о чем-то вполне будничном, обычном, само собой разумеющемся.

Впрочем, в том же романе Солженицына есть и другой персонаж, своей слепой, рабской преданностью догматам официальной идеологии уже совсем не отличающийся от замятинского:

► ...генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая картошка с выступами носа и ушей, говорил:

— Вы — заключенный, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.

«Я и сейчас коммунист!» — хотелось воскликнуть Рубину, но было унижительно доказывать это Бульбанюку.

— Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя...

Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, еще не прослушанная, уже лично задевала его.

Смолосидов включил на прослушивание...

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный — вот понадобился и он!.. Он снова — в строю! Он снова — на защите Мировой Революции!

Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпер свою картошистую голову...

Они были отвратительны Рубину, смотреть на них

не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же, в кабинете, ручной гранатой!

Но так сложилось, что объективно на данном перекрестке истории они представляют собою ее положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.

И надо стать выше своих чувств! И им — помочь!..

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать — идею. Спасать — знамя. Служить передовому строю.

Это мое противопоставление двух эпизодов из романа Солженицына такой же коллизии из романа Замятина с тем знаком, с каким реальность противостоит фантастике, может показаться некорректным: ведь роман Солженицына — тоже художественный вымысел, такой же, как роман Замятина. И оба приведенных тут эпизода из солженицынского романа тоже ведь могли быть выдуманы автором.

Да, могли. Хотя — вряд ли. У солженицынского Рубина, как мы знаем, был реальный прототип: Л.З. Копелев. И его Герасимович тоже вполне мог быть списан с натуры.

Но это в конце концов даже и неважно.

Были ли там, на шарашке, которую описывает Солженицын, такой случай, или Александр Исаевич все это выдумал, — особого значения не имеет. Тут важно другое: то, что замятинская фантазия из жанра «антиутопии» переместилась в реалистическое повествование. И переместилась, не потеряв главного своего смысла.

Так что фантастическое предположение Замятина о том, что в будущем Едином Государстве на парковых и садовых скамейках будут установлены подслушивающие устройства, мы тоже с полным основанием можем считать пророческим.

\* \* \*

Читал ли этот роман Замятина Сталин? На этот счет никаких точных сведений у нас нет.

Вообще-то он был человек читающий. Говорил, что триста-четыреста страниц — его ежедневная порция. Думаю,

что не врал. Может быть, многое не читал, а только просматривал. Но, как всякий самоучка, читать он любил, и круг его книжных интересов был широк необычайно:

- ▶ ...все горизонтальные поверхности в его резиденциях были завалены открытыми журналами, книгами и горами бумаг. Прежде чем отправиться на юг, он написал Поскребышеву: «Закажите следующие книги: «Письма Гете», «Поэзия французской революции», Пушкина, Константина Симонова, Шекспира, Герцена, «Историю Семилетней войны» и «Морские сражения 1939—1945 годов» Питера Скотта.

*(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин. Двор Красного монарха. М., 2005. Стр.593)*

Из всего этого, разумеется, совсем не следует, что и роман Замятина «Мы» он тоже прочел. Но перед тем как удовлетворить просьбу Горького и выпустить опального писателя за границу, ознакомившись с представленной органами «объективкой» (как же без этого!), он не мог не поинтересоваться содержанием крамольного романа. И тут скорее всего ему положили на стол статью главного тогдашнего эксперта по литературным делам — А.К. Воронского, в которой содержание этого романа было изложено хоть и не подробно, но довольно точно.

В том своем письме 1922 года, в котором Воронский делился с Замятиным своими впечатлениями о полученном им от Пильняка и только что прочитанном этом его романе, он не скрыл, что собирается высказаться о нем в печати. Замятину такое его обыкновение (публично расправляться с авторами, лишенными возможности так же публично на критику ответить) представлялось, мягко говоря, этически небезупречным. И Воронский, предвзяв будущие его упреки, не то чтобы оправдывался (оправдываться он считал ниже своего достоинства), но — объяснялся:

- ▶ Опять вы меня будете упрекать в доносах. Но... благо революции превышает всего и иных постулатов у меня нет; критиковать же других, тех, которых рот за-



жимают, считаю приемлемым, ибо за это мы платили кровью, ссылками, тюрьмами и победами. Ведь было же время, когда над нами издевались всюду печатно (1908—1917), а мы вынуждены были молчать. Пусть помолчат теперь «они», если уж на худой конец так складываются обстоятельства... На разных плоскостях мы стоим. Вы вот пишете — нельзя связанного человека убивать, а я этого не понимаю. Как, почему нельзя? Иногда нельзя, иногда можно. Все зависит от форм, степени жесточенности борьбы, от цели, от того, кто и каков противник и что он, какими средствами, борется сам.

*(Литературное наследство. 1983, т. 93.  
Стр. 571—572);*

О самом же романе, полученном им от Пильняка и только что прочитанном, он в том же письме высказался так:

- ▶ Очень тяжелое впечатление. По совести. Неужели только на это вдохновил вас Октябрь и что после было до наших последних дней?.. Рано еще по нас такими сатирами стрелять. Как-то не туда, куда нужно, вы смотрите.

Это свое впечатление о неопубликованном замятинском романе он подробно развернул и обосновал в статье, которую, в полном соответствии со своими взглядами и моральными принципами, тогда же и напечатал:

- ▶ Наконец, о последней вещи Замятина, о романе «Мы», еще не напечатанном.

В одной из своих речей тов. Ленин заметил: «социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-нибудь отвлеченной картины, или какой-либо иконы». В этом — главное нашей эпохи.

Социализм перестал быть идеалом в том смысле, в каком он был раньше, скажем, лет 20—30 тому назад. Он — не призывная звезда, сияющая в далеких и чистых небесах, он стал вопросом тактики, практики и

воплощения в непосредственно-данную жизнь. И это заставляет одних радостно и трепетно заглядывать куда-то выше, стараться приподнять следующую завесу и дерзко мечтать о дальнейших завоеваниях, — и великим, неподдельным страхом наполняет других, страхом перед тем социализмом, который уже входит, так сказать, в обиход, ибо исторический приговор приводится уже в исполнение. Роман Замятина интересен именно в этом отношении: он целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой. Роман о будущем, фантастический роман. Но это не утопия, это художественный памфлет о настоящим и вместе с тем попытка прогноза в будущее...

Роман производит тяжелое и страшное впечатление. Написать художественную пародию и изобразить коммунизм в виде какой-то сверх-казармы под огромным стеклянным колпаком неново: так издревле упрежнялись противники социализма — путь торный и бесславный...

И все здесь неверно. Коммунизм не стремится покорить общество под ноzi единого государства, наоборот, он стремится к его уничтожению, к тому, чтобы оно отмерло.

*(А. Воронский. Литературные портреты. В двух томах. Том 1. М., 1928. Стр. 103—105)*

Тут интересно вот что. Воронский хоть и говорит, что роман Замятина «не утопия, а памфлет», но тут же, противореча себе, признает, что он (роман) — «пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой». То есть — страхом перед тем реальным социализмом, который строится и некоторые черты которого уже сейчас довольно ясно видны. Признает он и то, что это — «попытка прогноза в будущее».

Прогноз этот, однако, представляется ему ложным, потому что на самом деле «коммунизм не стремится покорить общество под ноzi единого государства, наоборот, он стре-

мится к его уничтожению, к тому, чтобы оно отмерло». Ну, и еще потому, что —

- ▶ Коммунизм не ставит целью поглощения «Я» — «Мы», он ведет к синтезу личности с общественным коллективом, и в его задачу не входит также проинтегрированная, омеханиченная и омашинизированная жизнь в том виде, как это представлено художником — в коммунистическом обществе не будет ни города в его настоящем, ни деревни с ее «идиотизмом» — мыслится соединение города с деревней.

*(Там же. Стр. 105)*

Тут надо сказать, что в эту химеру (во всяком случае, тогда, когда он писал эту свою статью), А.К. Воронский безусловно верил. Чего никак нельзя сказать о Сталине, который ни о каком отмирании государства не помышлял и наверняка уже тогда не сомневался, что по мере дальнейшего нашего продвижения по пути построения нового общественного устройства государство будет отнюдь не отмирать, а, напротив, усиливаться.

Ну, а уж если бы Сталину случилось прочесть роман Замятина «Мы» в 1931 году, когда он решал, выпускать или не выпускать его автора за границу, многое в устройстве изображенного в этом романе «Единого Государства» вполне могло прийти ему по душе.

Сюжет четвертый  
«ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
Я ЗАНИМАТЬСЯ  
НЕ СОБИРАЮСЬ»

Эта реплика — из официального заявления Е. Замятина на имя председателя Совнаркома А.И. Рыкова. (Формально — «В Управление СНК и СТО. Секретариату по приему заявлений и жалоб».)

Первое свое обращение к председателю Совнаркома с просьбой разрешить ему на год выехать за границу Замятин написал 30 сентября 1929 года. То есть — сразу же после того, как, вернувшись из Крыма в Москву, окунулся в самую гущу развернувшейся против него и Пильняка газетной кампании.

В ответ на это обращение он получил (11 октября) официальный ответ, в котором его просили подробно объяснить причины такого его решения.

Ответом на эту просьбу и было развернутое его заявление, репликой из которого я озаглавил этот сюжет.

Реплика взята мною из заключительной, итоговой части этого его заявления:

► Резолюции московских и ленинградских правлений Союза писателей, принятых — будем говорить прямо — под давлением со стороны, требуют от меня «отказа от идей», девять лет назад выраженных в романе «Мы» («Лит. газ», от 14/X с. г., п. 2 Ленингр. резолюции и п. 3 Московской). Таких нелепых требований никто не пытался предъявлять к писателю даже в царское время. То, что сделано, что существует, — объявить несуществующим я не могу.

О последствиях — я предупрежден все той же «Лит. газетой» (№ от 14/X): «Если Е. Замятин не станет высокомерно упорствовать в своих ошибках, то будут разорваны последние нити, связывающие его с советской общественностью... Е. Замятин должен понять ту простую мысль, что страна строящегося социализма вполне может обойтись без такого писателя».

Эту простую мысль — я понял. Я понял, что на время, пока не изменятся утвердившиеся у нас взгляды на литературу или не изменюсь я, — Советской России и советской литературе я не нужен.

Совершенно ясно, что при создавшемся положении продолжать оставаться здесь — для меня означает литературную смерть, молчание. Мне думается, что смертного приговора я все-таки не заслужил, и кое-что — хотя бы в моем прошлом — дает основания этот приговор смягчить. И потому я еще раз обращаюсь с настоятельной просьбой: разрешить мне, вместе с женой, выезд за границу на один год. Политической деятельностью заниматься я не собираюсь — я хочу только продолжать свою жизнь как художник слова. И если обстоятельствами я приведен к временной невозможности быть русским писателем и писать о России — быть может, мне удастся (как это удалось поляку Джозефу Конраду) стать на время писателем английским <..>, а писать по-английски мне немного труднее, чем по-русски.

(«Новая газета», 4 февраля 2009 г. Стр. 21)

Вряд ли он всерьез рассчитывал, подобно Джозефу Конраду, стать писателем английским. Скорее всего репликой этой он давал понять, что не станет печататься в русских зарубежных изданиях. (Если бы случилось такое, по тогдашним советским понятиям это означало бы, что он собирается стать писателем «белоэмигрантским».)

Вся эта дипломатия Замятину не помогла: в выдаче заграничного паспорта ему было отказано.

Напоминаю: было это осенью 1929 года. А 28 февраля того же года Сталин написал свой «Ответ писателям-коммунистам из РАППа», которым отчасти инициировал идеологическую кампанию против Пильняка и Замятина. (См. главу «Сталин и Пильняк». Документ № 10.)

Этот сталинский «Ответ» в кругу тогдашних «руководящих товарищей», отвечающих за литературу и искусство, был хорошо известен. Луначарский даже обращался к Сталину с просьбой опубликовать его:

- ▶ Ваше письмо группе Билль-Белоцерковского нашло довольно широкое распространение в партийных кругах, т.к. оно, по существу, является единственным изложением Ваших мыслей по вопросу о нашей политике в искусстве... Это способствовало бы, в значительной степени, устранению путаницы и разногласия в отношении разных вопросов, связанных с искусством.

*(Новое о Замятине. Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера. М., 1997. Стр. 131)*

Сталин, однако, публиковать этот свой «Ответ» не стал. (Впервые он был опубликован в 12-м выпуске исторического альманаха «Минувшее» — М.—СПб., 1993). Видимо, по каким-то своим соображениям он не хотел превращать его в партийную директиву. О том, какие у него на этот счет были соображения, можно даже догадаться.

Об истинном отношении Сталина к «писателям-коммунистам из РАППа» можно судить по такому его замечанию из этого его «Ответа»:

- ▶ ...общая линия у вас в основном правильна; сил у вас достаточно, ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники — вы безусловно способные и незаурядные люди; желания руководить — хоть отбавляй.

(«Минувшее». Исторический альманах. 12.  
М.—СПб., 1993. Стр. 373)

Последняя реплика — откровенно ироническая. А о своем отношении к РАППу, заключая этот свой «Ответ», он высказался так:

- ▶ Что касается моих отношений к РАППу, они остались такими же близкими и дружескими, какими были до сего времени. Это не значит, что я отказываюсь критиковать их ошибки, как я их понимаю.

(Там же. Стр. 375)

Это — классический стиль Сталина. Рассказывают, что был однажды даже такой случай.

На каком-то узком партийном совещании он будто бы выступил вдруг с таким неожиданным заявлением:

— Совершенно точно установлено, что товарищ Маленков является английским шпионом. Но, несмотря на это, товарищ Маленков по-прежнему остается моим любимым учеником, другом и соратником.

Но — шутки в сторону. Вернемся к нашим баранам.

Из приведенных выше двух сталинских реплик ясно видно, что отношение Сталина к «товарищам-коммунистам из РАППа» было, мягко говоря, неоднозначным. И больше всего в этих ребятах его настораживало именно то, что «желания руководить» у них было «хоть отбавляй».

«Желания руководить» он не прощал никому. Даже Горькому. А «товарищи-коммунисты из РАППа» не просто желали руководить. Они открыто требовали, чтобы их — именно их и только их — официально объявили единственными проводниками правильной партийной линии в управлении литературой. Говоря проще, чтобы руководство лите-

ратурным процессом, ну и, конечно, писателями, было поручено им.

Сталин прекрасно понимал, что если бы он распорядился опубликовать свой «Ответ писателям-коммунистам из РАППа», то есть придать ему значение партийной директивы, рапповцы — и не только они — взяли бы на вооружение из этого его «Ответа» только одну фразу: «...общая линия у вас в основном правильная».

Так оно, в общем-то, и вышло.

4 декабря 1929 г. «Правда» опубликовала большую — «основополагающую» — редакционную статью: «За консолидацию коммунистических сил в литературе».

В какой-то мере она носила как будто бы даже примирительный характер. «Неистовых ревнителеей», то есть «писателей-коммунистов из РАППа», она даже вроде как одергивала:

- ▶ ...мы наблюдаем картину взаимного, совершенно недопустимого охаивания со стороны коммунистов отдельных литературных групп. Конечно, теоретические споры неизбежны, спорить можно и должно и по вопросам практической литературной политики, но надо же знать меру в политическом усердии...

Но главным, ключевым ее тезисом стала та самая — вырванная из иронического контекста — сталинская фраза из его «Ответа писателям-коммунистам из РАППа». То есть деятельность РАППа определялась там как «в основном правильная», и «пролетарским писателям» поручалось:

- ▶ ...сплотить все коммунистические силы и сомкнутыми рядами, базируясь на основной пролетарской организации (ВОАПП) и через нее идти вперед к разрешению огромных задач, стоящих перед партией на литературном фронте.

(«Правда», 1929, 4 декабря)

Для писателей (даже и коммунистов), входивших в разные тогдашние литературные группировки — «Реф», «Пере-



вал», «ЛЦК» (Литературный центр конструктивистов), — это прозвучало как дантовское: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Лавочка закрывается: не будет больше ни «Левфов», ни «Рефов», ни «Перевалов», ни конструктивистов. Все писатели, которые хотят «идти вперед к разрешению огромных задач, стоящих перед партией», должны уяснить, что сделать это они могут только одним способом: двигаясь «сомкнутыми рядами» с ненавистными (во всяком случае, малосимпатичными) им рапповцами.

О том, что это было понято и воспринято именно так, свидетельствует хлынувшая сразу же после появления этой статьи лавина заявлений писателей и поэтов, изъявивших желание покончить со своими групповыми пристрастиями и немедленно вступить в РАПП.

Среди подавших такое заявление были Багрицкий, Луговской, Михаил Светлов, Артем Веселый. В это же время заявил о своем вступлении в РАПП и Маяковский. (Нет нужды напоминать о том, чем для него обернулось это его последнее наступление «на горло собственной песне».)

Замятин маршировать с рапповцами, да еще «сомкнутыми рядами», не смог бы ни при какой погоде, даже если бы и захотел. И чем дальше, тем больше он утверждался в убеждении, что в создавшейся ситуации у него остается только один выход: отъезд.

Но с отъездом тоже ничего не получалось. Обращался он с просьбой о разрешении на выезд не только в Совнарком и СТО, но и в ОГПУ (к Ягоде). И всюду натыкался на отказ.

В 1931 году в СССР вернулся Горький, и Замятин поделился с ним своими неосуществившимися и, по-видимому, неосуществимыми планами. Горький посоветовал ему написать Сталину и даже пообещал, что сам вручит его послание вождю. Это свое обещание он сдержал и, выполняя его, наверно, что-то еще добавил и от себя, убеждая Хозяина удовлетворить просьбу опального писателя. И «Единое Государство» наконец разжало свои стальные челюсти.

О том, как это было, Замятин рассказал в своих воспоминаниях о Горьком, написанных меньше чем через месяц после смерти Алексея Максимовича:

- ...я увидел, что мне лучше на время уехать за границу. В те годы получить заграничный паспорт писателю с моей репутацией «еретика» было делом нелегким. Я обратился к посредничеству Горького. Он стал меня убеждать, чтобы я подождал до весны (1931 года). «Увидите — все изменится». Весной ничего не изменилось. Тогда Горький, не очень охотно, согласился добыть для меня разрешение выехать за границу.

Однажды секретарь Горького позвонил мне, что Горький просит меня быть у него вечером, к обеду, на даче. Я очень отчетливо помню этот необычайно жаркий день, грозу, тропический ливень в Москве. Сквозь водяную стену автомобиль Горького мчал нас, нескольких человек, приглашенных в этот вечер к нему.

Обед был — «литературный», за столом сидело человек 20. Горький сначала сидел усталый, молчал. Все пили вино, а перед ним стоял бокал с водой, вино ему нельзя было пить. Потом он взбунтовался, налил себе бокал вина, еще и еще, стал похожим на прежнего Горького.

Гроза кончилась, я вышел на огромную каменную террасу дачи. Тотчас же вышел туда Горький и сказал мне: «Ваше дело с паспортом устроено. Но вы можете, если хотите, вернуть паспорт и не ехать». Я сказал, что поеду. Горький нахмурился и ушел в столовую, к гостям.

Было уже поздно. Часть гостей осталась ночевать на даче, часть уезжала в Москву, в числе их — я. Прощаясь, Горький сказал: «Когда же увидимся? Если не в Москве, так, может быть, в Италии? Если я там буду, вы ко мне туда приезжайте. Непременно! Во всяком случае — до свидания, а?»

*(Евгений Замятин. Я боюсь. М., 1999. Стр. 231)*

На что рассчитывал Горький, надеясь, что к весне (1931 года) «все изменится», понять можно. Непонятно другое: почему в том же году он вдруг решил, что Замятину и в самом деле лучше уехать? Ведь он долго еще сохранял эту свою на-

дежду на перемены к лучшему. И кое-какие перемены действительно произошли.

Чем все это кончилось, мы теперь уже хорошо знаем, но легко быть умным задним умом. А тогда у Горького еще были основания обманываться, тем более, что обманываться он был рад — такой уж у него был характер.

Впрочем, обманулся тогда не он один. Обманулись многие.

Случилось это после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 23 апреля 1932 года, после которого ВОАПП и РАПП были ликвидированы:

- ▶ «До постановления ЦК от 23 апреля я никогда не думала, что какое бы то ни было постановление может сыграть в моей жизни такую большую роль», — сказала Вера Инбер. Это искренние и глубокие по смыслу слова. Их могла бы произнести не только Вера Инбер, но и все здоровые силы советских писателей той поры. Впрочем, они это и сделали... Причины бурного развития советской литературы, как и всей культуры в стране, кроются в мудрой политике партии, обеспечившей всесторонний прогресс жизни общества...

После ликвидации РАПП и других литературно-художественных организаций советская литература, словно с нетерпением ожидавшая весеннего половодья, из разных ручьев и рек бурно сливалась в одно могучее течение. Именно в этот период радостного братания всех творческих сил страны и вместе с тем в период столкновения различных точек зрения писателей и критиков, ставших абсолютно равноправными в едином Союзе писателей, оформляются принципы творческого метода советской литературы и рождается определение его как социалистического реализма.

*(С. Шешуков. Неистовые ревнители.  
Из истории литературной борьбы 20-х годов.  
М., 1984. Стр. 334—335)*

В 1984 году, когда вышла (уже вторым изданием) цитируемая книга, ложность — я бы даже сказал, лживость — этой искусственной эйфории была уже очевидна. Но сорок лет назад, в 1934-м, когда в президиуме Первого съезда советских писателей, как уже было сказано, рядом с Горьким сидел Пастернак, эта эйфория была искренней. Поддались этой эйфории не все, но уж кто-кто, а Горький, не только поддерживавший, но и создававший эту эйфорию, наверняка верил, что предсказываемые им Замятину в начале 1931 года перемены к лучшему наконец все-таки свершились.

Пожалел ли он тогда, что три года назад поддержал Замятина в его решении уехать? И не счел ли сейчас, что это тогдашнее его решение было ошибкой?

Думаю, что нет, не пожалел.

Вспомним, как это дело представлялось Замятину.

Сперва Горький стал его убеждать, чтобы он подождал до весны: весной мол, все изменится. Но весной ничего не изменилось, и тогда Алексей Максимович согласился добыть ему разрешение на выезд.

Заметим: это Замятин констатирует, что весной ничего не изменилось. Горький скорее всего думал иначе. Верил, что кое-что уже изменилось и еще будет меняться. Но он понял, что все эти перемены, каковы бы они ни были, Замятина не касаются и не коснутся. **ДЛЯ ЗАМЯТИНА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ И УЖЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ.** Вот почему его решение покинуть родину, как тогда, в 1931-м, так и сейчас, в 1934-м, Горький наверняка считал разумным, правильным, единственно для него возможным.

По каким-то своим соображениям правильным счел это решение и Сталин.

\* \* \*

Соображения на этот счет у него могли быть разные.

Какую-то — и немаловажную — роль тут играло то, что удовлетворить просьбу Замятина его попросил Горький, который тогда — в 1931 году — был ему еще нужен. Очень нужен.

Быть может, именно Горький ему втолковал, но не ис-

ключено, что он и сам понял, что такой человек, как Замятин, вписаться в советскую литературу ни при каких обстоятельствах не сможет. Что еще при таком раскладе оставалось ему с ним делать? Убить? Но для таких кардинальных решений время тогда еще не пришло.

Конечно, можно было ответить на его просьбу так же, как — годом раньше — он ответил на точно такую же просьбу Булгакова. То есть — подбодрить, обнадежить. Но Булгакова все-таки можно было как-то использовать «для пользы дела». А этого — не используешь.

Уже этих двух соображений было бы довольно, чтобы решить вопрос положительно. Но было тут у него еще одно, третье соображение, быть может, самое для него важное.

В своем обращении к Сталину Замятин так же определенно, как в написанном два года назад заявлении в Совнарком, дал понять, что политической деятельностью за границей он заниматься не собирается. А о том, как намерен там жить и что делать, сообщил в тех же выражениях, в каких говорил об этом в том своем, двухгодичной давности, заявлении в Совнарком:

- ▶ Если обстоятельствами я буду приведен к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем — может быть, мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более, что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски.

Но теперь к этому прежнему своему сообщению он присовокупил еще две фразы — на первый взгляд как будто бы мало что добавляющие к уже сказанному, а на самом деле весьма многозначительные:

- ▶ Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает, главным образом, для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню еще одно дру-

гое имя: Б. Пильняка. Как и я, амплуа чёрта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?

Замятин, конечно, прекрасно понимал, — не мог не понимать! — ЧЕМ ПЛАТЯТ и Эренбург, и Пильняк за этот свой особый статус.

Что касается Пильняка, — тут все ясно. Его с полным основанием можно причислить к сонму «тех юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда скинуть, когда петь сретение царя и когда молот и серп», о которых с таким пренебрежением Замятин когда-то писал в своей, наделавшей столько шуму статье «Я боюсь». Пильняк даже в партию собирался вступить. Вернее, как выразился об этом его намерении Вячеслав Полонский, — «пролезть»:

- ▶ «Хочу вступить в коммунистическую партию. Но не через писательскую ячейку, а через рабочую».

Искренно? Не верю. Трюк. Парень не глуп. Понимает, что подходят дни, когда на его «Волге, впадающей в Каспийское море» далеко не уедешь. Но в партию вряд ли пролезет.

*(Вячеслав Полонский. Моя борьба на литературном фронте. Дневник. 5.X.31)*

Нет, путь Пильняка для Замятина был неприемлем.

Иное дело — Эренбург.

В 1931 году особое положение Эренбурга вполне могло представляться Замятину базирующимся на том, что он «работает, главным образом, для европейской литературы — для переводов на иностранные языки». Но не мог же он при этом не понимать, что это его особое положение держится не только на этом.

Чтобы получить, условно говоря, «статус Эренбурга», недостаточно было быть «не против» советской власти. Надо было быть «за».

Написав Сталину, что он согласен на «статус Эренбурга»,

Замятин откровенно дал ему понять, что, оказавшись за границей, готов быть не только лояльным, но и **полезным** советской власти.

И Сталин именно так это и понял:

- ▶ Когда Е. Замятину разрешили выехать за границу (его никто не высылал), то большинство членов Политбюро было против этого решения. Сталин высказался за разрешение и заявил при этом, что Замятин ничего против нас там не напишет. И оказался прав. Интересно, что в «Руде право» была напечатана статья о том, что Замятин никогда не вернется в СССР. Прочитав эту статью, Замятин прислал письмо в «Литературную газету». Сергей Динамов, который был тогда редактором газеты, показал мне замятинское письмо и спросил мое мнение о напечатании письма. Я отсоветовал. В этом письме Замятин выступал против статьи «Руде право». Когда показали письмо Сталину, то он дал распоряжение печатать. В связи с этим у меня со Сталиным зашел спор. Мне было известно, что Замятин встречался с белоэмигрантами и в своих беседах делал недвусмысленные намеки. Я заявил Сталину, что Замятин не вернется и не надо печатать его. Сталин сказал: «Скорее всего он вернется, но легче себе нажать врага, чем приобрести друга».

*(Вячеслав Нечаев. Ненаписанные воспоминания.  
Беседы с И.М. Гронским. «Минувшее».  
Исторический альманах. 16 М.—СПб.,  
1994. Стр. 106—107)*

Далее Гронский сообщает, что они некоторое время еще поспорили, но в конце концов Сталин его переубедил (еще бы!), и статья Замятина в «Литературной газете» была напечатана.

Утверждение Гронского, что, оказавшись за границей, Замятин «встречался с белоэмигрантами и в своих беседах делал недвусмысленные намеки», было не совсем беспочвенно. Среди тех, кого в СССР числили «белоэмигрантами», были его близкие друзья (Ремизов, Юрий Анненков). Мог ли он

с ними не встречаться? А о том, какие в беседах с ними он мог делать «недвусмысленные намеки», кое-что нам известно.

Вот, например, как он отреагировал на вызвавшее в СССР радостную эйфорию известие о роспуске РАППа:

- ▶ Один мой приятель, ленинградский биолог, произвел чрезвычайно любопытный эксперимент над населением аквариума. Однажды он перегородил аквариум на середине глубины сплошным стеклянным листом. Недели две рыбы стучались о стекло головами, потом перестали: они поняли, что перед ними хотя и невидимое, но совершенно непреодолимое препятствие. Через месяц стекло было вынуто. Но рыбы уже так твердо уверовали в существование невидимого препятствия, что ни одна из них даже не пробовала подняться выше того уровня, где раньше было стекло.

Нечто похожее на этот эксперимент произошло в советской литературе. В течение нескольких лет путь ее был перегороден бесцветным стеклом так называемого РАПП'а (*Association Russe des Ecrivains Proletariens*). Недолго думая, вожди этой группы решили «перевоспитать» остальных писателей («*compagnons de route*»), и притом в самом срочном, «ударном» порядке. Никакого литературного авторитета у «воспитателей» не было: все наиболее крупные и талантливые писатели оставались вне РАПП'а. Нетерпеливые конквистадоры стали осуществлять свою задачу методами, так сказать, артиллерийскими...

Результаты этого артиллерийского воспитания были, разумеется, самые плачевные: одни из «воспитываемых» надолго замолкли, в произведениях других зазвучали нестерпимо фальшивые ноты, оскорблявшие даже невзыскательный слух.

В апреле 1932 года организация РАПП'а была объявлена распушенной — по постановлению Центрального Комитета партии.

*(Евгений Замятин. Я боюсь. М., 1999. Стр. 246—247)*



Эту маленькую притчу даже и не назовешь «недву­смысленным намеком». Какой же это намек? Все, что автор хотел сказать, сказано прямо: «стекло» из аквариума вынуто (РАПП распущен), но выдрессированные «рыбы» («перевоспитавшиеся» писатели) по-прежнему будут стучаться лбами об уже несуществующую преграду.

Приведу еще одно — столь же недву­смысленное — его высказывание:

- ▶ Одна из... тем, пока еще очень робко затрагиваемых в советской литературе, это вопрос об отношении личности и коллектива, личности и государства. На практике сейчас этот вопрос решен полностью в пользу государства... Эта проблема раньше или позже несомненно возникнет в очень острой форме...

Другая, очень актуальная сейчас тема в советской литературе, по существу очень близко связанная с первой, это тема о положении художника в обществе, организованном на новых принципах... Она более непосредственно затрагивает писателей именно сейчас, когда делаются опыты государственного регулирования «литературной промышленности».

*(Там же. Стр. 248—249)*

Так что же, значит, в споре Гронского со Сталиным прав был Гронский? И Сталин «переубедил» его только потому, что, как выразился однажды остроумец Радек, «с ним трудно полемизировать: ты ему цитату, а он тебе — ссылку?»

Нет, прав в том споре был все-таки Сталин.

Начну с того, что печатать эти свои «недву­смысленные намеки» Замятин не стал, — хотя такие возможности, как вы понимаете, у него были. Ироническая заметка о роспуске РАППа впервые появилась на свет только в 1990 году в нью-йоркском «Новом журнале». Там же впервые целиком было опубликовано и его «Автоинтервью», из которого взят второй отрывок.

Это «Автоинтервью» он хотел дать В. Познеру для еженедельника «La Monde». Но незадолго до этого вышла такая ис-

тория. Сразу по приезде в Париж он дал интервью французскому писателю и журналисту Ф. Лефевру, бывшему тогда главным редактором еженедельника «Les Nouvelles literaires». На темы, которые казались ему хоть сколько-нибудь опасными, он там высказывался осторожно. Например, вот так:

- ▶ — Каково сейчас настроение русских писателей?  
— У вас некоторые писатели не имеют никаких убеждений, там, в России, многие писатели не имеют никаких сомнений. Это, вероятно, очень счастливое состояние.

— ...?

— Да нет, я говорю совершенно серьезно, по крайней мере, по отношению к той группе писателей, которая искренне исповедует официальную идеологию. Гораздо труднее положение «попутчиков», большинство которых вышло из интеллигентской среды. Они должны в корне изменить себя, изменить свои мысли и свои вкусы — «перестроиться», как там говорят. Некоторые — *je-m'en-foutistes* (те, кому на все наплевать. — Б.С.) — делают это очень легко. Но их не уважают даже те, кому они служат, за ними установилась презрительная кличка «приспособленцы». Но для тех, которые искренно хотят перестроиться, это часто тяжелый процесс, кризис, иногда очень болезненный.

*(Там же. Стр. 362)*

Но Лефевр, как это принято на Западе, разбил весь текст этого интервью на маленькие главки, каждой из которых дал свое, как правило, хлесткое название.

Например, такое:

- ▶ ПИСАТЕЛИ В СССР: ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ЗАТО СВОБОДЫ НЕТ.

*(Там же. Стр. 257)*

Вот эти заголовки и смутили — можно даже сказать, напугали Замятина.

На следующий день после появления этого его интервью на страницах «Les Nouvelles littéraires» он писал В. Познеру:

- ▶ ...меня очень огорчил наш cher confrere (дорогой коллега) Lefevre: несмотря на все мои предупреждения, ухитрился-таки подложить мне свинью своими заголовками... Данный мною материал — по-моему, достаточно объективный и сдержанный — использован так, как мне бы этого не хотелось. Свое обещание послать мне этот материал для корректуры он исполнил, а потом подсыпал такого перца, что я до сих пор чихаю. При случае, если встретите Баркова, попробуйте так, к слову, разведать, какое впечатление произвел этот левфевровский перец, и скажите, что это для меня было сюрпризом.

*(Там же. Стр. 337—338)*

Кто такой был этот Барков, у которого Познер при случае должен был разведать, какое впечатление произвел этот огорчивший Замятина казус, — догадаться несложно. Познер в 1932 году уже был членом французской компартии, сотрудничал с «Юманите». Какие-то контакты с официальными и неофициальными «советскими» у него наверняка были.

Но, не дожидаясь, пока Познер встретит этого неведомого нам Баркова и попытается заверить его, что виноват в случившемся не он, а Лефевр, Замятин на всякий случай — «страха ради иудейска» — решил все-таки от публикации своего автоинтервью в «La Monde» отказаться. О чем тут же и сообщил Познеру:

- ▶ Я думаю вот что: не лучше ли в связи с этим задержать материал, высланный Вам для «Monde» — чтобы не подливать масла в огонь?

*(Там же. Стр. 333)*

После этого инцидента, давая очередное интервью кому-нибудь западному журналисту, он старался особенно тщательно выверять каждое свое высказывание, чтобы, не

дай бог, не промелькнула там и тень какой-нибудь «двусмысленности».

Например, вот так:

- ▶ На днях я имел встречу с известным писателем Евгением Замятиным, постоянно проживающим в Советской России.

— Как вы теперь работаете? — спросил я.

— Беллетристических вещей давно не пишу, — сказал он мне, — а [пишу] статьи на литературные темы, которые печатаю в парижских журналах. Например, в «Нувелль литеррер». Сейчас работаю над очередной статьей о советских писателях.

— Советская Россия плодovitа, и талантливых писателей у нас много! — воскликнул Замятин... — Пишут, пишут, пишут. Вот недавно появился целый цикл произведений из жизни русского флота. Вышло в краткий период три романа, обращающие на себя большое внимание. На первое место я ставлю роман Соболева «Капитальный ремонт». Талантливый, хороший роман. Соболев, безусловно, подает надежды, я с уважением его читал. Судя по роману, а это первая вещь Соболева, приобретающая известность, — он должен стать крупным писателем.

Потом следует отметить — из того же морского цикла — роман Лавренева — «Синее и голубое» и Новикова-Прибоя — «Цусима». С интересом читаются.

— А военные «сухопутные» вещи имеются? — задал я вопрос, шутливо выразившись.

Но Замятин ответил вполне серьезно:

— Да, есть и «сухопутные». Например, роман Лебедевко «Тяжелый дивизион». Писатель совсем новый, молодой, но сумел написать захватывающую вещь, которая обратила на себя внимание. И я радуюсь нашей молодой поросли. Живя уже долго в Париже, я слежу пылливо за нашей родной литературой отсюда, издалека. И в настоящее время моя цель — знакомить с нею за границу. Мною задуман целый ряд статей — и несколько я уже успел напечатать...

— Какие ваши дальнейшие планы?

— Еще поживу в Париже. Хочу здесь остаться некоторый период. А потом собираюсь поехать в Нью-Йорк и вообще в Америку.

— А когда в СССР?

— Из Америки я намерен вернуться уже в СССР, — поживши в Америке — поеду к себе.

*(В.Н. Унковский. Встреча с Евгением Замятиным. Новое русское слово. Нью-Йорк, 1934, 13 мая. Евгений Замятин. Я боюсь. М., 1999. Стр. 267)*

Повышенная осторожность, я бы даже сказал, повышенная бдительность Замятина тут бросается в глаза. Совсем невинную шутку интервьюера, — даже не шутку, а просто шуточный тон, — и то он не захотел поддержать. А в заключение счел нужным подчеркнуть, что, побывав в Америке, непременно вернется домой, в СССР.

Эта тема (вернется Замятин в СССР или не вернется) возникла чуть ли не на другой день после его отъезда. Именно об этом, как мы помним, спорил Гронский со Сталиным, уверяя его, что не вернется. О том же будто бы шла речь и в той статье Замятина, которую Гронский публиковать не рекомендовал, а Сталин распорядился напечатать:

- ▶ ...в «Руде право» была напечатана статья о том, что Замятин никогда не вернется в СССР. Прочитав эту статью, Замятин прислал письмо в «Литературную газету».

На самом деле, однако, письмом, посланным в «Литературную газету», Замятин отвечал не на статью «Руде право», а на статью самой «Литгазеты». Собственно, поводом для его письма явилась даже не одна «литгазетская» статья, а две. Первая называлась «Гастроли Евгения Замятина» («ЛГ», 1932, 4 февраля), вторая — «Пражские защитники Е. Замятина» («ЛГ», 1932, 11 марта). Автором обеих статей был некто М. Скачков. И речь в них шла не только о том, вернется Замятин в СССР или не вернется:

- Замятин уехал во Францию в конце 1931 года... По дороге — в Праге он сделал доклад о советской драматургии. В «Литературной газете» был помещен по этому поводу издевательский фельетон. Замятин напечатал в «Литературной» же разъяснительное письмо, доказывая рядом фактов несостоятельность утверждений фельетониста, в том числе, помню, была и такая фраза: мол, фельетонист, обвиняя меня в чтении для чужаков, не заметил присутствовавшего на этом докладе советского посла.

*(Иннокентий Басалаев. Записки для себя.  
«Минувшее». Исторический альманах 19.  
М.—СПб., 1996. Стр. 469)*

Это упоминание о присутствии на его докладе советского посла куда важнее опровержения слухов, что в СССР он будто бы уже не вернется.

Опровержение слухов (не верьте, мол, клевете, вернусь, непременно вернусь, обязательно) — это ведь, в сущности, слова, слова, слова... А присутствие на его докладе посла — несомненный факт, свидетельствующий, что даже негласных правил поведения советского писателя и советского гражданина он не нарушил и впредь нарушать не собирается. Так, едва только он пересек государственную границу СССР, при первом же инциденте, сразу поспешил заявить, что никому не позволит усомниться в своей советской лояльности.

\* \* \*

Вряд ли стоит ломиться в открытую дверь, доказывая, что благостная, чуть ли даже не восторженная характеристика, которую Замятин дал современной советской литературе в своем интервью «Новому русскому слову», мягко говоря, не вполне соответствовала его истинному к ней отношению. Об этом можно судить хотя бы по его интервью В. Познеру, — тому, которое он не рискнул напечатать. Там и писатели, и книги, на его взгляд заслуживающие интереса, были названы совсем другие:

- ▶ ...за последний год появилось несколько чрезвычайно интересных работ... Из них особенное внимание на себя обратили четыре книги: «Охранная грамота» — повесть Пастернака, «Художник неизвестен» — повесть Каверина, «Сумасшедший корабль» — роман Форш и «Записки Занда» Олеси. Авторы этих книг — одни из наиболее талантливых в группе так называемых «попутчиков». В своих работах они разошлись с ортодоксальной марксистской теорией творчества, так что «внимание», о котором я только что говорил, звучало скорее как увесистые шлепки, чем как аплодисменты.

*(Евгений Замятин. Я боюсь.  
М., 1999. Стр. 247)*

Еще определеннее он высказался на эту тему в другом своем интервью — А. Верту, парижскому корреспонденту британской газеты «The Manchester Guardian»:

- ▶ — Что подразумевается под фразой «литература на службе пятилетнего плана»?  
— Может быть, я еретик, — улыбается Замятин, — но, как я понимаю, в этой фразе нет смысла. Это детский идеализм. Как инженер я знаю, что ни один «производственный роман» никогда не произведет ни одной тонны стали сверх нормы. Как писатель я знаю, что желание писать на «производственную тему» производило только тонны плохих романов... В «голодные» годы — времена гражданской войны и «военного коммунизма», — когда казалось, что миру пришел конец, в литературе царили футуристы. Они утверждали, что именно им принадлежит монополия на «новое» пролетарское искусство; вскоре они обнаружили, что у пролетариата нет ничего общего с этими «*erateurs de bourgeois*». Период нэпа был отмечен появлением новых литературных талантов в России, но и эта новая литература не была «пролетарской». Лучшие писатели того периода официально именовались «попутчика-

ми» — в основной своей массе они принадлежали к интеллигенции и не были коммунистами, хотя большинство из них симпатизировали или притворялись, что симпатизировали, советской революции.

Среди таких людей было несколько по-настоящему талантливых писателей; это Всеволод Иванов и Бабель, чьи произведения о гражданской войне были свежи, жизненны и обладали эпическим размахом; этого в русской литературе давно уже не было. Был Зошенко — «Чехов» нэповской России... Был Пильняк — неровный, но писавший в своей оригинальной манере прозаик; был такой одаренный драматург, как Булгаков, первоклассный писатель Леонов и многие другие. Литература процветала до 1926 года.

(Там же. Стр. 265)

Это замятинское интервью, в отличие от того, которое он в свое время дал В. Познеру, было напечатано («*The Manchester Guardian*». *Glasgow*, 1932, 9 august). Разумеется, по-английски.

В британской газете Змятин все-таки позволил себе слегка расковаться и пооткровенничать. Но в «Новом русском слове», газете, которую в родимом отечестве наверняка числили «белоэмигрантской», он себе этого позволить не мог.

Странная получается картина.

На родине, где он ощущал себя узником и даже «приговоренным к высшей мере наказания», он не боялся говорить вслух все, что думал, — держался смело, независимо, свободно. А когда сбывлась его давняя мечта, когда наконец выпустили его из тюрьмы на волю, — вдруг «забоялся».

А чего, собственно, было ему там бояться?

Только одного: что ему не позволят вернуться. Случись ему сделать хоть один неверный шаг, и путь домой, на родину, навсегда будет для него закрыт. А в возможность возвращения он, видимо, все-таки верил. Во всяком случае, хотел верить. И расставаться с этой надеждой не хотел.



- Кое-кто из художников до самой середины тридцатых годов возобновлял свои советские паспорта и доверчиво ждал, когда можно будет вернуться в Москву... Вплоть до 1936 года — до самых московских процессов — у них были надежды... Самоубийство Маяковского пошатнуло их надежды, но не убило их. Приезд Замятина в 1931 году опять сильно поколебал их; выходило, что Куприну легче туда вернуться, чем Замятину там жить? Это их смущало.

С Замятиним я провела однажды два часа в кафе «Дантон», на углу Сен-Жерменского бульвара, в двух шагах от русского книжного магазина, где мы случайно встретились. Это было в июле 1932 года. Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой. Не думаю, чтобы он верил, что он доживет до такой возможности, но для него слишком страшно было окончательно от этой надежды отказаться. Я знала его в 1922 году, в Петербурге, несколько раз говорила с ним на литературных вечерах Серапионовых братьев и встречала с ним за одним столом новый 1922 год. Он подошел ко мне в книжной лавке на улице Эперон и протянул руку.

— Узнаёте?

Никого кругом не было. Мы вышли.

В кафе он закурил свою трубку, подпер лицо обеими руками и долго слушал меня. Потом заговорил сам. У него был всегда тон старшего, тон учителя, тон слегка надуманный, и я это чувствовала. Он был наигранно оптимистичен, говорил, что необходимо «переждать», «сидеть тихо», что некоторые животные и насекомые знают эту тактику: не бороться, а притаиться. Чтобы позже жить.

*(Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография.  
Том 1. New York, 1983. Стр. 341—342)*

Берберова была существенно моложе Замятина, да и не тот у нее был характер. Она не могла и не хотела ждать. Она хотела жить **сейчас**.

Решилась ли она прямо сказать ему, что ей отвратительна эта его философия щедринского премудрого пескаря? Или он понял ее без слов?

- ▶ Лицо его стало хмуро. Оно-то и вообще у него было не веселым, а теперь стало и неподвижнее, и темнее, чем десять лет тому назад. И наступило молчание, долгое, тягостное, где я понимала, что он знает, что я права, и знает, что я знаю, что он знает, что я права. Но возвращаться к началу разговора (о том, что там, и о том, что здесь) не хотелось. Я вдруг поняла, что жить ему нечем, что писать ему не о чем и не для кого, что тех он ненавидит, а нас... немножко презирает. И я думала: если ты здесь, то скажи об этом громко, не тай, что с тобой случилось, как тебя там мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай открытый выбор. Нет, я этого сказать ему не посмела: мне было жаль его. Доживай, и молчи. Это было теперь его тактикой.

*(Там же. Стр. 342—343)*

Если бы только тактикой! Но то-то и горе, что нечто непоправимое произошло с самой основой его личности. Он не то чтобы сломался, но — переменялся. И перемена эта сказалась не только в его поведении или образе мыслей, но в самом существе его, как он выразился однажды, мирозерцания.

Выразился он так в связи с тем, что от него требовали, чтобы он отрекся от своего романа «Мы». Объявил его заблуждением, ошибкой. В ответ на это он и сказал тогда, что не способен отказаться от идей, составляющих сущность его мирозерцания. И вот теперь он от этих своих идей... Нет, не то чтобы отказался, но явно изменил свое к ним отношение.

В 1923 году Замятин написал и в 1924 году напечатал статью «О литературе, революции, энтропии и о прочем». Напечатать ее в СССР ему удалось тогда, можно сказать, чудом.

В этой статье, отрывок из которой я приводил на этих страницах, идеи, составляющие сущность его мирозерцания, он выразил даже с большей определенностью, чем в романе. Но идеи были те же. И он подчеркнул это жирной чертой, поставив эпиграфом к ней несколько строк из романа, тогда еще в России не напечатанного.

Вот он, этот эпиграф:

► — Назови мне последнее число, верхнее, самое большое.

— Но это же нелепо! Раз число чисел бесконечно, какое же последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно...

*(Евг. Замятин. Роман «Мы»)*

Этой статьей и этим эпиграфом с м ы с л своего романа — и без того, впрочем, достаточной ясный — Замятин обнажил предельно. Ведь гражданам Страны Советов, этого прообраза замятинского Единого Государства, как раз и внушалось, — и они, подобно герою его романа, в это верили, — что ИХ РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА ПОСЛЕДНЕЙ.

Будущим советским читателям своего романа «Мы» Замятин тем самым внятно тогда сказал, что этот его роман — ПРО НИХ.

Теперь он заговорил об этом иначе:

► ...мой роман «Мы» — я вижу у вас на столе. Близорукые рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман — сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству: от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства. Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, не без основания увидели в нем критику фордизма. В своем последнем романе английский беллетрист Ол-

дос Хаксли развивает почти те же самые идеи и сюжетные положения, которые даны в «Мы». Дрю Ля Рошель на днях рассказывал мне, что при встрече с Хаксли он даже спрашивал его, не читал ли Хаксли «Мы»; оказалось, что нет. Что и подтверждает, что эти идеи витают в грозном воздухе, которым мы дышим.

(Ф. Лефевр. *Один час с Замятиным, кораблестроителем, прозаиком и драматургом.*

*«Les Nouvelles littéraires».* Paris, 1932 avril.

*Евгений Замятин. Я боюсь.* М., 1999. Стр. 257—258)

В той же своей статье 1923 года («О литературе, революции, энтропии и о прочем») Замятин писал:

- ▶ Пусть пламя остынет завтра, послезавтра (в книге бытия — дни равняются годам, векам). Но кто-то должен видеть это уже сегодня и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретики — единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли.

(Евгений Замятин. *Я боюсь.* М., 1999. Стр. 96)

Теперь и на эту тему он высказывается иначе:

- ▶ Однажды на Кавказе мне рассказали персидскую басню о петухе, у которого была дурная привычка петь на час раньше других: хозяин петуха попал из-за этого в такие неудобные положения, что в конце концов отрубил своему петуху голову. Роман «Nous autres» («Мы». — Б.С.) оказался персидским петухом: этот вопрос и в такой форме поднимать было еще слишком рано.

(Автоинтервью. 21 апреля 1932 г.

*Евгений Замятин. Я боюсь.*

М., 1999. Стр. 248—249)

Тут особенно ясно видна парадоксальность того, что с ним случилось, после того как он сменил среду обитания. Пока он жил в СССР, он не был советским писателем — да-

же формально. Именно в тот момент, когда в аббревиатуре ВСП (Всероссийский союз писателей) появилось еще одно «С» (то есть он стал называться Всероссийским союзом **советских** писателей), Замятин демонстративно объявил о своем выходе из этого Союза. А оказавшись в Париже, он так же демонстративно стал позиционировать себя как советский писатель.

Даже формально.

В июне 1934 года послал в Ленинград (в Ленинградский Оргкомитет) телеграфное заявление с просьбой принять его в члены Союза советских писателей (*Документ № 14*).

В 1935-м в **составе советской делегации** принимал участие в антифашистском конгрессе в защиту культуры.

И это было не просто соблюдение некоторых формальных обязательств. Из всего сказанного выше с полным основанием можно заключить, что он на самом деле ощущал себя там советским писателем — со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Так стоило ли на протяжении многих лет так упорно, отчаянно добиваться, чтобы его выпустили из тюрьмы на волю?

Берберова так заключает свои воспоминания о нем:

- ▶ Он был не один. Вторым человеком, до 1936 года не соединившим свою судьбу с эмиграцией, был Вяч. Ив. Иванов. Но он жил в Италии, и там он мог в более спокойной и мирной обстановке возобновлять свой советский паспорт и переписываться с Горьким о даровании ему пенсии, о субсидии на лечение туберкулезного сына. В 1936 году он наконец стал печататься в «Современных записках». Этому помогли, конечно, московские процессы и смерть Горького. Замятин... не успел этого сделать... Впрочем, он вряд ли бы изменил свой взгляд на вещи: когда-то он был большевиком, членом партии еще в царские времена. Шесть лет ему были подарены Сталиным.

(Н. Берберова. *Курсив мой. Автобиография.*  
Том 1. New York, 1983. Стр. 343)

Что она хотела этим сказать? Что если бы он не уехал, у него не было бы и этих шести лет? Что там его убили бы раньше?

Исключить это, конечно, нельзя. Он мог бы погибнуть в ленинградском, «кировском» потоке 1934 года. А уж 37-го точно бы не пережил.

Но он его не пережил и в Париже.

Он умер 10 марта этого рокового года. От грудной жабы, как говорили тогда. (Сейчас сказали бы — от сердечной недостаточности.)

- ▶ Хоронили его 12 марта на кладбище Тие в пригороде Парижа, где находила себе вечный приют русская беднота. На похоронах присутствовали М. Слоним, Р. Гуль, Г. Газданов и М. Цветаева. Шел дождь, не было церковного отпевания и даже никаких слов. Гроб опустили прямо в воду, залившую могилу. Цветаева о похоронах вспоминала: «Было ужасно, растравительно бедно — и людьми и цветами — богато только глиной и ветрами — четырьмя встречными».

*(Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918—1940. Писатели русского зарубежья. М., 1997. Стр. 175)*

На этом можно было бы — и даже, наверно, следовало бы — поставить точку. Но у меня, как говорит Бабель, есть «в запасе» еще «пара слов».

\* \* \*

Подытоживая свои впечатления о той — последней — своей встрече с Замятым, Берберова говорит:

- ▶ Я вдруг поняла, что жить ему нечем, что писать ему не о чем и не для кого...

*(Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. Том 1. New York, 1983. Стр. 343)*

Это — взгляд ОТТУДА, с той стороны. Взгляд эмиграции, с которой Замятин, как говорит Берберова, не захотел соединить свою судьбу.

А вот — взгляд ОТСЮДА. С нашей, советской стороны:

- ▶ Константин Федин в свою поездку в Европу в 1933—1934 гг. (он лечился в Италии и затем ездил в Париж) виделся с Замятиным.

— Если Евгений Иванович не возвратится — для него все будет кончено, он уже больше не напишет ничего значительного, — сказал, приехав, Федин.

*(Иннокентий Басалаев. Записки для себя. «Минувшее». Исторический альманах 19. М.—СПб., 1996. Стр. 469)*

Может показаться, что два эти взгляда с разных сторон, сойдясь в одной точке, — полностью совпали. Но на самом деле это не так.

Федин думает, что Замятин ЕЩЕ МОЖЕТ НАПИСАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, — ЕСЛИ ВОЗВРАТИТСЯ.

Это — классическая советская точка зрения, суть которой в том, что писатель, оторвавшийся от родной почвы (как Антей от земли), обречен на бесплодие.

Даже умница Бабель однажды отдал ей дань.

В сентябре 1933-го, вернувшись в Москву из довольно длительного путешествия по Европе (Франция, Бельгия, Италия, Германия, Польша), он делился впечатлениями об этой поездке с коллегами и друзьями. Его спросили: есть ли сейчас в эмигрантской литературе какие-нибудь талантливые писатели, кроме стариков — Бунина, Куприна, Зайцева, Шмелева? «Да, — ответил он. — Появился новый писатель — Сирин, сын Набокова. Он очень талантлив. Но писать ему не о чем».

Это Набокову-то, уже написавшему к тому времени «Защиту Лужина» и «Подвиг»!.. Это ему-то не о чем писать!

Вот и у Федина получается, что единственная причина того, что Замятину, как сформулировала это Берберова, «писать не о чем и не для кого», заключается в том, что, покинув

родину, он разорвал связь с главным (по существу, единственным) источником своего вдохновения и со своим читателем.

Берберова говорит совсем о другом.

Она — так же прямо, как Федин о своем, — говорит, что Евгений Иванович ничего значительного уже не напишет совсем по другой причине:

- ▶ ...я думала: если ты здесь, то скажи об этом громко, не таи, что с тобой случилось, как тебя там мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай **открытый** выбор.

Вот что на самом деле обрекло его на творческое бесплодие. Не отрыв от родной почвы и от своего читателя, как это видится Федину, а то, что он не в силах сделать открытый выбор. То есть что он — **НЕСВОБОДЕН**.

Неправота Федина и правота Берберовой тут несомненна, потому что она подтверждается опытом Бунина, Ходасевича, Цветаевой, которые вдали от родной почвы сумели создать едва ли не лучшие свои вещи. Да и разве только они?

Свое письмо Сталину с просьбой разрешить ему уехать Замятин, как мы помним, начал так:

- ▶ ...обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.

Это была главная, неотвязная мысль, повторяющаяся на всем протяжении письма, главная его тема:

- ▶ В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжелой, как литературная смерть, и потому я прошу заметить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если ж я



не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хоть бы на год, выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова.

И кончалось это его письмо тем же:

- ▶ Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах, более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) — мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две моих пьесы, переведенных на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей», уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей... Все эти мотивы — налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу — является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь.

Просьба его была удовлетворена. Ему была оказана неслыханная по тем временам милость. Мгновенно распространившиеся слухи о том, что ему разрешили уехать, вызвали в писательской среде прилив радостных ожиданий:

- ▶ ...выяснилось, что отдельные литераторы, отмечая необычайный эффект имевших место тех или иных обращений писателей с просьбами к т. Сталину (отъезд Замятина за границу...), сами намереваются обратиться к последнему с некоторыми прошениями. Литераторы Эйхенбаум, Н. Радлов, Зоценко предполагают обратиться персонально к т. Сталину за разрешением выехать за границу. Детский писатель К. Чуковский, которого, в связи со статьями Крупской, более не

печатают, — за разрешением печататься, писатель Тынянов — с просьбой повлиять на критику с тем, чтобы последняя прекратила бы травлю его.

Немногим из этих надежд было суждено осуществиться. Но «смертный приговор», вынесенный Замятину, был отменен.

Казалось бы — чего больше? Никто тебя больше не травит. (На первую же попытку травли в «Литературной газете» ему сразу позволили возразить, ответить.) К твоим услугам все европейские книгоиздательства. Пиши — не хочу!

Никто не мешает тебе осуществить давнее твоё намерение: работать для европейской литературы — для переводов на иностранные языки. А в крайнем случае — даже стать английским писателем, как это удалось поляку Джозефу Конраду.

И что же?

Что удалось сделать ему на воле за те шесть лет, что были «подарены ему Сталиным»?

Написал сценарий по мотивам пьесы Горького «На дне». (Фильм был поставлен в 1936 году Ж. Ренуаром.) Писал очерки, воспоминания, рецензии. Пытался превратить в роман написанную ещё в России пьесу (трагедию) «Атилла». (Первая часть под названием «Бич Божий» вышла в Париже в 1938-м, уже после его смерти.) После смерти писателя усилиями его вдовы была составлена и издана книга его критических статей и воспоминаний об Андрееве, Блоке, Горьком, Белом, Б.М. Кустодиеве, Сологубе («Лица». Вышла в 1951 году).

Похоже, что приговор «к высшей мере наказания», вынесенный на родине писателя, продолжал действовать и за пределами «большой зоны».

И тут мне опять приходит на память разговор Сталина с Гронским — тот их «спор», в котором Гронский доказывал вождю, что печатать письмо Замятина в «Литгазете» не следует, поскольку тот все равно уже — отрезанный ломоть.

На что Сталин возразил, что «легче себе нажить врага, чем приобрести друга».

Приобрести в Замятине друга он, разумеется, не рассчитывал. И смысл этой его поучающей реплики на самом деле

был такой: «Никуда он от нас не убежит. Здесь или там, все равно будет наш. Никуда не денется».

Тут я уже чуть было не написал, что в конце концов так оно и вышло. И даже собрался уподобить этот их спор знаменитому спору Бога с Сатаной о душе Иова, заключив это кощунственное сравнение выводом, что как в случае с Иовом прав был Всевышний, так и в случае с Замятиным прав оказался Сталин.

Не сразу я понял, что мешало мне так завершить этот сюжет. А мешало то, что истинным его завершением должна стать судьба романа Замятина «Мы». И не только потому, что этот роман в то время уже свободно гулял по свету, переведенный на все европейские языки, но еще — и прежде всего — потому, что он стал первым в череде других знаменитых книг, главная из которых — роман Джорджа Оруэлла «1984» — нанесла по сталинской империи зла удар такой сокрушительной силы, что порой даже рождалась мысль: не он ли ее и разрушил.

Поверим Олдосу Хаксли, который будто бы говорил, что роман «Мы» он не читал. (Хотя верится с трудом: уж больно много там прямых, и не только сюжетных совпадений.) Но уж Оруэлл-то этот замятинский роман точно читал.

Ни он, ни Замятин до краха сталинского Единого Государства не дожили. Но оба они этот крах предсказали.

Так что в конечном счете последнее слово в том споре осталось все-таки не за Сталиным, а за Замятиным.

СТАЛИН  
И ПЛАТОНОВ



## ДОКУМЕНТЫ

1

### ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА Р.С. ЗЕМЛЯЧКЕ

*Декабрь 1929 года.  
Москва*

...в «Октябре» я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина — рассказ анархистский; в редакции теперь боятся шаг ступить без меня...

2

### ИЗ СТАТЬИ Л. АВЕРБАХА «О ЦЕЛОСТНЫХ МАСШТАБАХ И ЧАСТНЫХ МАКАРАХ»

(«Октябрь», 1929, № 11)

В журнале «Октябрь» № 9 напечатан рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар». В рассказе этом издевка над всем и ирония, одинаково скептическая по отношению к самым различным явлениям, свидетельствуют отнюдь не о глубине мировоззрения автора и пролетарской установке его сатиры. Напеча-

тание этого рассказа в «Октябре» (и уже тем паче без одновременной развернутой и жестокой критики его) является безусловно ошибкой, ибо «Усомнившийся Макар» — произведение даже и не попутническое...

В чем же «усомнился» наш Макар? Он усомнился в главном и основном для борющегося пролетариата, и усомнился в этом Макар именно тогда, когда пролетариат в нашей стране вступил в последний и решительный бой с российским капитализмом, окончательно выбивая у него почву под ногами, ломая и переделывая его питательную среду. Макар усомнился «именно тогда», когда пролетарская революция добралась уже и до самого мелкого собственника, открывая ему новые пути и показывая ему жалкую безысходность путей старых.

Весной 1918 года в статье об «Очередных задачах Советской власти» Ленин писал:

«Рестаuration буржуазной эксплуатации грозила нам вчера в лице Корниловых, Гоцов, Дутовых, Гегечкори, Богаевских. Мы их победили. Эта рестаuration, та же самая рестаuration грозит нам в иной форме, в виде стихии мелкобуржуазной распушенности и анархизма, мелкобуржуазного «моя хата с краю», в виде будничных, мелких, но зато многочисленных наступлений и нашествий этой стихии против пролетарской дисциплинированности. Мы эту стихию мелкобуржуазной анархии должны победить, и мы ее победим...»

Мы вступили в новый этап социалистического строительства. Здесь мы опять и неизбежно сталкиваемся с той мелкобуржуазной стихией, о которой писал Ленин.

Рассказ Платонова — идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нем есть двусмысленность, в нем имеются места, позволяющие предполагать те или иные «благородные» субъективные пожелания автора. Но наше время не терпит двусмысленности; к тому же рассказ в целом вовсе не двусмысленно враждебен нам!..

Писатели, желающие быть советскими, должны ясно понимать, что нигилистическая распушенность и анархоиндивидуалистическая фронда чужды пролетарской революции никак не меньше, чем прямая контрреволюция с фашистскими лозунгами. Это должен понять и А. Платонов.

ЗАПИСКА И.В. СТАЛИНА РЕДАКЦИИ  
ЖУРНАЛА «КРАСНАЯ НОВЬ»  
ПО ПОВОДУ ПОВЕСТИ  
А.П. ПЛАТОНОВА «ВПРОК»

[май 1931 г.]

К сведению редакции «Красная новь».

Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головоотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту.

*И. Сталин*

P.S. Надо бы наказать и автора и головоотяпов так, чтобы наказание пошло им «впрок».

ИЗ ПИСЬМА БЫВШЕГО РЕДАКТОРА  
ЖУРНАЛА «КРАСНАЯ НОВЬ»  
С.И. КАНАТЧИКОВА И.В. СТАЛИНУ

6 июня 1931 г.

...на одном из последних заседаний Политбюро рассматривался вопрос о напечатании рассказа Андрея Платонова в № 3 «Красной нови» за 1931 год «Впрок». Вызывая на это заседание меня и т. Васильевского, как бывших редакторов журнала «Красная новь», меня почему-то не нашли, хотя я находился в момент вызова вместе с тов. Васильевским. Во избежание всяких кривотолков считаю своим долгом заявить: я считал и считаю этот рассказ возмутительно издевательским, контрреволюционным. При обсуждении его я категорически протестовал против его напечатания. Ныне по редакциям журналов путешествует такой же возмутительный рассказ об ударничестве того же автора. Боюсь, что найдется «великодушный» редактор, который его напечатает.



## А.П. ПЛАТОНОВ — И.В. СТАЛИНУ

Товарищ Сталин.

Я прошу у вас внимания, которого делами пока еще не заслужил. Из необходимости беречь ваше время, я буду краток, может быть, даже в ущерб ясности дела.

В журнале «Красная новь» напечатана моя повесть «Впрок». Написана она более года тому назад. Товарищи из рапповского руководства оценили эту мою работу как идеологически крайне вредную. Перечитав свою повесть, я многое передумал; я заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого и явно для всякого пролетарского человека — кулацкий дух, дух иронии, двусмысленности, ухищрений, ложной стилистики и т. д. Получилась действительно губительная работа, ибо ее только и можно истолковать во вред колхозному движению. Но колхозное движение — есть самый драгоценный, самый, так сказать, «трудный» продукт революции. Этот продукт, как ребенок, требует огромного, чуткого внимания, даже при одном только приближении к нему. У меня же, коротко говоря, получилась какая-то контрреволюционная пропаганда (первичные намерения автора не меняют дела — важен результат). Вам я пишу это прямо, хотя тоска не покидает меня. Я увидел, что товарищи из РАППа — правы, что я заблудился и погибаю.

В прошлом году, летом, я был в колхозах средневожского края (после написания «Впрока»). Там я увидел и почувствовал, что означает в действительности социалистическое переустройство деревни, что означают колхозы для бедноты и батраков, для всех трудящихся крестьян. Там я увидел колхозных людей, поразивших мое сознание, и там же я имел случай разглядеть кулаков и тех, кто помогает им. Конкретные факты были настолько глубоки, иногда трагичны по своему содержанию, что у меня запеклась душа, — я понял, какие страшные, сумрачные силы противостоят миру социализма и какая невероятная работа нужна от каждого человека, чья надежда заключается в социализме. В результате поездки, в результате идеологической помощи ряда лучших товарищей, на-

стоящих большевиков, я внутренне, художественно отверг свои прежние сочинения — а их надо было отвергнуть и политически, и уничтожить или не стараться печатать. В этом было мое заблуждение, слабость понимания обстановки. Тогда я начал работать над новой книгой, проверяя себя, ловя на каждой фразе и каждом положении, мучительно и медленно, одолевая инерцию лжи и пошлости, которая еще владеет мною, которая враждебна пролетариату и колхозникам. В результате труда и нового, т. е. пролетарского, подхода к действительности, мне становилось все более легко и свободно, точно я возвращался домой из чужих мест.

Теперь рапповская критика объяснила мне, что «Впрок» есть вредное произведение для колхозов, для той политики, которая служит надеждой для всех трудящихся крестьян во всем мире. Зная, что вы стоите во главе этой политики, что в ней, в политике партии, заключена забота о миллионах, я оставляю в стороне всякую заботу о своей личности и стараюсь найти способ, каким можно уменьшить вред от опубликования повести «Впрок». Этот способ состоит в написании и опубликовании такого произведения, которое бы принесло идеологической и художественной пользы для пролетарского читателя в десять раз больше, чем тот вред, та деморализующая контрреволюционная ирония, которые объективно содержатся во «Впроке».

Вся моя забота — в уменьшении вреда от моей прошлой литературной деятельности. Над этим я работаю с осени прошлого года, но теперь я должен удесятить усилия, ибо единственный выход находится в такой работе, которая искупила бы вред от «Впрока». Кроме этого главного дела, я напишу заявление в печать, в котором сделаю признание губительных ошибок своей литературной работы — и так, чтобы другим страшно стало, чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление, объективно вредящее пролетариату, есть подлость, и подлость особо гнусная, если ее делает пролетарский человек.

Ясно, что такое заявление есть лишь обещание искупить свою вину, но не само искупление. Однако я еще никогда не делал таких заявлений и не сделал бы, если бы не был уверен, что выполняю.

Товарищ Сталин, я слышал, что вы глубоко цените художественную литературу и интересуетесь ею.

Если вы прочитали или прочитаете «Впрок», то в вас, как теперь мне ясно, это бредовое сочинение вызовет суровое осуждение, потому что вы являетесь руководителем социалистического переустройства деревни, что вам это ближе к сердцу, чем кому бы то ни было.

Этим письмом я не надеюсь уменьшить гнусность «Впрока», но я хочу, чтобы вам было ясно, как смотрит на это дело виновник его — автор, и что он предпринимает для ликвидации своих ошибок.

Перечитав это свое письмо к вам, мне захотелось добавить еще что-нибудь, что бы служило непосредственным выражением моего действительного отношения к социалистическому строительству. Но это я имею право сделать, когда уже буду полезен революции.

Глубоко уважающий вас Андрей ПЛАТОНОВ

8 июня 1931 г.

6

А.М. ГОРЬКОМУ

т. Горькому А. М.

По поручению т. Сталина посылается письмо Платонова.

*Товстуха*

7

ИЗ СТАТЬИ А. ФАДЕЕВА  
«ОБ ОДНОЙ КУЛАЦКОЙ ХРОНИКЕ»  
(«Красная новь», 1931, № 5—6)

Огромные успехи социалистической коллективизации сельского хозяйства, на основе которой происходит ликвидация целого капиталистического класса, того класса, который, по определению Ленина, является самым злым, самым упорным врагом пролетарской диктатуры, —

кулачества, — вызывают, по вполне понятным причинам, наибольшую ярость этого врага. Именно дело социалистической коллективизации ему нужно опорочить, извратить, постараться высмеять, дискредитировать и оклеветать. Этот «социальный заказ» и дает кулачество своим идеологическим агентам, и в частности своей художественной литературе. Однако дело социалистической коллективизации сельского хозяйства, представляющее собою практическое освобождение миллионов трудящихся от рабства, стало настолько популярным, настолько любимым и близким делом миллионов, что кулацкие агенты все реже решаются выступать с открытым, ничем не замаскированным нападением на колхозное строительство. Они все чаще принуждены надевать маску сочувствующих «в общем и целом», но только сомневающих, колеблющихся. Они норовят прикинуться безобидными чудачками, юродивыми, которые режут «правду-матку», мучаясь и тревожась величайшей «заботой за всеобщую действительность». Они даже могут подать тот или иной совет, сказать ласковое слово — ведь они же за коммунизм, за «генеральную линию». Они всячески просят не путать их критику данного недостатка, данного руководителя, данного факта с их общей «сочувствующей» позицией. Они даже могут сослаться на авторитет «центральных вождей» — они же простые и прямые люди, они «способны ошибаться, но не могут солгать». Всякий, знающий классовую борьбу в нашей деревне и участвовавший в ней, знает этот тип хитрого, пронырливого классового врага, знает, как часто пытается кулак надеть маску «душевного» бедняка, заботящегося за народ, «за всеобщую действительность». Подобного типа кулацкие агенты стремятся использовать и художественную литературу. Одним из кулацких агентов указанного типа является писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов в маске «душевного бедняка», простоватого, беззлобного, юродивого, безобидного, «усомнившегося Макара».

Он сыплет шуточками, прибаутками, занимается нарочитым и назойливым косноязычием, вздыхает о душе, о том, что «трактора горячие, а жизнь прохладная» (см. его «бедняцкую хронику» «Впрок», напечатанную в 3-й

книжке «Красной нови»). Но, как и у всех его собратьев по классу, по идеологии, под маской простоватого «усомнившегося Макара» дышит звериная, кулацкая злоба, тем более яростная, чем более она бессильна и бесплодна.

Повесть Платонова «Впрок» с чрезвычайной наглядностью демонстрирует все наиболее типичные свойства кулацкого агента самой последней формации — периода ликвидации кулачества как класса и является контрреволюционной по содержанию.

Платонов постарался прикрыть классово враждебный характер своей «хроники» тем, что облек ее в стилистическую одежку простячества и юродивости («Я, дескать, душевный бедняк, — что с меня взять»), рассчитанную на коммунистов, способных — о, разумеется! — «понимать» и — о, конечно! — «отдавать должное» «оригинальности художественной манеры». Платонов постарался прикрыть классово враждебный характер своей «хроники» и некоторыми подачками (так сказать, «на идеологическую близость»), рассчитанными на коммунистов, которые «подверчивее» и «могут войти в положение». Ну конечно, «он способен ошибаться, но не может солгать». Ну конечно, он тоже «со слезами на глазах, с искренностью и слабхарактерностью (?) выступал на защиту партии в глухих деревнях республики». Платонов понимает, что нельзя совсем не упоминать и о кулаках, проникающих в колхозы. Он «отдает должное» тому, что колхозники засевают больше, чем засевали, когда были единоличниками. Он даже подает советы о том, где строить колхозные селения, — об овцеводстве, о водоснабжении.

Но Ленин как раз и учил разбираться в различных уловках, ходячих фразах, всевозможных софизмах, которыми прикрывают эксплуататорские классы свои эгоистические поползновения и свое настоящее «нутро».

Стоит только поворошить одежки, которыми прикрылся «душевный бедняк», как из-под «оригинальности» его художественной манеры выгянет совсем не оригинальный, а уже примелькавшийся и уже разоблачаемый массой крестьянства, хитроватый «юродивый» — себе на уме, ведущий свою кулацкую линию. Бессильно и злобно пытается он издеваться над огромным и трудным делом освобождения трудящихся крестьян от кулацкой кабалы,

над делом, на которое с сочувствием и надеждой обращены взоры эксплуатируемых миллионов всего мира. Бессилие и пошлость его издевки — следствие действительных успехов социалистического наступления рабочего класса.

Платонов обнаглел настолько, что позволяет себе заниматься своими юродивыми пошлостями и тогда, когда он говорит о Ленине. Один из его героев сидит в доме заключения за самоуправство и узнает о смерти Ленина. «Упоев сказал самому себе: «Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, буду жить!» — и повесился на пояском ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Упоева, веско возразил:

— Ты действительно сволочь. Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых... Как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех, и если он умер, то нас без призора не покинул».

Убежденный словами босняка, Упоев стал «обсыхать лицом». Нужно обладать неисчерпаемым запасом тупой и самодовольной пошлости для того, чтобы вкладывать эти слова о Ленине в уста бродяги, сидящего под арестом в советском доме заключения.

С этим неисчерпаемым запасом пошлости Платонов и подходит к выполнению заказа, данного ему его классом.

Основной смысл его «очерков» состоит в попытке оклеветать коммунистическое руководство колхозным движением и кадры строителей колхозов вообще. Разумеется, Платонов делает все от него зависящее, для того чтобы извратить действительную картину колхозной стройки и борьбы.

С этой целью всех строителей колхозов Платонов превращает в дураков и юродивых. Юродивые и дурачки, по указке Платонова, делают все для того, чтобы осрамиться перед крестьянством в угоду кулаку, а Платонов, тоже прикидываясь дурачком и юродивым, издевательски умиляется над их действиями. Святая, дескать, простота!..

На место лучших сынов рабочего класса и передовых крестьян, несущих вперед знамя коллективизации, Платоновым представлены выдуманные им идиотики. Чего стоит, например, «борец с неглавной опасностью», через которого Платонов пытается высмеять ту борьбу, которую вели партия с уклонами от ее генеральной линии?..

Столь же беззубо и дешево пытается Платонов высмеивать и процессы, происходящие внутри колхозов. И именно здесь особенно отчетливо выступает кулацкая природа его произведения.

В платоновских колхозах — царство сплошной нелепости и бессмыслицы... Бестолочь, праздная суета и вместе с тем эксплуатация труда — вот какими красками рисует он колхозную жизнь. Наш «душевный» кулацкий агент очень гуманен, он, видите ли, «жалеет» несчастных колхозников...

Озлобленная морда классового врага вылезает из-под «душевной» маски. Платонов распоясывается. Изобразив колхозную жизнь как царство бестолочи, он переходит затем к описанию лжеартели, кулацкого колхоза, состоящего из переродившихся бывших героев гражданской войны. Для виду он, разумеется, выдавливает из себя несколько лицемерно осуждающих слов по адресу этих «героев» — но зато как любовно описывает он их хозяйство!.. Суть в том, что идиллия, описываемая Платоновым, выглядит прямо каким-то кулацким оазисом в пустыне бестолочи и сумятицы. «Все работы совершались вековыми, старинными способами», — лукаво подмигивает Платонов. Наш «юродивый» Андрей Платонов просто воспроизводит чаяновскую кулацкую утопию...

И каким отвратительным лицемерием звучит «жалостливая» сентенция Платонова об одном из колхозных руководителей:

«Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно. А с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику».

Омерзительно фальшивый кулацкий Иудушка Головлев, воспевающий кулацкие «коммуны» и «жалующий» колхозных руководителей, может особенно не беспокоиться. Колхозные кадры растут, любой колхозный бригадир сумеет разобраться в платоновском юродстве и определить подлинную цену его «душевности».

В том же елейно-фальшивом, сладком, лицемерном тоне описывает Платонов и выдуманную им историю о том, как голодающего батрака Филата, неизвестно поче-

му, долго не принимают в колхоз, а потом устраивают ему издевательский прием на первый день пасхи, «дабы вместо воскресения Христа устроить воскресение бедняка в колхозе». Филат умирает от «счастья» (умирает в буквальном смысле), а председатель напутствует: «Прощай, Филат... Велик твой труд, безвестный знаменитый человек». Это — образчик самой подлой и омерзительной клеветы. Потому что на нашей советской земле, которую рабочие и крестьяне кровью отстояли от соединенных сил мирового капитала, миллионы трудящихся Филатов впервые освободились от гнета и издевательства помещиков и капиталистов. Под руководством рабочего класса они освобождаются и от кулацкой кабалы, создают новые формы социалистического труда, становятся в разумные отношения друг с другом, рождают могучие таланты во всех областях человеческой деятельности.

Социалистическому наступлению оказывает бешеное сопротивление классовый враг. Он находит своих агентов и в литературе. Коммунисты, не умеющие разобраться в кулацкой сущности таких «художников», как Платонов, обнаруживают классовую слепоту, непростительную для пролетарского революционера.

И потому нас, коммунистов, работающих в «Красной нови», прозевавших конкретную вылазку классового врага, следовало бы примерно наказать, чтобы наука пошла вперед.

8

ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ОТДЕЛА ГУБЬ НКВД СССР ОБ ОТКЛИКАХ  
ЛИТЕРАТОРОВ И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА  
НА СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»  
О КОМПОЗИТОРЕ Д.Д. ШОСТАКОВИЧЕ

*Не позднее 11 февраля 1936 г.*

Андрей Платонов (прозаик): «В области искусства у нас строится все случайно, иногда на личной почве. Пример — рецензия в «Правде» на оперу Шостаковича «Леди Макбет». Ведь пьеса идет больше года, все ее вовсю расхваливали, и вдруг такой анонимный разнос. Ясно, что кто-то



из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес. Действительно, выходит дико — Шостакович пишет давно, признанный мастер, хвалили и возносили до небес, и вдруг сейчас только спохватились. Вообще у нас с искусством упадок».

9

### ИЗ ПИСЬМА В.В. ЕРМИЛОВА А.А. ЖДАНОВУ

*10 сентября 1939 года*

Считаю своей партийной обязанностью обратить Ваше внимание на то, что журнал «Литературный критик», как мне кажется, все более рискует стать центром политически вредных настроений среди литераторов. Одним из главных сотрудников журнала является писатель Андрей Платонов, автор нескольких враждебных произведений, вроде повести «Впрок». А. Платонов очень часто печатает свои критические статьи на стр. «Литературного критика». Сейчас эти статьи вышли отдельной книжкой в издательстве «Советский писатель», под редакцией Е. Усиевич. Здесь совершенно откровенно проповедуются взгляды, которые нельзя назвать иначе, чем враждебные.

10

### ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ В.В. ЕРМИЛОВА НА ИМЯ И.В. СТАЛИНА, В.М. МОЛОТОВА, А.А. ЖДАНОВА, А.А. АНДРЕЕВА И П.Н. ПОСПЕЛОВА

*9 марта 1940 года*

...считаю необходимым обратить внимание на тот факт, что Г. Лукач и другие руководители группы «Литературного критика» рассматривают советское искусство как бюрократическое. Именно с этим связано и их третигование советской литературы как «иллюстративной», «не самостоятельной» и противопоставление «бюрократическим» советским писателям «самостоятельного художника» А. Платонова.

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ  
СЕКРЕТАРЕЙ ССП СССР А.А. ФАДЕЕВА  
И В.Я. КИРПОТИНА СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б)  
«ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ГРУППИРОВКЕ  
В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ»

10 февраля 1940 г.

В ЦК ВКП(б) — тов. Сталину

- тов. Молотову
- тов. Жданову
- тов. Андрееву
- тов. Маленкову

Условия работы советской критики нельзя считать вполне нормальными. Несколько лиц, организованных как группа, составляющих меньшинство критиков, оказались в исключительно привилегированном положении в области критики. В их руках всецело находятся «Литературный Критик», единственный литературоведческий и специально критический журнал на русском языке в СССР, «Литературное Обозрение», единственный библиографический литературный журнал. Группу поддерживают газета «Советское Искусство». Группе покровительствует работник литературного отдела «Правды» Трегуб, что отражается на подборе лиц, приглашаемых для сотрудничества в литературном отделе «Правды» и что используется группой для муссирования слухов об оказываемой им будто бы партийной поддержке. Руководящими лицами в группе являются Г. Лукач, Мих. Лифшиц, Е. Усиевич. Г. Лукач — человек очень путаной биографии, в начале своей деятельности неприкрытый буржуазный идеалист, впоследствии вступивший в венгерскую компартию, левак, о котором Ленин писал еще в 1920 г.: «Статья Г.А. очень левая и очень плохая. Марксизм в ней чисто словесный» и т.д. (т. XXV, с. 291).

Политические и философские работы Г. Лукача неоднократно подвергались критике в советской печати за ре-

визию марксизма. М. Лифшиц — кандидат в члены ВКП(б), Е. Усиевич — член партии.

В группу входят В. Кеменов, Гриб, Сац, М. Розенталь (редактор «Литературного Критика»), Ф. Левин (зам. редактора «Литературного Критика» и редактор «Лит[ературного] Обозрения»), В. Александров, Андрей Платонов, автор литературного пасквиля на колхозное движение «Впрок». Близки были к группе недавно арестованные критики Малахов и Рагозин. Зам. редактора «Литературного Критика» и редактор «Литературного Обозрения» Ф. Левин сам заявил на публичном собрании, что журналы, в которых он работает, представляют собой «идейное течение». Уж одно то, что два государственных журнала стали групповыми органами, органами какого-то «течения», является вопиющим безобразием. Однако дело не кончается этим. По логике группового существования члены группы накопили много ошибок, вредных теорий, на которых они настаивают, которые они активно защищают, которые стали их линией...

...Е. Усиевич проводит ложную и вредную мысль, что политической поэзии как особого жанра никогда не существовало в большой литературе и не должно существовать в советской поэзии. Политическая поэзия, по мнению Е. Усиевич, есть результат художественного упадка: «Только в эту эпоху художественного упадка, обусловленного специфическими особенностями буржуазного развития, возникает «аполитичная», или «антиполитическая», поэзия. Ей противостоит поэзия, имеющая ясно выраженное политическое содержание, ставящая себе непосредственно политические задачи и целиком ограничивающая себя воспеванием или порицанием политических деятелей, фактов и лозунгов» (Е. У с и е в и ч. Путь художественной правды. 1939. С. 106).

«...Другими словами, попытки вернуть поэзии утерянное органическое общественное содержание выливались в одностороннюю, нарочитую форму: политические стихи, где непосредственно политическая тема выражалась рассудочно, оторванная от всего богатства жизни, — упрощали тему, становились иллюстративными и теряли, вследствие этого, и поэтическую силу, и политическую остроту» (Там же. С. 109—110).

Усиевич оболгала историю литературы. Пушкин писал «Для берегов отчизны дальней», но и «Деревню» и «Вольность», Лермонтов не только «Ветку Палестины», но и «Смерть поэта». И то и другое гениально, но относится к разным жанрам лирики. «Деревня», «Вольность», «Смерть поэта» — это и есть образцы политической лирики. В современной же советской литературе Е.Усиевич поддерживает явления, выражающие разбитое буржуазное сопротивление социализму. Поэтому для нее Андрей Платонов, автор «Впрока», является самым талантливым советским писателем: «Наиболее талантливым среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманистическими обобщениями, а ищущих жизненных, конкретных и трудных, часто трагических форм развития, является у нас Андрей Платонов» («Лит[ературный] Критик», № 9—10 за 1938 г., с. 171).

«Литературный Критик» сделал Платонова своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают как на образец. В. Александров в статье «Частная жизнь» предлагает Пастернаку лечиться... Платоновым («Литературный Критик», 1937, кн. 3). Даже рассказы Платонова, забракованные другими журналами, печатались в «Литературном Критике».

Платонов стал публицистом и критиком группки. На страницах «Литературного Критика» он доказывает, что вся русская литература после Пушкина — сплошной упадок, а Горький вобрал внутрь себя... кусочек фашизма: «Русская литература вынуждена была (после Пушкина) пойти на некоторое обеднение». Гоголь в «Мертвых душах» и «Ревизоре» — это «приблизительная имитация» Пушкина (с. 72). «Сам Пушкин явился ведь не от избытка, не от избытка сил народа, а от его нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва» (с. 68). «Горький всегда был на передовой линии фронта борьбы за будущую пролетарскую участь, он одним из первых принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского противника. И, естественно, что сознание Горького как бы «искажалось», потому что в бою и победитель получает раны. Здесь же бой происходил внутри человека, так как нужно было уничтожить врага в самом духе и разуме, а для этого надо подпустить его чрезвычай-

но близко — в самого себя» (с. 80, статья «Пушкин и Горький» — «Литературный Критик», № 6 за 1937 г..)

Дальнейшие комментарии излишни!

Сборник подобных статей Платонова, редактировавшийся Е. Усиевич, был изъят, как антисоветская книга.

12

ФРАГМЕНТЫ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ  
А.А. ФАДЕЕВА и В.Я. КИРПОТИНА  
СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б),  
ОТМЕЧЕННЫЕ СТАЛИНЫМ

ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ГРУППИРОВКЕ  
В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ

---

Условия работы советской критики нельзя считать вполне нормальными. Несколько лиц, организованных как группа, составляющих меньшинство критиков, оказались в исключительно привилегированном положении в области критики. В их руках всецело находится «Литературный Критик», единственный литературоведческий и специально критический журнал на русском языке в СССР, «Литературное Обозрение», единственный библиографический литературный журнал. Группу поддерживает газета «Советское Искусство». Группе покровительствует работник Литературного Отдела «Правды» Трегуб, что отражается на подборе лиц, приглашаемых для сотрудничества в Лит<ературном> Отделе «Правды» и что используется группой для муссирования слухов об оказываемой им будто бы партийной поддержке.

В группу входят В. Кеменов, Гриб, Сац, М. Розенталь (редактор «Лит<ературного> Критика»), Ф. Левин (зам<еститель> редактора «Литературного Критика» и редактор «Лит<ературного> Обозрения»), В. Александров 2б, Андрей Платонов (автор литературного пасквиля на колхозное движение «Впрок»). Близки были к группе недавно арестованные критики Малахов и Рагозин. Зам<еститель> редактора «Лит<ературного> Критика» и редактор «Ли-

т<ературного> Обозрения» Ф. Левин сам заявил на публичном собрании, что журналы, в которых он работает, представляют собою идейное «течение». Уже одно то, что два государственных журнала стали групповыми органами, органами какого-то «течения», является вопиющим безобразием. Однако дело не кончается этим.

Принижение идеалов революционных демократов и возвеличивание реакционных мыслителей или реакционных сторон в учении больших мыслителей и писателей является следствием прямого восхваления группой термидора как переворота, будто бы благодетельного для истории человечества.

Гнилые теоретические позиции группки «Лит<ературного> Критика» приводят их естественно к выводу, что политика вредна искусству... Всю советскую литературу «Лит<ературный> Критик» считает иллюстративной (т. е. дидактической, второсортной) на том основании, что она пронизана политической тенденцией... В современной же советской литературе Е. Усиевич поддерживает явления, выражающие разбитое буржуазное сопротивление социализму. Поэтому для нее Андрей Платонов, автор «Впрока», является самым талантливым советским писателем:

«Наиболее талантливым среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманистическими обобщениями, а ищущих жизненных, конкретных и трудных, часто трагических, форм развития, является у нас Андрей Платонов» («Лит<ературный> Критик», № 9—10 за 1938 г., стр. 171).

«Лит<ературный> Критик» сделал Платонова своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают, как на образец. В. Александров в своей статье «Частная жизнь» предлагает Пастернаку лечиться... Платоновым («Лит<ературный> Критик», 1937, кн. 3). Даже рассказы Платонова, забракованные другими журналами, печатались в «Лит<ературном> Критике». Платонов стал публицистом и критиком группки. На страницах «Лит<ературного> Критика» он доказывает, что вся русская литература после Пушкина сплошной упадок, а Горький вобрал внутрь себя... кусочек фашизма!

Русская литература вынуждена была (после Пушкина) пойти на некоторое обеднение. Гоголь в «Мертвых душах» и «Ревизоре» — это «приблизительная имитация» Пушкина (стр. 72). «Сам Пушкин явился ведь не от избытка, не от избытка сил народа, а от его нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва» (стр. 68). «Горький всегда был на передовой линии фронта борьбы за будущую пролетарскую участь, он одним из первых принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского противника. И естественно, что сознание Горького как бы «искажалось», потому что в бою и победитель получал раны. Здесь же бой происходил внутри человека, так как нужно было уничтожить врага в самом духе и разуме, а для этого надо подпустить его чрезвычайно близко — в самого себя» (стр. 80) (статья «Пушкин и Горький» — «Литературный Критик», № 6 за 1937 г.).

Дальнейшие комментарии излишни!

Сборник подобных статей Платонова, редактировавшийся Е. Усиевич, был изъят как антисоветская книга.

Группка «Литературного Критика» выродилась в кучку людей, представляющих современную ревизию марксизма-ленинизма, представляющих буржуазно-либеральное сопротивление марксизму-ленинизму в литературе. Как водится, группка «Литературного Критика» особое внимание обращает на молодежь. Она группирует аспирантуру по типу так называемых «школок». Ее влияние заметно в Педвузе. Особенно сильно ее разлагающее влияние в Институте истории, философии и литературы им. Чернышевского.

По всем правилам групповой тактики группка эта покрывает ошибки друг друга, согласовывает между собой свои статьи и выступления, третируя всех инакомыслящих как «не марксистов». В течение ряда лет, кто бы ни стоял у руководства Союза Писателей, группка эта играет в своеобразную «опозицию» и разжигает рознь между писателями-критиками.

По системе своих взглядов, по методам своей работы группка «Литературного Критика» является антипартийной группировкой в литературе.

Необходимо отнять «Литературный Критик» и

«Лит<ературное> Обзорение» из рук группы и сделать их органами Союза Советских Писателей, целиком и полностью изменив редколлегию этих журналов.

Необходимо разоблачить взгляды группки «Литературного Критика», чтобы прекратить разлагающее влияние ее на литературу и учащуюся молодежь.

Необходимо, чтобы «Правда» выступила с осуждением линии «Лит<ературного> Критика».

13

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ЦК  
ВКП(б) Г.Ф. АЛЕКСАНДРОВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ  
ЦК ВКП(б) А.А. ПУЗИНА И ЗАВ. ОТДЕЛОМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
А.М. ЕГОЛИНА СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б)  
Г.М. МАЛЕНКОВУ

12 декабря 1943 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Маленкову Г.М.

За последнее время в литературно-художественных журналах «Октябрь», «Знамя» и др. допущены грубые политические ошибки, выразившиеся в опубликовании антихудожественных и политически вредных произведений <...>

Только отсутствием строгого критического отношения ответственных секретарей журналов к поступающим в редакцию рукописям, можно объяснить опубликование в журналах таких крайне слабых произведений, как, например, рассказ Платонова «Оборона Семидворья» (журнал «Знамя» № 5—6 за 1943 г.)...

Рассказ Платонова «Оборона Семидворья» написан плохим, вычурным языком, образы героев — советских бойцов и командиров — оглулены. В рассказе много вздорных рассуждений, которые Платонов приписывает советским командирам и бойцам...

Весь рассказ пестрит нелепыми изречениями...



ИЗ СТАТЬИ В. ЕРМИЛОВА  
«КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ РАССКАЗ А. ПЛАТОНОВА»  
(«Литературная газета», 4 января 1947 года)

Некий гвардии сержант Иванов, уже пожилой человек, демобилизовался и едет в свой родной город. Там, на далекой родине, в маленьком деревянном домике, его с нетерпеливым волнением ожидают жена, одиннадцатилетний Петруша и пятилетняя Настя. Он известил их о дне своего прибытия, сообщив, что жаждет скорее поцеловать их, и они каждый день выходят встречать мужа и отца к поездам, прибывающим с запада. Но гвардии сержанту повстречалась на станции, где он ждал поезда, юная девушка Маша, которую Иванов изредка во время войны видел, наведываясь в один БАО; Маша служила в столовой помощником повара по вольному найму. Она тоже возвращается в свой город. Здесь, на станции, Иванову очень понравилась Маша, и вместо того, чтобы стремиться скорее поцеловать своих жену и детей, Иванов целует Машу. При этом выясняется, что волосы ее пахнут, как осенние павшие листья в лесу, после чего Иванов и Маша поехали в одном вагоне и... вместе вышли из вагона на той станции, до которой ехала Маша. Иванову оставалось еще больше суток езды до своего города, но, извольте видеть, волосы девушки пахли, как осенние листья. И он на два дня задерживается в Машинном городе, «чувствуя себя хорошо с нею, но не зная, что дальше будет; пока он не желал ничего лучшего. По чести, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидали жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов задерживался в пути... Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что после семейных радостей наступят долгие заботы, а он хотел погулять еще немного на воле».

Двух дней оказалось достаточно для того, чтобы при прощании, поцеловав Машу, Иванов дал ей клятву, что «когда-нибудь он обязательно встретится с нею вновь, чтобы уже никогда не расставаться».

Таким образом, сей гвардии сержант довольно быстро решил в будущем бросить свою семью для первой встреч-

ной миловидной девушки, которая почти годится ему в дочери. Каких бы то ни было колебаний, мук совести, сожалений он при этом, как говорится, и не думал переживать.

С большим сочувствием А. Платонов изображает своего Иванова: для автора это просто самый обыкновенный, «массовый» человек; недаром ему присвоена такая обиходная, многомиллионная фамилия. Эта фамилия имеет в рассказе демонстративное значение: дескать, именно такковы многие и многие «Ивановы» и их семьи.

А. Платонов давно известен читателю. Известен и стиль этого писателя, его художественная манера. Описание у него всегда только по внешней видимости реалистично — по сути же оно является лишь имитацией конкретности. И все персонажи, и все обстоятельства в его рассказах носят отвлеченно-обобщающий характер. А. Платонов всегда пишет притчи. Именно так написан и рассказ о «неком» Иванове и его семье. Не случайно автора совершенно не занимают такие, к примеру, «мелочи», как профессия Иванова, его жизненные интересы, какие-либо его мысли и соображения, выходящие за пределы мечтаний о Маше и семейных обстоятельствах. А. Платонова не занимает конкретный человек, его интересует Иванов вообще, всякий, любой «Иванов»!

Но читатель уже с самого начала начинает полемизировать с автором. Читатель никак не может согласиться с тем, что герой рассказа действительно является широко распространенным, типическим человеком...

...«в семье Иванова» все придавлено мраком, холодом, отец вернулся пустой, чужой, и даже праздничный обед выглядит вынужденным, мертвенным...

Автор хочет вызвать у читателя сочувствие к этой женщине, всячески подчеркивая ее трудовую доблесть, кротость, покорность, любовь к мужу. Но мы не можем поверить, что взрослый человек, к тому же старый литератор, каким является А. Платонов, способен «не заметить», что в словах, которые он вкладывает в уста жены Иванова, заключена такая чудовищная пошлость, которая приобретает характер злобной издевки...

...Каким, однако, пакостным воображением нужно обладать для того, чтобы превратить одиннадцатилетнего мальчугана в проповедника цинизма, лишить его всего детского и чистого, сделать его выразителем клеветнических «идей»!..

...Конец рассказа как будто «благополучен». Однако напрасно А. Платонов думает, что этот конец может нейтрализовать или сгладить в сознании читателя весь тот мрак, цинизм, душевную опустошенность, которые составляют тон, колорит, атмосферу всего рассказа. Именно в этот мрак и подавленность и возвращается герой А. Платонова. Для того чтобы «прошибить» этого человека, вернуть ему совесть, понадобилась такая страшная сцена, как жалкие, спотыкающиеся детские фигурки, бегущие вдогонку за «гуляющим» отцом. Не будь этой сцены, Иванов спокойно спал бы на своей верхней полке.

Рисовать морально толстокожего человека, «не замечая» этой толстокожести! Для этого и сам писатель должен отличаться тем же свойством. Впрочем, только при наличии этого свойства и можно было написать рассказ, клеветящий на нашу жизнь, на наших людей, на советскую семью.

Нет на свете более чистой и здоровой семьи, чем советская семья. Сколько примеров верности, душевной красоты, глубокой дружбы показали советские люди в годы трудных испытаний! Наши писатели правдиво писали об этом в своих рассказах, повестях, стихах. Редактору «Нового мира» К. Симонову следует вспомнить свое же собственное стихотворение «Жди меня», воспевающее любовь и верность.

Все это, конечно, отнюдь не означает, что писатель не должен касаться и отрицательных, порою болезненных сторон в семейной жизни того или другого человека. «Отбирая лучшие чувства и качества советского человека, раскрывая перед ним завтрашний его день, мы должны показать в то же время нашим людям, какими они не должны быть, должны бичевать пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским людям идти вперед» (А. Жданов).

Но к этой задаче нужно подходить с чистыми руками,

с чистой совестью, с критериями нашей, советской, социалистической этики и эстетики.

Что общего имеет с этими критериями клеветническое стремление А. Платонова изобразить как типичное, обычное явление «семью Иванова», моральную ту-пость главы этой семьи...

А. Платонов давно известен читателю и с этой стороны — как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли его кулацкий памфлет против колхозного строя под названием «Впрок», не забыли и других мрачных, подавленных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем уже после той суровой критики, какую вызвал «Впрок». Мы не вспомнили бы об этом, если бы А. Платонов не повторялся.

Что же касается «эстетики» А. Платонова, то и она хорошо известна.

Надоела читателю любовь А. Платонова ко всяческой душевной неопрятности, подозрительная страсть к болезненным — в духе самой дурной «достоевщины» — положениям и переживаниям... Надоела вся манера «юродствующего во Христе», характеризующая писания А. Платонова. Надоел тот психологический гиньоль в духе некоторых школ декаданса, та нездоровая тяга ко всему страшенькому и грязненькому, которая всегда отличала автора «Семьи Иванова». И разве не является своеобразным гиньолем эта химера, выдуманная А. Платоновым, — этот страшноватый мальчик-старичок, изрекающий детскими устами отвратительно пошлую «мораль»! И мальчиков таких мы тоже встречали в декадентской литературе... Да и у А. Платонова в его довоенных рассказах попадались страшноватые дети — вспомним рассказ «Семен», где изображен мальчик, вообразивший себя женщиной, домашней хозяйкой. Он носит женский фартучек и вообще представляет собою маленького психологического уродца.

Советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели — коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова.

Передовая статья последнего номера газеты «Культура и жизнь» совершенно справедливо подчеркивает, что

«далеко не все еще работники идеологического фронта, не все работники советской культуры извлекли надлежащие выводы из исторических постановлений ЦК ВКП(б). И сейчас появляются еще в печати отдельные произведения, чуждые духу советского народа...».

Особенно печально, что чуждый и враждебный советскому народу рассказ А. Платонова появился в том номере журнала «Новый мир», который впервые подписан новым составом редколлегии во главе с таким талантливым советским литератором, как К. Симонов.

Всей писательской общественности, руководству Союза писателей и редакциям журналов нужно с еще большей энергией вести борьбу за подлинную идейно-творческую перестройку, за партийность во всей повседневной работе.

15

ИЗ СТАТЬИ А. ФАДЕЕВА  
О ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ЖУРНАЛАХ  
(«Правда», 2 февраля 1947 года)

...серьезным идейным провалом является напечатание в № 10/11 «Нового мира» лживого и грязноватого рассказа А. Платонова «Семья Иванова». Автор не видит и не желает видеть лица советского человека, а уныло плетется сзади, в хвосте, являя собой пример обывательской отсталости, косности и пошлости, перерастающей в злопытельство.

## Сюжет первый

### «НАДО БЫ НАКАЗАТЬ...»

В предисловии к первому тому этой книги, объясняя, в чем состоит ее замысел, я писал, что хочу —

- ▶ ...рассмотреть «взаимоотношения» со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово... В иных случаях эти взаимоотношения были реальными и даже личными (Горький, Демьян Бедный), в других — заочными (Булгаков, Замятин, Эренбург), а иногда и вовсе сводились к какому-нибудь одному, брошенному Сталиным слову. Так было, например, с Платоновым, на тексте раннего рассказа которого Сталин написал только одно слово: «Сволочь!». Но тень этого слова легла на всю последующую жизнь писателя, определила всю его страшную, трагическую судьбу.

Если последние строки этого абзаца, относящиеся к Андрею Платонову, рассматривать как некую общую схему — или даже как метафору, — они, в общем, верны. Чугунное сталинское

слово, перебившее Платонову спинной хребет чуть ли не в самом начале его творческого пути, действительно определило всю его будущую судьбу. Но фактическая сторона дела выглядела несколько иначе.

Начать с того, что одним словом Сталин не ограничился. На самом деле лексикон его оказался намного богаче. Вот лишь некоторые из определений, которыми вождь испещрил текст разъярившей его платоновской повести: «Дурак», «Пошляк», «Балаганщик», «Беззубый остряк», «Болван», «Подлец», «Мерзавец»...

Упоминание о том, что на полях повести Платонова «Впрок» Сталин будто бы написал одно только слово и слово это было «Сволочь», в литературе о Платонове встречается постоянно. Но всякий раз при этом упор делался на то, что это — скорее легенда, чем точно установленный факт.

- ▶ В 1931 году в журнале «Красная новь», находившемся под контролем РАППа, была опубликована... повесть А. Платонова «Впрок»...

Она вызвала крайне негативную реакцию Сталина... Как гласит похожая на правду легенда, кремлевский критик с пролетарской простотой назвал автора «сволочью».

*(Евгений Громов. Сталин. Власть и искусство. М., 1998. Стр. 77)*

- ▶ ...вступление Платонова в тревожнейшее пространство — «пространство сталинской темы» — обернулось высочайшим гневом. Молва говорит о том, что был и росчерк «сволочь» на полях повести «Впрок»...

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2. М., 1998. Стр. 540)*

До меня эта «молва» дошла от В.А. Каверина. А тот слышал это от А.А. Фадеева, бывшего непосредственным и даже, как он сам считал, главным виновником разразившейся грозы:

- ▶ Именно по его вине жизнь Платонова была уродливо и безжалостно исковеркана. В повести «Впрок» в

«Красной нови» (1931) Фадеев, редактор журнала, подчеркнул те места, которые необходимо было, как он полагал, выкинуть по политическим причинам. Верстку он почему-то не просмотрел, и подчеркнутые им строки в типографии набрали жирным шрифтом. В таком-то виде номер журнала попал на глаза Сталину, который оценил повесть Платонова одним словом: «Сволочь». Двойная жизнь Платонова, мученическая и тем не менее обогатившая нашу литературу, началась в эту минуту. Забыл ли о своей непростительной беспечности Фадеев? Не думаю, хотя в его жизни, состоявшей из компромиссов и сделок с совестью, которые оправдывались понятием «партийного долга», беспечность, погубившая Платонова, едва заметна, почти неразличима.

*(Вениамин Каверин. Эпилог. М., 2006. Стр. 327—328)*

Этот апокрифический рассказ о первопричине постигшего Платонова несчастья весьма далек от реальности. Не говоря уже о том, что слово «беспечность» (и даже «непростительная беспечность») ни в малой степени не отражает истинную меру вины Фадеева перед Платоновым, большие сомнения вызывает и вся эта, рассказанная Фадеевым, история.

Дело было явно не в каких-то нескольких строчках, по недоразумению не выброшенных из верстки и даже, к несчастью, оказавшихся выделенными жирным шрифтом. Сталина привела в ярость ВСЯ платоновская повесть, от начала и до конца. И попадись она на глаза Сталину даже и без этих, подчеркнутых Фадеевым и лишь случайно уцелевших строк, реакция вождя наверняка была бы такой же.

Об этом мы можем судить не только по разъяренной резолюции Сталина, оставленной им на первой странице платоновской повести (*документ № 3*), но и по тому, ЧТО за ней — за этой сталинской резолюцией — воспоследовало.

Есть подробный рассказ об этом одного из главных участников всей этой истории — В.А. Сутырина, записанный с его слов Л.Э. Разгоном.



Владимир Андреевич Сутырин в то время был Генеральным секретарем ВАППа — то есть главным руководителем всех Ассоциаций пролетарских писателей. «На эту работу, — объяснил он в начале своего рассказа, — я был назначен ЦК, как мог быть назначен на любую хозяйственную или политическую работу».

А Разгон свою запись его рассказа начал таким предисловием:

- ▶ ...я передаю рассказ Сутырина прямой речью. Этот рассказ настолько меня поразил, я его вспоминал столько раз, что можно мой пересказ считать почти стенограммой.

Итак, перед нами «почти стенограмма» рассказа одного из свидетелей и даже непосредственных участников события:

- ▶ Однажды вечером ко мне на квартиру приехал курьер из Кремля (мы по старой привычке называли их «самокатчиками») и сказал, что меня внизу ждет машина, чтобы отвезти в Кремль. К кому и куда, спрашивать не полагалось. Меня привезли в Кремль, и я понял, что меня ведут к Сталину. В приемной у Поскребышева сидел несколько бледный Фадеев. Через некоторое время Поскребышев, очевидно получив сигнал, встал и предложил нам войти в кабинет Сталина. В большой комнате, за длинным столом сидели — вот в таком порядке! — члены Политбюро. Здесь Калинин, рядом Ворошилов, вот тут Молотов и все другие. Как-то не до того было, чтобы их рассматривать, смотрел на Сталина, который ходил вдоль стола, попыхивая трубкой. В руке у него был журнал, который легко было опознать, — «Красная новь». Мы переглянулись с Фадеевым, нам стало понятно, что речь пойдет о рассказе Андрея Платонова.

Не приглашая нас садиться, Сталин, обращаясь к Фадееву, спросил:

— Вы редактор этого журнала? И это вы напечатали кулацкий и антисоветский рассказ Платонова?

Побледневший Фадеев сказал:

— Товарищ Сталин! Я действительно подписал этот номер, но он был составлен и сдан в печать предыдущим редактором. Но это не снимает с меня вины, все же я являюсь главным редактором, и моя подпись стоит на журнале.

— Кто же составил номер?

Фадеев ответил.

Сталин вызвал Поскребышева.

— Привези сюда такого-то. — И, обернувшись к нам, сказал: — Можете сесть.

Мы сели. И стали ждать. Прошло пять, десять, двадцать минут... В комнате все молчали. Молчали мы, молчали члены Политбюро, молчал и сам Сталин, который продолжал ходить вдоль стола, время от времени раскуривая трубку. Так прошло, наверное, минут двадцать — тридцать. Открылась дверь, и, подталкиваемый Поскребышевым, в комнату вошел бывший редактор. Не вошел, вполз, он от страха на ногах не держался, с лица его лил пот. Сталин с удовольствием взглянул на него и спросил:

— Значит, это вы решили напечатать этот сволочной кулацкий рассказ?

Редактор не мог ничего ответить. Он начал не говорить, а лепетать, ничего нельзя было понять из этих бессвязных звуков. Сталин, обращаясь к Поскребышеву, который не вышел, а стоял у двери, сказал с презрением:

— Уведите этого... И вот такой руководит советской литературой...

*(Г. Белая. Дон-Кихоты 20-х годов.  
М., 1989. Стр. 274—275)*

Документально оформленного постановления Политбюро о «кулацкой повести» Платонова принято не было, и поэтому в протоколах Политбюро об этом заседании не упо-

минается. Но сохранившееся в личном архиве Сталина письмо бывшего редактора «Красной нови» С.И. Канатчикова (документ № 4) неопровержимо свидетельствует:

- ▶ ...на одном из последних заседаний Политбюро рассматривался вопрос о напечатании рассказа Андрея Платонова в № 3 «Красной нови» за 1931 год «Впрок».

*(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917—1953). М., 2002. Стр. 751)*

Стало быть, вопрос о злополучной платоновской повести на заседании Политбюро действительно разбирался.

При том размахе, который получило это дело, удивительно, что Платонов уцелел.

Были расстреляны или погибли в сталинских лагерях Мандельштам, Бабель, Пильняк, Артем Веселый, Иван Катаев... Ни о ком из них Сталин не говорил с такой бешеной злобой, как о Платонове. Бабея не любил и своего неприязненного отношения к нему не скрывал («Наш вертлявый Бабель»). О Пильняке отзывался еще резче («Пильняк жульничает и обманывает нас»). Но ни того, ни другого «агентом наших врагов», как Платонова, он все-таки не назвал.

И вот, всех их он уничтожил, а Платонова почему-то не тронул.

Тут, правда, надо сказать, что в 1931 году время для физических и даже тюремных расправ с писателями еще не настало. И Пильняк, и Бабель, и Артем Веселый, и даже Мандельштам, в первый раз арестованный в 1934-м, — все они уничтожены были позже, в пору так называемого Большого террора.

Может быть, к тому времени о Платонове он просто забыл?

Нет, он никогда ничего не забывал. И Платонов потому-то и уцелел, что сталинские холоуи и прислужники хорошо усвоили, что Сталин никогда ничего не забывает.

Прямого распоряжения репрессировать Платонова они от Хозяина не получили. А проявить инициативу, сделать это на свой страх и риск — не осмелились, вдруг Хозяин спросит:

«А как поживает этот... который сволочь...»? (Спрашивал же он время от времени про Ахматову: «А что делает наша монахиня?»)

Был слух, что однажды так оно и случилось:

- ▶ Когда вождь 26 октября 1932 года пришел на знаменитую встречу с ведущими авторами на квартиру Горького (именно там Сталин назвал советских писателей «инженерами человеческих душ»), то первым делом он спросил: «А Платонов здесь есть?» «Классового врага» Платонова на литературный саммит приглашать, разумеется, никто не собирался, но после заявленного таким образом интереса вождя писателю несколько облегчили жизнь: понимали, что зря подобные вопросы Сталин не задает.

*(Соломон Волков. История русской культуры XX века. М., 2008. Стр. 174)*

Историю эту я склонен был считать не слишком достоверной. Но однажды ее повторила вдова писателя, сославшись на свидетеля, которому в этом случае вполне можно доверять, тем более, что он из этой сталинской реплики сразу сделал свой вывод:

- ▶ ...Павленко говорил, что Сталин спрашивал: а нет ли среди вас писателя Платонова? Павленко сразу же делал выводы: надо дать дачу. Напечатали несколько рассказов.

*(Л.А. Шубин. Запись беседы с М.А. Платоновой. В кн.: Н.М. Малыгина. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М., 2005. Стр. 87)*

Эта сталинская реплика и стала для Платонова «охранной грамотой». Скорее всего именно из-за нее его не тронули и в годы Большого террора.

Но совсем «не тронуть» его в те годы наши славные органы все-таки не могли — это означало бы уже полную потерю бдительности. И выход из этого непростого положения ими был найден.

4 мая 1938 года был арестован 15-летний сын писателя Платон.

Даже не самые наивные современники не сразу раскусили истинную причину этого ареста.

Вот, например, как вспоминал потом об этом В.Б. Шкловский:

- ▶ Платонову много помогал Шолохов. Я встречал Шолохова у него дома, в здании Литинститута. Кажется, это было тогда, когда был арестован сын Платонова. Арестован за нелепую проказу.

*(Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы биографии. М., 1994. Стр. 434)*

Это замечание Шкловского я привел тут ради слов о какой-то «нелепой проказе», из-за которой будто бы арестовали пятнадцатилетнего Платона. Но не менее, а пожалуй, даже более интересно тут упоминание имени Шолохова.

Существует легенда, согласно которой именно Шолохов спас мальчика, помог вырвать его из рук чекистов. И сделал он это, обратившись к самому Сталину:

- ▶ В писательской среде, где о сталинском разгневанном отзыве 1931 года знали очень многие, к Платонову относились как к человеку обреченному. Но беда подкралась к Платонову с неожиданной стороны: 4 мая 1938 года был арестован едва достигнувший шестнадцати лет сын писателя Платон (Тоша), по доносу соученика по классу (они оба были влюблены в одну девушку) обвиненный в участии в «антисоветской молодежной террористической организации».

Хлопотать за осужденного на ссылку в Сибирь юношу вызвался поклонник Платонова Шолохов. Как рассказывал сам Платонов, Шолохов дошел до Сталина, который тут же при нем запросил по телефону информацию о Тоше. Юношу вернули в Москву, заново рассмотрели его дело, благожелательно выслушали его объяснения, что сознался он в терроризме «под угрозой следователя, который заявил, что если я не подпи-

шу показания, то будут арестованы мои родители». Сын Платонова оказался в числе немногих, в отношении которых сталинская фемида просигналила «обратный ход»: накануне войны его выпустили на свободу.

*(Соломон Волков. История русской культуры XX века. М., 2008. Стр. 174—175)*

Дело, выходит, было пустяковое, основанное на каком-то нелепом мальчишеском доносе. Но вызволить мальчика тем не менее мог только Сталин.

Легенду эту будто бы не опровергал и даже охотно поддерживал и сам Платонов:

- ▶ Андрей Платонович рассказывал мне, как он обратился за помощью к Шолохову, которого знал давно. На встрече со Сталиным Шолохов рассказал ему о сыне Платонова. Сталин — единственный, кто мог помочь. И Сталин распорядился произвести переследствие. Следователь оказался честным, стал проверять, собирать показания. Он рассказал родителям Платоши, как было дело. Выяснилось, что два мальчика влюбились в одну девочку в классе, ей больше нравился Платоша. Тогда тот, другой влюбленный, чтобы устранить соперника, донес на него, обвиняя его в заговоре против Сталина...

Переследствие пришло к концу, но следователь не успел составить заключение — умер от инфаркта. Все затянулось, рассказывал Андрей Платонович, назначили другого следователя. Надо было все проверять сначала, заново опрашивать людей. Вначале готовые восстановить истину, по второму разу люди уже боялись... Но следствие было доведено до конца. Платошу реабилитировали, вернули домой.

*(Е.А. Таратута. Повышенное содержание совести. Цит. по кн.: Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М., 2005. Стр. 332—333)*

Зеев Бар-Селла, из книги которого я извлек этот рассказ, считает, что в нем нет ни слова правды. Что вся эта история от начала и до конца **сочинена** — то ли Шолоховым, то ли самим Платоновым.

Похоже на то.

А иначе — как объяснить, что М.А. Платонова (жена Андрея Платоновича и мать арестованного мальчика) излагала этот сюжет (будто бы со слов того же Шолохова) уже совсем по-иному:

- ▶ Когда Тошеньку арестовали, вскоре пришел к Андрею Шолохов. «Андрей, я буду у Сталина просить за своего племянника-дурака, хочешь, я попрошу у него за Тошку?» — «Ну что ж, проси», — говорит Андрей... А потом Шолохов нам рассказал, что, когда он просил Сталина, тот вызвал Берия: «Зачем тебе этот мальчишка, отпусти его», — говорит ему Сталин. Берия что-то ответил — и тут они стали ругаться по-грузински матом. Ничего у Шолохова тогда не вышло.

*(Там же. Стр. 329)*

От этого шолоховского рассказа веет уже совсем густой липой. Мыслимое ли это дело, чтобы Сталин и Берия «стали ругаться по-грузински матом». Да еще при постороннем человеке. Да и наедине тоже не стали бы они «ругаться» — не такие у них были отношения.

Сталин, конечно, мог разыграть перед Шолоховым некий спектакль: продемонстрировать, что сам он, пожалуй, не прочь пойти ему навстречу, но вот, дескать, Лаврентий противится. Это было бы вполне в сталинском духе. Но в таком случае тем более не стали бы они «ругаться по-грузински», а объяснились на языке, понятном тому, ради кого вся эта сцена разыгрывалась.

Более достоверные сведения о попытках Платонова вырвать сына из лап чекистов и роли, какую в этих его попытках играл Шолохов, можно почерпнуть из СЕКРЕТНЫХ (теперь уже рассекреченных) ДОНЕСЕНИЙ осведомителей, постоянно сообщавших о настроениях, разговорах и планах «объекта наблюдения», к которому они были приставлены:

- ▶ ДОНЕСЕНИЕ  
2 (СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ОТДЕЛ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НКВД СССР

*27 февраля 1939 г.*

Писатель Андрей ПЛАТОНОВ, после двух разговоров с ним писателя М. ШОЛОХОВА, внушившего ему, что его малолетний сын приговорен к 10 годам, наверное, без всяких к тому оснований, — находится сейчас в чрезвычайно подавленном, растерянном состоянии. Он все время говорит только о рассказах ШОЛОХОВА о массовых беззакониях, практиковавшихся органами НКВД, и о том, что, следовательно, Тошка страдает безвинно.

- ▶ ДОНЕСЕНИЕ  
2 (СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ОТДЕЛ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НКВД СССР

*12 марта 1939 г.*

Писатель Андрей ПЛАТОНОВ, <...> говоря о судьбе своего сына, сказал, что он перестал верить Михаилу ШОЛОХОВУ, который в каждый свой приезд обещает помочь ему, берет у него письма для передачи тов. СТАЛИНУ. «Теперь он говорит, что передавал их не СТАЛИНУ, а непосредственно ЕЖОВУ, а ЕЖОВ все письма и заявления, не читая, бросал в корзину». ПЛАТОНОВ передает, что ШОЛОХОВ и В. КУДАШЕВ уверяют его, что его сын жертва провокации, которые применялись систематически в массовом масштабе, особенно по отношению к малолетним. «Я не понимаю, — говорит ПЛАТОНОВ, — на что они меня наводят с КУДАШЕВЫМ. Ведь делать-то ШОЛОХОВ ничего не делает, зачем же он мне все это говорит».

< Верно: > Оперативный уполномоченный 2 отдела  
ГУГБ НКВД <подпись>



▶ ДОНЕСЕНИЕ  
2 (СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ОТДЕЛ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НКВД СССР

*1 апреля 1939 г.*

Андр<ей> ПЛАТОНОВ после ареста своего 15-летнего сына долго не мог о нем ничего узнать. Единственный ответ, какой он косвенно получил (через А.А. Фадеева — ответ на заявление, адресованное Наркому Внутренних Дел) — что дело серьезное, но малолетство обвиняемого будет учтено. ПЛАТОНОВ искал всех возможностей для передачи писем и заявлений, в которых он просил:

1. Чтобы его, отца, вызвал следователь, так как он не может не считать себя ответственным за сына.

2. Чтобы сыну позволено было передавать одежду и обувь. Сын Платон Андреевич — страдал ушной болезнью, перенес уже 2 трепанации черепа, и ПЛАТОНОВ опасался за его жизнь.

ПЛАТОНОВ обратился в числе других и к М. А. ШОЛОХОВУ, который к нему относился хорошо как к писателю (личной близости между ними не было). ШОЛОХОВ обещал передать письмо тов. СТАЛИНУ и сам советовал, что писать; он говорил «прямо проси освобождения». Ответа ПЛАТОНОВ не получил. Через 2 месяца ШОЛОХОВ приехал снова, очень удивился, почему нет ответа, и взялся передать еще одно письмо; кроме того, он обещался лично переговорить с тов. БЕРИЯ, которого уже однажды видел.

Первое письмо ПЛАТОНОВА ШОЛОХОВ, оказывается, передал тов. ПОСКРЕБЫШЕВУ.

После этой встречи с ШОЛОХОВЫМ ПЛАТОНОВ впал в отчаяние: ШОЛОХОВ рассказал ему об антисоветских методах допросов, которые, по его словам, применялись широко в системе НКВД в 1937 году не только на периферии, но и в центре для получения признания своей вины со стороны абсолютно невиновных

людей. ПЛАТОНОВ не мог не поверить ШОЛОХОВУ — члену партии, депутату Верховного Совета. Вместе с тем он не мог себе объяснить, что заставило ШОЛОХОВА рассказать такие вещи именно ему, когда он и так встревожен участью сына. ПЛАТОНОВ говорил: «Что это за игра? И зачем ему нужен я, не имеющий никакой роли ни в какой игре?» Однако эти рассказы ШОЛОХОВА, при всех сомнениях, настолько потрясли ПЛАТОНОВА, что двое его ближайших друзей, с которыми он об этом говорил, с трудом поддерживали его душевное равновесие.

В последний раз ШОЛОХОВ приезжал на XVIII съезд ВКП(б). ПЛАТОНОВ, несмотря на то, что сильно усомнился к этому времени, действительно ли ШОЛОХОВ передавал его письма, решил снова к нему пойти.

На этот раз ШОЛОХОВ сказал, что первое письмо ПЛАТОНОВА он передал лично Н.И. ЕЖОВУ, но тот имел обыкновение (как якобы ШОЛОХОВ узнал позднее) все письма рвать, не читая. Относительно второго письма ПЛАТОНОВА ШОЛОХОВ сказал, что не имел времени передать его лично тов. ПОСКРЕБЫШЕВУ и сделал это через посредство В. КУДАШЕВА. Он обещал навести справки, но так этого и не сделал, и уехал, ничего не сообщив ПЛАТОНОВУ.

<...> Предыдущий разговор о всяких антисоветских методах в системе НКВД ПЛАТОНОВ приписывает теперь тому, что ШОЛОХОВ хотел придать себе важность как бесстрашному борцу против злоупотреблений властью и показать, что он сам подвергался опасности.

Сам ПЛАТОНОВ значительно окреп и успокоился с тех пор, как получил известие о сыне и письмо от него из Вологды (почтовый ящик № 6)... Хлопоты о сыне продолжает лично через прокуратуру СССР, где ему обещают сообщить, в каких пределах он может просить о смягчении участи сына.

Недавно его жена ездила в Вологду, где безуспешно пыталась добиться свидания с сыном или передачи

для него: ей удалось только узнать, что он не в лагере, а в тюрьме.

<Верно> Оперативный уполномоченный 2 отдела  
ГУГБ НКВД <подпись>

*(Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ.  
1936—1945. Публикация Владимира Гончарова и  
Владимира Нехотина. «Страна философов» Андрея  
Платонова: Проблемы творчества. Выпуск 4.  
М., 2000. Стр. 863—868)*

Тут картина получается совсем другая.

Оказывается, Шолохов вовсе не мочил голову ни Андрею Платоновичу, ни Марии Александровне, уверяя их, будто он говорил о «Тошке» напрямую с самим Сталиным. А версии о своих попытках вмешаться в судьбу арестованного мальчика выдавал самые разные: то он будто бы обращался к Ежову, то к Поскребышеву, то вот-вот должен встретиться с Берией. И всякий раз, рассказывая об этом, сплетал какую-нибудь, по видимости достоверную, а на самом деле сомнительную историю — вроде того, что все обращенные к нему письма Ежов будто бы рвет, не читая. Это, наверно, чтобы несчастные родители все-таки не слишком рассчитывали на благополучный исход дела.

Истинную цену этих его мнимых хлопот Платонов знает отлично. Видит, что «делать он ничего не делает», но не может понять, — «что это за игра».

В одном из этих СЕКРЕТНЫХ ДОНЕСЕНИЙ мелькнуло такое сообщение:

- ▶ ПЛАТОНОВ находится в депрессивном состоянии вследствие ареста его сына, содержащегося в Соловках. От сына нет писем. За сына хлопотали ФАДЕЕВ и ШКЛОВСКИЙ, причем первый хлопотал лишь формально, а ШКЛОВСКИЙ говорил с ВЫШИНСКИМ.

Под этим ДОНЕСЕНИЕМ стоит дата: 5 октября 1939 года. А в ДОНЕСЕНИИ от 28 марта следующего, 1940 года, осведомитель сообщает:

- ▶ ПЛАТОНОВ... сообщил, что ПАНКРАТЬЕВ дал распоряжение о пересмотре дела, для чего сын ПЛАТОНОВА вызывается в Москву.

Сопоставив эти два сообщения, Зеев Бар-Селла, движимый стремлением разоблачить «шолоховскую легенду», приходит к такому заключению:

- ▶ А.Я. Вышинский занимал пост Генерального прокурора СССР, а в июне 1939 года его сменил М.И. Панкратьев... Сомнительно... что за два месяца пребывания в должности Панкратьев вошел в курс дела, в частности — дела сына Платонова. Не разумнее ли предположить, что тут действовал механизм, запущенный его предшественником — Вышинским, и успехом, следовательно, увенчались хлопоты не Шолохова, а Виктора Шкловского?

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М., 2005. Стр. 332)*

Первое предположение, — что «тут действовал механизм», запущенный предшественником Панкратьева Вышинским, — быть может, и разумно. А вот второе, — что дело Платона стали пересматривать, потому что «увенчались успехом» хлопоты Шкловского, который «говорил с Вышинским», — по меньшей мере наивно.

Смешно предполагать, что дело такого рода могло быть пересмотрено волеизъявлением прокурора — хотя бы даже и генерального.

Исход любого дела по обвинению в измене Родине, терроре и участии в контрреволюционной организации (а именно эти обвинения были предъявлены Платону) зависел только от ОРГАНОВ. Прокуратора все эти дела лишь механически штамповала. Система эта действовала безотказно, снизу и до самого верха. И если распоряжение о пересмотре дела исходило от **Генерального прокурора**, это означало, что пересмотреть дело распорядился ЕЖОВ (или уже сменивший его в то время БЕРИЯ). Стоит ли к этому добавлять, что ни тот, ни другой не посмели бы это сделать, не получив на то указания СТАЛИНА.

\* \* \*

Если бы Платон был арестован за «мелкую проказу», как выразился об этом В.Б. Шкловский, или по доносу влюбленного мальчишки, желавшего таким способом устранить счастливого соперника, — дело развивалось бы по обычной в те времена, банальной схеме. Ему быстро сшили бы дело по самой массовой тогдашней статье 58-10 (антисоветская агитация), вклеили традиционную десятку (или даже пятерку) и тем дело бы и кончилось.

Но его тюремная история развернулась совсем по другой схеме, бесконечно далекой от этой банальщины. Ему слепили обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1а, 58-8 и 58-11 УК РСФСР (измена Родине, террор и участие в контрреволюционной организации).

И совсем уж небанальным оказалось решение о пересмотре этого его дела.

4 сентября 1940 года в связи с протестом Генерального прокурора СССР на приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР Платон Платонов был этапирован из Норильлага и помещен в Бутырскую тюрьму. Протест был внесен «по вновь открывшимся обстоятельствам», в числе которых открылось и такое: «преступление Платонова было совершено, когда ему было 15 лет».

А 26 октября 1940 года Особое совещание при НКВД СССР переквалифицировало преступление П.А. Платонова — с измены Родине, террора и участия в контрреволюционной организации (ст. 58-1а, 58-8, 58-11 УК РСФСР) на антисоветскую агитацию (ст. 58-10) и постановило «зачесть в наказание срок предварительного заключения», а «П.А. Платонова из-под стражи освободить».

Чтобы сегодняшний читатель мог представить себе всю невероятность такого развития событий — как в ту, так и в другую сторону, — сошлюсь на известное дело группы московских студентов, слепленное Органами примерно в то же время (точнее — несколькими годами позже). По этому делу проходили известные впоследствии сценаристы Валерий Фрид и Юлий Дунский, ученик академика Леонтовича и ближайший друг А.Д. Сахарова физик Михаил Левин, дочь

расстрелянного наркома Елена Бубнова, жена (точнее — впоследствии ставшая женой) академика Виталия Гинзбурга — Нина Ермакова. Некоторые из членов «группы» (В. Сулимов, А. Сухов) погибли в лагерях. Один из них (Ю. Михайлов) вышел на волю после восьми лет лагеря психически больным и вскоре умер.

Весь ход этого липового «дела» подробно описан в мемуарной книге Валерия Фрида «58—1/2» и в тоже мемуарной книге его однодельца Виктора Левенштейна «По-над нами табачный дым...».

Всем членам «группы» были предъявлены те же обвинения, что Платону: террор и участие в контрреволюционной организации.

Количество таких липовых дел, как мы теперь знаем, было неисчислимо. И опыт в их создании у Органов был большой. И тем не менее, чтобы придать делу «прожиточный минимум» правдоподобия, следствию пришлось поработать.

Из каждого арестованного участника «организации» долго выбивали признания. Устраивались очные ставки. И тут надо сказать, что арестованные ребята действительно составляли дружную компанию. Собирались, выпивали, закусывали, ну и, разумеется, болтали. В том числе и о политике. Коекому из них случалось порой в этих разговорах весьма неловко высказаться и о «товарище Сталине».

После многомесячных допросов и очных ставок главные фигуранты признались (точнее — подписали признательные показания) в том, что действительно были участниками контрреволюционной организации. А потом некоторые из них, поняв, что сопротивление бесполезно, признались и в том, что готовили покушение на Сталина.

Но признательных показаний следствию было недостаточно. Нужны были какие-то реалии.

Одной из таких реалий — и даже «вещдоком» (вещественным доказательством) — стал пулемет, который притащил домой младший брат одного из обвиняемых. (Пулемет этот был найден мальчишками в обломках сбитого немецкого самолета.)

Другим важным для следствия обстоятельством стало

местоположение квартиры Нины Ермаковой, где иногда собирались участники «организации». Квартира эта была на Арбате. А Арбат был режимной улицей, по ней «Бог» регулярно проезжал в своих «пяти машинах», отправляясь из «ближней» (кунцевской) дачи в Кремль и возвращаясь из Кремля обратно, в Кунцево.

Этих двух фактов было уже более или менее достаточно, чтобы слепить мало-мальски правдоподобное дело.

Но потом, когда за ребят стали хлопотать разные влиятельные лица (академики Варга и Леонтович, Михаил Ромм), добравшиеся до тогдашнего наркома госбезопасности Меркулова, дело (как и дело Платона Платонова) было пересмотрено.

- ▶ Следователям на Большой Лубянке, проверяющим дело по распоряжению высокого начальства, пришло, наконец, в голову ознакомиться с квартирой Нины Ермаковой, на которой готовилось страшное преступление — покушение на жизнь Вождя, а также с пулеметом Ваньки Сухова, с помощью которого это преступление предполагалось совершить. И тут выяснились некоторые подробности. Оказалось, что, хотя адрес Нины был улица Арбат, дом 43, окна Нининой комнаты и всей квартиры выходили во двор, а двор — на соседнюю улицу Молчановку. То, что мальчишками называлось пулеметом, оказалось куском гнutoго и искореженного пожаром металла. Все это напоминало анекдот о кривом ружье, из которого хотели стрелять из-за угла. Разница была лишь в том, что выпущенная из Нининой квартиры пуля должна была обогнуть несколько углов для того, чтобы попасть в цель на Арбате.

На волю в результате этих находок нас, однако, не отпустили. Более того, у всех арестованных по нашему делу осталось обвинение в терроре. Вместо статьи 58 пункт 8, что означало подготовку и осуществление террористического акта, обвинение теперь было по статье 19-58 пункт 8. Статья 19 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обозначала намерение совершить преступление. Версия непосредственной подго-

товки террористического акта провалилась, но остались «признания» семерых обвиняемых в разговорах о том, что, поскольку личная диктатура Сталина является причиной множества бед в стране, единственным выходом была бы смерть Сталина — естественная или насильственная. Эти признания квалифицировались как «террористические намерения», и их было достаточно для обвинения в терроре, на тогдашнем юридическом жаргоне, «через 19».

*(Виктор Левенштейн. По-над нарами табачный дым... М., 2008. Стр. 174)*

На примере всей этой истории ясно видно, что отменить статью о терроре и переквалифицировать ее на другую (скажем, 58-10, как это было сделано при пересмотре дела Платона Платонова) было не в обычаях Лубянки. Да и слепить против пятнадцатилетнего мальчишки дело по обвинению в измене Родине, терроре и участии в контрреволюционной организации — даже при тех, казалось бы, неограниченных возможностях, какими обладали наши славные Органы, — тоже было не так уж просто. Одними фантазиями тут было не обойтись, нужны были доказательства. На худой конец — показания соучастников преступления.

Такие показания и даже доказательства, как мы теперь знаем, у следствия были.

Выяснилось это спустя — ни мало ни много — пятьдесят шесть лет после ареста Платона.

1 июня 1994 года в «Литературной газете» появилась статья «Отрок Платон». Автором ее был Лев Эммануилович Разгон, в свое время отсидевший 17 лет в сталинских лагерях, а в новые, «перестроечные» и постсоветские времена прославившийся своими яркими воспоминаниями о пережитом.

Мемуарный очерк «Отрок Платон», как читатель, конечно, уже догадался, был посвящен сыну Андрея Платоновича Платонова — тому самому «Тошке», — с которым в апреле 1938 года Лев Эммануилович сидел в общей (29-й) камере Бутырской тюрьмы.



Очерк этот, разумеется, не мог не привлечь внимание исследователей жизни и творчества Андрея Платонова. Привожу его здесь в кратком (по необходимости не таком уж кратком) изложении одного из них:

- ▶ Юноша Платон отличался от всех остальных своим одиночеством, отчужденностью: он ни к кому из заключенных не подходил и к нему никто не подходил. При этом самого Разгона, по-видимому, всегда отличала крайняя общительность, открытость к собеседнику — в данном случае его, как он пишет, «потянуло к нему тихим обаянием» — Разгон сумел разговорить Тошу, и тот открылся ему.

Этот рассказ буквально потряс Разгона. Тут надо иметь в виду, что он в то время был вполне зрелым человеком, ему исполнилось 30, но только в тюрьме он узнал, что признания на следствии, в частности на процессах 1937-го, добывались пытками... Но, кроме того, рассказ Тоши Платонова у Льва Разгона «вызвал смятение, отвращение, жалость, удивление»: он говорил о том, что его на допросах не бьют, что следователи дают ему даже сигареты и что при этом его обвиняют в том, что он был агентом немецкой разведки.

Сам «шпион», в воспоминании Разгона, смотрел на него «таким спокойным и кротким взором, каким смотрит на знаменитой картине Нестерова отрок Варфоломей» (отсюда и заглавие мемуарной статьи — «Отрок Платон»). И поэтому вначале Разгон не стал расспрашивать мальчика о его «шпионских» делах, они касались в разговоре, как он пишет, только «географии», т. е. того, кто из них где живет в Москве (один — в Гранатном переулке, другой — на Тверском бульваре).

Относительно остального у Разгона было ощущение, будто ему «с мальчишеской откровенностью рассказывают о чем-то стыдном, порочном и поддерживать такой разговор нельзя, неприлично...». Оказалось, что откровенничал Тоша Платонов до этого не с одним Разгоном: от своего близкого камерного приятеля, Олега Рейхеля, Разгон узнает, что, по мнению того,

мальчишку действительно удалось завербовать иностранной разведке... Вот цитата, слова Рейхеля: «Он тут один, других шпионов больше нету, ни в нашей, ни в других камерах. Жалко дурака, да кому интересно со шпионом якшаться». Мы имеем здесь вполне понятное объяснение того, почему Тоша в общей камере оказался в изоляции. Однако самому Разгону... было все же интересно общаться не только с простыми зеками (позже он довольно свободно общался и с уголовниками, и даже с убийцами), и поэтому на следующий день он снова подошел и заговорил с Тошей Платоновым... и за несколько «предужинных» вечеров Разгон выслушал историю ареста Платона Платонова. Вот что он из этого рассказа понял, осознал и пересказал нам, потомкам, через полвека.

Сам Тоша Платонов был красив, музыкален, танцевал, играл на гитаре, пел модные тогда (блатные) песни, умел рассказывать занятные истории и всегда был душой компании... Какое-то время назад Тоша познакомился со взрослой компанией военных летчиков, студентов Военно-воздушной академии, где он «не просто пришелся всем ко двору, но и всем полюбился».

И вот тут к нему на Тверском бульваре подошел какой-то человек и начал разговор про его друзей, предупредив, что он — «не с Лубянки, а — вовсе наоборот. И является не кем иным, как резидентом немецкой разведки». Этот человек прямо предложил Тоше — быть его платным агентом: для этого надо только слушать, что говорят в компании летчики, будущие асы советской авиации, когда выпьют и закусят, и все это пересказывать ему, резиденту, встречаясь раз в неделю тут же, на Тверском. За это он всегда будет курить «Яву» и получать каждый раз при встрече свои 100 р. за рассказ (400 р. в месяц была по тем временам, как пишет Разгон, просто невиданная сумма по сравнению с «партмаксимумом» — он сам получал 220 р.)...

На это приводится, по-видимому, высказанное возмущение самого Разгона и — контрреплики Тоши Платонова: «Да я же никаких тайн не выдавал. Ну ка-

кие там тактики — названия самолетов!» (...) Платонов рассказывал о своих чудовищных преступлениях так, как будто речь шла о неудавшихся школьных проделках. Никакая тень раскаяния не лежала на его красивом, с юношеским румянцем лице...»

А вот другое возражение, упрек Разгона юноше, который «из-за шмоток и выпивки стал шпионом»: как же он не понимал, что ожидает после этого его друзей? Ведь ему самому дадут статью 58.6 — шпионаж, за которую полагается 8 лет, а тех своих друзей, на кого он доносит, он подводит под «вышку»? После этого Разгон «не мог больше поддерживать этот как бы обычный разговор двух сокамерников. Из меня, — как он пишет, — вылетели остатки жалости и человеческого интереса к молодому предателю, агенту немецкой разведки. И я больше не подходил к Платонову, старался избегать встречаться с ним взглядом...» Т.е. отвернулся от него, как ранее остальные сокамерники...

Но вот уже на пересылке, в Устьвымлаге, после Котласа, «как бы от непонятно чем вызванного толчка», Разгон вдруг вспомнил последний разговор с юношей Платоновым в Бутырках и понял, «кто же был резидентом немецкой разведки», т. е. понял, что это была специально подстроенная — гэбэшная — подстава, и человек на Тверском бульваре — подсадная утка, с целью «соорудить заговор в Военной академии» и заодно скомпрометировать сына неугодного писателя... Сам Лев Разгон, как он пишет, испытал раскаяние и даже «ужаснулся своей тупости»: ему захотелось вновь встретиться с Платоновым и объяснить тому, что же произошло на самом деле — «кто и как его запутал в эту черную паутину». Но встретиться им больше не привелось.

*(М.Ю. Михеев. Мемуарный текст: Свидетельство Льва Разгона 1994 г. о сыне Андрее Платонова в Бутырской тюрьме (1938).*

*В кн.: Творчество Андрее Платонова. Исследования и материалы. Книга 4. СПб., 2008. Стр. 299—302)*

Не может быть сомнений, что главной мишенью этой сложной и громоздкой провокации был не пятнадцатилетний «Тошка», а его отец.

Этот свой любимый прием — взятие заложника — Сталин использовал постоянно. И не только по отношению к соратникам, которых надо было держать в узде (арестованные жены Калинина и Молотова, расстрелянный брат Кагановича). Тот же «ход», едва ли не впервые опробованный на Платонове, он потом повторил с Ахматовой: ее оставил на свободе, а сына гноил в тюрьмах и лагерях.

В общем, у нас есть все основания предполагать, что и арест «Тошки», и его освобождение были осуществлены Органами по прямому указанию верховного их шефа — «лично товарища Сталина». В связи с этим, быть может, имеет смысл отчасти пересмотреть и наше скептическое отношение к рассказу Шолохова о том, как он решился «попросить за Тошку» во время очередной своей встречи с вождем.

Свою роль Михаил Александрович там, конечно, преувеличил. Но главная идея этого шолоховского рассказа («Сталин — единственный, кто мог помочь...», «Сталин распорядился произвести переследствие...») в основе своей была правильная.

Наказать автора возмущившего его рассказа и наказать так, чтобы наказание пошло ему «впрок», Сталин потребовал в мае 1931 года. А «помиловать» его сына он распорядился в 1940-м. Может быть, он решил, что, получив по заслугам, проштрафившийся девять лет тому назад писатель уже искупил тот, давний свой грех. Но скорее всего он исходил из уверенности, что так мудро избранной им мерой наказания опальный писатель был попросту **раздавлен**.

Отчасти так оно и было:

► ДОНЕСЕНИЕ  
2 ОТДЕЛ 3 (СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО)  
УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР

15 февраля 1943 г.

<...> Сейчас он, ПЛАТОНОВ, вообще в ужасном состоянии. Недавно умер его сын от туберкулеза... Бо-

лезнь эту, как мне сказал ПЛАТОНОВ, он приобрел в лагерях и в тюрьме. ПЛАТОНОВ очень болезненно переживает смерть своего единственного сына.

«Я чувствую себя совершенно пустым человеком, физически пустым, — сказал мне ПЛАТОНОВ, — вот есть такие летние жуки. Они летают и даже не жужжат. Потому что они пустые насквозь. Смерть сына открыла мне глаза на мою жизнь. Что она теперь, моя жизнь? Для чего и кого мне жить. Советская власть отняла у меня сына — советская власть упорно хотела многие годы отнять у меня и звание писателя. Но моего творчества никто у меня не отнимет. Они и теперь печатают меня, скрипя зубами. Но я человек упорный. Страдания меня только закаляют. Я со своих позиций не сойду никуда и никогда. Все думают, что я против коммунистов. Нет, я против тех, кто губит нашу страну. Кто хочет затоптать наше русское, дорогое моему сердцу. А сердце мое болит. Ах, как болит! <...> вот сейчас я на фронте многое вижу и многое наблюдаю. Мое сердце разрывается от горя, крови и человеческих страданий. Я много напишу. Война меня многому научила». <...>

Верно: Старший оперативный уполномоченный отделения 2 отдела 3 управления НКВД <подпись>

► ДОНЕСЕНИЕ  
3 ОТДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР

*5 апреля 1945 г.*

Неделю назад Андрей ПЛАТОНОВ позвонил ко мне по телефону и высказал желание повидаться...

<...> Вначале речь его была бессвязной...

Жизнь он воспринимает как страдание, как бесплодную борьбу с человеческой грубостью и гонение на свободную мысль...

Товарищи, — я знаю, преследуют из зависти. Редакторы — из трусости. Их корчит от испуга, когда я показываю истинную русскую душу, не препарированную всеми этими азбуками коммунизма. А ЦК за что

меня преследует? А Политбюро? Вот, нашли себе врага в лице писателя ПЛАТОНОВА! Тоже — какой страшный враг, пишет о страдании человека, о глубине его души. Будто так уж это страшно, что ПЛАТОНОВА нужно травить в газетах, запрещать и снимать его рассказы, обрекать его на молчание и на недоедание? Несправедливо это и подло.

Тоже это ваше Политбюро! Роботы ему нужны, а не живые люди, роботы, которые и говорят, и движутся при помощи электричества. И думают при помощи электричества. Политбюро нажмет кнопку, и все сто восемьдесят миллионов роботов враз заговорят, как секретари райкомов. Нажмут кнопку — и все пятьсот, или сколько там их есть, писателей, враз запишут, как Горбатовы...

Он вдруг закричал: «Не буду холопом! Не хочу быть холопом!»

<...> Он стал говорить о том, что... советская власть ошибается, держа курс на затемнение человеческого разума. «Рассудочная и догматическая доктрина марксизма, как она у нас насаждается, равносильна внедрению невежества и убийству пытливей мысли. Все это ведет к военной мощи государства, подобно тому, как однообразная и нерассуждающая дисциплина армии ведет к ее боеспособности. Но что хорошо для армии, то нехорошо для государства. Если государство будет состоять только из одних солдат, мыслящих по уставу, то, несмотря на свою военную мощь, оно будет реакционным государством и пойдет не вперед, а назад. Уставная литература, которую у нас насаждают, помогает шагистике, но убивает душевную жизнь. Если николаевская Россия была жандармом Европы, то СССР становится красным жандармом Европы. Как свидетельствует история, все военные империи, несмотря на их могущество, рассыпались в прах. Наша революция начинала, как светлая идея человечества, а кончает, как военное государство. И то, что раньше было душой движения, теперь выродилось в лицемерие или в

подстановку понятий: свободой у нас называют при-  
нуждение, а демократизмом диктатуру назначенцев.

*(Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ.  
1936—1945. Публикация Владимира Гончарова и  
Владимира Нехотина. «Страна философов» Андрея  
Платонова: Проблемы творчества. Выпуск 4.  
М., 2000. Стр. 863—870)*

Да, он был сокрушен. Но — **не раздавлен.**

Обрушившиеся на него несчастья не сломали, а только  
закалили его. Страдания не затмили его разум, а, напротив,  
обострили его, открыли ему глаза на то, чего он раньше не  
видел, а если даже и видел — не сознавал.

Сюжет второй

«ЭТО НЕ РУССКИЙ,  
А КАКОЙ-ТО ТАРАБАРСКИЙ  
ЯЗЫК...»

Ни одно художественное произведение из тех, что попали в поле зрения Сталина, не вызвало у него такого потока злобной брани, как повесть Андрея Платонова «Впрок». Даже рассказ Зоценко «Приключения обезьяны», спровоцировавший знаменитое постановление ЦК 1946 года, не вызвал у него такую яростную реакцию.

Чем же объясняется эта его беспрецедентная ярость?

Текст платоновской повести, испещренный сталинскими пометками, дает нам возможность ответить на этот вопрос подробно.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», — заметил однажды Пушкин. Сказал он это, правда, имея в виду Петра Великого, о незаурядном уме которого весьма лестно отзывался сам Лейбниц. Сталин, конечно, не Петр. Но титул «великий» за ним, как мы помним (еще не забыли!), был тоже закреплен. Воспользуемся же и мы этим — почти официальным — его титулом, правды ради заключив его в иронические кавычки.



Итак, последуем совету Александра Сергеевича и попробуем проследить за мыслями и этого «великого человека», благо такая возможность у нас есть<sup>1</sup>.

Итак, эпизод первый:

- ▶ С самого начала советской власти Верецагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верецагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешевизна скота, а Верецагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верецагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верецагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верецагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

— Главное, чтобы государство меня не услышало, — соображал он. — Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было; значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял: да нет, его дело аэропланы!

И Верецагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи. А когда приходил к ней Верецагин,

---

<sup>1</sup> О том, к какому эпизоду платоновской повести относится та или иная сталинская реплика, я узнал из статьи историка Игоря Куряндского «Вождь в гневе. Сталин за чтением Андрея Платонова». Политический журнал. № 3—4, 5 февраля 2007 года. Стр. 106—109.

то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся, — приказывал коню Верещагин. — А то советская власть ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтоб государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а там еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками, она начала отрывать от омертвевших лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, при-

шел к Верецагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала во двор Верецагиных целая стая чужих собак, и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верецагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верецагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонну, но вышла одна божья воля. Кондров поглядел на Верецагина и сказал:

— Не пройдет, Верецагин, твое мероприятие, мы от собак о всем твоём способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищу председатель, — сказал Верецагин. — Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. — Ну ничего, ты теперь на ять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верецагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Оппортун всегда кричит «за», когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верецагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега, смазчик и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. М., 1998. Стр. 407—409)*

Отчеркнув этот эпизод, Сталин на полях пишет: «ДУРАК».

«Дурак» — это все-таки не «агент наших врагов». Характеристика, прямо скажем, нелестная, но — не политическая.

Кулак Верещагин в этом эпизоде изображен весьма нелюбезно, и отправку его «пешим ходом в район» автор явно одобряет. Во всяком случае, никакого сочувствия к классово чуждому элементу вызвать у читателя он не пытается.

Такое отражение жестокой классовой борьбы в деревне Сталину представляется просто глупостью. Но за это если кого и следует наказывать, так не дурака-автора, а головотяпов-редакторов, готовых публиковать такие глупости.

Но следующий эпизод, — вернее, даже не эпизод, а одна только платоновская фраза вызвала уже более раздраженную сталинскую реакцию:

- ▶ Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм.

*(Там же. Стр. 410)*

Отчеркнув эту фразу, Сталин против нее написал: «БАЛАГАНЩИК».

Это звучит уже не так безобидно, как «ДУРАК». Тут ему, видно, впервые закралась в голову мысль, что автор не просто дурак, что не только по глупости так по-дурацки изображает он политику партии в деревне, а имея сознательный умысел над этой политикой поиздеваться.

Следующий раздраживший его эпизод эти его подозрения усилил:

- ▶ На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлечший зоркий ум борца с опасностью.

План изображал закрепленные сроки и названия боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, проб-

но-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарочной и едоцкой.

Глубоко озадачившись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого или настолько отстали, что откажутся от своевременной пищи?

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь либо кулаков послушают и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

*(Там же. Стр. 412—413)*

Этот эпизод мог вызвать гневную реакцию Сталина по многим причинам.

Чем, если не издевательством, могла показаться ему идея насильственного кормления тех, кто вздумал бы отказаться от своевременного принятия пищи? Ведь в это самое время миллионы людей умирали от голода, вызванного сталинской «сплошной коллективизацией».

Но смысл отмеченного Сталиным отрывка был глубже.

Это, в сущности, была ироническая — я бы даже сказал,

саркастическая — модель сталинского социализма, — убийственное разоблачение главного, коренного его порока.

Любой живой организм — в том числе и организм человека — система саморегулирующаяся. Человеку нет нужды постоянно держать в уме, что в такое-то время он должен ввести в свой организм определенное количество белков, жиров и углеводов. Он просто чувствует, что проголодался и ему надо поесть, что он и делает, — разумеется, если у него есть такая возможность.

Точно такой же саморегулирующейся системой является и нормальная (рыночная) экономика. Она устроена так, что как-то само собой в человеческом сообществе производится именно такое количество разнообразных потребительских товаров — еды, одежды и прочего, — какое необходимо населению. И никакой райком при этой саморегулирующейся системе не требует от земледельцев, чтобы они начинали сев, а иначе «положат партийный билет». И бабы сами ходили полоть просо, не дожидаясь, пока их мобилизуют на это специальной прополочной кампанией.

А если эта саморегулирующаяся система отменена (разрушена), приходится не только разные мобилизующие кампании проводить, но и создавать специальные государственные органы (Госплан), которые будут спускать сверху вниз соответствующие указания, сколько надо в этом году произвести брюк и пиджаков и какая яйценоскость должна быть у кур. А поскольку все предусмотреть и спланировать невозможно, то время от времени какие-то предметы потребления (электрические лампочки или лезвия для бритвы) вдруг исчезают. А потом исчезают и предметы самой первой необходимости. И несаморегулирующаяся система, обнаружив полную свою нежизнеспособность, сама разваливается.

В общем, Сталину было над чем поломать голову, если бы он захотел вдуматься в эту ироническую платоновскую модель. Но он вдумываться в нее не стал, отреагировав на прочитанное, как и в двух предыдущих случаях, оставленным на полях одним раздраженным коротким словом: «ПОШЛЯК».

Перехожу к следующему эпизоду, вызвавшему такую же раздраженную реакцию Сталина:

- В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходился ему другом, что замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтоб она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм.

*(Там же. Стр. 427)*

На этот раз Сталин тоже ограничился одним коротким словом: «БОЛВАН». И тут надо сказать, что в этом случае такая его реакция несколько даже поражает своей удивительной мягкостью. Ведь «болван» — это, в сущности, то же, что «дурак». О том, что это не просто глупость, а наглая вылазка классового врага, речь пока все еще не идет. А такое обвинение, казалось бы, тут уже вполне могло появиться. Замечательная логика председателя-«перегибщика» насчет того, что середняков он раскулачивал потому, что «те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию», а также его намек на то, что будто бы рик (райисполком) «и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм», — это ведь не о «перегибах», а о повсе-

местной, всю страну захватившей кровавой практике «сплошной коллективизации» и «ликвидации кулачества как класса».

Однако не только тут, но и дальше Сталин ограничивается вот такими, пока еще не политическими характеристиками. Хотя поводов для появления именно политических формулировок с каждой новой прочитанной им страницей становится все больше и больше.

Вот, например, такой, по всему журнальному полю отчеркнутый Сталиным эпизод:

- ▶ Однажды в полночь Уповев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Чего надо?»

— О Ленине тоскую, — отвечал Уповев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Уповева допустили к Владимиру Ильичу. Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Уповев, увидев Ленина, закрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Уповев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бучевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Уповева, и здесь между



двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Уповев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Уповев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Уповев, — не скончайся нечаянно...

Ленин засмеялся, и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Уповев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Уповев бил себя по животу и кричал:

— Исчезни, стихия!

Однако не всегда Уповев мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали, чья власть.

Уповева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в две-

рях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Уповев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, буду жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Уповева, веско возразил:

— Ты действительно сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то спрашивается, для кого ж он старался?!

— Тебе хорошо говорить, — сказал Уповев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Уповева нравоучительным взглядом:

— Дурак, как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех, и если он умер, то нас без призора не покинул!

— Пожалуй, что и верно, — согласился Уповев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Уповев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со всей революционной суши, — он вполне чувствует и понимает, что Ленин действительно позаботился и его сиротой не оставил.

*(Там же. Стр. 428—430)*

Напротив всего этого отчеркнутого им текста Сталин пишет: «БАЛБЕС! ПОШЛЯК!». А против реплики тюремного надзирателя: «Ты действительно сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то спрашивается, для кого ж он старался?!» — опять, еще раз: «ПОШЛЯК!»

Раздражение Сталина, как видим, растет. Но новое качество это его раздражение обретает еще не здесь, а на следующей странице:

► — Я полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так говорил, — слабо ответил я.

— Перегибщик иль головокруженецъ есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Уповев посмотрел на меня странно беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.

— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.

— И дух и дело, — сказал я. — А что?

— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.

Я шел молча, ничего по понимая...

Уповев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин... За-сею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.

*(Там же. Стр. 432—433)*

На этом месте Сталин — уже не на полях, а поперек целой страницы — огромными буквами начертал: «ПОДЛЕЦ!»

Тут нам самое время остановиться и задуматься.

Почему вдруг такой взрыв? Что, собственно, произошло? Ведь ничего худого о нем, о Сталине, Платонов тут вроде не сказал. Более того! Смысл сказанного Уповевым, в сущности, сводится к тому, о чем твердила вся советская пропагандистская машина: «Сталин — это Ленин сегодня!» Казалось бы, Сталину такое совпадение народного сознания с главным тезисом официальной советской пропаганды должно было прийти по душе. И вот — на тебе!

Чем же была вызвана такая «неадекватная» его реакция?

Ответом на этот отнюдь не риторический вопрос может служить другая реплика Сталина — та, которую я сделал главием этого сюжета: «ЭТО НЕ РУССКИЙ, А КАКОЙ-ТО ТАРАБАРСКИЙ ЯЗЫК!»

\* \* \*

Реплика эта, относящаяся не к какому-то конкретному эпизоду, а ко всему тексту возмущившей Сталина платоновской повести, тяготела над Платоновым всю жизнь:

▶ Г.Ф. АЛЕКСАНДРОВ, А.А. ПУЗИН,  
А.М. ЕГОЛИН — Г.М. МАЛЕНКОВУ

12 декабря 1943 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Маленкову Г.М.

За последнее время в литературно-художественных журналах «Октябрь», «Знамя» и др. допущены грубые политические ошибки, выразившиеся в опубликовании антихудожественных и политически вредных произведений <...>

Только отсутствием строгого критического отношения ответственных секретарей журналов к поступающим в редакцию рукописям можно объяснить опубликование в журналах таких крайне слабых произведений, как, например, рассказ Платонова «Оборона Семидворья» (журнал «Знамя» № 5—6 за 1943 г.)...

Рассказ Платонова «Оборона Семидворья» написан плохим, вычурным языком, образы героев — советских бойцов и командиров — оглулены. В рассказе много вздорных рассуждений, которые Платонов приписывает советским командирам и бойцам:

«Солдат должен уметь помирать навеки и всерьез, если к тому бывает нужда и от того народу польза, — говорит старшина Сычев. — А то какой же он солдат? Тогда он помирать избалуется» (стр. 21).

«Мертвым человеком быть пусто и убыточно, — заявляет боец. — Раз я убит, раз я имею в жизни свой недожиток, то мне его полагается дожить» (стр. 14).

Пренебрегая обычным оружием, лейтенант Агеев сокрушает врага кулаком: «Если штык молодец, то ку-

лак, считай, что родной отец... — говорит Агеев. — Он тебе без ремонта, без припаса живет — как отрос однова, так и висит при тебе в боевой готовности». А если и отшибут — не беда: «Отшибут — левшой будешь» (стр. 9).

Весь рассказ пестрит нелепыми изречениями: «У немца ум заводной, а у нас хоть иногда дурной, да живой...» (стр. 15) «Война, это высшее производство продукции, а именно — смерти врага-оккупанта и наилучшая организация всех взаимодействующих частей...» (стр. 11).

*(«Литературный фронт». История политической цензуры. 1932—1946 гг. Сборник документов. М., 1994. Стр. 93—100).*

В известном смысле язык рассказов и повестей Платонова и в самом деле был «плохой». Это была сознательная, принципиальная его установка.

- ▶ Как-то в нехороший для него период, в последний год его жизни, когда он тяжело болел, я зашел к нему. Он сидел в кресле с книгой в руках. Поднял голову. Вижу: его некрасивое, простонародное, прелестное лицо светится веселостью. Заглянет в книгу и тихо засмеется. Это был довольно известный в ту пору роман, отнюдь не юмористический — наоборот, сугубо «проблемный». Спрашиваю:

— Что вас так смешит?

Он говорит:

— Знаете, если бы это было написано немножко хуже, это было бы совсем хорошо.

Это был смех удивления. Платонова поразили почти пародийные несообразности этой книги, и впечатление его тотчас вылилось в этих немногих, убийственно метких словах.

Лев Славин, из воспоминаний которого я выписал этот отрывок, воспринял парадоксальную реплику Андрея Платоновича как убийственно ироническую характеристику кни-

ги некоего маститого и, видимо, даже увенчанного официальными лаврами графомана. На самом же деле это была отнюдь не ирония. Платонов говорил серьезно.

Все художественные открытия Платонова были связаны с этой его сознательной ориентацией на «плохую» литературу, «плохой», искаженный косноязычием и малограмотностью его героев, «не русский, а какой-то тарабарский язык».

Но с ориентацией на этот искаженный, изувеченный, уродливый язык связаны и все художественные открытия Зоценко. Он «калечил» и «уродовал» литературную русскую речь никак не меньше, чем Платонов. Почему же ему это сходило с рук — и в 20-е, и в 30-е годы? Не может же такого быть, чтобы до 1946 года Сталин Зоценко не читал?

Читал, конечно. По слухам иногда даже читал вслух, от души веселясь, забавляясь комическими зоценковскими сюжетами.

Почему же то, что у Зоценко его (до поры) не раздражало, у Платонова вызвало взрыв яростного негодования?

Объясняется это просто.

Считалось, что Зоценко нарочно калечит, уродует правильную, литературную русскую речь — «для смеха». А смеется (глумится, издевается) он над теми, над кем не только позволено, но даже и велено издеваться: над мещанами, обывателями, обломками, поскребышами старого мира. Над теми, кто путается у нас в ногах, мешает победоносному движению страны к светлому будущему.

Сам Зоценко совсем не так представлял себе смысл и цель своей художественной работы:

- ▶ Обо мне критики обычно говорят, как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать чорт знает что из родного русского языка. Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

*(М. Зоценко. О себе, о критиках и о своей работе.  
В кн.: Мих. Зоценко. Мастера современной  
литературы. Л., 1928. Стр. 8)*

В другой раз он высказался об этом так:

- ▶ Скоро 15 лет, как я занимаюсь литературой. За 14 лет я написал 480 рассказов (и фельетонов), несколько повестей, две маленькие комедии и одну большую. А также выпустил мою самую интересную (документальную) книгу — «Письма к писателю».

Он не лукавил, назвав **самой интересной** своей книгой не «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», не «Сентиментальные повести», даже не рассказы, принесшие ему ни с чем не сравнимый успех («Баня», «Аристократка» и др.), а неприметную, почти не замеченную ни читателем, ни критикой книгу — «Письма к писателю».

Это было сказано не в запальчивости, не в пылу полемического задора. Эту книгу он и в самом деле считал для себя принципиально важной.

Это была не совсем обычная книга. Она состояла из подлинных, невыправленных, неотредактированных читательских писем, в разное время полученных автором.

подавляющее большинство этих писем составляли стихи.

Стихи были в таком роде:

Худая ветхая избушка  
И как тюрьма темна  
Слепа мать старушка  
Как полотно бледна.

Бедняжка потеряла  
Своих глаз и ух  
Прожила не мало  
И чуть переводит дух.

Стихи до того чудовищны, все их уродства так тщательно и скрупулезно воспроизведены, что невольно напрашивается самое простое, самое естественное и, казалось бы, неопровержимое объяснение: «Зощенко издевается!»

Но Зощенко и не думал издеваться:

- ▶ У меня не было, конечно, ни малейшего желания поиздеваться над неграмотностью моих читателей.

Я не ради смеха собрал эту книгу. Я эту книгу собрал для того, чтобы показать подлинную и неприкрытую жизнь, подлинных живых людей с их желаниями, вкусом, мыслями...

Прочитывая очередной графоманский стишок, Зошенко замечает:

- ▶ Пролетарская революция подняла целый и громадный пласт новых, «неописуемых» людей. Эти люди до революции жили, как ходячие растения. А сейчас они, худо ли, хорошо — умеют писать и даже сочиняют стихи. И в этом самая большая и торжественная заслуга нашей эпохи...

В этих стихах есть энтузиазм.

В устах Зошенко слово «энтузиазм» настораживает. Уж не ирония ли это?

Нет, не ирония.

Отношение Зошенко, — этого завязатого сатирика! — к косноязычным и малограмотным авторам обращенных к нему писем вовсе не было однозначно сатирическим:

- ▶ Здесь, так сказать, дыхание нашей жизни.  
Дыхание тех людей, которых мы, писатели, стараемся изобразить в так называемых «художественных» произведениях.  
Здесь, в этой книге, собраны самые различные письма и страсти.  
Здесь, в этой книге, можно видеть настоящую трагедию, незаурядный ум, наивное добродушие, жалкий лепет, глупость, энтузиазм, мещанство, жульничество и ужасающую неграмотность...

И все-таки, что ни говори, не «настоящая трагедия» или «незаурядный ум», и уж тем более не «энтузиазм» стал для Зошенко главным предметом его художественного исследования. А для Платонова не в последнюю очередь именно это:



- Чуняев подал мне со стола отношение на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовки сообщали: «Председателю Губисполкома т. Чуняеву и всему президиуму. — Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки — среди такой всемирной бедной скуки. Стоит как башня наша власть науки, а прочий Вавилон из ящериц засухи разрушен будет умною рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведёт. Напротив — он всю землю чисто в научное давление возьмёт... Громядно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках бедняки, минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски. У нас машина уже гремит — свет электричества от ней горит, но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машина ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой родилась, ей псих мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про сердце мировое.

За председателя Совета (он выбыл в краткий срок на контратаку против всех бандитов-паразитов и ранее победы не вернется ко двору) — делопроизводитель Степан Жаренов».

*(Андрей Платонов. Родина электричества)*

Ознакомившись с записанными в строчку на сельсоветском бланке стихами делопроизводителя сельсовета деревни Верчовка Степана Жаренова, герой этого платоновского рассказа замечает:

- Делопроизводитель Жаренов был, очевидно, поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Верчовки. Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства — свет чело-

века на задохнувшейся, умершей земле, мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что лишь зажегшую свет в дальних соломенных избушках.

Утверждение, что делопроизводитель Жаренов — поэт, это, казалось бы, в высшей степени сомнительное утверждение на самом деле не содержит в себе и тени иронии. Чудовищно косноязычные, малограмотные, уродливые, нелепые его вирши произвели действие, которое может произвести только истинная поэзия. Они не только заставили героев рассказа увидеть правду и действительность далекой, неизвестной им деревни Верчовки, но и пронзили их сердца электричеством, заразили их верой в будущее, в то, что их жизнь и ежедневная трудная работа — не бессмысленны и не безнадежны.

Этот «не русский, а какой-то тарабарский язык» был для Платонова единственно возможным способом художественной выразительности, посредством которого, как ему представлялось, только и можно было передать «дыхание нашей жизни».

Как будто, того же хотел и Зоценко. Но он видел и понимал свою роль все-таки несколько иначе, чем Платонов.

Кратко отметив, что критика заблуждается на его счет, отводя ему роль фельетониста, глумящегося над невежеством и косноязычием своих персонажей, он так обозначил свое особое место в литературном процессе:

- ▶ Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель.

Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не

может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысится во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя.

*(М. Зощенко. О себе, о критиках и о своей работе.  
В кн.: Мих. Зощенко. Мастера современной  
литературы. Л., 1928. Стр.10)*

Платонов, в отличие от Зощенко, хотел не пародировать и не «временно замещать» пролетарского писателя. Он хотел **быть** пролетарским писателем. И действительно **был** им.

\* \* \*

Эстетическая, художественная природа языка Платонова была Сталину так же непонятна, как музыка Шостаковича.

Не в последнюю очередь именно это позволило Платонову так ясно — яснее многих — увидеть и назвать главную причину погрома, учиненного Шостаковичу на страницах «Правды» в феврале 1936 года:

- ▶ В области искусства у нас строится все случайно, иногда на личной почве. Пример — рецензия в «Правде» на оперу Шостаковича «Леди Макбет»... Ясно, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес.

Вряд ли он не догадывался, КТО был этот «из весьма сильных», приказавший разнести в пух и прах оперу Шостаковича. (Вообще-то, догадаться было нетрудно.) Суть дела не в этом. Тут важно то, что истинную причину погрома он увидел не в каких-нибудь высоких государственных идеях и соображениях, а в том очевидном и несомненном для него факте, что «кто-то из весьма сильных», распорядившийся учинить погром, просто-напросто **ничего не понимал в музыке**.

Литературные вкусы Сталина недалеко ушли от его музыкальных предпочтений. Во всяком случае, его реплика о

«не русском, а каком-то тарабарском» языке повести Платонова чуть ли не буквально повторяет (вернее, предвосхищает) его же — ставшую знаменитой — реплику об опере Шостаковича: «Сумбур вместо музыки».

То, что мишенью сталинского гнева, вызвавшего однотипную реакцию, оказались именно эти двое — Платонов и Шостакович, — не было простым совпадением.

С Платоновым Шостаковича сближает постоянный — глубокий, творческий — интерес к классическим образцам так называемой «плохой» литературы.

Одним из последних его сочинений была музыка на стихи капитана Лебядкина. (Опус 146. Четыре стихотворения капитана Лебядкина для баса и фортепиано. Слова Ф. Достоевского. Любовь капитана Лебядкина. Таракан. Бал в пользу гувернанток. Светлая личность. Первое исполнение: Москва, фестиваль искусств «Московские звезды», Малый зал Консерватории, 10 мая 1975.)

Это обращение к стихам капитана Лебядкина не было для Шостаковича случайным эпизодом. Острый интерес к «лебядкинскому началу» преследовал Шостаковича всю жизнь. В первую очередь тут следует назвать такие сочинения композитора: сцену в полицейском участке из «Леди Макбет Мценского уезда», пять романсов для голоса и фортепиано на слова из журнала «Крокодил», «Предисловие к полному собранию моих сочинений и размышления по поводу этого предисловия» для баса с фортепиано, куплеты Смердякова, написанные для оперы «Нос» («Непобедимой силой прикован я к милой...»).

Перечисленные музыкальные произведения, помимо специфических особенностей и черт, в которые я, естественно, вдаваться не буду, роднит то, что во всех этих (а также некоторых других) случаях композитор отбирал тексты (Достоевского, Ивана Котляревского из «Энеиды», анонимные из журнального раздела «Нарочно не придумаешь», свои собственные), **заведомо лежащие за пределами так называемой «хорошей» литературы.** Это — **графоманские тексты**, либо подлинные, либо стилизованные.

Отношение даже доброжелательно настроенной крити-

ки к этой особенности художественного мышления Шостаковича было двойким.

Музыковеды сетовали на неразборчивость автора в отборе не только словесного, но и музыкального материала:

- ▶ Композитор не гнушается так называемого «мещанского фольклора», но не всегда можно уловить критическое отношение автора к тематизму такого рода.

*(Л. Данилевич. Творчество Шостаковича. «Наш современник». М., 1965. Стр. 43—44)*

Не могу не вспомнить тут еще одного художника (такую же знаковую фигуру русского авангарда), которого тоже часто — и не без оснований — сближают с Платоновым. Я имею в виду Павла Филонова:

- ▶ Филонова и Платонова я бы назвал братьями-близнецами в искусстве...

*(Соломон Волков. История русской культуры XX века. М., 2008. Стр. 172.)*

- ▶ На Западе Платонов и во многом схожий с ним по идеологии и художественным приемам Филонов... до сих пор не вошли в устоявшийся канон знаковых фигур русской культуры XX века. Их утонченно неопрimitивистский стиль на сюрреалистической подкладке, окрашенный в гротескно-иронические тона, воздвигает серьезные препятствия на пути к популярности.

*(Там же. Стр. 178)*

Углубляться в эту тему я, разумеется не буду. А о Филонове вспомнил только для того, чтобы заметить: попадись какое-нибудь полотно этого художника на глаза Сталину, тот наверняка сказал бы, что это **сумбур вместо живописи**.

В художественных своих вкусах Сталин (он и в этом был последовательным учеником Ленина) ориентировался на классику. (В живописи — разумеется, на передвижников.) Что же касается литературы, то и в традиционной, классиче-

ской прозе он раздраженно отмечал любое отклонение от норм литературной, нормативной русской речи.

Вспомним:

- ▶ — «Сбочь дороги», «сбочь дороги», — несколько раз повторил он. — Что такое «сбочь дороги»?

*(Валерий Яковлевич Кирпотин.  
Ровесник железного века. Мемуарная книга.  
М., 2006. Стр. 200)*

О том, как раздражило Сталина это «областное» словечко в шолоховской «Поднятой целине», вспоминал и сам Шолохов:

- ▶ В беседе со мной обратил внимание на необходимость очищения языка моих произведений от неполноценных, сорных слов. Например, обратил внимание на начало 34-й главы «Поднятой целины»: «Сбочь дороги — могильный курган...» Что за слово «сбочь»? — говорил товарищ Сталин. — Нет его у нас в русском языке. Есть слово «сбоку», есть «обочина».

*(Валентин Осипов. Шолохов.  
М., 2005. Стр. 422)*

Мудрено ли, что его привел в такую ярость «не русский, а тарабарский язык» Платонова. В особенности, когда этим своим «тарабарским» языком писатель посмел заговорить о Нем, о Сталине:

- ▶ Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружельюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли... Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник.

Эта словесная конструкция была так непохожа на уже установившийся в то время словесный канон любого упоминания имени вождя, что Сталину в ней померещилась откровенная издевка. Потому и начертал он против этих платоновских строк — крупно, через всю страницу: «ПОДЛЕЦ».

**Это была реакция не на смысл, а на способ выражения.**

Но тут надо признать, что реакция Сталина на «не русский, а какой-то тарабарский» язык Платонова, в отличие от его реакции на музыку Шостаковича, была не совсем беспочвенна. Этот необычный, нетрадиционный язык платоновской прозы действительно таил в себе некую двусмысленность.

\* \* \*

На эту двусмысленность платоновского стиля Сталин отреагировал еще до того, как ему попала на глаза повесть Платонова «Впрок».

В 9-м номере журнала «Октябрь» за 1929 год появился рассказ Платонова «Усомнившийся Макар». На появление этого рассказа сразу же откликнулся один из главных тогдашних литвождей — Леопольд Авербах:

- ▶ Рассказ Платонова идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нем есть двусмысленность... Но наше время не терпит двусмысленности.

*(Л. Авербах. О целостных масштабах и честных Макарах. «На литературном посту», 1929, № 21—22, стр. 164)*

Слово «двусмысленность», а также формулу «Наше время не терпит двусмысленности» произнес Сталин.

Это предположение подтверждает реплика А. Фадеева, брошенная им в его письме Р.С. Землячке, датированном декабрем того же, 1929 года:

- ▶ В «Октябре» я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина, — рассказ анархистский.

*(Александр Фадеев. Письма. 1916—1956. М., 1967. Стр. 53)*

То, что рассказ, за который ему «попало от Сталина» — *анархистский*, Фадеев, быть может, добавил от себя. (Хотя — тоже вряд ли: Сталин любил наклеивать такие политические ярлыки: «троцкист», «уклонист», «меньшевиствующий идеалист». Вот он, настоящий-то «тарабарский» язык!) Но слова о *двусмысленности*, которая не может быть терпима в наше время, безусловно принадлежат Сталину. То, что оба литвождя использовали для характеристики платоновского рассказа одно и то же слово, не оставляет в этом сомнений. И тут надо сказать, что слово это, — в отличие от других сталинских ярлыков, — не лишено известной меткости.

Для наглядности приведу только один — совсем крохотный — эпизод из «Усомнившегося Макара».

После многих жизненных передраг герой этого рассказа попадает в «институт душевноболящих» (по-нашему, по-сегодняшнему говоря, — в психушку). И вот что там с ним происходит:

- ▶ ...Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы, как сумасшедший. Здесь доктор ошупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание, — заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.

— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки...

Другие больные душой тоже заслушались Ленина — они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.



— Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян, — читал дальше рябой Петр. — Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят.

— Видал? — спросил Макара Петр. — Ленина — и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем...

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 1. М., 1998. Стр. 533—534)*

Поди пойми, где здесь кончается «способ выражения» и начинается ирония.

Эту «двусмысленность» отметил и такой непредвзятый и даже благожелательный читатель Платонова, как Горький:

► А.М. ГОРЬКИЙ — А.П. ПЛАТОНОВУ

*Москва.  
18 сентября 1929 г.*

А. П л а т о н о в у

Человек вы — талантливый, это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком...

Но, при неоспоримых достоинствах работы вашей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Этому помещает анархическое ваше умонастроение, видимо свойственное природе вашего «духа». Хотели вы этого или нет, — но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры. При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателем не столько революционерами, как «чудаками» и «полоумными». Не утверждаю, что это сделано сознательно, однако это сделано, таково впечатление читателя, т.е. — мое. Возможно, что я ошибаюсь.

Добавлю: среди современных редакторов я не вижу никого, кто мог бы оценить ваш роман по его достоинствам. Это мог бы сделать А.К. Воронский, но, как вы знаете, он «не у дел».

Это все, что я могу сказать вам, и очень сожалею, что не могу сказать ничего иного.

Всего доброго.

А. П е ш к о в

*(Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963. Стр. 313)*

Я назвал Горького читателем благожелательным и, во всяком случае, непредвзятым. Таким он и предстает перед нами в этом письме. Однако на сей счет существуют разные мнения. Например, вот такое:

- ▶ 8 июня 1931 года Платонов написал Сталину письмо, где согласился с тем, что «получилась действительно губительная работа, ибо ее только и можно истолковать как во вред колхозному движению». Здесь же Платонов признал правоту «товарищей из РАППа»: «я заблудился и погибаю»...

Сталин переслал письмо Платонова Горькому и поручил ему «перевоспитание» Платонова. Опубликованные в последние годы материалы переписки Сталина с Горьким проливают свет на характер контактов Платонова с Горьким. Надежды Платонова на понимание Горького и на его поддержку не оправдались. Горький, отягощенный поручением и доверием Сталина, был строг к Платонову.

*(Н.М. Малыгина. Андрей Платонов. Поэтика «возвращения». М., 2005. Стр. 58)*

Если об отношении Горького к Платонову судить не по его переписке со Сталиным, а по его письмам, обращенным к самому Платонову, то из них, — из этих писем, — никак не вытекает, что он был к Платонову строг. И уж во всяком случае, никак из них не вытекает, что в своих контактах с писа-

телем, которого ему якобы было поручено перевоспитать, он был «отягощен поручением и доверием Сталина».

Если отвечая Платонову он и был чем-то отягощен, так только полной своей беспомощностью. Чувствуется, что он и смущен, и огорчен своей неспособностью помочь писателю, талант которого ценит весьма высоко, не в силах даже подбодрить его, внушить ему хоть какие-то надежды. Хотя сделать и то и другое он все-таки пытается:

► А.М. ГОРЬКИЙ — А.П. ПЛАТОНОВУ

(Москва. Осень 1929 г.)

Дорогой Платонов —

о романе вашем я говорил с Берсеневым, директором 2-го МХАТа. Возникла мысль — нельзя ли — не можете ли вы переделать *часть* его в пьесу? Или же попробовать написать пьесу на иную тему?

Мысль эта внушена вашим языком, со сцены, из уст неглупых артистов, он звучал бы превосходно. О возможности для вас сделать пьесу говорит и наличие у вас юмора, очень оригинального — лирического юмора.

Берсенеv будет искать вас в Доме Герцена, ибо я забыл ваш адрес, когда говорил с Берсеневым,  
Всего доброго.

А. П е ш к о в

В психике вашей, — как я воспринимаю ее, — есть сродство с Гоголем. Поэтому: попробуйте себя на комедии, а не на драме. Драму — оставьте для личного удовольствия.

Не сердитесь. Не горюйте... «Все — минется, одна правда останется».

«Пока солнце взойдет — роса очи выест»?

Не выест.

А. П.

(Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963. Стр. 314)

В этом письме, как и в первом, речь идет о романе Платонова «Чевенгур», о публикации которого (в отличие от «Усомнившегося Макара» и повести «Впрок», которые все же были напечатаны) нельзя было тогда даже и мечтать. Не только протолкнуть роман в печать, даже просто оценить его «по его достоинствам» из тогдашних советских литвождей мог бы только А.К. Воронский, который — «не у дел». (На самом деле Воронский, близкий друг только что высланного из страны Троцкого, был не просто «не у дел». Он в то время был уже человек конченный.)

Эти горьковские письма — и первое, и второе — были написаны осенью 1929 года, то есть за полтора года до того, как Сталин объявил Платонова «агентом наших врагов». Но и последнее известное нам письмо Горького Платонову, написанное уже летом 1932 года, тоже не свидетельствует о том, что Алексей Максимович был так уж «отягощен поручением и доверием Сталина».

Относится он к Платонову так же благожелательно, как и раньше. Помочь ему, как и полтора года назад, не может ничем. Но и заниматься его «перевоспитанием» отнюдь не собирается:

▶ А.М. ГОРЬКИЙ — А.П. ПЛАТОНОВУ

*Москва, 26 июля 1932 г*

А н д р е ю П л а т о н о в у

Уверенно судить о достоинствах Вашей пьесы мешает мне плохое знание среды и отношений, изображенных вами.

А рассматривая пьесу с ее литературной, формальной стороны, нахожу ее своеобразной, интересной и достойной сцены. Недостатками являются: обилие монологов, покойники и гроба на сцене, слишком аллегорически назойливо сделанный Мешков...

Забыл сказать: очень хороший язык.

Всего доброго.

А. П е ш к о в

(Там же)

Особенно знаменательна тут последняя горьковская реплика — о языке.

Почему-то он считает нужным подчеркнуть, что именно в «тарабарском» платоновском языке видит едва ли не главное художественное достижение писателя.

Но не мог же он не понимать, что именно этот язык Платонова придает его «освещению действительности характер лирико-сатирический», что пресловутая платоновская «двусмысленность» — это коренная, органическая черта его стиля, которую нельзя «вышелушить» и изъять вмешательством цензорского или редакторского карандаша: она растворена в самой конструкции — лексике, синтаксисе — каждой платоновской фразы.

От этого своего языка Платонов не смог бы отказаться, даже если бы захотел. И уже по одному этому положение его в советской литературе было безнадежно.

\* \* \*

Продолжая следить за ходом мысли Сталина, читающего повесть Платонова «Впрок», мы увидим, что и после той пометки, на которой мы прервали это наше занятие, главным раздражителем, вызывавшим самые гневные реплики вождя, и впредь оставался ее язык.

Но — не единственным:

- ▶ Проснулся я уже при высоком солнцестоянии — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди его сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник, только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — объяснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Шекотулова, активно отрицавшего бога и небо, знали здесь довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в бога, тот пускай остаётся дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто же главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше: — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в гада-бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему...

— Вот, — обращался товарищ Щекотулов. — Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Щекотулов. — Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы. — А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараю.

— Чего ж тебе караулить: бога нету, — с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедовать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж! — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет, — объяснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе со-творилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключил Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже бога! Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно закричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!..

Щекотулов... быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка: в колхозы он небось ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. М., 1998. Стр. 433—435)*

Весь этот эпизод Сталин отчеркнул длинной вертикальной чертой и на полях дважды начертал: «БОЛВАН!»

Первый раз — против богоборческих речей воинствующего безбожника Щекотулова:

- ▶ Верующий в гада-бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом!

И т.д.

А второй — против ответных реплик внимающих ему баб и мужиков:

- ▶ — У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

И т.д.

Все это и впрямь смахивает на издевательство, чему немало способствует все тот же, неизменно раздражающий Сталина, «тарабарский» платоновский язык. Но тут «идеологическая двусмысленность» заложена уже и в самой ситуации, где настоящим идиотом оказывается толкующий (ссылаясь на Маркса) об «идиотизме деревенской жизни» большевистский агитатор, а «отсталая крестьянская масса» отвечает ему возражениями, исполненными лукавой и умной иронии.

Нет, удивляться надо не тому, что реакция Сталина на эту сцену была бурной и резкой. Удивляться тут надо тому, что эта его реакция пока еще не отлилась в четкую политическую формулировку.

\* \* \*

Присущая Сталину тяга к ясным политическим формулировкам однажды уже дала сбой. Случилось это при первом его столкновении с прозой Андрея Платонова.



Слово «двусмысленность», которым он обозначил идеологическую несостоятельность платоновского «Усомнившегося Макара», поражает не столько необычной для Сталина мягкостью, я бы даже сказал, деликатностью этого определения, сколько его туманной неопределенностью.

Сталин по самому складу своего мышления просто не знал и не понимал, что такое двусмысленность. Не только слово это было не из его лексикона, но и само свойство человеческой мысли, этим словом обозначаемое, было недоступно его сознанию. В некотором смысле он был похож на мифического царя Мидаса, от прикосновения которого любой предмет окружающего мира превращался в золото. Но этот сталинский дар, в отличие от дара царя Мидаса, проявлялся не в материальной, а, так сказать, в духовной сфере. От его прикосновения любое проявление человеческого духа, любая мысль, какой бы сложной она ни была, становилась примитивно простой, однозначно плоской.

Вот он беседует с Гербертом Уэллсом.

Тот говорит, что не согласен с «упрощенной классификацией человечества на богатых и бедных»:

- ▶ Разве на Западе мало людей, для которых нажива не цель, которые обладают известными средствами, хотят их инвестировать, получают от этого прибыль, но совсем не в этом видят цель своей деятельности?.. Разве мало талантливых и преданных инженеров, организаторов хозяйства, деятельность которых движется стимулами совсем иными, чем нажива? По-моему, имеется многочисленный класс попросту способных людей, сознающих неудовлетворительность нынешней системы и призванных сыграть большую роль в будущем, социалистическом обществе. Я много занимался последние годы и много думал о необходимости пропаганды идей социализма и космополитизма в широких кругах инженеров, летчиков, в военно-технических кругах и т.д. Подходить к этим кругам с прямолинейной пропагандой классовой борьбы — бесцельно. Это круги, понимающие, в каком состоянии находится мир, превращающийся в кровавое болото, но эти круги считают ваш примитивный антагонизм классовой борьбы нонсенсом.

Сталин отвечает:

- ▶ Вы возражаете против упрощенной классификации людей на богатых и бедных. Конечно, есть средние слои, есть и та техническая интеллигенция, о которой Вы говорите и в среде которой есть очень хорошие, очень честные люди. Есть в этой среде и нечестные, злые люди. Всякие есть. Но прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и эксплуатируемых, и отвлекаться от этого основного деления и от противоречия между бедными и богатыми — значит отвлекаться от основного факта.

(И.В. Сталин. Сочинения. Том 14.  
М., 2007. Стр. 17—18)

И какие бы новые соображения, примеры, аргументы ни находил британский классик, Сталин твердо стоит на своем. Он не даст сбить себя с толку, не позволит отклониться в сторону, «отвлечься от основного факта».

Это свойство сталинского мышления, многим казавшееся весьма привлекательным, в конечном счете обнаружило свою несостоятельность в приложении к самым разным сферам человеческой мысли. Но менее всего оказалось оно пригодным для понимания такой тонкой и сложной материи, как искусство.

Вспомним его трактовку рассказа Горького «Кирилка», его интерпретацию рассказа Эренбурга «Ускомчел», его истолкование одного из главных мотивов романа Бориса Пильняка «Голый год».

В каждом из этих случаев он извлекает из прочитанного художественного произведения нужный ему *однозначный*, плоский, утилитарный смысл. И в каждом случае — совсем не тот, какой вложил — или пытался вложить — в это свое сочинение автор.

В своем отношении к произведению художественной литературы он исходил из двух возможностей. Оно могло быть или полезным, или вредным. Третьего — не дано. Если произведение полезно, надо определить, в чем именно состоит

эта его полезность, к чему ее приспособить, как ее использовать. Ну, а если вредно, — объяснить, в чем состоит исходящий от этого произведения вред.

Рассказ Платонова «Усомнившийся Макар», видимо, поставил его в тупик. Извлечь из него какую-либо пользу «для дела пролетариата» не представлялось возможным. Но и назвать его вылазкой классового врага тоже вроде не было оснований. Отсюда и это странное в сталинских устах — неуверенное, лишенное обычной сталинской твердости определение: *идеологическая двусмысленность*.

Повесть Платонова «Впрок» внесла в его отношение к этому загадочному писателю полную ясность. Чем дальше он углублялся в ее чтение, тем яснее ему открывалось, что никакая это не двусмысленность, что в этой платоновской повести есть только *один смысл*, и смысл этот — *однозначно антисоветский*.

Последним толчком к этому окончательному выводу стала следующая сцена платоновской повести, которую Сталин тоже отчеркнул и на которой — уже не на полях, а прямо по тексту, во всю ширину страницы — опять крупно вывел: «ПОДЛЕЦ!»:

- ▶ Под религиозный праздник пасхи я вошел в небольшой колхоз «Сильный поток» и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда справишься войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур, — Филат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхоз-

ной деревни, куда направлялся ветер, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобщественный фонд...

Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Рассказчик отмечает, что «к Филату все привыкли, и он был необходим в колхозе». Но вся эта его необходимая колхозу деятельность описана не без иронии. Петух, надо полагать, и без помощи Филата вернул бы курам свою благосклонность. Полезные предметы, которые «выдувал» из деревни ветер, а Филат возвращал обратно в обобщественный фонд, вряд ли представляли для этого фонда какую-то ценность. А зачем надо было «отучивать кур от желания быть наседками» и рубить собакам хвосты — и вовсе непонятно.

Но это все — предыстория. А суть рассказываемой истории состоит в том, что колхозники решили сделать наконец беднейшего батрака Филата законным и полноценным членом своего коллектива. И не просто принять его в колхоз, но превратить этот прием в некое ритуальное, чуть ли не религиозное действо: «на первый день пасхи вместо воскресения Христа устроить воскресение бедняка в колхозе».

Что из этого получилось, я поначалу собрался было — для краткости — изложить «своими словами». Но пересказывать прозу Платонова «своими словами» — это значит убить ее. (Не в меньшей мере, чем если бы кто-нибудь отважился, скажем, переложить прозой стихи Пастернака.) Поэтому — продолжу цитату:

- ▶ Накануне пасхи Филата одели в роскошную чисто-плотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгом, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыль-

цо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудо-способно, чем он жил дотоле.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот вам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Не колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак наконец сало жует, а, наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же непонятна наша радость? Оттого, что Филат был самый гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете!.. Скажи же, Филат, нам что-нибудь, теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж лучше другим достанется...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!..

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника:

— Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой, ты видишь — солнце-то над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили — и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтоб они сохли, а не плакали.

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. М., 1998. Стр. 442—444)*

Такой неожиданный финал этой колхозной мистерии не мог не возмутить Сталина. И не убедить его окончательно в том, что автор этой «бедняцкой хроники» — не просто «ДУРАК», «БОЛВАН» или «ПОШЛЯК», а показавший наконец свое истинное лицо затаившийся ВРАГ, контрреволюционер, антисоветчик.

От слова «ПОШЛЯК» он, однако, не отказывается и впредь. Но теперь утяжеляет это легковесное, аполитичное определение уточняющим эпитетом.

«КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОШЛЯК!» — крупно пишет он на полях следующего эпизода, в котором на сцену выводится новый герой по имени Пашка:

- ▶ В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы, — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, поэтому ему прихо-

дилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные уголья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. — Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему...

Так бы, наверно, и жил этот Пашка, который был «глуп, как грунт или малолетний», воображая себя настоящим хозяином. Но — наступила революция. И все ценности поменялись местами. Хозяевами жизни стали неимущие, а бывшие хозяева — «врагами народа». Пашка же, будучи владельцем бесплодных оврагов и «заросших мокрых пучин», попал в категорию этих последних.

- ▶ Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврагов его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в советском государстве надо стать худшим на вид человеком. И действительно, его уважали сельсоветы.

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведовать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать:

население все может поест и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка указал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью, теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и палить ему во все дырья наше идеологическое вещество...

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.



Начиная с того светлого судебного момента и донны Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза — настолько в нем увеличилось количество ума, благодаря воздействию сознательной сурруги.

*(Там же. Стр. 448—449)*

Тема, ставшая в этом отрывке главной («С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков?»), на страницах платоновской повести тут возникла не впервые. Мимоходом она затрагивалась автором и раньше.

Например, вот так:

- ▶ Вечером я попал в избу-читальню, узнав за весь день лишь одно, что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «уставная», «классово-отборочная», «инвентарная», «ликвидационно-кулацкая» и наконец «разъяснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах.

*(Там же. Стр. 336)*

Этот «классовый подход», заставивший рассказчика в очевидной и несомненной глупости учредителей всех этих комиссий увидеть козни «подкулацких деятелей», исходит из уже знакомой нам теории, согласно которой «прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и эксплуатируемых, и отвлечется от этого основного деления и от противоречия между бедными и богатыми — значит отвлечется от основного факта».

Тот же «классовый подход» помог передовым колхозникам и самому рассказчику «раскусить» Щекотулова — понять, что этот «воинствующий безбожник», которого по не-

домыслию можно принять за безобидного клинического идиота, на самом деле — «кулацкий подручный» и «тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет».

Хотел того Платонов или нет, все это выглядит довольно-таки злой пародией на сталинский — ставший в то время уже государственным — стиль мышления.

Но история Пашки, который был «глуп как грунт или малолетний», а выварившись в «котле культурной революции», так поуменел, что «все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза», — эта ироническая история несет в себе еще и другой, более глубокий смысл. Она подвергает сомнению самую основу, самую суть социалистического эксперимента.

Убеждение, что первоосновой душевных изъянов, уродств и пороков, свойственных отдельным представителям человеческого рода, является уродливое общественное устройство и что при другом, более разумном и гармоничном общественном устройстве все они постепенно исчезнут, представлялось сомнительным еще Достоевскому.

- ▶ Ясно и понятно до очевидности, — предрекал он, — что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой.

Когда Достоевский высказал это свое мрачное пророчество, дело было, по его собственному выражению, «пока еще в теории». Когда же теория стала практикой, когда «социалистов великая ересь», как сформулировал это Маяковский, стала «сбываться былью», критика социалистической идеи обрела конкретность и даже спустилась с отвлеченно философского на, так сказать, обывательский уровень. Отчего, кстати сказать, ничуть не потеряла своей убедительности:

- ▶ В вагоне разговорились мы с одним приказчиком из Малого Ярославца, горбатеньким уродцем. Он очень своеобразно нападал на коммунизм.

— Что я? Образина! Насекомое с человеческим паспортом! Прежде я хоть мог надежду питать — разбогатею, зашуршу «катеньками», все наверстаю. Может, скажете, что за деньги нельзя было все захватить! Ошибаетесь! Хотя я ей и противен, а она будет юлой юлить, горб целовать, прыщ мой превозносить станет! А теперь что? За паек работать? Равенство? Так пусть они раньше всех родят ровненькими. Хорошо, за восемь часов работы — полторы селедки. А за горб, спрошу я вас, за унижение мое, за тоску — кто заплатит? Одно мне осталось — поступлю в чеку. И никто меня осудить не посмеет. Я там наживать себе буду не больше того, что другие даром на дороге подбирают. Не от жадности чекистом стану, а во имя священного равенства.

*(Илья Эренбург. Необычайные похождения Хулио Хуренито. М.—Л., 1927. Стр. 261—262)*

Оказалось, что человечество делится не только на богатых и бедных, но — на злых и добрых, жестоких и милосердных, здоровых и больных, красивых и уродливых. И — не в последнюю очередь — на глупых и умных. И попытка посредством «культурной революции» превратить глупого человека в умника — такой же бред, как вера в то, что социализм всех, кто родился горбатенькими, сделает «ровненькими».

Сталин так глубоко в этот платоновский сюжет не вник. Даже не пытался. Да вряд ли и смог бы, если бы даже захотел. Он ограничился тем, что на полях последней страницы этого отрывка приписал:

**«ТАКОВЫ, ЗНАЧИТ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ, КАДРЫ КОЛХОЗОВ?! ПОДЛЕЦ!»**

И даже последний, заключительный эпизод платоновской повести не стал комментировать. Отчеркнул его двумя чертами и на полях написал: **«МЕРЗАВЕЦ!»**

Между тем эпизод этот заслуживал более вдумчивого комментария.

Вот он:

- Я прожил в колхозе «Утро человечества» очень долго; я был свидетелем ярвого сева на 140% от плана и участником трех строителей — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!.. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощанье и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

*(Там же. Стр. 450)*

На реплику платоновского рассказчика о том, что Пашка «был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие», Сталин внимания не обратил. Никак ее не отметил. А ведь эта реплика — смысловой итог всего сюжета, в котором выплеснулась вся «гнилая филосо-

фия» автора, на которую Сталин, казалось, должен был отреагировать в первую очередь.

Но философия эта, похоже, никак его не задела. А задело его то, что в роли «непосредственных руководителей колхозного движения» (скажем, таких, как шолоховские Давыдов, Разметнов и Макар Нагульнов) он видит и рисует каких-то юродивых недоумков, дебилов, клинических идиотов.

Такая примитивная реакция Сталина на сложный, неоднозначный смысл художественного образа нам уже хорошо знакома. Помимо горьковского рассказа «Кирилка» или эренбургского «Ускомчела», о которых я тут уже вспоминал, нельзя не вспомнить его реакцию на рассказ Зощенко «Приключения обезьяны». В этом незатейливом зощенковском рассказике тоже ведь выразилась некая авторская философия. Но логика Сталина и его идеологической obsługi проста:

- ▶ Описание походов обезьяны автору понадобилось только для того, чтобы издевательски подчеркнуть трудности жизни нашего народа в дни войны (недостаток продовольствия, очереди и т.д.).

Это — из «Докладной записки Управления агитации и пропаганды о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград». Сам же Сталин об этом зощенковском рассказе высказывался так:

- ▶ СТАЛИН. Это же пустейшая штука, ни уму ни сердцу ничего не дающая. Какой-то бездарный балаганный анекдот...

ВИШНЕВСКИЙ. У него везде персонажи являются пьяные, калеки, инвалиды, везде драки, шум. И вот возьмите его последний рассказ «Приключения обезьяны», возьмите и сделайте анализ его. Вы увидите, что опять инвалиды, опять пивные, опять скандалы...

СТАЛИН. И баня.

ВИШНЕВСКИЙ. Баня, совершенно правильно...

СТАЛИН. Он проповедник безыдейности.

ВИШНЕВСКИЙ. Он последние вещи дал без мысли, без фабулы.

СТАЛИН. Злопыхательские штуки.

*(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 566, 573)*

Дальше этих плоских и примитивных определений в своем «анализе» зощенковского рассказа Сталин не пошел. А что касается разоблачения чуждой и враждебной нам философии автора этого рассказа, то на этот случай у него есть Жданов. Он в своем докладе и философию эту разоблачил, и источники этой «гнилой философии» обнаружил:

- ▶ «Назад к средневековью» — таков общественный идеал этой аристократическо-салонной группы. Назад к обезьяне — перекликается с ней Зощенко. Кстати сказать, и акмеисты, и «Серапионовы братья» ведут свою родословную от общих предков. И у акмеистов, и «Серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократическо-салонного декадентства и мистицизма.

*(Из доклада А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде)*

Не обошлось тут, правда, без некоторых накладок. И с разоблачением философии Зощенко он попал пальцем в небо, и с попыткой найти общую родословную у акмеистов и «Серапионовых братьев». А уж с Гофманом вышло совсем нехорошо: Эрнста Теодора Амадея он перепутал с Модестом. (Не он, конечно: референты подвели.) Но в конце концов — не все ли равно, тот ли Гофман, что жил и творил в XVIII веке, или тот, что был современником и коллегой (по ее пушкинским штудиям) Ахматовой. К черту подробности!

Примерно так же, как с рассказом Зощенко, за пятнадцать лет до знаменитого постановления ЦК и доклада Жданова Сталин поступил с платоновской повестью «Впрок». Наметил лишь тему («Повесть написана «с целью развенчания колхозного движения», автор — «агент наших врагов», «подлец», «контрреволюционный пошляк», «мерзавец»). А раз-

работку этой темы поручил, как он любил в таких случаях выражаться, «товарищам, знающим художественное дело».

Специалиста такого уровня, как Жданов, у него под рукой тогда не оказалось, и разоблачить «кулацкую повесть» было поручено Фадееву и Сутырину.

Статью эту, появившуюся за подписью Фадеева, оказывается, они писали вдвоем. А о том, как вышло, что подписал ее один Фадеев, рассказал его соавтор в том самом своем изложении событий, которое я уже цитировал.

Продолжу цитату с той сталинской реплики, на которой я ее оборвал:

- ▶ — Уведите этого... И вот такой руководит советской литературой... — и обращаясь к нам: — Товарищ Сутырин и товарищ Фадеев! Возьмите этот журнал, на нем есть мои замечания, и завтра же напишите статью для газеты, в которой разоблачите антисоветский смысл рассказа и лицо его автора. Можете идти.

Мы вышли. Машина нас ждала, и мы поехали ко мне домой. Ждать завтрашнего дня мы не стали. И сели тут же писать статью. Замечания Сталина определяли не только смысл, но и характер статьи. Эти замечания были самого ругательного свойства. Мы просидели почти всю ночь и написали эту статью. Утром Фадеев ее увез, чтобы окончательно переписать и отправить в редакцию. Я не успел уснуть, как позвонил Фадеев:

— Володя! Редактор «Красной нови» все же я. Мое имя связано с публикацией рассказа Платонова. И я хочу, чтобы эта статья появилась не за нашими двумя подписями, а за одной моей фамилией. Будешь ли ты возражать?

Я согласился. Так вот появилась статья Фадеева о Платонове.

(Г. Белая. *Дон-Кихоты 20-х годов*. М., 1989. Стр. 276)

Тут особенно примечательна одна фраза рассказчика: «Замечания Сталина определяли не только смысл, но и характер статьи».

Так оно и было. Украшать сталинские замечания блеском своей фантазии и эрудиции, как пятнадцать лет спустя это делал Жданов, соавторы не стали. Они бесхитростно по-

вторили все формулировки вождя, не выходя за пределы его лексики и фразеологии, даже в покаянном признании своей личной вины и ответственности за случившееся:

- ▶ Одним из кулацких агентов указанного типа является писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов...

Повесть Платонова «Впрок» с чрезвычайной наглядностью демонстрирует все наиболее типичные свойства кулацкого агента самой последней формации... и является контрреволюционной по содержанию [...]

Коммунисты, не умеющие разобраться в кулацкой тактике таких «художников», как Платонов, обнаруживают классовую слепоту, непростительную для пролетарского революционера.

И потому нас, коммунистов, работающих в «Красной нови», прозевавших конкретную вылазку агента классового врага, следовало бы примерно наказать, чтобы наука пошла впрок.

*(А. Фадеев. Об одной кулацкой хронике.  
«Красная новь», 1931, № 5—6, с. 206, 207, 209)*

Никаким кулацким агентом Платонов, разумеется, не был. И для утверждения, что его повесть «Впрок» была «вылазкой классового врага», на самом деле не было никаких оснований. Не была она, эта его повесть, и «контрреволюционной по своему содержанию».

Отношение Платонова к тому, что происходило тогда в стране, было примерно таким же, как у героя «Страны Муравии»:

— Товарищ Сталин!  
Дай ответ,  
Чтоб люди зря не спорили:  
Конец предвидится ай нет  
Всей это суетории?..

И жизнь — на слом,  
И все на слом,  
Под корень, подчистую.  
А что к хорошему идем,  
Так я не протестую.



С той только разницей, что Никита Моргунок у Твардовского, пожалуй, не так уж уверен, что вся эта «суетория» и впрямь ведет «к хорошему». Он всего лишь не оспаривает этого, не протестует. *He смеет* протестовать.

У героя платоновской «бедняцкой хроники» нет и следа этой неуверенности. В то, что «к хорошему идем», он верит истово и твердо. И эту его веру разделяет и автор.

Последнее утверждение может показаться не то что сомнительным, а прямо-таки абсурдным.

Никто не изобразил тот кровавый морок, тот жуткий тупик, в который привел страну сталинский путь «к хорошему», с такой обнаженностью и художественной мощью, как это сделал Платонов. Может ли быть, чтобы картина, нарисованная художником, оказалась в таком вопиющем противоречии с его политическими взглядами и даже самыми основами его мировоззрения?

В советской литературоведческой науке на рубеже 30-х и 40-х годов этот старый спор вдруг вспыхнул с неожиданной силой, превратившись в длинную дискуссию, затронувшую самые основы официальной идеологии и в конце концов вылившуюся в громкую идеологическую кампанию.

Дискуссию вели критики, литературоведы, философы — специалисты по так называемой марксистско-ленинской эстетике. Писатели в ней не участвовали, и в этом была своя логика. Считалось, что художнику размышлять о проблемах теории и психологии творчества не только ни к чему, но даже вредно. В разговорах на эту тему в художественной среде, которые время от времени все-таки возникали, неизменно всплывал знаменитый анекдот о сороконожке, которую спросили, что делает ее тридцать четвертая нога, когда двадцать шестая ступает на землю. Сороконожка задумалась и... остановилась. Не смогла больше сделать ни шагу.

Но по странному — а может быть, и не такому уж странному — стечению обстоятельств в самом эпицентре этой «теоретической» дискуссии оказался один писатель, — хоть и опубликовавший десяток-другой литературно-критических статей, но на роль теоретика, а тем более идеолога никогда не претендовавший.

Писателем этим был Андрей Платонов.

## Сюжет третий

### «ВОПРЕКИСТЫ» И «БЛАГОДАРИСТЫ»

Эти два теперь уже прочно забытых, можно сказать, реликтовых термина возникли и постоянно мелькали в ходе той самой дискуссии, о которой я вспомнил, заключая предыдущий сюжет и переходя к этому.

Вот как, спустя годы, о ней вспоминал один из самых активных ее участников:

- Это был период борьбы с философским упрощенчеством, с вульгарным социологизмом.

К 1939 году некоторые авторы «Литературного критика» под видом борьбы с вульгарным социологизмом стали отказываться и от марксистского социологизма.

Образовались две партии литературоведов. Одни опирались на статью В. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», в которой говорилось, что, вопреки своему реакционному мировоззрению, Лев Толстой добился великих художественных успехов. Само слово и понятие «вопреки» взято из статьи Ленина «Л.Н. Тол-

стой и его эпоха». Приверженцев этой несколько примитивно истолкованной ленинской теории называли «вопрекистами»...

Другая партия литературоведов стояла на том, что великое художественное произведение может быть создано только благодаря прогрессивному мировоззрению художника. Этих литературоведов называли «благодаристами».

Так возникла дискуссия 1939—1940 гг. Пишущий эти строки был участником дискуссии тех лет.

*(В.Я. Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 420)*

Вслед за этим в «Мемуарной книге» В. Кирпотина под рубрикой «Архив» приводится довольно пространный текст, обозначенный — то ли самим автором, то ли публикаторами его мемуаров — как «Фрагменты из проекта неопубликованной дискуссионной статьи».

Приведу и я небольшой фрагмент из этих «Фрагментов»:

- ▶ Е. Усиевич стала выразителем разбитого буржуазного сопротивления социализму. Поэтому для нее Андрей Платонов, автор рассказа «Впрок», является самым талантливым советским писателем. Она пишет:

«Наиболее талантливым среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманистическими обобщениями, а ищущих жизненных форм развития, является у нас Андрей Платонов» («Лит. Критик» №№ 9—10 за 1938 г., стр. 171). То есть Андрей Платонов является наиболее талантливым из лучших советских писателей ?

«Лит. Критик» сделал Платонова своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают как на образец. Даже рассказы его, забракованные в других журналах, печатают в «Лит. Критике».

Платонов стал публицистом и критиком журнала, на страницах которого он доказывает, что вся русская

литература после Пушкина — сплошной упадок, а Горький вобрал внутри себя... кусочек фашизма. Платонов пишет: «Горький всегда был на передовой линии фронта борьбы за будущую пролетарскую участь, он одним из первых принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского противника. И, естественно, что сознание Горького как бы «искажалось», потому что в бою и победитель получает раны. Здесь же бой происходил внутри человека, так как нужно было уничтожить врага в самом духе и разуме, а для этого надо подпустить его чрезвычайно близко — в самого себя» («Пушкин и Горький», «Лит. Критик» № 6 за 1937 г., стр. 80).

Всю советскую литературу «Лит. Критик» считает иллюстративной (т.е. дидактической, второсортной) на том основании, что она пронизана политической тенденцией.

В передовой статье (№№ 9—10 за 1938 г.) написано: «До сих пор наша литература преимущественно иллюстрировала марксистское понимание действительности».

Е.Усиевич разъясняет: иллюстративным является творчество писателей, «не слишком размышляющих о действительности, а иллюстрирующих ту или иную, по выражению Гегеля, «понятную и решенную» до них идею»...

.....  
Какова теория, такова и практика. Группа «Лит. Критика» отрицает значение передовых идей, передового мировоззрения для художественной литературы и вообще для искусства. Она, наоборот, полагает, что реакционное, отсталое мировоззрение полезно для развития искусства.

*Выводы.* Группа «Лит. Критика» выродилась в кучку людей, представляющих буржуазную реакцию, буржуазное сопротивление марксизму-ленинизму в литературе.

(Там же. Стр. 422—424)

Стилистика, тональность, весь смысловой и эмоциональный настрой этого фрагмента (как и всех остальных фрагментов этого текста) не больно вяжутся с представлением о том, каким полагалось бы быть «проекту дискуссионной статьи». Сразу видно, что автор этих «фрагментов» вряд ли был рядовым участником дискуссии, как он скромно себя величает. Это — речь прокурора. И прокурора не на равных с адвокатами участвующего в состязательном процессе, а — *власть имеющего*, не сомневающегося в том, какой вердикт вынесут судьи.

О том же свидетельствуют и подписи под документом:

- ▶ Секретарь Президиума Союза советских писателей

(А. Фадеев)

Член Правления, секретарь секции критиков при Клубе писателей

(В. Кирпотин)

10 марта 1940 года.

Стоит сравнить этот текст с текстом «Докладной записки секретарей ССП СССР А.А. Фадеева и В.Я. Кирпотина секретарям ЦК ВКП(б) «Об антипартийной группировке в советской критике», месяцем раньше (10 февраля 1940 года), отправленной на имя Сталина, Молотова, Жданова, Андреева и Маленкова (*документ № 10*), чтобы увидеть, что никакой это не «проект дискуссионной статьи», а тот же ДОНОС, после которого журнал «Литературный критик» специальным постановлением ЦК ВКП(б) был закрыт.

- ▶ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б)  
«О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ  
И БИБЛИОГРАФИИ».

2 декабря 1940 года

Прекратить издание обособленного от писателей и литературы журнала «Литературный критик».

(КПСС в резолюциях. Том 7. М., 1985. Стр. 182)

Это был обычный стиль (и итог) всех советских «научных дискуссий».

Классический пример — «дискуссия» о генетике на знаменитой сессии ВАСХНИЛ. Едва только она началась, как Лысенко объявил, что его доклад одобрен Центральным Комитетом. (Все понимали, что это значит — Сталиным.)

Сообщение это, разумеется, было встречено бурными аплодисментами, переходящими в овацию, что и определило весь ход дискуссии и ее финал. К трибуне сразу потянулись ораторы, бьющие себя в грудь и кающиеся, что не сразу оценили всю глубину и величие научных идей, высказанных докладчиком.

Таких «научных дискуссий» мир прежде не знал. Это было чисто советское — сталинское — изобретение.

Можно ли представить, чтобы в былое, досоветское время какой-нибудь ученый в начале или по ходу какого-то научного спора объявил, что его точку зрения разделяет и поддерживает Государь Император?

Вообще-то — можно. Едва только возник у меня этот, как мне поначалу показалось, риторический вопрос, в моей памяти всплыл как раз такой случай:

- ▶ В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

*(М. Горький. Савва Морозов. // М. Горький. Полное собрание сочинений в 25 томах. Том 16. М., 1973. Стр. 498)*

Ситуация вроде похожая. Но разница — огромна. И дело даже не в том, что Дмитрию Ивановичу Менделееву после его сообщения никто не стал устраивать оваацию, а, напротив, слова его вызвали смущенное молчание, похоже, что неодобрительное. Суть дела в том, что реплика знаменитого химика на ход дискуссии никак не повлияла. А сообщением Лысенко дискуссия, в сущности, сразу, еще не начавшись, была прекращена.

Несколько безумцев, отважно пытавшихся после этого сообщения защищать свою «лженауку», были арестованы и отправлены в лагерь. И дело тут тоже было не только в их горестной судьбе, а еще и в том, что нежелание отречься от своих научных взглядов, осужденных партией (то есть — Сталиным), приравнивалось к государственному преступлению. Клеймо «менделист-морганист» в 40-е годы стало таким же жупелом, как в 30-е слово «троцкист».

Ставшая обычной практика таких «научных дискуссий» растлевала сознание не только лже- и псевдоученых, каких было множество, но и настоящих мужей науки.

Один мой приятель, работавший в отделе науки «Литературной газеты», рассказал мне о долголетней борьбе двух направлений в отечественной астрономии. Одна группа ученых утверждала, что какое-то (уж не помню, какое именно, но какое-то очень важное) событие в жизни Вселенной произошло **пять миллионов (или миллиардов?) лет назад**. Противники же их придерживались мнения, что событие это действительно имело место, но не пять, а **десять миллионов (или миллиардов) лет назад**.

Борьба между этими двумя научными направлениями приняла такие яростные формы, что противники стали писать друг на друга доносы. В Академию наук, в ЦК. Ну и, разумеется, в КГБ. Этот, казалось бы, бесконечно далекий от политики, да и вообще, по правде говоря, не такой уж животрепещущий вопрос, выходит, тоже находился в компетенции наших, как их тогда называли (оказывается, не зря) **компетентных органов**.

Была еще одна общая закономерность, характеризующая все советские «дискуссии» и судилища. Побеждали в них всегда худшие, а терпели поражение — лучшие.

Один из арестованных крупных партийных функционеров, из которого выбивали признание, что он принадлежал к некоей преступной организации, в конце концов признал: да, он действительно принадлежал к преступной организации, имя которой — Политбюро ЦК ВКП(б).

Бухарин тоже принадлежал к этой преступной организации, и не раз приходилось слышать, что в некотором смысле он был ничуть не лучше Сталина. Но и самые злейшие его враги и ненавистники не стали бы отрицать, что по уровню интеллекта и образованности, да и чисто человеческим качествам он был несравним со Сталиным.

Тухачевский был таким же верным исполнителем преступных приказов советского руководства, какими были Ворошилов, Тимошенко, Буденный. Он громил Кронштадт и жестоко подавлял народные — крестьянские — восстания (антоновщину). Но от бездарных и ничтожных Ворошилова, Тимошенко и Буденного он разительно отличался тем, что был талантливым, блестяще образованным, компетентным военачальником.

Говорят, что Николай Иванович Вавилов в своих ботанико-агрономических экспедициях в страны Средиземноморья, Северной Африки, Северной и Южной Америки выполнял некоторые задания советских разведывательных органов. Может, оно и так. Но в отличие от шарлатана и мракобеса Лысенко он был гениальным ученым. И именно поэтому он был обречен.

Тут действовал некий общий закон.

Подобно тому как примитивная раковая клетка вытесняет, побеждает более сложные клетки и губит живые ткани здорового организма, так и эти «раковые клетки» советского государственного организма неизменно побеждали, обрекали на гибель все сложное, живое, талантливое.

Членами редколлегии журнала «Литературный критик» были Елена Феликсовна Усиевич, Игорь Александрович Сац, Федор Маркович Левин, Владимир Борисович Александров, Михаил Александрович Лифшиц, Владимир Романович Гриб, Владимир Семенович Кеменов...

Все они были правоверные марксисты, истово верующие в основные заповеди так называемой марксистско-ленин-



ской эстетики. Но от своих оппонентов они отличались так же, как Бухарин от Сталина, Тухачевский от Ворошилова и Буденного и академик Н.И. Вавилов от академика Лысенко.

О каждом из них тут можно было бы рассказать подробно — все они этого заслуживают. Некоторых из них (Михаила Александровича Лифшица, Федора Марковича Левина, Игоря Александровича Саца) я хорошо помню и мог бы даже поделиться впечатлениями о своем — не очень близком, но все-таки личном — знакомстве с ними.

Но во всем этом нет никакой нужды.

Чтобы понять, чем отличались названные критики, философы, литературоведы и искусствоведы от атаковавших и победивших их Фадеевых, Ермиловых и Кирпотиных, достаточно одного того, что они действительно «пригрели» и постоянно публиковали на страницах своего журнала Андрея Платонова.

Из всех рекомендаций, какие я мог бы представить в их защиту, эта — лучшая. И никаких других тут больше не надо.

\* \* \*

У Фадеева и Кирпотина, начавших кампанию против «Литературного критика», был, конечно, свой, особый, чисто карьерный интерес. Это была борьба «за место под солнцем». (Под солнцем сталинской благосклонности.) И в этой борьбе они не брезговали самыми гнусными средствами. Особенно таким проверенным в уже сложившихся в то время формах жанра политического доноса, как апелляция к прошлым политическим ошибкам и грехам сегодняшнего идейного противника.

Например, вот так:

- ▶ Руководящими лицами в группе являются Г. Лукач, Мих. Лифшиц, Е. Усиевич. Г. Лукач — человек очень путаной биографии, в начале своей деятельности неприкрытый буржуазный идеалист, впоследствии вступивший в венгерскую компартию, левак, о котором Ленин писал еще в 1920 г.: «Статья Г.А. очень левая и очень плохая. Марксизм в ней чисто словесный» и т.д. (т. XXV, с. 291)

*(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 439)*

Методология эта была отработана Сталиным. В смертельной схватке с Троцким он постоянно напоминал: «Еще Ленин предупреждал, что меньшевизм Троцкого — не случайность». Когда понадобилось стереть с лица земли Бухарина, вспомнил: «Еще Ленин отмечал, что Бухарин никогда по-настоящему не знал и не понимал диалектики».

Авторы «Докладной записки», как видим, были верными учениками Сталина. Можно даже сказать — **первыми** учениками.

Ну и, конечно, используя этот проверенный сталинский метод разоблачения политического противника, они не могли не вцепиться в Платонова. Для их целей трудно было найти более удобную, более уязвимую мишень: «Вот, смотрите, кого они пригрели! Автора знаменитой «кулацкой повести!» Самим вождем разоблаченного «агента наших врагов!»

В затеянной ими игре это был самый сильный, воистину беспроегрешный ход.

Но это был не только удачный тактический ход, которым они не могли не воспользоваться.

Заговорив о Платонове, они отошли от того казенно-бюрократического канцелярита, на котором написана вся эта их «Докладная записка». Тут вдруг в их мертвый партийный жаргон прорвалось искреннее, живое чувство:

- ▶ «Литературный критик» сделал Платонова своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают, как на образец... Даже рассказы Платонова, забракованные другими журналами, печатались в «Литературном критике».

*(Там же. Стр. 442)*

Это был крик души!

И тут не было ни малейшего преувеличения.

«Литературный критик» действительно сделал Платонова своим знаменем. Его действительно противопоставляли другим писателем. На него действительно — постоянно — указывали, как на образец. И — совсем уже поразительный, воистину беспрецедентный факт: на страницах литературно-

критического и теоретического журнала, ни разу не опубликовавшего ни одного художественного произведения, вдруг появляются два рассказа Платонова: «Фро» и «Бессмертие». И — мало того! — публикация эта предваряется редакционной статьей «О хороших рассказах и редакторской рутине».

В этой статье редакция журнала, объясняя, почему она решила нарушить жанровую целостность своего журнала и сделать исключение для двух рассказов Платонова, делала упор на то, что «ни один из московских журналов не согласился печатать эти два рассказа». И не по каким-нибудь там вкусовым соображениям не согласился, а потому, что они, эти рассказы, не соответствуют требованиям «поверхностного, никого не убеждающего и никого не заражающего оптимизма».

Это была настоящая демонстрация. Если угодно — вызов.

Публикацией этих двух платоновских рассказов и предваряющей их редакционной статьи редколлегия журнала «Литературный критик» провозглашала и утверждала такую шкалу художественных ценностей, которая не только противостояла фадеевской и кирпотинской, но и прямо отрицала самое право на существование таких критиков, как Кирпотин, и таких писателей, как Фадеев.

Для них признать рассказы Платонова высшим (одним из высших) достижений современной русской прозы было все равно, что живыми лечь в гроб.

Сам Платонов органическую свою несовместимость со своими гонителями видел ясно, но природу ее понимал несколько упрощенно:

▶ ДОНЕСЕНИЕ  
2 СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

*5 октября 1939 г.*

ПЛАТОНОВ Андрей Платонович — писатель. Пушкинский бульвар, дом Герцена, кв. 27.

Беседа 4 октября касалась главным образом вопросов литературного творчества и литературной среды.

По мнению ПЛАТОНОВА, общие условия литературного творчества сейчас очень тяжелы, так как писатели находятся во власти бездарностей, которым партия доверяет. К числу таких бездарностей относятся ФАДЕЕВ и ЕРМИЛОВ.

*(Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ. 1936—1945. Публикация Владимира Гончарова и Владимира Нехотина. «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Выпуск 4. М., 2000. Стр. 866)*

На самом деле Александр Александрович Фадеев бездарностью отнюдь не был. И природа его органического неприятия художественных достижений такого писателя, как Платонов, лежала совсем в иной плоскости.

Сам Фадеев, осознав себя в конце жизни полным банкротом, всю вину за то, что, подводя итоги, оказался у разбитого корыта, возложил на партию, которой всю жизнь верно служил. То есть — не на саму партию, конечно, — даже на пороге смерти разорвать свою связь с этой священной короной он не посмел, — а на тех, кто ее, эту партию, представлял:

- ▶ Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего. Литература — этот высший плод нового строя — уни-

жена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей

*Ал. Фадеев*

3/V.56.

*(Предсмертное письмо А.А. Фадеева в ЦК КПСС.  
Цит. по кн.: Дмитрий Бужин. Александр Фадеев.  
Тайны жизни и смерти. М., 2008. Стр. 292)*

В этом своем предсмертном письме Александр Александрович не смог утаить своей обиды на людей, которые уже три года правят государством, но так и не нашли за эти три года времени его принять. Он называет их невежественными нуворишами и противопоставляет им Сталина, который «был хоть образован». Но ведь эти нувориши не упали с неба. Это — те самые люди, которые при жизни Сталина были ближайшими его соратниками, верными исполнителями его воли. И тогда, — если ему случалось общаться с ними, — он глядел на них совсем другими глазами:

▶ А.А. ФАДЕЕВ. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

*16 марта 1937 г.*

13-го был у Андреева. Рассказал о делах в Союзе пис<ателей>: говорю, дела неважные.

Он насмешливо:

— Ну-у?

Видно, все знает. Обаятельный человек. Умные глаза, очень ясные. На лице следы забот. Лицо очень умного и, должно быть, доброго, но мужественного рабочего человека...

Вначале я очень волновался. Волновался оттого, что боялся, не сумею толково все рассказать. Но увидев, что он все знает и понимает, окреп и все рассказал ему. Спрашивал, пишут ли писатели о вскрытой двумя процессами деятельности врагов народа. Я назвал романы Колдунова, Максимова, Слонимского и <сказал> об их недостатках: плохо знают нас, коммунистов. Говорит:

— Надо помочь им, авторам, поработать с ними.

Отвечаю: работать будем, но иной раз сами не уверены, насколько такое-то произведение удачно, боимся взять на себя ответственность.

— Тогда советуйтесь с нами.

Потом расспрашивал о писательских настроениях. Говорит — критика у нас плоха. Я назвал несколько человек, из которых могут выработаться хорошие критики. Он выслушал без комментариев.

— Каково ваше мнение о Ставском как руководителе?

Я начал было уклончиво (не хотелось, чтобы он подумал, будто мной руководят личные моменты). Он: — Вы в ЦК, — правду говорите.

Отвечаю: — Ставский малокультурен и неумен.

— Ограниченный?

— Да, и губит себя недоверием и подозрительностью к людям.

— Подходит он, по-вашему, в руководители или нет?

— Нет.

— А кого бы вы хотели?

Говорю: — Нам надо большого человека.

Он с улыбкой: — Трудно вам подобрать руководителя. Свободного члена Политбюро на вас нет.

Я сказал, что хорошо бы писателям поговорить с руководителями партии и правительства.

Говорит: — Посоветуемся, решим вопрос.

На этом закончили.

*(Александр Фадеев. Письма и документы.  
М., 2001. Стр. 55—56)*

Андрей Андреевич Андреев, о встрече и беседе с которым рассказал в этой своей записи Фадеев, был одним из самых страшных людей в тогдашнем сталинском Политбюро. Сохранил ли Фадеев о нем это свое бывшее впечатление как о добром, умном и обаятельном человеке с ясными глазами, который «все понимает»? Или в 56-м году, когда писал свое предсмертное письмо, он и его тоже уже числил в ряду тех невежественных нуворишей, обрушивавших на него потоки «окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок», о которых ему теперь невыносимо вспоминать?

Если это и так, — что ж, слава богу, что прозрел. Хоть и с опозданием, но увидел этих сталинских холуев такими, какими они были. Лучше поздно, чем никогда.

Но беда Фадеева не в том, что он прозрел поздно, а в том, что это его прозрение было весьма относительным. Во всяком случае — неполным.

Конечно, масштаб и силу загубленного «нуворишами» своего художественного дара Фадеев преувеличил. Но это понять можно, и не в этом сказалась его слепота.

«МЕНЯ ПРЕВРАТИЛИ...» — пишет он. Но истинное его горе в том, что не ЕГО ПРЕВРАТИЛИ, а он САМ ПРЕВРАТИЛ СЕБЯ В ТО, ЧЕМ СТАЛ. И не то было его бедой, что вместо того, чтобы сидеть за письменным столом и писать книги, для чего он был задуман и создан Богом, он убил жизнь на бесплодную и бессмысленную административную, руководящую работу. И даже не в том была его трагическая вина, что эта его руководящая роль была ему по душе.

Не последней — а может быть, даже и главной — причиной самоубийства Фадеева стал глубочайший кризис, безвыходный творческий тупик, в котором он оказался.

Это — отдельный и очень непростой сюжет, который уместнее развернуть не здесь, а в главе «Сталин и Фадеев», что, надеюсь, и будет сделано, если у меня достанет сил когда-нибудь эту главу написать. А если коротко, — суть дела состояла в том, что роман «Черная металлургия», над которым он работал последние годы своей жизни, завершить он не смог. И совсем не потому, что был по горло загружен административной работой:

- ▶ Дело в том, что я задумывал, сочинял и начинал писать его в 51—52 гг., когда многие вопросы стояли, вернее, выглядели по-иному, чем сегодня. В центре моего сюжета находилось одно «великое» техническое открытие и борьба вокруг его осуществления. Но это «великое» открытие оказалось чистой «липой», взращенной высокопоставленными карьеристами, которые ввели тогда в заблуждение и правительство. Кроме того, большую сюжетную роль играла в моем романе борьба с группой так называемых «врагов народа», что было мной не выдуманно, а взято из реальных материалов. К счастью для этих людей и к неудаче романиста, дело этих «врагов» тоже оказалось «липой». Но ведь я, на основании двух этих сюжетных линий, построил всю основу своего романа и целую серию характеров. Теперь все это приходится менять, переделывать, и это, конечно, ужасно нелегко, потому что человек за несколько лет работы привыкает и к своей теме, и к своим героям, и изменить это «на ходу» невозможно. Фактически роман мой остановился, и мне пришлось изучать материал наново, искать новых людей, новые сюжетные линии и прочее.

*(Из письма А.А. Фадеева А.Ф. Колесниковой 23 апреля 1955 года. Александр Фадеев. Письма. М., 1967. Стр. 620—621)*

Вот в какой тупик его завело то «повседневное насилие над своим дарованием», о котором он писал в своем предсмертном письме. И совсем не в том, оказывается, оно за-



ключалось, что он разрывался между естественным для художника желанием творить и осточертевшими ему его административными, секретарскими обязанностями. Причиной его трагедии и его трагической виной было то, что он ломал, калечил, уродовал, насиловал свой художественный дар в угоду **сталинской эстетике**.

В своей «Докладной записке секретарям ЦК», разоблачающей «антипартийную группировку», окопавшуюся в редколлегии журнала «Литературный критик», Фадеев и Кирпотин делали вид (а может быть, даже и искренне в это верили), что защищают, отстаивают некие основополагающие принципы марксистско-ленинской эстетики. Но что, собственно, это такое — марксистско-ленинская эстетика? Существовала ли она на самом деле?

Как говорят в таких случаях герои Зошенко, — «это еще вопрос и ответ».

А вот что касается сталинской эстетики, то на этот счет не может быть никаких сомнений. Сталинская эстетика действительно существовала, и, как во всех других случаях, когда дело идет о сталинских идеях, основополагающие ее принципы можно обозначить ясно и определенно.

Сталинская эстетика исходила из того, что назначение художественной литературы состоит в том, чтобы правильно отражать жизнь. А правильно — это значит, в соответствии с тем, чему учат классики марксизма. («Учение Маркса все-ильно, потому что оно верно».) Что же касается современных писателей, то они должны отражать и выражать то, на что указывает партия (то есть — он, Сталин), поскольку партия (то есть — он, Сталин) всегда права.

Именно так и представлял себе истинное назначение советского писателя Александр Фадеев.

Андрей Платонов представлял себе это несколько иначе:

► СВОДКА  
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГПУ

29 ноября 1933 г.

Однажды <...> собрались на квартире у ПЛАТОНОВА.  
ПЛАТОНОВ заговорил:

— Меня не печатают. И, вероятно, не будут печатать. Они, вожди, ко мне относятся так же, как я к ним... Для меня вся их политика белыми нитками шита. Вождем можно всегда стать, отпусти себе грузинские усы и говори речи. Такие речи я могу говорить. А славу люди создадут. Молодые актеры делают так, в передние ряды театра сажают оболтусов, купленных за бесценок, и говорят <им> хлопать в ладоши, они усердствуют. Так и здесь. Я думаю, что хорошим писателем труднее быть, нежели наркомом, и думается, что поэтому они, сволочи, затирают меня. У меня установилась точка зрения, что к этим людям мне нечего идти и нечего просить... Беда их в недолговечности, и не тянет меня к ним потому, что от меня еще не пахнет тленом, а я хочу жить...

...начнут ли меня печатать? Нет ведь ни одного писателя, имеющего такой подход в тайники душ и вещей, каким являюсь я. Пойми хоть ты, что добрая половина моего творчества помогает партии видеть всю плесень некоторых вещей больше, чем РКИ.

(Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ. 1936—1945. Публикация Владимира Гончарова и Владимира Нехотина. «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Выпуск 4. М., 2000. Стр. 854)

Как видим, несмотря на свое снисходительно-пренебрежительное отношение к «вождям», Платонов был совсем не против того, чтобы своим творчеством *помогать партии*. (То есть — этим самым «вождям».) Он даже считает, что самая природа его художественного дара позволяет ему увидеть в советской действительности такие ее изъяны и пороки, которые не разглядит никакой РКИ («Рабоче-крестьянская инспекция». Был тогда такой наркомат, специальный орган Госконтроля).

Но вся штука в том, что партии (то есть Сталину) совсем не нужно, чтобы он помогал ей увидеть ту «плесень», какую, благодаря своему дару художника, может разглядеть только

он. Ей, партии (то есть Сталину), нужно, чтобы писатель, если уж он склонен не воспевать «наши достижения», а предпочитает разоблачать «наши недостатки», — видел, показывал и разоблачал только те «недостатки», на какие указывает она, партия (то есть Сталин).

Я уже как-то вспоминал поразительное по откровенности признание Ленина, приведенное Юрием Анненковым в его мемуарах:

- ▶ — Я, знаете, в искусстве не силен. Искусство для меня — это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненужностью.

Казалось бы, вся будущая политика сталинского государства по отношению к искусству, вся его эстетическая теория и практика, буквально каждый элемент этой теории и этой практики, каждый лозунг, каждый постулат, как колос из зерна, растет из этой ленинской формулы, откровенно отводящей искусству лишь пропагандную роль.

Но Ленин был честнее Сталина, а Сталин, — кстати, не только в своем отношении к искусству, — умнее Ленина.

На самом деле Сталин, конечно, тоже весьма смутно представлял себе, что такое искусство. В глубине души тоже, наверно, предпочел бы его — дзык, дзык! — вырезать. Но, в отличие от Ленина, никогда не высказывал вслух свою органическую враждебность искусству, свое последовательное, принципиальное неприятие самой его сути.

Напротив, он всегда подчеркивал, что придает искусству огромное значение, рассматривает его как одну из важнейших «отраслей» народного хозяйства, не менее важную (даже более важную), чем, скажем, угольная или химическая промышленность.

Он был не так глуп, чтобы открыто объявить, что оставляет искусству только пропагандную роль. Он даже признавал, что искусство и художественная литература каким-то своим, особым образом воздействуют на душу человека. Заметьте, — не на разум, не на сознание его, а на душу. Душа,

как известно, не материалистическая, не марксистская категория, и Ленин наверняка сказал бы, что от этого слова за версту разит поповщиной. Но Сталин не побоялся назвать писателей *инженерами человеческих душ*. И хоть словом «инженер» слегка замаскировал идеалистический душок, насквозь пропитавший это поповское слово, чистоту марксистских риз этим словоупотреблением все-таки нарушил, не боялся нарушить.

В отличие от Ленина Сталин хотел не отменить художественную литературу, а использовать ее в своих целях, сделать ее **управляемой**.

Вот эту *управляемую литературу* и защищали, самые ее основы утверждали и отстаивали Фадеев и Кирпотин в своей «Докладной записке». А «Литературный критик», который они хотели уничтожить (и уничтожили), отстаивал старую, традиционную эстетику, — хоть и именовал ее «марксистско-ленинской».

Они пользовались одной и той же фразеологией, обращались к одним и тем же первоисточникам, опирались на одни и те же высказывания корифеев великого учения. Но при всем при том две эти эстетические концепции были несовместимы. Никакой компромисс между ними был невозможен.

Эта несовместимость и лежала в основе дискуссии «вопрекистов» и «благодаристов», упоминанием о которой я начал этот сюжет.

Это был нештучный и отнюдь не схоластический, не отвлеченный, даже и не теоретический спор. Речь шла — ни мало ни много — о судьбе русской литературы. Уцелеет ли она? Или, как двадцать лет тому назад пророчески предположил Замятин, у нее теперь только одно будущее: ее прошлое?

\* \* \*

Итак, «благодаристы» утверждали, что полноценное, то есть правдивое, правильно отражающее жизнь художественное произведение может быть создано только благодаря правильному (прогрессивному, передовому) мировоззрению художника. «Вопрекисты» же полагали, что иногда, — а мо-

жет быть, даже и всегда, во всяком случае, часто — художник создает замечательное и даже великое произведение не благодаря, а вопреки тем идеям, которые считает истинными, вопреки мировоззрению, которое исповедует.

Так объясняет предмет того давнего спора В. Кирпотин, который и сам был одним из активных его участников.

Но по «Докладной записке», которую тот же Кирпотин написал и подписал вместе с Фадеевым, по тем обвинениям, которые они предъявляли редколлегии «Литературного критика», ясно видно, что самая суть этого спора состояла в другом:

- ▶ Гнилые теоретические позиции группки «Литературного] Критика» приводят их естественно к выводу, что политика вредна искусству.

Е. Усиевич пишет: «Надо сказать, что произведения западных революционных писателей, ошупью идущих к коммунизму, зачастую в гораздо большей степени обладают специфическими свойствами художественного творчества и действуют гораздо более чарующе, чем произведения многих наших писателей, подходящих к творчеству с готовыми коммунистическими выводами» («О закономерности» Н. Вирта, «Лит[ературный] Критик», № 7, 1937 г.).

«Поиски героя у подавляющего большинства наших писателей не только оказываются неудачными по непосредственному результату, но и ведутся в том направлении, где героя найти просто невозможно» («Лит[ературный] Критик», статья «Разговор о герое», с. 154, № 9—10 за [19]38 г.).

Всю советскую литературу «Лит[ературный] Критик» считает иллюстративной (т.е. дидактической, второсортной) на том основании, что она пронизана политической тенденцией. «До сих пор наша литература преимущественно иллюстрировала марксистское понимание действительности» (передовая «Лит[ературного] Критика», № 9—10 за 1938 г., с. 9).

*(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 441)*

Вот к чему на самом деле сводился тот спор. «Вопреки-сты» пытались отстоять, защитить некоторые «специфические свойства художественного творчества». А «благодаристы» эти «специфические свойства», в сущности, отрицали. Во всяком случае — игнорировали.

Нет, на словах они, конечно, признавали, что искусство, художественная литература имеют свою специфику. В отличие от ученого, мыслителя, политика, публициста художник **мыслит образами**. Это они не отрицали.

Суть расхождений заключалась в том, как эту непрерываемую, общепризнанную, не подвергавшуюся сомнению истину понимать — какой смысл в нее вкладывать.

«Благодаристы» понимали это просто: **мыслить образами** — это значит **облекать мысль в образную форму**. Как уж там он (художник) с этим справится, — это его дело. Это зависит от уровня его мастерства. Разумеется, и таланта. Адепты сталинской эстетики предпочитали упираться на мастерство. Талант — это нечто туманное, расплывчатое, что-то на грани мистики: «Бог его снегом занес, вьюга его целовала». То ли дело — мастерство: «Но он ведь мастер? Мастер?» — спрашивал Сталин Пастернака о Мандельштаме. Но сами писатели этой своей отмеченностью, отличающей их от простых смертных, все-таки дорожили. Вот хоть тот же Фадеев! «Одаренный Богом талантом незаурядным», — говорит он о себе в своем предсмертном письме.

Но в чем заключался этот его незаурядный талант? И для чего он был ему дан Богом?

- ▶ Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами... я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

По всему выходит, что единственное назначение этого — данного ему Богом — таланта состояло в том, чтобы облекать в художественные формы те прекрасные идеи, в которые он смолоду поверил всей душой, которые полагал истинными. И трагедия его в том, что эти светлые идеи были искажены, извращены, испакощены:

- ▶ Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны.

Именно они, эти «нувориши от великого ленинского учения», подсунили ему лживые сведения, на основе которых он возводил здание своего нового большого романа. Этот роман мог бы — и должен был — стать вершиной его творчества, высшим его художественным достижением. И вот — величественное здание это рухнуло, развалилось, превратилось в беспорядочную грудку строительного мусора.

Но представим себе, что этого несчастья бы не произошло. Что сведения, полученные им, были бы верными. Что те, кого ему представили как вредителей, действительно были вредителями, а те, кого он считал новаторами и передовиками производства, на самом деле ими и были.

Что бы изменилось?

Он был уверен, что в этом случае изменилось бы все.

Оказалось бы, что весь этот его творческий кризис, этот постыдный творческий тупик, из которого он не видел выхода, что все это — только страшный сон. И радость, которую он испытал бы в этом случае, была бы подобна той, что испытал герой знаменитой баллады Алексея Константиновича Толстого «Сон Попова»:

«То был лишь сон! О, счастье! О, радость!  
Моя душа, как этот день, ясна!  
Не сделал я Бодай-Корове гадость!  
Не выдал я агентам Ильина!  
Не наклепал на Савича! О, сладость!  
Мадам Гриневич мной не предана!  
Стриженко цел, и братья Шулавковы  
Постыдно мной не ввержены в оковы!»

У выдуманного А.К. Толстым советника Попова основной для этой бурной радости было больше, чем у Фадеева. Ведь те, кто, в случае если бы все это ему не приснилось, был бы им «предан», кому он «сделал гадость», кого бы «выдал агентам» и «вверг в оковы», — ведь все они, надо полагать, были реальными людьми. А у Фадеева те, кого он невольно

оклеветал, изобразив вредителями, — всего лишь вымышленные герои вымышленного повествования.

Хотя — как сказать! Говорят, что прототип Стахевича, которого он в «Молодой гвардии» вывел предателем, хотя на самом деле никаким предателем тот не был, а был, напротив, героем, — так вот, говорят, что он дорого заплатил за эту ошибку автора «вымышленного повествования».

Но это — другой сюжет и другая тема. А свой вопрос (что изменилось бы, если бы Фадееву не всучили фальшивку, и те, кого он изобразил вредителями, на самом деле таковыми и были?) я задал, желая получить на него ответ не с точки зрения политики, юриспруденции или даже морали, а только лишь применительно к проблеме теории и психологии художественного творчества, которую мы сейчас обсуждаем.

Так вот, с этой — в данный момент только нас и интересующей — точки зрения в этом случае **не изменилось бы ничего.**

Сюжет романа остался бы тот же — вечный советский производственный сюжет, борьба новаторов с консерваторами, передовиков производства с вредителями. А кто передовики, кто вредители, — не все ли равно? От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Литературоведы говорят, что сюжет художественного повествования — это **концепция действительности.** Так вот, авторская концепция действительности в этом случае осталась бы неизменной.

В другом — едва ли не самом знаменитом — романе Фадеева, в «Молодой гвардии», концепция действительности, подсказанная автору жизнью, была объявлена неправильной, даже порочной. (Не может такого быть, чтобы юные героикрасногвардейцы создали свою группу сопротивления и действовали самостоятельно, без руководства партии.) Концепцию (то есть — сюжет) приказано было изменить — в соответствии с «правдой жизни». То есть — с тем, как эта правда должна была выглядеть, согласно высочайшим предписаниям.

Но художественная уязвимость (я бы даже сказал — несостоятельность) этого фадеевского романа была не в том,



что концепция, которую автору надлежало воплотить в сюжет, была ему навязана. В каком-то смысле даже неважно, была эта заданная ему концепция истинной или ложной. Ничего не изменилось бы даже и в том случае, если бы она, эта концепция, не была ему навязана извне, а была его собственной. Тут важно лишь то, что именно она, концепция, определила, обусловила, сформировала сюжет его произведения.

У настоящего художника это бывает иначе. Не сюжет меняется, потому что изменилась концепция, а концепция становится другой, потому что — неожиданно для автора и даже помимо его воли — трансформировался, до неузнаваемости изменился сюжет его будущего произведения.

Л.Н. Толстой задумал и начал писать «Анну Каренину» с тем, чтобы осудить героиню, изменившую мужу, разрушившую семью. Не раз повторял, что именно в этом и состояла «концепция» задуманного им романа, только потому и поставил эпиграфом к нему евангельское: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но в процессе работы над романом сюжет его постепенно стал меняться, усложняться, разветвляться. Появился Левин со своими размышлениями о том, что если русскому мужику дать английскую молотилку, он ее сломает. Появились картины жизни пореформенной России, в которой «все переверотилось и только укладывается». В результате вышел совсем другой роман, — не только, в отличие от первоначального авторского замысла, пронизанный состраданием и сочувствием несчастной героине, но и в самой своей основе — другой. О другом.

Когда какая-то знакомая Толстого упрекнула его за то, что он так жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд, Лев Николаевич в ответ рассказал ей известную историю про Пушкина.

— Представь, — сказал Александр Сергеевич одному из своих друзей, — какую штуку удрала со мной Татьяна! Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее.

Рассказав своей собеседнице эту хрестоматийную историю, Толстой заключил:

— То же самое и я могу сказать про Анну Каренину.

И добавил:

— Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, **каких я не желал бы.**

А вот что он написал однажды (26 апреля 1876 года) в письме Н.Н. Страхову:

- ▶ Глава о том, как Вронский принял свою роль после свиданья с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее и совершенно для меня неожиданно, но несомненно Вронский стал стреляться.

Легче всего предположить, что, высказываясь таким образом, Лев Николаевич говорил не вполне серьезно. Может быть, даже шутил, чтобы не вдаваться в долгие объяснения насчет того, почему он кинул свою героиню под паровоз или заставил Вронского стреляться. Такой же шуткой, быть может, были и знаменитые слова Пушкина про Татьяну, которая вопреки его авторским намерениям вдруг выскочила за муж за генерала.

На самом деле, однако, ни Пушкин, ни Толстой даже и не думали шутить. Они говорили чистую правду.

В 1930 году в Ленинграде вышла небольшая книжечка. Она называлась: «Как мы пишем». Составлена она была из рассказов самых разных писателей о своей работе. В числе ее авторов были Горький, Зощенко, Алексей Толстой, Тынянов, Константин Федин, Ольга Форш, Вячеслав Шишков и многие другие из самых известных тогдашних русских писателей. Собственно, это были даже не рассказы, а — **ответы на анкету.**

Люди, задумавшие эту книжку, разослали разным писателям анкету, состоящую из шестнадцати вопросов. Вопросы там были самые разные. Например, такие: «Каким материалом преимущественно пользуетесь (автобиографическим, книжным, наблюдениями и записями)?.. Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день?.. Техника письма: карандаш, перо или пишущая машинка?.. Много ли вычеркиваете в окончательной редакции?.. Примерная производительность — в листах в месяц?..»

Каждый из опрашиваемых на все эти вопросы отвечал,

естественно, по-своему. И ответы были получены самые разные. Выяснилось, что у одних писателей производительность высокая, а у других, наоборот, крайне низкая. Одни любят работать ночью, другие, наоборот, садятся за письменный стол с утра пораньше. Одни пользуются пишущей машинкой, другие предпочитают огрызок карандаша...

Но был в этой анкете один вопрос, на который самые разные писатели ответили на удивление одинаково.

Вопрос этот был такой: **«Составляете ли предварительный план и как он меняется?»**

Вот некоторые из ответов на этот вопрос.

Ответ А. М. Горького:

- ▶ Плана никогда не делаю, план создается сам собою в процессе работы, его вырабатывают сами герои. Нахожу, что действующим лицам нельзя подсказывать, как они должны вести себя. У каждого из них есть своя биологическая воля.

Ответ А. Н. Толстого:

- ▶ Я никогда не составляю плана. Если составляю, то с первых страниц начну писать не то, что в плане...  
Писать роман, повесть (крупное произведение) — значит жить вместе с вашими персонажами. Их выдумываешь, но они должны ожить, и, оживая, они часто желают поступать не так, как вам хотелось бы.

Ответ Евгения Замятина:

- ▶ ...на первом листке обычно происходит воплощение нужных мне людей, делаются эскизы к их портретам, пока мне не станет ясно, как каждый из них ходит, улыбается, ест, говорит. Как только они для меня оживут — они уже сами начнут действовать безошибочно, вернее — начнут ошибаться, но так, как может и должен ошибаться каждый из них. Я пробую перевоспитать их, я пробую построить их жизнь по плану, но если люди живые — они непременно опрокинут выдуманные для них планы. И часто до самой последней

страницы я не знаю, чем у меня (у них, у моих людей) все кончится. Бывает, что я не знаю развязки даже тогда, когда я ее знаю — когда с развязки начинается вся работа.

Так было, например, с повестью «Островитяне»... к моему удивлению — оказалось, что повесть кончается совершенно иначе, чем было по плану. Герой повести — Кембл — отказался быть негодяем, каким я хотел его сделать.

Ответ Вячеслава Шишкова:

- ▶ Писать-то начинаешь, конечно, по плану. Но когда примерно четверть работы сделана, возникают сначала недомолвки, потом и жестокие ссоры автора с героями. Автор сует в нос героя план: «Полезай сюда, вот в это место», — а герой упирается, не лезет. Еще один-то ничего, с одним-то героем не считаешься, упрячешь его в план, он и сидит, как за решеткой. Однако мало-помалу начинают заявлять свой протест и прочие действующие лица. Они так пристают, так с тобою спорят, утверждая свое право на независимое существование, что по ночам не спишь, теряешь аппетит, надолго запираешь рукопись в рабочий стол.

Все эти ответы говорят — чуть ли не слово в слово — то же, что говорил про своих героев Л.Н. Толстой. То же, что сказал однажды про свою Татьяну Пушкин. Стало быть, это не было личным, индивидуальным свойством Толстого и Пушкина. Нечто похожее происходит с каждым настоящим художником. А писателей, герои которых не выходят из их авторской воли, и «концепция действительности», которую они собираются претворить в сюжет, — все равно, заданная им извне или их собственная, — остается неизменной, следовало бы именовать не художниками, а как-нибудь иначе. Например — **оформителями**. Мандельштам их называл **переводчиками готового смысла**.

Вот на таких «переводчиков готового смысла» и ориентировался со своими эстетическими установками Сталин. Только такие писатели и были ему нужны.

\* \* \*

Читая «Докладную записку» Фадеева и Кирпотина, Сталин по обыкновению (он всегда так делал) подчеркнул — или отчеркнул на полях — то, что более всего его в этой «Записке» заинтересовало (*Документ № 12*). Заинтересовали же его, судя по этим пометкам, главным образом политические обвинения, предъявляемые авторами «Записки» редколлегии ненавидимого ими журнала.

Начал он с того, что подчеркнул — двумя чертами — заглавие этой «Записки»:

- ▶ «Об антипартийной группировке в советской критике».

Это была любимая его формулировка. Понятный, хорошо ему знакомый язык. ЕГО язык.

Затем взял на заметку, отчеркнув вертикальной чертой, такой абзац:

- ▶ Группу поддерживает газета «Советское Искусство». Группе покровительствует работник Литературного Отдела «Правды» Трегуб, что отражается на подборе лиц, приглашаемых для сотрудничества в Литературном Отделе «Правды» и что используется группой для муссирования слухов об оказываемой им будто бы партийной поддержке.

Сделал стойку на слово «термидор»:

- ▶ Принижение идеалов революционных демократов и возвеличивание реакционных мыслителей или реакционных сторон в учении больших мыслителей и писателей является следствием прямого восхваления группой термидора как переворота, будто бы благотельного для истории человечества.

Особо отметил постоянно повторяемые авторами «Записки» словечки — «группка», «группировка», а также предлагаемые ими практические (карательные) меры, направленные на ее уничтожение:

- ▶ По системе своих взглядов, по методам своей работы группка «Литературного Критика» является антипартийной группировкой в литературе.

Необходимо отнять «Литературный Критик» и «Литературное Обозрение» из рук группы и сделать их органами Союза Советских Писателей, целиком и полностью изменив редколлегию этих журналов.

Необходимо разоблачить взгляды группки «Литературного Критика», чтобы прекратить разлагающее влияние ее на литературу и учащуюся молодежь.

В общем, заинтересовала его чисто политическая сторона дела — возможность развернуть идеологическую кампанию, разоблачающую очередную антипартийную, политическую ересь. Что же касается многословных разоблачений «антимарксистских» эстетических взглядов членов редколлегии крамольного журнала, составлявших главное содержание фадеевского и кирпотинского доноса, то он их вроде просто проигнорировал. Во всяком случае, вмешиваться в спор «вопрекистов» с «благодаристами» (в отличие от более поздних «научных» споров — лысенковцев с генетиками или сторонников традиционного языкознания с последователями академика Марра) он не стал.

Но один абзац, имевший самое непосредственное касательство к этому спору и даже из него вытекающий, все-таки его внимание привлек:

- ▶ Гнилые теоретические позиции группки «Литературного Критика» приводят их естественно к выводу, что политика вредна искусству... Всю советскую литературу «Литературный Критик» считает иллюстративной (т. е. дидактической, второсортной) на том основании, что она пронизана политической тенденцией.

Конечно, этот абзац и сам по себе мог вызвать его интерес. Но не последнюю, а может быть, даже и главную роль тут сыграло то — немаловажное для Сталина — обстоятельство, что непосредственным продолжением этого абзаца стала развернутая инвектива, нацеленная в давнего его «любимца» — Платонова:

- ▶ В современной же советской литературе Е. Усиевич поддерживает явления, выражающие разбитое буржуазное сопротивление социализму. Поэтому для нее Андрей Платонов, автор «Впрока», является самым талантливим советским писателем...

Этот абзац Сталин отчеркнул — на полях — вертикальной чертой. А в следующем подчеркнул две фразы, прямо относящиеся к Платонову:

- ▶ Наиболее талантливым среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманистическими обобщениями, а ищущих жизненных, конкретных и трудных, часто трагических, форм развития, является у нас Андрей Платонов («Лит<ературный> Критик», № 9—10 за 1938 г., стр. 171).

И еще один абзац тоже отчеркнул вертикальной чертой: «Лит<ературный> Критик» сделал Платонова своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают как на образец. В. Александров в своей статье «Частная жизнь» предлагает Пастернаку лечиться... Платоновым («Лит<ературный> Критик», 1937, кн. 3). Даже рассказы Платонова, забракованные другими журналами, печатались в «Лит<ературном> Критике». Платонов стал публицистом и критиком группки. На страницах «Лит<ературного> Критика» он доказывает, что вся русская литература после Пушкина сплошной упадок, а Горький вобрал внутрь себя... кусочек фашизма!

А в следующем подчеркнул лишь отдельные — зацепившие его — слова и обороты из цитируемых авторами «Записки» статей Платонова о Пушкине и о Горьком:

- ▶ «Русская литература вынуждена была (после Пушкина) пойти на некоторое обеднение». Гоголь в «Мертвых душах» и «Ревизоре» — это приблизительная имитация Пушкина (стр. 72). «Сам Пушкин явился ведь не от изобилия, не от избытка сил народа, а от его

нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва» (стр. 68). «Горький всегда был на передовой линии фронта борьбы за будущую пролетарскую участь, он одним из первых принимал на себя все атаки буржуазного, а затем фашистского противника. И естественно, что сознание Горького как бы «искажалось», потому что в бою и победитель получает раны. Здесь же бой происходил внутри человека, так как нужно было уничтожить врага в самом духе и разуме, а для этого надо подпустить его чрезвычайно близко — в самого себя» (стр. 80) (статья «Пушкин и Горький» — «Литературный Критик», № 6 за 1937 г.)

Как и во всех предыдущих фрагментах, привлечших его внимание, Сталина зацепили тут те выражения и словесные обороты, в которых ему мерещится некая политическая крамола. Он отмечает слова «фашизм», «фашистские». Подчеркивает платоновские реплики, в которых ему видится крамольное истолкование роли или умаление заслуг классиков («обеднение», «имитация», «Пушкин явился не от избытка сил народа, а от его нужды»). Раздражила и, наверное, даже возмутила его мысль Платонова, что для наиболее убедительного разоблачения и уничтожения врага «надо подпустить его чрезвычайно близко — в самого себя». Сталинская эстетика, как мы знаем, не позволяла близко подпускать к себе врага и уж тем более не могла разрешить врагу проникнуть «в самого себя». В произведениях советских писателей персонажам, которых автору надлежало разоблачить, не позволялось даже просто высказывать вслух свои — чуждые советскому человеку — взгляды. Это называлось «предоставлять трибуну врагу».

Так что и в этих своих пометках Сталин тоже мимоходом коснулся некоторых проблем эстетики. Но более всего в крамольных эстетических воззрениях редакторов и авторов «Литературного критика» его безусловно возмутило то, что «всю советскую литературу» они считают «иллюстративной (т. е. дидактической, второсортной)» и противопоставляют ей не кого-нибудь, а Платонова. Именно его, этого «агента наших врагов», они сделали «своим знаменем». Именно на него «указывают как на образец».



Тут надо отдать должное эстетическому (лучше сказать — идеологическому) чутью авторов «Докладной записки».

Написав, что разоблачаемая ими «группка» всю советскую литературу считает «иллюстративной (т.е. дидактической, второсортной)», они тут же добавили:

- ▶ Поэтому для нее Андрей Платонов, автор «Впрока», является самым талантливым советским писателем.

Тут вся соль в одном этом слове — «поэтому».

Вряд ли они вкладывали в это слово какой-то особенно глубокий смысл. Скорее всего это была просто синтаксическая связка, — невольно подвернувшаяся формула перехода к Платонову, имя которого им понадобилось как безусловный, неоспоримый знак враждебности разоблачаемой ими теории. Но — сознательно или неосознанно — этим словом они попали в самую точку.

\* \* \*

Автором «Литературного критика» Платонов стал, можно сказать, случайно.

Возможно, тут сыграло роль то, что давний его воронежский знакомый Владимир Келлер стал в это время известным критиком, постоянно публиковавшим — под псевдонимом «В. Александров» — именно в «Литературном критике» свои статьи и рецензии. Еще в 1922 году он написал и опубликовал первую рецензию на книгу стихов Платонова «Голубая глубина», в которой предсказал юному автору всю его нелегкую грядущую судьбу:

- ▶ Толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы он, разумеется, не будет... Но те, кому нужен Платонов, найдут к нему дорогу. А нужен он многим.

*(Зори. 1922. Кн. 1. Стр. 34—36)*

Приятелем, даже, можно сказать, другом Платонова был член редколлегии «Литературного критика» И.А. Сац. Они познакомились задолго до начала сотрудничества Платонова

с «Литературным критиком» — еще в 1930-м, когда Сац был одним из редакторов (а потом и внутренним рецензентом) его повести «Впрок»:

- ▶ Обсуждалась эта вещь на рабочем редсовете, вызвала очень резкие суждения... Решено было... рукопись принять к печати. Была выделена комиссия в составе: Горелов (член рабочего редсовета), Поволоцкая (редактор массовой литературы), Сац (редактор массовой литературы) и Черняк (редактор современной русской литературы) — для работы с Платоновым... Платонов часто приходит в издательство... В последний раз он приходил сегодня 10/XII — рассказал, что «Новый мир» хочет опубликовать часть повести «Впрок»... Поволоцкая и Сац (Черняк больше ею не занимается) задержали ее и не выдадут на руки Платонову до тех пор, пока не изымут из нее политически вредные моменты.

*(Сводка. Секретный отдел ГПУ. 10 декабря 1930 г. «Страна философов» Андрея Платонова. Выпуск 4. М., 2000. Стр. 849—850)*

Несмотря на все споры, разногласия и неизбежную при работе с редактором (даже самым доброжелательным) нервотрепку, хорошие отношения у Платонова с Сацем сложились уже тогда.

Именно Сац рекомендовал редколлегии «Литературного современника» опубликовать на страницах журнала рассказы Платонова «Бессмертие» и «Фро»:

- ▶ Современники запомнили, что предложение напечатать эти рассказы... высказал И.А. Сац, его поддержали Е. Усиевич, М. Розенталь, М. Лифшиц.

*(Н.М. Малыгина. Сотрудничество Платонова в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение». В кн.: Н.М. Малыгина. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М., 2005. Стр. 75)*

Не исключено, что какую-то роль тут действительно сыграли и личные отношения, личная приязнь И.А. Саца к автору понравившихся ему рассказов.

Автор цитируемого исследования высказывает даже такое предположение:

- ▶ Наверное, в судьбе Платонова сыграло свою роль и то обстоятельство, что редакция журнала находилась во дворе того же дома, где жил писатель, — на Тверском бульваре, 25. И в самом деле, Платонов пришелся здесь ко двору.

*(Там же. Стр. 71)*

Может, оно и так. Какую-то роль вполне могла тут сыграть и эта случайность. Но то, что Платонов за годы своего сотрудничества с «Литературным критиком» опубликовал там больше статей, чем рассказов и повестей в других тогдашних изданиях, что теоретический журнал для него одного сделал исключение, опубликовав на своих страницах его рассказы, — все это, конечно, было не случайно. Платонов не просто, как говорит исследовательница, пришелся «Литературному критику» ко двору. Он действительно стал знаменем журнала. И случилось это потому, что в его творческой практике с наибольшей полнотой и свободой реализовалось то понимание природы художественного творчества, которое — в теории — защищал и отстаивал «Литературный критик».

Конечно, Платонов был тогда не единственным русским писателем, чье творчество можно было бы противопоставить «иллюстративной, дидактической, второсортной» прозе, которую защищали «благодаристы». В то время жили и творили такие подлинные художники, как Зоценко, Бабель, Булгаков, А.Н. Толстой, уже опубликовал лучшие свои прозаические вещи («Детство Люверс», «Охранная грамота») Борис Пастернак. Платонов был не единственным счастливым исключением из общего унылого правила. Но «случай Платонова» являет нам единственный в своем роде пример наибо-

лее полного воплощения и торжества главного эстетического принципа «вопрекистов».

Утверждая, что инстинкт, творческий дар художника может оказаться — и чаще всего оказывается — более надежным «инструментом» постижения правды жизни, чем его мировоззрение, «вопрекисты», будучи правоверными марксистами, искали опору для этих своих воззрений не только в статьях Ленина о Толстом, но и в трудах (точнее — отдельных замечаниях) Маркса и Энгельса.

Они ссылались на мысль Маркса, заметившего однажды, что Бальзак был творцом тех прообразов-типов, которые при Луи-Филиппе находились в зародышевом состоянии, а достигли развития позже, уже при Наполеоне III. Это замечание основоположника великого учения позволяло им сделать вывод, что, подметив зарождение нового социального явления, когда в жизни оно еще не было очевидным, Бальзак именно благодаря своему художественному дару раскрыл сущность этого нового явления, заставив его обнаружиться, проявиться в развернутых, законченных характерах.

Они ссылались на известное замечание Энгельса, брошенное им в его письме к английской писательнице Маргарэт Гаркнесс:

- ▶ Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего, в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества»... он группирует всю историю французского общества, из которой я узнал даже в смысле экономических деталей больше... чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе. Правда, Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение — непрерывная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, ко-

торым он глубоко симпатизирует... То, что Бальзак был принужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи... я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака.

*(Маркс и Энгельс о литературе. Новые материалы. Комментарии Ф. Шиллера и Г. Лукача. М., 1933. Стр. 167—168)*

Для теоретиков-«вопрекистов» тут важно было то, что этот «парадокс Бальзака» Энгельс рассматривал не как флуктуацию, нарушающую закономерность, а, напротив, как проявление некоего общего закона — «одну из величайших побед реализма».

В русской литературе середины 30-х годов XX века трудно — да попросту невозможно — отыскать пример, который подтверждал бы всеобщность этого закона с такой наглядной очевидностью, как «парадокс Платонова».

В своем покаянном письме Сталину Платонов заметил: «Первичные намерения автора не меняют дела, важен результат». То, что результат может не совпасть с первичными намерениями автора и даже войти с ними в противоречие, представлялось ему делом вполне естественным.

Сталин вряд ли мог это понять и, уж во всяком случае, не мог в это поверить.

Копию этого платоновского письма он, как мы знаем, распорядился отправить Горькому. Платонов об этом, может быть, и не знал. Но Горькому он пишет о том же, надеясь, что уж он-то его поймет и ему поверит:

- ▶ Это письмо я Вам пишу не для того, чтобы жаловаться, — мне жаловаться не на что. Я хочу Вам лишь сказать, как человеку, мнение которого мне дорого, как писателю, который дает решающую, конечную оценку всем литературным событиям в нашей стра-

не, — я хочу сказать Вам, что я не классовый враг, и сколько бы я ни выстрадал в результате своих ошибок, вроде «Впрока», я классовым врагом стать не могу, и довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс — это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом. Я говорю это не ради самозащиты, не ради маскировки — дело действительно обстоит так. Это правда еще и потому, что быть отвергнутым своим классом и быть внутренне все же с ним — это гораздо более мучительно, чем сознать себя чуждым всему, опустить голову и отойти в сторону.

*(«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. М., 2000. Стр. 333—334)*

Он не темнил, не лукавил. Честно написал о том, что думал, как чувствовал и как себя осознавал.

Мировоззрение Платонова, как ни дико это прозвучит для тех, кто читал главные его книги — «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», — не слишком отличалось от официального советского.

Вот каков был его тогдашний — да и на протяжении всей его жизни остававшийся неизменным — символ веры:

- ▶ Традиционное русское историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле.

*(«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 1. М., 1994. Стр. 53—54)*

Эти вечные русские правдоискатели, в Октябрьской революции и большевизме обретшие, как говорит Платонов, «правду и смысл жизни», стали любимыми его героями. Именно они — главные действующие лица и движители сюжетов самых мощных его творений — «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря». Но, как говорил Энгельс о Баль-

заке, при всем при этом его сатира никогда не была более острой, а его ирония более убийственной, чем тогда, когда он изображал и заставлял действовать этих своих любимцев:

- ▶ — Где тут Совет, честный человек? — обратился Копенкин к хромому гражданину.

Хромой гражданин шел медленным важным шагом, облеченный неизвестным достоинством.

— Ты говоришь — я честный? Ногу отняли, а теперь честным называете?.. Нету тут сельсовета, а я уполномоченный волревкома, бедняцкая карающая власть и сила. Ты не гляди, что я хром, — я здесь самый умный человек: все могу!..

— Кто ж тебе такое своевластие дал? — нахмурился Копенкин с коня.

— Да я ж тут все одно что Ленин! — разъяснил хромой очевидность...

Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя — в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища — удовлетворяют ли они их, — имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозовется Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник — Петр Грудин — Францем Мерингом: по-уличному Мерин.

*(Андрей Платонов. Чевенгур.  
Собрание сочинений. Том 2.  
М., 1998. Стр. 89—90)*

Эта причуда — а лучше сказать дурь — районного Ленина того же свойства и из того же источника, что одержимость другого героя того же «Чевенгура» — Григория Копенкина:

- ▶ Копенкин пошел на двор к своему коню. Конь обладал грузной комплекцией и легче был способен возить бревна, чем человека. Привыкнув к хозяину и гражданской войне, конь питался молодыми плетнями, соломой крыш и был доволен малым. Однако, чтобы достаточно наестся, конь съедал по осьмушке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копенкин уважал свою лошадь и ценил ее третьим разрядом: Роза Люксембург, Революция и затем конь.

— Здорово, Пролетарская Сила! — приветствовал Копенкин сопевшего от перенасыщения грубым кормом коня. — Поедем на могилу Розы!

Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вызывала необходимость ежедневных революционных подвигов. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы, и лошадь так привыкла к слову «Роза», что признавала его за понукание вперед. После звуков «Розы», конь сразу начинал шевелить ногами, будь тут хоть топь, хоть чаща, хоть пучина снежных сугробов.

— Роза, Роза! — время от времени бормотал в пути Копенкин, и конь напрягался толстым телом.

— Роза! — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружают землю и попадут на родину Розы.

Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней.

Горячая тоска сосредоточенно скоплялась в нем, и не случался подвиг, чтобы утолить одинокое тело Копенкина.



— Роза! — жалобно вскрикивал Копенкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бессчетными слезами, которые потом сами просыхали.

*(Там же. Стр. 81)*

Эта мечта «рыцаря революции» Григория Копенкина подобна мечте средневекового рыцаря добраться до Святого Грааля. И то, что Розу (что ему Гекуба?) он ценит «первым разрядом», а саму революцию числит вторым, и то, что своему коню он дал прозвище «Пролетарская Сила», — все это даже трогательно. Ирония автора поначалу кажется вполне добродушной, а сам Копенкин глядится фигурой, вызывающей искреннюю симпатию. Но вскоре выясняется, что эта его одержимость социалистическим идеалом не так уж безобидна:

- ▶ Копенкин показал на недалекую полосу леса, лежавшего на просторной земле черной тишиной и уютом...  
— Там будет кордон...

Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи...

«Откуда вы? — думал надзиратель про большевиков. — Вы, наверное, когда-то уже были, ничего не происходит без подобия чему-нибудь, без воровства существовавшего»...

Собаки взвыли голосами тревоги, и надзиратель, взяв винтовку, вышел встречать поздних гостей...

— Ты скажи, куда нам лес девать в социализме? — с огорченной задумчивостью вздохнул Копенкин. — Скажите, товарищ, сколько лес дает дохода на десятину? — спросил Дванов надзирателя.

— Разно бывает, — затруднился надзиратель. — Какой смотря лес, какого возраста и состояния — здесь много обстоятельств...

— Ну а в среднем?

— В среднем... Рублей десять — пятнадцать надо считать.

— Только? А рожь, наверно, больше?

Надзиратель начал пугаться и старался не ошибиться.

— Рожь несколько больше... Двадцать — тридцать рублей выйдет у мужика чистого дохода на десятину. Я думаю, не меньше.

У Копенкина на лице появилась ярость обманутого человека.

— Тогда лес надо сразу сносить и отдать землю под пахоту! Эти деревья только у озимого хлеба место отнимают...

Надзиратель затих и следил чуткими глазами за волнуемым Копенкиным. Дванов высчитывал карандашом на книжке Арсакова убыток от лесоводства. Он еще спросил у надзирателя, сколько десятин в лесничестве, — и подвел итог.

— Тысяч десять мужики в год теряют от этого леса, — спокойно сообщил Дванов. — Рожь, пожалуй, будет выгоднее.

— Конечно, выгодней! — воскликнул Копенкин. — Сам лесник тебе сказал. Вырубить надо наголо всю эту гушу и засеять рожью. Пиши приказ, товарищу Дванов!..

Надзиратель осмелился немного возразить:

— Я хотел вам сказать, что самовольные порубки и так сильно развились в последнее время и не надо больше рубить такие твердые растения.

— Ну, тем лучше, — враждебно отозвался Копенкин. — Мы идем по следу народа, а не впереди его. Народ, значит, сам чует, что рожь полезней деревьев. Пиши, Саша, ордер на рубку леса.

Дванов написал длинный приказ-обращение для всех крестьян-бедняков Верхне-Мотнинской волости. В приказе, от имени губисполкома, предлагалось взять справки о бедняцком состоянии и срочно вырубить лес Биттермановского лесничества. Этим, говорилось в приказе, сразу проложатся два пути в социализм. С одной стороны, бедняки получают лес для постройки но-

вых советских городов на высокой степи, а с другой — освободится земля для посевов ржи и прочих культур, более выгодных, чем долгорастущее дерево. Копенкин прочитал приказ.

— Отлично! — оценил он. — Дай-ка и я подпишусь внизу, чтобы страшнее было: меня здесь многие помнят — я ведь вооруженный человек.

И подписался полным званием: «Командир отряда полевых большевиков имени Розы Люксембург Верхне-Мотнинского района Степан Ефимович Копенкин».

— Отвезешь завтрашний день в ближние деревни, а другие сами узнают, — вручил Копенкин бумагу лесному надзирателю...

Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом.

*(Там же. Стр. 96—99)*

И так — везде. Где бы ни появился Копенкин на своей Пролетарской Силе, со своим не оставляющим его томлением по Розе Люксембург и мировой революции, всюду он сеет разрушение и смерть:

- ▶ Копенкин ехал поникшим от однообразного воспоминания о Розе Люксембург. Вдруг в нем нечаянно прояснилась догадка собственной неутешности, но сейчас же бред продолжающейся жизни облек своею теплотой его внезапный разум, и он снова предвидел, что вскоре доедет до другой страны и там поцелует мягкое платье Розы, хранящееся у ее родных, а Розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию. Копенкин ощущал даже запах платья Розы, запах умирающей травы, соединенный со скрытым теплом остатков жизни...

Раз Копенкин долго стоял перед портретом Люксембург в одном волостном ревкоме. Он глядел на волосы Розы и воображал их таинственным садом; затем он присмотрелся к ее розовым щекам и подумал о

пламенной революционной крови, которая снизу подмывает эти щеки и все ее задумчивое, но рвущееся к будущему лицо.

Копенкин стоял перед портретом до тех пор, пока его невидимое волнение не разбушевалось до слез. В ту же ночь он со страстью изрубил кулака, по наущению которого месяц назад мужики распороли агенту по продрозверстке живот и набили туда проса. Агент потом долго валялся на площади у церкви, пока куры не выклевали из его живота просо по зернышку.

В первый раз тогда Копенкин рассек кулака с яростью. Обыкновенно он убивал не так, как жил, а равнодушно, но насмерть...

*(Там же. Стр. 103—104)*

Но особенно злой и язвительной становится ирония Платонова, когда дело доходит до тех коллизий и сцен его повествования, в которых с присущей ему конкретностью он показывает, чем обернулось на деле то, что мнилось ему «реальным осуществлением народной правды на земле»:

- ▶ ...писарь коммуны стал писать ордера на ужин, выписывая лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от руки на каждом ордере.

Все взрослые члены коммуны — семь мужчин, пять женщин и четыре девки — занимали в коммуне определенные должности.

Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечня и распорядка, были заняты целый день обслуживанием самих себя; названия же должностей изменились в сторону большего уважения к труду, как то — была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер — он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества (должно быть, кузнец, плотник и прочее — в одной и той же личности), заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных дерев-

нях, коммунальная воспитательница поколения — и другие обслуживающие должности.

Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, потом спросил председателя, подписывавшего ордера на ужин:

— Ну, а как же вы пашете-то?

Председатель ответил, не останавливаясь подписывать:

— В этом году не пахали.

— Почему так?

— Нельзя было внутреннего порядка нарушать: пришлось бы всех от должностей отнять — какая ж коммуна тогда осталась? И так еле наладили, а потом — в имении хлеб еще был...

— Ну, тогда так, раз хлеб был, — оставил сомнения Копенкин.

— Был, был, — сказал председатель, — мы его на учет сразу и взяли — для общественной сытости.

— Это, товарищ, правильно.

— Без сомнения: у нас все записано и по ртам забронировано. Фельдшера звали, чтобы норму пищи без предрассудка навсегда установить. Здесь большая дума над каждой вещью была: великое дело — коммуна! Усложнение жизни!

Копенкин и здесь согласился — он верил, что люди сами справедливо управятся, если им не мешать. Его дело — держать дорогу в социализм чистой; для этого он применял свою вооруженную руку и веское указание.

*(Там же. Стр. 99—100)*

Такого глумления над социалистической идеей (если и не над самой идеей, так над попыткой воплотить ее в жизнь в «одной, отдельно взятой стране»), казалось бы, менее всего можно было ждать от Платонова. Платонов — это ведь не Булгаков, любимый герой которого искренне признается, что не любит пролетариата. И не Зоценко, который тоже не больно-то верил, что из попытки реализации социалистиче-

ского идеала может выйти что-нибудь путное: «башмак стопнется по ноге».

В отличие от этих (да и многих других) своих собратьев по перу, Платонов в социализм верил. Верил, что именно социализм откроет такие пути и возможности безбедного и счастливого существования человека на Земле, о котором прежде, досоциалистическое человечество не могло даже и мечтать.

У него даже были на этот счет свои собственные идеи:

- ▶ По всей земле сейчас идет творчество социализма. Одновременно же должны быть созданы (и они создаются) эквиваленты социализму в физике, химии, технике, биологии и т.д. Иначе социализм не мыслим и не возможен.

Мы здесь остановимся на техническом эквиваленте социализму. Социалистическая техника должна найти и суметь утилизировать такую энергию, которая бы почти автоматически творила бы человечеству все то колоссальное количество продуктов, о котором капитализм не имеет никакого представления. Социализму нужна эквивалентная ему физическая сила, чтобы посредством ее социализм стал твердой вещью и утвердил свое мировое господство. Но сила безграничной мощи, всюду имеющаяся, всегда готовая к производству, сила, освобождающая человека от низших форм труда.

Имя этой силы — свет, обыкновенный солнечный дневной рассеянный свет, но также и свет луны и звезд. Эту силу мы и хотим запрячь в станки. Ее во вселенной столько, сколько пространства. Дальше мы увидим, что свет и пространство — одно и то же.

Производственная мощь капиталистического общества слагалась из угля и железа и соответствующей социальной организации. Неравномерное распределение по земле естественных запасов топлива, немногочисленность таких резервуаров энергии — все эти естественные условия именно обосновывали капиталистический способ производства. Электрификация

отчасти побеждает эти неблагоприятные для социалистического производства естественные условия и разрывает зависимость энергии от географического пункта. Но только частично. Нам же нужно полное решение вопроса. Только тогда и можно сделать социализм, заранее определив его, когда мы узнаем, какая физическая сила и как будет запряжена в социалистическое производство.

Эта сила — свет.

Пространство, по новейшим учениям, электромагнитной природы. Физическая функция пространства — электромагнитное переменное поле. Ибо свет есть переменное электромагнитное поле с очень большой частотой периодов (обратных перемен направления); в секунду это число периодов равно приблизительно 500 триллионов. Длина же электромагнитной световой волны равна приблизительно 0,6 микрон...

Не вдаваясь в теоретические области, ибо чистая теория — предрассудок умирающей эпохи, нас же интересует не столько истина, сколько материальный продукт, не справедливость, а факт господства.

Мы просто говорим, что социализм нужно строить на такой физической силе, которая самая дешевая, самая распространенная и запасы которой не поддаются исчислению (света столько — сколько пространства), т.е. на свете и из света надо отлить и выточить коммунизм.

Вся вселенная есть, точно говоря, резервуар, аккумулятор электрической энергии, т.к. вселенная прежде всего пространство, а пространство прежде всего электромагнитное переменное поле. Рассматривая же историю как практическое разрешение единого энергетического вопроса, конечное решение которого есть полное, 100%-ное использование вселенной человеком без всякой затраты сил человека, мы можем сказать: использование света для промышленности есть самое совершенное решение энергетического вопроса для нашего времени. Вспомним, что база мира растений

есть свет. Сделаем же свет также и базой мира человека...

В случае удачного разрешения этой технической задачи (мы не входим тут в ее детали) свет, а с ним вся вселенная станет «пролетарием» человечества на многие неисчерпаемые века, и человечество не истощит эту энергию никакими машинами, сопротивлениями и сооружениями. Даже энергия расколотого Резерфордом атома ничто в сравнении с энергией светового океана.

При социализме в основе творчества человека лежит не настроение, не случай, вдохновение или интуиция, а сознание. И поэтому если фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор еще не сделан, его надо сделать сознательно волей, потому что он необходим для утилизации света, а свет — для социализма. Ибо свет должен лечь в основу социалистического производства — или не будет никогда социализма, а будет вечная «переходная эпоха». Социализм придет не ранее (а немного позднее) внедрения света как двигателя в производство. И только тогда из светового производства вырастет социалистическое общество, новый человек — существо, полное сознания, чуда и любви, коммунистическое искусство — это вселенская скульптура, планетная архитектура, и только тогда совершится совокупление человечества в одно физическое существо...

*(Андрей Платонов. Свет и социализм.*

*В кн.: Андрей Платонов. Государственный житель. М., 1988. Стр. 537—539)*

Все это, по правде сказать, напоминает тех «русских мальчиков», над «аксиомами» которых иронизировал Достоевский:

— Не стану я, — говорит Иван Карамазов брату Алеше, — перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что **что** там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома...



В том же своем романе Достоевский замечает, что, если дать русскому мальчику карту звездного неба, он на другой день вернет ее исправленной.

Именно таким «русским мальчиком» предстает перед нами в этой ранней своей статье Андрей Платонов. Недаром, развивая эту свою — ниоткуда не вычитанную, им самим придуманную, доморощенную теорию социализма, он то и дело роняет: «Не вдаваясь в теоретические области, ибо чистая теория — предрассудок умирающей эпохи...», «В случае удачного разрешения этой технической задачи (мы не входим тут в ее детали)...»

Зачем ему входить в детали! Он не пустяками, не мелочами занимается. Он карту звездного неба перекраивает!

Но это как раз и может служить самым надежным подтверждением искренности его веры в социализм. Свидетельством того, что социализм для него — не официальная государственная религия, обязательная для всех граждан Страны Советов, а сугубо личная, интимная его вера. Как бы даже собственное его изобретение.

Это свое изобретение он подарил герою своей повести «Ювенильное море» — Николаю Вермо.

- ▶ ...лицо ее было счастливое, и серые глаза были открыты как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.

Вермо почувствовал эту излучающую силу Босталевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народнохозяйственной целью; он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого воображения. Вермо вспомнил далее первичную зарю сегодняшнего дня, когда свет напрягся на востоке и слабел от сопротивления бесконечности, наполненной мраком...

И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.

— Товарищу Босталоева, — сказал он, — дайте мне руку...

Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сведенными руками, причем Вермо жал руку женщины, помогая этим не страсти, а размышлению, — у него даже остыло все тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости.

Вскоре показалось расположение «Родительских Двориков», беспомощное издали, особенно если сравнить с «Двориками» небесное пространство, напряженное грозной и безмолвной электромагнитной энергией солнца.

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2. М., 1998. Стр. 479—480)*

Сцена эта — лирическая. И Николай Вермо — не чета темным, невежественным героям «Чевенгура» и «Котлована». Он — инженер. И безумная космическая идея, вдруг осенившая его, не просто близка Платонову, — это его собственная задушевная идея. Казалось бы, все это исключает ироническое отношение автора к этому своему герою.

Но все сцены и эпизоды «Ювенильного моря», в которых автор повествует о деятельности инженера Николая Вермо, строящего социализм в одном отдельно взятом совхозе, пронизаны той же нескрываемой платоновской иронией, уже хорошо нам знакомой по «Чевенгуру», «Котловану», «Усомнившемся Макару» и так возмущившей Сталина «кулацкой повести» «Впрок»:

- ▶ К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза... Худое стадо, голов в триста, ночевало на незащитном выпуклом месте, потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа земли. Убогий колодезь был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров...

Из колодца Вермо вытащил на проверку бадью —

в ней оказалось небольшое количество мутной воды, а остальное было заполнено отложениями четвертичной эпохи — погребенной почвы.

Почуяв воду по звуку бадьи, бык проснулся в лотке и съел влагу вместе с отложениями, а ближние коровы лишь терпеливо облизали свои жаждущие рты.

— Здесь так плохо! — проговорила Босталоева с болезненным впечатлением. — Смотрите — земля, как засохшая рана...

Вермо с мгновенностью своего разума, действующего на все коренным образом, уже понял обстановку...

— Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды — она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!

Босталоева доверчиво поглядела на Вермо: ей нужно было поправить в теле это дальнее стадо, и, кроме того, Трест предполагал увеличить стадо «Родительских Двориков» на две тысячи голов, но все пастбища, даже самые тощие, уже густо заселены коровами, а далее лежат умершие пространства пустыни, где трава вырастет только после воды. И те пастбища, которые уже освоены, также нуждаются в воде, — тогда бы корма утроились, скот не жаждал и полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений...

— Товарищу Босталоева, — сказал Вермо, — давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды! Мы освежим климат и на берегах новой воды разведем миллионы коров! Я сознаю все ясно!

— Давайте, Вермо, — ответила Босталоева. — Я любить буду вас.

Оба человека по-прежнему находились у колодца, и бык храпел возле них. К колодцу подошел пастух. Он был на хозрасчете. У него болело сердце от недостачи двух коров, и он пришел поглядеть — не чужие ли это люди, которые могут обменять коров или выдоить их, тогда как он и сам старался для лучшей удойности не пить молока. Вермо в увлечении рассказал пастуху, что внизу, в темноте земли, лежат навеки погребенные во-

ды. Когда шло создание земного шара и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами, и там вода осталась в тесноте и покое. Много воды выделилось из вещества, при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде...

— Ну как засиделая девка в шалаше, — обратно объяснил пастух инженеру, — выпусти ее, она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыпется.

Вермо не услышал: он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня. Однако, опершись рукой на спящего быка, Вермо уже приобрел другую догадку: не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты, вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой?

*(Там же. Стр. 477)*

Добыть подземную «ювенильную» воду и напоить безводную степь, чтобы развести на берегах этой новой воды миллионы коров — или хотя бы те две тысячи, которые обещает прислать совхозу трест, — идея столь же фантастическая, как и все другие идеи инженера Вермо: научиться добывать электрическую энергию из мирового пространства или вместо коров развести гигантских животных вроде бронтозавров, от которых можно будет получать по цистерне молока в один удой. Но на ближайшем же собрании руководителей совхоза эта его очередная безумная идея рассматривается уже как первоочередная практическая задача:

- ▶ — Вермо, — обратилась Босталоева, — поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее отопление коровников.

Собрание вступило в это обсуждение, а Високов-

ский вручил Босталоевой бумагу, где описывалось точное положение совхоза, здоровье скота, отгон масла из молока — и между прочим отмечалась бесследная пропажа восьми коров и смерть двенадцати голов телят. Босталоева с терпеливым сердцем прочитала бумагу; она знала, что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага.

Собрание приняло решение строить ветряное отопление и рыть землю вглубь, вплоть до таинственных девственных морей, дабы выпустить оттуда сжатую воду на дневную поверхность земли, а затем закупорить скважину, и тогда среди степи останется новое пресное море — для утоления жажды трав и коров.

Ввиду дальности и безвестности ювенильной воды Вермо предложил прожигать землю вольтовой дугой, которая будет плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто.

Федератовна по своей скупости на социалистические средства не велела было этим заниматься, но Вермо объяснил ей, что глубокое бурение электрическим пламенем безусловно является событием всемирно-исторического значения, и старушка, улыбаясь щербатым ртом, согласилась, так как была слаба на славу. Вслед за тем собрание начало думать, куда поместить новые две тысячи коров, и Вермо выдумал уже было кое-что, ничего не выдумывать он не мог: он бы разрушился от напора личной жизни...

*(Там же. Стр. 481)*

Откуда возьмется вольтова дуга, которой инженер Вермо собирается бурить землю, чтобы добраться до ювенильных вод, — нам не сообщается. И участники собрания, принявшие это решение, в такие мелочи не вдаются. А о том, какие на этот счет у них имеются технические возможности, мы узнаем из следующего эпизода:

- ▶ Босталоева зашла в институт к подруге-чертежнице и увидела старую динамо-машину, с которой студентки чертили детали. Она прочитала на неподвижной

машине надпись, что в ней 850 ампер, 110 вольт, но не знала — сильно это или слабо. Выйдя из института, она написала телеграмму Вермо, что машина есть, но в ней 850 ампер и по ней учатся черчению молодые кадры; как же быть?

Ночью инженер Вермо прислал Босталоевой ответную телеграмму: «Придумал более совершенную, современную конструкцию динамо-машины, делаем ее из дерева и проволоки во всех деталях, окрасим в нужный цвет и вышлем багажом институту. Так как чертить можно с деревянной разборной модели — обменяйте нашу деревянную на ихнюю металлическую, наша деревянная конструктивно лучше...»

*(Там же. Стр. 488)*

Уж не из этой ли самодельной — деревянной и проволочной — динамо-машины появится та вольтова дуга, которая будет «плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто»?

Нельзя в полной мере оценить всю язвительность этой платоновской иронии, да и просто понять, куда, как любил говорить Зощенко, направлено жало этой художественной сатиры, не вспомнив, что происходило в советской действительности, а также в отражающей (на свой лад) эту действительность советской литературе в то время, когда Андрей Платонов сочинял эту свою повесть.

Страна совершала свой Большой Скачок.

Первый пятилетний план, поначалу вполне грамотный, а стало быть, выполнимый, по прямому указанию «товарища Сталина» был срочно пересмотрен. Решено было взять другой, более крутой темп. Но и этого «товарищу Сталину» показалось мало. Заставив принять уже этот новый, скорректированный, практически невыполнимый план, он поставил перед страной уже другую цель: выполнить пятилетку в четыре года. Началась бешеная гонка, пропагандистской машиной рекламируемая как идущее снизу движение охваченных энтузиазмом масс. К пропагандистской кампании подключились писатели. Именно в эти годы появились знамени-

тые советские «производственные» романы: «Соль» Леонида Леонова, «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян, «День второй» Ильи Эренбурга, «Время, вперед!» Валентина Катаева. В каждом из них инженерам старой, дореволюционной формации, доказывающим, что выполнить поставленную перед ними безумную задачу невозможно, противостоял молодой инженер новой, советской выучки, стоящий на том, что для большевиков нет ничего невозможного. И именно он, а не инженеры старой формации («предельщики», как их сразу же стали называть), разумеется, оказывался прав.

Образ инженера Николая Вермо из платоновского «Ювенильного моря» трудно воспринять иначе, чем пародию на этот социально-психологический тип, утвердившийся в тогдашних, прославляемых критикой советских романах. А всю эту повесть — иначе, чем пародию (в тогдашней литературно-критической терминологии — «пасквиль») на всю эту историческую коллизию в целом. (Не случайно повесть «Ювенильное море» дошла до читателя только в 1988 году!)

В комментариях к ее книжной публикации говорится:

- ▶ Ощущается, что Платонов в этой повести уже пробует «шагать в ногу».

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2. М., 1988. Стр. 541)*

Может быть, такие намерения у него и были. Но что из этого получилось, мы видим.

Завершается повесть как будто бы бравурно:

- ▶ В глубокую осень из Ленинграда в Гамбург отплыл корабль. На борту корабля находились инженер Вермо и Надежда Босталоева. Они имели командировку в Америку, сроком на полтора года, чтобы проверить там в опытном масштабе идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем и научиться добывать электричество из пространства, освещенного небом.

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2. М., 1988. Стр. 511)*

Но и бравурность эта отдает пародией. А чтобы у читателя уже совсем не оставалось на этот счет никаких сомнений, в последней, заключающей повесть сцене опять — уже совсем явственно — слышится знакомая нам ироническая авторская ухмылка:

► Вечером того же дня, ложась спать в гостинице, Умрищев долго кряхтел, предполагая и боясь высказаться.  
— Мавруша, а Мавруш! — обратился он после томления к Федератовне.

— Чего тебе, старичок? — охотно спросила Федератовна.

— А что, Мавруш, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темные, они же чужунные, Мавруш!..

Здесь лежащая Федератовна обернулась к Умрищеву и обругала его за оппортунизм.

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2.  
М., 1988. Стр. 512)*

Тут можно только подивиться твердости и несгибаемости Платонова, его верности своим художественным намерениям и своему писательскому дару. Но еще больше все-таки поражает разрыв между отношением Платонова к строительству социализма в СССР на, так сказать, мировоззренческом уровне и отражением этого исторического процесса в его художественных произведениях. Разрыв этот впечатляет сильнее, чем у Бальзака. Быть может, потому, что платоновские сюжеты нам, современникам автора, гораздо ближе бальзаковских? Как бы то ни было, контраст этот столь разителен, что объяснения и предположения тут возникают самые разные.

Вот, пожалуй, самое распространенное:

► ...в начале 1930-х гг. в литературной жизни Платонова происходит «драматический слом» и писатель нахо-



дится на грани двух начал — жизни и идеи. Именно это (или, скорее, непонимание этого) лежит, на наш взгляд, в основе многих противоречий в трактовке текстов Платонова.

*(Валентина Славина. К вопросу об эстетическом идеале А. Платонова. «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. М., 2000. Стр. 334—335)*

Не коснулся ли этот «драматический слом» и мировоззрения писателя? Говоря проще, окунувшись в жизнь, поездив по стране и увидав, как происходит в реальности это самое построение социализма, не разочаровался ли он в своих социалистических идеалах?

Как будто бы нет, не разочаровался.

Об этом свидетельствуют осведомители всесильного ведомства, фиксировавшие в своих донесениях самые разнообразные высказывания писателя, произносившиеся им в узком домашнем кругу, в разговорах с друзьями и близкими знакомыми, перед которыми у него не было нужды притворяться:

► СВОДКА  
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОГПУ

20 октября 1933 г.

ПЛАТОНОВ сетовал на то, что его считают врагом только потому, что он с горечью указывает на те опасности, которые указывают с радостью действительные враги. Настоящие враги в литературе не там, где их ищут, а примазавшиеся — всякие...

Во второй раз П<латонов> очень интересно говорил об освоении техники. Здесь у него оригинальные и глубокие мысли... Политику партии в этой области, как и вообще в области создания производственной соцу<иалистической> базы, считает вполне правильной.

*(«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. Стр. 853)*

► СВОДКА  
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОГПУ

13 марта 1934 г.

...зря считают желательным поддержание легенды о человеке — «царе природы»; человек есть самое несчастное в мире вещество. Надежда одна — победа пролетарской революции, Но, во-первых, в ней «мучение материи» достигает высшей точки и, во-вторых, победа эта возможна, но не неизбежна. Если пролетариат потерпит поражение, то будет всеобщее варварство и возврат к культуре каменного века.

(Там же. Стр. 856)

Все это — в особенности последнее платоновское высказывание — не вполне вписывается в жесткие рамки ортодоксальной советской идеологии. Но все-таки и не дает оснований предполагать, что Платонов ко времени написания «Ювенильного моря» окончательно растерял, утратил свою веру в победу пролетарской революции и торжество социализма. Однако художественный итог этой платоновской повести (не говоря уже о «Чевенгуре» и «Котловане») именно таков.

Автор процитированного мною выше исследования «К вопросу об эстетическом идеале А. Платонова», стремясь разрешить это противоречие, «о котором много спорят платоноведы», останавливает свое внимание на небольшом очерке Платонова «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую писчебумажную фабрику)», написанном в 1929 году:

- Очерк сам по себе, может быть, и не представлял бы такого интереса, если бы не одно обстоятельство. На оборотных листах одновременно с очерком писалась повесть «Котлован»...

Очерк Платонова посвящен устройству новой жизни. Писателя, как рабочих и инженеров писчебумажной фабрики, волнуют проблемы труда, именно творческого труда, а не «порочный круг вечной работы», приносящей страдания... «Труд, — пишет Платонов, —

это средство соприкосновения с миром и людьми... Человек же без труда, без узла, связавшего его с человечеством и природой, делается сухой былинкой, колеблемой ветром нужды и теснотой одиночества». Платонов говорит, что «хорошая жизнь делается трудно». «Быть может, ежегодно растения и звери тратят на свое создание и обновление столько же сил, сколько людям потребно на устройство социализма. Но ведь природа все же устраивается однажды в год, значит, и мы сумеем устроиться раз в век». И, как всегда, Платонова волнует прежде всего человек: «...в русском рабочем всегда было много ума, не хватало лишь средств: теперь ему дали средства в виде целого государства — и он действует...»

*(Валентина Славина. К вопросу об эстетическом идеале А. Платонова. «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. Стр. 335)*

Очерк, отмечает далее исследовательница, написан не только той же рукой, что и «Котлован», — в нем те же, что в «Котловане», любимые, задушевные, постоянно волнующие Платонова мысли. И тут она приводит суждение другой обратившей внимание на тот же очерк исследовательницы, которая —

- ▶ ...удивляется, как же это возможно, что на одной стороне листа мрачные страницы «Котлована», где «мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни...», а на другой — очерк, размышления о «высоком образце рабочего класса».

*(Там же)*

Сама она ничего парадоксального в этом не видит. А пресловутый (как ей представляется, мнимый) «парадокс Платонова» объясняет так:

- ▶ ...социалистическая идея, идеал Платонова, который он понимал не только как идеал будущего общества,

не только как должествование, но как практическое сегодняшнее дело, ростки которого он и увидел в работе Каменской писчебумажной фабрики... Противоречия в мировоззрении и творчестве Платонова, которые фиксируют исследователи, объясняются, на наш взгляд, именно тем, что строительство социализма в сталинской версии не совпало с платоновским пониманием социалистической идеи.

*(Там же. Стр. 336)*

Получается, что провозглашенное Сталиным построение социализма в одной, отдельно взятой стране, по мнению Платонова, невозможно (таков, во всяком случае, художественный итог и «Чевенгура» и «Котлована»), а в какой-то одной, отдельно взятой Каменской писчебумажной фабрике почему-то вдруг оказалось возможно.

Это, конечно, трудно себе представить, но по крайней мере один такой случай нам известен. Я имею в виду колонию Макаренко, в которой были реализованы черты той — так и не осуществившейся — модели государственного устройства, контуры которого Ленин наметил в своей работе «Государство и революция». (Заработная плата высших государственных чиновников не должна быть выше заработной платы рабочего и т.д.) Но, во-первых, недолго она, эта макаренковская колония просуществовала. Безбрежный океан сталинского социализма поглотил этот крохотный островок реализованной ленинской утопии. А во-вторых, и в нем самом, в этом оазисе, тоже уже были заложены черты и сталинского социализма, с его жесткими суровыми законами, военной дисциплиной и непререкаемым авторитетом (хоть и подлинным, а не искусственно создаваемым) начальника колонии.

Но к Платонову — во всяком случае, к его «Котловану» и «Чевенгуру» — все это никакого отношения не имеет. Ведь дело там совсем не в том, что «строительство социализма в сталинской версии не совпало с платоновским пониманием социалистической идеи».

На самом деле в «Чевенгуре» и «Котловане» Платонов

разоблачает не сталинскую — и даже не ленинскую — «версию социализма», а кровавый хилиазм коммунистической утопии. Материализовавшуюся на российской почве **самую ее идею**:

- ▶ Пробыв председателем ревкома месяца два, Чепурный замучился — буржуазия живет, коммунизма нет...

Сначала он назначил комиссию, и та комиссия говорила Чепурному про необходимость второго пришествия...

А потом Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю.

— Очисти мне город от гнетущего элемента! — приказал Чепурный.

— Можно, — послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился Чепурный.

— Ты понимаешь — это будет добрей! — уговаривал он Пиюсю. — Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек, как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия?.. Это прямо некрасиво!

Пиюся был знаком с буржуазией лично: он помнил чевенгурские улицы и ясно представлял себе наружность каждого домовладельца... Пиюся знал их способ жизни и пропитания и согласен был убить любого из них вручную, даже без применения оружия...

Однако секретарь уика Прокофий Дванов не согласился подворно и явочным порядком истребить буржуазию. Он сказал, что это надо сделать более теоретично.

— Ну как же — сформулируй! — предложил ему Чепурный...

— На основе второго пришествия! — с точностью выразился Прокофий... — Совершенно необходимо, товарищ Чепурный, объявить официально второе пришествие. И на его базе очистить город для пролетарской оседлости...

Прокофий кратко сформулировал будущее для чевенгурской буржуазии и передал исписанную бумагу Пиюсе; тот должен по памяти прибавить к приказу фамильный список имущих.

Чепурный прочитал, что Советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами на предмет организации там вечного блаженства; что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу — в обмен на небо — всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства.

В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь.

Часом явки буржуазии на соборную площадь назначалась полночь на четверг...

В ночь на четверг соборную площадь заняла чевенгурская буржуазия, пришедшая еще с вечера. Пиюся оцепил район площади красноармейцами, а внутрь буржуазной публики ввел худых чекистов. По списку не явилось только трое буржуев — двое из них были задавлены собственными домами, а третий умер от старости лет. Пиюся сейчас же послал двух чекистов проверить — отчего обвалились дома, а сам занялся установкой буржуев в строгий ряд. Буржуи принесли с собой узелки и сундучки — с мылом, полотенцами, бельем, белыми пышками и семейной поминальной книжкой...

За чертой красноармейцев стояли жены буржуев и рыдали в ночном воздухе.

— Устрани этих приспешниц! — приказал Пиюся. — Тут сочады не нужны!

— Их бы тоже надо кончить, товарищ Пиюся! — посоветовал чекист...

Пришли два чекиста с проверки обвалившихся домов и объяснили: дома рухнули с потолков, потому что чердаки были загружены солью и мукой сверх всякого веса; мука же и соль буржуйам требовались в запас —

для питания во время прохождения второго пришествия, дабы благополучно переждать его, а затем остаться жить.

— Ах, вы так! — сказал Пиюся и выстроил чекистов, не ожидая часа полуночи. — Коцай их, ребята! — и сам выпустил пулю из нагана в череп ближнего буржуя...

Чекисты ударили из наганов по безгласным, причастившимся вчера буржуям — и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до поврежденья позвонков...

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2.  
М., 1988. Стр. 171—173)*

Буржуев ликвидировали, но коммунизм почему-то не наступил. Вождям Чевенгурского коммунизма — предревкома Чепурному и секретарю уика Прокофию Дванову эта несообразность не давала покоя. Но мучились они недолго:

- ▶ ...Чепурный нисколько не знал вначале, после погребения буржуазии, как жить для счастья, и он уходил для сосредоточенности в дальние луга, чтобы там, в живой траве и одиночестве, предчувствовать коммунизм. После двух суток лугового безлюдья и созерцания контрреволюционной благодати природы, Чепурный грустно затосковал и обратился за умом к Карлу Марксу: думал — громадная книга, в ней все написано...

Однако он организовал чтение той книги вслух: Прокофий ему читал, а Чепурный положил голову и слушал внимательным умом, время от времени наливая квасу Прокофию, чтобы у чтеца не ослабевал голос. После чтения Чепурный ничего не понял, но ему легчало.

— Формулируй, Прош, — мирно сказал он, — я что-то чувствую.

Прокофий надулся своим умом и сформулировал просто:

— Я полагаю, товарищ Чепурный, одно...

— Ты не полагай, ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи.

— Я полагаю, — рассудочно округлял Прокофий, — одно: раз у Карла Маркса не сказано про остаточные классы, то их и быть не может.

— А они есть, — выйди на улицу: либо вдова, либо приказчик, либо сокращенный начальник пролетариата... Как же быть, скажи, пожалуйста!

— А я полагаю, поскольку их быть по Карлу Марксу не может, постольку же их быть и не должно.

— А они живут и косвенно нас угнетают — как же так?

Прокофий снова напрягся привычной головой, отыскивая теперь лишь организационную форму. Чепурный его предупредил, чтобы он по науке думать не старался, — наука еще не кончена, а только развивается: неспелую рожь не косят.

— Я мыслю и полагаю, товарищ Чепурный, в таком последовательном порядке, — нашел исход Прокофий.

— Да ты мысли скорей, а то я волнуюсь!

— Я исхожу так: необходимо остатки населения вывести из Чевенгура сколько возможно далеко, чтоб они заблудились... Затем — всему среднему запасному остатку буржуазии объявляется смертная казнь, и тут же она прощается...

— Вот это так?!

— Прощается под знаком вечного изгнания из Чевенгура и с прочих баз коммунизма. Если же остатки появятся в Чевенгуре, то смертная казнь на них возвращается в двадцать четыре часа.

— Это, Прош, вполне приемлемо! Пиши, пожалуйста, постановление с правой стороны бумаги.

Чепурный с затяжкой понюхал табак и продолжительно ощущал его вкус. Теперь ему стало хорошо: класс остаточной сволочи будет выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть.

(Там же. Стр. 182—183)



Это хитроумное решение в точности повторяет ленинский план высылки за пределы Страны Советов такой же «остаточной сволочи» — философов, экономистов, инженеров и прочих «полубуржуев», от которых он решил «очистить Россию». Те тоже были приговорены к высшей мере, то есть к расстрелу. Высылка из страны была заменой этой высшей меры, и каждый высылаемый предупреждался, что, окажись он на территории СССР, тот, прежний приговор немедленно будет приведен в исполнение. Рассказывали, что Питирим Сорокин, когда, спустя тридцать лет, его пригласили в Ленинград на какой-то социологический симпозиум, пришел в ужас. Он решил, что это ловушка. Те, кто его приглашал, давно уже забыли про эту подробность того, давнего приговора. А если и помнили, то наверняка считали, что это ничего не значащая пустая формальность. Но он о ней не забыл и не сомневался, что, ступив на советскую землю, немедленно будет расстрелян.

Среди намеченных к высылке из Чевенгура «полубуржуев», нетрудовых элементов и прочей «остаточной сволочи» были и временно оказавшиеся без работы совслужащие, готовые честно служить советской власти. Но с ними тоже не церемонились:

- ▶ ...остатки чевенгурской буржуазии не послушались словесной резолюции — приказа, приклеенного мукой к заборам, ставням и плетням. Коренные жители Чевенгура думали, что вот-вот и все кончится: не может же долго продолжаться то, чего никогда не было. Чепурный прождал ухода остатков буржуазии двадцать четыре часа и пошел с Пиюсей выгонять людей из домов. Пиюся входил в любой очередной дом, отыскивал самого возмужалого буржуя и молча ударял его по скуле.

— Читал приказ?

— Читал, товарищ, — смиренно отвечал буржуй. — Проверьте мои документы — я не буржуй, а бывший советский служащий, я подлежу приему в учреждения по первому требованию...

Чепурный брал его бумажку:

«Дано сие тов. Прокопенко Р.Т. В том, что он сего числа сокращен из должности зам. Коменданта запасной хлебофуражной базы Эвакопункта и по советскому состоянию и движению образов мыслей принадлежит к революционно-благонадежным элементам.

За Нач. Эвакопункта П. Дванов».

— Чего там? — ожидал Пиюся.

Чепурный разорвал бумажку.

— Выселяй его. Мы всю буржуазию удостоверили.

— Да как же так, товарищи? — сбивал Прокопенко на милость. — Ведь у меня удостоверение на руках — я советский служащий, я даже с белыми не уходил, а все уходили...

— Уйдешь ты куда — у тебя свой дом здесь! — разъяснил Пиюся Прокопенко его поведение и дал ему любя по уху.

— Займись, в общем, сделай мне город пустым, — окончательно подтвердил Чепурный Пиюсе...

*(Там же. Стр. 188—189)*

Среди пассажиров «философского парохода» тоже попались такие же, ни в чем перед советской властью не провинившиеся, вполне лояльные совслужащие, не понимающие, за что и почему их выслают, и так же, как этот чевенгурский житель Прокопенко, пытавшиеся «сбивать на милость» товарищей, от которых зависело решение их судьбы. И с тем же результатом:

- ▶ ЗАПИСКА И.А. ТЕОДОРОВИЧА И.В. СТАЛИНУ  
С ПРОСЬБОЙ ОТМЕНИТЬ ВЫСЫЛКУ  
ЗА ГРАНИЦУ ПРОФЕССОРА  
Н.П. ОГАНОВСКОГО

*16 декабря 1922 г.*

Тов. И.В. Сталину

Дорогой товарищ! Препровождая Вам документы по делу проф. Огановского, сотрудника Н[ар]к[о]з[ема], считаю долгом сообщить следующее, Огановский на днях говорил мне, глубоко взволнованный, что поста-

новление ГПУ ставит его в ужаснейшее положение: его высылают за границу как врага Советской власти, а он бледнеет перед мыслью, что за границей его затравят как слугу Советской власти.

Очень прошу прочесть его письмо на мое имя.

Ему ставят, между прочим, в вину выступление в Вольном экономическом обществе, а на деле он там выступал горячим защитником концессионной политики Советской власти.

С коммунистическим приветом

Ив. ТЕОДОРОВИЧ

(«Очистим Россию надолго...». М., 2008.  
Стр. 440—441)

► ПИСЬМО ГПУ В ЦК РКП(б)  
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТМЕНЫ  
ВЫСЫЛКИ ЗА ГРАНИЦУ  
ПРОФЕССОРА Н.П. ОГАНОВСКОГО

19 декабря 1922 г.

В ЦК РКП(б)

Возвращая при сем переписку с ходатайством тов. Хинчука и правления 1-го Московского государственного университета об отмене постановления о высылке за границу проф. Огановского Н.П., ГПУ сообщает, что считает отмену высылки проф. Огановского крайне нецелесообразной по следующим соображениям.

1) Проф. Огановский является крупным общественником и одним из наиболее ярких и активных работников явочным порядком легализовавшегося весной с.г. Вольно-экономического о[бществ]а. Один из руководителей Группы общественников в О[бществ]е сельского хозяйства.

Поэтому оставление Огановского в Москве, несомненно, усилит антисоветскую деятельность общественников в обоих обществах.

Освобождение от высылки Огановского явится пре-

цедентом для возбуждения подобных же ходатайств со стороны других лиц, подобно Огановскому высылаемых за границу.

Зампред ГПУ УНШЛИХТ

Нач[альник] СО ГПУ САМСОНОВ

*(Там же. Стр. 444)*

Эта секретная переписка высших чинов советского партийного и государственного аппарата Платонову, разумеется, была недоступна. Но о том, как готовилась и осуществлялась высылка пассажиров «философского парохода», он безусловно знал. (Хотя бы по наверняка доходившим до него слухам о перипетиях несостоявшейся высылки Замятина.) И, по правде говоря, тут трудно отделаться от впечатления, что в своем «Чевенгуре» Платонов пародировал, в частности, и эту реальную историческую коллизию.

Но это бы означало, что он навязал своим героям весь образ их поведения, жестко подчинив все их действия и поступки заранее придуманному гротескному сюжету. На самом же деле все было ровно наоборот. Платонов с полным основанием мог бы сказать о себе, повторив вслед за Л.Н. Толстым, что герои его «делают иногда такие штуки», которых он не желал бы. Он даже мог бы выразиться еще парадоксальнее, сказав, что его героям иногда приходят в голову такие мысли, до которых он сам никогда бы не додумался:

- ▶ Некогда Прокофий предложил Чепурному ввести в Чевенгуре науку и просвещение, но тот отклонил такие попытки без всякой надежды. «Что ты, — сказал он Прокофию, — иль не знаешь — какая наука? Она же всей буржуазии даст обратный поворот: любой капиталист станет ученым и будет порошком организмы солить, а ты считайся с ним! И потом наука только развивается, а чем кончится — неизвестно».

Чепурный на фронтах сильно болел и на память изучил медицину, поэтому после выздоровления он сразу выдержал экзамен на ротного фельдшера, но к

докторам относился, как к умственным эксплуататорам...

— Как ты думаешь? — спросил он у Копенкина. — Твой Дванов науку у нас не введет?

— Он мне про то не сказывал: его дело — один коммунизм.

— А то я боюсь, — сознался Чепурный, стараясь думать, но к месту вспомнил Прошку, который в точном смысле изложил его подозрение к науке. — Прокофий под моим руководством сформулировал, что ум такое же имущество, как и дом, стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых.

— Тогда ты вооружи дураков, — нашел выход Копенкин. — Пускай тогда умный полезет к нему с порошком!..

По наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество угнетению.

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2.  
Стр. 160—161)*

Именно эти мысли и привели Чепурного и Прокофия Дванова к убеждению, что для наступления в Чевенгуре полного коммунизма необходимо истребить не только буржуев, но и «полубуржуев», и всю «остаточную сволочь», а в конечном счете — все население города:

► — Очисти мне город от гнетущего элемента! — приказал Чепурный.

— Можно, — послушался Пиюся.

Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился Чепурный.

Поначалу истреблять все население города они не собирались, решили ограничиться тем, что выселят их за пределы городской черты. Но в конце концов пришлось истребить, и случилось это опять же потому, что исполнители половинча-

того решения вождей действовали в соответствии со своими характерами и тоже оказались способны на «такие штуки», которых автор от них не ждал и не желал бы:

- ▶ Пиюся глянул в остальную дверь — куда пойдет солнце... — и сделал шаг назад от скорбления: вблизи околицы Чевенгура стояли табором вчерашние полубуржуи; у них горели костры, паслись козы, и бабы в дождевых лунках стирали белье. Сами же полубуржуи в сокращении чего-то копались — вероятно, рыли землянки, а трое приказчиков из нижнего белья и простынь приспособливали палатку, работая голыми на свежем воздухе — лишь бы сделать жилье и имущество...

Отвыкшие от жен и сестер, от чистоты и сытного питания, чевенгурские большевики жили самодельно — умывались, вместо мыла, с песком, утирались рукавами и лопухами, сами щупали кур и разыскивали яйца по закутам, а основной суп заваривали с утра в железной кадушке неизвестного назначения, и всякий, кто проходил мимо костра, в котором грелась кадушка, совал туда разной близкорастущей травки — крапивы, укропу, лебеды и прочей съедобной зелени; туда же бросалось несколько кур и телячий зад, если вовремя попадался телок, — и суп варился до поздней ночи, пока большевики не отделаются от революции для принятия пищи и пока в супную посуду не нападают жучки, бабочки и комарики. Тогда большевики ели — однажды в сутки — и чутко отдыхали.

Пиюся прошел мимо кадушки, в которой уже заваривали суп, и ничего туда не сунул.

Он открыл чулан, взял грузное промявшееся ведро с пулеметными лентами и попросил товарища Кирея, допивавшего куриные яйца, катить за ним вслед пулемет. Кирей в жирные дни ходил на озеро охотиться из пулемета — и почти всегда приносил по одной чайке, а если нет, то хоть цаплю; пробовал он бить из пулемета и рыб в воде, но мало попадал. Кирей не спрашивал Пиюсю, куда они идут, ему заранее была охота по-

стреляться во что попало, лишь бы не в живой пролетариат...

— Видишь ты тот вчерашний народ? — показал Кирею Пиюся на полубуржуев, сидевших вокруг потухших костров маленькими коллективами.

— Во! Куда ж они теперь от меня денутся?

— А ты пули гадил на курей! Ставь машину поскорей в упор, а то Чепурный проснется — у него опять душа заболит от этих остатков...

Кирей живыми руками наладил пулемет и дал его патронной ленте ход на месте. Водя держатель пулемета, Кирей еще поспевал, в такт быстроходной отсечке пуль, моментально освобождать руки и хлопать ими свои щеки, рот и колена — для аккомпанемента. Пули в такое время теряли цель и начинали вонзаться вблизи, расшвыривая землю и корчуя траву.

— Не теряй противника, глазомер держи! — говорил лежавший без делов Пиюся. — Не спеши, ствола не грей!

Но Кирей, для сочетания работы пулемета со своим телом, не мог не поддакивать ему руками и ногами...

Солнце уже высоко взошло, и в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм.

В комнату вошел Кирей и поставил на пол ведро с пустыми лентами.

— В чулан тащи! — говорил снаружи Пиюся, закатывавший в сени пулемет. — Чего ты там греметь пошел, людей будить!

— Да оно же теперь легкое стало, товарищ Пиюся! — сказал Кирей и унес ведро на его постоянное место — в чулан.

*(Там же. Стр. 191—195)*

Нам, прочитавшим десятки, а может быть, и сотни книг о сталинских тюрьмах и лагерях, о голодоморе, о выселенных в безлюдные леса и болота на верную смерть «кулаках и подкулачниках» с женами, стариками, старухами и малыми детьми, простота и будничность, я бы даже сказал, простоду-

шие этого описанного Платоновым палачества уже не кажется ни сгущением красок, ни, тем более, гротеском. Какой там гротеск! Самое что ни на есть реалистическое описание «сталинской версии» построения социализма.

К сталинщине, однако, это никакого отношения не имеет.

То есть имеет, конечно. В такой же мере, как, скажем, теория Шигалева о социальном устройстве будущего общества. Сталинский террор тридцать седьмого года Пастернак назвал *шигалевщиной*, и у него были для этого все основания, хотя Достоевский, создавая своего Шигалева, знать не знал и ведасть не ведал никакого Сталина. Вот так же — с не меньшим, а может быть, даже и с большим основанием — сталинский опыт построения коммунизма можно было бы назвать *чевенгуровщиной*.

А что касается отношения Платонова к Сталину, — точнее, того места, какое Сталин занимает в художественном пространстве платоновской прозы, — то это совсем другая, особая тема, прикосновения к которой нам, конечно, тоже не избежать.

\* \* \*

Литературовед («платоновед») Елена Колесникова, работая в Рукописном отделе Пушкинского Дома, обнаружила там фрагмент неоконченного (в сущности, только начатого) рассказа Платонова «Черноногая девчонка».

- ▶ Название рассказа написано один раз и не подвергалось изменениям. Кто работал с рукописями Платонова, тот знает, насколько редко это случается. Обычно выбор заглавия ведется мучительно и изобилует вариантами. В данном случае уверенно выведено «Черноногая девчонка» и обозначен жанр будущего произведения как рассказ... За названием следует эпиграф, который и проясняет ситуацию с заглавием, задает многоуровневую проблематику, завязывает в один узел современный политический и околосредотворительный подтексты, резкими тонами отсвечивает их с помощью классических аллюзий; кроме того, определяет



композиционные особенности, а также решает судьбу рассказа — быть погребенным в дальних ящиках стола.

*(Рассказ «Черноногая девчонка» и его историко-литературный контекст. Статья и публикация Елены Колесниковой. «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. Стр. 805)*

Эпиграф, который, собственно, и привлек внимание исследовательницы к этому неоконченному платоновскому рассказу, был такой:

- ▶ — Если вспомните, кучер Селифан счел нужным отчитать Пелагею за смешение правого с левым, сказав ей: «Эх ты, черноногая... не знаешь, где право, где лево...»

*(Доклад И.В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов о проекте Конституции Союза ССР)*

Из следующего за этим эпиграфом текста я приведу только самое его начало:

- ▶ Слепая мать Пелагеи не помнила белого света; она ослепла в полтора года [от] [после] от рождения [от болезни] после болезни кори. До полутора лет [жизни] она видела [свет] свет, [и сейчас/но теперь ее сердце уже не /но теперь уже не скучала о нем, ее сердце навсегда отвыкло от солнца / потому что за сорок лет прошедших/ жизни] до ее [слу] нежного слуха доносился лай собак или стук бадьи о колодезный сруб из деревни Всячины, находившейся в нескольких километрах от жилища путевого сторожа, ее отца.

— Пелагея-то давно ушла? — спросил старик у дочери.

— Затемно [еще] еще, — ответила слепая. Ты бы хоть керосин [хоть] с вечера в фонарь добавлял, за ночь выгорает, у девочки сигнал потухнет...

Слепая умолкла и привстала со своего [твердого] ло-

жа на руках. Она расслышала далекое биение напряженной, мчащейся машины и слабое, но все более вздымающееся стенание рельсов навстречу бегущему паровозу.

— Отец, курьерский! — громко сказала дочь. — Пойди, проводи [его] его, флаг у тебя под подушкой... Большой паровоз идет, сейчас мороз, ночью [товарные] товарные, [шли] тяжелые поезда шли, [они могли] рельсы могли лопнуть...

— Эва, пусть проходит, чума с ним, — произнес старик. — У внучки глаза поострей моих, а она ведь давишь в обход пошла. — Да теперь какие морозы, они жидкие стали — февраль месяц, рельсы [не] целы останутся не треснут. Старик поджег солому [в печ] в печи и задвинул туда чугунок с картошкой, предполагая [сначала] сначала картошку сварить, а потом запечь, чтоб была вкусней и питательней.

*(«Страна философов» Андрея Платонова:  
Проблемы творчества. Выпуск 4. Стр. 811)*

Старик, стало быть, — путевой обходчик, а девочка Пелагея — его внучка, которой он время от времени поручает выполнять свои обязанности. Гоголевскую «черноногую девчонку», которую вспомнил и упомянул в своем докладе Сталин, тоже звали Пелагеей. Помимо имени, этих двух девочек объединяет еще и то — и это, наверно, тут главное, — что современной, платоновской Пелагее автором, видимо, назначена та же роль, что и гоголевской: роль указчика верного пути, верной дороги.

Но какие события должны были произойти далее в рассказе, а главное, как автор предполагал связать их с высказыванием Сталина, по этому фрагменту не угадать. А фрагмент на этом обрывается — такой зачин Платонову, видимо, показался слишком прямолинейным, — и следующий за ним текст представляет собой уже совсем другой вариант начала того же рассказа. Тут девочка и ее слепая мать бредут куда-то в ночь. Выясняется, что мать с дочкой решила уйти от мужа и жить самостоятельно. Они находят приют в избе стари-

ка, — тоже (как и в первом фрагменте) путевого сторожа. Но он тут уже не отец слепой женщины и не дед ее дочери, а совсем чужой им человек, И, переночевав у него, они уходят. Кончается отрывок так:

► Путевой сторож оглядел своих гостей и сказал им:  
— Куда вам ходить? Оставайтесь еще на [сутки] сутки, я хлеб сейчас [ставить] новый ставить буду, лепешек из теста спеку...

— Нам не надо, — ответила слепая, [мы по делу идем] я пенсионерка, я от государства [ко] хлебом кормлюсь.

— Нам не надо, — сказала Пелагея заодно с матерью. — Мы не бедные: мы книжку вчера получили, мы задаром будем жить.

[— Вам видней, — произнес старик. — А то живите покамест со мной: изба просторная, дров до лета хватит — чего еще! Я ведь один здесь нахожусь.]

— Вам видней, — произнес старик.

Слепая сказала «спасибо» и ушла со своей дочерью и кошкой, а сторож начал готовить тесто на хлеб, измазал себе руки и вытер их о бороду. И ему стало вдруг скучно, что ушла [красивая] миловидная слепая женщина и больше он ее не увидит вовек, а ему необходим человек в избе: хоть за жалованье его бери к себе.

*(Там же. Стр. 814)*

Как предполагал автор связать этот новый ход своего повествования со сталинским эпитафием, теперь совсем уже не понять. И немудрено, что все свое внимание исследовательница обратила не на сам платоновский текст, а на эпитафию, пытаясь именно в нем найти разрешение загадки этого непонятного авторского замысла.

Последуем и мы ее примеру, для начала, как это сделала она, раздвинув рамки сталинской цитаты:

► Если законодательное закрепление победы социализма, законодательное закрепление успехов индустриализации, коллективизации и демократизации на-

зывается у них «сдвигом вправо», то позволительно спросить: а знают ли вообще эти господа, чем отличается левое от правого? (*Общий смех, аплодисменты.*)

Не может быть сомнения, что эти господа окончательно запутались в своей критике проекта Конституции и, запутавшись, перепутали правое с левым.

Нельзя не вспомнить по этому случаю дворовую «девчонку» Пелагею из «Мертвых душ» Гоголя. Она, как рассказывает Гоголь, взялась как-то показать дорожку кучеру Чичикова Селифану, но, не сумев отличить правую сторону дороги от левой ее стороны, запуталась и попала в неловкое положение. Надо признать, что наши критики из польских газет, несмотря на всю их амбицию, все же недалеко ушли от уровня понимания Пелагеи, дворовой «девчонки» из «Мертвых душ». (*Аплодисменты.*) Если вспомните, кучер Селифан счел нужным отчитать Пелагею за смешение правого с левым, сказав ей: «Эх, ты, черноногая... не знаешь, где право, где лево». Мне кажется, что следовало бы так же отчитать наших незадачливых критиков, сказав им: Эх, вы, горе-критики... не знаете, где право, где лево. (*Продолжительные аплодисменты.*)

(И. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР.

Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года. И. Сталин. Сочинения. Том 14. М., 2007. Стр. 155—156)

Соотнеся этот текст с соответствующей сценой гоголевской поэмы, исследовательница замечает, что Сталин — «то ли запамятовал соответствующие страницы из «Мертвых душ», то ли не уловил не столь уж глубоко скрытой гоголевской иронии».

И в самом деле:

► — Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же бы это сделать? — сказала хозяйка. — Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила...

— Эй, Пелагея! — сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежешо грязью. — Покажи-ка барину дорогу».

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него... Кони тронулись...

— Направо, что ли? — с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между яркозелеными, освеженными полями.

— Нет, нет, я уж покажу, — отвечала девчонка.

— Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе.

— Вот куды, — отвечала девчонка, показавши рукою.

— Эх ты! — сказал Селифан. — Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расплзались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши:

— Вон столбовая дорога!

— А строение? — спросил Селифан.

— Трактир, — сказала девчонка.

— Ну, теперь мы сами доедем, — сказал Селифан, — ступай себе домой.

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

*(Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 6.  
М., 1951. Стр. 57—59)*

Замечание исследовательницы, что Сталин то ли запомнил соответствующие страницы из «Мертвых душ», то ли не уловил истинного смысла нарисованной Гоголем картины, как видим, не лишено некоторого резона. Она, правда, делает из этого своего наблюдения уж слишком далеко идущие выводы: Гоголь, а следом за ним и Платонов, будто бы выразили здесь некую «идейно-эстетическую концепцию, содержательно выраженную мысль о подспудном, не сформулированном словами и теориями знании народом своего пути».

Для такого глубокомысленного вывода ни опубликованный ею фрагмент платоновского рассказа, ни сама гоголевская сцена не дают ни малейших оснований. Но — что правда, то правда, — Сталин в своей ссылке на Гоголя полностью проигнорировал тот несомненный факт, что черноногая девчонка Пелагея вовсе не попала «в неловкое положение», дорогу путникам она указала правильно. Гоголь даже прямо говорит, что без девчонки им нипочем бы не выбраться из сложного сплетения многочисленных проселочных дорог, которые «расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка».

Вот в этой ошибке Сталина, которую Платонов, конечно же, не мог не заметить, исследовательница и видит ключ к разгадке истинной подоплеки этого платоновского замысла:

- ▶ Сталин использует в своей речи литературное включение (искажая его до обратного смысла), которое призвано играть роль уничижительного для оппонентов сравнения; в свою очередь, Платонов вводит в свое художественное пространство политическую цитату, которая содержательно, через текст рассказа, корреспондируется с изначальным гоголевским смыслом; возникает эффект обратного сравнения. Вынесение в эпиграф цитаты из речи И. Сталина, а затем зеркальное толкование ее путем соотнесения с текстом «Мертвых душ» Гоголя позволяет говорить об особом типе пародийной аллюзии у Платонова.

*(Рассказ «Черноногая девчонка» и его историко-литературный контекст. Статья и публикация Елены Колесниковой. «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. Стр. 808).*

Этот изначальный сокровенный смысл платоновского замысла, полагает исследовательница, и предопределил «судьбу рассказа — быть погребенным в дальних ящиках стола»:

- ▶ Рассказ не окончен. Наброски к нему, хранящиеся в Пушкинском Доме, ориентированно можно отнести к 1937 году. Поскольку с такой степенью иронии в адрес Сталина он не мог появиться в печати, вероятно, для Платонова это был некий творческий экзерсис, изначально не рассчитанный на публикацию.

*(Там же. Стр. 810)*

Трудно, даже невозможно представить себе, чтобы в 1937 году у Платонова вдруг возникло желание заняться такого рода «творческими экзерсисами». Как говорится, нашел время и место. Даже если бы и явилась у него потребность поглумиться над тупостью Сталина, не сумевшего правильно прочесть классическую гоголевскую сцену, разве посмел бы он тогда на это решиться?

Но все дело в том, что такая потребность вряд ли могла у него даже и возникнуть.

Возмутившее Сталина упоминание его имени в повести «Впрок» тоже не давало оснований для сталинского гнева. Но в середине 30-х годов имя Сталина, если и мелькнет на страницах платоновских повестей и рассказов, является там перед нами уже совсем в ином качестве.

Например, вот так:

- ▶ Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал Сталина, как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысл своего существования, — и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности.

*(А. Платонов. Джан. Проза. М., 1999. Стр. 523)*

А вот — в рукописном варианте той же повести:

- ▶ Чагатаев давно уже жил чувством и воображением Сталина, сначала он любил его нечаянно и по-детски за то, что он стал есть пищу в детском доме... Без него, как без отца, как без доброй силы, берегущей и просветляющей его жизнь, Чагатаев не мог ни спастись тогда, ни вырасти, ни жить теперь.

*(А. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000. Стр. 383)*

Так же трепетно обращается своей мыслью к Сталину герой платоновского «Ювенильного моря»:

- ▶ В вещах Босталоевой Вермо нашел «Вопросы ленинизма» и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени мира.

Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу...

*(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2. М., 1998. Стр. 509)*

Может быть, так думает и чувствует не сам Платонов, а его герои, за которых автор ответственности не несет?

Но вот — в газетной заметке 1937 года — ту же мысль и то же чувство Платонов высказывает уже прямо, от себя:

- ▶ Нигде нет большего ощущения связи и родства людей между собой, чем у нас. Больше того, у нас, у нескольких советских поколений, есть общий отец —



в глубоком и проникновенном и принципиальном смысле. Мы идем вслед за ним.

(А. Платонов. *Преодоление злодейства.*  
В кн.: Андрей Платонов. *Воспоминания современников. Материалы к биографии.*  
М., 1994. Стр. 350)

Ну, в газетной статье, да еще в 1937 году, чего не написать!

Но ту же мысль мы встречаем и в записной книжке Платонова:

- ▶ Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин — отец или старший брат всех, Сталин родитель свежего человечества, другой природы, другого сердца.

(А. Платонов. *Записные книжки. Материалы к биографии.* М., 2000. Стр. 157)

И тут уже не остается сомнений, что это его собственная, и не случайно мелькнувшая, а любимая, задушевная мысль, к которой он возвращается постоянно.

Все это окончательно убеждает нас в том, что Платонов не мог, никак не мог в 1937 году замыслить — и даже начать писать — иронический рассказ, «пародийная аллюзия» которого была изначально нацелена на Сталина.

И суждено было этому рассказу остаться незавершенным фрагментом, погребенным в дальних ящиках стола, совсем не потому, что это был «некий творческий экзерсис, изначально не рассчитанный на публикацию».

Совершенно очевидно, что, минуя обычные для него мучительные поиски заглавия и сразу, решительно назвав этот свой рассказ сталинским (именно сталинским, а не гоголевским) словосочетанием, да еще подкрепив это эпиграфом, взятым из бывшего тогда у всех на слуху сталинского доклада, Платонов как раз рассчитывал на то, что уж этот-то его рассказ наверняка будет опубликован. Ну, а дальше случилось то, что только и могло случиться с таким писателем, как Платонов. У его героев (точнее — героинь) едва только они

появились на свет, сразу же проявилась, как говорит Горький, «своя биологическая воля». И эта их биологическая воля повела, потащила автора... Куда? Это мы уже никогда не узнаем, но, во всяком случае, не туда, куда он поначалу собирался их повести.

Но и того, что мы увидели на тех страницах этого рассказа, которые до нас дошли, тоже довольно, чтобы понять, почему он не стал его продолжать: такой крутой замес жестокой жизненной правды в печатной советской литературе в то время был уже невозможен.

Платонов был «вопрекистом» не потому, что ему это нравилось, а потому, что иначе у него просто не получалось. Не могло получиться.

Это было не слабостью его, а силой. И сам он это великолепно понимал, на этой своей силе настаивал, — хотя именно она была источником, первопричиной всех выпавших на его долю бед и страданий.

Однажды (в рецензии на книгу Виктора Шкловского «О Маяковском») он очень ясно это сформулировал:

- ▶ Автор слишком профессионал, чтобы быть художником, предавшимся своему делу со страстью невинности, с надеждой неопытности. Профессионал любого дела знает, что у него «не получится не может», что удача его не минует, рука сама знает, как делать. Надо, однако, отказаться от сознания собственной удачи, чтобы научиться вперед работать безошибочно...

Опытность в искусстве может предупреждать ошибки и предохранять от создания шедевров. Один писатель сказал как-то: мы слишком опытные, чтобы не напечататься! Это — отвратительная уверенность, потому что писательский опыт, не обновляемый, не питаемый жизненной судьбою, есть гибель для художника.

Писатель в каждой своей новой вещи должен быть готовым на риск ошибки и провала, потому что он не только строитель, но и исследователь.

*(Андрей Платонов. Размышления читателя.  
М., 1980. Стр. 123—124)*

Исследователь — на то он и исследователь! — не может знать заранее, каков будет результат его исследования.

Платонов не стал продолжать задуманный им рассказ «Черноногая девчонка», потому что сквозь «магический кристалл» начал уже различать, куда его ведут обретшие свою «биологическую волю» его героини. Он понял, что выходит не совсем то, а может быть, и совсем не то, что он задумал. Другой бы, наверно, сумел навязать взбунтовавшимся героям свою волю. Но он этого не умел.

Быть «переводчиком готового смысла», оформителем готовых идей он не мог. Даже если эти готовые идеи были его собственными.

## Сюжет четвертый

### ТРЕТИЙ ТУР

В конце июля или начале августа 1955 года Лидия Корнеевна Чуковская, побывав в Ленинграде, навестила Михаила Михайловича Зощенко. Вернувшись в Москву, она рассказала об этом своем визите Ахматовой, с которой в то время виделась постоянно. Сперва она упомянула об этом вскользь, мимоходом. Но Анна Андреевна потребовала от нее полного отчета.

- ▶ Она выпрашивала все подробности: какая комната? Как он выглядит? Как и что говорит?

Я постаралась ответить возможно точнее:

Комната большая, опрятная, пустоватая... Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное — у него нет возраста, он — тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный — предсмертный. В молодости он разговари-

вал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень деликатности, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан...

Тут Анна Андреевна перебила меня:

— Бедный Мишенька!.. Он не выдержал второго тура.

*(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой.  
Том 2. М., 1997. Стр. 156)*

Она имела в виду новую волну репрессий, обрушившихся на Михаила Михайловича, после того как на встрече с английскими студентами он сказал, что не может согласиться с тем, что он трус и подонок, как назвал его в своем докладе Жданов. Это и был тот «второй тур», которого он не выдержал.

А у Платонова после второго тура был еще третий.

\* \* \*

Начало этой новой — уже третьей по счету — антиплатоновской кампании положила статья В. Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова», появившаяся на страницах «Литературной газеты» 4 января 1947 года.

Конечно, и до появления этой ермиловской статьи Платонов как был, так и оставался изгоем, вечным «мальчиком для битья». И душевное его состояние было соответственное:

► ДОНЕСЕНИЕ

3 ОТДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР

5 апреля 1945 г.

Неделю назад Андрей ПЛАТОНОВ позвонил ко мне по телефону и высказал желание повидаться. Был уже поздний вечер. <...>

<...> Тяжелое впечатление производил надрыв, с которым ПЛАТОНОВ рассказывал о себе, о своей семейной жизни, о своих неудачах в литературе... Мысль его все время возвращалась к смерти сына, потери которого он не может забыть. О своей болезни — ПЛА-

ТОНОВ недавно заболел туберкулезом в тяжелой форме — он говорит как о «благосклонности судьбы, которая хочет сократить сроки его жизни»...

(«Страна философов» Андрея Платонова:  
проблемы творчества. Выпуск 4.  
М., 2000. Стр. 869—870)

► ДОНЕСЕНИЕ  
3 ОТДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР

18 мая 1945 г.

ПЛАТОНОВ мне сообщил:

«Всю войну я провел на фронте, в землянках. Я увидел теперь совсем по-другому свой народ. Русский народ, многострадальный, такой, который цензура у меня всегда вымарывает, вычеркивает и не дает говорить о русском народе. Сейчас мне трудно. У меня туберкулез второй степени, я харкаю кровью. Живу материально очень плохо, а нас 6 человек, работник я один, все малые и старые. Я устал за войну. Меня уже кроют и будут крыть все, что бы я ни написал... Конечно, так как я писатель, то писать я буду до последнего вздоха и при любых условиях, на кочке, на чердаке, — где хотите, но я очень устал, и дома условия невозможные... Мне всячески вставляют палки в колеса, дома есть нечего, я ведь не корифей, и лимит у меня только 300 р<ублей> ...»

<Верно> Старший оперативный уполномоченный  
отделения 3 отдела 2 управления НКГБ <подпись>

(Там же. Стр. 871)

И все-таки, после того как постепенно сошла на нет вторая антиплатоновская кампания, связанная с разгромом «Литературного критика», — в литературной судьбе Платонова появился некий просвет. Все-таки это была какая-никакая, но — передышка.

Конечно, это не могло случиться без санкции Сталина. Однако существует на этот счет и другая версия:

► РАССКАЗЫВАЕТ РЕДАКТОР  
«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  
ДАВИД ОРТЕНБЕРГ

Дело было так. В сентябре сорок второго года мы получили записку Василия Гроссмана, работавшего нашим спецкором в Сталинграде, в которой он просил принять «под свое покровительство» Андрея Платонова, «этого хорошего писателя. Он беззащитен и неустроен».

Много известных писателей работали в нашей газете. Одних я «добывал» через Главное политуправление Красной Армии, других приглашал сам. Но, сколько я ни рылся в пуровских списках, имя Платонова ни разу не встречал. Не видел его публикаций в ту пору в газетах и журналах.

Словом, для меня эта фигура была неизвестной.

У меня сидел Петр Павленко. Я показал ему записку Гроссмана. Петр Андреевич чуть ли не вскрикнул:

— Платонов! — И после небольшой паузы сказал: — С ним произошла большая драма. Хочешь, я тебе сейчас принесу журналы «Красная новь» за тридцать первый год, все поймешь... — И тут же притащил из библиотеки журналы — третью и пятую книги.

В третьем номере я нашел небольшую повесть Платонова «Впрок». За ночь прочитал. Это был рассказ о деревенской жизни того времени. Уже тогда писатель увидел серьезную опасность, которую таило административно-бюрократическое командование крестьянством. Тема была для меня близкой. Много в повести знакомо. В те годы я работал редактором окружной газеты на Украине, многое видел и знал. А в начале тридцать третьего года был послан начальником политотдела МТС — помочь исправить зло, причиненное крестьянству в годы коллективизации. Словом, Платонов тогда написал то, о чем сейчас говорят прямо и открыто. Вот за эту повесть Сталин и обругал писателя, назвав его кулаком, сволочью.

В следующем номере журнала увидел статью Алек-

сандра Фадеева. Стал читать, и волосы чуть ли не встали дыбом. Само название статьи чего стоит: «Об одной кулацкой хронике»!

После этого Платонова перестали печатать, иногда появлялись рецензии за подписью «Человеков». Жизнь он вел почти нищенскую.

Да, нелегкую задачу поставил перед нами Гроссман...

И вот появился у меня в кабинете писатель. В простой солдатской шинели — ее носили в ту пору не только военнослужащие, — мешковато сидевшей на его плечах, выдавших виды сапогах, небритый. Он произвел на меня впечатление человека неказистого, сумрачного. Но это было лишь первое впечатление. Сосредоточенный взгляд его голубых глаз, скупая улыбка и немногословные реплики выдавали личность незаурядную. Я не стал расспрашивать Андрея Платоновича о прошлом, не хотел терзать его душевные раны, а просто спросил — хотел бы он работать у нас специальным корреспондентом? Андрей Платонович как-то пожал плечами, лицо его просветлело, и я почувствовал, что он будет этому рад. Тут же при нем я подписал приказ: «Зачислить Платонова Андрея Платоновича с сего числа специальным корреспондентом «Красной звезды» с окладом в 1200 рублей». Дал ему прочитать и даже попросил расписаться, а затем вызвал начальника АХО и сказал, чтобы писателя экипировали в командирское обмундирование, выдали пистолет и поставили на довольствие.

— Вот вы и вступили в наш краснозвездовский строй. Писательская «компания» у вас будет неплохая: Толстой, Шолохов, Эренбург, Тихонов, Сурков, Гроссман, Павленко, Габрилович... Освойтесь неделю-две и поедете на фронт...

*(Д. Ортенберг. Андрей Платонов — фронтовой корреспондент. Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 105—106)*



Уже самое начало этого рассказа вызывает большие сомнения. Трудно представить, чтобы политический генерал, старый работник «идеологического фронта» (уже в конце 20-х бывший редактором окружной газеты), и слыхом не слыхал о «большой драме», случившейся с Андреем Платоновым. Даже имя этого писателя, оказывается, в тот день он услышал впервые, и если бы не оказавшийся в тот момент рядом с ним всезнающий Павленко, так бы, может быть, ничего бы про все это и не узнал. А тут еще — «рояль в кустах» — сразу же оказавшиеся в его руках два журнала — один с крамольной платоновской повестью, другой со статьей Фадеева...

Видимо, почувствовав, что все это выглядит не слишком правдоподобно, в другом своем мемуарном отрывке генерал рассказал об этом немного иначе:

- ▶ К сорок второму году я получил короткую записку Василия Гроссмана, в которой он просил меня взять под свое покровительство Андрея Платонова, «этого хорошего писателя — он беззащитен и неустроен».

Записка поставила меня в тупик: хороший писатель — и неустроен, беззащитен...

В записке Гроссмана только две строки, больше, видимо, по цензурным условиям не мог написать. Пришлось мне самому добираться до истины. В это время зашел ко мне Петр Павленко...

*(Д.И. Ортенберг. Сталин, Щербаков, Мехлис и другие. М., 1995. Стр. 24)*

Особенно умиляет тут фраза: «Хороший писатель — и неустроен, беззащитен...» Может ли, мол, такое быть в нашей юной, прекрасной стране? Экая невинность при таком-то опыте. Но реплика о «цензурных условиях», из-за которых Гроссман был так вынужденно сдержан в своей записке, а также следующая реплика: «Пришлось мне самому добираться до истины», — все это как-никак уже ближе к реальности, чем первый вариант генеральского рассказа.

А есть и еще один вариант, третий:

- ▶ Андрея Платоновича я знал немного до войны...

(Д.И. Ортенберг. Год 1942: Рассказ-хроника.  
М., 1988. Стр. 333)

Вот оно как! Не только имя Платонова, оказывается, было ему известно, но и его самого еще до войны он «знал немного».

Но все эти мелкие разночтения и уточнения дела не меняют. И чем дальше следуем мы за воспоминаниями генерала, тем больше у нас возникает недоумений и сомнений.

Поздравив Платонова с тем, что тот на равных вошел в «краснозвездный строй» фронтовых корреспондентов главной военной газеты страны и перечислив их громкие имена, Ортенберг упустил из виду одно немаловажное обстоятельство. Все писатели, которых он назвал, объясняя Платонову, в какую хорошую компанию тот попал, имели воинские звания. Когда Эренбург в первый день войны пришел к Ортенбергу и сказал, что хочет работать в его газете, тот сразу же задал ему вопрос: «Есть ли у вас воинское звание?» Эренбург ответил, что звания нет, но есть призвание.

Ну, для Эренбурга, — как и для А.Н. Толстого, — можно было сделать исключение. А Симонов, Сурков, Гроссман, даже Шолохов, — все они были — кто майором, кто подполковником, а кто и полковником. А у Платонова, хоть он и служил когда-то в Красной Армии, воевал в Гражданскую войну, звание было самое рядовое — красноармеец.

- ▶ Пустить на фронт специального корреспондента центральной военной газеты с этим хотя и почетным, но скромным званием, — объясняет Ортенберг, — было нескладно, не всюду бы его сразу пустили, да пришлось бы к тому же непрерывно козырять всем — от сержанта до генерала. Политическое звание присвоить Платонову нельзя — он беспартийный. Командирское — тоже, нет у него командирской подготовки, в Наркомате не подпишут.

(Д. Ортенберг. Андрей Платонов — фронтовой корреспондент... Стр. 106)

Положение было довольно-таки щекотливое. Можно даже сказать — тупиковое. Но генерал и тут не дрогнул: поступил решительно, уверенно, по-генеральски:

- ▶ И вот, нарушив все воинские законы и правила, я сказал начальнику АХО, чтобы писателю нацепили на петлицы одну «шпалу», а в удостоверении написали «капитан».

Так Платонов прошагал в этом звании почти два года, а под конец войны ему уже официально присвоили звание «майор».

*(Там же)*

Ну, это ладно. Это, хоть и было против правил, быть может, еще как-то вписывалось в его — генеральские — прерогативы. Да другого выхода у него, наверно, тогда уже и не было: сказавши «а», надо было сказать и «б».

Но самовольным присвоением Платонову воинского звания дело не кончилось:

- ▶ Попрошались мы, но Андрей Платонович все не уходит, мнется, что-то хочет сказать.

— Что у вас еще? — спрашиваю его.

И как-то стесненно он достает из сумки рукопись и дает ее мне:

— Встретил на Урале раненых моряков. Поговорил с ними и написал. Прочитайте. Может, подойдет.

Тут же при нем я прочитал очерк, над которым стоял заголовок «Броня». Это был рассказ не о броне, в которую одевают корабли и танки, а об Отечестве, о народе, о мужестве советских воинов, о жизни и смерти. Очерк покорила меня философской мудростью и волшебным языком. Я спросил Платонова:

— Давно написали? Печатали его?

С каким-то смущением он ответил:

— С полгода тому назад. Меня никто и нигде не печатает...

Словом, я написал на рукописи «В набор», и на вто-

рой день очерк появился в «Красной звезде», заняв три полных колонки.

Сталин не отругал нас, ничего не сказал. Фадеев промолчал. Так произошло литературное воскрешение Андрея Платонова.

*(Там же)*

Вот в это уже совсем невозможно поверить.

К высшей — для писателя — мере наказания, к литературной смерти, Платонова приговорил Сталин. И только Сталин мог этот приговор отменить.

Все, кому выпало быть в прямом подчинении у Сталина, хорошо знали, как ревниво относится Хозяин к принятию подчиненными не согласованных с ним, самостоятельных решений.

Вот, например, какой спектакль разыграл он однажды как раз по такому поводу.

В конце 40-х — начале 50-х в Советском Союзе делалось очень мало фильмов: пять-шесть в год. И каждый новый фильм непременно показывали Сталину. Ни одна картина не могла выйти к зрителю без его личного разрешения.

Но для одного фильма было сделано исключение.

Это был биографический фильм о Жуковском — не о Василии Андреевиче — поэте, а о Николае Егоровиче — отце русской авиации.

Фильм делался в спешном порядке: надо было поспеть к юбилею Николая Егоровича. Но с выпуском его на экран произошла заминка: Сталина в то время в Москве не было, он отдыхал на своей даче возле Сочи — на озере Рица.

Члены Политбюро, посмотрев фильм, никаких идейных промахов в нем вроде не нашли, но выпустить его на экран без личного указания товарища Сталина все-таки не решились. Делать, однако, было нечего, поскольку дорого яичко к Христову дню: юбилей ведь не отложишь. И в конце концов Молотов отважился дать добро. Фильм вышел на экраны.

А когда вернулся Сталин, фильм показали членам Политбюро снова, уже в присутствии вождя.

Когда просмотр кончился и в зале зажегся свет, Сталин спросил:

— Фильм, кажется, уже вышел на экран?

— Да, товарищ Сталин. Ведь мы торопились, к юбилею. А вы... А вас... — начал объяснять министр кинематографии.

— Кто принял решение? — прервал его Сталин.

Большаков посмотрел на Молотова и понял, что, если он сейчас его назовет, второй человек в государстве навсегда станет его злейшим врагом.

— Мы тут подумали... посоветовались... — начал он.

— С кем посоветовались? — спросил Сталин.

Побледнев, Большаков сказал:

— Сами... Между собой...

Сталин кивнул. Медленно прошелся по залу.

— Значит, так, — после долгого гнетущего молчания подвел он итог. — Сами подумали, сами посоветовались... И сами решили?

Все испуганно молчали.

Медленно пройдясь еще раз по залу, Сталин задумчиво повторил:

— Сами подумали, сами посоветовались и сами решили...

В голосе вождя слышалась горечь: «Без меня, стало быть, решили. Можете, значит, уже обходиться и без меня. Ну-ну...»

Покачал головой, вздохнул. Пошел к выходу. Остановился. Поглядел на соратников. И вновь горько повторил:

— Сами подумали... Сами посоветовались... И сами решили...

Подойдя к двери, он постоял еще некоторое время ссутулившись: одинокий, никому не нужный, всеми забытый старик.

Все сидели ни живы ни мертвы.

— Ну что ж, правильно решили, товарищи, — неожиданно заключил он. И вышел.

«Литературное воскрешение» Андрея Платонова было делом куда более ответственным и серьезным, чем выпуск на экран какого-то затрапезного фильма. Тут трудно — почти невозможно — было рассчитывать на то, что Сталин, поиграв немного на нервах генерала, принявшего это отчаянно смелое решение, вдруг скажет: «Ну что ж, правильно решили, товарищ Ортенберг».

Тем не менее Ортенберг, — так, во всяком случае, он это объясняет, — рассчитывал именно на это:

- ▶ В ту пору меня спрашивали, иногда и сейчас спрашивают: как это редакция набралась смелости принять на работу, печатать материалы писателей, которых Сталин заклеил «кулаками», «вражеским охвостьем» и которые были отстранены от всякой литературной деятельности? Ответ у меня был один: нет, мы не ошиблись!

Идет война, как бы человек ни был грешен, на войне своим мужеством, самоотверженностью, как мы говорили, своей кровью искупает свои грехи.

Кто имеет право лишить его этого?

Так мы рассуждали, и основания у нас были.

Уже с первых месяцев войны Сталин, как я был уверен, именно этой линии придерживался.

*(Д.И. Ортенберг. Сталин, Щербаков, Мехлис и другие. М., 1995. Стр. 52—53)*

В это трудно поверить не только потому, что никто и никогда не мог знать, какой «линии» будет придерживаться Сталин, принимая то или иное свое решение, но еще и потому, что сам Ортенберг обнажил всю шаткость этого своего объяснения, сравнив свое поведение в случае с Платоновым с другим таким же случаем, где он повел себя совершенно иначе.

Речь идет о принятом им — тоже будто бы самостоятельно — решении печатать в «Красной звезде» Александра Авдеенко.

Авдеенко, как и Платонов, был объявлен врагом и выброшен — с волчьим билетом — из дружного коллектива советских писателей по личному указанию Сталина.

Вряд ли стоит тут рассказывать всю историю его прегрешений, остановлюсь только на последнем этапе его скандальной политической биографии.

9 сентября 1940 года в ЦК ВКП(б) состоялось совещание, посвященное обсуждению кинофильма «Закон жизни».

Автором сценария этого фильма был А.О. Авдеенко, и именно он стал главной мишенью этого партийного погрома.

С большой речью выступил на том совещании Сталин. Сохранилась направленная стенограмма этого его выступления.

Стенограмма эта являет собой такой яркий и выразительный психологический документ, некоторые особенности психики главного героя этой книги выразились в этом его выступлении так ярко, что на нем стоит несколько задержаться.

Высказав сперва несколько малоинтересных общих соображений, он перешел к непосредственной критике обсуждаемого фильма. (Точнее — его сценария.)

Поначалу эта его критика звучала вроде как безобидно. Я бы даже сказал, миролюбиво:

- ▶ Теперь насчет товарища Авдеенко. Видите ли, я уже говорил, что дело не в том, что у него ошибки, не в том, что он передает типы врагов или друзей наших врагов в наиболее приличном виде, не как чудовища, а как людей, у которых есть некоторые хорошие черты, а без них не бывает ни одного человека. Самый последний подлец, если к нему присмотреться, имеет хорошие черты. Он голову свою может положить за хорошего друга, значит, не в том, что хорошо врагов наших изображает, а дело в том, что люди, которые разоблачили этих врагов, показаны не советскими людьми... У Авдеенко люди, которые должны бороться, они показаны какими-то замухрышками, простыми, серенькими, — как могли эти люди разбить врагов? Весь грех Авдеенко состоит в том, что нашего брата — большевика — он оставляет в тени и для него у Авдеенко не хватает красок.

*(Власть и художественная интеллигенция...  
Стр. 453—454)*

Пока его обвинения как будто направлены не на идейные пороки сценария, а на чисто художественную его несостоятельность. Отрицательные герои получились ярче, убедительнее.

тельнее, чем положительные? Ну что ж, с кем не бывает. Для изображения положительных не хватило художественных красок? Так не казнить же его за это. И с маститыми такое случалось. А тут — сравнительно еще молодой писатель... По-работает над собой, научится...

Но тут включается маниакальная сталинская подозрительность:

- ▶ Он так хорошо присмотрелся к врагам, познакомился с ними до того хорошо, что может изобразить даже с точки зрения отрицательной и с положительной. К нашей действительности не присмотрелся. Трудно поверить, — не понял и не заметил?!

Не хватает красок изобразить наших людей... Чувствуется, что он таким-то сочувствует, таким-то не сочувствует. Я хотел бы знать, кому из своих героев он сочувствует? Во всяком случае не большевикам. Почему же у него в противном случае не хватило красок показать настоящих людей? Откуда взялись Чкаловы, Громовы? Откуда же они взялись, ведь они с неба не падают? Ведь есть среда, которая дает героев. Почему не хватает красок на то, чтобы показать хороших людей? Почему нет красок на то, чтобы показать плохие черты, не хватает красок на то, чтобы устроить новую жизнь? Почему нет красок на изображение жизни? Потому что он этому не сочувствует.

Вы скажете, что я преувеличиваю. Я бы хотел ошибиться, но, по-моему, едва ли он сочувствует большевикам.

Возьмите 1934 год. Ведь его поправляли. Все одно и то же. Потом в 1938 году поправляли, указывали. Все равно он свое делает.

*(Там же. Стр. 454)*

Он еще как бы размышляет вслух. Делится своими подозрениями, но не особенно на них настаивает. Готов даже предположить, что его подозрительность преувеличена. Хотел бы ошибиться. Но чем дальше, тем больше растет его



раздражение. Он вспоминает все прошлые грехи обсуждаемого автора, на которые тому указывали еще в 1934 году, а потом — и в 1938-м. И закравшееся в его душу подозрение, которому он и сам бы не хотел верить, перерастает в уверенность:

- ▶ Этот лагерь у него живет, наш лагерь где-то в тени... Откуда это? Ошибка это? Нет, не ошибка. Человек самоуверенный, пишет законы жизни для людей, — чуть ли не монопольное воспитание молодежи. Законы!.. Если бы его не предупреждали, не поправляли, — это было бы другое дело, но тут были предупреждения и со стороны ЦК, и рецензия в «Правде», а он свое дело продолжает.

Влезать в душу — не мое дело, но и наивным не хочу быть. Я думаю, что он человек вражеского охвостья — Саркисова, Кабакова, — и он с врагами перекликается: «Живу среди дураков, все равно мои произведения пропустят, не заметят, деньги получу, а кому нужно, поймет, а дураки — черт с ними, пускай в дураках остаются».

*(Там же. Стр. 454—455)*

Вот все наконец и определилось. Сомнений нет, Авдеенко — враг, «человек вражеского охвостья». Он даже теперь знает, какого именно: враги, «охвостьем» которого он является, названы пофамильно.

Как и все высказывания Сталина, эта его реплика тут же стала законом, руководством к действию. Год спустя (14 мая 1941 года) ее — дословно — повторил Жданов на новом совещании кинематографистов в ЦК ВКП(б).

Ортенбергу все эти обстоятельства были хорошо известны. Излагая их в своих мемуарах, он даже добавляет некоторые, откуда-то ставшие ему известными подробности:

- ▶ Было и другое обвинение, притянутое за уши. «Мы видели, — сказал Жданов, — лицо романиста и драматурга Авдеенко. Давайте теперь посмотрим на Авдеен-

ко-журналиста. Вот как он живописует буржуазный город, освобожденный Красной Армией».

В дни освобождения Бессарабии «Правда» командировала Авдеенко в этот край. Оттуда он прислал очерк «В Черновцах». В этом очерке говорилось о красивом, чистом, аккуратном городе... А тут еще Сталин поддал «жару».

— Тянет его туда... За границу... Ишь, как расхвалил Черновцы...

Я там был в те дни. Действительно красивый город. И Авдеенко написал о нем честно и правдиво. Вот это и не понравилось «отцу народов»...

Особенно негодовали Сталин и Жданов, что Авдеенко не пришел с повинной. Вот, мол, и «Известия», и «Кино», хвалившие этот фильм, Комитет кинематографии уже покаяться, а Авдеенко молчит, не бьет себя в грудь, не становится на колени. И хотя он был оглушен всей обстановкой на совещании в ЦК, но, думаю, не потерял своего достоинства, не пошел против своей совести...

Фадеев, выступивший на этом совещании в ЦК с заявлением, что «нужно освободить Союз от таких людей, как Авдеенко», быстро провернул это дело. В «Литературной газете» появилась передовая статья, написанная Фадеевым, в которой было сказано: «Решением президиума Союза советских писателей исключен из Союза, как человек, проводящий в своих произведениях антисоветские взгляды, писатель Авдеенко...»

На последней странице «Правды» появилось сообщение: «От редакции (о писателе Авдеенко). Ввиду того, что, как выяснилось в последнее время, ряд произведений писателя Авдеенко носят не вполне советский характер, редакция «Правды» постановила исключить писателя Авдеенко из списков корреспондентов «Правды» и отобрать у него корреспондентскую карточку».

*(Д.И. Ортенберг. Сталин, Щербаков, Мехлис и другие. М., 1995. Стр. 32—33)*

В общем, печатать Авдеенко было запрещено, и снять этот запрет мог только Сталин. Но Ортенберг твердо решил понравившийся ему фронтовой очерк Авдеенко напечатать и, как в случае с Платоновым, уже готов был отправить его в набор. Но все-таки решил заручиться поддержкой других «ответственных товарищей»:

- ▶ В этот же день проходило всеармейское совещание фронтовых газет, я встретился там с Александром Фадеевым и редактором ленинградской фронтовой газеты Максимом Гордоном. Спросил Гордона, знает ли он, что в 131-й дивизии служит автор романа «Я люблю» Авдеенко? Гордон ответил утвердительно. Он сказал, что они пытались привлечь Авдеенко к работе в газете: редакция вызвала его из дивизии, поселила у себя и даже напечатала его корреспонденцию. Но Гордону сразу же приказали возвратить Авдеенко на прежнее место службы и не давать в печати его материалы. Обратился редактор к Жданову, но ничего из этого не вышло. И не могло выйти потому, что не кто иной, как Жданов немало сделал в довоенные годы, чтобы «распят» писателя, а теперь, в войну, именно он приказал вернуть Авдеенко в дивизию и запретил его печатать. Словом, нашел кого просить! Я обратился к стоявшему рядом с нами Фадееву:

— Александр Александрович, что будем делать с Авдеенко? Это же ведь по вашей линии. Это же ваши кадры?

И услышал ответ, поразивший меня:

— А что можно сделать?.. — развел Фадеев руками.

Я понял, что струсил он... Ведь Фадеев в тон Сталину на том совещании в ЦК тоже обрушился на Авдеенко, требуя очистить Союз от «таких писателей». За пять лет после этого Фадеев ни разу не вспомнил об Авдеенко. И даже теперь, когда узнал от меня, что Авдеенко фронтовик, доказал свою преданность Родине под огнем, палец о палец не ударил, чтобы вернуть Авдеенко в писательскую семью.

Мне стало ясно, что без Сталина судьбу Авдеенко не

решить. Сдали очерк в набор, и когда я получил трехколонную верстку, написал письмо Сталину:

«Писатель А. Авдеенко, находящийся на Ленинградском фронте, прислал в «Красную звезду» свои очерки. Некоторые из них, по-моему, хорошие.

Авдеенко является младшим лейтенантом, служит в 131-й дивизии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. По сообщению корреспондента «Красной звезды», которому я поручил ознакомиться с деятельностью Авдеенко, этот писатель ведет себя на фронте мужественно и пользуется уважением бойцов и командиров.

Считаю, что тов. Авдеенко в дни Отечественной войны искупил свою прошлую вину, прошу разрешения напечатать его очерки в «Красной звезде».

Письмо было сразу же доставлено Сталину, и уже через час мне позвонил Поскребышев и соединил со Сталиным. Сталин сказал: «Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину»...

После звонка Сталина очерк сразу же поставили в номер. Вспоминаю, что ночью прибежал полковник из цензуры с перепуганным лицом и показал мне список запрещенных авторов. Первым стоял Авдеенко. Цензор и говорит:

— Авдеенко запрещено печатать. Пропустить не могу!

Я ему отвечаю:

— Под мою ответственность.

*(Там же. Стр. 36—37)*

Телефонный звонок Сталина позволил Ортенбергу так же уверенно держаться не только с «полковником из цензуры», но и со своим непосредственным начальством, курирующим всю тогдашнюю советскую печать, секретарем ЦК ВКП(б) А.С. Щербаковым:

- ▶ Номер вышел. В полдень звонит мне секретарь ЦК партии А. С. Щербаков и тоном резким и непримиримым спрашивает:

— Вы почему напечатали Авдеенко?

Имея разрешение Сталина, я вместо объяснения вначале спросил:

— Александр Сергеевич, вы читали очерк? Понравился он вам?

Ничего об очерке он не сказал, а все требовал, чтобы я объяснил, почему напечатали запретного писателя. Наконец я ему объяснил, что получил разрешение Сталина, и рассказал, как было. Щербаков тут же дал указание, чтобы очерк Авдеенко передали по всесоюзному радио.

*(Там же. Стр. 37—38)*

Вот как делались у них эти дела.

Поэтому-то я и не могу поверить, что в отношении Платонова он принял решение самостоятельно, ни с кем его не согласовывая, с неслыханной в его положении смелостью, я бы даже сказал, бесшабашностью взяв всю ответственность на себя.

Может быть, он так поступил потому, что клеймо, которым Сталин припечатал Авдеенко, было свежее, чем то, давнее, которым когда-то он заклеил Платонова? Но ведь имя Платонова как автора небезызвестной «кулацкой повести» и «агента наших врагов» — тоже совсем недавно, в том же 1940-м — опять оказалось в центре громкой идеологической кампании, мелькало в десятках газетных и журнальных статей...

Нет, не могло «литературное воскрешение Андрея Платонова» произойти так, как об этом рассказывает в своих мемуарах Давид Ортенберг.

Да и в этих его мемуарах, если внимательно к ним приглядеться, тоже просвечивает некий второй план, из которого можно заключить, что все было не совсем так, как это пытаются изобразить бывший редактор «Красной звезды».

Зеев Бар-Селла, автор книги «Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов», на которую (в главе «Сталин и Шолохов») я неоднократно ссылался, исследуя взаимоотношения Платонова с Шолоховым, внимательно изучив и со-

поставив мемуарные сочинения генерала, писавшиеся и опубликовывшиеся в разное время, обнаружил там некоторую путаницу в датах:

- ▶ Ортенберг-94 получил записку Гроссмана в сентябре 1942 года, а Платонова на службу принимал за два дня до публикации очерка «Броня». В «Красной звезде» очерк появился 5 сентября 1942 года. Следовательно, специальным корреспондентом Платонов стал 3 сентября. Впрочем в 1988 году Ортенберг вспомнил, что записку Гроссмана он читал за месяц до встречи с Платоновым, то есть в начале августа.

На что же ушел месяц?

*(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М., 2005. Стр. 337)*

Месяц этот мог уйти на размышления: как лучше подступиться к этому трудному делу. А мог — и на согласование.

Обратиться с этим вопросом прямо к Сталину, как он сделал это в случае с Авдеенко, Ортенберг, видимо, не посмел. Но действовать на свой страх и риск тоже вряд ли решился. Какую-то осторожную разведку, надо полагать, произвел. Наиболее вероятным мне тут кажется предположение, что он попытался действовать через Павленко. (Недаром он именно его упомянул в своем рассказе о «литературном воскрешении» Платонова.) Павленко, как известно, был вхож к Сталину, и ему выяснить, насколько рискованным был бы такой шаг, было, наверно, даже сподручнее, чем Фадееву.

Сталин, быть может, и не сказал, что РАЗРЕШАЕТ вернуть Платонова в строй (единый строй с Шолоховым, А.Н. Толстым, Эренбургом, Тихоновым, Симоновым, Сурковым и Павленко). Но, видимо, дал понять, что НЕ ЗАПРЕЩАЕТ это сделать.

Тут, однако, нельзя не припомнить некоторые обстоятельства и факты, которые это мое предположение как будто бы опровергают.

8 июля 1943 года в «Правде» появилась статья Ю. Лукина. Называлась она — «Неясная мысль». В статье этой оче-

редному разгрому была подвергнута повесть Платонова «Оборона Семидворья», отрывки из которой печатались в «Красной звезде». Речь в этой статье, правда, шла не о содержании повести, а только лишь о ее плохом языке. Но статья «Правды» — это статья «Правды». Тут любая — даже чисто эстетическая — претензия читалась как претензия политическая. Тем более, если была она предъявлена автору печально знаменитой «кулацкой повести», давно разоблаченному «агенту наших классовых врагов».

Ортенбергу тут было отчего прийти в смятение.

Он этого и не скрывает. И хоть об этом своем смятении говорит довольно скупно, но даже из этого его скупого рассказа видно, какого страха он тогда натерпелся:

- ▶ Признаюсь, я встревожился. Подумал: начинается. Каждую минуту ждал звонка Сталина: кто, мол, разрешил вам взять на работу в «Красную звезду» этого «агента классового врага»? Да к тому же могли докопаться: почему, на каком основании я самовольно присвоил красноармейцу капитанское звание?

Как раз в тот день, когда появилась статья в «Правде», вернулся с фронта Платонов. Зашел ко мне. Вид у него был, пожалуй, не веселее, чем у меня. Усадил я его в кресло. Сидит и молчит. Оказалось, что принес рукопись нового очерка, но побоялся мне его дать, думал, что теперь не будем печатать его. Я взял очерк, прочитал и сделал надпись: «В завтрашний номер». Молча он сидел, молча сидел и я, но эта надпись была самым лучшим разговором.

Звонка все не было. Пронесло.

*(Д. Ортенберг. Платонов — фронтовой корреспондент. Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 110)*

Казалось бы, если верно мое предположение, что, принимая Платонова на работу в «Красную звезду», Ортенберг заручился — хотя бы даже и не выраженным прямо, а молчаливым, но все-таки согласием Сталина, — чего ему в этом

случае было бояться, ожидая звонка, и облегченно перевести дух, когда «пронесло»?

Но Ортенберг хорошо знал Сталина.

Знал, что не только молчаливое согласие Сталина, но даже прямое его разрешение взять Платонова в штат не могло его защитить от готовых в любой момент обрушиться на его голову обвинений в самоуправстве.

Сталин вполне мог тут поступить так, как он повел себя в случае с «Партизанскими рассказами» Зоценко, когда он сказал Симонову:

— Ну что ж, печатайте. А мы потом почитаем.

Или как в случае с Ахматовой, про которую он вдруг спросил, почему ее не печатают, а потом санкционировал ждановское решение изъять из продажи и уничтожить напечатанную как бы по его собственному указанию ее книгу. Нет, никаких таких распоряжений он, оказывается, не давал. Он только спросил, почему ее не печатают, из чего вовсе не следовало, что надо немедленно выпустить отдельной книгой все ее старые стихи, да еще представить их на соискание премии его имени.

Что же касается статьи Ю. Лукина, то ее появление на страницах «Правды» отнюдь не противоречит моему предположению, что пресловутое «литературное воскрешение» Платонова было — в той или иной форме — санкционировано Сталиным. Если угодно, факт появления этой статьи эту мою гипотезу скорее даже подтверждает. Так же, как и некоторые другие факты, в подоплеке которых нам еще предстоит разобраться.

\* \* \*

Статьей Ю. Лукина дело не ограничилось.

Полтора года спустя — 27 декабря 1944 года — на страницах той же «Правды» появилась новая критическая заметка, целящая в Платонова. Нападению подвергся небольшой платоновский сборник «Рассказы о Родине», вышедший в свет более года тому назад. Автором заметки был В. Лебедев, а называлась она — «Литературные выкрутасы». Само это название говорит о том, что и на этот раз мишенью критического разгрома стало не содержание платоновских рассказов, а их стилистика.



А в промежутке между этими двумя публичными атаками на Платонова была еще одна, непубличная. Я имею в виду Докладную записку Г.Ф. Александрова, А.А. Пузина и А.М. Еголина Г.М. Маленкову от 2 декабря 1943 года, которую я уже цитировал на этих страницах. Речь в ней шла о той же платоновской повести (в «Записке» она названа рассказом), что и в статейке Ю. Лукина: «Оборона Семидворья». И мишенью этой критической атаки, как чуть раньше у Лукина, а позже у Лебедева, тоже стало не содержание «рассказа», а его язык: «Рассказ написан плохим, вычурным языком...», «Рассказ пестрит нелепыми изречениями...» и т.д.

У Сталина, как мы только что это видели на примере его выступления о сценарии А. Авдеенко, от эстетических претензий до политических обвинений был только шаг. Даже — полшага. Но ни Ю. Лукин, ни В. Лебедев, ни Г.Ф. Александров с А.А. Пузиным и А.М. Еголиным в своих нападках на Платонова эти полшага не сделали.

В приводившейся мною раньше, а сейчас снова припомнившейся «Докладной записке» Г.Ф. Александрова, А.А. Пузина и А.М. Еголина речь шла не об одном Платонове.

Главной ее мишенью были литературно-художественные журналы («Октябрь», «Знамя»), в которых были «допущены грубые политические ошибки, выразившиеся в опубликовании антихудожественных и политически вредных произведений».

Первыми в перечне этих «антихудожественных и политически вредных произведений» были названы напечатанные в «Знамени» и «Октябре» стихи И. Сельвинского и печатавшаяся в «Октябре» повесть М. Зощенко «Перед восходом солнца». За ними — с разной степенью резкости — были осуждены «вредная повесть «Победа» (автор Довженко)», повесть Г. Фиша «Контрудар», «антихудожественный и фальшивый рассказ Лавренева «Старуха», очерки Панферова «Люди Урала», рассказ Слезкина «Старики», повесть Письменного «Край земли», роман Финка «Бедная Франция»...

А заключал этот перечень проштрафившихся писателей А.А. Фадеев, о многочисленных ошибках которого в «Записке» тоже говорилось в выражениях весьма нелицеприятных:

- ▶ Литературно-критические выступления тов. Фадеева на совещаниях писателей малосодержательны, абстрактны и нередко ошибочны. Так, например, на состоявшемся в октябре текущего года совещании писателей тов. Фадеев резко выступил против повести Горбатова «Непокоренные» и романа Голубова «Багратион». Повесть Горбатова т. Фадеев назвал «беллетризованной публицистикой», «чертежом», выбросив, таким образом, эту повесть за пределы художественной литературы...

Совершенно очевидно, что тов. Фадеев выступил здесь против той положительной оценки, которую получили произведения Горбатова и Голубова в ЦК ВКП(б).

*(«Литературный фронт». История политической цензуры. 1932—1946 гг. Сборник документов. М., 1994. Стр. 103)*

Вот в какую компанию попал вчерашний отщепенец и «агент наших врагов» Андрей Платонов.

Его в этой «Записке» критиковали тоже достаточно резко, в выражениях не стеснялись, но — КАК ОДНОГО ИЗ СВОИХ. Не только Панферову или Лавренину, самому Фадееву в той «Записке» крепко досталось. А с некоторыми из тех, кто в то время тоже еще считались СВОИМИ, поступили куда суровее, чем с Платоновым. По поводу стихов Сельвинского, о которых в ней шла речь, было принято даже специальное постановление:

- ▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКП(б)  
«О СТИХОТВОРЕНИИ И. СЕЛЬВИНСКОГО  
«КОГО БАЮКАЛА РОССИЯ»

10 февраля 1944 г. № 144. п. 104 г

*О стихотворении И. Сельвинского «Кого баюкала Россия».*

Отметить, что стихотворение И. Сельвинского «Кого баюкала Россия», опубликованное в журнале «Знамя» (№ 7—8 за 1943 г.), содержит грубые политические

ошибки. Сельвинский клеветает в этом стихотворении на русский народ. Появление этого стихотворения, а также политически вредных произведений — «Россия» и «Эпизод», свидетельствует о серьезных идеологических ошибках в поэтическом творчестве Сельвинского, недопустимых для советского писателя, тем более для писателя — члена ВКП(б).

Освободить т. Сельвинского от работы военного корреспондента до тех пор, пока т. Сельвинский не докажет своим творчеством способность правильно понимать жизнь и борьбу советского народа.

(Власть и художественная интеллигенция...  
Стр. 510)

За упоминанием в этой «Записке» повести Зоженко «Перед восходом солнца» тоже последовали санкции. Печатание повести в «Октябре» было приостановлено. А насчет автора ее было дано специальное указание:

- ▶ ...усилить *нападение* на Зоженко, которого нужно расклевать, чтобы от него мокрого места не осталось.

(Резолюция А. Жданова)

За «нападением» на Платонова в «Записке» Г.Ф. Александрова, А.А. Пузина и А.М. Еголина, как и в появившихся в «Правде» статьях Ю. Лукина и В. Лебедева, никаких санкций не последовало. Значит, не было на этот счет соответствующих указаний. Вернее, даже так: значит, **было на этот счет соответствующее указание**, суть которого состояла в том, что автору не следует предъявлять никаких политических обвинений, вспоминать ему его прошлые грехи и раздувать критику его художественных промахов и ошибок до масштаба очередной идеологической кампании. А покритиковать — что ж, почему не покритиковать. На то и щука в море, чтобы карась не дремал...

Все это подтверждает мою уверенность в том, что дарованная Платонову в годы войны передышка была санкционирована Сталиным. А это уже дает основание с достаточ-

ной долей уверенности предположить, что и акция, положившая этой передышке конец, тоже была санкционирована с самого верха.

\* \* \*

В том, что это была именно акция, не может быть ни малейших сомнений. Об этом говорит уже само заглавие статьи В. Ермилова, появившейся 4 января 1947 года на страницах «Литературной газеты»: «Клеветнический рассказ А. Платонова».

Заметьте: не «слабый», не «плохой», не «ошибочный», не «фальшивый»... Какие там еще на этот случай были дежурные эпитеты у них в запасе?.. Не «ущербный», даже не «порочный»: **клеветнический**.

В том же духе был выдержан весь тон и стиль этой ермиловской статьи, да и самое ее содержание:

- ▶ ...в словах, которые он вкладывает в уста жены Иванова, заключена такая чудовищная пошлость, которая приобретает характер злобной издевки...

...Каким, однако, пакостным воображением нужно обладать...

...Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова....

...А. Платонов давно известен читателю.. — как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли его кулацкий памфлет против колхозного строя под названием «Впрок», не забыли и других мрачных, придавленных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем уже после той суровой критики, какую вызвал «Впрок». Мы не вспомнили бы об этом, если бы А. Платонов не повторился...

...Надоела читателю любовь А. Платонова ко всяческой душевной неопрятности, подозрительная страсть к болезненным — в духе самой дурной «достоевщи-

ны» — положениям и переживаниям... Надоела вся манера «юродствующего во Христе», характеризующая писания А. Платонова. Надоел тот психологический гиньоль в духе некоторых школ декаданса, та нездоровая тяга ко всему страшенькому и грязенькому, которая всегда отличала автора «Семьи Иванова». И разве не является своеобразным гиньолем эта химера, выдуманная А. Платоновым...

...Советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели — коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова...

*(Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 467—474)*

Все это — такая чудовищная ложь, до такой степени не имеющая ничего общего с чистым, благородным, целомудренным тоном платоновского рассказа, а главное, за этим разбойничьим посвистом ощущается такое уверенное сознание вседозволенности, полной своей безнаказанности, что уже никаких не остается сомнений: да, было, наверняка было указание, предписывающее, как и в случае с Зошенко, **расклевать Платонова, чтобы мокрого места от него не осталось.**

Хотя... Нет... Кое-какой повод для сомнений все-таки остается. Все-таки я бы не стал с полной уверенностью утверждать, что Ермилов так-таки уж и не мог бы сочинить и напечатать свою статью и по собственной инициативе.

Это — крошечное, совсем крошечное — мое сомнение основано не на том, что никакого письменного указания на сей счет — не только от Сталина, но и от Жданова или Маленкова — отыскать не удалось. (Оно еще может отыскаться; да и вполне оно могло быть не письменным, а устным, — это указание.)

Гораздо более серьезным основанием для признания такой возможности может служить хорошо известная склонность Владимира Владимировича Ермилова именно вот к та-

ким инициативам. Эту свою склонность на протяжении всей своей — довольно долгой — жизни в литературе он обнаруживал и проявлял неоднократно.

- ...В 1948 году я проводил лето со своей семьей в деревне Вертушино, рядом с литфондовским санаторием имени Серафимовича, известным под названием Малеевки. В Малеевке в то лето отдыхала Ольга Владимировна Маяковская, которой я до той поры никогда не видел. Узнав, что я живу неподалеку, она пожелала со мной познакомиться и пришла к нам с визитом. Это была крупная женщина лет пятидесяти, очень похожая на брата не только лицом, но и манерой говорить. Уже тогда на ней заметны были следы тяжелого заболевания сердца, которое через несколько лет привело ее к смерти, — она страдала одышкой, на лице ее была отечность. И мне и жене она была очень мила, и после первого визита она, гуляя, стала заходить к нам каждый день.

И вдруг ее посещения прекратились.

Она не появлялась у нас больше недели. Мы с женой забеспокоились, полагая, что она заболела. Мы навели справки через знакомых отдыхающих и выяснили, что она безвыходно сидит в своей комнате и не появляется даже в столовой.

Однако скоро мы узнали, что она здорова. Как передала она нам через общих знакомых, дело объяснялось тем, что в Малеевку приехал В.В. Ермилов. Не желая с ним встречаться, она десять дней не выходила из своей комнаты. Потом, не надеясь его переждать, уехала.

Она не скрывала, что считала В.В. Ермилова виновным в смерти своего брата.

*(Николай Чуковский. Литературные воспоминания.)*

Это, конечно, полная ерунда. Смешно думать, что Маяковский мог покончить с собой из-за такого ничтожества, как Ермилов. Но, что правда — то правда: в своем предсмертном письме он Ермилова упомянул. Одной строчкой:



Эта робкая попытка объясниться у Ермилова вызвала бурю гражданского негодования. Он разразился статьей, смысл которой сводился к злорадным риторическим вопросам:

— А-а, вы, значит, понимали, что происходит? Так какое же право вы имели молчать! Мы-то о сталинских преступлениях знать не знали и ведать не ведали! Мы любили Сталина, верили ему! Мы молчали, потому что ничего не понимали. Да, мы были слепыми, наивными. Но мы были искренни. А вы, стало быть, всю жизнь лицемерили? Кривили душой?!

Особая пикантность ситуации состояла в том, что цену Ермилову все отлично знали. Поэтому вскоре после появления его статьи родилась и повсеместно повторялась эпиграмма:

Один — молчал.  
Другой — стучал.

При всем своем лаконизме эпиграмма эта исчерпывающе выразила самую суть коллизии. Она, что называется, закрыла тему.

Эти — и многие другие — ермиловские «инициативы» нашли свое отражение даже в КЛЭ (Краткой литературной энциклопедии, выходящей у нас в 60-е годы).

Авторы и редакторы этой энциклопедии любили пошутить. Мишенью этих шуток были недавно еще неприкасаемые столпы и ревнители официальной идеологии. А поскольку времена были уже сравнительно либеральные, некоторые из этих шуток не только вылетали за пределы редакционных стен, но даже и выплескивались на страницы самого издания. Так, например, под статьей о широко известном в литературных кругах гэпэушном провокаторе Эльсберге красовалась подпись: «Г.П. Уткин», прозрачно намекавшая на кровную связь героя статьи с нашими славными органами.

Вершиной этих изящных стилистических игр сотрудников КЛЭ явилась сочиненная кем-то из них статья о Ермилове. Она вся — целиком! — состояла только из перечня названий трудов этого критика и литературоведа, написанных в разное время.

Заслуга автора этой замечательной статьи тут была особенно велика: она целиком исчерпывалась изобретением



самого приема. Что же касается наполнения этой схемы комическим содержанием, то это уже была исключительная заслуга самого Ермилова. Потому что никто из славной когорты наших литературных бойцов не колебался вместе с линией партии так ретиво, так упоенно, так суетливо, забегая далеко вперед и постоянно выставляя себя более роялистом, чем сам король, как делал это он — Владимир Владимирович Ермилов.

Недаром про него сочинили такой анекдот (а может, это был даже и не анекдот, а подлинный факт). На калитке ермиловской дачи в Переделкине красовалось обычное среди тамошних дачевладельцев предостережение: «Осторожно! Злая собака!» Так вот, к ермиловской этой вывеске кто-то будто бы приписал: «И беспринципная».

Благодаря совершенно исключительной беспринципности Владимира Владимировича, простой перечень названий его трудов, сопровождаемый скупым фактологическим комментарием, превратился в подлинный сатирический шедевр.

До публикации этой статьи в соответствующем томе дело, увы, не дошло. Сатирическая направленность скупого изложения всех зигзагов творческого пути Владимира Владимировича так крепко была в нос, что бдительное начальство, разглядев подвох, успело предотвратить скандал.

Скандал тем не менее произошел.

Но это был скандал уже совсем другого рода, хотя в основе его лежали те самые черты нравственного облика В.В. Ермилова, которые нашли отражение в той, так и не попавшей в энциклопедию статье.

Когда Владимир Владимирович завершил свой земной путь, гроб с телом усопшего бойца был установлен, как это полагалось ему по чину, в Малом зале ЦДЛ.

В этом зале провожали в последний путь самых разных литераторов. Нередко зал в таком случае бывал переполнен до отказа, и толпа провожающих, не поместившихся в зале, заполняла весь вестибюль писательского клуба. А иногда пришедших отдать последнюю дань усопшему бывало совсем мало: всего-навсего пятнадцать-двадцать человек, сиротливо теснившихся у гроба. Но за многие годы я знаю

только один — единственный! — случай, когда проводить «дорогого покойника» **не пришел никто.**

У гроба Владимира Владимировича Ермилова не было ни души. (Кроме, разумеется, служащего литфонда, постоянно-го тогдашнего устроителя всех писательских похорон.)

Ситуация была до такой степени необычная, что литфондовское и клубное начальство растерялось. Резонно предполагая, что лицам, провалившим важное общественное мероприятие, придется за это отвечать (пойди потом доказывай, что ты не верблюд), кто-то из них в панике позвонил в ЦК. И последовало мудрое решение. Не просто решение, а — приказ: в добровольно-принудительном порядке согнать в Малый зал всех служащих ЦДЛ: официантов, уборщиц, секретарш, счетоводов, библиотекарей... Явилось, конечно, и все клубное начальство. Строго поглядывая на подчиненных, они нагнетали гражданскую скорбь, а те послушно шмыгали носами. Некоторые, говорят, даже плакали...

Вернемся, однако, к Платонову.

Погромная статья о рассказе «Семья Иванова» была не первой «инициативой» В.В. Ермилова (если исходить из того, что это все-таки была его личная инициатива), мишенью которой стал Андрей Платонов.

10 сентября 1939 года он «сигнализировал» А.А. Жданову, что в издательстве «Советский писатель» выходит — или даже уже вышла — книга А. Платонова (сборник его статей), в которой «проповедуются взгляды, которые нельзя назвать иначе, как враждебными» (*Документ № 9*).

Полгода спустя (в марте 1940-го) он сочинил и отправил на имя Сталина, Молотова, Жданова, Андреева и Поспелова другой донос — на этот раз на Г. Лукача, который «противопоставляет «бюрократическим» советским писателям «самостоятельного художника» А. Платонова» (*Документ № 10*).

Обе эти его инициативы были поддержаны. Книга Платонова была пушена под нож, а Г. Лукач — арестован.

Так может быть, так же было и с этой, новой его инициативой?

\* \* \*

Нет, непохоже.

Уж больно поспешно, ретиво, как-то даже испуганно присоединились к ней лица, обладавшие никак не меньшим, а может быть, даже и большим чиновным весом, чем Ермилов.

Статья Ермилова появилась на страницах «Литературной газеты» 4 января 1947 года. Не прошло и месяца, как в «Правде» появилась статья А. Фадеева, в которой все ермиловские формулировки были воспроизведены с такой подобострастной буквальностью, с какой обычно повторялись разве только не подлежащие редактуре изречения Вождя или словесные обороты официальных партийных документов:

- ▶ ...серьезным идейным провалом является напечатание в № 10/11 «Нового мира» лживого и грязноватого рассказа А. Платонова «Семья Иванова». Автор не видит и не желает видеть лица советского человека, а уныло плетется сзади, в хвосте, являя собой пример обывательской отсталости, косности и пошлости, перерастающей в злопахательство. Пора бы уж редакциям журналов понять, что такие и им подобные «произведения» не только глубоко чужды самому духу советской литературы, а это и не литература вовсе — это выползшая на страницы печати обывательская сплетня.

*(А. Фадеев. О литературно-художественных журналах. «Правда», 1947, 2 февраля)*

Весьма уверенно, я бы даже сказал, нагло вел себя и сам Ермилов. Через три месяца после появления статьи «Клеветнический рассказ А. Платонова» он — уже как хозяин положения, как «власть имеющий», подводил итоги этой развязанной им идеологической кампании:

- ▶ Не так давно вся наша общественность, партийно-советская печать единодушно осудила клеветнический рассказ А. Платонова «Семья Иванова». <...> Но редакция «Нового мира» до сих пор не сочла нужным

сказать советской общественности, считает ли она ошибкой напечатание этого рассказа или же полагает, что была права, напечатав «Семью Иванова». На днях вышла первая книжка «Нового мира» за текущий год. В распоряжении редакции было целых три месяца для того, чтобы определить свое отношение к той критике, которой был подвергнут рассказ А. Платонова в печати. Мы нашли в первой книжке большую статью главного редактора журнала К. Симонова. И с удивлением мы обнаружили, что К. Симонов говорит в своей статье об очень многом, но ни слова не говорит о рассказе А. Платонова.

*(В. Ермилов. О партийности в литературе  
и об ответственности критики.  
«Литературная газета», 1947,  
19 апреля. Стр. 2)*

Все это было, конечно, в духе и стиле той эпохи. Но была тут и некоторая странность, по-настоящему оценить которую можно только, напомнив, КЕМ был в то время, — точнее, КЕМ незадолго до этого стал К.М. Симонов.

После знаменитого августовского — 1946 года — постановления ЦК (о Зощенко и Ахматовой) Сталин изменил структуру Союза писателей. Вместо Председателя (им был Н.С. Тихонов) Союз теперь стал возглавлять генеральный секретарь (на эту должность был назначен А.А. Фадеев), а вместо Президиума был учрежден секретариат.

Казалось бы, — не все ли равно, как называется должность того или иного руководителя?

Но тут дело было не только в смене названий.

Суть перемен состояла в том, что структура, еще сохранявшая какие рудименты общественной организации, окончательно превращалась в жестко структурированный **литературный департамент**.

К.М. Симонов и раньше, до этих перемен номинально состоял в одном из руководящих органов Союза. Но никакого значения этому обстоятельству не придавал. Да оно и не имело большого значения. Во всяком случае, значило гораздо

меньше, чем тот факт, что к тому времени он уже был лауреатом трех Сталинских премий, которые были ему присуждены по личной инициативе Сталина.

- ▶ ...к концу лета сорок шестого года, когда после постановлений ЦК были предрешены перемены руководства в Союзе писателей и предполагалось изменение самой структуры этого руководства, я, хотя и был из молодых да ранних и оказался в роли — думаю, что не преувеличиваю, говоря это, — самого известного из писателей моего поколения, к деятельности Союза писателей практически не имел никакого отношения и оставался в этом смысле совершенно зеленым и неопытным человеком. В сорок четвертом году нескольких писателей-фронтовиков: Твардовского, Кожевникова, Горбатова, меня, кажется, еще кого-то — ввели, вернее, кооптировали в состав Президиума Союза писателей... Кажется, один раз, может быть, два — между поездками на фронт — присутствовал на не запомнившихся мне заседаниях Президиума. Вот и все... И когда в конце августа или в сентябре сорок шестого года... нас всех, членов Президиума Союза писателей, собрали у Жданова для обсуждения вопроса о том, как дальше работать Союзу, я был, повторяю, человеком совершенно зеленым в этом смысле.

Первое из двух обсуждений было длительным, продолжалось несколько часов. Разные люди называли разные кандидатуры в состав секретариата, который, как предполагалось, практически будет руководить работой Союза. И когда Борис Горбатов вдруг как одну из возможных кандидатур в руководители Союза предложил мою, в неумеренных выражениях расхвалив перед этим меня как организатора и главу нашей писательской бригады в Японии, то все только улыбались этому предложению как весьма дружелюбному по отношению ко мне, но в то же время несерьезному.

*(Константин Симонов. Истории тяжелая вода. М., 2005. Стр. 359—360)*

Но улыбались и относились к этому предложению как к несерьезному они недолго. Через несколько дней их всех — в том же составе — собрали там же, у Жданова, и Жданов сообщил им, что о предыдущем собрании было доложено товарищу Сталину, и товарищ Сталин предложил такой состав секретариата: генеральный секретарь правления Союза писателей Фадеев, заместители генерального секретаря Симонов, Вишневский, Тихонов, секретари Леонов и Горбатов.

Рассказывая об этом в своих записках, Симонов особо подчеркивает, что «автором этой формулы» был Сталин, и — мало того — что именно он —

- ▶ ...по каким-то своим соображениям, расставил не по алфавиту, а по порядку заместительства трех заместителей генерального секретаря.

*(Там же. Стр. 361)*

Так — неожиданно для всех, да и для него самого, — Симонов стал первым заместителем генерального секретаря, то есть вторым — после Фадеева — человеком в руководстве Союза писателей СССР.

А вскоре — через неделю или полторы — он получил еще одно назначение: стал главным редактором «Нового мира».

В отличие от первого, это — второе — его назначение не было для него неожиданным. И оно-то как раз было для него очень желанным. Некоторые свои соображения о том, как он собирается вести журнал, он предварительно уже докладывал в ЦК. А когда назначение состоялось, набрался нахальства и обратился — прямо к Сталину — с некоторыми дополнительными просьбами:

- ▶ Сталин спросил нас полуожидаяще:  
— Ну, кажется, все вопросы?  
Я сказал:  
— Товарищ Сталин, разрешите один вопрос?  
— Пожалуйста, хоть два, — сказал Сталин.

Я сказал, что вот уже полгода редактирую журнал и столкнулся при этом с большими трудностями в постановке общественных вопросов. На то, чтобы дейст-

вительно делать журнал не только литературно-художественным, но и общественно-политическим, мне не хватает объема, потому что если мы, скажем, печатаем в номере повесть, то при объеме журнала в двенадцать листов и при желании дать читателю прочесть эту повесть всю сразу мы можем напечатать на этих двенадцати листах только ее, несколько стихотворений, одну-две критические статьи и библиографию, из-за этого приходится отказываться от очерков, от интересных научных материалов, а хотелось бы делать журнал более широкого профиля...

— Ну, что же, надо дать, надо попробовать, — сказал Сталин. — Но если вам дать, то все другие журналы шум поднимут. Как с этим быть?

Я попросил, чтоб сначала попробовали с нами, с «Новым миром», а там уже будет видно на нашем опыте...

— Хорошо, — согласился Сталин. — Давайте. Давайте увеличим «Новый мир». Сколько вам надо листов?

Я повторил то, что уже сказал, — восемнадцать.

— Дадим семнадцать листов, — сказал Сталин.

Я сказал, что поскольку в журнале будут созданы научный и международный отделы, то нам нужно будет увеличить и штаты. Мне нужны будут два заведующих отделами.

Сталин улыбнулся:

— Ну, это тоже дайте в комиссию.

Жданов сказал, что у него есть мое ходатайство о ставках для работников журнала.

— Нам не жалко денег, — сказал Сталин и еще раз повторил: — Нам не жалко денег.

Я объяснил, что заведующий отделом у нас получает всего тысячу двести рублей (разумеется, тогдашними деньгами).

— Решить и этот вопрос на комиссии, — сказал Сталин и в третий раз повторил: — Нам не жалко денег.

*(Там же. Стр. 379—382)*

Ни в чем не мог Сталин отказать своему любимцу.

А в том, что Симонов был тогда его любимцем, не может быть ни малейших сомнений. Рассказывали, что он будто бы даже повесил над своим столом вырезанную из «Огонька» его фотографию. Если это даже чья-то досужая выдумка, довольно уже того, что Симонов был обладателем ШЕСТИ Сталинских премий.

Шестикратных лауреатов и вообще-то можно по пальцам пересчитать: это были артисты — Николай Иванович Боголюбов и Николай Павлович Охлопков, кинорежиссеры — Иван Александрович Пырьев и Юлий Яковлевич Райзман, композитор Сергей Сергеевич Прокофьев... Но писатель, удостоившийся ШЕСТИ этих наград, был только один: Константин Михайлович Симонов.

И вот этого сталинского любимца Ермилов осмелился призвать к ответу. Настоятельно требовал, чтобы тот публично признал, что, напечатав рассказ Платонова «Семья Иванова», он совершил грубую политическую ошибку.

Что ни говори, а была в этом все-таки некоторая странность.

Но еще большей странностью было то, что Симонов эту ермиловскую пилюлю проглотил.

\* \* \*

О том, как все это было, Симонов в своей последней (писавшейся не для печати, а в стол) мемуарной книге рассказал подробно. И этот его рассказ стоит того, чтобы привести его здесь полностью.

- ▶ В девятой книжке «Нового мира», подписанной предыдущим составом редколлегии, были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Разумеется, я не имею в виду, что новая редколлегия во главе с новым редактором не перепечатала бы на страницах «Нового мира» постановление и доклад, — конечно, перепечатала бы, если бы это не было сделано раньше. Но так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление



ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа. Перелистывая сейчас тот сдвоенный — десятый-одиннадцатый — номер «Нового мира» 1946 года, с которого мы начали свою работу, думаю, что в те очень короткие сроки, которые у нас были, он был сделан неплохо и даже широко... Что касается рассказа Платонова «Семья Иванова», он очень нравился нам с Кривицким. Мы хотели напечатать Платонова, своего товарища по «Красной звезде», в этом первом выпускаемом нами номере...

Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в «Красной звезде» и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов. Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил:

— В случае чего, будем считать, что я так же голосую за него, как и вы, но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда. Мне это подсказывает моя стариковская память. — Агапов, которому было тогда сорок семь лет, любил несколько кокетливо, учитывая его мощную, казавшуюся навек несокрушимой фигуру, говорить о своих стариковских памяти, привычках и слабостях. — В свое время, если не изменяет эта стариковская память, «Красную новь» чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова, был невероятный скандал, в связи с чем досталось Ермакову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке.

Что за Платонова мылил шею Фадееву именно Сталин, по интонации и по выражению лица Агапова сомневаться не приходилось.

— В рассказе, — продолжал Агапов, — есть некото-

рые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень не одобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю, прекрасный, и если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупреждал.

Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренне рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в «Красной звезде», то же свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий, — нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас и еще одно соображение: как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать.

Однако, увы, Агапов оказался прав. Едва успел выйти номер журнала, как Ермилов тиснул в «Литературной газете» погромную статью «Клеветнический рассказ А. Платонова». В рассказе Платонова было всего четырнадцать журнальных страничек, а статья Ермилова была написана чуть ли не во всю длину рассказа, на целую газетную полосу.

*(Константин Симонов. Истории тяжелая вода.  
М., 2005. Стр. 363—364)*

Тональность этого симоновского рассказа — во всяком случае, процитированного тут его начала, — в свете известных нам трагических фактов и обстоятельств кажется какой-то облегченной, чуть ли даже не легкомысленной. «Истории тяжелая вода» не выглядит тут такой уж тяжелой.

Это у Симонова вышло, может быть, и неосознанно. Так, наверно, она ему на самом деле и виделась, эта трагическая ситуация, когда он вспоминал о ней в последние годы своей жизни.

Кроме того, есть тут одна проговорка, обнажающая, быть может, не такую уж крупную, но важную несообраз-

ность в этом его изложении истории — точнее, пока еще предыстории — разразившейся драмы. Несообразность эта состоит в том, что, с одной стороны, вспоминая о совместной работе с Платоновым в «Красной звезде», он мимоходом роняет, что работа эта помогла Платонову «обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов». Стало быть, о той «сокрушительной критике», какой Платонов был подвергнут в 30-е годы, он, Симонов, был наслышан. И тут же, передавая, как они с Кривицким слушали рассказ «старика» Агапова, он делает вид, что о платоновской трагедии 30-х годов вот только сейчас, от Агапова, оба они — и он, и Кривицкий, — слышали впервые:

- ▶ Что за Платонова мылил шею Фадееву именно Сталин, по интонации и по выражению лица Агапова сомневаться не приходилось.

А то они раньше, без агаповского «выражения лица» про это не знали, ничего об этом не слышали...

Статья Ермилова, однако, как следует из продолжения этого симоновского рассказа, поразила Симонова не только тем, что заняла в газете целую газетную полосу. В этом как раз ничего удивительного не было. Ермилов в то время был главным редактором «Литературной газеты» и мог для своих литературно-критических упражнений отводить столько полос, сколько ему было нужно. (Что, кстати сказать, он тогда постоянно и делал, позже случалось, что какая-нибудь очередная его погромная статья занимал даже не одну, а полторы и даже две газетные полосы.)

«Литературная газета» была тогда органом Союза писателей, и Симонов, как первый зам генерального секретаря, в некотором смысле был для Ермилова даже начальством. Но «по распределению обязанностей», как сообщает Симонов в той же своей книге воспоминаний, «Литературная газета» была в подчинении у Фадеева:

- ▶ «Литературная газета», по распределению обязанностей, была в Союзе писателей под прямым наблюде-

нием Фадеева, Ермилов был его давним, с рапповских времен, соратником, в те времена, в сорок шестом году, другом, в иных случаях — без раскаяния употребляю это слово — подручным, и статья эта могла появиться только как результат их коллективного мнения и решения. Статья была беспощадная, удар наносился человеку беззащитному и только-только ставшему на ноги. Эта история была для меня первой зарубкой в наших отношениях с Фадеевым, зарубкой, о которой я не забыл. Я высоко его ставил, знал ему цену, не безоговорочно, но любил его, но нескольких случаев не мог простить ему. Они у меня оставались в душе, как зарубины, пока он был жив, остались и после того, как он решил уйти из жизни.

Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это. Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговора не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей, — потому что ведь не ему бы, случись что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял, — он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать, ничего и никогда? Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так относился — без пощады, без отпущения грехов. Не знаю,

может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении дело было именно так.

А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетым в броню твердости, непогрешимости и памятлиности — политической памятлиности, и пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика.

*(Там же. Стр. 364—365)*

Это, положим, неверно. «Дальнейший отклик» ермиловская статья получила, и еще какой! После уже упоминавшейся статьи Фадеева в «Правде» 11 февраля 1947 года в самой зловещей тогдашней газете «Культура и жизнь» появилась передовая, в которой поминался «клеветнический рассказ А. Платонова», а также статья некоего И. Сергиевского, в которой опять повторялось, что «некоторые журналы допустили серьезнейшие ошибки и срывы». И опять — первым номером в перечне примеров этих «ошибок и срывов» шел «порочный и пошлый рассказ А. Платонова в «Новом мире».

Симонов все это прекрасно знал. А о том, что «никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не было», судил по таким признакам и приметам:

- ▶ Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова.

*(Там же)*

Так что же, в таком случае, помешало ему публично защитить Платонова? Или — хоть не публично, а просто пожаловаться «наверх» на несправедливую критику, которая касалась ведь не только Платонова, но и его самого тоже?

Вот как он отвечает на этот естественно возникающий вопрос:

- ...обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него вцепились, да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок пока что — повторяю, пока что — молчаливую поддержку Фадеева, было опасно — не столько даже для журнала и его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили эту пилюлю: идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху.

*(Там же)*

Итак, защищать Платонова было опасно.

Понять это можно только в одном смысле: если команда «расклевать» Платонова исходила все-таки от Сталина, даже была не инспирирована им, а просто началась с его молчаливого согласия, обращаться с жалобой к Сталину было бы чистым безумием. Ведь это значило бы жаловаться Сталину на Сталина.

Но если даже Сталин был тут ни при чем, обращаться к нему все равно было опасно. Не столько для него, Симонова, сколько для Платонова: поди угадай, какая моча ударит в голову Хозяину, если попросить его заступиться за того, кого он когда-то назвал «агентом наших врагов»...

Да, обращаться к Сталину в этом случае Симонов не мог.

Но искренне веря, что вся эта антиплатоновская акция была личной инициативой Ермилова (пусть даже поддержанной Фадеевым), или даже сделав вид, что он в этом не сомневается, он вполне мог и не промолчать. Скажем, опубликовать «Открытое письмо критике Владимиру Ермилову», как незадолго до того он сделал это, атаковав другого нелюбимого и неуважаемого им критика.

\* \* \*

Двумя месяцами раньше, чем статья Ермилова о Платонове, — 26 октября 1946 года в той же ермиловской «Литературной газете» появилась статья известного в то время критика Семена Трегуба «Новые стихи Маргариты Алигер» — о цикле ее лирических стихотворений, только что напечатанных в «Знамени» (1946, № 8—9).

Слова «клевета» ни в заголовке этой статьи, ни в ее тексте не было. Но были в ней и ссылки на недавнее постановление ЦК и доклад Жданова, и все, полагающиеся к случаю другие, не менее грозные слова и обвинения. Алигер в этой статье обвинялась во всех смертных грехах: в «порочности», в искажении «великого пути коммунизма», в «идейном убожестве», в «упадочничестве».

Итак, за два месяца до того как главный редактор «Литературной газеты» решил «пристегнуть» к только что разоблаченным и изничтоженным Зощенке и Ахматовой Платонова, критик Семен Трегуб на страницах той же газеты попытался сделать это с Маргаритой Алигер.

Ощущение полной вседозволенности и безнаказанности у него было такое же, как у Ермилова. Он и думать не думал, что в той горячечной, погромной обстановке кто-нибудь посмеет ему возразить.

Возражение, однако, последовало.

В «Новом мире» (1947, № 1) появилось написанное и подписанное именем главного редактора этого журнала Константина Симонова «Открытое письмо критику Семену Трегубу».

В начале этого своего открытого письма Симонов прямо и откровенно признавался адресату в давней своей нелюбви к нему:

- ▶ Я не любил того, что Вы писали до войны. До войны, критикуя писателей и поэтов, Вы любили становиться в неуязвимую позицию яростного защитника не нуждающихся в защите авторитетов. Чаще всего Вы ссылались на Маяковского, то защищая его от воображаемых нападок, то — это было чаще и хуже — используя

его имя и цитаты из него в качестве критической дубинки. Вы как бы, взяв в руки фотографию и рулетку, осматривали и обмеривали поэтов. Не похож — не годен. Не дорос — не годен. Словно... в казенном присутствии.

Вы любили у Маяковского все и в других не любили ничего. И — простите меня — мне казалось, что Вы не любили ни того, ни другого: ни Маяковского, ни поэзии. Маяковский был не Вашей любовью; он был просто Вашей позицией. А поэзия была не полем борьбы, а полем деятельности.

Я, кажется, пишу грубо, но это — правда.

*(Константин Симонов. Открытое письмо критику Семену Трегубу. В кн.: Константин Симонов. Собрание сочинений. Том 11 (дополнительный). М., 1985. Стр. 253)*

Право на эту грубую откровенность Симонову давало, как он об этом пишет, то обстоятельство, что во время войны Трегуб тронул его своей статьей о его, Симонова, «Лирическом дневнике». Тронул не тем, что статья эта была хвалебная, а тем, что она была другой, совсем не такой, как те, довоенные статьи этого критика, которые так его раздражали.

- ▶ Мне показалось тогда, что в Вашем лице в тот год большой беды я узнал друга. Это было тем более радостно, что это было неожиданно...

Мне показалось, что Вы стали другим, совсем другим. А ведь это тогда случалось с очень многими из нас. Это была не редкость. Громадная беда испытаний, горя, многим тогда очистила душу. Вот так я и понял Вашу статью.

Хочу еще раз подчеркнуть — дело не в том, что Вы тогда написали обо мне. Мне было бы сейчас легче писать, если бы эта статья Ваша была не обо мне, а, скажем, об Алексее Суркове.

Вы написали не обо мне. Вы написали о нас, о писателях. Вы написали об очень многих из нас: о тех писателях и поэтах, которые в первые же месяцы войны на



ее горьких дорогах ощутили ее не только как громадное всенародное бедствие, но и как собственное бедствие, собственную боль и, главное, собственную борьбу.

*(Там же)*

И вот оказалось, что все это был обман. Нет, не изменила война критика Семена Трегуба. Он остался таким же, каким был в те довоенные времена, когда Симонов чувствовал, что поэзия для того была «не полем борьбы, а полем деятельности».

- ▶ Я развернул номер «Литературной газеты» от 26 октября 1946 года и увидел Вашу статью: «Новые стихи Маргариты Алигер». Статья начиналась с цитаты «Партизанского дневника», потом шла цитата из Горького, потом из Маяковского, потом из Луначарского и кончалась опять цитатой из Маяковского. Цитаты все были хорошие, солидные. Вы двинулись в бой с поэтом не один на один; Вы предварительно окружили себя со всех сторон надежной охраной...

Впрочем, дело не в этом. В конце концов, нельзя всерьез упрекать человека в злоупотреблении цитатами. Эта Ваша статья омрачила меня не присутствием цитат, а совсем другим: отсутствием чувства.

Я вдруг поймал себя на том, что опять вижу Вас довоенного: рассудительного и аккуратного; я поймал себя на том, что опять не знаю, что Вы любите и чего не любите. Вы опять заговорили о стихах холодным, скрипучим голосом человека, который уже давно, бог весть когда, был молодым, а сейчас способен только на то, чтобы осуждать школьнические проделки молодежи...

Ваша статья вовсе не из тех, на которые обязательно хочется дать ответ: в ней нет ни грубости, ни передержек, ни недобросовестности; она вполне корректна по форме и если чем-нибудь может задеть писателя, то только прикосновением холодных рук. Это ведь всегда очень неприятно. От этого всегда невольно вздрагивают...

Вот я перечитал сегодня еще раз этот цикл стихов Алигер, о которых Вы пишете. Они понравились мне тогда, когда я их читал впервые, и опять понравились мне сейчас. По-моему, это хорошие стихи. И мужественные. И душа хорошего, мужественного человека стоит за этими стихами. И мне кажется, это трудно не почувствовать, если читать их с сердцем.

*(Там же. Стр. 254—255)*

И он вновь перечитывает эти стихи, которые критик объявил «порочными», «упадочными», поражающими своим «идейным убожеством», и как бы приглашает читателя вместе с ним взглянуть, почувствовать в них, прочесть их «с сердцем».

Приводить тут все эти заново им прочитанные стихи я не стану, останавлиюсь только на том, как он их комментирует:

- ▶ Эти стихи удивляют Вас «идейным убожеством и поэтической беспомощностью». Меня они не удивляют ни тем, ни другим. Я не могу и не хочу считать идейным убожеством трезвый, здравый взгляд на вещи. Жизнь трудна, полна борьбы и испытаний. Эти испытания и борьба предстоят нам и в будущем. И прав поэт, когда напоминает мне, как читателю, об этом.

Я прочел первое стихотворение. Теперь прочту второе...

По-моему, это прекрасные, мужественные строки. Я вижу за ними человека-искателя, человека, который не склонен успокаиваться, который, достигнув чего-то, не удовлетворяется этим, а думает уже о будущей борьбе и больших ожиданиях будущего.

Мне кажется, Вы напрасно написали об этих стихах и, в связи с ними, о Маргарите Алигер, что, будь она идейно вооруженной, она бы написала не то и не так и что смысл этих стихов в том, что будто бы действительность обманывает человека. Напротив. Здесь речь идет о вере в будущее, о мечте, о движении к новым

целям, то есть о том, без чего жизнь превращается в существование.

Перелистываю дальше, стихотворение за стихотворением...

Вы напрасно пишете, что эти стихи унижают нас. Меня они не унижают. Они меня просто заставляют подумать над жизнью. А может быть, как раз в этом и есть одна из задач поэзии?

Перелистываю дальше...

Вы скажете, что это — грустное стихотворение. Да, грустное. Но поэзия вообще — не комната смеха в парке культуры и отдыха...

*(Там же. Стр. 256—257)*

Хоть он и говорит в начале этого своего «Открытого письма», что статья Трегуба «не из тех, на которые обязательно хочется дать ответ», но получилась у него именно ответ. И очень резкая, даже грубая ответ.

Вот как он ее заключает:

- ▶ Обидным холодом веет от Вашей статьи. В одном месте Вы в ней пишете об авторе стихов, что «автора самого нужно отогревать грелками, — не то чтобы он своим теплом согрел другого».

Что на это сказать Вам? Можно сказать, конечно, что поэзия — не паровое отопление и что от нее нельзя требовать, чтобы она одинаково пригревала каждого, кто придет в ее комнату. Можно сказать, что поэзия — скорей радио, и для того, чтобы слушать и слышать, нужно настроить свой приемник на ту волну, на которой идет передача. Вы не обязаны настраиваться на эту волну, но если Вы ее не нашли и слышите только треск и разряды, что-то неприятное для Вашего уха, — не говорите, что это плохие стихи, сознайтесь просто, что Вы не имели терпения или желания, а может быть, и умения, найти ту волну, на которой идет передача.

Но мне хочется сказать еще одно: о грелках. Мне

кажется, что Вы замерзли сами. Вас нужно отогреть, чтобы Вы снова почувствовали и полюбили поэзию. Замерзших отогревают по-разному. Можно отогреть и грелками, а можно натирать их снегом. Это способ народный, несколько грубый, но действенный. Простите меня, что я воспользовался именно им.

*(Там же. Стр. 260—261)*

Я так обильно цитирую эту симоновскую отповедь, потому что все, что он высказал в ней Трегубу по поводу стихов Маргариты Алигер, с тем же, и даже с большим основанием он мог бы обратиться и к Ермилову, защищая от его злобных нападок прекрасный, как он сам его назвал, рассказ Платонова.

В этом случае он тоже мог бы сказать, что от статьи критика веет холодом. Что о правдивом, сложном и тонком платоновском рассказе он говорит холодным, скрипучим голосом человека, который способен только на то, чтобы судить и осуждать. Что в этой своей статье он, Ермилов, обнаружил органическую неспособность понять писателя, «настроить свой приемник на ту волну, на которой идет передача» и поэтому вместо чистой и благородной музыкальной мелодии слышал только неприятные для его уха треск и разряды.

И, видит Бог, это было бы самое мягкое из всего, что можно и нужно было бы сказать Ермилову о его статье.

Кстати, сам Ермилов, когда много лет спустя, уже в иную, послесталинскую эпоху счел за благо отречься от той позорной своей статьи, сделал это именно вот в такой, предельно мягкой форме. Отвечая на вопрос критика В. Левина: «Были ли у вас такие работы, которые вы считаете ошибочными и хотели бы перечеркнуть?», он вспомнил ту, давнюю свою статью о рассказе Платонова «Семья Иванова» и высказался о ней так:

- ▶ Я не сумел войти в своеобразие художественного мира Платонова, услышать его особенный поэтический язык, его грусть и его радость за людей. Я подо-

шел к рассказу с мерками, далекими от реальной сложности жизни и искусства.

(«Литературная газета», 1964, 17 октября)

И смысл, и тон ответа с головой выдают все лицемерие, всю фальшь этого его запоздалого покаяния. Особенно, если вспомнить знаменитое пушкинское:

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклинаю,  
И горько жалею, и горько слезы лью.  
Но строк печальных не смываю.

Эти строки первого нашего поэта любил вспоминать Л.Н. Толстой. Но, повторяя их, он слово «печальных» в последней строке заменял другим: «постыдных».

Ермилову, если бы ему вдруг захотелось применить к себе эти пушкинские строки, конечно, больше подошел бы именно этот, толстовский вариант. Но он, как мы это только что видели, «читая» свою жизнь, никакого отвращения не испытывает и никаких слез не льет. А постыдные строки как раз норовит смыть. И не слезами, а засахаренной водичкой. Но из этих его попыток не выходит — и не может выйти — ничего, кроме нового срама. Потому что, как выразился по сходному поводу другой наш классик:

...вы не смоете все вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Высказать все это Ермилову с такой прямоотой Симонов тогда, конечно, не мог, хотя думал и чувствовал примерно так же («Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал»). Во всяком случае, он не мог не сознавать, что статья Ермилова о Платонове была выступлением не литературного критика, а — **запечных дел мастера**.

Сказать об этом вслух по обстоятельствам того времени было, разумеется, невозможно. Но попенять Ермилову, что он не смог «настроить свой приемник» на нужную волну, не сумел «войти в своеобразие художественного мира Платонова, услышать его особенный поэтический язык», — это, наверно, он сделать бы мог.

Но даже и на такую, мягкую попытку отчитать Ермилова и защитить Платонова он не отважился.

Это я не к тому, чтобы упрекнуть Симонова в чрезмерной осторожности, робости или даже трусости. Цель этого моего длинного отступления — совсем другая. Я хочу объяснить, почему уверенность Симонова, что «никакой инспирации сверху» для статьи Ермилова о Платонове не было («...это было не в стиле Сталина, не похоже на него»), не кажется мне достаточно обоснованной.

Еще менее убедительным представляется мне объяснение причин, по которым ему пришлось «проглотить пилюлю», оставив грязную выходку Ермилова без ответа. Были там и другие обстоятельства, о которых в надиктованной им незадолго до смерти книге «Глазами человека моего поколения» он умалчивает. То ли сознательно, то ли потому, что теперь, четверть века спустя, эта ситуация и впрямь видится ему такой, какой он ее изображает.

Попробуем увидеть ее такой, какой она была на самом деле.

\* \* \*

Помочь нам в этом может недавно опубликованный дневник Лидии Чуковской — «Полгода в «Новом мире». О Константине Симонове».

Это были те самые полгода, когда Симонов только начал свою работу редактора «Нового мира». (То есть — то самое время, когда разразился скандал вокруг платоновского рассказа.)

Первая запись в этом дневнике Лидии Корнеевны датирована 28 ноября 1946 года. В этот день Константин Михайлович пригласил ее поработать в журнале, который только что возглавил, предложив ей заведовать в нем отделом поэзии:

- ▶ Сначала дал список поэтов, у которых надо добыть стихи не позже 15 декабря — по три от каждого — лирические и «без барабанного боя».

— Я хочу сделать подборку «в защиту лирики».

В конце концов, двадцать поэтов вряд ли обругают, а если обругают, то редактора — что ж, пусть.

*(Лидия Чуковская. Сочинения в двух томах.  
Том 2. М., 2001. Стр. 350)*

Такое начало обнадеживало. Она согласилась.

Но сразу, чуть ли не в тот же день, обнаружилась разность — можно даже сказать несовместимость — их подходов к тому, как должна быть реализована эта красивая идея:

▶ Маленькая черта неприятная.

Прочтя список поэтов — в котором рядом с именами почтенными стоят Долматовский, Матусовский и пр. чушь, — я сказала:

— Разрешите мне, Константин Михайлович, добавить к этому списку два имени: Маршака и Семынина.

Он разрешил, но о Семынине сказал:

— Ну, это вряд ли.

Неужели у него настолько нету слуха.

*(Там же. Стр. 331)*

Для предположения об отсутствии у шефа поэтического слуха оснований как будто пока маловато. А вот насчет Долматовского и Матусовского ее реакция как раз понятна. Тут дело не в разности слуха. Он ведь сам же сказал: лирические и «без барабанного боя». А «долматусовская ошань», как назвал продукцию этих стихотворцев Николай Глазков, без барабанного боя не бывает. (Забегая вперед, не могу тут не отметить, что позже К.М. пожелал включить в эту лирическую подборку не только Долматовского с Матусовским, но даже Лебедева-Кумача.)

Чем дальше, тем эта, сразу наметившаяся маленькая трещина в отношениях Лидии Корнеевны с шефом становилась все шире. Тон ее по отношению к нему в дневнике делается все более сдержанным, холодным, а в конце концов даже и неприязненным. Но Лидия Корнеевна свидетель хоть и пристрастный, но безукоризненно честный, и эта неприязненность ее тона не только не затемняет, а, напротив, высветляет

ет, подчеркивает все благородство намерений и планов Симонова-редактора, смелость, я бы даже сказал, героичность многих тогдашних его начинаний.

Он хотел напечатать (и напечатал) Заболоцкого. Хотел напечатать Ксению Некрасову:

- ▶ — Лидия Корнеевна, я уже давно прошу т. Ивинскую дать вам стихи Некрасовой. Она талантливейший поэт, и я хочу, чтобы вы, Лидия Корнеевна, выбрали целый цикл.

(Там же. Стр. 335)

Во что бы то ни стало хотел он напечатать Пастернака, о чем сразу же сказал Чуковской, попросив ее как можно быстрее обратиться от его имени к Борису Леонидовичу и попросить у него стихи.

А напечатать Пастернака тогда было ох как непросто! Не все просто было и с Заболоцким:

- ▶ 17/XII 46.

К трем часам решила позвонить Симонову... Хотелось продвинуть поэму Заболоцкого.

Все удалось, и, хотя все удалось, — мне очень противно.

Я пришла. Симонов был занят. Потом меня позвали в кабинет — там Симонов, Кривицкий... и кто-то на диване, кого я не могла разглядеть. Но с дивана дуло злым, темным...

Симонов прочел сам... Прочел хорошо. Вчера он отозвался об этой поэме не очень восторженно — сегодня, кажется, она ему понравилась. Он сказал:

— Человек восемь лет был *там*... Надо его печатать.

— В первом номере, — сказала я.

Он взял перо.

— Места нет, — сказал Кривицкий.

— Уберем Яшина, — сказала я.

— Да, да, — перенесем его, — сказал Симонов.

— Там есть недопустимая строка, — сказал Кривицкий.

— Какая? — прислушался Симонов.



— Вождь и господин.

(Это о природе, о власти человека над природой.)

Симонов согласился. Я не возразила.

— И виола, — сказал с дивана мерзавец...

— Да, да, — сказал Симонов.

— Какая виола? — спросила я, озадаченная.

— Да, это не надо, — сразу согласился Симонов.

Я не стала спорить, хотя замечание крайне глупо...

Я оставалась в редакции, пока поэму перепечатывали и пока при мне ее не отправили в набор.

То-то будет рад Н. А. [Заболоцкий]. Он сегодня утром мне звонил и говорил, что поэма для него главное.

А о виоле я еще подумаю. Уговорю Константина Михайловича или позвоню ему.

*(Там же. Стр. 337)*

Фамилию сидящего на диване «мерзавца», от которого «дуло злым, темным», Л.К. не расшифровала. Но надо ли нам знать его фамилию? Тут важно то, что Симонов к его замечанию прислушался. Не мог не прислушаться. И из следующей ее дневниковой записи мы узнаем, почему:

- ▶ Симонов на мой звонок через секретаря передал, чтобы я пришла к четырем в редакцию...

Я пришла...

Меня позвал Симонов.

— У меня есть 5 минут, — сказал он.

— Хорошо.

Я была готова. Я сказала ему: если у вас нет возражений против мысли, которую выражает Заболоцкий о хоре светил и цветов, почему вы возражаете против силы выражения его мысли? А виолы усилиют — им действительно откликается следующая строка.

Колокола, виолы и гитары

Им нежно откликаются с земли.

— Я никогда не обращаю на это внимания, — сказал он. «Ну так пишите тогда статьи и не трогайте стихов», — надо было ответить, но я смолчала...

— Передайте Заболоцкому, — сказал Константин Михайлович, — что Симонов просит его переделать кусок, чтобы не было архаизмов: виолы, лилеи... А вы, Лидия Корнеевна, можете продолжать высказывать свое мнение, — прибавил он зло, — так как это не повредит вашему доброму имени.

— Я не о добром имени своим хлопочу, — сказала я.

— Но разве вы забыли, что было с «Торжеством Земледелия»? И можете поручиться, что из-за этих архаических строк не будет того же?

*(Там же. Стр. 338—339)*

Поэма Заболоцкого «Торжество Земледелия» в 30-е годы была — как и повесть Платонова «Впрок» — объявлена кулацкой, и именно из-за нее он оказался в лагере.

Казалось бы, что можно было возразить на эту симоновскую реплику?

Но Лидия Корнеевна за словом в карман не лезет. На вопрос Симонова, может ли она поручиться, что из-за архаических строк в новой его поэме не будет того же, она отвечает:

- ▶ — Нет, не могу. Но что угодно может быть из-за любых строк — не только этих.

*(Там же)*

Спустя несколько дней Симонов в разговоре с ней снова коснулся этой темы. На этот раз — более мягко и миролюбиво, даже словно бы оправдываясь:

- ▶ — Не ставьте мне каждое слово в строку. Поймите, что, когда я отступаю в мелочах, — я делаю это, чтобы наступать в главном.

Но она непримирима:

- ▶ Пусть так. Но почему у него в двенадцатом номере плохие стихи Долматовского, ужасные, вялые, пустые?

*(Там же. Стр. 343)*

Впрочем, вялые и пустые стихи Долматовского она ему, с грехом пополам, наверное бы простила. Но чего она никак не может ему простить, так это его отношения к Заболоцкому и Пастернаку:

- ▶ Он хочет быть благодетелем и чтобы ему были за это благодарны. А люди не хотят благодетелей. Они хотят уважения по заслугам. Поэму Заболоцкого надо печатать не потому, что он восемь лет был в лагере, а потому, что поэма его хороша. Пастернака Симонов обязан сейчас поддержать, а не оказывать ему милости — обязан, потому что он поставлен хозяином поэзии и Пастернак в его хозяйстве — первая забота... А если Борис Леонидович и не вполне справедлив к нему, то как можно сейчас требовать от Бориса Леонидовича справедливости?

*(Там же. Стр. 339)*

Она готова признать, что в случившейся в тот момент размолвке Пастернака с Симоновым (в существо этой размолвки нам тут входить необязательно) виноват Борис Леонидович. Но она к Борису Леонидовичу относится колени-преклоненно и того же ждет — не просто ждет, требует! — от Симонова:

- ▶ Опять тяжкий и бессмысленный разговор о Пастернаке. Тут уж я высказалась вполне: что, мол, Пастернак не может быть справедливым и ему, Симонову, надо самому позвонить Борису Леонидовичу и «помириться».

— Да ведь он меня обидел, а не я его. Что же я буду первый звонить.

— Потому вы первый, что вы годами моложе его на двадцать лет, а положением — старше в десять раз, — сказала я.

*(Стр. 343)*

Но спустя день-другой, вновь возвращаясь мыслями к этой их «ссоре», все-таки признается:

- ▶ Сердилась я и на Бориса Леонидовича, которому совершенно не следовало ссориться с Симоновым. Не из-за чего и не для чего, в сущности. Если Симонов ему и не благодетель, то, во всяком случае, дурного он ему тоже не сделал и хотел хорошего.

(Стр. 345)

Он и в самом деле «хотел хорошего». Но на примере его отношения к Пастернаку особенно ясно видно, как **ОН БЫЛ НЕСВОБОДЕН** в осуществлении этих своих благих намерений. И тут дело уже не в личных, частных размолвках, обусловленных особенностями характера Бориса Леонидовича и его собственного, а во все более явственно ощущаемом им **ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ**.

- ▶ ИЗ ПИСЬМА К.М. СИМОНОВА Л.К. ЧУКОВСКОЙ

2 февраля 1947 г.

#### 4) Пастернак.

Оба стихотворения не из его лучших, но хорошие.

По «Марту» у меня возражений нет, за исключением того, что было бы хорошо, если бы он согласился переставить последнюю и предпоследнюю строфы, чтобы живитель и виновник — навоз — был деталью, а не точкой и выводом стихотворения.

Впрочем, это только пожелание. При всех обстоятельствах я за печатание этого стихотворения — отправляйте его в набор.

В «Бабьем Лете» дело сложнее. Подчеркнутые мной слова *всему* и *всё* в четвертой и пятой строфах — неприемлемы.

Они звучат горестным обобщением — всему концу, всё сожжено.

Если идет речь о том, что конец лету — то стихи для меня приемлемы. Если же их и подтекст и текст — что конец всему — то это для меня [не] приемлемо.

Что делать?

Надо попросить Пастернака заменить эти слова. Или во всяком случае слово «всё» в пятой строфе.

— Скажем:

(я говорю для Вашей ориентировки)

«Когда лето уже сожжено»

или

«Что и лету приходит конец»

— Словом, если речь здесь о лете — то я думаю, что на поправку двух слов при всем моем пиетете к Пастернаку — он мог бы пойти.

Если же смысл как раз и есть во «всё сожжено» — то, конечно, он этих слов поправлять не захочет и не будет.

А пока в этом виде придется с грустью отказаться от печатания стихов этих.

Если есть возможность до всяких разговоров — вытребуйте у него и 3-е и 4-е стихотворение.

Если мое мнение Вы сочтете нужным сообщить Пастернаку — располагайте им — хоть дословно.

При всем внешнем примитивизме своего суждения — я по существу прав. Учтите, что критика будет сейчас рассматривать его стихи в микроскоп.

А я не желаю ему зла. Добавляю только, что очень бы хотелось напечатать его стихи.

Да! Забыл.

Может, попросить еще стихов

у Луконина,

Михаила Львова,

Безыменского.

Крепко жму Вашу руку

Ваш К. Симонов

(Стр. 359)

Письмо это было написано 2 февраля 1947 года.

Трудно представить, чтобы Симонов начал свой рабочий день, не заглянув с утра в свежий номер «Правды». А если бы даже он и не удосужился в него заглянуть, кто-нибудь непременно посоветовал бы ему это сделать, потому что появившаяся в тот день в «Правде» статья А. Фадеева «О литератур-

но-художественных журналах» касалась его самым непосредственным образом.

Это была та самая статья, в которой Фадеев резко осуждал появление на страницах вверенного ему (Симонову) журнала «лживого и грязноватого рассказа А. Платонова «Семья Иванова». Но помимо этого в той фадеевской статье осуждался еще и журнал «Знамя», на страницах которого «печатались, как известно, стихи Ахматовой» и «расточались реверансы аполитичной и индивидуалистической позиции Б. Пастернака».

Появление этой фадеевской статьи делало и без того трудно осуществимое намерение Симонова напечатать стихи Пастернака практически невозможным. «Учтите, — пишет он Лидии Корнеевне, — что критика будет сейчас рассматривать его стихи в микроскоп». И вот, забегая вперед, он сам начинает рассматривать эти стихи в микроскоп, и там, где в этих стихах говорится о конце лета, ему уже чудится, что поэт намекает чуть ли не на конец советской власти.

Особенно комично его предложение поменять местами две последние строфы в стихотворении «Март»:

Эти ночи, эти дни и ночи!  
Дробь капелей к середине дня,  
Кровельных сосулк худосочье,  
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь всё, конюшни и коровник,  
Голуби в снегу клюют овес,  
И, всего живитель и виновник, —  
Пахнет свежим воздухом навоз.

Хорошо было бы, конечно, обойтись совсем без навоза. Но так далеко он не идет. Он просит лишь сделать так, чтобы запах навоза не так бил в нос. Но ведь он же и сам — поэт! Не может же он не понимать, что финальную, концовочную строфу стихотворения поменять местами с предпоследней — невозможно! Стихотворение в этом случае будет разрушено. Как цельный, живой организм просто перестанет существовать.

Может быть, он нарочно предлагает Пастернаку эти дурацкие исправления, чтобы виновником того, что стихи на-

печатать не удалось, оказался не редактор, который «хотел хорошего», а не в меру капризный автор?

Нет, непохоже. Он действительно хотел напечатать Пастернака. Не последнюю роль тут играло, конечно, и его редакторское тщеславие. Но не только это. Он искренне, от всей души хотел Борису Леонидовичу «хорошего».

Как бы поступил Пастернак, если бы до него дошли эти симоновские пожелания, мы не знаем. Не знаем даже, передала ли их ему Лидия Корнеевна.

Как бы то ни было, размышлять над ними ему не пришлось. Дело решилось без его участия.

Спустя месяц после получения этого симоновского письма, 6 марта 1947 г. Л.К. записывает в своем дневнике:

- ▶ Страшный поток людей и гранок — страшный — державший меня семь часов — без еды — в грохоте дверей и кураве — нет, не могу — в физическом и душевном ужасе.

Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака...

(Стр. 367)

Газетой этой, видимо, была «Комсомольская правда», в которой были напечатаны отрывки из доклада Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей.

О Пастернаке там говорилось так:

- ▶ Лучшие произведения Бориса Пастернака — «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», в которых ему, как художнику, удалось выйти из личного мирка к общественной жизни. Но к сожалению, Пастернак не пошел по этому пути. Он целиком и полностью остался в плену идей аполитичности искусства, замкнулся в индивидуализме, в кругу формальных исканий.

А на следующий день состоялась очередная встреча Лидии Корнеевны с шефом:

- ▶ 7/III 1947. Я с утра в редакцию — там уже ждет Симонов, запершись с Кривицким. Меня принимают;

по движениям, по лицу, по голосу Симонова вижу, что он не в духе, замучен, холоден, на какой-то другой, чужой волне. Говорит отрывисто, официально... Передает мне стихи ленинградцев — рывками — и вдруг — вскользь:

— Знаете, Пастернака мы не будем печатать.

Так.

— Только позвоните ему перед отъездом, К.М., — говорю я. — Скажите сами.

Он как-то неопределенно кивает. А Кривицкий взрывается:

— Незачем тебе звонить... я не ждал от него... крупный поэт... что он дал за стихи? ни одного слова о войне, о народе! это в его положении!

— Мне жаль, — говорю я, — что мы просили у него стихов.

— Нисколько не жаль! Просили, а печатать не будем! Нечего стоять перед ним на задних лапках!

(Стр. 368)

Я так подробно остановился на этом сюжете, потому что история неосуществленного намерения Симонова напечатать Пастернака проливает свет на точно такую же — просто один к одному! — историю неосуществившегося его намерения утереть нос Ермилову.

Этой истории Л.К. в своем дневнике касается вскользь (она не была так глубоко и лично ею задета, как историей с Пастернаком), но все-таки тоже касается:

- ...к шести вернулась в редакцию, на свидание с Симоновым.

Он пришел — загорелый, посвежевший, молодой — веселый, доброжелательный, мягкий — почти обаятельный. Поискал свободного стола, сели мы втроем: он, я, Ивинская. Он на угол:

— Семь лет без взаимности...

— Мое положение особенно трудное, — сказал он. (Мы коснулись Платонова.) Многие не любят меня,



считают, что я вознесен не по заслугам и пр. И будут делать мне пакости. Но мне не могут пока — так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый... Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносит Платонова, делает передо мной реверанс...

— Что ж Ермилов, — сказала я. — Это ведь только псевдоним. Ведь и «Правда» повторила его версию, и «Культура и Жизнь».

— Разве «Культура и Жизнь» тоже? — спросил он.

— Да, — сказали мы в один голос с Ивинской.

Странно, что он этого не знал.

— Прочтя Ермилова, я немедленно послал в «Новый Мир» телеграмму: заказать Платонову другой рассказ.

(Стр. 361)

Вот, значит, как это было!

Подозревая, что открыто ответить Ермилову будет сложно, а может быть, даже и невозможно, он решил ответить на появление его статьи публикацией нового платоновского рассказа. Это была обычная в то время журнальная и газетная форма. Опровержений, как правило, не печатали. Если выяснялось, что обиженный — или даже оклеветанный — в газете или журнале литератор был не виноват, публиковали какую-нибудь его фитюльку, — неважно, какую, — важно, что имя его появилось на страницах того же издания. Это была принятая и всем понятная форма реабилитации.

Распоряжение Симонова было выполнено. Новый рассказ Платонову был «заказан» и вскоре редакцией получен. Но на страницах журнала он так и не появился.

Это обстоятельство в дневнике Л.К. Чуковской отмечено особо:

- ▶ 28/1—47. Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться — напрасно. Будет та же сестрость. Ничего не дадут: вот ведь и Платонова не дали

напечатать. Рассказ Платонова для Платонова — не лучший, но в журнале — из лучших. То же и со стихами станет.

*(Стр. 353)*

Слова «не дадут», «не дали» как будто бы должны вызывать некоторое недоумение. КТО может НЕ ДАТЬ Симонову напечатать то, что он хочет? Разве он не хозяин в своем журнале?

То-то и дело, что не хозяин.

Он сам прекрасно это знает и постоянно на это сетует, вздыхает. И Лидия Корнеевна в своем дневнике все эти его вздохи тоже постоянно фиксирует:

- ▶ ...опять говорил о своем сложном положении:  
— Ну как печатать людей, если потом тебе не дадут возможности их защищать?

*(Стр. 362)*

- ▶ ...погоревал, что в редколлегии нет единства и находятся такие члены, которые уверяют, будто прав не он, а Ермилов.

*(Стр. 387)*

Ну, так выгони их из редколлегии, этих «членов»! Или хоть цыкни на них, покажи им, «кто в этом доме хозяин»!

Ни того, ни другого он сделать, видимо, не мог.

Не мог по многим причинам. Но, помимо всего прочего, еще и потому, что у этих людей, уверяющих, будто прав не он, а Ермилов, была в его журнале надежная и прочная опора в лице его первого зама Александра Юльевича Кривицкого. Не исключено даже, что Александр Юльевич и сам принадлежал к их числу. То обстоятельство, что рассказ Платонова «Семья Иванова» ему, как и Симонову, «очень нравился» и что они оба «хотели напечатать Платонова, своего товарища по «Красной звезде», никакого значения для него не имело. Обстоятельства переменились, и он, в соответствии с этими переменившимися обстоятельствами, изменил свою точку зрения. Как в случае со стихами Пастернака:

- ▶ — Просили, а печатать не будем! Нечего стоять перед ним на задних лапках!

Лидия Корнеевна в своем дневнике называет Кривицкого «комиссаром при Симонове».

Комиссаром при нем он, может быть, и не был: комиссаров назначают, а Кривицкого — старого своего товарища — Симонов взял себе в замы сам. Но взял именно на роль если не комиссара, так политического советника. Политическому опыту Кривицкого, а лучше сказать — его «верхнему чутью» он доверял безгранично:

- ▶ ...мне хотелось, чтобы он выслушал и чтобы прочел. Но говорить толком как-то нельзя было. Все — наспех, под звон телефонов. И хотя и благородно, но каждую минуту с оглядкой на Кривицкого:  
— Саша, это я верно сделал?

(Стр. 366)

Это именно он, Кривицкий, навел Симонова на те «сомнительные» места в стихах Пастернака, которые, по его мнению, ни в коем случае нельзя было пропустить:

- ▶ До семи часов ждала Кривицкого... Нужна его резолюция. Это очень жаль, потому что он будет заново смотреть и цепляться.  
Он спросил о Пастернаке. Я ему показала «Март», в котором совершенно уверена. И вдруг: это невозможно.  
— Почему?  
— Навоз! Всему живитель! Да это же целая философия!

(Стр. 354)

Прочитав письмо Симонова о Пастернаке, Л.К. замечает, что все его замечания «хоть и мягкие и деликатные, но, в сущности, кривицкие». (Стр. 357) Так — наверняка — было и с Платоновым, и с неосуществленным желанием Симонова ответить Ермилову.

Убедившись, что в ее постоянных столкновениях с Кри-

вицким Симонов всегда будет поддерживать своего «комиссара», Лидия Корнеевна решила, что из журнала ей лучше уйти. Симонов предложил ей компромиссный вариант, но она от него отказалась. Они обменялись письмами, которые — хотя бы в отрывках — я считаю нужным здесь привести. Не столько даже потому, что они бросают дополнительный свет на ситуацию, которую я разбираю, а прежде всего и главным образом потому, что в этом их последнем объяснении вновь — и это, конечно, не случайно! — всплывает имя Ермилова:

► ИЗ ПИСЬМА Л. К. ЧУКОВСКОЙ  
К. М. СИМОНОВУ

28/IV47.

К сожалению, я вынуждена отказаться от нового Вашего предложения. Разумеется, мне совершенно все равно, в каком именно звании читать стихи и прозу для «Нового Мира»; Вам я всегда рада помогать, потому что направленность Вашей деятельности представляется мне благородной — но то, что Вы отстраняете меня от заведования отделом именно сейчас, — означает в данной ситуации, что Вы... санкционировали «линию» т. Кривицкого относительно меня и моей работы...

Что ж поделаешь, верно, Вам иначе нельзя. А жаль: в моих спорах с т. Кривицким я и по-человечески и принципиально права — не менее права, чем Вы в Вашем споре с Ермиловым, — и, в сущности говоря, это тот же самый спор...

(Стр. 389)

► К. М. СИМОНОВ — Л. К. ЧУКОВСКОЙ

16 мая 1947 года

Дорогая Лидия Корнеевна!

Я прошу у Вас прощения, что так долго не отвечал на Ваше письмо. Причина тому не сознательная невежливость моя, а какое-то внутреннее желание оттянуть с этим делом, поискать выхода, каким все-таки все могло бы «образоваться».

Я несколько раз передумал Ваше письмо и пришел к выводу, что, серьезно говоря, Вы, конечно, правы, и то, что я предлагал Вам, это полумеры, которые, в конце концов, ни к чему хорошему и не привели бы.

Мне остается от души поблагодарить Вас за всё, что Вы сделали, за Вашу большую и дружескую помощь мне. Прошу Вас так же искренне принять эти слова, как искренне я их говорю.

Глубоко уважающий Вас

Ваш Константин Симонов

(Стр. 392)

Сознавал ли Константин Михайлович, что этим своим письмом он признал, что спор Л.К с Кривицким и его спор с Ермиловым — это, «в сущности говоря, один и тот же спор»?

Или эта фраза в его письме — «серьезно говоря, Вы, конечно, правы» — была просто формулой вежливости?

Это, в конце концов, не так уж и важно.

Но что «Ермилов», как выразилась в разговоре с ним Лидия Корнеевна, «только псевдоним», — это он, конечно, понимал. Не мог не понимать.

Недаром же он промолчал, не стал с ней спорить. Спорить тут можно было только о том, КТО стоял за этим псевдонимом.

\* \* \*

Симонов, как мы уже знаем, считал, что, во всяком случае, — не Сталин. Он полностью исключал вариант, при котором —

- ▶ ...вслед за уже появившимися постановлениями следует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него.

Прямого указания, конечно, могло и не быть. И скорее всего его действительно не было. Но таков уж закон всякой идеологической кампании. Прорабатывали не только тех, кто был упомянут в постановлении и ждановском докладе.

Взрывной волной задело Сельвинского, Пастернака. Могло ли в эту воронку не втянуть и Платонова?

К этому объяснению так или иначе склоняются все «платоноведы».

Но было высказано на этот счет и другое предположение.

\* \* \*

Высказал его литературовед Евгений Яблоков, посвятив подробному изложению этой своей гипотезы специальную статью, подзаголовок которой гласил: «О возможной подоплеке антиплатоновской кампании 1947 года».

Вот какой виделась ему эта подоплека:

- ▶ ...думается, очередную волну нападков на Платонова обусловили не только «внешние» причины. Есть основания полагать, что кампания 1947 г. (в отличие от «проработок» за «Усомнившегося Макара» и «Впрок») не должна была оказаться абсолютно неожиданной для автора «Семьи Иванова». Как мы попытаемся показать, использование им данного заглавия оказалось не случайным: это был поступок преднамеренный и даже в известном смысле демонстративный. Соответственно, не случайным стал и разразившийся скандал: ожесточенная реакция на платоновский рассказ явилась своеобразным подтверждением того, что поступок оказался понят. И если, например, роль «примерных жертв», на которую были выбраны А. Ахматова и М. Зощенко, не могла быть объяснена их действительной «нелояльностью», то автор «Семьи Иванова», кажется, и впрямь совершил нечто, по тогдашним меркам, предосудительное. Дело в том, что заглавие платоновского рассказа по существу представляло собой цитату и неизбежно напоминало о весьма драматичных событиях не столь уж далекого прошлого.

*(Евгений Яблоков. Три семьи Иванова.*

*О возможной подоплеке антиплатоновской кампании 1947 г. «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Выпуск 5. М., 2003. Стр. 608)*

Цитатой он назвал заголовок этого платоновского рассказа потому, что Платонов якобы заимствовал его у знаменитого в 30-е годы советского драматурга Александра Афиногенова. Так называлась одна его пьеса (точнее, второй ее вариант; первый вариант назывался — «Ложь»), над которой он работал в 1932—1933 гг.

С пьесой этой действительно вышла весьма драматическая — во всяком случае, для ее автора — история.

- ▶ Замысел, план, а возможно, и основные фабульные линии были изложены драматургом лично Сталину, судя по всему, еще до того, как началась практическая работа над текстом: в письме к Сталину от 2 апреля 1933 г. Афиногенов напоминает, что их разговор о будущей пьесе состоялся «пять месяцев назад» — т. е. в начале ноября 1932 г. Видимо, автор был убежден, что получил тогда санкцию на постановку «острых» вопросов; по воспоминаниям американского журналиста М. Хиндуса, Афиногенов, рассказывая ему о замысле «Лжи», на вопрос, имеет ли подобное произведение шанс увидеть свет, ответил: «Я обсуждал эту пьесу со Сталиным. И он мне сказал, что нам нужна такая пьеса».

*(Там же. Стр. 608—609)*

Завершив работу над пьесой (первым ее вариантом), драматург послал ее Сталину и получил от него довольно развернутый и, хотя и весьма критичный, но все-таки обнадеживающий ответ:

- ▶ ЗАПИСКА И.В. СТАЛИНА А.Н. АФИНОГЕНОВУ С ЗАМЕЧАНИЯМИ НА ЕГО ПЬЕСУ «ЛОЖЬ»

*[Не ранее 2 апреля 1933 г.]*

Тов. Афиногенов!

Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли, физическими, нравственными, политич[ескими] уродами (Горчакова, Виктор, Кулик, Сероштанов). Даже Рядовой выглядит местами каким-то незавершенным,

почти недоноском. Единственный человек, который ведет последовательную и до конца продуманную линию (двурушничества) — это Накатов. Он наиболее «цельный».

Для чего понадобился выстрел Нины? Он только запутывает дело и портит всю музыку.

Кулику надо бы противопоставить другого честного, беспорочного и беззаветно преданного делу рабочего (откройте глаза и увидите, что в партии есть у нас такие рабочие).

Надо бы дать в пьесе собрание рабочих, где разоблачают Виктора, опрокидывают Горчакову и восстанавливают правду. Это тем более необходимо, что у Вас нет вообще в пьесе действий, есть только разговоры (если не считать выстрела Нины, бессмысленного и ненужного).

Удались Вам, по-моему, типы отца, матери, Нины. Но они не доработаны до конца, не вполне скульптурны.

Почти у каждого героя имеется свой стиль (разговорный). Но стили эти не доработаны, ходульны, неряшливо переданы. Видимо, торопились с окончанием пьесы.

Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что только физические уроды могут быть преданными членами партии?

Выпускать пьесу в таком виде нельзя.

Давайте поговорим, если хотите.

Привет!

И. Сталин

*(Власть и художественная интеллигенция.  
Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 192)*

При всей остроте и даже резкости этих сталинских замечаний общий тон записки благожелательный. А последняя его реплика свидетельствует даже о каком-то особом расположении генсека к автору раскритикованной пьесы. Не каждому литератору, рукопись которого ему случалось прочесть, предлагал он встретиться и поговорить.



Об этом благожелательном отношении вождя к Афиногенову было широко известно. Пьесу сразу приняли к постановке 300 театров. Но тут же поползли слухи и о том, что вождь новой пьесой знаменитого драматурга остался недоволен:

- ▶ ...возмущенный Сталин исчеркал ее всю красным карандашом, после чего автор сам отказался от постановок.

*(Наталья Громова. Узел. Из литературного быта конца 20-х—30-х годов. М., 2006. Стр. 172)*

Второй, переработанный по сталинским замечаниям вариант пьесы (тот, который уже назывался «Семья Иванова») действительно вызвал у Сталина резко отрицательное отношение.

Но Афиногенов не терял надежды, что все еще как-нибудь образуется.

- ▶ А.Н. АФИНОГЕНОВ — И.В. СТАЛИНУ

Уважаемый Иосиф Виссарионович!

Т. Киришон передал мне, что Вы остались недовольны вторым вариантом пьесы «Семья Ивановых» («Ложь»). Прежде чем снять пьесу — хотелось бы показать Вам результаты работы над ней актеров МХАТ — 1-го и 2-го (в первых числах декабря с.г.). Если же Вы находите это излишним, — я немедленно сам сниму пьесу. Прошу Вас сообщить мне Ваше мнение по данному вопросу.

*(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 758)*

Реакция Сталина была лаконичной и совершенно определенной:

- ▶ Т. Афиногенов! Пьесу во втором варианте считаю неудачной.

*И. Сталин.*

10. XI. 33 г.

*(Там же)*

На сей раз приглашения встретиться и поговорить уже не последовало.

Видимо, Сталина разозлило, что, работая над вторым вариантом пьесы, Афиногенов некоторые его замечания проигнорировал. Особенно важно тут одно из них: «выстрел Нины», который Сталин в своем письме Афиногенову назвал «бессмысленным и ненужным», а в другом месте того же письма высказался о нем так:

- ▶ Для чего понадобился выстрел Нины? Он только запутывает дело и портит всю музыку.

«Выстрел Нины» был кульминацией афиногеновской пьесы. Нина, главная ее героиня, являющаяся в некотором смысле «рупором идей автора» (вот некоторые ключевые ее реплики: «...не знаем мы, что будет завтра генеральной линией — сегодня линия, завтра уклон. И в газетах всей правды не пишут...», «...врем мы и обманываем и подличаем...», «Так и все наши лозунги — на собраниях им аплодируют, а дома свою оценку дают, другую...»), крадет револьвер, намереваясь застрелиться, но в конце концов стреляет не в себя, а в замнаркома Рядового, старого большевика с героическим революционным прошлым. Рядовой тяжело ранен, но, спасая Нину, говорит, что по неосторожности выстрелил в себя сам, и умирает.

Коллизия, надо сказать, не самого высокого вкуса. Но Сталина она раздражила не только этим. И даже — совсем не этим.

Встреча Сталина с Афиногеновым, во время которой они обсуждали замысел будущей афиногеновской пьесы, состоялась в первых числах ноября 1932 года. А буквально несколько дней спустя — в ночь с 8 на 9 ноября — случилось одно из самых трагических событий в жизни Сталина: застрелилась его жена Надежда Аллилуева. Событие это не могло не наложить отпечаток на сталинское восприятие выстрела афиногеновской Нины:

- ▶ ...этот выстрел напомнил ему другой — прозвучавший в его кремлевской квартире.

*(Н. Афанасьев. Я и Он. Александр Афиногенов: 1904—1941. Парадокс о драме. Перечитывая пьесы 1920—1930-х годов. М., 1994)*

Поразмышлять и порассуждать об этом, конечно, можно. Но автор рассматриваемой нами гипотезы (не будем терять из виду, что в центре его внимания тут все-таки не Афиногенов, а — Платонов) превратил эту коллизию в некий фундамент, на котором он выстроил всю сложную конструкцию этой своей гипотезы:

- ▶ Судя по всему, Афиногенов строил фабулу, вводя в нее прямые аллюзии на обстоятельства личной жизни самого Сталина...

По воспоминаниям С. Аллилуевой, ее мать оставила мужу письмо, в котором содержались не только личные упреки, но и политические обвинения. Афиногеновская Нина Ковалева тоже предъявляет Рядовому и нравственные, и политические претензии...

Впрочем, на опасные аллюзии наталкивала не только сцена выстрела. Например, главная героиня имеет тот же инициал имени — «Н», что и жена Сталина. Разница в возрасте между Ниной и Рядовым — 25 лет; Сталин был старше жены на 22 года. Кроме Нины, в пьесе есть еще одна молодая героиня — с которой Рядовой познакомился на Кавказе и на которой вначале намеревался жениться: девушку эту зовут Верой, и ее имя тоже может восприниматься как намек на образ Надежды Аллилуевой (ср. триаду «Вера — Надежда — Любовь»). Как и Аллилуева, афиногеновская Нина не носит фамилии мужа... «металлические» коннотации ее собственной фамилии — Ковалева — также намекают на «Сталинский» подтекст...

Аллюзии на Сталина выстраиваются еще по одной линии: помимо пятидесятилетнего замнаркома Рядового, «Сталинские» черты проглядывают и в образе 27-летнего секретаря заводской партиячейки Павла Сероштанова — в самой фамилии которого присутствует намек на «серую шинель», ставшую в 1930-х гг. неотъемлемой частью «имиджа» Вождя. Показательно, что автор наделил персонажа явным «комплексом неполноценности» из-за некрасивой внешности, — Сероштанов жалуется на свое уродство как на несправедливость, причем иной раз выражается совершенно в «Платоновском» духе: «Не хочу активистом быть, хочу

быть красавцем». Нина говорит о Сероштанове: «Лицом он не вышел, а душа у него, как цветок», — но Сталина такой компромисс не удовлетворил; характерны его замечания автору: «Почему-то все партийцы у вас уродами вышли, физическими, нравственными, политическими уродами»; «Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что только физические уроды могут быть преданными членами партии?» В довершение всего этот персонаж у Афиногенова оказался сыном сапожника, и такое происхождение явно должно было настораживать; во фразе Сероштанова: «Меня отец-сапожник до тринадцати лет колодкой по лбу лупил, пока сам не околел» — «рецензент» не мог не увидеть прямого намека: отец Сталина, сапожник Виссарион Джугашвили, систематически избивал жену и сына и погиб в пьяной драке, когда Иосифу было 11 лет.

Весь этот опасный потенциал содержался уже в первом варианте пьесы. И, как ни оценивать мотивировки драматурга, сочинившего (после предварительного обсуждения!) столь странное произведение, еще более поразительно, что, перерабатывая пьесу (опять-таки в соответствии с указаниями Вождя), Афиногенов выстрел Нины не убрал. Трудно предположить, что он не понял откровенно личных мотивов в замечаниях Сталина... сомнительно, чтобы Афиногенов был столь наивен. Более правдоподобным кажется иное объяснение: драматург добился того, чего и добивался, — а почувствовав, что его намеки поняты, продолжал гнуть свое, акцентируя связь между семейной трагедией «Отца народов» и общим неблагополучием «в народной семье»... И кажется отнюдь не случайным, что письмо с просьбой посмотреть готовящуюся постановку переработанной пьесы драматург направил Сталину 9 ноября 1933 г. — т. е. буквально в годовщину смерти Аллилуевой.

*(Евгений Яблоков. Три семьи Иванова. О возможной подоплеке антиплатоновской кампании 1947 г. «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Выпуск 5. М., 2003. Стр. 610—611)*

Оставив — на время — всю искусственность (и даже некоторую нелепость) этих сложных построений, согласимся с их автором в том, что особенно сильно могло тут задеть Сталина настоятельно подчеркиваемое драматургом *уродство* героев его пьесы.

Для Сталина это и в самом деле была болезненная тема, и все, кто достаточно близко его знал, никогда об этом не забывали.

Стихотворение Ильи Сельвинского «Кого баюкала Россия», удостоившееся специального постановления ЦК, вызвало грандиозный политический скандал только одной своей строчкой, где о России сказано, что —

Она пригреет и уroda...

Эта злосчастная строка повторялась во всех партийных документах, в которых упоминалось пресловутое крамольное стихотворение. Природа этой истерии открылась автору стихотворения, когда его вызвали на специально посвященное этому вопросу заседание секретариата ЦК, где на него топал ногами и орал Маленков.

Важно тут было не то, что топал и орал, — дело обычное, вот так же топал и орал однажды на Н.Н. Асеева другой секретарь ЦК — Щербаков. Важно, ЧТО он ему выкрикивал, какие вопросы задавал, каких признаний от него добивался:

— Кто этот урод?... Вы нам тут бабки не заколачивайте. Скажите прямо и откровенно: кто этот урод? Кого именно вы имели в виду? Имя!

Ничего не понимающий поэт растерянно лепетал, что никого конкретно в виду не имел. Имел в виду просто юридических.

— Ложь! — орал на него Маленков. — Умел воровать, умей ответ держать!

И тут до Сельвинского дошло: они думают, что он имел в виду Сталина! Он ведь рябой, сухорукий...

Ужас, охвативший в эту минуту несчастного поэта, не поддается описанию.

А Афиногенов, значит, действительно имел в виду Сталина...

Можно ли в это поверить?

Но — еще раз напоминаю — нас все-таки (как, впрочем,

и автора разбираемой нами статьи) интересует не Афиногенов, а Платонов. Он-то тут при чем?

А Платонов, оказывается, взяв для своего рассказа то же название, какое дал своей пьесе Афиногенов, сделал это намеренно, прямо дав тем самым понять, что солидаризируется с Афиногеновым.

Тут сразу возникает вопрос: знал ли Платонов о существовании этой афиногеновской пьесы?

Автор статьи предполагает, что это вполне возможно. Основания для этих предположений у него такие:

- ▶ Афиногенов жил в том же самом флигеле, что и Платонов; и хотя об их отношениях нам, увы, ничего не известно, все же трудно представить, что между соседями не было никаких контактов — особенно с учетом общительного характера Афиногенова...

Афиногенов погиб 29 октября 1941 г. при попадании немецкой авиабомбы в здание ЦК ВКП(б) на Варварке, где помещалось Совинформбюро. Между прочим, десятилетием раньше это место было связано и с биографией Платонова: фактически на этой улице (в Псковском переулке) он жил после переезда в Москву во второй половине 1920-х гг. Укажем и еще на одно совпадение: выход в 1946 г. платоновского рассказа «Семья Иванова» в октябрьско-ноябрьском номере «Нового мира» оказался словно приурочен к пятой годовщине со дня смерти Афиногенова. Думается, что история пьесы «Семья Ивановых» была хорошо известна Платонову (как, вероятно, и всем, кто имел тогда отношение к сфере художественного творчества); и вряд ли он не осознавал, что воспроизводить «опасное» заглавие значит как бы «солидаризироваться» с автором произведения, отнюдь не «реабилитированного»...

*(Там же. Стр. 612)*

Даже если на основании этих — весьма шатких и даже комических аргументов допустить, что история пьесы «Се-

мья Ивановых» была Платонову известна, из этого еще отнюдь не вытекает, что ему была известна и сама эта афиногеновская пьеса. Но об этом автор гипотезы говорит уже как о чем-то само собой разумеющемся, даже не стараясь найти для этого своего утверждения какую-то фактическую опору. И вот что при этом у него получается:

- ▶ Подобно пьесе Афиногенова, платоновское заглавие «Семья Иванова» читается как метафора народа в целом; соответственно, главным участником «семейной» драмы оказываются не только сержант Иванов, но и тот «живой символ», чьим именем была достигнута победа Иванова и ему подобных, — «всеобщий отец», «отец народов». Сюжет об отце, поглощенном «любовью к дальнему» (ср. образ «просторной Маши»), готовом предать своих детей и оставить их сиротами, но все же опомнившимся и вернувшемся домой, обретал черты притчи: в условиях послевоенного «закручивания гаек» он звучал как призыв к Сталину вспомнить о покинутых «детях» и возвратиться к оставленной «семье».

Если наше предположение справедливо и Платонов действительно стремился «сориентировать» читателя на афиногеновскую пьесу, внося в сценарий и рассказ «Семья Иванова» элемент литературной «игры» (хотя это слово в данном случае, пожалуй, не очень уместно), то вполне логичен вопрос: не были ли правила этой «игры» уже тогда кем-то поняты?

*(Там же. Стр. 613—614)*

Не станем вдаваться в существо этих сомнительных умозаключений. Надуманность и ложность предложенной схемы очевидна.

Но если это так, зачем, спрашивается, я так надолго задержал на ней ваше внимание?

Затем, что в этой надуманной и ложной схеме есть все-таки некое рациональное зерно.

\* \* \*

Совпадение заглавия платоновского рассказа с названием пьесы Афиногенова скорее всего было случайным. О том, что существовала вызвавшая неудовольствие Сталина пьеса с таким названием, Платонову, вероятно, стало известно (кто-то подсказал) уже после того, как его рассказ «Семья Иванова» подвергся разгрому. Узнав это, он, — не теряя надежды этот разгромленный рассказ все-таки еще напечатать, — изменил его название: во всех последующих редакциях он уже назывался не «Семья Иванова», а — «Возвращение». (Под этим заглавием он публикуется и поныне.)

История запрета Сталиным афиногеновской пьесы в литературных кругах, конечно, обсуждалась. Но круг этот был достаточно узок.

Позже, в 1937 году, когда Афиногенов был исключен из партии и имя его постоянно поминалось в печати в одном ряду с расстрелянными Авербахом, Киршоном и Бруно Ясенским (подробно об этом будет рассказано в главе «Сталин и Афиногенов»), эта история получила более широкую огласку.

Упоминая об этом, Евгений Яблоков приводит отрывок из передовой статьи «Литературной газеты» того времени:

- ▶ Разве случаен тот факт, что пьеса Афиногенова «Ложь» так и не увидела театральных подмостков? Лицемеря и двурушничая перед литературной и театральной общественностью, на словах признавая решения ЦК правильными, а на деле реализуя гнусные авербаховские установки, Афиногенов свои личные переживания лжеца и двурушника пытался представить типическими. Так возникла у него пьеса «Ложь».

(«Литературная газета», 15 мая 1937 г.)

Кто из читателей тогдашней «Литературной газеты» знал, что подвергнутая этому погрому пьеса Афиногенова имела еще и другое название: «Семья Ивановых»? Боюсь, что очень немногие. Вряд ли тогда знал это и Платонов.

Ермилов, Фадеев — те, конечно, знали. И десять лет спус-



тя — в 1947-м — тот же Фадеев легко мог представить себе, как Сталин, прочитав заглавие появившегося в «Новом мире» платоновского рассказа, вспоминает пьесу, которую он когда-то вдоль и поперек исчеркал красным карандашом. Вспоминает — и недовольно хмурится. Может быть, даже раздраженно бурчит что-то себе под нос. Того и гляди — снова вызовет «на ковер», как в 1931-м. «Опять, — скажет, — прохлопал?» Так не лучше ли самому сделать первый ход? За чрезмерную бдительность уж точно не накажут...

Могло ли такое быть?

Еще как могло!

Да что там — могло, не могло. Именно так оно, наверное, и было.

\* \* \*

К. Симонов, как мы помним, был уверен, что «никакой инспирации сверху» для погромной статьи о Платонове «не требовалось и ее не было». Эту свою уверенность он черпал в том, что за статьей не последовало никаких карательных акций:

- ▶ Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова.

*(Константин Симонов. Истории тяжелая вода.  
М., 2005. Стр. 363—364)*

Да, для него, Симонова, эта новая антиплатоновская кампания и в самом деле не имела никаких последствий. Но для Платонова последствия были.

С.И. Липкин в своих воспоминаниях о Платонове рассказывает, что однажды — дело было в первый послевоенный год, — когда они с В.С. Гроссманом были у Платонова, Василий Семенович кинул такую поддразнивающую реплику:

— Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают.

И Платонов, не поддержав шуточного тона, серьезно ответил:

— Я теперь в команде выздоравливающих.

Недолго ему пришлось числиться в этой команде. А после статьи Ермилова из команды выздоравливающих его уже окончательно перевели в камеру смертников. Как писал в своем письме Сталину Замятин, для писателя отлучение от печатного станка равносильно смертному приговору. И вот Платонова — уже в третий раз в его жизни — приговорили к этой «высшей мере наказания».

Он обращался с письмами к Фадееву:

▶ А. А.!

Прошу Вас из сборника рассказов, который находится у Вас, исключить рассказ «Семья Иванова», а остальные рукописи прочитать и с Вашим указанием направить в «Советский писатель» тов. Ярцеву. При этом я прошу Вас, хотя и знаю Вашу занятость, прочесть рукопись скорее, потому что для дальнейшей работы мне необходимы средства к существованию.

Еще я подготовил сборник избранных рассказов, о чем я говорил с Вами по телефону некоторое время назад, — и прошу Вашего согласия просмотреть этот сборник: иначе я не знаю, как поступить.

*(Андрей Платонов. Воспоминания современников.  
Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 464)*

▶ Дорогой Александр Александрович!

При этом посылаю рукопись (2 экз.) сборника «Вся жизнь», что была разобрана в изд-ве «Советский писатель». Я немного изменил содержание книги: один рассказ заменил другим, два добавил. Теперь прошу тебя посмотреть и затем направить ее тов. Ярцеву и Гранику с твоим указанием, без этого ничего не движется.

Очень прошу сделать это скорее, насколько возможно.

*(Там же)*

Убедившись, что и Фадеев бессилен тут что-нибудь решить, он обращается к Жданову:

- ▶ Глубокоуважаемый Андрей Александрович!

При этом письме посылаю Вам рукопись пьесы «Ученик Лицея» — с просьбой прочитать эту пьесу (зачеркнуто) и дать возможность напечатать ее и поставить на сцене, если с Вашей стороны не будет к тому возражений.

Я обращаюсь к Вам потому, что некому решить этого вопроса, кроме Вас. Конечно, работники в редакции или в театре должны и могут решать такие вопросы, но в случаях со мной (когда я предлагаю им свои рукописи) эти вопросы почти всегда превращаются в практически неразрешимые — и мне либо возвращают рукописи без всякого суждения, либо рукописи вообще оставляются без ответа (они как бы не отвергаются и не принимаются).

Сейчас я осмеливаюсь обратиться к Вам. Долгая, тяжелая болезнь ввергла меня в нужду, при которой я не могу бесконечно долго ожидать ответа по поводу своих работ от людей, которые не желают или не могут дать мне ответа.

Поэтому я обращаюсь к Вам, в надежде, что Ваше суждение о посылаемой рукописи будет наилучшим решением ее судьбы.

*(Там же. Стр. 484)*

Но и этот вопль отчаяния остается без ответа. Впрочем, об этом письме неизвестно даже, было ли оно послано адресату: оно публикуется по черновику, сохранившемуся в архиве писателя. Не исключено, что, написав, он решил, что посылать его не имеет смысла.

При этом он не оставляет попыток напечатать хоть что-нибудь, — не в журнале, так в газете:

- ▶ В архиве «Нового мира» 1947—1948 годов мы находим рассказы «Сухой хлеб», «Житейское дело» (поступили в редакцию 8/VII 48 года), «В 1891 году. Рассказ старого человека» (поступил в редакцию 11/III 48 года). На первой странице последнего рассказа над-

пись К. Симонова: «Я прочел. Дать прочесть Федину и Катаеву, К.С.». Все дело было сдано в архив в 1948 году. Такая же судьба и у рукописей, разосланных Платоновым в журналы «Знамя», «Октябрь», «Смена», «Дружные ребята», «Звезда», во многие газеты в 1946—1948 годах. Ответы редакций выдерживались в одном стиле. Из «Нового мира»: «Рассказ «Новому миру» не подходит». Из «Октября»: «Уважаемый Андрей Платонович! Очерк «Юность строителя» редакция напечатать не может. Возвращаю. Привет. Г. Санников».

*(Н. Корниенко. В стране разрушенных предметов и враждебных душ. Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 459—460)*

Хотел вспомнить тут ответ Аввакума на вопрос протопопицы: «Долго ли еще мука сия, протопоп, будет?» — «До самой смерти, матушка!» Но вдове Платонова выпало терпеть эту муку и после смерти мужа.

Андрей Платонович умер 5 января 1951 года.

- ▶ Он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына, в каком-то безумии целовал его в губы...

*(С. Липкин. Голос друга. Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 123)*

Как полагалось в то время, в Союзе писателей была создана комиссия по его литературному наследию (ее возглавил В.С. Гроссман), и комиссия эта предприняла попытку издать посмертную книгу писателя. Подготовленная к изданию рукопись была отдана в издательство «Советский писатель», в соответствии с существующими правилами отправлена на «внутреннее рецензирование» (А. Чаковскому, А. Беку и А. Арамилеву) — и отклонена.

► ИЗ ВНУТРЕННЕЙ РЕЦЕНЗИИ А. ЧАКОВСКОГО

Их мужество, их патриотизм, ясность ума — все это корнями уходило в социалистическую действительность, не понятую Платоновым... Герои Платонова, остановившие своими телами танки, только внешне повторяют легендарный подвиг. У платоновских героев не могло оказаться внутренних сил для осознанного самопожертвования.

(«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. М., 2000. Стр. 122)

Хочется верить, что две другие внутренние рецензии были не такими бесстыдными. Но все это не имело никакого значения. Будь они даже восторженными, эта посмертная книга Платонова все равно не увидела бы света. И дело тут было не в злой или доброй воле внутренних рецензентов, редакторов или даже самых высоких тогдашних литературных чиновников.

Платонов был **клейменный, меченый**. И всем было хорошо известно, КТО пометил его своей черной меткой.

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАЛИН И ШОЛОХОВ .....	5
Документы .....	7
Сюжет первый. «Не так-то легко вводить в заблуждение товарища Сталина...» .....	38
Сюжет второй. «Не то что «наш» вертлявый Бабель...» .....	121
Сюжет третий. «Кому вы поручили!..» .....	177
Сюжет четвертый. «Зачем насаждать антисемитизм?» .....	227
СТАЛИН И ПИЛЬНЯК .....	277
Документы .....	279
Сюжет первый. Американская деловитость .....	307
Сюжет второй. «Пильняк жульничает и обманывает нас» ...	340
Сюжет третий. «Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк...» .....	421
Сюжет четвертый. «Я был контрреволюционером...» .....	471
СТАЛИН И ЗАМЯТИН .....	515
Документы .....	517
Сюжет первый. «Мое имя вам, вероятно, известно...» .....	537
Сюжет второй. «Приговоренный к высшей мере...» .....	611
Сюжет третий. «Благодетелю нашему кажется...» .....	653
Сюжет четвертый. «Политической деятельностью я заниматься не собираюсь» .....	691

СТАЛИН И ПЛАТОНОВ .....	723
Документы .....	725
Сюжет первый. «Надо бы наказать...» .....	749
Сюжет второй. «Это не русский, а какой-то тарабарский язык...» .....	775
Сюжет третий. «Вопрекисты» и «благодаристы» .....	825
Сюжет четвертый. Третий тур .....	907

Литературно-художественное издание

**Бенедикт Сарнов**

**СТАЛИН И ПИСАТЕЛИ**

*Книга третья*

Ответственный редактор *М. Яновская*  
Художественный редактор *Е. Савченко*  
Технический редактор *О. Куликова*  
Компьютерная верстка *И. Ковалева*  
Корректор *Л. Фильцер*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Подписано в печать 30.07.2009.  
Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура «Лазурский». Печать офсетная.  
Бумага писч. Усл. печ. л. 52,08.  
Тираж 5000 экз. Заказ 203.

Отпечатано с электронных носителей издательства.  
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.  
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15  
Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)





**Оптовая торговля книгами «Эксмо»:**

ООО «ТД «Эксмо», 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**  
E-mail: [international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

**International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**  
[International@eksmo-sale.ru](mailto:International@eksmo-sale.ru)

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  
в том числе в специальном оформлении,  
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.**  
E-mail: [vipzakaz@eksmo.ru](mailto:vipzakaz@eksmo.ru)

**Оптовая торговля бумажно-беловыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).  
e-mail: [kanc@eksmo-sale.ru](mailto:kanc@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanc-eksmo.ru](http://www.kanc-eksmo.ru)

**Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:**

**В Санкт-Петербурге:** ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.  
Тел. (812) 365-46-03/04.

**В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.  
Тел. (8312) 72-36-70.

**В Казани:** Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.  
Тел. (843) 570-40-45/46.

**В Ростове-на-Дону:** ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.  
Тел. (863) 220-19-34.

**В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».  
Тел. (846) 269-66-70.

**В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.  
Тел. (343) 378-49-45.

**В Киеве:** ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.  
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

**Во Львове:** ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.  
Тел./факс (032) 245-00-19.

**В Симферополе:** ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.  
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

**В Казахстане:** ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.  
Тел./факс (727) 251-59-90/91. [rdc-almaty@mail.ru](mailto:rdc-almaty@mail.ru)

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:**

**В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.  
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.  
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

**В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:**  
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»  
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин,  
разъяснить мне, в чем существо допущенных мною  
ошибок. Ваши указания я учел бы при переработке  
романа для последующих изданий.  
(Из письма Шолохова Сталину.  
3 января 1950 г.)

Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк.  
Известно, что этот попутчик умеет созерцать и  
изображать лишь заднюю нашу революцию.  
(Из ответа Сталина «Писателям-коммунистам  
РАПа». 28.02. 1929)

...приговоренный к высшей мере наказания - автор  
настоящего письма - обращается к Вам с просьбой о  
замене этой меры другой...  
Для меня как для писателя именно смертным  
приговором является лишение возможности писать,  
а обстоятельство сложились так, что продолжать  
свою работу я не могу...  
(Из письма Замятина Сталину.  
Июнь 1931 г.)

**СТАЛИН**

И  
ПИСАТЕЛИ

ISBN 978-5-699-36669-9



9 785699 366699 >